Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ДАНИЕЛЬ ДЕФО

РОБИНЗОН КРУЗО

●

ИСТОРИЯ ПОЛКОВНИКА ДЖЕКА

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1974

Вступительная статья
М. и Д. Урновых

И (Англ.)
Д 39

© Издательство «Художественная литература», 1974 г.

Иллюстрации
Н. Попова

© Издательство «Художественная литература», 1974 г.

Д $\frac{0734\text{-}099}{028\,(01)\text{-}74}$ Подп. изд.

СОВРЕМЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ

Едва ли не каждого выдающегося писателя прошлого склонны мы называть нашим современником. Но очень часто это наименование условно. Другое дело Дефо. Если шекспировская эпоха, например, осталась за гранью английской буржуазной революции XVII столетия, то эпоха Дефо, порожденная этой революцией,— начало современного буржуазного мира. Поэтому в собственном, хотя и расширительном, смысле слова Дефо (1660—1731) — современный писатель.

Дефо сравнивал себя с Шекспиром: та же среда и та же судьба, только «за вычетом дарования» (говорил сам Дефо) и сто лет спустя после шекспировских времен. За целый век многое переменилось, и прежде всего положение этой среды. Шекспир — провинциал, пришедший в столицу,— всю жизнь посматривал на горожан с опаской. Дефо родился и вырос в Лондоне, он чувствовал себя в городской сутолоке своим. Шекспир — певец «старой веселой Англии», его мир — «под деревом зеленым», его тянет поохотиться и просто побродить по «зеленым полям». Для Дефо природа — мастерская, он поэтизирует труд, предприимчивость и деловитость. У того и у другого корни уходили в одну и ту же почву — к йоменам (мелкие землевладельцы, торговцы средней руки, зажиточные ремесленники), но — сто лет между ними, и если Шекспир говорил «В бой, стойкие йомены!», то Дефо учит «своих» торговать, путешествовать — короче, вести дела. У него и пираты те же предприниматели; его «джентльмены удачи» занимаются преимущественно подсчетом выручки. Не предвидится поживы — они уходят от схватки. «Романтика моря» интересует их меньше всего. Характерно, что многие персонажи Дефо, выйдя в море, мучатся морской болезнью. Кажется, сам Дефо страдал ею, но под его пером это становится символическим: мутит, не по себе, противно, однако что поделаешь! Персонажи Дефо идут в море не по призванию, а по расчету, идут, чтобы вернуться «другими людьми», то есть с тугим кошельком.

Среда Дефо — в поколении дедов — поставляла главные силы для революционной армии Кромвеля. Сам Дефо появился на свет вскоре после смерти Кромвеля и одновременно с крушением республики. Детство, юность и ранняя молодость Дефо,— все это время его сословию приходилось как бы заново отстаивать позиции, добытые в кровопролитной борьбе. К двадцати годам Дефо сам становится в ряды борцов. Его позиция?

Есть у него одна книга, второстепенная, но, как это бывает с второстепенными книгами, она «выдает» автора, хотя, по обыкновению Дефо, автор скрыт под маской «беспристрастного» рассказчика. Книга так и называется: «Беспристрастная история царя Петра Алексеевича», то есть Петра Первого. Автор горячо сочувствует государственному деятелю, который, как «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Сочувствие начинается с мотивов личных. Петр отправился изучать ремесла на родину предков Дефо. Это ведь соплеменники Дефо, голландцы, бежавшие в Англию от религиозных преследований, научили англичан обрабатывать шерсть, делать сукно, что и принесло Англии на века мировую силу и славу. Нравится Дефо в Петре и презрение к условностям, так сказать, принцип дела: нужно для дела, и Петр переодевается в костюм плотника. От мелочей до общего пафоса его деятельности Дефо заодно с Петром — во имя прочной государственности и прогресса.

Жизнь Дефо — это длинная цепь подъемов и падений: приближенность к высшим сферам политики и неоднократные тюремные заключения, популярность боевого публициста и гражданская казнь у позорного столба, невероятный литературный успех и полное лишений существование, в подполье, под чужим именем, в страхе за свою судьбу. Ему было под шестьдесят, за плечами осталось по меньшей мере сорок лет литературного труда, фактически жизнь была прожита, когда началась для него совершенно новая жизнь и — бессмертие.

Более трехсот пятидесяти произведений принадлежит Дефо. Из этого списка, который сам по себе представляет целую книгу, все знают одно название, одно имя — Робинзон Крузо. Это даже не книга и не персонаж, а нечто большее: человек-миф, от века к веку он существует, испытывая новые приключения, обрастая легендами.

История книги такова.

В начале XVIII столетия испытанный «морской волк» адмирал Вильям Дампьер отправился в Тихий океан на типичный по тем временам промысел, который был, в сущности, наполовину узаконенным разбоем. Плаванье как-то не задалось, и по возвращении один из участников этого бурного предприятия (иначе говоря, авантюры или «приключения») опубликовал разоблачительный отчет. Там, в частности, говорилось, что на судах начались беспорядки и люди с них просто бежали. По своей воле на острове Мас-а-Тьерра в архипелаге Хуан-Фернандес, у берегов Чили, остался штурман Александр Селькирк. Прошло с лишком четыре года, и в тех же водах оказалась еще одна полупиратская флотилия под командованием капитана Вудза Роджерса. Александра Селькирка обнаружили случайно, зайдя на

Мас-а-Тьерра за пресной водой. О том, как все это было, Вудз Роджерс рассказал еще три года спустя в своих путевых записках. Рассказал о том же и капитан Кук, шедший вместе с Роджерсом.

Если первое сообщение о судьбе Александра Селькирка, шотландца из города Ларго в графстве Файф, было просто сообщением, то у Роджерса и Кука это уже целые, пусть и небольшие, повествования. Историки литературы правы, когда говорят, что два капитана взглянули на судьбу Селькирка совершенно по-разному. «Моряк как моряк, прилагал все усилия, чтобы остаться в живых»,— так сказал Кук. Роджерс извлек из той же истории определенный урок. Тем более Селькирк превратился в «героя дня», когда за перо взялся знаменитый публицист Ричард Стиль, и тогда история Селькирка стала уже законченным произведением — очерком. Под пером опытного литератора наметился облик человека, выдержавшего необычное испытание.

Итак, Дефо взялся за хорошо известный факт. Переменил имя героя. «Перенес остров» из Тихого океана в Атлантический. Отодвинул время действия примерно на пятьдесят лет назад. Увеличил срок пребывания героя на острове в семь раз, а само повествование против прежних — на сотни страниц.

Суть, конечно, не в количестве страниц. Дефо, сам, насколько известно, ни разу не ходивший в дальние плаванья, рассказал о том, чего не мог рассказать ни Кук, ни Роджерс, ни Селькирк, со слов которого писал очерк Ричард Стиль. «Приключения Робинзона» поведали о том, как пережил одиночество «моряк из Йорка».

Когда в обиходе упоминают имя Робинзона, то обычно имеют в виду человека на необитаемом острове или, в расширительном значении, одинокого человека, отрезанного от всего мира, то есть указывают ситуацию, а не черту характера. В самой же этой ситуации, определяя ее особенности, можно выделить романтику или поэзию обстоятельств, постоянно осязаемую. Суровую поэзию, которая возбуждает особое чувство сопричастности всему, что делает Робинзон, превращая поначалу в целях самосохранения, а затем и самоутверждения остров Отчаяния в остров Надежды. Эти цели в чрезвычайных и в то же время каждому человеку чем-то, какой-то стороной знакомых, что-то знакомое напоминающих, обстоятельствах требуют от Робинзона совершенной сосредоточенности всех его духовных и физических сил, вдохновенности мысли и деяния, широкого и трезвого взгляда, точного расчета, быстрого соображения и деловитости. Переживаниям Робинзона чужда вялость, аморфность, неопределенность,— напротив, они полны живой силы и остроты, каждое мгновение для него — насыщенная смыслом реальность.

Поставьте в любое из положений, испытанных Робинзоном, шекспировского героя, и получите монолог, раздумье, смятенность. Вот на разбитом корабле Робинзону попадаются деньги. Если бы на его месте был шекспировский Тимон, то он бы сказал:

Что вижу? Золото? Ужели правда?
Сверкающее, желтое... Нет-нет,
Я золота не почитаю...
и т. д.

На целую страницу размышлений. Заканчивается это все, впрочем, практическим соображением:

Постой! Возьму
Немного я себе на всякий случай.

Робинзон «редактирует» ситуацию. Он как бы вычеркивает монолог, ограничиваясь репликой: «Негодный мусор!» После чего кладет деньги в карман. Правда, он говорит, что сделал так «поразмыслив», но его размышления — расчет, а не муки совести.

Оказавшись один на необитаемом острове, герой Дефо переживает тягостные душевные состояния, впадает в отчаяние, дрожит от страха, но, какие бы мрачные чувства он ни испытывал, с какой бы степенью напряжения ни переживал их, он не теряет основ душевного равновесия и способности к активной целенаправленной деятельности.

Есть нечто в характере Робинзона, что позволило ему по-робинзоновски выдержать испытание одиночеством на необитаемом острове и не утратить тягу к людям, потребность социального общения. Робинзон — производное демократической среды, в его характере отражен опыт трудового люда и концепция человека, свойственная демократической мысли эпохи Просвещения. «Как ни тягостны были мои размышления, рассудок мой начинал мало-помалу брать верх над отчаянием». Уже здесь видна существенная устремленность робинзонова духа и его точка опоры: чувство действительности, трезвая оценка обстоятельств, сознание того, что если человек, пережив катастрофу, уцелел, то жить ему нужно и надо искать достойный выход из любого тягостного положения. Ход жизнеутверждающих размышлений принимает у Робинзона своеобразную форму. Он ведет счет горестному и отрадному в своей жизни, злу и добру, «словно должник и кредитор». «Я заброшен судьбой на мрачный, необитаемый остров и не имею никакой надежды на избавление»,— записывает он в графе «зло» и сразу противопоставляет ему «добро»: «Но я жив, я не утонул, подобно всем моим товарищам». Можно по-разному относиться к «нравственной бухгалтерии» Робинзона, к логике его мысли, нельзя не отметить ее сухой, расчетливой трезвости, холодного спокойствия, с каким упомянуты погибшие товарищи. Можно увидеть в этом отпечаток жестокой практики буржуазных отношений, но все же трудно отрицать, что в сути своей размышления Робинзона, оказавшегося в чрезвычайных обстоятельствах, не повинного в совершившемся зле,— это здравые размышления нормального человека, преодолевающего приступы отчаяния.

«Горький опыт человека, изведавшего худшее несчастье на земле, показывает, что у нас всегда найдется какое-нибудь утешение, которое в

счете наших бед и благ следует записать в графу прихода». Взятый отвлеченно вывод рассудительных размышлений Робинзона может побудить человека мириться с любым несчастьем и злом, хотя и в самом деле «во всяком зле можно найти добро», как говорит тот же Робинзон, и пословица «Нет худа без добра» выражает народную мудрость и сложность применения к жизни однозначных нравственных оценок.

Практическая рассудительность Робинзона соединяется с религиозно-философской мыслью о благом провидении, божьем промысле, в ней он ищет разъяснения контрастам жизни, трагическим судьбам, опору нравственности, повод для религиозно-нравственных назиданий. Робинзон не может обойтись без этих назиданий, свидетельствуя о своей принадлежности к английской пуританской среде и XVII веку. Он действует как истый сын своей страны, своего времени и своей среды, когда с потонувшего корабля наряду с практически необходимыми предметами берет в качестве основной духовной пищи, «лекарства для души», Библию в трех экземплярах и в любую минуту из деловитого ремесленника готов превратиться в ремесленного проповедника. Вместе с тем он способен не только соединить выводы здравого смысла со Священным писанием, но столь же легко и свободно разъединить их «по здравом размышлении» и в практических целях.

Когда Робинзон увидел на «безотрадном острове» стебельки ячменя и риса, он приписал это божественному чуду, воспарил душой, стал думать о благом провидении, однако религиозное умиление и слезы ни на секунду не застили его способности мыслить практически, учитывая живой опыт. «Я не только подумал,— записывает в своем дневнике Робинзон,— что этот рис и этот ячмень посланы мне самим провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще где-нибудь». Сколь откровенен и значителен в этой записи противительный союз «но», как много он поясняет в душевном состоянии Робинзона, в логике его мысли и, так сказать, в структуре его сознания! Потребность разглагольствовать на библейские темы и заниматься проповедью возрастает у Робинзона по мере того, как он осваивается в непривычной обстановке, самоутверждая себя на диком острове. Проповедь его чурается всего, что колеблет наивную веру, обходит острые углы, она прагматична, предпочитает не рассматривать, говоря словами Горацио, друга Гамлета, «слишком пристально» сомнительные положения отвлеченной мудрости, дабы не подрывать основ воспринятого убеждения. С наибольшей наглядностью эта особенность веры обнаруживает себя в душеспасительных беседах Робинзона с Пятницей, когда проповедник встает в тупик перед разумными сомнениями своего ученика. Он спешит уклониться от продолжения беседы, «придумывая» подходящий предлог...

«Робинзон Крузо» — первый классический английский роман, который можно назвать «историей современника». Дефо обладал поразительным чутьем современности. Именно потому, что мир его был еще мо-

лод, он старался уловить, куда же пойдет рост, какими путями продолжится начавшееся у него на глазах движение. Дефо занимался составлением различных проектов, и некоторые из них были буквально использованы в общественной жизни Англии (например, в области образования и торговли).

Как человек практический, торговый, Дефо зорко следил за тем, в каких направлениях расширяет свои географические границы современный ему мир. Не говоря о Тихом океане и Америке, он вместе со своими героями совершил (в романе «Капитан Сингльтон») воображаемое и вместе с тем необычно «меткое» путешествие — в Центральную Африку, хотя в его времена в эту сторону еще, так сказать, и не смотрели. И в том же романе пираты находят остатки экспедиции и записку: «Мы шли к Северному полюсу». Эпизод повис в воздухе, осталась какая-то недоговоренность, но, кажется, этой неопределенности впечатления Дефо и добивался: он чувствовал, что туда, к полюсу, еще пойдут, но когда и зачем, на эти вопросы ответить под силу было только самому времени.

Нужно, конечно, смотреть на Дефо слишком уж современными глазами, чтобы вычитать в его книгах то, что в самом деле характерно для современной прозы и называется «подтекстом». Нет, подтекст у Дефо вычитать нельзя. Можно разве «вчитать» в его книги подтекст, навязать Дефо несвойственный ему прием. Но, безусловно, Дефо знал силу недоговоренности, силу не только точно сказанного, но и оставшегося невысказанным. Причем, как и во всяком подлинно глубоком подтексте, у Дефо это не какая-то многозначительная гримаса, а истинная невыразимость, историческая недосказанность, незавершенность процесса, только еще угаданного автором.

* * *

«Выдумывать достовернее правды» — таков был принцип Дефо-писателя. Это, на свой лад сформулированный, закон творческой типизации. «Он мог,— пишет биограф о Дефо,— дать достоверный отчет о событиях, а если событий никаких не было, он мог столь же достоверно их выдумать». Автор «Робинзона» был мастером правдоподобной выдумки. Он умел соблюдать то, что уже в позднейшие времена стали называть «логикой действия» — убедительность поведения героев в обстоятельствах вымышленных или предполагаемых.

Допустим, шторм... И Дефо составляет книгу-отчет о невероятном урагане (за полтора десятка лет до «Робинзона»). Или — привидение! Историю с привидением Дефо изложил правдоподобно настолько, что так и не могут разобраться, выдумано ли все здесь от начала до конца или же действительно что-то кому-то померещилось. Однажды Дефо написал памфлет, направленный против себя самого, он «выдумал» себе противника. «Разоблачение» удалось до такой степени, что Дефо поставили к позорному

столбу. Он, конечно, не хотел такого результата. «Автор искренне думал, когда писал, что ему не придется оправдывать себя»,— огорчался Дефо. Но, в сущности, он лишний раз подтвердил свое умение «правдиво выдумывать».

Публика, для которой предназначал свои сочинения Дефо, не привыкла к выдумкам. Авторитет печатного слова учрежден был Священным писанием — «словом истинным», и такая же истинность, каноническая, требовалась от каждой книги. Всякая книга должна была наставлять на «путь истинный», поучая или сообщая полезные сведения. Читали и «выдумки», хотя в среде Дефо это не поощрялось, но уж, по крайней мере, зная, что — выдумки.

«Правда» против «вымысла» — таков путь движения литературы нового времени, реакция на средневековый роман и поэзию, полные чудес, фантазии, небывальщины. Вымысел и не должен был походить на «каждый день». Еще в шекспировскую эпоху не очень-то увлекались «правдой». Публика из разных слоев общества предпочитала невероятное, чрезмерное, потрясающее, героическое и, вместе с тем, освященное авторитетом предания, того, что *было*. Словом, все, на чем помешался Дон Кихот и чем завоевал сердце Дездемоны благородный мавр, рассказывая удивительную и в то же время достоверную повесть своей судьбы.

Пуританская традиция, на которой вырос Дефо и которая становилась в английской духовной жизни господствующей, все это отвергала. Если учесть, сколько же нужно было отвергнуть как «вымысел» и «вред», то получалась фактически художественная литература как таковая — ее по-английски издавна обозначают словом «вымысел». Как «разврат» пуритане преследовали театр, о чтении романов говорили — «предаваться пороку». Они доходили в этом до изуверства, до крайностей доктринерства. Но, с другой стороны, в самом деле традиция «чудес» отживала свое.

Вспомним, как в первом из романов нового времени, в «Дон Кихоте», поступают с романами рыцарскими. Они летят в огонь. Ключница, священник, цирюльник, люди неискушенные, вершат это аутодафе, но в их суждениях слышен и голос самого автора. Ведь они разборчивы, очень даже разборчивы: не книги как таковые жгут, а подводятся итоги определенной литературной традиции. Истинное отделяется от эпигонства, оригинал от подражанья. Приговор выносится с точки зрения исторической: что в своем роде (и в свое время) было хорошо, надлежит пощадить, оставить на полке, а если это одна только напыщенность и нелепость — в огонь! И читать этого не следует, да и писать так уже нельзя! — вот критический вывод из знаменитой сцены сожжения книг в «Дон Кихоте».

Дефо, видевший в «Дон Кихоте» образец, по-своему искал решения дилеммы, которую перед писателем нового времени поставил Сервантес. Ведь он «выдумал» Дон Кихота, а в то же время это — правда.

«Ваше сочинение,— говорят автору в «Дон Кихоте»,— имеет целью разрушить доверие, которым пользуются рыцарские книги». Да, разрушить или

закрыть одну и создать другую традицию доверия к книгам. Доверие к рыцарским книгам зиждилось на авторитете предания. Сервантес, напротив, выдумал все сам, и, не скрывая этого, он вступает с читателем в литературную игру по новым правилам.

Дефо находился в другой стране, в другое время и перед другой аудиторией, где вымысла не признавали в принципе, где творческая игра фантазии считалась занятием праздным и порочным. Поэтому, начиная со своими читателями, в сущности, ту же игру, что и Сервантес [1], Дефо не решился объявить об этом прямо. «В этой книге нет и капли вымысла»,— говорит он от лица редактора, которым прикинулся он так же, как прежде прикидывался собственным врагом.

«Приключениям Робинзона» и простодушно верили, и восхищались сознательной ложью автора, его критиковали, уличая в плагиате и всяческих несуразностях, и ему же подражали, создавая новые «Приключения». Самым замечательным разоблачением книги Дефо был роман, который по достоинству встал рядом с «Робинзоном». Это — «Путешествия Гулливера». Ведь Робинзон и Гулливер — соперники, литературные соперники. Дефо уверял, что все описанное им правда; тогда, чтобы показать, что это — выдумка, создал — тем же способом — свою книгу Свифт.

Гулливер — зять Дефо,— так это придумано у Свифта. Он женил своего героя на дочери «галантерейщика из Сити» — очевидный намек, поскольку так назывался автор «Робинзона»,— ведь его основным занятием была торговля, в том числе подтяжками и духами. Свифт сделал Гулливера дальним родственником прославленного капитана Дампьера, и это опять намек, ибо Дефо уверял, будто в жилах его течет кровь Уолтера Ралея, знаменитого мореплавателя шекспировских времен. Есть и другие параллели. Но Свифт насмехался не только над Дефо и Робинзоном. «Высокий ум» иронизировал над простодушием читателей, понимавших искусство только в форме бытового правдоподобия. Однако же сам Свифт создал «Путешествия», удивительные по впечатлению правдоподобия, и — парадоксальным образом подтвердил силу реализма Дефо.

«Подлинность», творчески созданная, оказалась несокрушима. Даже ошибки в морском деле и географии, даже несогласованность в повествовании Дефо скорее всего допускал сознательно, ради все того же правдоподобия, ибо самый правдивый рассказчик в чем-нибудь да ошибается! Сервантес, на которого ориентировался Дефо, так и говорил, делая наме-

---

[1] Иногда Дефо прямо подражал автору «Дон Кихота». «Говорили,— пишет, например, Сервантес о своем герое,— что назывался он Кихада или Кесада, но, по более верным догадкам, имя его было, кажется, Кихана». И ту же игру с именем и вообще в правдоподобие подробностей и деталей ведет Дефо. «Мне дали имя Робинзон, отцовскую же фамилию Крейцнер англичане, по обычаю своему коверкать иностранные слова, переделали в Крузо».

ренные ошибки: «Это и неважно, главное, не отступать от истины». Разумеется, речь идет об истине искусства, создаваемой объединенными усилиями наблюдательности и воображения. Дефо не раскрывал своих повествовательных принципов, но следовал он им неукоснительно.

* * *

После «Робинзона Крузо» Дефо писал роман за романом. Он стал профессионалом, то есть сделал литературу средством к существованию. Дефо одним из первых занялся писанием романов как ремеслом, и сразу же на его примере обнаружили себя выгодные и проигрышные особенности литературного ремесла. Вторая часть первой его книги — так называемые «Дальнейшие приключения Робинзона» — получилась уже гораздо менее увлекательной, а третья часть — «Серьезные размышления Робинзона» — вовсе не удалась. «Ничего, равного первой части «Робинзона», у него, конечно, нет, но кое-что хорошее есть во всем им написанном» — это сказал современник о Дефо и не ошибся.

1722-й год был особенно плодотворным для Дефо. Он написал тогда одну за другой три книги — каждая положила начало особой традиции.

По историческим материалам, по свидетельствам очевидцев, отчасти и по своим собственным воспоминаниям, хотя бы очень смутным, детским, Дефо составил «Дневник чумного года». Он показал, как надо восстанавливать в художественном повествовании ушедшую эпоху, его «Дневник» — первый исторический роман. Вальтер Скотт, «отец исторического романа» (Дефо в таком случае «праотец»), восхищался этой книгой. А мы знаем ее косвенно через пушкинский «Пир во время чумы». Наблюдатель, стоящий «бездны мрачной на краю», это и есть та повествовательная позиция, с которой вел простой, а вместе с тем напряженный и местами жуткий рассказ Дефо, подписавший свой репортаж, впрочем, всего двумя буквами — Г. Ф., в честь дяди Генри Фо, шорника, который сам пережил чуму и рассказал о ней во всех подробностях племяннику.

В том же замечательном для него году Дефо выпустил «Моль Флендерс» и, наконец, «Полковника Джека». Благодаря этим двум книгам он признан был родоначальником социального и психологического романа.

В «Полковнике Джеке» Дефо впервые обнаружил свое авторство. На титульном листе он указал: «Написано автором «Робинзона Крузо». Но при чем тут «автор», если книга-то написана от лица некоего Жака (или Джека)? Дефо это противоречие, видимо, не заботило, и он знал, что имя Робинзона только привлечет читателей.

Автор не счел нужным устранить противоречие и более существенное, уже в самой книге.

В заглавии обещано, что Джек будет участвовать в войнах и сделается генералом. Но в романе ничего подобного не происходит! Вместо того чтобы отличиться на полях сражений, Джек разводит табак на Виргинских план-

тациях. Дефо своих обещаний не забыл, просто политическая обстановка переменилась.

Дефо, видно, хотел сделать Джека фигурой романтической. Джек должен был принять участие в мятеже якобитов, сторонников шотландского короля Якова, который время от времени угрожал захватить английский трон. Опасность была позади, когда Дефо принимался за роман, но вдруг, в конце 1722 года, якобиты опять стали собирать силы. Тут уж было не до повествовательной романтики, и Дефо, чтобы не оказаться превратно понятым, переменил сюжет.

Сам Дефо якобитам нисколько не сочувствовал. Это он, по заданию правительства, провел в Шотландии немало времени, подвергаясь опасностям, терпя нужду и позор ради того, чтобы разведать политическую атмосферу и помешать шотландским отщепенцам. Стало быть, героем романа Дефо, стремившийся быть беспристрастным, намеревался сделать врага того дела, которому сам служил. Обстоятельства, переменившие замысел, не от него зависели.

Обличье «редактора», который не писал, а только напечатал попавшую к нему рукопись, разве что «подправив слог», а в исповеди Робинзона «редактор» ни строчки не переменил, на этот раз было снято, но зато автор отстранился от своего героя политически. Джек не на его стороне, однако репортерски деловитого тона в отношении к нему Дефо не меняет ни на минуту.

Особый интерес в романе «Полковник Джек» вызывает описание детства Джека, единственное во всех романах Дефо столь подробное описание ранних лет героя, формирующих характер. Дефо первый в литературе рассказал о тяжелом детстве. Начало его романа невольно приходит на память при чтении диккенсовского «Оливера Твиста». Знал ли Диккенс «Полковника Джека», не под его ли влиянием написаны страницы о горестном детстве Оливера Твиста? На этот счет нет точных сведений, в то время как мнение Диккенса о Дефо известно. Это мнение — критическое, столь же характерно критическое, как ирония Свифта по поводу «достоверности» истории Робинзона.

С точки зрения Диккенса, Дефо писатель «бесчувственный», иначе говоря, не умеет изображать чувств и вызывать их у читателя, за исключением одного — любопытства: а что будет дальше? «Посмотрите,— говорил Диккенс,— как описана у него смерть Пятницы: мы не успеваем пережить ее». Пятница погибает в самом деле как-то неожиданно и наспех, в двух строках. Правда, происходит это уже во втором, неудачном, томе, но и в первой книге самые знаменитые эпизоды умещаются в нескольких строках, в немногих словах. Охота на льва, сон на дереве и, наконец, тот момент, когда Робинзон на нехоженой тропе видит след человеческой ноги,— все очень кратко. Иногда Дефо пытается говорить о чувствах, но мы как-то и не помним этих его чувств. Зато страх Робинзона, когда, увидевши след на тропе, спешит он домой, или радость, когда слышит он зов ручного попу-

гая, запоминается и, главное, кажется подробно изображенным. По крайней мере, читатель узнает об этом все, что нужно знать, все, чтобы было интересно.

Таким образом, «бесчувствие» Дефо — вроде гамлетовского «безумия», методическое. Как и «подлинность» робинзоновых «Приключений», это «бесчувствие» от начала и до конца выдержанное, сознательно созданное. Другое название тому же «бесчувствию» выше уже упомянуто — беспристрастие. Позицию беспристрастного хроникера-аналитика Дефо старался выдержать и по отношению к тем, кому он, как Робинзону или «Петру Алексеевичу», сочувствовал, и по отношению к тем, кто, в сущности, был ему чужд и даже враждебен [1]. Дефо не порицает и не оплакивает своих героев, он исследует их судьбы.

Горький, вспомнив однажды Дефо и его «отношение к униженной личности», предложил сопоставить это отношение — нет, не с Диккенсом или Достоевским, но с либеральной модой на сочувствие к «униженным и оскорбленным», с поверхностным состраданием к «отверженным», свойственное эпигонской литературе XIX столетия. «Освободиться от прошлого, очистить душу от биографии»,— вот как, по словам Горького, действовала эта мода, эта инерция, которую Горький назвал, кроме того, «нехорошей ложью» [2]. Восхищаясь Дефо, Горький видел в нем классический пример истинного внимания к личности на основе прошлого и биографии. Он оценил пусть стихийный, однако всепроникающий историзм, социальность Дефо во взгляде на человека.

Неутомимый читатель, Горький раскрыл Дефо и не нашел у него некоего «человека» вообще или же «естественного человека», обычно приписываемого Дефо. Напротив, Горький увидел конкретно обрисованных людей своей страны и своей эпохи, эпохи коренного социального переустройства, а эти люди, персонажи Дефо, переустройству способствуют или, по крайней мере, пользуются его результатами. Каждый из них глубоко сознает, кто он, из какой среды вышел, какие преимущества отпущены ему судьбой и чего должен он добиваться собственными силами, насколько, против нынешнего его состояния, следует ему сделаться «другим». Правда, у большинства из них биографии свойства сомнительного, прошлое — темное, так что и умолчать о нем хотелось бы, коль скоро, если судить по кафтану и кошельку, человек стал «другим». Однако же, как на грех, эти саморазоблачитель-

---

[1] В «Записках кавалера» Дефо добился такой иллюзии подлинности, что долго эти «Записки» значились в ряду настоящих мемуаров. Маркс, не обманувшийся, конечно, относительно беллетристического характера этого сочинения, тем не менее отметил их верность эпохе, которая и для Дефо была достаточно далеким прошлым,— 30-е годы XVII столетия, времена гражданской войны в Англии. Сражался «кавалер», разумеется, не на стороне тех политических сил, которые впоследствии поддерживал Дефо.

[2] См.: М. Горький. История русской литературы. М., «Художественная литература», 1939, с. 167—168.

ные исповеди попадают в руки «редактора» или «автора «Робинзона Крузо» и — предаются гласности.

Не изменись политическая обстановка, а вместе с нею и сюжет романа, бродяга Джек сделался бы генералом, как стала почтенной дамой авантюристка Моль Флендерс и богатым купцом — бывший морской грабитель, пират Сингльтон. Пройдя через приключения, они добиваются удачи (по-английски то же слово, что и «богатство»), получая возможность заняться другим делом. В какой мере становятся они другими людьми,— об этом предоставлено судить читателю на основе подробнейшим образом разобранного прошлого, биографии, умело отредактированной исповеди.

В каждом из своих «редакторских» предисловий Дефо подчеркивал, что редактура касалась слога, кое-каких слишком уж откровенных подробностей и, во всяком случае, не затрагивала существа дела, смысла излагаемой судьбы. А «естественный человек» — это в самом деле редактура, ретушь более позднего времени, наложенная на книги Дефо и получившая распространение подобно тому, как вместо Гамлета получил распространение гамлетизм.

«Это состояние не есть состояние общественного человека»,— говорил о судьбе Робинзона сорок лет спустя Руссо, влиятельнейший истолкователь Дефо, основоположник идеи «естественного» состояния. Автор «Робинзона» не согласился бы с этим. Он как бы предвосхитил возможность такого истолкования своей книги и в «Серьезных размышлениях» подчеркнул, что одиночество, остров не составляют решающих условий формирования Робинзона и ему подобных. «Ибо можно со всей основательностью утверждать,— говорил Дефо,— что человек бывает одинок среди толпы, в гуще людской и деловой сутолоке». «Одиночество» Робинзона — это как раз состояние общественное, исторически-конкретное «одиночество» в буржуазной борьбе «всех против всех», о которой толковал Томас Гоббс, философ, старший современник Дефо, оказавший на него заметное влияние.

В этом смысле каждый персонаж Дефо — Робинзон, вне зависимости от того, затерян ли он в океане или же в море житейском. Каждый дает пример «состояния общественного», ибо у Дефо не только человек, но даже бог — это не вообще господь, а бог пуританский: робинзонова вера имеет отчетливую и социальную и политическую направленность.

Герой Дефо сделался живым воплощением представлений просветителей о современном им человеке как о человеке «естественном», «не исторически возникшем, а данном самой природой» (Маркс) [1]. «Робинзон Крузо» послужил источником многочисленных, литературных и осуществляемых в самой жизни робинзонад. Но ведь герой Дефо не «исходный пункт» истории, он пользуется опытом и достижениями цивилизации, и его сознание

[1] Маркс и Энгельс. Сочинения, т. 12, с. 710.

обнаруживает всестороннюю зависимость от определенных социальных условий.

Очутившись на острове, вынужденный как бы заново и на пустом месте начинать жизнь, Робинзон, по словам одного критика, «осмотрелся и стал жарить бифштексы». Иначе говоря, всеми силами постарался сохранить привычки «домашние», исконно ему свойственные. Не новую жизнь он начал, а восстанавливал условия, необходимые для продолжения прежней своей жизни. Всякая робинзонада ставила своей целью изменить или хотя бы исправить человека. Исповедь Робинзона рассказывала о том, как вопреки всему человек не изменил себе, остался самим собой. Да, вместо погони за удачей, которой занимался молодой, побуждаемый к тому авантюрным духом времени, Робинзон, тот Робинзон, что жил на острове Отчаяния, добивался всего трудом. Но труд, величественно изображенный Дефо, как и вся жизнь на острове, это в судьбе Робинзона, в сущности, эпизод, этап переходный. Робинзон из дома бежал ради смелого предприятия, он и вернулся к родным берегам тридцать лет спустя торговцем-предпринимателем. Он остался кем был, сыном купца, братом офицера-наемника, моряком из Йорка, родившимся в начале 30-х годов XVII столетия, в эпоху первых грозных знамений грядущей буржуазной революции. И все испытания, выпавшие на его долю, не стерли ни одного родимого пятна в его прошлом, не упразднили значения каждого пункта его биографии. Их, эти пункты, вычеркивают разве что в детских редакциях «Приключений Робинзона». Но не зря Горький советовал, вспоминая Дефо, «Прочтите!» — советовал в ту пору, когда о Дефо судили преимущественно по варианту детскому или по истолкованию Руссо, когда абстрактную робинзонаду отождествляли с конкретным Робинзоном.

Кстати, Горький имел в виду не «Робинзона» даже, а «Моль Флендерс», где социальная подоплека судьбы человеческой была прописана с особенной тщательностью. От романа к роману интерес Дефо к «общественному состоянию» своих персонажей только обострялся — вполне возможно полемически, ибо робинзонады, по признакам «острова» и «одиночества», писались уже при жизни Дефо. Но автор «Робинзона» с каждой книгой создавал фигуры все более социально конкретные. В «Полковнике Джеке» от одной черты начинают три юных характера, имеющих разную социальную подоплеку, разное прошлое и разные биографии в своей предыстории, и в итоге читатель наблюдает три разных результата. Как художник-реалист Дефо проявил поразительную для своего времени зрелость во взгляде на природу человека.

* * *

После Дефо литература, английская и мировая, продолжала свое движение вместе со временем, развивалась, открывала новые средства повествования, изображения анализа, а потом вдруг вспоминала Дефо и возвра-

щалась к нему, как бы сверяясь с нормой. Так, на рубеже прошлого и нынешнего веков прозаики, изощрившиеся в приемах до предела и, казалось бы, далеко ушедшие от Дефо, именно у него нашли много современного. Простой и ясный слог, который сам Дефо называл «домашним», умение смотреть на современность исторически, трезво и проницательно, способность показать современного человека частицей истории,— такова «норма Дефо».

В отличие от Свифта, Дефо не заготовил себе эпитафии. Но прав биограф: в одном некрологе сказано о нем было как раз то, что хотел бы о себе услышать создатель «Робинзона Крузо»: «Он участливо смотрел на все, что происходило вокруг».

М. и Д. УРНОВЫ

ЖИЗНЬ, НЕОБЫКНОВЕННЫЕ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО, МОРЯКА ИЗ ЙОРКА, ПРОЖИВШЕГО ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ В ПОЛНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ, У БЕРЕГОВ АМЕРИКИ, БЛИЗ УСТЬЯ ВЕЛИКОЙ РЕКИ ОРИНОКО, КУДА ОН БЫЛ ВЫБРОШЕН КОРАБЛЕКРУШЕНИЕМ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ВЕСЬ ЭКИПАЖ КОРАБЛЯ, КРОМЕ НЕГО, ПОГИБ, С ИЗЛОЖЕНИЕМ ЕГО НЕОЖИДАННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ПИРАТАМИ. НАПИСАНО ИМ САМИМ

ПЕРЕВОД
М. ШИШМАРЕВОЙ

Я родился в 1632 году в городе Йорке в почтенной семье, хотя и не коренного происхождения: мой отец приехал из Бремена и поначалу обосновался в Гулле, затем, нажив торговлей хорошее состояние, он оставил дела и переселился в Йорк. Здесь он женился на моей матери, которая принадлежала к старинному роду, носившему фамилию Робинзон. Мне дали имя Робинзон, отцовскую же фамилию Крейцнер англичане, по обычаю своему коверкать иностранные слова, переделали в Крузо. Со временем мы и сами стали называть себя и подписываться Крузо; так же всегда звали меня и мои знакомые.

У меня было два старших брата. Один служил во Фландрии, в английском пехотном полку, том самом, которым когда-то командовал знаменитый полковник Локхарт; брат дослужился до чина подполковника и был убит в сражении с испанцами под Дюнкерком. Что сталось со вторым моим братом — не знаю, как не знали отец и мать, что сталось со мной.

Так как в семье я был третьим сыном, то меня не готовили ни к какому ремеслу, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, находясь уже в преклонном возрасте, позаботился, чтобы я получил вполне сносное образование в той мере, в какой его могли дать домашнее воспитание и бесплатная городская школа. Он прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях и слышать не хотел ни о чем другом. Эта страсть моя к морю оказалась столь сильна, что я пошел против воли отца,— более того, против его запретов,— и пренебрег уговорами и мольбами матери и друзей; казалось, было что-то роковое в этом природном влечении, толкавшем меня к злоключениям, которые выпали мне на долю.

Отец мой, человек степенный и умный, догадываясь о моих намерениях, предостерег меня серьезно и основательно. Прикованный подагрой к постели, он позвал меня однажды утром в свою

комнату и с жаром принялся увещевать. Какие другие причины, спросил он, кроме склонности к бродяжничеству, могут быть у меня для того, чтобы покинуть отчий дом и родную страну, где мне легко выйти в люди, где я могу прилежанием и трудом увеличить свой достаток и жить в довольстве и с приятностью? Отчизну покидают в погоне за приключениями, сказал он, либо те, кому нечего терять, либо честолюбцы, жаждущие достичь еще большего; одни пускаются в предприятия, выходящие из рамок обыденной жизни, ради наживы, другие — ради славы; по подобные цели для меня или недоступны, или недостойны; мой удел — середина, то есть то, что можно назвать высшею ступенью скромного существования, а оно, как он убедился на многолетнем опыте, лучше всякого другого на свете и более всего для счастья приспособлено, ибо человека не гнетут нужда и лишения, тяжкий труд и страдания, выпадающие на долю низших классов, и не сбивают с толку роскошь, честолюбие, чванство и зависть высших классов. Насколько приятна такая жизнь, сказал он, можно судить хотя бы по тому, что все остальные ей завидуют: ведь и короли нередко жалуются на горькую участь людей, рожденных для великих дел, и сетуют, что судьба не поставила их между двумя крайностями — ничтожеством и величием, и даже мудрец, который молил небо не посылать ему ни бедности, ни богатства, тем самым свидетельствовал, что золотая середина есть пример истинного счастья.

Стоит только понаблюдать, уверял меня отец, и я пойму, что все жизненные невзгоды распределены между высшими и низшими классами и что реже всего их терпят люди умеренного достатка, не подверженные стольким превратностям судьбы, как высшие и низшие круги человеческого общества; даже от недугов, телесных и душевных, они защищены больше, чем те, у кого болезни порождаются либо пороками, роскошью и всякого рода излишествами, либо изнурительным трудом, нуждой, скудной и дурной пищей, и все их недуги не что иное, как естественные последствия образа жизни. Среднее положение в обществе наиболее благоприятствует расцвету всех добродетелей и всех радостей бытия; мир и довольство — слуги его; умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия — его благословенные спутники. Человек среднего достатка проходит свой жизненный путь тихо и безмятежно, не обременяя себя ни физическим, ни умственным непосильным трудом, не продаваясь в рабство из-за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, которые лишают тело сна, а душу — покоя, не страдая от зависти, не сгорая втайне огнем честолюбия. Привольно и легко скользит он по жизни, разумным образом вкушая сладости бытия,

не оставляющие горького осадка, чувствуя, что он счастлив, и с каждым днем постигая это все яснее и глубже.

Затем отец настойчиво и чрезвычайно ласково стал упрашивать меня не ребячиться, не бросаться очертя голову навстречу бедствиям, от которых сама природа и условия жизни, казалось, должны меня оградить. Ведь я не поставлен в необходимость работать из-за куска хлеба, а он приложит все старания, чтобы вывести меня на ту дорогу, которую советует мне избрать; если же я окажусь неудачником или несчастным, то мне придется пенять лишь на злой рок или на собственные оплошности. Итак, он предостерег меня от шага, который не принесет мне ничего, кроме вреда, и, исполнив таким образом свой долг, слагает с себя всякую ответственность; словом, если я останусь дома и устрою свою жизнь согласно его указаниям, он будет мне заботливым отцом, но ни в коем случае не станет способствовать моей погибели, поощряя к отъезду. В заключение он привел в пример моего старшего брата, которого он так же настойчиво убеждал не принимать участия в нидерландской войне, но все уговоры оказались напрасными: юношеские мечтания заставили моего брата бежать в армию, и он погиб. И хотя, закончил отец, он никогда не перестанет молиться обо мне, но берется утверждать, что, если я не откажусь от своих безумных намерений, на мне не будет благословения божия. Придет время, когда я пожалею, что пренебрег его советом, но тогда, может статься, некому будет прийти мне на выручку.

Я видел, как в конце этой речи (она была поистине пророческой, хотя, я думаю, отец мой и сам этого не подозревал) обильные слезы заструились по лицу старика, особенно когда он заговорил о моем убитом брате; а когда батюшка сказал, что придет время раскаяния, но помочь мне уже будет некому, то от волнения голос его дрогнул, и он прошептал, что сердце его разрывается и он не может больше вымолвить ни слова.

Я был искренне растроган этой речью (да и кого бы она не тронула?) и твердо решил не думать более об отъезде в чужие края, а остаться на родине, как того желал мой отец. Но увы! Через несколько дней от моей решимости не осталось и следа: короче говоря, через несколько недель после моего разговора с отцом я во избежание новых отцовских увещаний решил бежать из дому тайком. Я сдержал пыл своего нетерпения и действовал не спеша: выбрав время, когда моя мать, как мне показалось, была в более добром расположении духа, чем обычно, я отвел ее в уголок и признался, что все мои помыслы подчинены желанию повидать далекие края, и что, если даже я и займусь каким-либо делом, у меня все равно не хватит терпения довести его до конца, и что пусть лучше отец отпустит меня добровольно, иначе я буду

вынужден обойтись без его разрешения. Мне уже восемнадцать лет, сказал я, а в эти годы поздно учиться ремеслу, и если бы даже я поступил писцом к стряпчему, то знаю наперед — я убежал бы от своего патрона, не дотянув до конца обучения, и ушел в море. Но если бы матушка уговорила отца хоть единожды отпустить меня в морское путешествие; ежели жизнь в море придется мне не по душе, я вернусь домой и не уеду более; и я могу дать слово, что удвоенным прилежанием наверстаю потерянное время.

Мои слова сильно разволновали матушку. Она сказала, что заговаривать с отцом об этом бесполезно, ибо он слишком хорошо понимает, в чем моя польза, и никогда не даст согласия на то, что послужит мне во вред. Она просто изумлена, что я еще могу думать о подобных вещах после моего разговора с отцом, который убеждал меня так мягко и с такой добротой. Конечно, если я твердо решил себя погубить, тут уж ничего не поделаешь, но я могу быть уверен, что ни она, ни отец никогда не согласятся на мою затею; сама же она нисколько не желает содействовать моей гибели, и я никогда не буду вправе сказать, что моя мать потакала мне, в то время как отец был против.

Впоследствии я узнал, что хотя матушка и отказалась ходатайствовать за меня перед отцом, однако передала ему наш разговор от слова до слова. Очень озабоченный таким оборотом дела, отец сказал ей со вздохом: «Мальчик мог бы жить счастливо, оставшись на родине, но если он пустится в чужие края, он станет самым жалким, самым несчастным существом на свете. Нет, я не могу на это согласиться».

Прошел без малого год, прежде чем мне удалось вырваться на волю. В течение этого времени я упорно оставался глух ко всем предложениям заняться делом и часто пререкался с отцом и матерью, которые решительно противились тому, к чему меня столь сильно влекло. Однажды, когда я находился в Гулле, куда я попал случайно, без всякой мысли о побеге, один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на корабле своего отца, стал уговаривать меня ехать с ним, соблазняя, как это водится у моряков, тем, что мне ничего не будет стоить проезд. И вот, не спросившись ни у отца, ни у матери, не уведомив их ни словом и предоставив им узнать об этом как придется, не испросив ни родительского, ни божьего благословения, не принимая в расчет ни обстоятельств, ни последствий, в недобрый — видит бог! — час, 1 сентября 1651 года, я взошел на борт корабля, отправлявшегося в Лондон. Надо полагать, никогда несчастья и беды молодых искателей приключений не начинались так рано и не продолжались так долго, как мои. Не успел наш корабль выйти из устья Хамбера, как подул ветер, вздымая огромные, страшные волны. До тех пор я ни-

когда не бывал в море и не могу описать, как худо пришлось моему бедному телу и как содрогалась от страха моя душа. И только тогда я всерьез задумался о том, что я натворил, и о справедливости небесной кары, постигшей меня за то, что я так бессовестно покинул отчий дом и нарушил сыновний долг. Все добрые советы моих родителей, слезы отца и мольбы матери воскресли в моей памяти, и совесть, которая в то время еще не успела окончательно очерстветь, терзала меня за пренебрежение к родительским увещаниям и за нарушение обязанностей перед богом и отцом.

Между тем ветер крепчал, и на море разыгралась буря, которая, впрочем, не шла в сравнение с теми, что я много раз видел потом, ни даже с той, что мне пришлось увидеть несколько дней спустя. Но и этого было довольно, чтобы ошеломить меня, новичка, ничего не смыслившего в морском деле. Когда накатывалась новая волна, я ожидал, что она нас поглотит, и всякий раз, когда корабль падал вниз, как мне казалось, в пучину или бездну морскую, я был уверен, что он уже больше не поднимется на поверхность. И в этой муке душевной я неоднократно решался и давал себе клятвы, что, если господу будет угодно сохранить на сей раз мне жизнь, если нога моя снова ступит на твердую землю, я тотчас же вернусь домой к отцу и, покуда жив, не сяду на корабль, что я последую отцовским советам и никогда более не подвергну себя подобной опасности. Теперь я понял всю справедливость рассуждений отца относительно золотой середины; для меня ясно стало, как мирно и приятно прожил он всю жизнь, никогда не подвергая себя бурям на море и невзгодам на суше,— словом, я, как некогда блудный сын, решил вернуться в родительский дом с покаянием.

Эти трезвые и благоразумные мысли не оставляли меня, покуда длилась буря, и даже некоторое время после нее; но на другое утро ветер стал стихать, волнение поулеглось, и я начал понемногу осваиваться с морем. Как бы то ни было, весь этот день я был настроен очень серьезно (тем более что еще не совсем оправился от морской болезни); но перед закатом небо прояснилось, ветер прекратился, и наступил тихий, очаровательный вечер; солнце зашло без туч и такое же ясное встало на другой день, и гладь морская при полном или почти полном безветрии, вся облитая его сиянием, представляла восхитительную картину, какой я никогда еще не видывал.

Ночью я отлично выспался, от моей морской болезни не осталось и следа, я был бодр и весел и любовался морем, которое еще вчера так бушевало и грохотало и в такое короткое время могло затихнуть и явить собою столь привлекательное зрелище. И тут-

то, словно для того, чтобы изменить мое благоразумное решение, ко мне подошел приятель, сманивший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Ну что, Боб, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Бьюсь об заклад, что ты испугался,— признавайся, ведь испугался вчера, когда задул ветерок?» — «Ветерок? Хорош ветерок! Я и представить себе не мог такой ужасной бури!» — «Бури! Ах ты, чудак! Так, по-твоему, это буря? Что ты! Это сущие пустяки! Дай нам хорошее судно да побольше простору,— мы такого шквалика и не заметим. Ну, да ты еще совсем неопытный моряк, Боб. Пойдем-ка лучше сварим пуншу и забудем об этом. Взгляни, какой чудесный нынче день!» Чтоб сократить эту грустную часть моей повести, скажу, что дальше пошло, как положено у моряков: сварили пунш, я порядком охмелел и потопил в разгуле той ночи все мое раскаяние, все размышления о прошлом моем поведении и все мои благие решения относительно будущего. Словом, как только на море воцарилась тишь, как только вместе с бурей улеглись мои взбудораженные чувства и прошел страх утонуть в морской пучине, так мысли мои повернули в прежнее русло, и все клятвы, все обещания, которые я давал себе в часы страданий, были позабыты. Правда, порой на меня находило просветление, здравые мысли еще пытались, так сказать, воротиться ко мне, но я гнал их прочь, боролся с ними, словно с приступами болезни, и при помощи пьянства и веселой компании скоро восторжествовал над этими припадками, как я их называл; в какие-нибудь пять-шесть дней я одержал столь полную победу над своей совестью, какой только может пожелать себе юнец, решившийся не обращать на нее внимания. Однако меня ждало еще одно испытание: как всегда в подобных случаях, провидение пожелало отнять у меня последнее оправдание перед самим собою; в самом деле, если на этот раз я не захотел понять, что всецело обязан ему, то следующее испытание было такого рода, что тут уж и самый последний, самый отпетый негодяй из нашего экипажа не мог бы не признать, что опасность была поистине велика и спаслись мы только чудом.

На шестой день по выходе в море мы пришли на Ярмутский рейд. Ветер после шторма был все время неблагоприятный и слабый, так что мы двигались еле-еле. В Ярмуте мы были вынуждены бросить якорь и простояли при юго-западном, то есть противном ветре семь или восемь дней. В течение этого времени на рейд пришло немалое количество судов из Ньюкасла, ибо Ярмутский рейд обычно служит местом стоянки для кораблей, которые дожидаются здесь попутного ветра, чтобы войти в Темзу.

Впрочем, мы не простояли бы долго и вошли бы в реку с приливом, если бы ветер не был так свеж, а дней через пять не по-

крепчал еще больше. Однако Ярмутский рейд считается такой же хорошей стоянкой, как и гавань, а якоря и якорные канаты были у нас надежные; поэтому наши люди ничуть не тревожились и даже не помышляли об опасности — по обычаю моряков, они делили свой досуг между отдыхом и развлечениями. Но на восьмой день утром ветер усилился, и пришлось свистать наверх всех матросов, убрать стеньги и плотно закрепить все, что нужно, чтобы судно могло безопасно держаться на рейде. К полудню на море началось большое волнение, корабль стало сильно раскачивать; он несколько раз зачерпнул бортом, и раза два нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан скомандовал отдать запасной якорь. Таким образом, мы держались на двух якорях против ветра, вытравив канаты до конца.

Тем временем разыгрался жесточайший шторм. Растерянность и страх были теперь даже на лицах матросов. Я несколько раз слышал, как сам капитан, проходя мимо меня из своей каюты, бормотал вполголоса: «Господи, смилуйся над нами, иначе мы погибли, всем нам конец»,— что не мешало ему, однако, зорко наблюдать за работами по спасению корабля. Первые минуты переполоха оглушили меня: я неподвижно лежал в своей каюте рядом со штурвалом и даже не знаю хорошенько, что я чувствовал. Мне было трудно вернуть прежнее покаянное настроение после того, как я сам его презрел и ожесточил свою душу; мне казалось, что смертный ужас раз и навсегда миновал и что эта буря пройдет бесследно, как и первая. Но повторяю, когда сам капитан, проходя мимо, обмолвился о грозящей нам гибели, я неимоверно испугался. Я выбежал из каюты на палубу; никогда в жизни не приходилось мне видеть такой зловещей картины: на море вздымались валы вышиной с гору, и такая гора опрокидывалась на нас каждые три-четыре минуты. Когда, собравшись с духом, я огляделся вокруг, то увидел тяжкие бедствия. На двух тяжело нагруженных судах, стоявших неподалеку от нас на якоре, были обрублены все мачты. Кто-то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший в полумиле от нас впереди, пошел ко дну. Еще два судна сорвало с якорей и унесло в открытое море на произвол судьбы, ибо ни на том, ни на другом не оставалось ни одной мачты. Мелкие суда держались лучше других — им было легче маневрировать; но два или три из них тоже унесло в море, и они промчались борт о борт мимо нас, убрав все паруса, кроме одного кормового кливера.

В конце дня штурман и боцман стали упрашивать капитана позволить им срубить фок-мачту. Капитан долго упирался, но боцман принялся доказывать, что, если фок-мачту оставить, судно непременно затонет, и он согласился, а когда снесли фок-мачту,

грот-мачта начала так шататься и так сильно раскачивать судно, что пришлось снести и ее и таким образом освободить палубу.

Судите сами, что должен был испытывать все это время я — юнец и новичок, незадолго перед тем испугавшийся небольшого волнения. Но если после стольких лет память меня не обманывает, не смерть была мне страшна тогда; во сто крат сильнее ужасала меня мысль о том, что я изменил своему решению прийти с повинной к отцу и вернулся к прежним химерическим стремлениям, и мысли эти, усугубленные ужасом перед бурей, приводили меня в состояние, которого не передать никакими словами. Но самое худшее было еще впереди. Буря продолжала свирепствовать с такой силой, что, по признанию самих моряков, им никогда не случалось видеть подобной. Судно у нас было крепкое, но от тяжелого груза глубоко сидело в воде, и его так качало, что на палубе поминутно слышалось: «Кренит! Дело — табак!» Пожалуй, для меня было даже к лучшему, что я не вполне понимал значение этих слов, пока не попросил объяснить их. Однако буря бушевала все яростнее, и я увидел — а это не часто увидишь,— как капитан, боцман и еще несколько человек, более разумных, чем остальные, молились, ожидая, что корабль вот-вот пойдет ко дну. В довершение ко всему вдруг среди ночи один из матросов, спустившись в трюм поглядеть, все ли там в порядке, закричал, что судно дало течь; другой посланный донес, что вода поднялась уже на четыре фута. Тогда раздалась команда: «Все к насосам!» Когда я услыхал эти слова, у меня замерло сердце, и я упал навзничь на койку, где я сидел. Но матросы растолкали меня, заявив, что если до сих пор я был бесполезен, то теперь могу работать, как и всякий другой. Тогда я встал, подошел к насосу и усердно принялся качать. В это время несколько мелких судов, груженных углем, будучи не в состоянии выстоять против ветра, снялись с якоря и вышли в море. Когда они проходили мимо, наш капитан приказал подать сигнал бедствия, то есть выстрелить из пушки. Не понимая, что это значит, я пришел в ужас, вообразив, что судно наше разбилось или случилось нечто другое, не менее страшное, и потрясение было так сильно, что я упал в обморок. Но в такую минуту каждому было впору заботиться лишь о спасении собственной жизни, и никто на меня не обратил внимания и не поинтересовался, что приключилось со мной. Другой матрос, оттолкнув меня ногой, стал к насосу на мое место в полной уверенности, что я уже мертв; прошло немало времени, пока я очнулся.

Работа шла полным ходом, но вода в трюме поднималась все выше. Было очевидно, что корабль затонет, и хотя буря начинала понемногу стихать, однако нечего было и надеяться, что он сможет продержаться на воде, покуда мы войдем в гавань, и капитан

продолжал палить из пушек, взывая о помощи. Наконец одно легкое суденышко, стоявшее впереди нас, отважилось спустить шлюпку, чтобы подать нам помощь. Подвергаясь немалой опасности, шлюпка приблизилась к нам, но ни мы не могли добраться до нее, ни шлюпка не могла причалить к нашему кораблю, хотя люди гребли изо всех сил, рискуя своей жизнью ради спасения нашей. Наконец наши матросы бросили им с кормы канат с буйком, вытравив его на большую длину. После долгих и тщетных усилий гребцам удалось поймать конец каната; мы притянули их под корму и все до одного спустились в шлюпку. О том, чтобы добраться до их судна, нечего было и думать; поэтому мы единодушно решили грести по ветру, стараясь только держать по возможности к берегу. Наш капитан пообещал чужим матросам, что в случае, если лодка разобьется о берег, он заплатит за нее хозяину. И вот, частью на веслах, частью подгоняемые ветром, мы направились к северу в сторону Уинтертон-Несса, постепенно приближаясь к земле.

Не прошло и четверти часа с той минуты, когда мы отчалили от корабля, как он стал погружаться на наших глазах. И тут-то впервые я понял, что значит «дело — табак». Должен, однако, сознаться, что, услышав крики матросов: «Корабль тонет!» — я почти не имел силы взглянуть на него, ибо с тех пор, как я сошел или, вернее, когда меня сняли в лодку, во мне словно все оцепенело от смятения и страха, а также от мысли о том, что еще ждет меня впереди.

Покуда люди изо всех сил налегали на весла, чтобы направить лодку к берегу, мы могли видеть (ибо всякий раз, как лодку вздымало волной, нам виден был берег), что там собралась большая толпа: все суетились и бегали, готовясь подать нам помощь, когда мы подойдем ближе. Но мы двигались очень медленно и добрались до земли, только пройдя уинтертонский маяк, там, где между Уинтертоном и Кромером береговая линия изгибается к западу и где поэтому ее выступы немного умеряли силу ветра. Здесь мы пристали и, с великим трудом, но все-таки благополучно выбравшись на сушу, пошли пешком в Ярмут, где нас, как потерпевших крушение, встретили с большим участием: городской магистрат отвел нам хорошие помещения, а местные купцы и судохозяева снабдили нас деньгами в достаточном количестве, чтобы добраться по нашему выбору либо до Лондона, либо до Гулля.

Почему мне не пришло тогда в голову вернуться в Гулль, в родительский дом! Как бы я был счастлив! Наверно, отец, как в евангельской притче, заколол бы для меня откормленного тель-

па; но он узнал о моем спасении лишь много времени спустя после того, как до него дошла весть, что судно, на котором я вышел из Гулля, погибло на Ярмутском рейде.

Но моя злая судьба толкала меня все на тот же гибельный путь с упорством, которому невозможно было противиться; и хотя в моей душе неоднократно раздавался трезвый голос рассудка, звавший меня вернуться домой, у меня не хватило для этого сил. Не знаю, как это назвать, и не стану настаивать, что какое-то тайное веление всесильного рока побуждает нас быть орудием собственной своей гибели, даже когда мы видим ее перед собой и бросаемся к ней навстречу с открытыми глазами, но несомненно, что только моя злосчастная судьба, которой я был не в силах избежать, заставила меня пойти наперекор трезвым доводам и внушениям лучшей части моего существа и пренебречь двумя столь наглядными уроками, которые я получил при первой же попытке вступить на новый путь.

Сын нашего судохозяина, мой приятель, помогший мне укрепиться в пагубном решении, присмирел теперь больше меня; в первый раз, как он заговорил со мной в Ярмуте (что случилось только через два или три дня, так как в этом городе мы все жили порознь), я заметил, что тон его изменился. С унылым видом он покачал головой и спросил, как я себя чувствую. Объяснив своему отцу, кто я такой, он рассказал, что я предпринял эту поездку в виде опыта, в будущем же намереваюсь объездить весь свет. Тогда его отец, обратившись ко мне, произнес серьезно и озабоченно:

— Молодой человек! Вам больше никогда не следует пускаться в море: случившееся с нами вы должны принять за явное и несомненное знамение, что вам не суждено быть мореплавателем.

— Почему же, сэр? — возразил я.— Разве вы тоже не будете больше плавать?

— Это другое дело,— отвечал он,— плавать — моя профессия и, следовательно, моя обязанность. Но вы-то ведь отправились в плавание ради пробы. Так вот небеса и дали вам отведать то, что вы должны ожидать, если будете упорствовать в своем решении. Быть может, и крушение случилось из-за вас, как корабль фарсийский потерпел крушение из-за Ионы... Прошу вас,— прибавил он,— объясните мне толком, кто вы такой и что побудило вас предпринять это плавание?

Тогда я рассказал ему кое-что о себе. Как только я кончил, он неожиданно разразился гневом.

— Что я такого сделал,— говорил он,— чем провинился, что этот жалкий отверженец ступил на палубу моего корабля! Никогда в жизни, даже за тысячу фунтов, не соглашусь я плыть на одном судне с тобой!

Конечно, все это было сказано в сердцах, человеком, и без того уже огорченным своей потерей, и в пылу гнева он зашел дальше, чем следовало. Однако потом он говорил со мной спокойно и весьма серьезно убеждал меня не искушать на свою погибель провидение и воротиться к отцу, ибо во всем случившемся я должен видеть перст божий.

— Ах, молодой человек! — сказал он в заключение.— Если вы не вернетесь домой, то, верьте мне, повсюду, куда бы вы ни отправились, вас будут преследовать только несчастия и неудачи, пока не сбудутся слова вашего отца.

Вскоре после того мы расстались; мне нечего было возразить ему, и больше я его не видел. Куда он уехал из Ярмута, не знаю; у меня же было немного денег, и я отправился в Лондон по суше. И в Лондоне, и по пути туда мне не раз приходилось выдерживать борьбу с собой относительно того, какой род жизни мне избрать и воротиться ли домой или снова отправиться в плавание.

Что касается возвращения в родительский дом, то стыд заглушал самые веские доводы моего разума: мне представлялось, как надо мной будут смеяться соседи и как мне будет стыдно взглянуть не только на отца и на мать, но и на всех наших знакомых. С тех пор я часто замечал, сколь нелогична и непоследовательна человеческая природа, особенно в молодости: отвергая соображения, которыми следовало бы руководствоваться в подобных случаях, люди не стыдятся греха, а стыдятся раскаяния, не стыдятся поступков, за которые их по справедливости должно назвать безумцами, а стыдятся образумиться и жить почтенной и разумной жизнью.

Довольно долго я пребывал в нерешительности, не зная, что предпринять и какой избрать жизненный путь. Я не мог побороть нежелание вернуться домой, а тем временем воспоминание о перенесенных бедствиях мало-помалу изглаживалось из моей памяти; вместе с ним ослабевал и без того слабый голос рассудка, побуждавший меня вернуться к отцу, и кончилось тем, что я отбросил мысли о возвращении и стал мечтать о новом путешествии.

Та самая злая сила, которая побудила меня бежать из родительского дома, которая вовлекла меня в нелепую и необдуманную затею составить себе состояние, рыская по свету, и так крепко вбила мне в голову эти бредни, что я остался глух ко всем добрым советам, к увещаниям и даже к запрету отца, та самая сила, говорю я, какого бы ни была она рода, толкнула меня на несчастнейшее предприятие, какое только можно вообразить: я сел на корабль, отправлявшийся к берегам Африки, или, как попросту выражаются наши моряки, «в рейс в Гвинею».

Большим моим несчастьем было то, что, пускаясь в эти приключения, я не нанимался простым матросом: вероятно, мне при-

шлось бы работать немного больше обычного, зато я научился бы обязанностям и работе моряка и со временем мог бы сделаться штурманом или если не капитаном, то его помощником. Но уж такова была моя судьба — из всех возможных путей я всегда выбирал самый худший. Так и тут: в кошельке у меня водились деньги, на мне было приличное платье, и я обычно являлся на судно в обличье джентльмена, поэтому ничего там не делал и ничему не научился.

В Лондоне мне посчастливилось сразу же попасть в хорошую компанию, что не часто случается с такими распущенными, сбившимися с пути юнцами, каким я был тогда, ибо дьявол не дремлет и немедленно расставляет им какую-нибудь ловушку. Но не так было со мной. Я познакомился с одним капитаном, который незадолго перед тем ходил к берегам Гвинеи, и, так как этот рейс был для него очень удачен, он решил еще раз отправиться туда. Ему полюбилось мое общество — в то время я мог быть приятным собеседником — и, узнав, что я мечтаю повидать свет, предложил мне ехать с ним, сказав, что мне это ничего не будет стоить, что я буду его сотрапезником и другом. Если же у меня есть возможность взять с собою в Гвинею товары, то мне, может быть, повезет, и я получу целиком всю вырученную от торговли прибыль.

Я принял предложение; завязав самые дружеские отношения с этим капитаном, человеком честным и прямодушным, я отправился с ним в путь, захватив с собой небольшой груз, на котором благодаря полной бескорыстности моего друга — капитана сделал весьма выгодный оборот; по его указаниям я закупил на сорок фунтов стерлингов различных побрякушек и безделок. Эти сорок фунтов я собрал с помощью моих родственников, с которыми был в переписке и которые, как я полагаю, убедили моего отца или, вернее, мать помочь мне хоть небольшой суммой в этом первом моем предприятии.

Это путешествие было, можно сказать, единственным удачным из всех моих похождений, чем я обязан бескорыстию и честности моего друга — капитана, под руководством которого я, кроме того, приобрел изрядные сведения в математике и навигации, научился вести корабельный журнал, делать наблюдения и вообще узнал много такого, что необходимо знать моряку. Ему доставляло удовольствие заниматься со мной, а мне — учиться. Одним словом, в этом путешествии я сделался моряком и купцом: я выручил за свой товар пять фунтов девять унций золотого песку, за который по возвращении в Лондон получил без малого триста фунтов стерлингов. Эта удача преисполнила меня честолюбивыми мечтами, впоследствии довершившими мою гибель.

Но даже и в этом путешествии мне пришлось претерпеть немало невзгод, и, главное, я все время прохворал, схватив сильней-

шую тропическую лихорадку вследствие чересчур жаркого климата, ибо побережье, где мы больше всего торговали, лежит между пятнадцатым градусом северной широты и экватором.

Итак, я сделался купцом и вел торговлю с Гвинеей. На мое несчастье, мой друг — капитан вскоре по прибытии на родину умер, и я решил снова съездить в Гвинею самостоятельно. Я отплыл из Англии на том же самом корабле, командование которым перешло теперь к помощнику умершего капитана. Это было самое злополучное путешествие, когда-либо выпадавшее на долю человека. Правда, я взял с собой меньше ста фунтов из нажитого капитала, а остальные двести фунтов отдал на хранение вдове моего покойного друга, распорядившейся ими весьма добросовестно; но зато меня постигли во время пути страшные беды. Началось с того, что однажды, на рассвете, наше судно, державшее курс на Канарские острова или, вернее, между Канарскими островами и Африканским материком, было застигнуто врасплох турецким пиратом из Сале, который погнался за нами на всех парусах. Мы тоже подняли все паруса, какие могли выдержать наши реи и мачты, но, видя, что пират нас настигает и неминуемо догонит через несколько часов, мы приготовились к бою (у нас было двенадцать пушек, а у него восемнадцать). Около трех пополудни он нас нагнал, но по ошибке, вместо того чтобы подойти к нам с кормы, как он намеревался, подошел с борта. Мы навели на пиратское судно восемь пушек и дали по нему залп; тогда оно отошло немного подальше, предварительно ответив на наш огонь не только пушечным, но и ружейным залпом из двух сотен ружей, так как на этом судне было человек двести. Впрочем, у нас никто не пострадал: все наши люди держались дружно. Затем пират приготовился к новому нападению, а мы — к новой обороне. Подойдя на этот раз с другого борта, он взял нас на абордаж: человек шестьдесят ворвалось к нам на палубу, и все первым делом бросились рубить снасти. Мы встретили их ружейной пальбой, забросали дротиками, подожженными ящиками с порохом и дважды изгоняли их с нашей палубы. Тем не менее корабль наш был приведен в негодность, трое наших людей было убито, а восемь ранено, и в конце концов (я сокращаю эту печальную часть моего повествования) мы вынуждены были сдаться, и нас отвезли в качестве пленников в Сале, морской порт, принадлежащий маврам.

Участь моя оказалась менее ужасной, чем я ожидал поначалу. Меня не увели, как остальных, в глубь страны, ко двору султана: капитан разбойничьего корабля удержал меня в качестве невольника, так как я был молод, проворен и мог ему пригодиться. Этот разительный поворот судьбы, превративший меня из купца в жалкого раба, был совершенно ошеломителен; тут-то мне вспомнились

пророческие слова моего отца о том, что придет время, когда некому будет выручить меня из беды, слова, которые, думалось мне, сбылись сейчас, когда десница божия покарала меня и я погиб безвозвратно. Но увы! То была лишь бледная тень тяжелых испытаний, через которые мне предстояло пройти, как покажет продолжение моего рассказа.

Так как мой новый хозяин, или, точнее, господин, взял меня к себе в дом, то я надеялся, что он захватит с собой меня и в следующее плавание. Я был уверен, что рано или поздно его настигнет какой-нибудь испанский или португальский корабль, и тогда мне будет возвращена свобода. Но надежда моя скоро рассеялась, ибо, выйдя в море, он оставил меня присматривать за его садиком и исполнять всю черную работу, возлагаемую на рабов; по возвращении же из похода он приказал мне жить в каюте и присматривать за судном.

С того дня я ни о чем не думал, кроме побега, но какие бы способы я ни измышлял, ни один из них не сулил даже малейшей надежды на успех. Да и трудно было предположить вероятность успеха в подобном предприятии, ибо мне некому было довериться, не у кого искать помощи — здесь не было ни одного невольника англичанина, ирландца или шотландца, я был совершенно одинок; так что целых два года (хотя в течение этого времени я часто тешился мечтами о свободе) у меня не было и тени надежды на осуществление моего плана.

Но по прошествии двух лет представился один необыкновенный случай, ожививший в моей душе давнишнюю мысль о побеге, и я вновь решил сделать попытку вырваться на волю. Как-то мой хозяин дольше обыкновенного находился дома и не готовил свой корабль к отплытию (у него, как я слышал, не хватало денег). Постоянно, раз или два в неделю, а в хорошую погоду и чаще, он выходил на корабельном полубаркасе на взморье ловить рыбу. В каждую такую поездку он брал гребцами меня и молоденького мавра, и мы увеселяли его по мере сил. А так как я к тому же оказался весьма искусным рыболовом, то иногда он посылал за рыбой меня с мальчиком — Мареско, как они называли его,— под присмотром одного взрослого мавра, своего родственника.

Однажды мы вышли на ловлю в тихое, ясное утро, но, проплыв мили полторы, мы очутились в таком густом тумане, что потеряли из виду берег и стали грести наугад; проработав веслами весь день и всю ночь, мы с наступлением утра увидели кругом открытое море, ибо вместо того, чтобы держаться ближе к берегу, мы отошли от него по меньшей мере на шесть миль. В конце концов мы с огромным трудом и не без риска добрались домой, так как с утра задул довольно крепкий ветер, и к тому же мы изнемогали от голода.

Наученный этим приключением, мой хозяин решил впредь быть осмотрительнее и объявил, что больше никогда не выедет на рыбную ловлю без компаса и без запаса провизии. После захвата нашего английского корабля он оставил себе баркас и теперь приказал своему корабельному плотнику, тоже невольнику-англичанину, построить на этом баркасе в средней его части небольшую рубку, или каютку, как на барже. Позади рубки хозяин велел оставить место для одного человека, который будет править рулем и управлять гротом, а впереди — для двоих, чтобы крепить и убирать остальные паруса, из коих кливер находился над крышей каютки. Каютка получилась низенькая, очень уютная и настолько просторная, что в ней можно было спать троим и поместить стол и шкафчики для хранения хлеба, риса, кофе и бутылок с теми напитками, какие он считал наиболее подходящими для морских путешествий.

Мы часто ходили за рыбой на этом баркасе, и так как я стал искуснейшим рыболовом, то хозяин никогда не выезжал без меня. Однажды он задумал выйти в море (за рыбой или просто прокатиться — уж не могу сказать) с двумя-тремя маврами, надо полагать, важными персонами, для которых он особенно постарался, заготовив провизии больше обычного и еще с вечера отослав ее на баркас. Кроме того, он приказал мне взять у него на судне три ружья с необходимым количеством пороха и зарядов, так как, помимо ловли рыбы, им хотелось еще поохотиться на птиц.

Я сделал все, как он велел, и на другой день с утра ждал его на баркасе, чисто вымытом и совершенно готовом к приему гостей, с поднятыми вымпелами и флагом. Однако хозяин пришел один и сказал, что его гости отложили поездку из-за какого-то непредвиденного дела. Затем он приказал нам троим — мне, мальчику и мавру — идти, как всегда, на взморье за рыбой, так как его друзья будут у него ужинать, и потому, как только мы наловим рыбы, я должен принести ее к нему домой. Я повиновался.

Вот тут-то у меня блеснула опять моя давнишняя мысль о побеге. Теперь в моем распоряжении было маленькое судно, и как только хозяин ушел, я стал готовиться, но не для рыбной ловли, а в дальнюю дорогу, хотя не только не знал, но даже и не думал о том, куда я направлю свой путь: всякая дорога была для меня хороша, лишь бы уйти из неволи.

Первым моим ухищрением было внушить мавру, что нам необходимо запастись едой, так как нам не пристало пользоваться припасами для хозяйских гостей. Он ответил, что это справедливо, и притащил на баркас большую корзину с сухарями и три кувшина пресной воды. Я знал, где стоит у хозяина ящик с винами (судя по ярлычкам на бутылках — добыча с какого-нибудь английского корабля), и покуда мавр был на берегу, я переправил все бутылки на

баркас и поставил в шкафчик, как будто они были еще раньше приготовлены для хозяина. Кроме того, я принес большой кусок воску, фунтов в пятьдесят весом, да прихватил моток бечевки, топор, пилу и молоток. Все это очень нам пригодилось впоследствии, особенно воск, из которого мы делали свечи. Я пустил в ход еще и другую хитрость, на которую мавр тоже попался по простоте своей души. Его имя было Измаил, но все его звали Мали или Мули. Вот я и сказал ему:

— Мали, у нас на баркасе есть хозяйские ружья. Что, если б ты добыл немножко пороху и дроби? Может быть, нам удалось бы подстрелить себе на обед несколько альками (птица вроде нашего кулика). Хозяин держит порох и дробь на корабле, я знаю.

— Хорошо, я принесу,— сказал он и притащил большой кожаный мешок с порохом (фунта в полтора весом, если не больше) да другой с дробью, фунтов в пять или шесть. Он захватил также и пули. Все это мы сложили в баркас. Кроме того, в хозяйской каюте нашлось еще немного пороху, который я пересыпал в одну из стоявших в ящике почти пустую бутылку, перелив из нее остатки вина в другую. Таким образом, мы запаслись всем необходимым для путешествия и вышли из гавани на рыбную ловлю. В сторожевой башне, что стоит у входа в гавань, знали, кто мы такие, и наше судно не привлекло внимания. Отойдя от берега не больше как на милю, мы убрали парус и стали готовиться к ловле. Ветер был северо-северо-восточный, что не отвечало моим планам, потому что, дуй он с юга, я мог бы наверняка доплыть до испанских берегов, по крайней мере, до Кадикса; но откуда бы он ни дул, я твердо решил одно: убраться подальше от этого ужасного места, а потом будь что будет.

Поудив некоторое время и ничего не поймав — я нарочно не вытаскивал удочки, когда у меня рыба клевала, чтобы мавр ничего не видел,— я сказал:

— Тут у нас дело не пойдет; хозяин не поблагодарит нас за такой улов. Надо отойти подальше.

Не подозревая подвоха, мавр согласился и поставил паруса, так как он был на носу баркаса. Я сел на руль и, когда баркас отошел еще мили на три в открытое море, лег в дрейф как будто затем, чтобы приступить к рыбной ловле. Затем, передав мальчику руль, я подошел к мавру сзади, нагнулся, словно рассматривая что-то под ногами, вдруг обхватил его, поднял и швырнул за борт. Мавр мгновенно вынырнул, ибо плавал как пробка, и стал умолять, чтобы я взял его на баркас, клянясь, что поедет со мной хоть на край света. Он плыл так быстро, что догнал бы лодку очень скоро, тем более что ветра почти не было. Тогда я бросился в каюту, схватил охотничье ружье и, направив на него дуло, крикнул, что не желаю

ему зла и не сделаю ему ничего дурного, если он оставит меня в покое.

— Ты хорошо плаваешь,— продолжал я,— на море тихо, и тебе ничего не стоит доплыть до берега; я тебя не трону; но только попробуй подплыть близко к баркасу, и я мигом прострелю тебе череп, потому что твердо решился вернуть себе свободу.

Тогда он повернул к берегу и, несомненно, доплыл до него без особого труда — пловец он был отличный.

Конечно, я мог бы бросить в море мальчика, а мавра взять с собою, но довериться ему было бы опасно. Когда он отплыл достаточно далеко, я повернулся к мальчику — его звали Ксури — и сказал:

— Ксури! Если ты будешь мне верен, я сделаю тебя большим человеком, но если ты не погладишь своего лица в знак того, что не изменишь мне, то есть не поклянешься бородой Магомета и его отца, я и тебя брошу в море.

Мальчик улыбнулся, глядя мне прямо в глаза, и отвечал так чистосердечно, что я не мог не поверить ему. Он поклялся, что будет мне верен и поедет со мной на край света.

Пока плывущий мавр не скрылся из вида, я держал прямо в открытое море, лавируя против ветра. Я делал это нарочно, чтобы показать, будто мы идем к Гибралтарскому проливу (как, очевидно, и подумал бы каждый здравомыслящий человек). В самом деле, можно ли было предположить, что мы намерены направиться на юг, к тем поистине варварским берегам, где целые полчища негров со своими челноками окружили и убили бы нас; где, стоило только ступить на землю, нас растерзали бы хищные звери или еще более кровожадные дикие существа в человеческом образе?

Но как только стало смеркаться, я изменил курс и стал править на юг, уклоняясь слегка к востоку, чтобы не слишком удаляться от берегов. Благодаря довольно свежему ветерку и спокойствию на море мы шли таким хорошим ходом, что на другой день в три часа пополудни, когда впереди в первый раз показалась земля, мы были не менее чем на полтораста миль южнее Сале, далеко за пределами владений марокканского султана, да и всякого другого из тамошних владык; по крайней мере, мы не видели ни одного человека. Но я набрался такого страху у мавров и так боялся снова попасться им в руки, что, пользуясь благоприятным ветром, целых пять дней плыл не останавливаясь, не приставая к берегу и не бросая якоря. Через пять дней ветер переменился на южный, и, по моим соображениям, если за нами и была погоня, то к этому времени преследователи уже должны были от нее отказаться, поэтому я решился подойти к берегу и стал на якорь в устье какой-то маленькой речки. Какая это была речка и где она протекала, в какой

стране, у какого народа и под какой широтой, я не имел понятия. Я не видал людей на берегу да и не стремился увидеть; главное для меня было — запастись пресной водой. Мы вошли в эту речку под вечер и решили, когда стемнеет, добраться вплавь до берега и осмотреть местность. Но как только стемнело, мы услыхали с берега такие ужасные звуки, такой неистовый рев, лай и вой неведомых диких зверей, что бедный мальчик чуть не умер со страху и молил меня не сходить на берег до наступления дня.

— Хорошо, Ксури,— сказал я,— но, быть может, днем мы там увидим людей, которые для нас, пожалуй, опаснее, чем тигры и львы.

— А мы бух-бух из ружья,— сказал он со смехом,— они и убегут.

От невольников-англичан Ксури научился говорить на ломаном английском языке. Я был рад, что мальчик так весел, и, чтобы поддержать в нем эту бодрость духа, дал ему стакан вина из хозяйских запасов. Совет его, в сущности, был недурен, и я последовал ему. Мы бросили якорь и простояли всю ночь, притаившись. Я говорю — притаившись, потому что мы ни минуты не спали. Часа через два-три после того, как мы бросили якорь, мы увидали на берегу огромных животных (каких — мы и сами не знали); они подходили к самому берегу, бросались в воду, плескались и барахтались, очевидно, чтобы освежиться, и при этом отвратительно визжали, ревели и выли; я в жизни не слыхал ничего подобного.

Ксури был страшно напуган, да, правду сказать, и я тоже. Но еще больше испугались мы оба, когда услыхали, что одно из этих страшилищ плывет к нашему баркасу; мы не видели его, но по тому, как оно отдувалось и фыркало, могли заключить, что это было свирепое животное чудовищных размеров. Ксури решил, что это лев (быть может, так оно и было, по крайней мере, я не уверен в противном), и крикнул, что надо поднять якорь и уйти отсюда.

— Нет, Ксури,— отвечал я,— незачем подымать якорь; мы только вытравим канат подлиннее и выйдем в море; туда они за нами не погонятся.— Но не успел я это сказать, как увидал неизвестного зверя на расстоянии каких-нибудь двух весел от баркаса. Признаюсь, я немного оторопел, однако сейчас же схватил в каюте ружье, и как только я выстрелил, животное повернуло назад и поплыло к берегу.

Невозможно описать, что за адский рев, вопли и завывания поднялись на берегу и дальше, в глубине материка, когда раздался мой выстрел. Это давало мне некоторое основание предположить, что здешние звери никогда не слыхали такого звука. Я окончательно убедился, что нам и думать нечего о высадке на берег ночью, но вряд ли возможно будет высадиться и днем: попасть в руки какого-

нибудь дикаря не лучше, чем попасться в когти льву или тигру; по крайней мере, эта опасность пугала нас нисколько не меньше.

Тем не менее здесь или в другом месте, но нам необходимо было сойти на берег, ибо у нас не оставалось ни пинты воды. Но опять загвоздка была в том, где и как высадиться. Ксури объявил, что, если я его пущу на берег с кувшином, он постарается разыскать и принести пресную воду. А когда я спросил его, отчего же идти ему, а не мне и отчего ему не остаться в лодке, в ответе мальчика было столько глубокого чувства, что он подкупил меня навеки.

— Коли там дикие люди,— сказал он,— они меня скушать, а ты уплывать.

— Тогда вот что, Ксури,— сказал я,— отправимся вместе, а если там дикие люди, мы убьем их, и они не съедят ни тебя, ни меня.

Я дал мальчику поесть сухарей и выпить глоток вина из хозяйского запаса, о котором я уже говорил; затем мы подтянулись поближе к земле и, соскочив в воду, направились к берегу вброд, не взяв с собой ничего, кроме оружия да двух кувшинов для воды.

Я не хотел удаляться от берега, чтоб не терять из виду баркаса, опасаясь, как бы вниз по реке к нам не спустились дикари в своих пирогах; но Ксури, заметив низинку на расстоянии приблизительно одной мили от берега, зашагал туда с кувшином. Вскоре я увидел, что он бежит назад. Подумав, что за ним гонятся дикари либо он испугался хищного зверя, я бросился к нему на помощь, но, подбежав ближе, увидел, что на плечах у него что-то лежит. Оказалось, он убил какого-то зверька вроде нашего зайца, но иной окраски и с более длинными ногами. Мы оба радовались такой удаче, и мясо убитого животного оказалось очень вкусным; но еще больше я обрадовался, услышав от Ксури, что он нашел хорошую пресную воду и не встретил диких людей.

Потом оказалось, что наши чрезмерные хлопоты о воде были напрасны: в той самой речке, где мы стояли, только немного повыше, куда не достигал прилив, вода была совершенно пресная, и мы, наполнив кувшины, устроили пиршество из убитого зайца и приготовились продолжать путь, так и не обнаружив в этой местности никаких следов человека.

Я уже побывал однажды в этих местах, и мне было хорошо известно, что Канарские острова и острова Зеленого Мыса отстоят недалеко от материка. Но теперь у меня не было с собой приборов для наблюдений, и, следовательно, я не мог определить, на какой широте мы находимся; к тому же я не знал в точности или, во всяком случае, не помнил, на какой широте лежат эти острова, поэтому неизвестно было, где их искать и когда следует свернуть в открытое море, чтобы приплыть к ним; знай я это, мне было бы нетрудно

добраться до какого-нибудь из островов. Но я надеялся, что если я буду держаться вдоль берега, покамест не дойду до той части страны, где англичане ведут береговую торговлю, то я, по всей вероятности, встречу какое-нибудь английское купеческое судно, совершающее свой обычный рейс, и оно нас подберет.

По всем моим расчетам, мы находились теперь против береговой полосы, что тянется между владениями марокканского султана и землями негров. Это пустынная, безлюдная область, где обитают одни только дикие звери: негры, боясь мавров, покинули ее и ушли дальше на юг, а мавры нашли невыгодным заселять эти бесплодные земли; вернее же, что тех и других распугали тигры, львы, леопарды и прочие хищники, которые водятся здесь в несметном количестве. Таким образом, для мавров эта область служит только местом охоты, на которую они отправляются целыми армиями, по две, по три тысячи человек. Не удивительно поэтому, что на протяжении чуть ли не ста миль мы видели днем лишь безлюдную пустыню, а ночью не слыхали ничего, кроме воя и рева диких зверей.

Два раза в дневную пору мне показалось, что я вижу вдали Тенерифский пик — высочайшую вершину горы Тенериф, что на Канарских островах. Я даже пробовал сворачивать в море в надежде добраться туда, но оба раза противный ветер и сильное волнение, опасное для моего утлого суденышка, принуждали меня повернуть назад, так что в конце концов я решил не отступать более от моего первоначального плана и держаться вдоль берегов.

После того как мы вышли из устья речки, нам еще несколько раз пришлось приставать к берегу для пополнения запасов пресной воды. Однажды ранним утром мы стали на якорь под защитой довольно высокого мыска; прилив только еще начинался, и мы ждали полной его силы, чтобы подойти ближе к берегу. Вдруг Ксури, у которого, видно, глаза были зорче моих, тихонько окликнул меня и сказал, что нам лучше бы отойти от берега подальше.

— Глянь, какое страшилище вон там на пригорке крепко спит.

Я взглянул, куда он показывал, и действительно увидел страшилище. Это был огромной величины лев, лежавший на скате берега в тени нависшей скалы.

— Ксури,— сказал я,— ступай на берег и убей его.

Мальчик испугался.

— Я его убить? — проговорил он.— Он меня съест одной глоткой.— Он хотел сказать — одним глотком.

Я не стал возражать, велел только не шевелиться и, взяв самое большое ружье, по калибру почти равнявшееся мушкету, зарядил его двумя кусками свинца и порядочным количеством пороху; в другое я вкатил две большие пули, а в третье (у нас было три ружья) — пять пуль поменьше. Взяв первое ружье и хорошенько

прицелившись зверю в голову, я выстрелил; но он лежал, прикрыв морду лапой, и заряд попал ему в переднюю лапу и перебил кость выше колена. Зверь с рычанием вскочил, но, почувствовав боль, сейчас же свалился, потом опять поднялся на трех лапах и испустил такой ужасный рев, какого я в жизни своей не слышал. Я был немного удивлен тем, что не попал ему в голову, однако, не медля ни минуты, взял второе ружье и выстрелил зверю вдогонку, так как он заковылял было прочь от берега; на этот раз заряд попал прямо в цель. Я с удовольствием увидел, как лев упал и, издавая какие-то слабые звуки, начал корчиться в борьбе со смертью. Тут Ксури набрался храбрости и стал проситься на берег.

— Ладно, ступай,— сказал я.

Мальчик прыгнул в воду и поплыл к берегу, работая одной рукой и держа в другой ружье. Подойдя вплотную к распростертому зверю, он приставил дуло ружья к его уху и выстрелил, прикончив зверя.

Дичь была знатная, но несъедобная, и я очень жалел, что мы истратили даром три заряда. Но Ксури объявил, что он поживится кое-чем от убитого льва, и, когда мы вернулись на баркас, попросил у меня топор.

— Зачем тебе топор? — спросил я.

— Отрубить ему голову,— ответил Ксури. Однако головы отрубить он не смог, а отрубил только лапу, которую и притащил с собой. Она была чудовищных размеров.

Тут мне пришло в голову, что, может быть, нам пригодится шкура льва, и решил попытаться снять ее. Мы с Ксури подошли ко льву, но я не знал, как взяться за дело. Ксури оказался гораздо ловчее меня. Эта работа заняла у нас целый день. Наконец шкура была снята; мы растянули ее на крыше нашей каютки; дня через два солнце как следует просушило ее, и впоследствии она служила мне постелью.

После этой остановки мы еще дней десять — двенадцать продолжали держать курс на юг, стараясь как можно экономнее расходовать наши запасы, начинавшие быстро таять, и сходили на берег только за пресной водой. Я хотел дойти до устьев Гамбии или Сенегала, иначе говоря, приблизиться к Зеленому Мысу, где надеялся встретить какое-нибудь европейское судно: я знал, что, если этого не случится, мне останется либо блуждать в поисках островов, либо погибнуть здесь среди негров. Мне было известно, что все европейские суда, куда бы они ни направлялись — к берегам ли Гвинеи, в Бразилию или в Ост-Индию,— проходят мимо Зеленого Мыса или островов того же назнания; словом, я поставил всю свою судьбу на эту карту, понимая, что либо я встречу европейское судно, либо погибну.

Итак, еще дней десять я продолжал стремиться к этой единственной цели. Постепенно я стал замечать, что побережье обитаемо: в двух-трех местах, проплывая мимо, мы видели на берегу людей, которые глазели на нас. Мы могли также различить, что они были черные, как смола, и совсем голые. Один раз я хотел было сойти к ним на берег, но Ксури, мой мудрый советчик, сказал: «Не ходи, не ходи». Тем не менее я стал держать ближе к берегу, чтобы можно было вступить с ними в разговор. Они, должно быть, поняли мое намерение и долго бежали вдоль берега за нашим баркасом. Я заметил, что они не были вооружены, кроме одного, державшего в руке длинную тонкую палку. Ксури сказал мне, что это копье и что дикари мечут копья очень далеко и замечательно метко; поэтому я держался в некотором отдалении от них и, как умел, объяснялся с ними знаками, стараясь главным образом дать им понять, что мы нуждаемся в пище. Они знаками показали мне, чтобы я остановил лодку и что они принесут нам мяса. Как только я спустил парус и лег в дрейф, двое чернокожих побежали куда-то и через полчаса или того меньше принесли два куска вяленого мяса и немного зерна какого-то местного злака. Мы не знали, что это было за мясо и что за зерно, однако изъявили полную готовность принять и то и другое. Но тут мы стали в тупик: как получить все это? Мы не решались сойти на берег, боясь дикарей, а они, в свою очередь, боялись нас нисколько не меньше. Наконец они придумали выход из этого затруднения, одинаково безопасный для обеих сторон: сложив на берегу зерно и мясо, они отошли подальше и стояли неподвижно, пока мы не переправили все это на баркас, а затем воротились на прежнее место.

Мы благодарили их знаками, потому что больше нам было нечем отблагодарить. Но в ту же минуту нам представился случай оказать им большую услугу. Мы еще стояли у берега, как вдруг со стороны гор выбежали два огромных зверя и бросились к морю. Один из них, как нам казалось, гнался за другим: был ли это самец, преследовавший самку, играли ли они между собою или грызлись, мы не могли разобрать, как не могли бы сказать и того, было ли это обычное явление в тех местах или исключительный случай; я думаю, впрочем, что последнее было вернее, так как, во-первых, хищные звери редко показываются днем, а во-вторых, мы заметили, что люди на берегу, особенно женщины, сильно перепугались. Только человек, державший копье или дротик остался на месте; остальные пустились бежать. Но звери мчались прямо к морю и не намеревались нападать на негров. Они бросились в воду и стали плавать, словно купание было единственной целью их появления. Вдруг один из них подплыл довольно близко к баркасу. Я этого не ожидал; тем не менее, зарядив поскорее ружье и приказав Ксури заря-

дить оба других, я приготовился встретить хищника. Как только он приблизился на расстояние ружейного выстрела, я спустил курок, и пуля попала ему прямо в голову; он мгновенно погрузился в воду, потом вынырнул и поплыл назад к берегу, то исчезая под водой, то снова появляясь на поверхности. Видимо, он был в агонии — он захлебывался водой и кровью из смертельной раны и, не доплыв немного до берега, околел.

Невозможно передать, сколь поражены были бедные дикари, когда услышали треск и увидали огонь ружейного выстрела; некоторые из них едва не умерли со страху и упали на землю, точно мертвые. Но, видя, что зверь пошел ко дну и что я делаю им знаки подойти ближе, они ободрились и вошли в воду, чтобы вытащить убитого зверя. Я нашел его по кровавым пятнам на воде и, закинув на него веревку, перебросил конец ее неграм, а те притянули ее к берегу. Животное оказалось леопардом редкой породы с пятнистой шкурой необычайной красоты. Негры, стоя над ним, воздевали вверх руки в знак изумления; они не могли понять, чем я его убил.

Второй зверь, испуганный огнем и треском моего выстрела, выскочил на берег и убежал в горы; за дальностью расстояния я не мог разобрать, что это был за зверь. Между тем я понял, что неграм хочется поесть мяса убитого леопарда; я охотно оставил его им в дар и показал знаками, что они могут взять его себе. Они всячески выражали свою благодарность и, не теряя времени, принялись за работу. Хотя ножей у них не было, однако, действуя заостренными кусочками дерева, они сняли шкуру с мертвого зверя так быстро и ловко, как мы не сделали бы этого и ножом. Они предложили мне мясо, но я отказался, объяснив знаками, что отдаю его им, и попросил только шкуру, которую они мне отдали весьма охотно. Кроме того, они принесли для меня новый запас провизии, гораздо больше прежнего, и я его взял, хоть и не знал, какие это были припасы. Затем я знаками попросил у них воды, протянув один из наших кувшинов, я опрокинул его кверху дном, чтобы показать, что он пуст и что его надо наполнить. Они сейчас же прокричали что-то своим. Немного погодя появились две женщины с большим сосудом воды из обожженной (должно быть, на солнце) глины и оставили его на берегу, как и провизию. Я отправил Ксури со всеми нашими кувшинами, и он наполнил водой все три. Женщины были совершенно голые, как и мужчины.

Запасшись таким образом водой, кореньями и зерном, я расстался с гостеприимными неграми и в течение еще одиннадцати дней продолжал путь в прежнем направлении, не приближаясь к берегу. Наконец милях в пятнадцати впереди я увидел узкую полосу земли, далеко выступавшую в море. Погода была тихая, и я свернул в открытое море, чтобы обогнуть эту косу. В тот момент,

когда мы поравнялись с ее оконечностью, я ясно различил милях в двух от берега со стороны океана другую полосу земли и заключил вполне основательно, что узкая коса — Зеленый Мыс, а полоса земли — острова того же названия. Но они были очень далеко, и, не решаясь направиться к ним, я не знал, что делать. Я понимал, что если меня застигнет свежий ветер, то я, пожалуй, не доплыву ни до острова, ни до мыса.

Ломая голову над этой дилеммой, я присел на минуту в каюте, предоставив Ксури править рулем, как вдруг услышал его крик: «Хозяин! Хозяин! Парус! Корабль!» Глупенький мальчишка перепугался до смерти, вообразив, что это непременно один из кораблей его хозяина, посланный за нами в погоню; но я знал, как далеко ушли мы от мавров, и был уверен, что нам не может угрожать эта опасность. Я выскочил из каюты и тотчас же не только увидел корабль, но даже определил, что он был португальский и направлялся, как я поначалу решил, к берегам Гвинеи за неграми. Но, присмотревшись внимательнее, я убедился, что судно идет в другом направлении и не думает сворачивать к земле. Тогда я поднял все паруса и повернул в открытое море, решившись сделать все возможное, чтобы вступить с ним в переговоры.

Я, впрочем, скоро убедился, что, даже идя полным ходом, мы не успеем подойти к нему близко и что оно пройдет мимо, прежде чем мы успеем подать ему сигнал; мы выбивались из сил; но когда я уже почти отчаялся, нас, очевидно, разглядели с корабля в подзорную трубу и приняли за лодку с какого-нибудь погибшего европейского судна. Корабль убавил паруса, чтобы дать нам возможность подойти. Я воспрянул духом. У нас на баркасе был кормовой флаг с корабля нашего бывшего хозяина, и я стал махать этим флагом в знак того, что мы терпим бедствие, и, кроме того, выстрелил из ружья. На корабле увидели флаг и дым от выстрела (самого выстрела они не слыхали); корабль лег в дрейф, ожидая нашего приближения, и спустя три часа мы причалили к нему.

По-португальски, по-испански и по-французски меня стали спрашивать, кто я, но ни одного из этих языков я не знал. Наконец один матрос, шотландец, заговорил со мной по-английски, и я объяснил ему, что я англичанин и убежал от мавров из Сале, где меня держали в неволе. Тогда меня и моего спутника пригласили на корабль со всем нашим грузом и приняли весьма любезно.

Легко себе представить, какой невыразимой радостью наполнило меня сознание свободы после того бедственного и почти безнадежного положения, в котором я находился. Я немедленно предложил все свое имущество капитану в благодарность за мое избавление, но он великодушно отказался, сказав, что ничего с меня не

возьмет и что все будет возвращено мне в целости, как только мы придем в Бразилию.

— Спасая вам жизнь,— прибавил он,— я поступлю с вами так же, как хотел бы, чтоб поступили со мной, будь я на вашем месте. А это всегда может случиться. Кроме того, ведь мы завезем вас в Бразилию, а от вашей родины это очень далеко, и вы умрете там с голоду, если я отниму все, что у вас есть. Для чего же тогда мне было вас спасать? Нет, нет, сеньор инглезе (то есть англичанин), я довезу вас даром до Бразилии, а ваше имущество даст вам возможность прожить там и оплатить проезд на родину.

Капитан оказался великодушным не только на словах, но и на деле. Он распорядился, чтобы никто из матросов не смел прикасаться к моему имуществу, затем составил подробную его опись и взял все это под присмотр, а опись передал мне, чтобы потом, по прибытии в Бразилию, я мог получить по ней каждую вещь, вплоть до трех глиняных ковшиков.

Что касается моего баркаса, то капитан, видя, что он очень хорош, сказал, что охотно купит его для своего корабля, и спросил, сколько я хочу получить за него. На это я ответил, что он поступил со мной так великодушно во всех отношениях, что я ни в коем случае не стану назначать цену за свою лодку, а всецело предоставлю это ему. Тогда он сказал, что выдаст мне письменное обязательство уплатить за нее восемьдесят серебряных «восьмериков» в Бразилии, но что если по приезде туда кто-нибудь предложит мне больше, то и он даст мне больше. Кроме того, он предложил мне шестьдесят «восьмериков» за мальчика Ксури. Мне очень не хотелось брать эти деньги, и не потому, чтобы я боялся отдать мальчика капитану, а потому, что мне было жалко продавать свободу бедняги, который так преданно помогал мне самому добыть ее. Я изложил капитану все эти соображения, и он признал их справедливость, но советовал не отказываться от сделки, говоря, что он выдаст мальчику обязательство отпустить его на волю через десять лет, если он примет христианство. Это меняло дело, а так как к тому же сам Ксури выразил желание перейти к капитану, то я и уступил его.

Наш переезд до Бразилии совершился вполне благополучно, и после двадцатидвухдневного плавания мы вошли в залив де Тодос-лос-Сантос, иначе — залив Всех Святых. Итак, я еще раз вышел из самого бедственного положения, в какое только может попасть человек, и теперь мне оставалось решить, что делать с собою.

Я никогда не забуду, как великодушно отнесся ко мне капитан португальского корабля. Он ничего не взял с меня за проезд, аккуратнейшим образом возвратил мне все мои вещи, дал мне двадцать дукатов за шкуру леопарда и сорок за львиную шкуру и купил все, что мне хотелось продать, в том числе ящик с винами, два ружья и

остаток воску (часть его пошла у нас на свечи). Одним словом, я выручил около двухсот «восьмериков» и с этим капиталом сошел на берег Бразилии.

Вскоре капитан ввел меня в дом одного своего знакомого, такого же доброго и честного человека, как он сам. Это был владелец «инхеньо», то есть, по местному наименованию, плантации сахарного тростника и сахарного завода при ней. Я прожил у него довольно долгое время и благодаря этому познакомился с культурой сахарного тростника и с сахарным производством. Видя, как хорошо живется плантаторам и как быстро они богатеют, я решил хлопотать о разрешении поселиться здесь окончательно, чтобы самому заняться этим делом. В то же время я старался придумать какой-нибудь способ выписать из Лондона хранившиеся у меня там деньги. Когда мне удалось получить бразильское подданство, я на все мои наличные деньги купил участок невозделанной земли и стал составлять план моей будущей плантации и усадьбы, сообразуясь с размерами той денежной суммы, которую я рассчитывал получить из Англии.

Был у меня сосед, португалец из Лиссабона, по происхождению англичанин, по фамилии Уэллс. Он находился приблизительно в таких же условиях, как и я. Я называю его соседом, потому что его плантация прилегала к моей и мы с ним были в самых приятельских отношениях. У меня, как и у него, оборотный капитал был весьма невелик, и первые два года мы оба еле-еле могли прокормиться с наших плантаций. Но по мере того как земля возделывалась, мы богатели, так что на третий год часть земли была у нас засажена табаком, и мы разделали по большому участку под сахарный тростник к будущему году. Но мы оба нуждались в рабочих руках, и тут мне стало ясно, как неразумно я поступил, расставшись с мальчиком Ксури.

Но увы! Благоразумием я никогда не отличался, и не удивительно, что я так плохо рассчитал и в этот раз. Теперь мне не оставалось ничего более, как продолжать в том же духе. Я навязал себе на шею дело, к которому у меня никогда не лежала душа, прямо противоположное той жизни, о какой я мечтал, ради которой я покинул родительский дом и пренебрег отцовскими советами. Более того, я сам пришел к той золотой середине, к той высшей ступени скромного существования, которую советовал мне избрать мой отец и которой я мог бы достичь с таким же успехом, оставаясь на родине и не утомляя себя скитаниями по белу свету. Как часто теперь говорил я себе, что мог бы делать то же самое и в Англии, живя среди друзей, не забираясь за пять тысяч миль от родины, к чужеземцам и дикарям, в дикую страну, куда до меня никогда не дойдет даже весточка из тех частей земного шара, где меня немного знают!

Вот каким горьким размышлениям о своей судьбе предавался я в Бразилии. Кроме моего соседа-плантатора, с которым я изредка виделся, мне не с кем было перекинуться словом; все работы мне приходилось исполнять собственными руками, и я, бывало, постоянно твердил, что живу точно на необитаемом острове, и жаловался, что кругом нет ни одной души человеческой. Как справедливо покарала меня судьба, когда впоследствии и в самом деле забросила меня на необитаемый остров, и как полезно было бы каждому из нас, сравнивая свое настоящее положение с другим, еще худшим, помнить, что провидение во всякую минуту может совершить обмен и показать нам на опыте, как мы были счастливы прежде! Да, повторяю, судьба наказала меня по заслугам, когда обрекла на ту действительно одинокую жизнь на безотрадном острове, с которой я так несправедливо сравнивал свое тогдашнее житье, каковое, если б у меня хватило терпения продолжать начатое дело, вероятно, привело бы меня к богатству и счастью.

Мои планы относительно сахарной плантации приняли уже некоторую определенность к тому времени, когда мой благодетель — капитан, подобравший меня в море, должен был отплыть обратно на родину (его судно простояло в Бразилии около трех месяцев, пока он готовил новый груз на обратный путь). И вот, когда я рассказал ему, что у меня остался в Лондоне небольшой капитал, он дал мне следующий дружеский и чистосердечный совет:

— Сеньор инглезе,— так он всегда меня величал,— дайте мне формальную доверенность и напишите в Лондон тому лицу, у которого хранятся ваши деньги. Напишите, чтобы для вас там закупили товаров, таких, какие находят сбыт в здешних краях, и переслали бы их в Лиссабон по адресу, который я вам укажу; а я, если бог даст, вернусь и доставлю вам их в целости. Но так как дела человеческие подвержены всяким превратностям и бедам, то на вашем месте я взял бы на первый раз всего лишь сто фунтов стерлингов, то есть половину вашего капитала. Рискните сначала только этим. Если эти деньги вернутся к вам с прибылью, вы можете таким же образом пустить в оборот и остальной капитал, а если пропадут, так у вас, по крайней мере, останется хоть что-нибудь в запасе.

Совет был так хорош и так дружествен, что лучшего, казалось мне, нельзя и придумать, и мне оставалось только последовать ему. Поэтому я, не колеблясь, выдал капитану доверенность, как он того желал, и приготовил письмо к вдове английского капитана, которой когда-то отдал на сохранение свои деньги.

Я подробно описал ей все мои приключения: рассказал, как я попал в неволю, как убежал, как встретил в море португальский корабль и как человечно обошелся со мной капитан. В заключение

я описал ей настоящее мое положение и дал необходимые указания насчет закупки для меня товаров. Мой друг — капитан тотчас по прибытии своем в Лиссабон через английских купцов переслал в Лондон одному тамошнему купцу заказ на товары, присоединив к нему подробнейшее описание моих похождений. Лондонский купец немедленно передал оба письма вдове английского капитана, и она не только выдала ему требуемую сумму, но еще послала от себя португальскому капитану довольно кругленькую сумму в виде подарка за его гуманное и участливое отношение ко мне.

Закупив на все мои сто фунтов английских товаров по указаниям моего приятеля — капитана, лондонский купец переслал их ему в Лиссабон, а тот благополучно доставил их мне в Бразилию. В числе других вещей он уже по собственному почину (ибо я был настолько новичком в моем деле, что мне это даже не пришло в голову) привез мне всевозможных земледельческих орудий, а также всякой хозяйственной утвари. Все это были вещи необходимые для работ на плантации, и все они очень мне пригодились.

Когда прибыл мой груз, я был вне себя от радости и считал свою будущность отныне обеспеченной. Мой добрый опекун — капитан, кроме всего прочего, привез мне работника, которого нанял с обязательством прослужить мне шесть лет. Для этой цели он истратил собственные пять фунтов стерлингов, полученные в подарок от моей покровительницы, вдовы английского капитана. Он наотрез отказался от всякого возмещения, и я уговорил его только принять небольшой тюк взращенного мною табака.

И это было не все. Так как все мои товары состояли из английских мануфактурных изделий — полотен, байки, сукон, вообще таких вещей, которые особенно ценились и требовались в этой стране, то я имел возможность распродать их с большой прибылью; словом, когда все было распродано, мой капитал учетверился. Благодаря этому я далеко опередил моего бедного соседа по разработке плантации, ибо первым моим делом после распродажи товаров было купить невольника-негра и нанять еще одного работника-европейца, кроме того, которого привез мне капитан из Лиссабона.

Но дурное употребление материальных благ часто является вернейшим путем к величайшим невзгодам. Так было и со мной. В следующем году я продолжал возделывать свою плантацию с большим успехом и собрал пятьдесят тюков табаку сверх того количества, которое я уступил соседям в обмен на предметы первой необходимости. Все эти пятьдесят тюков весом по сотне с лишним фунтов каждый лежали у меня просушенные, совсем готовые к приходу судов из Лиссабона. Итак, дело мое разрасталось; но по мере того, как я богател, голова моя наполнялась планами и проектами, совершенно несбыточными при тех средствах, какими я

располагал: короче, это были такого рода проекты, которые нередко разоряют самых лучших дельцов. Останься я на поприще, мною же самим избранном, я, вероятно, дождался бы тех радостей жизни, о которых так убедительно говорил мне отец как о неизменных спутниках тихого, уединенного существования и среднего общественного положения. Но мне была уготована иная участь: мне по-прежнему суждено было самому быть виновником всех моих несчастий. И точно для того, чтобы усугубить мою вину и подбавить горечи в размышления над моей участью, на что в моем печальном будущем мне было отпущено слишком много досуга, все мои неудачи вызывались исключительной моей страстью к скитаниям, каковой я предавался с безрассудным упрямством, тогда как передо мной открывалась светлая будущность полезной и счастливой жизни, стоило мне только продолжать начатое, воспользоваться теми житейскими благами, которые так щедро расточало мне провидение, и исполнять свой долг.

Как когда-то, когда я убежал из родительского дома, так и теперь я не мог удовлетвориться настоящим. Я отказался от видов на будущее мое благосостояние, быть может, богатство, которое принесла бы работа на плантации,— и все оттого, что меня одолевало жгучее желание обогатиться скорее, чем допускали обстоятельства. Таким образом, я вверг себя в глубочайшую бездну бедствий, в какую, вероятно, не попадал еще ни один человек и из какой едва ли можно выйти живым и здоровым.

Перехожу теперь к подробностям этой части моих похождений. Прожив в Бразилии почти четыре года и значительно увеличив свое благосостояние, я, само собою разумеется, не только изучил местный язык, но и завязал большие знакомства с моими соседями — плантаторами, а равно и с купцами из Сан-Сальвадора, ближайшего к нам портового города. Встречаясь с ними, я часто рассказывал им о двух моих поездках к берегам Гвинеи, о том, как ведется торговля с тамошними неграми и как легко там за безделицу — за какие-нибудь бусы, игрушки, ножи, ножницы, топоры, стекляшки и тому подобные мелочи — приобрести не только золотой песок и слоновую кость, но даже в большом количестве негров-невольников для работы в Бразилии.

Мои рассказы они слушали очень внимательно, в особенности когда речь заходила о покупке негров. В то время, надо заметить, торговля невольниками была весьма ограничена, и для нее требовалось так называемое «асьенто», то есть разрешение от испанского или португальского короля; поэтому негры-невольники были редки и чрезвычайно дороги.

Как-то раз собралась большая компания: я и несколько человек моих знакомых — плантаторов и купцов, и мы оживленно бесе-

довали на эту тему. На следующее утро трое из моих собеседников явились ко мне и объявили, что, поразмыслив хорошенько над тем, что я им рассказал накануне, они пришли ко мне с секретным предложением. Затем, взяв с меня слово, что все, что я от них услышу, останется между нами, они сказали, что у всех у них, как и у меня, есть плантации и что ни в чем они так не нуждаются, как в рабочих руках. Поэтому они хотят снарядить корабль в Гвинею за неграми. Но так как торговля невольниками связана с затруднениями и им невозможно будет открыто продавать негров по возвращении в Бразилию, то они думают ограничиться одним рейсом, привезти негров тайно, а затем поделить их между собой для своих плантаций. Вопрос был в том, соглашусь ли я поступить к ним на судно в качестве судового приказчика, то есть взять на себя закупку негров в Гвинее. Они предложили мне одинаковое с другими количество негров, причем мне не нужно было вкладывать в это предприятие ни гроша.

Нельзя отрицать заманчивости этого предложения, если бы оно было сделано человеку, не имеющему собственной плантации: за ней нужен был присмотр, в нее вложен был значительный капитал и со временем она обещала приносить большой доход. Но для меня, владельца такой плантации, кому стоило только еще года три-четыре продолжать начатое, вытребовав из Англии остальную часть своих денег — вместе с этим маленьким добавочным капиталом мое состояние достигло бы трех-четырех тысяч фунтов стерлингов и продолжало бы возрастать,— для меня помышлять о подобном путешествии было величайшим безрассудством.

Но мне на роду было написано стать виновником собственной гибели. Как прежде я оказался не в силах побороть своих бродяжнических наклонностей и добрые советы отца пропали втуне, так и теперь я не мог устоять против сделанного мне предложения. Коротко говоря, я отвечал плантаторам, что с радостью поеду в Гвинею, если в мое отсутствие они возьмут на себя присмотр за моим имуществом и распорядятся им по моим указаниям в случае, если я не вернусь. Они торжественно обещали мне это, скрепив наш договор письменным обязательством, я же, со своей стороны, сделал формальное завещание на случай моей смерти: свою плантацию и движимое имущество я отказывал португальскому капитану, который спас мне жизнь, но с оговоркой, чтобы он взял себе только половину моей движимости, а остальное отослал в Англию.

Словом, я принял все меры для сохранения моей движимости и поддержания порядка на моей плантации. Прояви я хоть малую часть столь мудрой предусмотрительности в вопросе о собственной выгоде, составь я столь же ясное суждение о том, что я должен и чего не должен делать, я, наверное, никогда бы не бросил столь

удачно начатого и многообещающего предприятия, не препебрег бы столь благоприятными видами на успех и не пустился бы в море, с которым неразлучны опасности и риск, не говоря уже о том, что у меня были особые причины ожидать от предстоящего путешествия всяких бед.

Но меня торопили, и я слепо повиновался внушениям моей фантазии, а не голосу рассудка. Итак, корабль был снаряжен, нагружен подходящим товаром, и все устроено по взаимному соглашению участников экспедиции. В недобрый час, 1 сентября 1659 года, я взошел на корабль. Это был тот самый день, в который восемь лет тому назад я убежал от отца и матери в Гулле, тот день, когда я восстал против родительской власти и так неразумно распорядился своею судьбой.

Наше судно было вместимостью около ста двадцати тонн: на нем было шесть пушек и четырнадцать человек экипажа, не считая капитана, юнги и меня. Тяжелого груза у нас не было, и весь он состоял из разных мелких вещиц, какие обыкновенно употребляются для меновой торговли с неграми: из ножниц, ножей, топоров, зеркалец, стекляшек, раковин, бус и тому подобной дешевки.

Как уже сказано, я сел на корабль 1 сентября, и в тот же день мы снялись с якоря. Сначала мы направились к северу вдоль берегов Бразилии, рассчитывая свернуть к Африканскому материку, когда дойдем до десятого или двенадцатого градуса северной широты: таков в те времена был обыкновенный курс судов. Все время, покуда мы держались наших берегов, до самого мыса Святого Августина, стояла прекрасная погода, было только чересчур жарко. От мыса Святого Августина мы повернули в открытое море и вскоре потеряли из виду землю. Мы держали курс приблизительно на остров Фернандо ди Норонья, то есть на северо-восток. Остров Фернандо остался у нас по правой руке. После двенадцатидневного плавания мы пересекли экватор и находились, по последним наблюдениям, под 7°22′ северной широты, когда на нас неожиданно налетел жестокий шквал. Это был настоящий ураган. Он начался с юго-востока, потом пошел в обратную сторону и наконец задул с северо-востока с такою ужасающей силой, что в течение двенадцати дней мы могли только носиться по ветру и, отдавшись на волю судьбы, плыть, куда нас гнала ярость стихий. Нечего и говорить, что все эти двенадцать дней я ежечасно ожидал смерти, да и никто на корабле не чаял остаться в живых.

Но наши беды не ограничились страхом бури: один из наших матросов умер от тропической лихорадки, а двоих — матроса и юнгу — смыло с палубы. На двенадцатый день шторм стал стихать, и капитан произвел по возможности точное вычисление. Оказалось, что мы находимся приблизительно под 11° северной широты, но что

нас отнесло на 22° к западу от мыса Святого Августина. Мы были теперь недалеко от берегов Гвианы или северной части Бразилии, за рекой Амазонкой, и ближе к реке Ориноко, более известной в тех краях под именем Великой реки. Капитан спросил моего совета, куда нам взять курс. Ввиду того, что судно дало течь и едва ли годилось для дальнего плавания, он полагал, что лучше всего повернуть назад, к берегам Бразилии.

Но я решительно восстал против этого. В конце концов, рассмотрев карты берегов Америки, мы пришли к заключению, что до самых Караибских островов не встретим ни одной населенной страны, где можно было бы найти помощь. Поэтому мы решили держать курс на Барбадос, до которого, по нашим расчетам, можно было добраться в две недели, так как нам пришлось бы немного уклониться от прямого пути, чтобы не попасть в течение Мексиканского залива. О том же, чтобы идти к берегам Африки, не могло быть и речи: наше судно нуждалось в починке, а экипаж — в пополнении. Ввиду вышеизложенного мы изменили курс и стали держать на запад-северо-запад. Мы рассчитывали дойти до какого-нибудь из островов, принадлежащих Англии, и получить там помощь. Но судьба судила иначе. Когда мы достигли 12°18′ северной широты, нас захватил второй шторм. Так же стремительно, как и в первый раз, мы понеслись на запад и очутились далеко от торговых путей, так что, если бы даже мы не погибли от ярости волн, у нас все равно почти не было надежды вернуться на родину, и мы, вероятнее всего, были бы съедены дикарями.

Однажды ранним утром, когда мы бедствовали таким образом,— ветер все еще не сдавал,— один из матросов крикнул: «Земля!» — но не успели мы выскочить из каюты в надежде узнать, где мы находимся, как судно село на мель. В тот же миг от внезапной остановки вода хлынула на палубу с такой силой, что мы уже считали себя погибшими: стремглав бросились мы вниз в закрытые помещения, где и укрылись от брызг и пены.

Тому, кто не бывал в подобном положении, трудно себе представить, до какого отчаяния мы дошли. Мы не знали, где находимся, к какой земле нас прибило, остров это или материк, обитаемая земля или нет. А так как буря продолжала бушевать, хоть и с меньшей силой, мы не надеялись даже, что наше судно продержится несколько минут, не разбившись в щепки: разве только каким-нибудь чудом ветер вдруг переменится. Словом, мы сидели, глядя друг на друга и ежеминутно ожидая смерти, и каждый готовился к переходу в иной мир, ибо в здешнем мире нам уже нечего было делать. Единственным нашим утешением было то, что, вопреки всем ожиданиям, судно было все еще цело, и капитан сказал, что ветер начинает стихать.

Но хотя нам показалось, что ветер немного стих, все же корабль так основательно сел на мель, что нечего было и думать сдвинуть его с места, и в этом отчаянном положении нам оставалось только позаботиться о спасении нашей жизни какой угодно ценой. У нас были две шлюпки; одна висела за кормой, но во время шторма ее разбило о руль, а потом сорвало и потопило или унесло в море. На нее нам нечего было рассчитывать. Оставалась другая шлюпка, но как спустить ее на воду? Задача казалась неразрешимой. А между тем нельзя было мешкать: корабль мог каждую минуту расколоться надвое; некоторые даже говорили, что он уже дал трещину.

В этот критический момент помощник капитана подошел к шлюпке и с помощью остальных людей экипажа перебросил ее через борт; мы все, одиннадцать человек, вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя милосердию божию, отдались на волю бушующих волн; хотя шторм значительно поулегся, все-таки на берег набегали страшные валы, и море могло быть по справедливости названо den wild zee — дикое море, как выражаются голландцы.

Наше положение было поистине плачевно: мы ясно видели, что шлюпка не выдержит такого волнения и что мы неизбежно потонем. Идти на парусе мы не могли: у нас его не было, да и все равно он был бы нам бесполезен. Мы гребли к берегу с тяжелым сердцем, как люди, идущие на казнь: мы все отлично знали, что, как только шлюпка подойдет ближе к земле, ее разнесет прибоем на тысячу кусков. И, подгоняемые ветром и течением, предавши душу свою милосердию божию, мы налегли на весла, собственноручно приближая момент нашей гибели.

Какой был перед нами берег — скалистый или песчаный, крутой или отлогий,— мы не знали. Единственной для нас надеждой на спасение была слабая возможность попасть в какую-нибудь бухточку, или залив, или в устье реки, где волнение было слабее и где мы могли бы укрыться под берегом с наветренной стороны. Но впереди не было видно ничего похожего на залив, и чем ближе подходили мы к берегу, тем страшнее казалась земля, страшнее самого моря.

Когда мы отошли или, вернее, нас отнесло примерно мили на четыре от застрявшего корабля, огромный вал величиной с гору неожиданно набежал с кормы на нашу шлюпку, словно для того, чтобы последним ударом прекратить наши страдания. В один миг опрокинул он нашу шлюпку. Мы не успели крикнуть: «Боже!» — как очутились под водой, далеко и от шлюпки, и друг от друга.

Ничем не выразить смятения в моих мыслях, когда я погрузился в воду. Я отлично плаваю, но я не мог вынырнуть на поверхность и набрать в грудь воздуху, пока подхватившая меня волна,

пронеся меня изрядное расстояние по направлению к берегу, не разбилась и не отхлынула назад, оставив меня на мелком месте, полумертвого от воды, которой я нахлебался. У меня хватило самообладания настолько, что, увидев сушу гораздо ближе, чем я ожидал, я поднялся на ноги и опрометью пустился бежать в надежде достичь берега прежде, чем нахлынет и подхватит меня другая волна, но скоро увидел, что мне от нее не уйти; море шло горой и догоняло, как разъяренный враг, бороться с которым у меня не было ни сил, ни средств. Мне оставалось только, задержав дыхание, вынырнуть на гребень волны и плыть к берегу, насколько хватит сил. Главной моей заботой было справиться по возможности с новой волной так, чтобы, поднеся меня еще ближе к берегу, она не увлекла меня за собой в своем обратном движении к морю.

Набежавшая волна скрыла меня футов на двадцать — тридцать под водой. Я чувствовал, как меня подхватило и долго, с неимоверной силой и быстротой несло к берегу. Я задержал дыхание и поплыл по течению, изо всех сил помогая ему. Я уже почти задыхался, как вдруг почувствовал, что поднимаюсь кверху; вскоре, к великому моему облегчению, мои руки и голова оказались над водой, и хотя я мог продержаться на поверхности не больше двух секунд, однако успел перевести дух, и это придало мне силы и мужества. Меня снова захлестнуло, но на этот раз я пробыл под водой не так долго. Когда волна разбилась и пошла назад, я не дал ей увлечь себя обратно и скоро почувствовал под ногами дно. Я простоял несколько секунд, чтобы отдышаться, и, собрав остаток сил, снова опрометью пустился бежать к берегу. Но и теперь я еще не ушел от ярости моря: еще два раза оно меня нагоняло, два раза меня подхватывало волной и несло все вперед и вперед, так как в этом месте берег был очень отлогий.

Последний вал едва не оказался для меня роковым: подхватив меня, он вынес, или, вернее, бросил, меня на скалу с такой силой, что я лишился чувств и оказался совершенно беспомощным: удар в бок и в грудь совсем отшиб у меня дыхание, и если б море снова подхватило меня, я бы неминуемо захлебнулся. Но я пришел в себя как раз вовремя: увидев, что сейчас меня опять накроет волной, я крепко уцепился за выступ скалы и, задержав дыхание, решил переждать, пока волна не схлынет. Так как ближе к земле волны были уже не столь высоки, то я продержался до ее ухода. Затем я снова пустился бежать и очутился настолько близко к берегу, что следующая волна хоть и перекатилась через меня, но уже не могла поглотить и унести обратно в море. Пробежав еще немного, я, к великой моей радости, почувствовал себя на суше, вскарабкался на прибрежные скалы и опустился на траву. Здесь я был в безопасности: море не могло достать до меня.

Очутившись на земле целым и невредимым, я поднял взор к небу, возблагодарив бога за спасение моей жизни, на что всего лишь несколько минут тому назад у меня почти не было надежды. Я думаю, что нет таких слов, которыми можно было бы изобразить с достаточной яркостью восторг души человеческой, восставшей, так сказать, из гроба, и я нисколько не удивляюсь тому, что, когда преступнику, уже с петлей на шее, в тот самый миг, как его должны вздернуть на виселицу, объявляют помилование,— повторяю, я не удивляюсь, что при этом всегда присутствует и врач, чтобы пустить ему кровь, иначе неожиданная радость может слишком сильно потрясти помилованного и остановить биение его сердца.

Внезапная радость, как и скорбь, ума лишает.

Я ходил по берегу, воздевал руки к небу и делал тысячи других жестов и движений, которых теперь не могу уже описать. Все мое существо было, если можно так выразиться, поглощено мыслями о спасении. Я думал о своих товарищах, которые все утонули, и о том, что, кроме меня, не спаслась ни одна душа; по крайней мере, никого из них я больше не видел; от них и следов не осталось, кроме трех шляп, одной матросской шапки да двух непарных башмаков, выброшенных морем.

Взглянув в ту сторону, где стоял на мели наш корабль, я едва мог рассмотреть его за высоким прибоем,— так он был далеко, и я сказал себе: «Боже! Каким чудом мог я добраться до берега?»

Утешившись этими мыслями о благополучном избавлении от смертельной опасности, я стал осматриваться кругом, чтобы узнать, куда я попал и что мне прежде всего делать. Мое радостное настроение разом упало: я понял, что хотя я и спасся, но не избавлен от дальнейших ужасов и бед. На мне не оставалось сухой нитки, переодеться было не во что; мне нечего было есть, у меня не было даже воды, чтобы подкрепить свои силы, а в будущем мне предстояло или умереть голодной смертью, или быть растерзанным хищными зверями. Но что всего ужаснее — у меня не было оружия, так что я не мог ни охотиться за дичью для своего пропитания, ни обороняться от хищников, которым вздумалось бы напасть на меня. У меня вообще не было ничего, кроме ножа, трубки да коробочки с табаком. Это было все мое достояние. При мысли об этом я пришел в такое отчаяние, что долго как сумасшедший бегал по берегу. Когда настала ночь, я с замирающим сердцем спрашивал себя, что меня ожидает, если здесь водятся хищные звери,— ведь они всегда выходят на добычу по ночам.

Единственное, что я мог тогда придумать, это взобраться на росшее поблизости толстое, ветвистое дерево, похожее на ель, но

с колючками, и просидеть на нем всю ночь, а когда придет утро, решить, какою смертью лучше умереть, ибо я не видел возможности жить в этом месте. Я прошел с четверть мили от берега вглубь посмотреть, нет ли пресной воды, и, к великой моей радости, нашел ручеек. Напившись и положив в рот немного табаку, чтобы заглушить голод, я вернулся к дереву, взобрался на него и постарался устроиться таким образом, чтобы не свалиться, в случае если засну. Затем я срезал для самозащиты коротенький сук, вроде дубинки, уселся поплотнее и от крайнего утомления крепко уснул. Я спал так сладко, как, я думаю, не многим спалось бы на моем месте, и никогда не пробуждался от сна таким свежим и бодрым.

Когда я проснулся, было совсем светло: погода прояснилась, ветер утих, и море больше не бушевало и не вздымалось. Но меня крайне поразило то, что корабль очутился на другом месте, почти у самой той скалы, о которую меня так сильно ударило волной; должно быть, за ночь его приподняло с мели приливом и пригнало сюда. Теперь он стоял не дальше мили от того места, где я провел ночь, и так как держался он почти прямо, то я решил побывать на нем, чтобы запастись едой и другими необходимыми вещами.

Покинув свое убежище и спустившись с дерева, я еще раз осмотрелся кругом, и первое, что я увидел, была наша шлюпка, лежавшая милях в двух вправо, на берегу, куда ее, очевидно, выбросило море. Я поспешил было в том направлении, думая дойти до нее, но оказалось, что путь преграждал глубоко врезывавшийся в берег заливчик шириною в полмили. Тогда я повернул назад, ибо мне было важнее попасть поскорей на корабль, где я надеялся найти что-нибудь для поддержания своего существования.

После полудня волнение на море совсем улеглось, и отлив был так низок, что мне удалось подойти к кораблю на четверть мили. Тут я снова почувствовал приступ глубокого горя, ибо мне стало ясно, что если б мы не покинули корабль, то все остались бы живы: переждав шторм, мы благополучно перебрались бы на берег, и я не был бы, как теперь, несчастным существом, совершенно лишенным человеческого общества. При этой мысли слезы выступили у меня на глазах, но слезами горю не поможешь, и я решил все-таки добраться до корабля. Раздевшись (день был нестерпимо жаркий), я вошел в воду. Но, когда я подплыл к кораблю, возникло новое затруднение: как на него взобраться? Он стоял на мелководье, весь наружу, и уцепиться было не за что. Дважды я проплыл вокруг него и во второй раз заметил недлинный канат — удивительно, как он сразу не бросился мне в глаза. Он свешивался так низко над водой, что мне, хоть и не без труда, удалось поймать его конец и взобраться на бак корабля. Судно дало течь, и трюм был полон воды; однако оно так увязло килем в песчаной или,

скорее, илистой отмели, что корма была приподнята, а нос почти касался воды. Таким образом, вся кормовая часть оказалась сухой, и все, что там находилось, не пострадало от воды. Я сразу обнаружил это, так как, разумеется, мне прежде всего хотелось узнать, что из корабельного имущества было попорчено и что уцелело. Оказалось, во-первых, что весь запас провизии был совершенно сухой, а так как меня мучил голод, то я отправился в кладовую, набил карманы сухарями и ел их на ходу, чтобы не терять времени. В кают-компании я нашел бутылку рому и отхлебнул из нее несколько хороших глотков, ибо очень нуждался в подкреплении сил для предстоящей работы.

Прежде всего мне нужна была лодка, чтобы перевезти на берег все то, что могло мне понадобиться. Однако бесполезно было сидеть сложа руки и мечтать о том, чего нельзя было получить. Нужда изощряет изобретательность, и я живо принялся за дело. На корабле были запасные мачты, стеньги и реи. Из них я решил построить плот. Выбрав несколько бревен полегче, я перекинул их за борт, привязав предварительно каждое веревкой, чтобы их не унесло. Затем я спустился с корабля, притянул к себе четыре бревна, крепко связал их между собою по обоим концам, скрепив еще сверху двумя или тремя коротенькими досками, положенными накрест. Мой плот отлично выдерживал тяжесть моего тела, но для большего груза был слишком легок. Тогда я снова принялся за дело и с помощью пилы нашего корабельного плотника распилил запасную мачту на три куска, которые и приладил к своему плоту. Эта работа стоила мне неимоверных усилий, но желание запастись по возможности всем необходимым для жизни поддерживало меня, и я сделал то, что при других обстоятельствах мне было бы не под силу.

Теперь мой плот был достаточно крепок и мог выдержать порядочную тяжесть. Первым делом было нагрузить его и уберечь мой груз от морского прибоя. Над этим я раздумывал недолго. Прежде всего я положил на плот все доски, какие нашлись на корабле; на эти доски я спустил три сундука, принадлежащих нашим матросам, предварительно взломав в них замки и опорожнив их. Затем, прикинув в уме, что из вещей могло мне понадобиться больше всего, я отобрал эти вещи и наполнил ими все три сундука. В один я сложил съестные припасы: хлеб, рис, три круга голландского сыру, пять больших кусков вяленой козлятины, служившей нам главной пищей, и остатки зерна для домашней птицы, которую мы взяли с собой на судно и давно уже съели. Это был ячмень, перемешанный с пшеницей; к великому моему разочарованию, он оказался попорченным крысами. Я нашел также несколько ящиков вин и пять или шесть галлонов арака, или рисо-

вой водки, принадлежавших нашему шкиперу. Все эти ящики я поставил прямо на плот, так как в сундуках они бы не поместились, да и надобности не было их прятать. Между тем, пока я был занят погрузкой, начался прилив, и, к великому моему огорчению, я увидел, что мой камзол, рубашку и жилет, оставленные мною на берегу, унесло в море. Таким образом, у меня остались из платья только чулки да штаны (полотняные и коротенькие, до колен), которых я не снимал. Это заставило меня подумать о том, чтобы запастись одеждой. На корабле было немало всякой одежды, но я взял пока только то, что было необходимо в данную минуту: меня гораздо больше соблазняло многое другое, и прежде всего рабочие инструменты. После долгих поисков я нашел ящик нашего плотника, и это была для меня поистине драгоценная находка, которой я не отдал бы в то время за целый корабль с золотом. Я поставил на плот этот ящик, как он был, даже не заглянув в него, так как мне было приблизительно известно, какие в нем инструменты.

Теперь мне осталось запастись оружием и зарядами. В каюткомпании я нашел два прекрасных охотничьих ружья и два пистолета, которые и переправил на плот вместе с пороховницей, небольшим мешком с дробью и двумя старыми, заржавленными саблями. Я знал, что у нас было три бочонка пороху, но не знал, где их хранил наш канонир. Однако, поискав хорошенько, я нашел все три. Один оказался подмокшим, а два были совершенно сухи, и я перетащил их на плот вместе с ружьями и саблями. Теперь мой плот был достаточно нагружен, и я начал думать, как мне добраться до берега без паруса, без весел и без руля,— ведь довольно было самого слабого порыва ветра, чтобы опрокинуть все мое сооружение.

Три обстоятельства ободряли меня: во-первых, полное отсутствие волнения на море; во-вторых, прилив, который должен был гнать меня к берегу; в-третьих, небольшой ветерок, дувший тоже к берегу и, следовательно, попутный. Итак, разыскав два или три сломанных весла от корабельной шлюпки, прихватив еще две пилы, топор и молоток (кроме тех инструментов, что были в ящике), я пустился в море. С милю или около того мой плот шел отлично; я заметил только, что его относит от того места, куда накануне меня выбросило море. Это навело меня на мысль, что там, должно быть, береговое течение и что, следовательно, я могу попасть в какой-нибудь заливчик или речку, где мне будет удобно пристать с моим грузом.

Как я предполагал, так и вышло. Вскоре передо мной открылась маленькая бухточка, и меня быстро понесло к ней. Я правил, как умел, стараясь держаться середины течения.

Но тут, будучи совершенно незнаком с фарватером этой бухточки, я чуть вторично не потерпел кораблекрушение, и, если бы это случилось, я, право, кажется, умер бы с горя. Мой плот неожиданно наскочил одним краем на отмель, а так как другой его край не имел точки опоры, то он сильно накренился; еще немного, и весь мой груз съехал бы в эту сторону и свалился бы в воду. Я изо всех сил уперся спиной и руками в мои сундуки, стараясь удержать их на месте, но не мог столкнуть плот, несмотря на все усилия. С полчаса, не смея шевельнуться, простоял я в этой позе, покамест прибывшая вода не приподняла немного опустившийся край плота, а спустя некоторое время вода поднялась еще выше, и плот сам сошел с мели. Тогда я оттолкнул плот веслом на середину фарватера и, отдавшись течению, которое было здесь очень быстрое, вошел наконец в бухточку или, вернее, в устье небольшой реки с высокими берегами. Я стал осматриваться, отыскивая, где бы мне лучше пристать: мне не хотелось слишком удаляться от моря, ибо я надеялся когда-нибудь увидеть на нем корабль, и потому решил обосноваться как можно ближе к берегу.

Наконец на правом берегу я высмотрел крошечный заливчик, к которому и направил свой плот. С большим трудом провел я его поперек течения и вошел в заливчик, упираясь в дно веслами. Но здесь я снова рисковал вывалить весь мой груз: берег был настолько крут, что если б только мой плот наехал на него одним концом, то неминуемо бы наклонился к воде другим, и моя поклажа была бы в опасности. Мне оставалось только ждать полного прилива. Высмотрев удобное местечко, где берег заканчивался ровной площадкой, я пододвинул туда плот и, упираясь в дно веслом, держал его на якоре; я рассчитывал, что прилив покроет эту площадку водой. Так и случилось. Когда вода достаточно поднялась — мой плот сидел в воде на целый фут,— я втолкнул его на площадку, укрепил с двух сторон при помощи весел, воткнув их в дно, и стал дожидаться отлива. Таким образом, мой плот со всем грузом оказался на сухом берегу.

Следующей моей заботой было осмотреть окрестности и выбрать себе защищенное от всяких случайностей удобное местечко для жилья, где бы я мог сложить свое добро. Я все еще не знал, куда я попал: на материк или на остров, в населенную или в необитаемую страну; не знал, грозит ли мне опасность со стороны хищных зверей или нет. Приблизительно в полумиле от меня виднелся холм, крутой и высокий, по-видимому, господствовавший над грядою возвышенностей, тянувшейся к северу. Вооружившись ружьем, пистолетом и пороховницей, я отправился на разведку. Когда я взобрался на вершину холма (что стоило мне немалых усилий), мне стала ясна моя горькая участь: я был на острове,

со всех сторон простиралось море и вокруг не было и признака земли, если не считать нескольких торчавших в отдалении скал да двух маленьких островов, поменьше моего, лежавших милях в десяти к западу.

Я сделал и другие открытия: мой остров был совершенно невозделан и, судя по всем признакам, необитаем. Может быть, на нем и жили хищные звери, но пока я ни одного не видал. Зато пернатые водились во множестве, но все неизвестных мне пород, так что потом, когда мне случалось убить дичь, я никогда не мог определить по виду, годится ли она в пищу или нет. Спускаясь с холма, я подстрелил большую птицу, сидевшую на дереве у опушки леса. Я думаю, что это был первый выстрел, раздавшийся здесь с сотворения мира; не успел я выстрелить, как над рощей взвилась туча птиц; каждая из них кричала по-своему, но ни один из криков не походил на крики, известные мне. Что касается убитой мною птицы, по-моему, это была разновидность нашего ястреба: она очень напоминала его окраской перьев и формой клюва, только когти у нее были гораздо короче. Ее мясо отдавало падалью и не годилось в пищу.

Удовольствовавшись этими открытиями, я воротился к плоту и принялся перетаскивать вещи на берег. Это заняло у меня весь остаток дня. Я не знал, как и где устроиться мне на ночь. Лечь прямо на землю я боялся, не будучи уверен, что меня не загрызет какой-нибудь хищник. Впоследствии оказалось, что эти страхи были напрасны.

Наметив на берегу местечко для ночлега, я загородил его со всех сторон сундуками и ящиками, а внутри этой ограды соорудил из досок нечто вроде шалаша. Что касается пищи, то я не знал еще, как буду добывать себе впоследствии пропитание: кроме птиц да двух каких-то зверьков, вроде нашего зайца, выскочивших из рощи при звуке моего выстрела, никакой живности я здесь не видел. Но теперь я думал только о том, как бы забрать с корабля все, что там оставалось и что могло мне пригодиться, и прежде всего паруса и канаты. Поэтому я решил, если ничто не помешает, предпринять второй рейс на корабль. А так как я знал, что при первой же буре его разобьет в щепки, то предпочел отложить другие дела, пока не переправлю на берег все, что только смогу взять. Я стал держать совет (с самим собой, конечно), брать ли мне плот. Это показалось мне непрактичным, и, дождавшись отлива, я пустился в путь, как в первый раз. Только теперь я разделся в шалаше, оставшись в одной нижней клетчатой рубахе, в полотняных кальсонах и в туфлях на босу ногу.

Как и в первый раз, я взобрался на корабль по канату; затем построил новый плот. Но, умудренный опытом, я сделал его не

таким неповоротливым, как первый, и не так тяжело нагрузил. Впрочем, я все-таки перевез на нем много полезных вещей. Во-первых, все, что нашлось в запасах нашего плотника, а именно: два или три мешка с гвоздями (большими и мелкими), отвертку, десятка два топоров, а главное, такую полезную вещь, как точило. Затем я взял несколько вещей из склада нашего канонира, в том числе три железных лома, два бочонка с ружейными пулями, семь мушкетов, еще одно охотничье ружье и немного пороху, затем большой мешок с дробью и сверток листового свинца. Впрочем, последний оказался таким тяжелым, что у меня не хватило силы поднять и спустить его на плот.

Кроме перечисленных вещей, я взял с корабля всю одежду, какую нашел, да прихватил еще запасной парус, подвесную койку и несколько тюфяков и подушек. Все это я погрузил на плот и, к великому моему удовольствию, перевез на берег в целости.

Отправляясь на корабль, я немного побаивался, как бы в мое отсутствие какие-нибудь хищники не уничтожили моих съестных припасов. Но, воротившись на берег, я не заметил никаких следов непрошеных гостей. Только на одном из сундуков сидел какой-то зверек, очень похожий на дикую кошку. При моем приближении он отбежал в сторону и остановился, потом присел на задние лапы и совершенно спокойно, без всякого страха, смотрел мне прямо в глаза, точно выражая желание познакомиться со мной. Я прицелился в него из ружья, но это движение было, очевидно, ему непонятно; он нисколько не испугался, даже не тронулся с места. Тогда я бросил ему кусок сухаря, хотя не особенно-то мог быть расточительным, так как мой запас провизии был очень невелик. Тем не менее я уделил ему этот кусочек. Он подошел, обнюхал его, съел, облизнулся и с довольным видом ждал повторного угощения, но я поблагодарил за честь и больше ничего ему не дал; тогда он ушел.

Доставив на берег свой второй груз, я хотел открыть тяжелые бочонки с порохом и перенести его частями, однако принялся сначала за сооружение палатки. Я сделал ее из паруса и жердей, которые для этой цели нарезал в роще. В палатку я перенес все, что могло испортиться от солнца и дождя, а вокруг нее нагромоздил пустые ящики и бочки на случай внезапного нападения людей или зверей.

Вход в палатку я загородил снаружи большим сундуком, поставив его боком, а изнутри заложил досками. Затем разостлал на земле постель, в головах положил два пистолета, рядом с тюфяком — ружье и лег. Со дня кораблекрушения я в первый раз провел ночь в постели. От изнеможения я проспал до утра как убитый, и не мудрено: в предыдущую ночь я почти не спал, а весь

день работал, сперва над погрузкой вещей с корабля на плот, а потом переправляя их на берег.

Никто, я думаю, не устраивал для себя такого огромного склада, какой был устроен мною. Но мне все было мало: пока корабль был цел и стоял на прежнем месте, пока на нем оставалась хоть одна вещь, которой я мог воспользоваться, я считал необходимым пополнять свои запасы. Каждый день с наступлением отлива я отправлялся на корабль и что-нибудь привозил с собою. Особенно удачным было третье мое путешествие. Я разобрал все снасти, взял с собой весь мелкий такелаж (и трос и бечевки, какие могли уместиться на плоту). Я захватил также большой кусок запасной парусины, служившей у нас для починки парусов, и бочонок с подмокшим порохом, который я было оставил на корабле. В конце концов я переправил на берег все паруса до последнего; только мне пришлось разрезать их на куски и перевозить по частям; как паруса они были уже непригодны, и вся их ценность для меня заключалась в парусине.

Но вот чему я обрадовался еще больше. После пяти или шести таких экспедиций, когда я думал, что на корабле уже нечем больше поживиться, я неожиданно нашел в трюме большую бочку с сухарями, три бочонка рому, ящик с сахаром и бочонок превосходной муки. Это был приятный сюрприз: я больше не рассчитывал найти на корабле какую-нибудь провизию, будучи уверен, что все оставшиеся там запасы подмокли. Сухари я вынул из бочки и перенес на плот по частям, завертывая в парусину. Все это мне удалось благополучно доставить на берег.

На следующий день я предпринял новую поездку. Теперь, забрав с корабля решительно все вещи, какие под силу поднять одному человеку, я принялся за канаты. Каждый канат я разрезал на куски такой величины, чтобы мне было не слишком трудно управиться с ними, и перевез на берег два каната и швартов. Кроме того, я взял с корабля все железные части, какие мог отделить. Затем, обрубив оставшиеся реи, я построил из них плот побольше, погрузил на него все эти тяжелые вещи и пустился в обратный путь. Но на этот раз счастье мне изменило: мой плот был так неповоротлив и так сильно нагружен, что мне было очень трудно им управлять. Войдя в бухточку, где было выгружено мое остальное имущество, я не сумел провести его так искусно, как прежние: плот опрокинулся, и я упал в воду со всем своим грузом. Что касается меня, то беда была невелика, так как это случилось почти у самого берега; но груз мой, по крайней мере, значительная часть его, пропал, главное — железо, которое очень бы мне пригодилось и о котором я особенно жалел. Впрочем, когда вода спала, я вытащил на берег почти все куски каната и несколько

кусков железа, хотя и с великим трудом: я принужден был нырять за каждым куском, и это меня очень утомляло. В дальнейшем мои посещения корабля повторялись ежедневно, и каждый раз я привозил новую добычу.

Уже тринадцать дней я жил на острове и за это время побывал на корабле одиннадцать раз, переправив на берег решительно все, что в состоянии перетащить пара человеческих рук. Если бы тихая погода продержалась подольше, я убежден, что перевез бы весь корабль по кусочкам, но, делая приготовления к двенадцатому рейсу, я заметил, что подымается ветер. Тем не менее, дождавшись отлива, я отправился на корабль. Я уже так основательно обшарил нашу каюту, что, казалось, там ничего невозможно было найти; но тут я заметил шкафчик с двумя ящиками: в одном я нашел две-три бритвы, большие ножницы и с дюжину хороших вилок и ножей; в другом оказались деньги,— около тридцати шести фунтов частью европейской, частью бразильской серебряной и золотой монетой.

Я улыбнулся при виде этих денег. «Ненужный хлам,— проговорил я,— зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, чтобы нагнуться и поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне нечего с тобой делать. Так оставайся же, где лежишь, и отправляйся на дно морское, как существо, чью жизнь не стоит спасать!» Однако ж, поразмыслив, я решил взять деньги с собой и завернул все найденное в кусок парусины. Затем я стал подумывать о сооружении плота, но пока я собирался, небо нахмурилось, ветер, дувший с берега, начал крепчать, и через четверть часа совсем засвежело. При береговом ветре плот был бы мне не нужен; к тому же надо было спешить добраться до берега, пока не началось большое волнение, ибо иначе мне бы и совсем на него не попасть. Я, не теряя времени, спустился в воду и поплыл. То ли от тяжести бывших на мне вещей, то ли оттого, что мне приходилось бороться со встречным течением, у меня едва хватило сил переплыть полосу воды, отделявшую корабль от моей бухточки. Ветер крепчал с каждой минутой и еще до начала отлива превратился в настоящий шторм.

Но к этому времени я был уже дома, в безопасности, со всем моим богатством, и лежал в палатке. Всю ночь ревела буря, и когда поутру я выглянул из палатки, от корабля не осталось и следов! В первую минуту это неприятно меня поразило, но я утешился мыслью, что, не теряя времени и не щадя сил, достал оттуда все, что могло мне пригодиться; будь даже в моем распоряжении больше времени, мне уже почти нечего было бы взять с корабля.

Итак, я больше не думал ни о корабле, ни о вещах, какие на нем еще остались. Правда, после бури могло прибить к берегу

кое-какие обломки. Так оно потом и случилось. Но от всего этого мне было мало пользы.

Мои мысли были теперь всецело поглощены тем, как мне обезопасить себя от дикарей, если таковые окажутся, и от зверей, если они водятся на острове. Я долго раздумывал, каким способом достигнуть этого и какое мне лучше устроить жилье: выкопать ли в земле пещеру или поставить на земле палатку? В конце концов я решил сделать и то и другое, и полагаю, будет нелишним рассказать о моих работах и описать мое жилище.

Я скоро убедился, что выбранное мною место на берегу не годится для поселения: это была низина, у самого моря, с болотистой почвой и, вероятно, нездоровая, но главное, поблизости не было пресной воды. Поэтому я решил поискать другое место, более здоровое и более удобное для жилья.

При этом я должен был сообразоваться с некоторыми необходимыми в моем положении условиями. Во-первых, мое жилище должно быть расположено в здоровой местности и поблизости от пресной воды; во-вторых, оно должно укрывать от солнечного зноя; в-третьих, должно быть защищено от нападения хищников, как двуногих, так и четвероногих, и, наконец, в-четвертых, из него должно быть видно море, чтобы мне не упустить случая спастись, если бог пошлет какой-нибудь корабль, ибо мне не хотелось отказываться от надежды на избавление.

После довольно долгих поисков я нашел наконец небольшую ровную полянку на скате высокого холма, под крутым отвесным, как стена, обрывом, так что ничто мне не грозило сверху. В этой отвесной стене было небольшое углубление, как будто бы вход в пещеру, но никакой пещеры или входа в скалу дальше не было.

Вот на этой-то зеленой полянке, возле самого углубления, я и решил разбить свою палатку. Площадка имела не более ста ярдов в ширину и ярдов двести в длину, так что перед моим жильем тянулась как бы лужайка, в конце ее холм спускался неправильными уступами в низину, к берегу моря. Расположен был этот уголок на северо-западном склоне холма. Таким образом, он был в тени весь день до вечера, когда солнце переходит на юго-запад, то есть близится к закату (я разумею, в тех широтах).

Прежде чем ставить палатку, я начертил перед углублением полукруг, радиусом ярдов в десять, следовательно, ярдов двадцать в диаметре.

Затем по всему полукругу я набил в два ряда крепкие колья, прочно, как сваи, заколотив их в землю. Верхушки кольев я заострил. Мой частокол вышел около пяти с половиной футов вышиной; между двумя рядами кольев я оставил не более шести дюймов свободного пространства.

Весь этот промежуток между кольями я заполнил до самого верху обрезками канатов, взятых с корабля, сложив их рядами один на другой, а изнутри укрепил ограду подпорками, для которых приготовил колья потолще и покороче (около двух с половиной футов длиной). Ограда вышла у меня прочная: ни пролезть сквозь нее, ни перелезть через нее не мог ни человек, ни зверь. Эта работа потребовала от меня много времени и труда; особенно тяжело было рубить колья в лесу, перетаскивать их на место постройки и вколачивать в землю.

Для входа в это огороженное место я устроил не дверь, но короткую лестницу через частокол; входя к себе, я убирал лестницу, и в этом укреплении чувствовал себя накрепко отгороженным от внешнего мира и спокойно спал ночью, что при иных условиях, как мне казалось, было бы невозможно; впрочем, впоследствии выяснилось, что не было никакой нужды принимать столько предосторожностей против врагов, созданных моим воображением.

С неимоверным трудом перетащил я к себе в загородку, или в крепость, все свои богатства: провизию, оружие и прочее, перечисленное выше. Затем я поставил в ней большую палатку. Чтобы укрываться от дождей, которые в тропических странах в известное время года бывают очень сильны, я сделал палатку двойную, то есть сначала разбил одну палатку, поменьше, а над ней поставил другую, побольше, которую накрыл сверху брезентом, захваченным мною с корабля вместе с парусами.

Теперь я спал уже не на подстилке, брошенной прямо на землю, а на удобной подвесной койке, принадлежавшей помощнику нашего капитана. Я перенес в палатку съестные припасы и все, что могло испортиться от дождя, и только когда добро мое было укрыто внутри ограды, я наглухо заделал отверстие, через которое входил и выходил, и стал пользоваться приставной лестницей.

Заделав ограду, я принялся рыть пещеру в горе. Вырытые камни и землю я стаскивал через палатку в дворик и делал из них внутри ограды род насыпи, так что почва в дворике поднялась футa на полтора. Пещера приходилась как раз за палаткой и служила мне погребом.

Понадобилось много дней и много труда, чтобы довести до конца все эти работы. За это время многое другое занимало мои мысли и случилось несколько происшествий, о которых я хочу рассказать. Как-то раз, когда я приготовился ставить палатку и рыть пещеру, вдруг из большой темной тучи хлынул проливной дождь. Потом блеснула молния и раздался страшный раскат грома. В этом, конечно, не было ничего необыкновенного, и меня испугала не столько сама молния, сколько мысль, быстрее молнии промелькнувшая в моем мозгу: «Мой порох!» У меня замерло сердце, когда

я подумал, что весь мой порох может быть уничтожен одним ударом молнии, а ведь от него зависит не только моя безопасность, но и возможность добывать себе пищу. Мне даже в голову не пришло, какой опасности в случае взрыва подвергался я сам, хотя, если бы порох взорвался, я уже, наверное, никогда бы об этом не узнал.

Этот случай произвел на меня такое сильное впечатление, что, как только гроза прекратилась, я отложил на время все работы по устройству и укреплению моего жилища и принялся делать мешочки и ящики для пороха. Я решил разделить его на части и хранить понемногу в разных местах, чтобы он ни в коем случае не мог вспыхнуть весь сразу и самые части не могли бы воспламениться друг от друга. Эта работа заняла у меня почти две недели. Всего пороху у меня было около двухсот сорока фунтов. Я разложил его по мешочкам и по ящикам, разделив по меньшей мере на сто частей. Мешочки и ящики я запрятал в расселины горы в таких местах, куда никоим образом не могла проникнуть сырость, и тщательно отметил каждое место. За бочонок с подмокшим порохом я не боялся и потому поставил его в свою пещеру, или «кухню», как я ее мысленно называл.

Занимаясь возведением своей ограды, я, по крайней мере, раз в день выходил из дому с ружьем, отчасти ради развлечения, отчасти чтоб подстрелить какую-нибудь дичь и поближе ознакомиться с природными богатствами острова. В первую же свою прогулку я сделал открытие, что на острове водятся козы, и очень этому обрадовался; беда лишь в том, что эти козы были столь пугливы, столь чутки и проворны, что подкрасться к ним было труднейшим на свете делом. Меня, однако, это не обескуражило, я не сомневался, что рано или поздно подстрелю одну из них, что вскорости и случилось. Когда я выследил места, служившие им привалом, то подметил следующее: если они были на горе, а я появлялся под ними в долине, все стадо в испуге кидалось прочь от меня; но если случалось, что я был на горе, а козы паслись в долине, тогда они не замечали меня. Это привело меня к заключению, что глаза этих животных не приспособлены для того, чтобы смотреть вверх, и что, следовательно, они часто не видят того, что происходит над ними. С этих пор я стал придерживаться такого способа: я всегда взбирался сначала на какую-нибудь скалу, чтобы быть над ними, и тогда мне часто удавалось подстрелить животное.

Первым же выстрелом я убил козу, при которой был сосунок. Мне от души было жалко козленка; когда мать упала, он так и остался смирно стоять рядом с нею. Мало того, когда я подошел к убитой козе, взвалил ее на плечи и понес домой, козленок побежал за мной, и так мы дошли до самого дома. У ограды я положил козу на землю, взял в руки козленка и перенес его через часто-

кол в надежде вырастить его и приручить, но он еще не умел жевать, и я был принужден зарезать и съесть его. Мне надолго хватило мяса этих двух животных, потому что ел я мало, стараясь по возможности сберечь свои запасы, в особенности хлеб.

После того как я окончательно обосновался в своем новом жилище, самым неотложным для меня делом было устроить какой-нибудь очаг, в котором можно было бы разводить огонь, а также запастись дровами. О том, как я справился с этой задачей, а равно о том, как я пополнил запасы в своем погребе и как постепенно окружил себя некоторыми удобствами, я подробно расскажу в другой раз, теперь же мне хотелось бы поговорить о себе, рассказать, какие мысли в то время меня посещали. А их, само собой разумеется, было немало.

Мое положение представлялось мне в самом мрачном свете. Меня забросило бурей на необитаемый остров, который лежал далеко от места назначения нашего корабля и за несколько сот миль от обычных торговых морских путей, и я имел все основания прийти к заключению, что так было предопределено небом, чтобы здесь, в этом печальном месте, в безвыходной тоске одиночества я и окончил свои дни. Глаза мои наполнялись слезами, когда я думал об этом, и не раз недоумевал я, почему провидение губит им же созданные существа, бросает их на произвол судьбы, оставляет без всякой поддержки и делает столь безнадежно несчастными, повергает в такое отчаяние, что едва ли можно быть признательным за подобную жизнь.

Но всякий раз что-то быстро останавливало во мне мысли и укоряло за них. Особенно запомнился мне один такой день, когда я в глубокой задумчивости бродил с ружьем по берегу моря и думал о своей горькой доле. И вдруг во мне заговорил голос разума. «Да,— сказал этот голос,— положение твое незавидно: ты одинок — это правда. Но вспомни: где те, что были с тобой? Ведь в лодку село одиннадцать человек, где же остальные десять? Почему они не спаслись, а ты не погиб? За что тебе такое предпочтение? И как ты думаешь, где лучше — здесь или там?» И я взглянул на море. Стало быть, во всяком зле можно найти добро, стоит только подумать, что могло быть и хуже.

Тут мне снова ясно представилось, как хорошо я обеспечил себя всем необходимым и что было бы со мной, если б случилось так (а из ста раз это случается девяносто девять), что наш корабль остался бы на той отмели, куда его прибило сначала, если бы потом его не пригнало близко к берегу и я не успел захватить все нужные мне вещи. Что было бы со мной, если б мне пришлось жить на этом острове так, как я провел на нем первую ночь,— без крова, без пищи и без всяких средств добыть то и другое?

— В особенности,— произнес я вслух (самому себе, конечно),— что стал бы я делать без ружья и без зарядов, без инструментов? Как бы я жил здесь один, если бы у меня не было ни постели, ни одежды, ни палатки, где бы можно было укрыться?

Теперь же всего этого было у меня вдоволь, и я даже не боялся смотреть в глаза будущему: я знал, что к тому времени, когда выйдут мои запасы зарядов и пороха, у меня будет в руках другое средство добывать себе пищу. Я спокойно проживу без ружья до самой смерти, ибо с первых же дней моего житья на острове я задумал обеспечить себя всем необходимым на то время, когда у меня не только истощится весь мой запас пороха и зарядов, но и начнут мне изменять здоровье и силы.

Сознаюсь: я совершенно упустил из виду, что мои огнестрельные запасы могут быть уничтожены одним ударом, что молния может поджечь и взорвать мой порох. Вот почему я был так поражен, когда у меня мелькнула эта мысль во время грозы.

Приступая теперь к подробному описанию полной безмолвия, печальнейшей жизни, какая когда-либо доставалась в удел смертному, я начну с самого начала и буду рассказывать по порядку.

Было, по моему счету, 30 сентября, когда нога моя впервые ступила на ужасный остров. Произошло это, стало быть, во время осеннего равноденствия; а в тех широтах (то есть, по моим вычислениям, на 9°22′ к северу от экватора) солнце в этом месяце стоит почти прямо над головой.

Прошло дней десять — двенадцать моего житья на острове, и я вдруг сообразил, что потеряю счет времени из-за отсутствия книг, перьев и чернил и что в конце концов я даже перестану отличать будни от воскресных дней. Чтобы избежать этого, я водрузил большой деревянный столб на том месте берега, куда меня выбросило море, и вырезал на доске ножом крупными буквами надпись: «Здесь я ступил на берег 30 сентября 1659 года»,— которую прибил накрест к столбу.

По сторонам этого столба я каждый день делал ножом зарубку, а через каждые шесть зарубок делал одну подлиннее; это означало воскресенье; зарубки же, обозначавшие первое число каждого месяца, я делал еще длиннее. Таким образом я вел мой календарь, отмечая дни, недели, месяцы и годы.

Перечисляя предметы, привезенные мною с корабля, как было сказано выше, в несколько приемов, я не упомянул о многих мелких вещах, хотя и не особенно ценных, но сослуживших мне тем не менее хорошую службу. Так, например, в каютах капитана, его помощника, артиллериста и плотника я нашел чернила, перья и бумагу, три или четыре компаса, некоторые астрономические приборы, хронометры, подзорные трубы, географические карты и

книги по навигации. Все это я сложил в один из сундуков на всякий случай, не зная даже, понадобится ли мне что-нибудь из этих вещей. Кроме того, в моем собственном багаже оказались три Библии в хороших изданиях (я получил их из Англии вместе с выписанными мною товарами и, отправляясь в плавание, уложил вместе со своими вещами). Затем мне попалось несколько книг на португальском языке, в том числе три католических молитвенника, и еще какие-то книги. Их я тоже забрал. Я должен еще упомянуть, что у нас на корабле были две кошки и собака (я расскажу в свое время любопытную историю жизни этих животных на острове). Кошек я перевез на берег на плоту, собака же еще в первую мою экспедицию на корабль сама спрыгнула в воду и поплыла следом за мной. Много лет она была мне верным товарищем и слугой. Она делала для меня все, что могла, и почти заменяла мне человеческое общество. Мне хотелось бы только, чтобы она могла говорить, но это ей не было дано. Как уже сказано, я взял с корабля перья, чернила и бумагу. Я экономил их до последней возможности и, пока у меня были чернила, аккуратно записывал все, что случалось со мной; но когда они вышли, мне пришлось прекратить мои записи, так как я не умел делать чернила и не мог придумать, чем их заменить.

И тогда мне пришло в голову, что, несмотря на огромный склад всевозможных вещей, мне, кроме чернил, недоставало еще очень многого: у меня не было ни лопаты, ни заступа, ни кирки, и мне нечем было копать или взрыхлять землю, не было ни иголок, ни ниток. Не было у меня и белья, но я скоро научился обходиться без него, не испытывая больших лишений.

Из-за недостатка инструментов всякая работа шла у меня медленно и трудно. Чуть не целый год понадобился мне, чтоб довести до конца ограду, которой я вздумал обнести свое жилье. Нарубить в лесу толстых жердей, вытесать из них колья, перетащить эти колья к моей палатке — на все это нужно было много времени. Колья были так тяжелы, что я не мог поднять более одной штуки сразу, а иногда у меня уходило два дня только на то, чтобы обтесать кол и принести его домой, а третий день — на то, чтобы вбить его в землю. Для этой последней работы я пользовался сначала тяжелой деревянной дубиной, а потом вспомнил о железных ломах, привезенных мною с корабля, и заменил дубину ломом, но тем не менее вбивание кольев осталось для меня одною из самых утомительных и кропотливых работ.

Но что из того, если мне все равно некуда было девать время? А по окончании постройки я не предвидел для себя другого дела, кроме как скитаться по острову в поисках пищи, чем я и без того занимался почти каждый день.

Настало время, когда я принялся серьезно и обстоятельно обдумывать свое положение и вынужденные обстоятельства моей жизни и начал записывать свои мысли — не для того, чтобы увековечить их в назидание людям, которым придется претерпевать то же, что и мне (ибо едва ли нашлось бы много таких людей), а просто, чтобы высказать словами все, что меня терзало и мучило, и тем хоть сколько-нибудь облегчить свою душу. Но как ни тягостны были мои размышления, рассудок мой начинал мало-помалу брать верх над отчаянием. По мере сил я старался утешить себя тем, что могло бы случиться и нечто худшее, и противопоставлял злу добро. С полным беспристрастием я, словно должник и кредитор, записывал все претерпеваемые мной горести, а рядом — все, что случилось со мной отрадного.

ЗЛО	ДОБРО
Я заброшен судьбой на мрачный, необитаемый остров и не имею никакой надежды на избавление.	Но я жив, я не утонул, подобно всем моим товарищам.
Я как бы выделен и отрезан от всего мира и обречен на горе.	Но зато я выделен из всего нашего экипажа, смерть пощадила меня, и тот, кто столь чудесным образом спас меня от смерти, вызволит и из этого безотрадного положения.
Я отдален от всего человечества; я отшельник, изгнанный из общества людей.	Но я не умер с голоду и не погиб в этом пустынном месте, где человеку нечем пропитаться.
У меня мало одежды, и скоро мне будет нечем прикрыть свое тело.	Но я живу в жарком климате, где я не носил бы одежду, даже если бы она у меня была.
Я беззащитен против нападения людей и зверей.	Но остров, куда я попал, безлюден, и я не видел на нем ни одного хищного зверя, как на берегах Африки. Что было бы со мной, если б меня выбросило туда?
Мне не с кем перемолвиться словом, и некому утешить меня.	Но бог сотворил чудо, пригнав наш корабль так близко к берегу, что я не только успел запастись всем необходимым для удовлетворения моих потребностей, но и получил возможность добывать себе пропитание до конца моих дней.

Запись эта непреложно свидетельствует о том, что едва ли кто на свете попадал в более бедственное положение, и тем не менее оно содержало в себе как отрицательные, так и положительные стороны, за которые следовало быть благодарным: горький опыт человека, изведавшего худшее несчастье на земле, показывает, что у нас всегда найдется какое-нибудь утешение, которое в счете наших бед и благ следует записать в графу прихода.

Итак, вняв голосу рассудка, я начинал мириться со своим положением. Прежде я поминутно смотрел на море в надежде, не покажется ли где-нибудь корабль; теперь я уже покончил с напрасными надеждами и все свои помыслы направил на то, чтобы по возможности облегчить свое существование.

Я уже описал свое жилище. Это была палатка, разбитая на склоне горы и обнесенная частоколом. Но теперь мою ограду можно было назвать скорее стеной, потому что вплотную к ней, с наружной ее стороны, я вывел земляную насыпь фута в два толщиной. А спустя еще некоторое время (насколько помню, года через полтора) я поставил на насыпь жерди, прислонив их к откосу, а сверху сделал настил из разных ветвей. Таким образом, мой дворик оказался под крышей, и я мог не бояться дождей, которые, как я уже говорил, в известное время года лили на моем острове непрерывно.

Я уже упоминал, что все свое добро перенес в ограду и в пещеру, которую я выкопал за палаткой. Но должен заметить, что первое время вещи были свалены в кучу, перемешаны как попало и загромождали все пространство, так что мне негде было повернуться. По этой причине я решил углубить мою пещеру. Сделать это было нетрудно, так как гора была рыхлой, песчаной породы, которая легко поддавалась моим усилиям. Итак, когда я увидел, что мне не угрожает опасность от хищных зверей, я принялся копать вбок, с правой стороны пещеры, а потом повернул еще правее и вывел ход наружу, за пределы моего укрепления.

Эта галерея служила не только черным ходом к моей палатке, дававшим мне возможность свободно уходить и возвращаться, но также значительно увеличивала мою кладовую.

Покончив с этой работой, я принялся за изготовление самых необходимых предметов обстановки, прежде всего стола и стула: без них я не мог вполне наслаждаться даже теми скромными удовольствиями, какие были мне отпущены на земле; я не мог ни есть, ни писать с полным удобством.

И вот я принялся столярничать. Тут я должен заметить, что разум есть основа и источник математики, а потому, определяя и измеряя разумом вещи и составляя о них толковое суждение, каждый может через известное время овладеть любым ремеслом. Ни

разу в жизни до тех пор я не брал в руки столярного инструмента, и тем не менее благодаря трудолюбию и прилежанию я мало-помалу так наловчился, что, несомненно, мог бы сделать что угодно, в особенности располагая таким инструментом. Но даже и без инструментов или почти без инструментов, с одним только топором да рубанком я смастерил множество предметов, хотя, вероятно, никто еще не делал их таким способом и не затрачивал на это столько труда. Так, например, когда мне нужна была доска, я должен был срубить дерево, очистить ствол от ветвей и, поставив его перед собой, обтесывать с обеих сторон до тех пор, пока он не приобретал необходимую форму. А потом доску надо было еще выстругать рубанком. Правда, при таком методе из целого дерева выходила только одна доска, и выделка этой доски отнимала у меня массу времени и труда. Но против этого у меня было лишь одно средство — терпение. К тому же мое время и мой труд стоили недорого, и не все ли было равно, куда и на что они шли?

Итак, я прежде всего сделал себе стол и стул. Я употребил на них короткие доски, которые привез на плоту с корабля. Когда же затем я натесал длинных досок вышеописанным способом, то приладил в моем погребе, по одной его стене, несколько полок одну над другой фута по полтора шириною и сложил на них свои инструменты, гвозди, железо и прочий мелкий скарб — словом, распределил все по местам, чтобы легко находить каждую вещь. Я вбил также колышки в стенку погреба и развесил на них ружья и все, что можно было повесить.

Кто увидал бы после этого мою пещеру, тот, наверно, принял бы ее за склад предметов первой необходимости. Все было у меня под руками, и мне доставляло истинное удовольствие заглядывать в этот склад: такой образцовый порядок царил там и столько там было всякого добра.

Только по окончании этой работы я начал вести свой дневник и записывал туда все сделанное мной в течение дня. Первое время я был охвачен такой торопливостью и так удручен, что мое мрачное настроение неизбежно отразилось бы в моем дневнике. Вот, например, какую запись пришлось бы мне сделать 30 сентября: «Когда я выбрался на берег и таким образом спасся от смерти, меня стошнило соленой водой, которой я наглотался. Мало-помалу я пришел в себя, но вместо того чтобы возблагодарить создателя за мое спасение, принялся в отчаянии бегать по берегу. Я ломал руки, бил себя по голове и по лицу и кричал в исступлении: «Я погиб, погиб!» — пока не свалился на землю, выбившись из сил. Но я не смыкал глаз, боясь, чтобы меня не растерзали дикие звери».

В течение еще многих дней после этого (уже после всех моих экспедиций на корабль, когда все вещи с него были перевезены) я то и дело взбегал на пригорок и смотрел на море в надежде увидеть на горизонте корабль. Сколько раз мне казалось, будто вдали белеет парус, и я предавался радостным надеждам! Я смотрел, смотрел, пока у меня не туманилось в глазах, потом впадал в отчаяние, бросался на землю и плакал, как дитя, только усугубляя свое несчастье собственной глупостью.

Но когда наконец я до известной степени совладал с собой, когда я устроил свое жилье, привел в порядок домашний скарб, сделал себе стол и стул и обставил себя какими мог удобствами, то принялся за дневник. Привожу его здесь полностью, хотя описанные в нем события уже известны читателю из предыдущих глав. Я вел его, пока у меня были чернила, когда же они вышли, дневник поневоле пришлось прекратить.

ДНЕВНИК

30 сентября 1659 года. Я, несчастный Робинзон Крузо, потерпев кораблекрушение во время страшной бури, был выброшен на берег этого угрюмого, злополучного острова, который я назвал *островом Отчаяния.* Все мои спутники с нашего корабля потонули, и сам я был полумертв.

Весь остаток дня я провел в слезах и жалобах на свою злосчастную судьбу. У меня не было ни пищи, ни крова, ни одежды, ни оружия; мне негде было укрыться; отчаявшись получить откуда-нибудь избавление, я видел впереди только смерть. Мне казалось, что меня или растерзают хищные звери, или убьют дикари, или я умру с голоду, не найдя никакой еды. С приближением ночи я взобрался на дерево из боязни хищных зверей. Я отлично выспался, несмотря на то что всю ночь шел дождь.

1 октября. Проснувшись поутру, я увидел, к великому моему изумлению, что наш корабль сняло с мели приливом и пригнало гораздо ближе к берегу. С одной стороны, это было весьма утешительно (корабль был цел, не опрокинулся, так что у меня появилась надежда добраться до него, когда ветер утихнет, и запастись едой и другими необходимыми вещами); но, с другой стороны, еще сильнее стала и моя скорбь по погибшим товарищам. Останься мы на корабле, мы могли бы спасти его или, по крайней мере, утонули бы не все. Тогда мы могли бы построить лодку из обломков корабля, и нам удалось бы добраться до какой-нибудь населенной земли. Эти мысли не давали мне покоя весь день. Тем не менее, как только начался отлив, я отправился на корабль; подойдя к нему поближе по обнажившемуся морскому дну, я пустился по-

том вплавь. Весь этот день дождь не прекращался, но ветер совершенно утих.

С 1 по 24 октября. Все эти дни я был занят перевозкой с корабля всего, что можно было снять оттуда. С началом прилива я на плотах переправлял свой груз на берег. Все это время шли дожди с небольшими промежутками ясной погоды: вероятно, здесь сейчас дождливое время года.

20 октября. Мой плот опрокинулся, и весь груз затонул; но так как это случилось на мелком месте, а вещи были тяжелые, то с наступлением отлива мне удалось спасти большую их часть.

25 октября. Всю ночь и весь день шел дождь и дул порывистый ветер. Корабль за ночь разнесло в щепки; на том месте, где он стоял, торчат какие-то жалкие обломки, да и те видны только во время отлива. Весь этот день я укрывал и защищал спасенное мною добро, чтобы его не попортил дождь.

26 октября. Почти весь день бродил по берегу, отыскивая удобное место для жилья. Больше всего заботился о том, чтобы обезопасить себя от ночных нападений диких зверей и людей. К вечеру нашел наконец подходящее место на крутом склоне холма. Обведя полукругом по земле нужную мне площадь, я решил укрепить ее оградой, состоящей из двух рядов кольев, обложенных снаружи дерном; промежуток между рядами кольев я собирался заполнить корабельными канатами.

С 26 по 30 октября. Усиленно работал: перетаскивал свое имущество в новое жилище, несмотря на то что почти все время лил сильный дождь.

31 октября. Утром ходил по острову с ружьем в расчете подстрелить какую-нибудь дичь и осмотреть местность. Убил козу, ее козленок побежал за мной и проводил меня до самого дома, но мне пришлось убить и его, так как он еще не умел есть.

1 ноября. Разбил под самой скалой палатку, постаравшись сделать ее как можно более обширной, повесил на кольях койку и впервые переночевал в ней.

2 ноября. Собрал все ящики и доски, а также куски бревен от плотов и соорудил из них баррикаду вокруг палатки на площадке, отведенной для моего укрепления.

3 ноября. Ходил с ружьем. Убил двух птиц, похожих на уток. Их мясо оказалось очень вкусным. После обеда начал делать стол.

4 ноября. Распределил свое время, назначив определенные часы для физических работ, для охоты, для сна и для развлечений. Вот порядок моего дня: с утра, если нет дождя, часа два-три хожу по острову с ружьем, затем до одиннадцати работаю, а в одиннадцать завтракаю чем придется, с двенадцати до двух ложусь спать (так как это самая жаркая пора дня), затем к вечеру опять при-

нимаюсь за работу. Все рабочие часы в последние два дня трудился над изготовлением стола. Я был тогда еще весьма неумелым столяром. Но время и нужда вскоре сделали из меня мастера на все руки. Так было бы, конечно, и со всяким другим на моем месте.

5 ноября. Сегодня ходил с ружьем и с собакой. Убил дикую кошку; шкурка довольно мягкая, но мясо никуда не годится. Я сдирал шкурку с каждого убитого мною животного и прятал в свой склад. Возвращаясь домой берегом моря, видел много морских птиц неизвестных мне пород. Видел еще двух или трех тюленей. В первый момент я даже испугался, не распознав, что это за животные. Но, когда я к ним присматривался, они нырнули в воду и таким образом ускользнули от меня на этот раз.

6 ноября. После утренней прогулки работал над столом и докончил его, хотя и недоволен своей работой. Вскоре, однако, я так наловчился, что мог его исправить.

7 ноября. Устанавливается ясная погода. Все дни — 7, 8, 9, 10 и частью 12 ноября (11-го было воскресенье) — я делал стул. Мне стоило большого труда придать ему сносную форму. Несколько раз я разбирал его на части и сызнова принимался за работу. И все-таки недоволен результатом.

Примечание. Я скоро перестал соблюдать воскресные дни, ибо, перестав отмечать их на моем столбе, я сбился в счете.

13 ноября. Сегодня шел дождь; он очень освежил меня и охладил землю, но все время гремел страшный гром и сверкала молния, так что я перепугался за свой порох. Когда гроза прекратилась, я решил мой запас пороха разделить на мелкие части, чтоб он не взорвался весь разом.

14, 15 и 16 ноября. Все эти дни делал ящички для пороха, чтобы в каждый ящичек вошло от одного до двух фунтов. Сегодня разложил весь порох по ящикам и запрятал их в расселины скалы как можно дальше один от другого. Вчера убил большую птицу. Мясо ее очень вкусно. Как она называется — не знаю.

17 ноября. Сегодня начал копать углубление в скале за палаткой, чтобы поудобнее разложить свое имущество.

Примечание. Для этой работы крайне необходимы три вещи: кирка, лопата и тачка или корзина, а у меня их нет. Пришлось отказаться от работы. Долго думал, чем бы заменить эти инструменты или как их сделать. Вместо кирки попробовал работать железным ломом; он годится, только слишком тяжел. Затем остается лопата (или заступ). Без нее никак не обойтись, но я решительно не придумаю, как ее сделать.

18 ноября. Отыскивая в лесу материал для своих построек, нашел то дерево (или похожее на него), которое в Бразилии на-

зывают железным за его необыкновенную твердость. С большим трудом и сильно попортив свой топор, отрубил от него кусок и притащил домой: он оказался неимоверно тяжелым. Я решил сделать из него лопату. Дерево было так твердо, что эта работа отняла у меня много времени, но другого выхода у меня не было. Мало-помалу придал обрубку форму лопаты, причем рукоятка вышла не хуже, чем делают у нас в Англии, но широкая часть, не будучи обита железом, прослужила мне недолго. Впрочем, я достаточно воспользовался ею для земляных работ, и она очень мне пригодилась, но, я думаю, ни одна лопата на свете не изготовлялась таким способом и так долго.

Мне недоставало еще тачки или корзины. О корзине нечего было и мечтать, так как у меня не было гибких прутьев, по крайней мере, мне не удалось до сих пор найти их. Что же касается тачки, то мне казалось, что я сумею сделать ее. Затруднение было только в колесе: я не имел никакого представления о том, как делаются колеса; кроме того, для оси нужен был железный стержень, которого у меня тоже не было. Пришлось оставить это. Чтоб выносить вырытую землю, я сделал нечто вроде корытца, в каких каменщики держат известку.

Корытце было легче сделать, чем лопату; тем не менее все вместе — корытце, заступ и бесплодные попытки смастерить тачку — отняло у меня по меньшей мере четыре дня, не считая утренних экскурсий с ружьем. Редкий день я не выходил на охоту, и почти не было случая, чтобы я не принес себе что-нибудь на обед.

23 ноября. Пока я изготовлял эти орудия, вся остальная моя работа стояла. Докончив их, я опять принялся рыть пещеру. Копал весь день, насколько позволяли время и силы, и у меня ушло на эту работу целых восемнадцать дней. Мне нужно было, чтобы в моем погребе могло удобно разместиться все мое имущество.

Примечание. Все это время я трудился над расширением пещеры, чтобы она могла служить мне складом, кухней, столовой и погребом; помещался же я по-прежнему в палатке, кроме тех дней в дождливое время года, когда палатку пробивало дождем. Впрочем, впоследствии я устроил над своим двориком нечто вроде соломенной крыши: от ограды до откоса горы я проложил жерди, которые прикрыл водорослями и крупными листьями.

10 декабря. Я думал, что покончил со своей пещерой, или погребом, как вдруг сегодня (должно быть, я сделал ее слишком широкой) сверху с одного боку обвалилась земля. Обвал был так велик, что я испугался, и не без основания: находись я там в эту минуту, мне, уж наверное, не понадобилось бы могильщика. Этот

прискорбный случай причинил мне много хлопот и задал новую работу: нужно было удалить обвалившуюся землю, а главное, пришлось подпирать свод, иначе я не мог быть уверен, что обвал не повторится.

11 декабря. С сегодняшнего дня принялся за эту работу. Покамест поставил в виде подпоры два столба; на верху каждого из них укрепил крест-накрест по две доски. Эту работу я окончил на следующий день. Поставив еще несколько таких же столбов с досками, я через неделю окончательно укрепил свод. Столбы стоят в ряд и служат в моем погребе перегородкой.

17 декабря. С этого дня по 20-е число прилаживал в погребе полки, вбивал гвозди в столбы и развешивал все, что можно повесить. Теперь у меня будет хоть какой-то порядок.

20 декабря. Перенес все вещи и разложил по местам. Прибил несколько маленьких полочек для провизии: вышло нечто вроде буфета. Досок остается очень мало, и я сделал себе еще один стол.

24 декабря. Проливной дождь всю ночь и весь день; не выходил из дому.

25 декабря. Дождь льет непрерывно.

26 декабря. Дождь перестал. Стало гораздо прохладнее; очень приятная погода.

27 декабря. Подстрелил двух козлят; одного убил, а другого ранил в ногу, так что он не мог убежать; я поймал его и привел домой на веревке. Дома осмотрел ему ногу; она была перебита, и я забинтовал ее.

Примечание. Я выходил этого козленка: сломанная нога срослась, и он отлично бегал. Я так долго ухаживал за ним, что он стал ручным и не хотел уходить. Он пасся у меня на лужке перед палаткой. Тогда-то мне в первый раз пришло в голову завести домашний скот, чтобы обеспечить себе пропитание к тому времени, когда у меня выйдут заряды и порох.

28, 29, 30 и 31 декабря. Сильная жара при полном безветрии. Выходил из дому только по вечерам на охоту. Посвятил эти дни окончательному приведению в порядок своего хозяйства.

1 января. Жара не спадает; тем не менее сегодня ходил на охоту два раза: рано утром и вечером. В полдень отдыхал. Вечером прошел по долине подальше, в глубь острова, и видел очень много коз; но они крайне пугливы и не подпускают к себе близко. Хочу попробовать охотиться на них с собакой.

2 января. Сегодня взял с собой собаку и натравил на коз; но опыт не удался: все стадо повернулось навстречу собаке, и она, очевидно, отлично поняла опасность, потому что ни за что не хотела подойти к ним.

3 января. Начал строить ограду или, вернее, вал. Все еще опасаясь неожиданных нападений, я решил сделать ее как можно прочнее и толще.

Примечание. Моя ограда уже описана на предыдущих страницах, и потому я опускаю все, что говорится о ней в моем дневнике. Довольно будет заметить, что я провозился над ней (считая с начала работы до полного ее завершения) с *3 января по 14 апреля,* хотя вся ее длина не превышала двадцати четырех ярдов. Я уже говорил, что ограда моя шла полукругом, концы которого упирались в гору. От середины ее до горы было около восьми ярдов, и как раз посередине я устроил вход в пещеру.

Все это время я работал не покладая рук. Случалось, что дожди прерывали мою работу на несколько дней и даже недель, но мне казалось, что до окончания вала нельзя чувствовать себя в полной безопасности. Трудно представить себе, сколько труда я положил на эту работу. Особенно тяжело достались мне переноска из лесу бревен и вбивание их в землю, так как я делал гораздо более толстые колья, чем было нужно.

Когда ограда была окончена и укреплена с наружной стороны земляной насыпью, я успокоился. Мне казалось, что если бы на острове появились люди, они не заметили бы ничего похожего на человеческое жилье. Во всяком случае, я хорошо сделал, замаскировав свое жилище, как то покажет один примечательный случай, о котором будет рассказано ниже.

В это время я продолжал ежедневные обходы леса в поисках дичи, разумеется, когда позволяла погода, и во время этих прогулок сделал много полезных открытий. Так, например, я высмотрел особую породу диких голубей, которые вьют гнезда не на деревьях, как наши дикие голуби, а в расселинах скал. Как-то раз я вынул из гнезда птенцов, с тем чтобы выкормить их дома и приручить. Мне удалось их вырастить, но как только у них отросли крылья, они улетели, быть может, оттого, что у меня не было для них подходящего корма. Как бы то ни было, я часто находил их гнезда и брал птенцов, которые были для меня лакомым блюдом.

Когда я начал обзаводиться хозяйством, я увидел, что мне недостает многих необходимых вещей. Сделать их самому я вначале считал невозможным, да и действительно кое-что (например, бочки) так и не смог никогда сделать. У меня были, как я уже говорил, два или три бочонка с корабля, но, как я ни бился, мне не удалось смастерить ни одного, хотя я потратил на эту работу несколько недель. Я не мог ни вставить, ни сколотить дощечки настолько плотно, чтобы они не пропускали воды; так и пришлось отказаться от этой затеи.

Затем мне очень недоставало свечей. Как только начинало темнеть — смеркалось обычно около семи часов,— мне приходилось ложиться спать. Я часто вспоминал про тот кусок воска, из которого делал свечи во время моих приключений у берегов Африки, но воска у меня не было. Единственным выходом было воспользоваться жиром коз, которых я убивал на охоте. Я устроил себе светильник из козьего жиру: плошку собственноручно вылепил из глины, а потом обжег на солнце, на фитиль же взял пеньку от старой веревки. Светильник горел хуже, чем свеча, свет его был неровный и тусклый. В разгар этих работ, шаря однажды в своих вещах, я нашел небольшой мешок с зерном для птицы, которую корабль вез не в этот свой рейс, а раньше, должно быть, когда он шел из Лиссабона. Я уже упоминал, что остатки этого зерна в мешке были изъедены крысами (по крайней мере, когда я заглянул в мешок, мне показалось, что там одна труха); а так как мешок мне был нужен для чего-то другого (кажется, под порох: это было как раз в то время, когда я решил разделить его на небольшие части, испугавшись грозы), то я вытряхнул его на землю под скалой.

Это было незадолго до начала проливных дождей, о которых я уже говорил. Я давно забыл про это, не помнил даже, где я вытряхнул мешок. Но вот прошло около месяца, и я увидел на полянке несколько зеленых стебельков, только что вышедших из земли. Сначала я думал, что это какое-нибудь неизвестное мне растение. Но каково же было мое изумление, когда спустя еще несколько недель зеленые стебельки (их было всего штук десять — двенадцать) выпустили колосья, оказавшиеся колосьями отличного ячменя, того самого, который растет на материке Европы и у нас в Англии!

Невозможно передать, в какое смятение повергло меня это открытие! До тех пор мною никогда не руководили религиозные помыслы. Религиозных понятий у меня было очень немного, и все события моей жизни — крупные и мелкие — я приписывал простому случаю или, как все мы говорим легкомысленно, воле божьей. Я никогда не задавался вопросом, какие цели преследует провидение, управляя ходом событий в этом мире. Но когда я увидел этот ячмень, выросший, как я знал, в несвойственном ему климате, а главное, неизвестно как попавший сюда, я был потрясен до глубины души и стал верить, что это бог чудесным образом произрастил его без семян только для того, чтобы прокормить меня на этом диком, безотрадном острове.

Мысль эта немного растрогала меня и вызвала слезы; я был счастлив сознанием, что такое чудо совершилось ради меня. Но удивление мое этим не кончилось: вскоре я заметил, что рядом, на той же полянке, между стеблями ячменя показались редкие стебельки растения, оказавшиеся стебельками риса; я их легко рас-

познал, так как во время пребывания в Африке часто видел рис на полях.

Я не только подумал, что этот рис и этот ячмень посланы мне самим провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще где-нибудь. Я обошел всю эту часть острова, где уже бывал раньше, обшарил все уголки, заглядывал под каждую кочку, но нигде не нашел ни риса, ни ячменя. Тогда наконец я вспомнил про мешок с птичьим кормом, который я вытряхнул на землю подле своего жилища. Чудо исчезло, а вместе с открытием, что все это произошло самым естественным путем, я должен сознаться, значительно поостыла и моя горячая благодарность к провидению. А между тем то, что случилось со мной, было почти так же непредвиденно, как чудо, и, уж во всяком случае, заслуживало не меньшей признательности. В самом деле: не перст ли провидения виден был в том, что из многих тысяч ячменных зерен, попорченных крысами, десять или двенадцать зернышек уцелели и, стало быть, все равно что упали мне с неба? Надо же было мне вытряхнуть мешок на этой лужайке, куда падала тень от скалы и где семена могли сразу же взойти! Ведь стоило мне бросить их немного подальше, и они были бы сожжены солнцем.

Читатель может себе представить, как тщательно собрал я колосья, когда они созрели (это было в конце июня). Я подобрал каждое зернышко и решил снова посеять весь урожай в надежде накопить со временем столько зерна, чтобы его хватило мне на пропитание. Но только на четвертый год я мог позволить себе уделить весьма скромную часть этого зерна на еду, о чем я расскажу своевременно. Дело в том, что у меня пропал весь сбор от первого посева; я плохо рассчитал время, посеял перед самой засухой, и семена не взошли в том количестве, как должны были бы взойти. Но об этом после.

Кроме ячменя, у меня, как уже сказано, выросли двадцать или тридцать стеблей риса, который я собрал так же старательно и для этой же цели — чтобы готовить из него хлеб или, вернее, еду, так как я открыл способ обходиться без печки. Но это было уже потом. Возвращаюсь к моему дневнику.

Все те четыре или три с половиною месяца, когда я был занят возведением ограды, я работал не покладая рук. *14 апреля* ограда была кончена, и я решил, что буду входить и выходить через стену по приставной лестнице, чтобы снаружи не было никаких признаков жилья.

16 апреля. Кончил лестницу; перелезаю через стену и каждый раз убираю лестницу за собой. Теперь я огорожен со всех сторон. В моей крепости довольно простора, и проникнуть в нее нельзя иначе, как через стену.

Но на другой же день после того, как я окончил свою ограду, весь мой труд чуть не пропал даром, да и сам я едва не погиб. Вот что произошло. Я чем-то был занят в ограде, за палаткой, у входа в пещеру, как вдруг надо мной посыпалась земля со свода пещеры и с вершины горы, и два передних столба, поставленных мною, рухнули со страшным треском. Я очень испугался, но не догадался о настоящей причине случившегося, а просто подумал, что свод обвалился, как это было раньше. Боясь, чтобы меня не засыпало новым обвалом, я побежал к лестнице и, не считая себя в безопасности, перелез через стену. Но не успел я сойти на землю, как мне стало ясно, что на этот раз причиной обвала в пещере было страшное землетрясение. Земля подо мной колебалась, и в течение каких-нибудь восьми минут было три таких сильных толчка, что от них рассыпалось бы самое прочное здание, если бы оно стояло здесь. Я видел, как у скалы, находившейся у моря в полумиле от меня, отвалилась вершина и рухнула с таким грохотом, какого я в жизни своей не слыхал. Море тоже яростно забушевало; мне даже казалось, что в море подземные толчки были сильнее, чем на острове.

Никогда еще мне не приходилось ни видеть такого, ни даже слышать о чем-либо подобном, и я был так ошеломлен, что все во мне словно окаменело. От колебаний почвы со мной сделалась морская болезнь, как от качки: мне казалось, что я умираю; однако грохот падающего утеса вывел меня из оцепенения и вверг в ужас. Я думал только о том, что гора обрушится на мою палатку и погребет под собою все мое хозяйство, и от этой мысли я обмер второй раз.

Когда после третьего толчка наступило затишье, я начал приходить в себя, однако у меня не хватило мужества перелезть через ограду, ибо я боялся быть похороненным заживо и сидел на земле в полном унынии, не зная, как быть. И за все это время у меня не мелькнуло ни одной серьезной мысли о боге, ничего, кроме обычных слов: «Господи, помилуй меня». Но как только опасность миновала, забылись и они.

Между тем собрались тучи; потемнело, как перед дождем. Задул ветер, сначала слабо, потом все сильнее, и через полчаса разразился страшнейший ураган. Море запенилось, забурлило и с ревом билось о берега; деревья вырывало с корнями; картина была ужасная. Так продолжалось часа три; потом буря стала стихать, и еще часа через два наступил мертвый штиль и полил дождь.

Все время, покуда свирепствовал ураган, я сидел на земле, подавленный страхом и отчаянием, но вдруг мне пришло в голову, что этот ливень и ветер, должно быть, последствия землетрясения; стало быть, оно кончилось, и я могу рискнуть вернуться в мое жилище. Эта мысль придала мне решимости, а может быть, тому спо-

собствовал и дождь, но я перелез через ограду и уселся в палатке; однако ливень был настолько силен, что палатку захлестывало водой, и я был вынужден перейти в пещеру, хотя и боялся, как бы она не обвалилась мне на голову.

Этот ливень задал мне новую работу; пришлось проделать в ограде отверстие для стока воды, иначе затопило бы мою пещеру. Просидев там некоторое время и видя, что подземные толчки больше не повторяются, я стал успокаиваться. Для поддержания бодрости, что было мне крайне необходимо, я подошел к своему «буфету» и отхлебнул маленький глоток рома. Я всегда расходовал ром весьма экономно, зная, что, когда выйдет весь мой запас, мне неоткуда будет его пополнить.

Дождь лил всю эту ночь и почти весь следующий день, и я не выходил наружу. Немного успокоившись, я начал обдумывать, что делать дальше. Я пришел к заключению, что коль скоро этот остров подвержен землетрясениям, мне нельзя жить в пещере. Следовало построить шалаш где-нибудь на открытом месте, а чтобы обезопасить себя от нападения животных и людей, огородить его стеной, как я это сделал здесь. Ибо если я останусь в пещере, то рано или поздно буду похоронен заживо.

В самом деле, моя палатка стояла на опасном месте — под выступом горы, которая в случае нового землетрясения легко могла обрушиться на нее. Поэтому я решил перекочевать на другое место вместе с палаткой. Два следующих дня — 19 и 20 апреля — я провел, ломая себе голову, где и как построить новое жилище.

От страха, что меня может засыпать заживо, я не мог спать по ночам; ночевать на открытом месте за оградой я тоже не решался. А вместе с тем, когда я оглядывал свое жилье и видел, как я уютно устроился, в каком порядке у меня хозяйство и как хорошо я укрыт от всякой опасности извне, я с крайней неохотой думал о переселении.

Затем у меня явилась мысль, что на переселение понадобится очень много времени и что, стало быть, все равно придется мириться с опасностью обвала, пока я не укреплю новое место так, чтобы можно было перебраться туда. Придя к такому выводу, я успокоился, но все-таки решился приняться, не теряя времени, за возведение ограды на новом месте с помощью частокола и канатов, но в форме окружности, и, как только она будет готова, перенести в нее свою палатку; до того же времени оставаться там, где я был, и готовиться к переезду. Это было *21 апреля*.

22 апреля. На следующее утро я начал думать о том, как мне осуществить свое решение. Главная трудность для меня была в инструментах. У меня имелось три больших топора и множество маленьких (мы их взяли для меновой торговли с индейцами); но от

частого употребления и оттого, что приходилось рубить чрезвычайно твердые, суковатые деревья, все они зазубрились и затупились. Правда, у меня было точило, но я не мог одновременно приводить в движение рукой камень и точить на нем. Вероятно, ни один государственный муж, ломая голову над важным политическим вопросом, и ни один судья, решая, жить или умереть человеку, не тратил столько умственной энергии, сколько потратил я, чтобы выйти из этого положения. В конце концов мне удалось приладить к точилу колесо с ремнем, которое приводилось в движение ногой и вращало точильный камень, оставляя свободными обе руки.

Примечание. До тех пор я никогда не видел таких точил или, во всяком случае, не рассматривал, как они устроены, хотя в Англии точило такого устройства очень распространено. Кроме того, мой точильный камень был очень велик и тяжел. Устройство этого приспособления заняло у меня целую неделю.

28 и 29 апреля. Два последних дня точил инструменты: мое приспособление действует очень хорошо.

30 апреля. Сегодня заметил, что мой запас сухарей на исходе. Пересчитал все мешки и, как это ни грустно, постановил съедать не более одного сухаря в день.

1 мая. Сегодня утром во время отлива заметил издали на берегу какой-то крупный предмет, похожий на бочку. Пошел посмотреть, и оказалось, что это небольшой бочонок. Тут же валялось два-три деревянных обломка от корабля. Должно быть, все это было выброшено на берег в последнюю бурю. Я взглянул в ту сторону, где торчал остов корабля, и мне показалось, что он выступает над водой больше обыкновенного. Осмотрел выброшенный морем бочонок; он оказался с порохом, но порох весь подмок и сбился в камень. Тем не менее я выкатил бочонок повыше, а сам по отмели отправился к остову корабля.

Подойдя поближе, я заметил, что он как-то странно переместился. Носовая часть, которою прежде он почти зарывался в песок, приподнялась, по крайней мере, на шесть футов, а корма, разбитая на куски и совершенно отделившаяся (это случилось давно, вскоре после последней моей экспедиции на корабль), была отброшена в сторону и лежала боком. Кроме того, в этом месте образовался такой высокий нанос песку, что я мог вплотную подойти к кораблю, тогда как раньше еще за четверть мили до него начиналась вода и я должен был пускаться вплавь. Такая перемена в положении корабля сначала меня удивила, но вскоре я сообразил, что это объясняется землетрясением. От этого же корабль разломался еще более, так что к берегу ежедневно прибивало ветром и течением разные предметы, которые уносило водой из открытого трюма.

Происшествие с кораблем совершенно отвлекло мои мысли от намерения переселиться на новое место. Весь день я делал попытки проникнуть во внутренние помещения корабля, но это оказалось невозможным, так как все они были забиты песком. Однако это меня не смутило; я уже научился ни в чем не отчаиваться. Я стал растаскивать корабль по кусочкам, зная, что мне в моем положении так или иначе все пригодится.

3 мая. Сегодня начал работать пилой. Перепилил в корме бимс, на котором, по моим соображениям, держалась часть шканцев, и, отодрав несколько досок, выгреб песок с того бока кормы, которым она лежит кверху. Принужден был отложить работу, потому что начался прилив.

4 мая. Удил рыбу, но ни одной съедобной не поймал. Соскучившись, хотел было уже уходить, но, закинув удочку в последний раз, поймал маленького дельфина. Удочка у меня была самодельная: лесу я сделал из пеньки от старой веревки, а крючков у меня совсем не было. Тем не менее на мою удочку ловилось столько рыбы, что я мог есть ее вволю. Ел я ее вяленою, просушивая на солнце.

5 мая. Работал на корабле. Распилил другой бимс. Отодрал от палубы три больших сосновых доски, связал их вместе и, дождавшись прилива, переправил на берег.

6 мая. Работал на корабле. Отделил кое-какие железные части, в том числе несколько болтов. Работал изо всех сил, вернулся домой совсем измученный. Подумываю, не бросить ли это.

7 мая. Опять ходил к кораблю, но не с тем, чтобы работать. Так как бимсы были перепилены, палуба окончательно расселась от собственной тяжести, и я мог заглянуть в трюм; но он почти доверху наполнен песком и водой.

8 мая. Ходил на корабль с железным ломом: решил развороти́ть всю палубу, которая теперь совсем очистилась от песка. Отодрал две доски и пригнал их к берегу с приливом. Лом оставил на корабле для завтрашней работы.

9 мая. Был на корабле. Взломал еще несколько досок и пробрался в трюм. Нащупал там пять или шесть бочек. Высвободил их ломом, но вскрыть не мог. Нащупал даже сверток английского листового свинца и приподнял немного, но вытащить не хватило силы.

С 10 по 14 мая. Все эти дни бывал на корабле. Добыл много кусков дерева, досок, брусьев и т. п., а также два-три центнера железа.

15 мая. Сегодня брал с собой на корабль два маленьких топора: хотел попробовать отрубить кусок листового свинца (один топор должен был служить мне ножом, а другой — молотком для него).

Но так как свинец лежит фута на полтора под водой, то я не мог ударить с надлежащей силой.

16 мая. Ночью поднялся сильный ветер. Остов корабля еще больше расшатало волнами. Я долго искал в лесу голубей на обед, замешкался и уж не мог попасть на корабль из-за прилива.

17 мая. Сегодня видел несколько обломков корабля, прибитых к берегу, милях в двух от моего жилья. Я решил взглянуть, что это такое; оказалось: кусок от носовой части, но такой большой и тяжелый, что я не мог его поднять.

24 мая. Все эти дни работал на корабле. С величайшим трудом так сильно расшатал ломом несколько предметов, что с первым же приливом всплыли наверх несколько бочек и два матросских сундука. Но ветер дул с берега, так что их угнало в море. Зато сегодня прибило к берегу несколько обломков и большую бочку с остатками бразильской свинины, которая, впрочем, была совсем попорчена соленой водой и песком.

Я продолжал эту работу с 25 мая по 15 июня ежедневно, кроме тех часов, когда приходилось добывать пропитание. Но с тех пор, как возобновились мои работы, я охочусь только во время прилива, чтобы к началу отлива уже ничто не мешало мне идти к кораблю. За эти три недели набрал такую кучу дерева и железа, что их хватило бы на хорошую лодку, если б я сумел ее сделать. Кроме того, мне удалось все же нарезать в несколько приемов до центнера листового свинца.

16 июня. Нашел на берегу большую черепаху. Раньше я никогда их здесь не видал, что объясняется просто случайностью, так как черепахи на моем острове были совсем не редкость, и, если б я попал на другую сторону острова, я мог бы ловить их сотнями каждый день. Впоследствии я убедился в этом, хотя и дорого заплатил за свое открытие.

17 июня. Весь день жарил черепаху на угольях. Нашел в ней штук шестьдесят яиц. Никогда в жизни я, кажется, не едал такого вкусного мяса, да и не удивительно: с тех пор как я оказался на этом ужасном острове, мою мясную пищу составляли исключительно козы да птицы.

18 июня. С утра до вечера шел дождь, и я не выходил. Должно быть, я простудился, и весь день меня знобит, хотя, насколько мне известно, в здешних широтах холодов не бывает.

19 июня. Мне очень нездоровится: так зябну, точно на дворе зима.

20 июня. Всю ночь не сомкнул глаз: сильная головная боль и озноб.

21 июня. Совсем плохо. Смертельно боюсь занемочь всерьез: каково будет тогда мое положение без всякой помощи! Молился

богу,— в первый раз с того дня, когда мы попали в бурю под Гуллем,— но слова молитвы повторял бессознательно, так путаются мысли в голове.

22 июня. Сегодня мне получше, но страх болезни не покидает меня.

23 июня. Опять нехорошо: весь день знобило и сильно болела голова.

24 июня. Гораздо лучше.

25 июня. Был сильный приступ лихорадки; в течение часов семи меня бросало то в холод, то в жар. Закончился приступ легкой испариной.

26 июня. Лучше. У меня вышел весь запас мяса, и я ходил на охоту, хотя чувствовал страшную слабость. Убил козу, через силу дотащил ее до дому, изжарил кусочек на угольях и поел. Мне очень хотелось сварить из нее супу, но у меня нет горшка.

27 июня. Опять лихорадка настолько сильная, что я весь день пролежал в постели, не ел и не пил. Я умирал от жажды, но не в силах был встать и сходить за водой. Опять молился богу, но в голове такая тяжесть, что я не мог припомнить ни одной молитвы и только твердил: «Господи, сжалься надо мной! Воззри на меня, господи! Помилуй меня, господи!» Так я метался часа два или три, покуда приступ не прошел, и я уснул и не просыпался до поздней ночи. Проснувшись, почувствовал себя гораздо бодрее, хотя был все-таки очень слаб. Меня мучила жажда, но так как ни в палатке, ни в погребе не было ни капли воды, то пришлось лежать до утра. Под утро снова уснул и видел страшный сон. Мне снилось, будто я сижу на земле за оградой, на том самом месте, где сидел после землетрясения, когда разразился ураган, и вдруг вижу, что сверху, с большого черного облака, весь объятый пламенем, спускается человек. Окутывавшее его пламя было так ослепительно ярко, что на него едва можно было смотреть. Нет слов передать, как страшно было его лицо.

Когда ноги его коснулись земли, мне показалось, что почва задрожала, как раньше от землетрясения, и весь воздух, к ужасу моему, озарился словно несметными вспышками молний. Едва ступив на землю, незнакомец двинулся ко мне с длинным копьем в руке, как бы с намерением убить меня. Немного не дойдя до меня, он поднялся на пригорок, и я услышал голос, неизъяснимо грозный и страшный. Из всего, что говорил незнакомец, я понял только одно: «Несмотря на все ниспосланные тебе испытания, ты не раскаялся: так умри же!» И я видел, как после этих слов он поднял копье, чтобы убить меня.

Конечно, все, кому случится читать эти записки, поймут, что я не способен описать, как потрясена была душа моя этим ужасным

сном даже в то время, как я спал. Также невозможно описать произведенное им на меня впечатление, когда я уже проснулся и понял, что это был только сон.

Увы! Моя душа не знала бога: благие наставления моего отца изгладились из памяти за восемь лет непрерывных скитаний по морям в постоянном общении с такими же, как сам я, нечестивцами, до последней степени равнодушными к вере. Не помню, чтобы за все это время моя мысль хоть раз воспарила к богу или чтобы хоть раз я оглянулся на себя, задумался над своим поведением. Я находился в некоем нравственном отупении: стремление к добру и сознание зла были мне равно чужды. По своей закоснелости, легкомыслию и нечестию я ничем не отличался от самого невежественного из наших матросов. Я не имел ни малейшего понятия ни о страхе божием в опасности, ни о чувстве благодарности к творцу за избавление от нее.

Я рассказываю здесь о том, что уже давно миновало, и тем легче будет поверить этому, если я добавлю, что у меня и в мыслях не было приписать все те разнообразные несчастья, которые до сего дня обрушились на меня, карающей руке божьей или полагать, что это было справедливое возмездие за мой грех, то есть за то, что я пошел наперекор советам отца, или за мои нынешние великие прегрешения, или что это вообще было наказанием за всю мою порочную жизнь. Когда я пустился в отчаянное плавание вдоль пустынных берегов Африки, я и не думал о том, что станется со мною, я не просил бога направить мой путь или защитить меня от опасностей, которые грозили мне отовсюду, равно как от хищных зверей, так и от свирепых туземцев. Нет, я даже и не думал о боге и провидении, я действовал, как неразумное животное, руководясь природным инстинктом, внимая лишь повелениям здравого смысла, хотя, пожалуй, вряд ли это можно назвать здравым смыслом. Когда я был спасен и взят на борт корабля португальским капитаном, который отнесся ко мне очень хорошо, поступил со мной по чести и справедливости и оказался для меня благодетелем,— и тогда чувство благодарности ни на миг не заговорило во мне. Когда наконец я был выброшен после кораблекрушения на этот остров, чуть не погибнув в волнах, я тоже не испытал никаких угрызений совести и не счел это справедливым возмездием. Я только повторял себе все время, что я жалкое существо и что мой вечный удел — лишь бедствия и муки.

Правда, когда я впервые ступил на берег этого острова, когда понял, что весь экипаж корабля утонул и один только я был пощажен, на меня нашло что-то вроде экстаза, восторга души, который с помощью божьей благодати мог бы перейти в подлинное чувство благодарности. Но восторг этот разрешился, если можно так

выразиться, простой животной радостью существа, спасшегося от смерти; он не повлек за собой ни размышлений об исключительной благости руки, отличившей меня и даровавшей мне спасение, когда все другие погибли, ни вопроса о том, почему провидение было столь милосердно именно ко мне. Радость моя была той обычной радостью, которую испытывает каждый моряк, выбравшись невредимым на берег после кораблекрушения, и которую он топит в первой же чарке вина, а вслед за тем забывает... И так-то я жил все время до сих пор.

Даже потом, когда, по должном раздумье, я осознал свое положение — то, что я выброшен на этот ужасный остров, мое полное одиночество без всякой возможности сообщаться с людьми, без проблеска надежды на избавление,— даже и тогда, как только открылась возможность остаться в живых, не умереть с голоду, все мое горе как рукой сняло: я успокоился, начал работать для удовлетворения своих насущных потребностей и для сохранения своей жизни, и если сокрушался о своей участи, то менее всего видел в ней небесную кару, карающую десницу божью. Такие мысли очень редко приходили мне в голову.

Прорастание зерна, как уже было отмечено в моем дневнике, оказало было на меня благодетельное влияние, и до тех пор, пока я приписывал его чуду, серьезные, благоговейные мысли не покидали меня; но как только мысль о чуде отпала, улетучилось, как я уже говорил, и мое благоговейное настроение.

Даже землетрясение — хотя в природе нет явления более грозного, более непосредственно указывающего на невидимую высшую силу, ибо только ею одной могут совершаться такие явления,— даже землетрясение не оказало на меня могущественного влияния: прошли первые минуты испуга, изгладилось и первое впечатление. Я не чувствовал ни бога, ни божьего суда над собой; я так же мало усматривал карающую десницу в постигших меня бедствиях, как если б я был не жалким, одиноким существом, а счастливейшим человеком в мире.

Но теперь, когда я захворал и на досуге картина смерти представилась мне очень живо,— теперь, когда дух мой стал изнемогать под бременем недуга, а тело ослабело от жестокой лихорадки, совесть, так долго спавшая во мне, пробудилась. Я стал горько упрекать себя за прошлое; я понял, что своим беспримерным порочным поведением навлек на себя божий гнев и что беспримерные удары судьбы были лишь справедливым мне возмездием.

Особенно сильно терзали меня мысли на второй и на третий день моей болезни, и в жару лихорадки, под гнетом жестоких угрызений, из уст моих вырывались слова, похожие на молитву, хотя молитвой их нельзя было назвать. В них не выражалось ни на-

дежд, ни желаний; то был скорее вопль слепого страха и отчаяния. Мысли мои были спутаны, самообличение — беспощадно; страх смерти в моем жалком положении туманил мой ум и леденил душу; и я, в смятении своем, сам не знал, что говорит мой язык. То были скорее бессвязные восклицания в таком роде: «Господи, что я за несчастное существо! Если я расхвораюсь, то, конечно, умру, потому что кто же мне поможет! Боже, что станется со мной?» Из глаз моих полились обильные слезы, и долго потом я не мог вымолвить ни слова.

Тут припомнились мне благие советы моего отца и пророческие слова его, которые я приводил в начале своего рассказа, а именно, что, если я не откажусь от своей безумной затеи, на мне не будет благословения божия; придет пора, когда я пожалею, что пренебрег его советом, но тогда, может статься, некому будет помочь мне исправить содеянное зло. Я вспомнил эти слова и громко сказал: «Вот когда сбывается пророчество моего дорогого батюшки! Кара господня постигла меня, и некому помочь мне, некому услышать меня!.. Я не внял голосу провидения, милостиво поставившего меня в такие условия, что я мог быть счастлив всю мою жизнь. Но я не захотел понять это сам и не внял наставлениям своих родителей. Я оставил их оплакивать мое безрассудство, а теперь сам плачу от последствий его. Я отверг их помощь и поддержку, которая вывела бы меня на дорогу и облегчила бы мне первые шаги; теперь же мне приходится бороться с трудностями, превышающими человеческие силы,— бороться одному, без поддержки, без слова утешения и совета». И я воскликнул: «Господи, будь мне защитой, ибо велика печаль моя!» Это была моя первая молитва, если только я могу назвать ее так, за много, много лет.

Но возвращаюсь к дневнику.

28 июня. Наутро, немного освеженный сном, я встал; моя лихорадка совершенно прошла; и хотя страх и ужас, в которые повергло меня сновидение, были велики, все же я рассудил, что на другой день приступ может повториться, и потому решил заранее припасти все необходимое, чтобы облегчить свое положение на случай, если повторится болезнь. Первым делом я наполнил водой большую четырехугольную бутыль и поставил ее на стол на таком расстоянии от постели, чтобы до нее можно было достать не вставая; а чтобы обезвредить воду, лишив ее свойств, вызывающих простуду или лихорадку, я влил в нее около четверти пинты рому и взболтал. Затем я отрезал козлятины и изжарил ее на угольях, но съел самый маленький кусочек — больше не мог. Пошел было прогуляться, но от слабости еле передвигал ноги; к тому же меня очень угнетало сознание моего бедственного положения и страх

возврата болезни на другой день. Вечером поужинал тремя испеченными в золе черепашьими яйцами.

Перед ужином снова пытался пройтись, но был так слаб, что с трудом мог нести ружье (я никогда не выхожу без ружья). Прошел недалеко, сел на землю и стал смотреть на расстилавшееся передо мной гладкое и спокойное море. И пока я сидел, вот какие мысли проносились у меня в голове: «Что такое эта земля и море, которые мне так знакомы? Откуда они произошли? Что такое я сам и все другие земные создания, дикие и ручные, люди и звери? Откуда мы произошли? Очевидно, все мы были сотворены какой-то таинственной силой, которая создала землю и море, воздух и небо. Но что это за сила? На это следовал вполне естественный ответ: это бог, который сотворил все... Постигшее меня несчастье послано мне по воле божьей, ибо он один властен не только над моей судьбой, но и над судьбами всего мира. И непосредственно за этим выводом явился вопрос: за что же бог меня так покарал? Что я сделал? Чем провинился? Но при этом вопросе я ощутил острый укол совести, как если бы язык мой произнес богохульство, и точно чей-то посторонний голос сказал мне: «Презренный! И ты еще спрашиваешь, что ты сделал? Оглянись назад, на свою беспутную жизнь, и спроси лучше, чего ты не сделал? Спроси, почему могло случиться, что ты давно не погиб, почему ты не утонул на Ярмутском рейде? Не был убит в стычке с салескими маврами, когда ваш корабль был ими взят на абордаж? Почему тебя не растерзали хищные звери на африканском берегу? Почему, наконец, не утонул ты здесь вместе со всем экипажем? И ты еще спрашиваешь, что ты сделал?»

Я был поражен этими мыслями и не находил ни одного слова в опровержение их, ничего не мог ответить себе. Задумчивый и грустный поднялся я и побрел в свое убежище. Я перелез через ограду и хотел было лечь в постель, но горестное смятение, охватившее мою душу, разогнало мой сон. Я зажег светильник, так как уже начинало смеркаться, и опустился на стул у стола. Страх перед тем, что болезнь может вернуться, весь день не покидал меня, и вдруг я вспомнил, что жители Бразилии от всех почти болезней лечатся табаком; между тем в одном из моих сундуков лежало несколько пачек: одна большая пачка готового табаку, а остальные листового.

Я встал и пошел за табаком в свою кладовую. Несомненно, моими действиями руководило провидение, ибо, открыв сундук, я нашел в нем лекарство не только для тела, но и для души: во-первых — табак, который искал, во-вторых — Библию. Оказалось, что я сложил в этот сундук все книги, взятые мною с корабля, в том числе Библию, в которую до тех пор я не удосужился или, вернее,

не чувствовал желания заглянуть. Теперь я взял ее с собой, принес вместе с табаком в палатку и положил на стол.

Я не знал, как применяется табак против болезней, не знал даже, помогает ли он от лихорадки; поэтому я произвел несколько опытов в надежде, что так или иначе действие его должно проявиться. Прежде всего я отделил из пачки один лист, положил его в рот и разжевал. Табак был еще зеленый, очень крепкий; вдобавок я к нему не привык, так что сначала он почти одурманил меня. Затем я положил немного табаку в ром и настаивал его час или два с тем, чтобы выпить эту настойку перед сном. Наконец я сжег немного табаку в жаровне и втягивал носом дым до тех пор, пока не начинал задыхаться; я повторил эту операцию несколько раз.

В промежутках пробовал читать Библию, но у меня так кружилась голова от табака, что я должен был скоро отказаться от чтения, по крайней мере, на этот раз. Помню, однако, что, когда я раскрыл Библию наудачу, мне бросились в глаза следующие слова: «Призови меня в день печали, и я избавлю тебя, и ты прославишь имя мое».

Эти слова как нельзя более подходили к моему положению. Они произвели на меня впечатление, хотя и не такое глубокое, как потом, причем слово *избавление* не встретило отклика в моей душе. Мое освобождение было так далеко и так невозможно даже в воображении, что я заговорил языком сынов Израиля, когда они, узнав об обещании бога дать им мясную пищу, спрашивали: «Разве может бог поставить трапезу среди пустыни?» Подобно этим неверующим, я спрашивал господа: «Разве может бог освободить меня отсюда?» Это сомнение потом сильно укрепилось во мне, так как прошли многие годы, прежде чем блеснул луч надежды на мое освобождение. Тем не менее приведенные слова глубоко запечатлелись в моем сердце, и я часто останавливался на них в раздумье.

Настала ночь, от табака голова моя отяжелела, и мне захотелось спать. Я не погасил светильника на случай, если мне что-нибудь понадобится ночью, и улегся в постель. Но прежде чем лечь, я сделал то, чего не делал никогда в жизни: опустился на колени и стал молиться богу, чтобы он исполнил обещание и освободил меня, если я призову его в день печали. Кончив свою нескладную молитву, я выпил табачную настойку и лег. Настойка оказалась такой крепкой и противной на вкус, что я еле ее проглотил. Она сразу бросилась мне в голову, и я крепко уснул. Когда я проснулся на другой день, было, судя по солнцу, около трех часов пополудни; мне сильно сдается, что я проспал тогда не одну, а две ночи, и проснулся только на третий день; по крайней мере, ничем другим я не

могу объяснить, каким образом из моего счета выпал один день, как это обнаружилось спустя несколько лет; в самом деле, если бы я сбился в счете оттого, что пересек несколько раз экватор, то потерял бы больше одного дня; между тем я потерял только один день, и мне никогда не удалось выяснить, как это произошло.

Но как бы то ни было, этот сон удивительно меня освежил: я встал бодрый и в веселом настроении духа. У меня заметно прибавилось сил, желудок, очевидно, поправился, ибо я чувствовал голод. Лихорадка в тот день не повторилась, и вообще с тех пор я начал быстро выздоравливать. Это было *29 июня.*

30-е число было, вероятно, счастливым для меня днем. Выходил с ружьем, но старался не слишком удаляться от дома. Убил несколько морских птиц, похожих на казарок. Принес их домой, но не решился съесть, ограничив свой обед черепашьими яйцами, которые были очень вкусны. Вечером повторил прием лекарства, которое так помогло мне накануне (я говорю о табачной настойке на роме). Только в этот раз я выпил его не так много, табачных листьев не жевал и не вдыхал табачного дыма. Однако на другой день, 1 июля, чувствовал себя, вопреки ожиданиям, не так хорошо: меня опять знобило, хотя и не сильно.

2 июля. Снова принял табак всеми тремя способами, как в первый раз, удвоив количество выпитой настойки.

3 июля. Окончательно освободился от приступов лихорадки, однако полностью силы мои восстановились лишь по прошествии нескольких недель. В то время, когда я выздоравливал, я много думал об этих словах: «Я избавлю тебя», и мысль о несбыточности моего избавления так глубоко укоренилась в моем уме, что уничтожила в нем всякую надежду.

4 июля. Утром я взял Библию, раскрыл ее на Новом завете и начал читать очень прилежно, положив себе за правило читать ее каждое утро и каждый вечер, не связывая себя определенным числом глав, а до тех пор, пока не утомится внимание.

В приведенных выше словах: «Призови меня в день печали, и я избавлю тебя» — я видел теперь совсем иной смысл; прежде я понимал их, как освобождение из заточения, в котором я находился, потому что, хоть на моем острове я находился на воле, он все же был настоящей тюрьмой, в худшем значении этого слова. Теперь же я научился толковать эти слова совсем иначе; теперь я оглядывался на свое прошлое с таким омерзением, так ужасался содеянному мною, что душа моя просила у бога только избавления от бремени грехов, на ней тяготевшего и лишавшего ее покоя. Что значило в сравнении с этим мое одиночество? Об избавлении от него я больше не молился, я даже не думал о нем: таким пустяком стало оно мне казаться. Говорю это с целью показать моим читателям, что че-

ловеку, постигшему истину, избавление от греха приносит больше счастья, чем избавление от страданий.

Но я оставляю эти рассуждения и возвращаюсь к своему дневнику.

Теперь положение мое, оставаясь внешне таким же бедственным, стало казаться мне гораздо более сносным. Постоянное чтение Библии и молитва направляли мои мысли к вопросам возвышенным, и я познал много душевных радостей, которые дотоле были совершенно чужды мне. Кроме того, как только ко мне вернулись здоровье и силы, я стал энергично работать над восполнением того, чего мне еще не хватало, и старался сделать свою жизнь как можно более правильной.

С 4 по 14 июля я большею частью ходил с ружьем, но каждый раз лишь понемногу, как положено человеку, который не совсем еще окреп после болезни, ибо трудно себе представить, как я отощал тогда и ослаб. Мое лечение табаком, вероятно, никогда еще до сих пор не применялось против лихорадки; испытав на себе, я не решусь никому рекомендовать его. Правда, оно остановило лихорадку, но вместе с тем страшно ослабило меня, и в течение некоторого времени я страдал судорогами во всем теле и нервною дрожью.

Кроме того, болезнь научила меня, что здесь пагубнее всего для здоровья оставаться под открытым небом во время дождей, особенно если они сопровождаются грозами и ураганами, и что поэтому не так опасны дожди, которые льют в дождливый сезон, то есть в сентябре и октябре, как те, что перепадают случайно в сухую пору.

Прошло десять с лишком месяцев моего житья на злосчастном острове. Я был твердо убежден, что никогда до меня человеческая нога не ступала на эти пустынные берега, так что приходилось, по-видимому, отказаться от всякой надежды на избавление. Теперь, когда я был спокоен за безопасность моего жилья, я решил более основательно обследовать остров и посмотреть, нет ли на нем еще каких-нибудь животных и растений, неизвестных мне до сей поры.

Я начал это обследование *15 июля*. Прежде всего я направился к той бухточке, где я причаливал с моими плотами. Пройдя мили две вверх по течению, я убедился, что прилив не доходит дальше, и, начиная с этого места и выше, вода в ручье была чистая и прозрачная. Из-за сухого времени года ручей местами если не пересох, то, во всяком случае, еле струился.

По берегам его тянулись красивые саванны, или луга, ровные, гладкие, покрытые травой, а дальше — там, где низина постепенно переходила в возвышенность и куда, надо думать, не достигала вода,— я обнаружил обилие зеленого табака с высокими и толсты-

ми стеблями. Там были и другие растения, каких я раньше никогда не видал; весьма возможно, что, знай я их свойства, я мог бы извлечь из них пользу для себя. Я искал кассавы, из корня которой индейцы тех широт делают муку, но не нашел. Я увидел также большие растения вроде алоэ и сахарный тростник. Но я не знал, можно ли как-нибудь употребить алоэ; что же касается сахарного тростника, то он рос в диком состоянии и потому вряд ли годился в пищу. На первый раз я удовольствовался этими открытиями и пошел домой, раздумывая по дороге о том, как бы мне научиться распознавать свойства и доброкачественность плодов и растений, которые я найду. Но мне не удалось ничего придумать. Во время пребывания в Бразилии я так мало обращал внимания на тамошнюю флору, что не знал даже самых обыкновенных полевых растений; во всяком случае, мои сведения почти не пригодились в теперешней моей бедственной жизни.

На другой день, *16-го,* я отправился той же дорогой, но прошел немного дальше, туда, где кончался ручей и луга и начиналась более лесистая местность. В этой части острова я нашел разные плоды, в числе прочих — дыни (в большом изобилии) и виноград. Виноградные лозы вились по стволам деревьев, и их роскошные гроздья только что созрели. Это неожиданное открытие удивило меня и обрадовало, однако, наученный опытом, я поел винограда с большой осторожностью, вспомнив, что во время пребывания моего в Берберии там умерло от дизентерии и лихорадки несколько невольников-англичан, объевшихся виноградом. Но я придумал великолепное употребление для этого винограда, а именно — высушить его на солнце и сделать из него изюм; я справедливо заключил, что он будет служить мне вкусным и полезным лакомством в то время, когда виноград уже сойдет.

Я не вернулся домой в этот день; к слову сказать, это была первая моя ночь на острове, проведенная вне дома. Как и в день кораблекрушения, я взобрался на дерево и отлично выспался, а наутро продолжал свой обход. Судя по длине долины, я прошел еще мили четыре в прежнем направлении, то есть на север, сообразуясь с грядами холмов на севере и на юге.

В конце этого пути было открытое место, заметно понижавшееся к западу. Родничок же, пробивавшийся откуда-то сверху, тек в противоположном направлении, то есть на восток. Вся окрестность зеленела, цвела и благоухала, точно сад, насажденный руками человека, в котором каждое растение блистало красой весеннего наряда.

Я спустился в эту очаровательную долину и с тайным удовольствием, хотя и не свободным от примеси никогда не покидавшей меня грусти, подумал, что все это мое: я царь и хозяин этой земли;

права мои на нее бесспорны, и, если б я мог перевести ее в обитаемую часть света, она стала бы таким же безусловным достоянием моего рода, как поместье английского лорда. Тут было множество кокосовых пальм, апельсинных и лимонных деревьев, но все дикорастущие, и лишь на немногих из них были плоды, по крайней мере, в то время. Тем не менее я нарвал зеленых лимонов, которые были не только приятны на вкус, но и очень мне полезны. Я пил потом воду с лимонным соком, и она меня освежала и подкрепляла.

Мне предстояло теперь много работы со сбором плодов и переноской их домой, так как я решил запастись виноградом и лимонами на приближавшееся дождливое время года.

С этой целью я набрал винограда и сложил его в большую кучу в одном месте и в кучу поменьше — в другом. Так же поступил я и с лимонами, сложив их в третью кучу. Затем, взяв с собой немного тех и других плодов, отправился домой, с тем чтобы захватить мешок и унести домой остальное.

Я вернулся домой (так я буду теперь называть мою палатку и пещеру) после трехдневного отсутствия; к концу этого путешествия мой виноград совершенно испортился. Сочные, тяжелые ягоды раздавили друг друга и оказались совершенно негодными. Лимоны хорошо сохранились, но я принес их очень немного.

На следующий день, *19-го,* я снова пустился в путь с двумя небольшими мешками, в которых собирался принести домой собранные плоды. Но как же я был поражен, когда, придя на то место, где у меня был сложен виноград, увидел, что мои роскошные спелые гроздья разбросаны по земле и сочные ягоды частью объедены, частью растоптаны. Значит, здесь хозяйничали какие-то животные, но какие именно — я не знал.

Итак, убедившись, что складывать виноград в кучи и затем перетаскивать его в мешках невозможно, ибо мой сбор окажется частью уничтоженным, частью попорченным, я придумал другой способ. Нарвав порядочное количество винограда, я развесил его на деревьях так, чтобы он мог сохнуть на солнце. Что же касается лимонов, то я унес их с собой, сколько был в силах поднять.

Вернувшись домой, я с удовольствием обращался мыслью к открытой мной плодоносной долине. Представляя себе ее живописное местоположение, я думал о том, как хорошо она защищена от ветров, какое в ней обилие воды и леса, и пришел к заключению, что выбрал для жилья одно из худших мест на острове. Естественно, я стал подумывать о переселении. Нужно было лишь подыскать в этой цветущей, плодоносной долине пригодное местечко и сделать его таким же безопасным, как мое теперешнее жилище.

Эта мысль крепко засела у меня в голове, и некоторое время я тешился ею, прельщенный красотой долины. Но, поразмыслив

и приняв в расчет, что теперь я живу в виду моря и, следовательно, имею хоть маленькую надежду на благоприятную для меня перемену, я решил отказаться от этого намерения. Тот самый злой рок, который занес меня на остров, мог занести на него и другого несчастного. Конечно, такая случайность была маловероятна, но запереться среди холмов и лесов, в глубине острова, вдали от моря, значило заточить себя навеки и сделать освобождение для себя не только маловероятным, но и просто невозможным.

Однако я был так пленен этой долиной, что провел там почти весь конец июля, и хотя, по зрелом размышлении, решил не переносить своего жилья на новое место, но поставил там себе шалаш, огородил его наглухо двойным плетнем выше человеческого роста, на крепких столбах, а промежуток между плетнями заложил хворостом; входил же и выходил по приставной лестнице, как и в старое жилье. Таким образом, я и здесь был в безопасности. Случалось, что я ночевал в своем шалаше по две, по три ночи подряд. Теперь у меня есть дом на берегу моря и дача в лесу, говорил я себе. Работы на ней заняли у меня все время до начала августа.

Я только что доделал ограду и начал наслаждаться плодами своих трудов, как полили дожди, и мне пришлось перебраться в мое старое гнездо. Правда, я и на новом месте поставил очень хорошую палатку, сделанную из паруса, но здесь у меня не было ни горы, которая защищала бы меня от ветров, ни пещеры, куда я мог бы укрыться, когда ливни становились чересчур сильными.

К началу августа, как сказано, я закончил постройку шалаша и дня два-три отдыхал. *3 августа* я заметил, что развешенные мною гроздья винограда совершенно высохли на солнце и превратились в превосходный изюм. С того же дня я начал снимать их с деревьев, и хорошо сделал, иначе их бы попортило дождем и я лишился бы большей части своих зимних запасов: у меня сушилось более двухсот больших кистей. Как только все было собрано и большею частью перенесено в пещеру, начались дожди и *с 14 августа* до половины октября шли почти безостановочно изо дня в день. Иногда дождь лил так сильно, что я по нескольку дней не высовывал носа из пещеры.

В этот период дождей я был удивлен неожиданным приращением моего семейства. Одна из моих кошек давно уже пропадала; я не знал, сбежала ли она или околела, и очень о ней сокрушался, как вдруг в конце августа она вернулась с тремя котятами. Это очень меня удивило, так как обе мои кошки были самки. Правда, я видел на острове диких котов (как я их называл) и даже подстрелил одного, но мне казалось, что эти зверьки совсем другой породы, чем наши европейские кошки, а между тем котята,

которых привела с собой моя кошка, были как две капли воды похожи на свою мать. От этих трех котят у меня развелось такое несметное потомство, что я был вынужден истреблять кошек как вредных зверей и гнать их подальше от своего дома.

С 14 по 26 августа дожди не прекращались, и я почти не выходил из дому, ибо теперь я очень боялся промокнуть. Между тем, пока я отсиживался в пещере, выжидая ясной погоды, мои запасы провизии стали истощаться, и два раза я даже рискнул выйти на охоту. В первый раз убил козу, а во второй, 26-го (это был последний день моего заточения), поймал огромную черепаху, и это было для меня настоящее пиршество. В то время моя еда распределялась так: завтрак — кисть винограда, на обед — кусок козлятины или черепашьего мяса, жареного (на мое несчастье, мне не в чем было варить или тушить мясо и овощи), на ужин — два или три черепашьих яйца.

В течение двенадцати дней, которые я просидел в пещере, прячась от дождя, я ежедневно по два-три часа посвящал земляным работам, расширяя свою пещеру. Я прокапывал ее все дальше в одну сторону до тех пор, пока не вывел ход наружу, за ограду. Я устроил там дверь, через которую мог свободно выходить и входить, не прибегая к приставной лестнице. Зато я не был так спокоен, как прежде: прежде мое жилье было со всех сторон загорожено, теперь доступ ко мне был открыт. Впрочем, мне некого бояться на моем острове, где я не видал ни одного животного крупнее козы.

30 сентября. Итак, я дожил до печальной годовщины моего пребывания на острове: я сосчитал зарубки на столбе, и оказалось, что я живу здесь уже триста шестьдесят пять дней. Я посвятил этот день строгому посту и молитвам.

Весь год я не соблюдал воскресных дней. Вначале у меня не было никакого религиозного чувства, и мало-помалу я перестал отмечать воскресенья более длинной зарубкой на столбе; таким образом у меня спутался счет недель, и я не помнил хорошенько, когда какой день. Но, подсчитав, как сказано, число дней, проведенных мною на острове, и увидев, что я прожил на нем ровно год, я разделил этот год на недели, отметив каждый седьмой день как воскресенье. Впоследствии обнаружилось, однако, что я пропустил один или два дня.

Около этого времени мой запас чернил стал подходить к концу. Приходилось расходовать их экономнее; я прекратил ежедневные записи и стал отмечать лишь выдающиеся события моей жизни.

Я обратил внимание, что дождливое время года совершенно правильно чередуется с периодом бездождья, и, таким образом,

мог заблаговременно подготовиться к дождям и засухе. Но свои знания я покупал дорогою ценою; то, о чем я сейчас расскажу, служит одной из самых печальных иллюстраций этого. Я уже упоминал выше, как был поражен неожиданным появлением возле моего дома нескольких колосьев риса и ячменя, которые, как мне казалось, выросли сами собой. Помнится, было около тридцати колосьев риса и колосьев двадцать ячменя. И вот после дождей, когда солнце перешло в южное полушарие, я решил, что наступило самое подходящее время для посева.

Я вскопал, как мог, небольшой клочок земли деревянной лопатой, разделил его пополам и засеял одну половину рисом, а другую — ячменем; во время посева мне пришло в голову, что лучше на первый раз не высевать всех семян,— я же не знаю наверно, когда нужно сеять. И я посеял около двух третей всего запаса зерна, оставив по горсточке каждого сорта про запас.

Большим было для меня счастьем, что я принял эту меру предосторожности, ибо из первого моего посева ни одно зерно не взошло; наступили сухие месяцы, с того дня, как я засеял поле, влаги совсем не было, и зерно не могло взойти. Впоследствии же, когда начались дожди, оно взошло, как будто я только что посеял его.

Видя, что мой первый посев не всходит, что я вполне естественно объяснил засухой, я стал искать другого места с более влажной почвой, чтобы произвести новый опыт. Я разрыхлил новый клочок земли около моего шалаша и посеял здесь остатки зерна. Это было в феврале, незадолго до весеннего равноденствия. Мартовские и апрельские дожди щедро напоили землю: семена взошли великолепно и дали обильный урожай. Но так как семян у меня осталось очень мало и я не решился засеять их все, то и сбор вышел невелик,— не более половины пека каждого сорта зерна. Зато я был теперь опытным хозяином и точно знал, какая пора наиболее благоприятна для посева и что ежегодно я могу сеять дважды и, следовательно, получать два сбора.

Покуда рос мой хлеб, я сделал маленькое открытие, впоследствии оно очень мне пригодилось. Как только прекратились дожди и погода установилась — это было приблизительно в ноябре,— я отправился на свою лесную дачу, где нашел все в том же виде, как оставил, несмотря на то что не был там несколько месяцев. Двойной плетень, поставленный мной, был не только цел, но все его колья, на которые я брал росшие поблизости молодые деревца, пустили длинные побеги, совершенно так, как пускает их ива, если у нее срезать верхушку. Я не знал, что это за деревья, и был очень приятно изумлен, увидя, что моя ограда зазеленела. Я подстриг все деревца, постаравшись придать им по возможности одинако-

вую форму. Трудно описать, как красиво разрослись они за три года. Несмотря на то что огороженное место имело до двадцати пяти ярдов в диаметре, деревья — так я могу их теперь называть — скоро покрыли его своими ветвями и давали густую тень, в которой можно было укрыться от солнца в период жары.

Это навело меня на мысль нарубить еще несколько таких же кольев и вбить их полукругом вдоль ограды моего старого жилья. Так я и сделал. Я втыкал их в два ряда, ярдов на восемь отступая от прежней ограды. Они принялись, и вскоре у меня образовалась живая изгородь; сначала она укрывала меня от зноя, а впоследствии послужила мне для защиты, о чем я расскажу в своем месте.

По моим наблюдениям, на моем острове времена года следует разделять не на холодные и теплые, как они делятся у нас в Европе, а на дождливые и сухие, приблизительно таким образом:

С половины февраля до половины апреля.	Дожди: солнце стоит в зените или почти в зените.
С половины апреля до половины августа.	Засуха: солнце перемещается к северу.
С половины августа до половины октября.	Дожди: солнце снова стоит в зените.
С половины октября до половины февраля.	Засуха: солнце перемещается к югу.

Таковы были мои наблюдения, хотя дождливое время года может быть длиннее или короче, в зависимости от направления ветра. Изведав на опыте, как вредно для здоровья пребывание под открытым небом во время дождя, я теперь всякий раз перед началом дождей заблаговременно запасался провизией, чтобы выходить пореже, и просиживал дома почти все дождливые месяцы.

Я пользовался этим временем для работ, которые можно было производить, не покидая жилища. В моем хозяйстве недоставало еще очень многих вещей, а чтобы сделать их, требовались упорный труд и неослабное прилежание. Я, например, много раз пытался сплести корзину, но все прутья, какие я мог достать, оказывались такими ломкими, что у меня ничего не выходило. В детстве я очень любил ходить к одному корзинщику, жившему по соседству от нас, и смотреть, как он работает. Теперь это мне очень пригодилось. Как все мальчишки, я был весьма наблюдателен и полон готовности помогать взрослым. Иной раз я помогал и корзинщику, так что теперь мне не хватало только материала, чтобы приступить к работе. Вдруг мне пришло в голову, не подойдут ли для корзины ветки тех деревьев, из которых я нарубил

кольев и которые потом проросли; ведь у них должны быть упругие, гибкие ветки, как у нашей английской вербы, ивы или лозняка. И я решил попробовать.

На другой же день я отправился на свою дачу, как я называл мое жилье в долине, нарезал там несколько веточек, выбирая самые тонкие, и убедился, что они как нельзя лучше годятся для моей цели. В следующий раз я пришел с топором, чтобы сразу нарубить, сколько мне нужно. Мне не пришлось искать, так как деревья той породы росли здесь в изобилии. Нарубив прутьев, я сволок их за ограду и принялся сушить, а когда они подсохли, перенес их в пещеру. В ближайший дождливый сезон я принялся за работу и наплел много корзин для носки земли, для укладки всяких вещей и для разных других надобностей. Правда, у меня они не отличались изяществом, но, во всяком случае, годились для моих целей. С тех пор я никогда не забывал пополнять свой запас корзин: по мере того как старые разваливались, я плел новые. Особенно я запасался прочными глубокими корзинами, для хранения в них зерна, на тот случай, если у меня накопится большое его количество.

Разрешив эту задачу, на что у меня ушла уйма времени, я стал придумывать, как мне восполнить еще два недостатка. У меня не было посуды для хранения жидкости, если не считать двух бочонков, занятых ромом, да нескольких бутылок и бутылей, в которых я держал воду и спирт. У меня не было ни одного горшка, в котором можно было бы что-нибудь сварить. Правда, я захватил с корабля большой котел, но он был слишком велик, чтобы варить в нем суп и тушить мясо. Другая вещь, о которой я часто мечтал, была трубка, но я не умел сделать ее. Однако в конце концов я придумал, чем ее заменить.

Все лето, иначе говоря, все сухое время года, я был занят устройством живой изгороди вокруг своего старого жилья и плетением корзин. Но меня отвлекло новое дело, отнявшее у меня гораздо больше времени, чем я рассчитывал.

Выше я уже говорил, что мне давно хотелось обойти весь остров и что я несколько раз доходил до ручья и дальше, до того места долины, где я построил свой шалаш и откуда открывался вид на море по другую сторону острова. И вот я наконец решился пройти весь остров поперек и добраться до противоположного берега. Я взял ружье, топорик, больше, чем обычно, пороха, дроби и пуль, прихватил про запас два сухаря и большую кисть винограда и пустился в путь в сопровождении собаки. Пройдя то место долины, где стоял мой шалаш, я увидел впереди на западе море, а дальше виднелась полоса земли. Был яркий, солнечный день, и я хорошо различал землю, но не мог определить, материк

это или остров. Эта земля представляла собою высокое плоскогорье, тянулась с запада на юго-запад и отстояла очень далеко (по моему расчету, миль на сорок или на шестьдесят) от моего острова.

Я не имел понятия, что это за земля, и мог сказать только одно,— должно быть, это какая-нибудь часть Америки, лежащая, по всей вероятности, недалеко от испанских владений. Весьма возможно, что она населена дикарями и что, если б я попал туда вместо моего острова, мое положение было бы еще хуже. И как только у меня явилась эта мысль, я перестал терзаться бесплодными сожалениями, зачем меня выбросило именно сюда, и преклонился перед волей провидения, которое, как я начинал теперь верить и сознавать, всегда и все устраивает к лучшему.

К тому же, подумав как следует, я сообразил, что если новооткрытая мною земля составляет часть испанских владений, то рано или поздно я непременно увижу какой-нибудь корабль, идущий туда или оттуда. Если же это не испанские владения, то, стало быть, это береговая полоса, лежащая между испанскими владениями и Бразилией, населенная исключительно дикарями, и притом самыми свирепыми — каннибалами, или людоедами, которые убивают и съедают всех, кто попадает им в руки.

Погрузившись в такие размышления, я не спеша подвигался вперед. Эта часть острова показалась мне гораздо привлекательнее той, в которой я поселился: везде, куда ни взглянешь, зеленые луга, пестреющие цветами, красивые рощи. Я заметил здесь множество попугаев, и мне захотелось поймать хоть одного, чтобы приручить его и научить разговаривать. После многих бесплодных попыток мне удалось изловить птенца, сбив его палкой; он быстро оправился, и я принес его домой. Но понадобилось несколько лет, прежде чем он заговорил; тем не менее я все-таки добился, что он стал называть меня по имени. С ним произошел один забавный случай, который насмешит читателя в своем месте этого рассказа.

Я остался как нельзя более доволен моим обходом. В низине, на лугах, мне попадались зайцы (или похожие на них животные) и много лисиц; но эти лисицы резко отличались от своих родичей, которых мне случалось видеть раньше. Мне не нравилось мясо этих животных, хотя я и подстрелил их несколько штук. Да, впрочем, в этом не было и надобности: в пище я не терпел недостатка; можно даже сказать, что я питался очень хорошо. Я всегда мог иметь любой из трех сортов мяса: козлятину, голубей или черепаху, а с прибавкой изюма получался совсем роскошный стол, какого, пожалуй, не поставляет и Лиденхоллский рынок. Таким образом, как ни плачевно было мое положение, все-таки у меня было за что благодарить бога: я не только не терпел голода, но ел вдоволь и мог даже лакомиться.

Во время этого путешествия я делал не более двух миль в день, если считать по прямому направлению; но я так много кружил, осматривая местность в надежде, не встречу ли чего нового, что добирался до ночлега очень усталым. Спал я обыкновенно на дереве, а иногда, если находил подходящее место между деревьями, устраивал ограду из кольев, втыкая их от дерева до дерева, так что никакой хищник не мог подойти ко мне, не разбудив меня.

Дойдя до берега моря, я окончательно убедился, что выбрал для поселения самую худшую часть острова. На моей стороне я за полтора года поймал только трех черепах; здесь же весь берег был усеян ими. Кроме того, здесь было несметное множество птиц всевозможных пород, в числе прочих пингвины. Были такие, каких я никогда не видал, и такие, названий которых я не знал. Мясо многих из них оказалось очень вкусным.

Я мог, если бы хотел, настрелять пропасть птиц, но я берег порох и дробь и предпочитал охотиться на коз, так как их мясо вкуснее. Но хотя здесь обитало много коз — гораздо больше, чем в моей части острова,— к ним было очень трудно подобраться, потому что местность здесь была ровная, и они замечали меня гораздо скорее, чем когда я был на холмах.

Бесспорно, этот берег был много привлекательнее моего, и тем не менее я не имел ни малейшего желания переселяться. Прожив в своем гнезде более полутора лет, я к нему привык; здесь же я чувствовал себя как бы на чужбине, и меня тянуло домой. Пройдя вдоль берега к востоку, должно быть, миль двенадцать или около того, я решил, что пора возвращаться. Я воткнул в землю высокую веху, чтобы заметить место, так как решил, что в следующий раз я приду сюда с другой стороны, то есть с востока от моего жилища, и, таким образом, докончу обозрение моего острова.

Я хотел вернуться домой новой дорогой, полагая, что я всегда могу окинуть взглядом весь остров и не собьюсь с пути к моему жилищу. Однако я ошибся, ибо, отойдя от берега не больше двух-трех миль, я спустился в широкую котловину, которую со всех сторон так тесно обступали холмы, поросшие густым лесом, что не было никакой возможности осмотреться. Я мог бы держать путь по солнцу, но надо было в точности знать его положение в это время дня.

На мое горе, погода была пасмурная. Не видя солнца в течение трех или четырех дней, я плутал, тщетно отыскивая дорогу. В конце концов я принужден был выйти опять к берегу моря, на то место, где стояла моя веха, и оттуда вернулся домой прежним путем. Шел я не спеша, часто отдыхая, так как стояли необычайно жаркие дни, а ружье, заряды и топор составляли довольно тяжелую поклажу.

Во время этого путешествия моя собака вспугнула козленка и бросилась на него; но я успел вовремя подбежать и спас его от собачьих клыков. Мне захотелось взять его с собой: я давно уже мечтал приручить пару козлят и развести стадо ручных коз, чтобы обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут все запасы пороха и дроби.

Я сделал козленку ошейник и с некоторым трудом повел его на веревке (веревку я свил из пеньки от старых канатов и всегда носил ее с собою). Добравшись до своего шалаша, я пересадил козленка за ограду и там оставил, ибо мне не терпелось добраться поскорее до дому, где я не был уже больше месяца.

Не могу выразить, с каким чувством удовлетворения я вернулся к своей старой хижине и растянулся на подвесной койке. Это путешествие и бесприютная жизнь так меня утомили, что мой «дом», как я его называл, показался мне вполне благоустроенным жилищем: здесь меня окружало столько удобств и было так уютно, что я решил никогда больше не уходить из него далеко, покуда мне суждено будет оставаться на этом острове.

С неделю я отдыхал и отъедался после моих скитаний. Большую часть этого времени я был занят трудным делом: устраивал клетку для моего Попки; он становился совсем ручным и очень со мной подружился. Затем я вспомнил о своем бедном козленке, которого оставил в ограде, и решился сходить за ним. Я застал его там, где оставил, да он и не мог уйти; но он почти умирал с голоду. Я нарубил сучьев и веток, какие мне попались под руку, и перебросил ему за ограду. Когда он поел, я хотел было вести его на веревке, как раньше, но от голода он до того присмирел, что побежал за мной, как собака. Я всегда кормил его сам, и он сделался таким ласковым и ручным, что вошел в семью моих домашних животных и впоследствии никогда не отходил от меня.

Опять настала дождливая пора осеннего равноденствия, и опять я торжественно отпраздновал 30 сентября — вторую годовщину моего пребывания на острове. Надежды на избавление у меня было так же мало, как и в момент моего прибытия сюда. Весь день 30 сентября я провел в благочестивых размышлениях, смиренно и с благодарностью вспоминая многие милости, которые были ниспосланы мне в моем уединении и без которых мое положение было бы бесконечно печально.

Теперь наконец я ясно ощущал, насколько моя теперешняя жизнь, со всеми ее страданиями и невзгодами, счастливее той позорной, исполненной греха, омерзительной жизни, какую я вел прежде. Все во мне изменилось: горе и радость я понимал теперь совершенно иначе; не те были у меня желания, страсти потеряли свою остроту; то, что в момент моего прибытия сюда и даже

в течение этих двух лет доставляло мне наслаждение, теперь для меня не существовало.

Когда в первое время я выходил на охоту или для осмотра местности и перед моими глазами открывались леса, горы и пустыни, где я осужден был жить один, без помощи и надежды на освобождение, окруженный вечными заставами и затворами океана, тогда мною овладевала мучительная смертельная тоска и сердце обливалось кровью. Не раз, в самом покойном состоянии духа, мысль эта вихрем проносилась в моей несчастной голове, и тогда, в порыве отчаяния, я ломал руки и плакал, как дитя. Иногда, среди занятий, я вдруг останавливался и, под гнетом тех же тяжких дум, бросал работу, садился на землю и с неподвижным взором и глубокими стонами оставался в таком положении час или два. Это немое отчаяние было невыносимо, потому что всегда легче излить горе словами или слезами, чем таить его в себе.

Таково было состояние моего духа, когда начался третий год моего заточения. Я не хотел утомлять читателя мелочными подробностями, а потому второй год моей жизни на острове описан у меня не так обстоятельно, как первый. Все же нужно сказать, что я и в этот год редко оставался праздным. Я строго распределил свое время соответственно занятиям, которым я предавался в течение дня. На первом плане стояли религиозные обязанности и чтение Священного писания,— им я неизменно отводил известное время три раза в день. Вторым из ежедневных моих дел была охота, занимавшая у меня часа по три каждое утро, когда не было дождя. Третьим делом была сортировка, сушка и приготовление убитой или пойманной дичи; на эту работу уходила большая часть дня. При этом следует принять в расчет, что, начиная с полудня, когда солнце подходило к зениту, наступал такой гнетущий зной, что не было возможности даже двигаться; затем оставалось еще не более четырех вечерних часов, которые я мог уделить работе. Случалось и так, что я менял часы охоты и домашних занятий, поутру работал, а перед вечером выходил на охоту.

У меня не только было мало времени, которое я мог посвящать работе, но она стоила мне также невероятных усилий и подвигалась очень медленно. Сколько часов терял я из-за отсутствия инструментов, помощников и недостатка сноровки! Так, например, я потратил сорок два дня только на то, чтобы сделать доску для длинной полки в моем погребе, между тем как два плотника, имея необходимые инструменты, выпиливают из одного дерева шесть таких досок в полдня.

Я действовал так: выбрал большое дерево, ибо мне была нужна широкая доска. Три дня я рубил это дерево и два дня обрубал с него ветви, чтобы получить бревно. Уж и не знаю, сколько вре-

мени я обтесывал и обстругивал его с обеих сторон, покуда тяжесть его не уменьшилась настолько, что его можно было сдвинуть с места. Тогда я обтесал одну сторону начисто по всей длине бревна, затем перевернул его этой стороной вниз и обтесал таким же образом другую. Работу я продолжал до тех пор, пока не получил ровной и гладкой доски толщиною около трех дюймов. Читатель может судить, какого труда стоила мне эта доска. Но упорство и труд помогли мне довести до конца как эту работу, так и много других. Я привел здесь подробности, чтобы объяснить, почему у меня уходило так много времени на сравнительно небольшую работу, то есть небольшую при условии, если у вас есть помощник и инструменты, но требующую огромного времени и усилий, если делать ее одному и чуть не голыми руками.

Несмотря на все это, я терпением и трудом довел до конца все работы, к которым был вынужден обстоятельствами, как видно будет из последующего.

В ноябре и декабре я ждал урожай ячменя и риса. Засеянный мной участок был невелик, ибо, как было сказано выше, у меня вследствие засухи пропал весь посев первого года и оставалось не более половины пека каждого сорта зерна. На этот раз урожай обещал быть превосходным, как вдруг я сделал открытие, что снова рискую потерять весь сбор, так как мое поле опустошается многочисленными врагами, от которых трудно уберечься. Эти враги были, во-первых, козы, во-вторых, те зверьки, которых я назвал зайцами. Очевидно, стебельки риса и ячменя пришлись им по вкусу: они дневали и ночевали на моем поле и начисто уничтожали всходы, не давая им возможности выкинуть колос.

Против этого было лишь одно средство: огородить все поле, что я и сделал. Но эта работа стоила мне большого труда, главным образом потому, что надо было спешить. Впрочем, мое поле было таких скромных размеров, что через три недели изгородь была готова. Днем я отпугивал врагов выстрелами, а на ночь привязывал к изгороди собаку, которая лаяла всю ночь напролет. Благодаря этим мерам предосторожности прожорливые животные ушли от этого места; мой хлеб отлично выколосился и стал быстро созревать.

Но как прежде, пока хлеб был в зеленях, меня разоряли четвероногие, так начали разорять меня птицы теперь, когда он заколосился. Как-то раз, обходя свою пашню, я увидел, что над ней кружатся целые стаи пернатых, видимо, карауливших, когда я уйду. Я сейчас же выпустил в них заряд дроби (я всегда носил с собой ружье), но не успел я выстрелить, как с самой пашни поднялась другая стая, которой я сначала не заметил.

Это не на шутку взволновало меня. Я предвидел, что еще несколько дней такого грабежа — и пропадут все мои надежды; я, значит, буду голодать, и мне никогда не удастся собрать урожай. Я не мог придумать, чем помочь горю. Тем не менее я решил во что бы то ни стало отстоять свой хлеб, хотя бы мне пришлось караулить его день и ночь. Но сначала я обошел все поле, чтобы установить, много ли ущерба причинили мне птицы. Оказалось, что хлеб порядком попорчен, но так как зерно еще не совсем созрело, то потеря была бы невелика, если б удалось сберечь остальное.

Я зарядил ружье и сделал вид, что ухожу с поля (я видел, что птицы притаились на ближайших деревьях и ждут, чтобы я ушел). Действительно, едва я скрылся у них из виду, как эти воришки стали спускаться на поле один за другим. Это так меня рассердило, что я не мог утерпеть и не дождался, пока их спустится побольше. Я знал, что каждое зерно, которое они съедят теперь, может принести со временем целый пек хлеба. Подбежав к изгороди, я выстрелил; три птицы остались на месте. Того только мне и нужно было; я поднял всех трех и поступил с ними, как поступают у нас в Англии с отъявленными ворами, а именно: повесил их для острастки других. Невозможно описать, какое поразительное действие произвела эта мера: не только ни одна птица не села больше на поле, но все улетели из моей части острова, по крайней мере, я не видел ни одной за все время, пока мои три пугала висели на шесте. Легко представить, как я был этому рад. К концу декабря — время второго сбора хлебов — мои ячмень и рис поспели, и я снял урожай.

Перед жатвой я был в большом затруднении, не имея ни косы, ни серпа, единственное, что я мог сделать,— воспользоваться для этой работы широким тесаком, взятым мною с корабля в числе другого оружия. Впрочем, урожай мой был так невелик, что убрать его не составляло большого труда, да и убирал я его особенным способом: я срезывал только колосья, которые и уносил в большой корзине, а затем перетирал руками. В результате из половины пека семян каждого сорта вышло около двух бушелей риса и два с половиной бушеля ячменя, конечно, по приблизительному подсчету, так как у меня не было мер.

Такая удача очень меня ободрила: теперь я мог надеяться, что со временем у меня будет, с божьей помощью, постоянный запас хлеба. Но передо мной явились новые затруднения. Как измолоть зерно или превратить его в муку? Как просеять муку? Как сделать из муки тесто? Как, наконец, испечь из теста хлеб? Ничего этого я не умел. Все эти затруднения в соединении с желанием отложить про запас побольше семян, чтобы обеспечить себя хлебом, привели меня к решению не трогать урожая этого

года, оставив его весь на семена, а тем временем посвятить все рабочие часы и приложить все старания для разрешения главной задачи, то есть превращения зерна в хлеб.

Теперь про меня можно было буквально сказать, что я своими руками добываю свой хлеб. Удивительно, что почти никто не задумывается над тем, какое множество мелких работ надо произвести, чтобы вырастить, сохранить, собрать, приготовить и выпечь обыкновенный кусок хлеба.

Оказавшись в самых первобытных условиях жизни, я ежедневно приходил в отчаяние, ибо трудности давали себя знать все сильнее и сильнее, начиная с той минуты, когда я собрал первую горсть зерен ячменя и риса, так неожиданно выросших у моего дома.

Во-первых, у меня не было ни плуга для вспашки, ни даже заступа или лопатки, чтобы хоть как-нибудь вскопать землю. Как уже было сказано, я преодолел это препятствие, сделав себе деревянную лопату. Но каков инструмент, такова и работа. Не говоря уже о том, что моя лопата, не будучи обита железом, служила очень недолго (хотя, чтобы сделать ее, мне понадобилось много дней), работать ею было тяжелее, чем железной, и сама работа выходила много хуже.

Однако я с этим примирился: вооружившись терпением и не смущаясь качеством своей работы, я продолжал копать. Когда зерно было посеяно, нечем было забороновать его. Пришлось вместо бороны возить по полю большой тяжелый сук, который, впрочем, только царапал землю.

А сколько разнообразных дел мне пришлось переделать, пока мой хлеб рос и созревал! Надо было обнести поле оградой, караулить его, потом жать, убирать, молотить (то есть перетирать в руках колосья, чтобы отделить зерно от мякины). Затем мне понадобились: мельница, чтобы смолоть зерно, сита, чтобы просеять муку, соль и дрожжи, чтобы замесить тесто, печь, чтобы выпечь хлеб. И однако, как увидит читатель, я обошелся без всех этих вещей. Иметь хлеб было для меня неоценимой наградой и наслаждением. Все это требовало от меня тяжелого и упорного труда, но иного выхода не было. Время мое было распределено, и я занимался этой работой несколько часов ежедневно. А так как я решил не расходовать зерна до тех пор, пока его не накопится побольше, то у меня было впереди шесть месяцев, которые я мог всецело посвятить изобретению и изготовлению орудий, необходимых для переработки зерна в хлеб. Но сначала надо было приготовить под посев более обширный участок земли, так как теперь у меня было столько семян, что я мог засеять больше акра. Еще прежде я сделал лопату, что отняло у меня целую неделю. Новая лопата до-

ставила мне одно огорчение: она была тяжела, и ею было вдвое труднее работать. Как бы то ни было, я вскопал свое поле и засеял два больших и ровных участка земли, которые я выбрал как можно ближе к моему дому и обнес частоколом из того дерева, которое так легко принималось. Таким образом, через год мой частокол должен был превратиться в живую изгородь, почти не требующую исправления. Все вместе — распашка земли и сооружение изгороди — заняло у меня не менее трех месяцев, так как большая часть работы пришлась на дождливую пору, когда я не мог выходить из дому.

В те дни, когда шел дождь и мне приходилось сидеть в пещере, я делал другую необходимую работу, стараясь между делом развлекаться разговорами со своим попугаем. Скоро он уже знал свое имя, а потом научился довольно громко произносить его. «Попка» было первое слово, какое я услышал на моем острове, так сказать, из чужих уст. Но разговоры с Попкой, как уже сказано, были для меня не работой, а только развлечением в труде. В то время я был занят очень важным делом. Давно уже я старался тем или иным способом изготовить себе глиняную посуду, в которой я сильно нуждался, но совершенно не знал, как осуществить это. Я не сомневался, что сумею вылепить что-нибудь вроде горшка, если только мне удастся найти хорошую глину. Что же касается обжигания, то я считал, что в жарком климате для этого достаточно солнечного тепла и что, посохнув на солнце, посуда станет настолько крепкой, что можно будет брать ее в руки и хранить в ней все припасы, которые надо держать в сухом виде. И вот я решил вылепить несколько кувшинов, возможно большего размера, чтобы хранить в них зерно, муку и т. п.

Воображаю, как посмеялся бы надо мной (а может быть, и пожалел бы меня) читатель, если б я рассказал, как неумело я замесил глину, какие нелепые, неуклюжие, уродливые произведения выходили у меня, сколько моих изделий развалилось оттого, что глина была слишком рыхлая и не выдерживала собственной тяжести, сколько других потрескалось оттого, что я поспешил выставить их на солнце, и сколько рассыпалось на мелкие куски при первом же прикосновении к ним как до, так и после просушки. Довольно сказать, что после двухмесячных неутомимых трудов, когда я наконец нашел глину, накопал ее, принес домой и начал работать, у меня получилось только две больших безобразных глиняных посудины, потому что кувшинами их нельзя было назвать.

Когда мои горшки хорошо высохли и затвердели на солнце, я осторожно приподнял их один за другим и поставил каждый в одну из больших корзин, которые я сплел специально для них. В пустое пространство между горшками и корзинами я напихал

рисовой и ячменной соломы. Чтобы горшки эти не отсырели, я предназначил их для хранения сухого зерна, а со временем, когда оно будет перемолото,— под муку.

Хотя крупные изделия из глины вышли у меня неудачными, дело пошло значительно лучше с мелкой посудой: круглыми горшками, тарелками, кружками, котелками и тому подобными вещицами. Солнечный жар обжигал их и делал достаточно прочными.

Но моя главная цель все же не была достигнута: мне нужна была посуда, которая не пропускала бы воду и выдерживала бы огонь, а этого-то я и не мог добиться. Но вот как-то раз я развел большой огонь, чтобы приготовить себе мясо. Когда мясо изжарилось, я хотел загасить уголья и нашел между ними случайно попавший в огонь черепок от разбившегося глиняного горшка; он затвердел, как камень, и стал красным, как кирпич. Я был приятно поражен этим открытием и сказал себе, что если черепок так затвердел от огня, то, значит, с таким же успехом можно обжечь на огне и целую посудину.

Это заставило меня подумать о том, как развести огонь для обжигания моих горшков. Я не имел никакого понятия о печах для обжигания извести, какими пользуются гончары, и ничего не слыхал о муравлении свинцом, хотя у меня нашлось бы для этой цели немного свинца. Поставив на кучу горячей золы три больших глиняных горшка и на них три поменьше, я обложил их кругом и сверху дровами и хворостом и развел огонь. По мере того как дрова прогорали, я подкладывал новые поленья, пока мои горшки не прокалились насквозь, причем ни один из них не раскололся. В этом раскаленном состоянии я держал их в огне часов пять или шесть, как вдруг заметил, что один из них начал плавиться, хотя остался цел: это расплавился от жара смешанный с глиной песок, который превратился бы в стекло, если бы я продолжал накалять его. Я постепенно убавил огонь, и красный цвет горшков стал менее ярок. Я сидел подле них всю ночь, чтобы не дать огню слишком быстро погаснуть, и к утру в моем распоряжении было три очень хороших, хотя и не очень красивых, глиняных кувшина и три горшка, так хорошо обожженных, что лучше нельзя и желать, и в том числе один муравленный расплавившимся песком.

Нечего и говорить, что после этого опыта у меня уже не было недостатка в глиняной посуде. Но должен сознаться, что внешний вид моей посуды оставлял желать многого. Да и можно ли этому удивляться? Ведь я делал ее таким же способом, как дети делают куличи из грязи или как делают пироги женщины, которые не умеют замесить тесто.

Я думаю, ни один человек в мире не испытывал такой радости по поводу столь заурядной вещи, какую испытал я, когда убе-

дился, что мне удалось сделать вполне огнеупорную глиняную посуду. Я едва мог дождаться, когда мои горшки остынут, чтобы можно было налить в один из них воды и сварить в нем мясо. Все вышло превосходно: я сварил себе из куска козленка очень хорошего супу, хотя у меня не было ни овсяной муки, ни других приправ, какие обыкновенно кладутся туда.

Следующей моей заботой было придумать, как сделать каменную ступку, чтобы размалывать или, вернее, толочь в ней зерно; располагая только собственными руками, нельзя было и думать о таком сложном произведении искусства, как мельница. Я тщетно ломал себе голову, как выйти из этого положения; в ремесле каменотеса я был круглым невеждой и, кроме того, не имел инструментов. Не один день потратил я на поиски подходящего камня, то есть достаточно твердого и такой величины, чтобы в нем можно было выдолбить углубление, но ничего не нашел. На моем острове были, правда, большие утесы, но от них я не мог ни отколоть, ни отломать нужный кусок. К тому же эти утесы были из довольно хрупкого песчаника; при толчении тяжелым пестом камень стал бы непременно крошиться, и зерно засорялось бы песком. Таким образом, потеряв много времени на бесплодные поиски, я отказался от каменной ступки и решил приспособить для этой цели большую колоду из твердого дерева, которую мне удалось найти гораздо скорее. Остановив свой выбор на чурбане такой величины, что я с трудом мог его сдвинуть, я обтесал его топором, чтобы придать ему нужную форму, а затем, с величайшим трудом, выжег в нем углубление, вроде того, как бразильские краснокожие делают свои лодки. Покончив со ступкой, я вытесал большой, тяжелый пест из так называемого железного дерева. И ступку и пест я приберег до следующего урожая, который я решил уже перемолоть или, вернее, перетолочь на муку, чтобы готовить из нее хлеб.

Дальнейшее затруднение заключалось в том, как сделать сито или решето для очистки муки от мякины и сора, без чего невозможно было готовить хлеб. Задача была очень трудная, и я не знал даже, как к ней приступиться. У меня не было для этого никакого материала: ни кисеи, ни редкой ткани, через которую можно было бы пропускать муку. От полотняного белья у меня оставались одни лохмотья; была козья шерсть, но я не умел ни прясть, ни ткать, а если б и умел, то все равно у меня не было ни прялки, ни станка. На несколько месяцев дело остановилось совершенно, и я не знал, что предпринять. Наконец я вспомнил, что между матросскими вещами, взятыми мною с корабля, было несколько шейных платков из коленкора или муслина. Из этих-то платков я и сделал себе три сита, правда, маленьких, но вполне годных для

работы. Ими я обходился несколько лет; о том, как я устроился впоследствии, будет рассказано позже.

Теперь надо было подумать, как я буду печь свои хлебы, когда приготовлю муку. Прежде всего у меня совсем не было закваски; заменить ее было нечем, и я перестал ломать голову над этим. Но устройство печи сильно затрудняло меня. Тем не менее я наконец нашел выход. Я вылепил из глины несколько больших круглых посудин, очень широких, но мелких, а именно: около двух футов в диаметре и не более девяти дюймов в глубину; блюда эти я хорошенько обжег на огне и спрятал в кладовую. Когда пришла пора печь хлеб, я развел большой огонь на очаге, который выложил четырехугольными, хорошо обожженными плитами также моего собственного приготовления. Впрочем, четырехугольными их, пожалуй, лучше не называть. Дождавшись, чтобы дрова прогорели, я разгреб уголья по всему очагу и дал им полежать несколько времени, пока очаг не раскалился. Тогда я отгреб весь жар в сторонку, поместив на очаге свои хлебы, накрыл их глиняным блюдом, опрокинув его кверху дном, и завалил горячими угольями. Мои хлебы испеклись, как в самой лучшей печке. Я научился печь лепешки из риса и пудинги и стал хорошим пекарем; только пирогов я не делал, да и то потому, что, кроме козлятины да птичьего мяса, их было нечем начинять.

Не удивительно, что на все эти работы ушел почти целиком третий год моего жилья на острове, особенно если принять во внимание, что в промежутках мне нужно было убрать новый урожай и исполнять текущие работы по хозяйству. Хлеб я убрал своевременно, сложил в большие корзины и перенес домой, оставив его в колосьях, пока у меня найдется время перетереть их. Молотить я не мог за неимением гумна и цепа.

Между тем с увеличением моего запаса зерна у меня явилась потребность в более обширном амбаре. Последняя жатва дала мне около двадцати бушелей ячменя и столько же, если не больше, риса, так что для всего зерна не хватало места. Теперь я мог, не стесняясь, расходовать его на еду, что было очень приятно, так как мои сухари давно уже вышли. Я решил при этом рассчитать, какое количество зерна потребуется для моего продовольствия в течение года, чтобы сеять только раз в год.

Оказалось, что сорока бушелей риса и ячменя мне с избытком хватает на год, и я решил сеять ежегодно столько, сколько посеял в этом году, рассчитывая, что мне будет достаточно и на хлеб, и на лепешки, и т. п.

За этой работой я постоянно вспоминал про землю, которую видел с другой стороны моего острова, и в глубине души не переставал лелеять надежду добраться до этой земли, воображая, что,

в виду материка или вообще населенной страны, я как-нибудь найду возможность проникнуть дальше, а может быть, и вовсе вырваться отсюда.

Но я упускал из виду опасности, которые могли грозить мне в таком предприятии; я не думал о том, что могу попасть в руки дикарей, а они, пожалуй, будут похуже африканских тигров и львов: очутись я в их власти, была бы тысяча шансов против одного, что я буду убит, а может быть, и съеден. Ибо я слышал, что обитатели Караибского берега — людоеды, а, судя по широте, на которой находился мой остров, он не мог быть особенно далеко от этого берега. Но даже если обитатели той земли не были людоедами, они все равно могли убить меня, как убивали многих попадавших к ним европейцев, даже когда тех бывало десять — двадцать человек. А ведь я был один и беззащитен. Все это, повторяю, я должен был бы принять в соображение. Потом-то я понял всю несообразность своей затеи, но в то время меня не пугали никакие опасности: моя голова всецело была занята мыслями, как бы попасть на отдаленный берег.

Вот когда я пожалел о моем маленьком приятеле Ксури и о парусном боте, на котором я прошел вдоль африканских берегов с лишком тысячу миль! Но что толку было вспоминать?.. Я решил сходить взглянуть на нашу корабельную шлюпку; еще в ту бурю, когда мы потерпели крушение, ее выбросило на остров в нескольких милях от моего жилья. Шлюпка лежала не совсем на прежнем месте: ее опрокинуло прибоем кверху дном и отнесло немного повыше, на самый край песчаной отмели, и воды около нее не было.

Если б мне удалось починить и спустить на воду шлюпку, она выдержала бы морское путешествие, и я без особенных затруднений добрался бы до Бразилии. Но для такой работы было мало одной пары рук. Я упустил из виду, что перевернуть и сдвинуть с места эту шлюпку для меня такая же непосильная задача, как сдвинуть с места мой остров. Но, невзирая ни на что, я решил сделать все, что было в моих силах: отправился в лес, нарубил жердей, которые должны были служить мне рычагами, и перетащил их к шлюпке. Я тешил себя мыслью, что, если мне удастся перевернуть шлюпку на дно, я исправлю ее повреждения, и у меня будет такая лодка, в которой смело можно пуститься в море.

И я не пожалел сил на эту бесплодную работу, потратив на нее недели три или четыре. Убедившись под конец, что с моими слабыми силами мне не поднять такую тяжесть, я принялся подкапывать песок с одного бока шлюпки, чтобы она упала и перевернулась сама; при этом я то здесь, то там подкладывал под нее обрубки дерева, чтобы направить ее падение куда нужно.

Но, когда я закончил эти подготовительные работы, я все же был неспособен ни пошевелить шлюпку, ни подвести под нее рычаги, а тем более спустить ее на воду, так что мне пришлось отказаться от своей затеи. Несмотря на это, мое стремление пуститься в океан не только не ослабевало, но, напротив, возрастало вместе с ростом препятствий на пути к его осуществлению.

Наконец я решил попытаться сделать челнок или, еще лучше, пирогу, какие делают туземцы в этих странах, почти без всяких инструментов и без помощников, прямо из ствола большого дерева. Я считал это не только возможным, но и легким делом, и мысль об этой работе очень увлекала меня. Мне казалось, что у меня больше средств для выполнения ее, чем у негров или индейцев. Я не принял во внимание большого неудобства моего положения сравнительно с положением дикарей, а именно — недостатка рук, чтобы спустить пирогу на воду, а между тем это препятствие было гораздо серьезнее, чем недостаток инструментов. Допустим, я нашел бы в лесу подходящее толстое дерево и с великим трудом свалил его; допустим даже, что с помощью своих инструментов я обтесал бы его снаружи и придал ему форму лодки, затем выдолбил или выжег внутри, словом, сделал бы лодку. Какая была мне от этого польза, если я не мог спустить ее на воду и вынужден был бы оставить ее в лесу?

Конечно, если бы я хоть сколько-нибудь отдавал себе отчет в своем положении, то, прежде чем соорудить лодку, непременно задался бы вопросом, как я спущу ее на воду. Но все мои помыслы до такой степени были поглощены предполагаемым путешествием, что я ни разу даже не подумал об этом, хотя было очевидно, что несравненно легче проплыть на лодке сорок пять миль по морю, чем протащить ее по земле сорок пять сажен, отделявших ее от воды.

Одним словом, взявшись за эту работу, я вел себя глупо для человека, находящегося в здравом уме. Я тешился своей затеей, не давая себе труда рассчитать, хватит ли у меня сил справиться с ней. И не то чтобы мысль о спуске на воду совсем не приходила мне в голову,— нет, я просто не давал ей ходу, устраняя ее всякий раз глупейшим ответом: «Прежде сделаю лодку, а там уж, наверно, найдется способ спустить ее».

Рассуждение самое нелепое, но моя разыгравшаяся фантазия не давала мне покоя, и я принялся за работу. Я повалил огромнейший кедр. Думаю, что у самого Соломона не было такого во время постройки иерусалимского храма. Мой кедр имел пять футов десять дюймов в поперечнике у корней, на высоте двадцати двух футов — четыре фута одиннадцать дюймов; дальше ствол становился тоньше, разветвлялся. Огромного труда стоило мне свалить это де-

рево. Двадцать дней я рубил самый ствол, да еще четырнадцать дней мне понадобилось, чтобы обрубить сучья и отделить огромную, развесистую верхушку. Целый месяц я отделывал мою колоду снаружи, стараясь придать ей форму лодки, так, чтобы она могла держаться на воде прямо. Три месяца ушло потом на то, чтобы выдолбить ее внутри. Правда, я обошелся без огня и работал только стамеской и молотком. Наконец благодаря упорному труду мной была сделана прекрасная пирога, которая смело могла поднять человек двадцать пять, а следовательно, и весь мой груз.

Я был в восторге от своего произведения: никогда в жизни я не видал такой большой лодки из цельного дерева. Зато и стоила же она мне трудов! Теперь оставалось только спустить ее на воду, и я не сомневался, что, если бы это мне удалось, я предпринял бы безумнейшее и самое безнадежное из всех морских путешествий.

Но все мои старания спустить ее на воду не привели ни к чему, несмотря на то что они стоили мне огромного труда. До воды было никак не более ста ярдов; но первое затруднение состояло в том, что местность поднималась к берегу в гору. Я храбро решился его устранить, сняв всю лишнюю землю таким образом, чтобы образовался отлогий спуск. Сколько труда я положил на эту работу! Но кто бережет труд, когда дело идет о получении свободы? Когда это препятствие было устранено, дело не подвинулось ни на шаг: я не мог сдвинуть мою пирогу, как раньше не мог шлюпку.

Тогда я измерил расстояние, отделявшее мою лодку от моря, и решил вырыть канал: видя, что я не в состоянии подвинуть лодку к воде, я хотел подвести воду к лодке. И я уже начал было копать, но когда я прикинул в уме необходимую глубину и ширину канала, когда подсчитал, в какое приблизительно время может сделать такую работу один человек, то оказалось, что мне понадобится не менее десяти — двенадцати лет, чтобы довести ее до конца. Берег был здесь очень высок, и его надо было углублять, по крайней мере, на двадцать футов.

К моему крайнему сожалению, мне пришлось отказаться и от этой попытки.

Я был огорчен до глубины души и тут только сообразил — правда, слишком поздно,— как глупо приниматься за работу, не рассчитав, во что она обойдется и хватит ли сил для доведения ее до конца.

В разгар этой работы наступила четвертая годовщина моего житья на острове. Я провел этот день, как и прежде, в молитве и со спокойным духом. Благодаря постоянному и прилежному чтению слова божия и благодатной помощи свыше я стал видеть многое в совсем новом свете. Все мои понятия изменились, мир ка-

зался мне теперь далеким и чуждым. Он не возбуждал во мне никаких надежд, никаких желаний. Словом, мне нечего было делать там, и я был разлучен с ним, по-видимому, навсегда. Я смотрел на мир такими глазами, какими, вероятно, смотрят на него с того света, то есть как на место, где я жил когда-то, но откуда ушел навсегда. Я мог бы сказать миру теперь, как праотец Авраам богачу: «Между мной и тобой утверждена великая пропасть».

В самом деле, я ушел от всякой мирской скверны: у меня не было ни плотских искушений, соблазна очей, ни гордыни. Мне нечего было желать, потому что я имел все, чем мог наслаждаться. Я был господином моего острова или, если хотите, мог считать себя королем или императором всей страны, которой я владел. У меня не было соперников, не было конкурентов, никто не оспаривал моей власти, я ни с кем ее не делил. Я мог бы нагрузить зерном целые корабли, но мне это было не нужно, и я сеял ровно столько, чтобы хватило для меня. У меня было множество черепах, но я довольствовался тем, что изредка убивал по одной. У меня было столько леса, что я мог построить целый флот, и столько винограда, что все корабли моего флота можно было бы нагрузить вином и изюмом.

Я придавал цену лишь тому, чем мог как-нибудь воспользоваться. Я был сыт, потребности мои удовлетворялись, для чего же мне было все остальное? Если б я настрелял больше дичи и посеял больше хлеба, чем был в состоянии съесть, мой хлеб заплесневел бы в амбаре, а дичь пришлось бы выкинуть, или она стала бы добычей червей. Срубленные мною деревья гнили; я мог употреблять их только на топливо, а топливо мне было нужно только для приготовления пищи.

Одним словом, природа, опыт и размышление научили меня понимать, что мирские блага ценны для нас лишь в той степени, в какой они способны удовлетворить наши потребности, и что, сколько бы мы ни накопили богатств, мы получаем от них удовольствие лишь в той мере, в какой можем использовать их, но не больше. Самый закоренелый скряга вылечился бы от своего порока, если бы очутился на моем месте и, как я, не знал, куда девать свое добро. Повторяю, мне было нечего желать, если не считать некоторых вещей, которых у меня не было,— разных мелочей, однако очень нужных для меня. Как я уже сказал, у меня было немного денег, серебра и золота, всего около тридцати шести фунтов стерлингов. Увы, они лежали как жалкий, ни на что не годный хлам: мне было некуда их тратить. С какою радостью отдал бы я пригоршню этого металла за десяток трубок для табака или ручную мельницу, чтобы размалывать свое зерно! Да что там!.. Я отдал бы все эти деньги за шестипенсовую пачку семян

репы и моркови, за горсточку гороха и бобов или за бутылку чернил. Эти деньги не давали мне ни выгод, ни удовольствия. Так и лежали они у меня в шкафу и в дождливую погоду плесневели от сырости в моей пещере. И будь у меня шкаф полон алмазов, они точно так же не имели бы для меня никакой цены, потому что были совершенно ненужны мне.

Мне жилось теперь гораздо легче, чем раньше, и в физическом и в нравственном отношении. Садясь за еду, я часто исполнялся глубокой признательности к щедротам провидения, уготовившего мне трапезу в пустыне. Я научился смотреть больше на светлые, чем на темные стороны моего положения, и помнить больше о том, что у меня есть, чем о том, чего я лишен. И это доставляло мне минуты невыразимой внутренней радости. Я говорю об этом для тех несчастных людей, которые никогда ничем не довольны, которые не могут спокойно наслаждаться дарованными им благами, потому что им всегда хочется чего-нибудь такого, чего у них нет. Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают, мне кажется, от недостатка благодарности за то, что мы имеем.

Целыми часами — целыми днями, можно сказать,— я в самых ярких красках представлял себе, что бы я делал, если бы мне ничего не удалось спасти с корабля. Моей единственной пищей были бы рыбы и черепахи. А так как прошло много времени, прежде чем я нашел черепах, то я просто умер бы с голоду. А если бы не погиб, то жил бы, как дикарь. Ибо допустим, что мне удалось бы когда-нибудь убить козу или птицу, я все же не мог бы содрать с нее шкуру, разрезать и выпотрошить ее. Я принужден был бы кусать ее зубами и разрывать ногтями, как дикий зверь.

После таких размышлений я живее чувствовал благость ко мне провидения и от всего сердца благодарил бога за свое настоящее положение со всеми его лишениями и невзгодами. Пусть примут это к сведению все те, кто в горькие минуты жизни любит говорить: «Может ли чье-нибудь горе сравниться с моим?» Пусть они подумают, как много на земле людей несравненно несчастнее их, во сколько раз их собственное несчастье могло бы быть ужаснее, если б то было угодно провидению.

До того, как я попал на необитаемый остров, во мне не было ничего хорошего, ни малейшего сознания, кем я был или кем мне надлежало быть: при самых величайших удачах, которые выпадали на мою долю, как, например, побег из Сале, участие ко мне португальского капитана, успех моей бразильской плантации, получение товаров из Англии — слова «благодарю тебя, господи» не звучали у меня ни в сердце, ни на языке. Даже в самых ужаснейших моих бедствиях никогда не думал я молиться богу или ска-

зать ему: «Господи, сжалься надо мною!» Я произносил имя божие только для божбы или богохульства.

В течение нескольких месяцев душа моя предавалась ужаснейшим размышлениям об ожесточенности и греховности моей прошлой жизни, когда я думал о себе и понимал, как провидение пеклось обо мне со времени моего прибытия на остров и насколько бог был милосерден ко мне, не только наказывая меня гораздо меньше, чем того заслуживали мои беззакония, но еще снабжая меня с избытком всем нужным. Меня оживляла тогда надежда, что раскаяние мое было принято и что я не утратил еще милосердия божия.

Я приучил душу свою не только покоряться воле божьей в настоящих обстоятельствах, но не раз сердечно благодарил за свой жребий, рассуждая, что, пока я живу, я не должен жаловаться, так как получаю только справедливое возмездие за мои грехи; что я пользовался благами, которых самое благоразумие не позволяло ожидать мне в этом случае; и вместо того, чтобы роптать на свое положение, мне следовало радоваться и каждодневно благодарить за насущный хлеб, ниспосланный мне не иначе как целой цепью чудес; я должен был считать все это чудом — целым рядом чудес, столь же великих, каким было кормление пророка Илии воронами! Наконец, едва ли бы мне удалось назвать другое место в необитаемых частях света, куда бы я мог удачнее быть заброшенным, место, где я так же, как здесь, мог быть лишен всякого общества (что, с одной стороны, меня печалило), но где я не нашел ни лютых зверей, ни волков, ни свирепых тигров, угрожавших моей жизни, ни ядовитых животных, мясо которых могло бы мне повредить, ни дикарей, которые могли бы убить меня и съесть.

Словом, если, с одной стороны, моя жизнь была безотрадна, то, с другой — я должен был быть благодарен уже за то, что живу; а чтобы сделать эту жизнь вполне счастливой, мне надо было только постоянно помнить, как добр и милостив господь, пекущийся обо мне. И когда я беспристрастно взвесил все это, я успокоился и перестал грустить.

Я так давно жил на моем острове, что многие из взятых мною с корабля вещей или совсем испортились, или кончили свой век, а корабельные припасы частью совершенно вышли, частью подходили к концу.

Чернил у меня оставалось очень немного, и я все больше и больше разводил их водой, пока они не стали такими бледными, что почти не оставляли следов на бумаге. До тех пор, пока у меня было хоть слабое их подобие, я отмечал в коротких словах дни месяца, на которые приходились выдающиеся события моей жизни.

Просматривая как-то раз эти записи, я заметил странное совпадение чисел и дней, в которые случались со мною различные происшествия, так что, если б я был суеверен и различал счастливые и несчастные дни, то мое любопытство не без основания было бы привлечено этим совпадением.

Во-первых, мое бегство из родительского дома в Гулль, чтобы оттуда пуститься в плавание, произошло в тот же месяц и число, когда я попал в плен к салеским пиратам и был обращен в рабство. Затем в тот самый день, когда я остался в живых после кораблекрушения на Ярмутском рейде, я впоследствии вырвался из салеской неволи на парусном баркасе. Наконец, в годовщину моего рождения, а именно 30 сентября, когда мне минуло двадцать шесть лет, я чудом спасся от смерти, будучи выброшен морем на необитаемый остров. Таким образом, греховная жизнь и жизнь уединенная начались для меня в один и тот же день.

Вслед за чернилами у меня вышел запас хлеба, то есть, собственно, не хлеба, а корабельных сухарей. Я растягивал их до последней возможности (в последние полтора года я позволял себе съедать не более одного сухаря в день), и все-таки до того, как я собрал со своего поля такое количество зерна, что можно было начать употреблять его в пищу, я почти год сидел без крошки хлеба. Но и за это я должен был благодарить бога: ведь я мог остаться и совсем без хлеба, и было поистине чудо, что я получил возможность его добывать.

Запасы одежды тоже сильно оскудели. Из белья у меня давно уже не оставалось ничего, кроме клетчатых рубах (около трех дюжин), которые я нашел в сундуках наших матросов и берег пуще глаза, ибо на моем острове бывало зачастую так жарко, что приходилось ходить в одной рубахе, и я не знаю, что бы я делал без этого запаса. Было у меня еще несколько толстых матросских шинелей; все они хорошо сохранились, но я не мог их носить из-за жары. Собственно говоря, в таком жарком климате вовсе не было надобности одеваться; но я стыдился ходить нагишом; я не допускал даже мысли об этом, хотя был совершенно один и никто не мог меня видеть.

Но была и другая причина, не позволявшая мне ходить голым: когда на мне было что-нибудь надето, я легче переносил солнечный зной. Палящие лучи тропического солнца обжигали мне кожу до пузырей, рубашка же защищала ее от солнца, и, кроме того, меня охлаждало движение воздуха между рубашкой и телом. Никогда не мог я также привыкнуть ходить на солнце с непокрытой головой: всякий раз, когда я выходил без шляпы, у меня разбаливалась голова, но стоило мне только надеть шляпу, головная боль проходила.

Итак, надо было привести в порядок хоть то тряпье, какое у меня еще оставалось и которое я торжественно именовал своим платьем. Прежде всего мне нужна была куртка (все, какие у меня были, я износил). Я решил попытаться переделать на куртки матросские шинели, о которых я только что говорил, и некоторые другие материалы. И вот я принялся портняжничать, или, вернее, кромсать и ковырять иглой, ибо, говоря по совести, я был довольно-таки горе-портной. Как бы то ни было, я с грехом пополам состряпал две или три куртки, которых, по моему расчету, мне должно было надолго хватить. О первой моей попытке сшить брюки лучше не говорить, так как она окончилась постыдной неудачей.

Я уже говорил, что сохранял шкурки всех убитых мною животных (я разумею четвероногих). Каждую шкурку я просушивал на солнце, растянув на шестах. Поэтому по большей части они становились такими жесткими, что едва ли могли на что-нибудь пригодиться, но некоторые из них были очень хороши. Первым делом я сшил себе из них большую шапку. Я сделал ее мехом наружу, чтобы лучше предохранить себя от дождя. Шапка так мне удалась, что я решил соорудить себе из такого же материала полный костюм, то есть куртку и штаны. И куртку и штаны я сделал совершенно свободными, а последние — короткими до колен, ибо и то и другое было мне нужно скорее для защиты от солнца, чем для тепла. Покрой и работа, надо признаться, никуда не годились: плотник я был очень неважный, а портной и подавно. Как бы то ни было, мое изделие отлично мне служило, особенно когда мне случалось выходить во время дождя: вся вода стекала по длинному меху шапки и куртки, и я оставался совершенно сухим.

После куртки и брюк я потратил очень много времени и труда на изготовление зонтика, который был очень мне нужен. Я видел, как делают зонтики в Бразилии: там никто не ходит без зонтика из-за жары, а на моем острове было ничуть не менее жарко, пожалуй, даже жарче, чем в Бразилии, так как он был ближе к экватору. Мне же приходилось выходить во всякую погоду, а иной раз подолгу бродить и по солнцу и по дождю: словом, зонтик был мне весьма полезен. Много было хлопот с этой работой, и много времени прошло, прежде чем мне удалось сделать что-то похожее на зонтик (раза два или три я выбрасывал испорченный материал и начинал снова). Главная трудность заключалась в том, чтобы он раскрывался и закрывался. Сделать раскрытый зонтик мне было легко, но тогда пришлось бы всегда носить его над головой, а это было неудобно. Но как уже сказано, я преодолел эту трудность, и мой зонтик мог закрываться. Я обтянул его козьими шкурами мехом наружу: дождь стекал по нему, как по наклонной

крыше, и он так хорошо защищал от солнца, что я мог выходить из дому даже в самую жаркую погоду, и чувствовал себя лучше, чем раньше, в более прохладную, а когда он был мне не нужен, закрывал его и нес под мышкой.

Так я жил на моем острове тихо и спокойно, всецело покорившись воле божьей и доверившись провидению. От этого жизнь моя стала лучше, чем если бы я был окружен человеческим обществом; каждый раз, когда у меня возникали сожаления, что я не слышу человеческой речи, я спрашивал себя, разве моя беседа с собственными мыслями и (надеюсь, я вправе сказать это) в молитвах и славословиях с самим богом была не лучше самого веселого времяпрепровождения в человеческом обществе?

Следующие пять лет прошли, насколько я могу припомнить, без всяких чрезвычайных событий. Жизнь моя протекала по-старому — тихо и мирно; я жил на прежнем месте и по-прежнему делил свое время между работой, чтением Библии и охотой. Главным моим занятием — конечно, помимо ежегодных работ по посеву и уборке хлеба и по сбору винограда (хлеба я засевал ровно столько, чтобы хватало на год, и с таким же расчетом собирал виноград) и не считая ежедневных экскурсий с ружьем, — главным моим занятием, говорю я, была постройка новой лодки. На этот раз я не только сделал лодку, но и спустил ее на воду: я вывел ее в бухточку по каналу (в шесть футов ширины и четыре глубины), который мне пришлось прорыть на протяжении полумили без малого. Первую мою лодку, как уже знает читатель, я сделал таких огромных размеров, не рассчитав заблаговременно, буду ли я в состоянии спустить ее на воду, что принужден был оставить ее на месте постройки, как памятник моей глупости, долженствовавший постоянно напоминать мне о том, что впредь следует быть умнее. Действительно, в следующий раз я поступил гораздо практичнее. Правда, я и теперь построил лодку чуть не в полумиле от воды, так как ближе не нашел подходящего дерева, но теперь я, по крайней мере, хорошо соразмерил ее величину и тяжесть со своими силами. Видя, что моя затея на этот раз вполне осуществима, я твердо решил довести ее до конца. Почти два года я провозился над сооружением лодки, но не жалел об этом: так я жаждал получить наконец возможность пуститься в путь по морю.

Надо, однако, заметить, что новая пирога совершенно не подходила для осуществления моего первоначального намерения, которое у меня было, когда я сооружал лодку: она была так мала, что нечего было и думать переплыть на ней те сорок миль или больше, которые отделяли мой остров от terra firma [1]. Таким обра-

[1] Материк *(лат.)*.

зом, мне пришлось распроститься с этой мечтой. Но у меня явился новый план — объехать вокруг острова. Я уже побывал однажды на противоположном берегу (о чем было рассказано выше), и открытия, которые я сделал в эту экскурсию, так заинтересовали меня, что мне еще тогда очень хотелось осмотреть все побережье острова. И вот теперь, когда у меня была лодка, я только и думал о том, как бы совершить эту поездку.

Чтобы осуществить это намерение разумно и осмотрительно, я сделал для своей лодки маленькую мачту и сшил соответствующий парус из кусков корабельной парусины, которой у меня был большой запас.

Когда таким образом лодка была оснащена, я попробовал ее ход и убедился, что парус действует отлично. Тогда я сделал на корме и на носу по большому ящику, чтобы провизия, заряды и прочие нужные вещи, которые я собирался взять в дорогу, не подмокли от дождя и от морских брызг. Для ружья я выдолбил в дне лодки узкий желоб и для предохранения от сырости приделал к нему откидную крышку.

Затем я укрепил на корме раскрытый зонтик в виде мачты, так, чтобы он приходился над моей головой и защищал меня от солнца, подобно тенту. И вот я время от времени стал предпринимать небольшие прогулки по морю, но никогда не выходил в открытое море, стараясь держаться возле бухточки. Наконец желание ознакомиться с границами моего маленького царства победило, и я решил совершить свой рейс. Я запасся в дорогу всем необходимым, начиная с провизии и кончая одеждой. Я взял с собой два десятка ячменных хлебцев (точнее, лепешек), большой глиняный горшок поджаренного риса (обычное мое блюдо), бутылочку рома и половину козьей туши; взял также пороха и дроби, чтобы пострелять еще коз, а из одежды — две куртки из упомянутых выше, которые оказались в перевезенных мною с корабля матросских сундуках; одной из этих курток я предполагал пользоваться в качестве матраца, другой — укрываться.

Шестого ноября, в шестой год моего царствования, или, если угодно, пленения, я отправился в путь. Проездил я гораздо дольше, чем рассчитывал. Хотя мой остров сам по себе и невелик, но когда я приблизился к восточной его части, то увидел длинную гряду скал, частью подводных, частью торчавших над водой; она выдавалась миль на шесть в открытое море, а дальше, за скалами, еще мили на полторы, тянулась песчаная отмель. Таким образом, чтобы обогнуть косу, пришлось сделать большой крюк.

Сначала, когда я увидел эти рифы, я хотел было отказаться от своего предприятия и повернуть назад, не зная, как далеко мне придется углубиться в открытое море, чтобы обогнуть их; тем бо-

лее что я не был уверен, смогу ли я повернуть назад. И вот я бросил якорь (перед отправлением в путь я смастерил себе некоторое его подобие из обломка шлюпочного якоря, подобранного мною с корабля), взял ружье и сошел на берег. Взобравшись на довольно высокую горку, я смерил на глаз длину косы, которая отсюда была видна на всем своем протяжении, и решился рискнуть.

Обозревая море с этой возвышенности, я заметил сильное и бурное течение, направлявшееся на восток и подходившее к самой косе. И я тогда же подумал, что тут кроется опасность: что, если я попаду в это течение, меня может унести в море, и я не буду в состоянии вернуться на остров? Да, вероятно, так бы оно и было, если б я не произвел разведки, потому что такое же морское течение виднелось и с другой стороны острова, только подальше, и я заметил сильное встречное течение у берега. Значит, мне нужно было выйти за пределы первого течения, и меня тотчас же должно было понести к берегу.

Я простоял, однако, на якоре два дня, так как дул свежий ветер (притом юго-восточный, то есть как раз навстречу вышесказанному морскому течению) и по всей косе ходили высокие буруны; было опасно держаться и подле берега из-за прибоя, и очень удаляться от него из-за течения.

На третий день ветер за ночь стих, море успокоилось, и утром я решился пуститься в путь. Но то, что случилось со мной, может служить уроком для неопытных и неосторожных кормчих. Не успел я достичь косы, находясь от берега всего лишь на длину моей лодки, как очутился на большой глубине, среди течения, бурного, как вода из-под мельничного колеса. Лодку мою понесло с такой силой, что все, что я мог сделать,— это держаться с краю течения. Между тем меня уносило все дальше и дальше от встречного течения, оставшегося слева от меня. Ни малейший ветерок не приходил мне на помощь, работать же веслами было пустой тратой сил. Я уже прощался с жизнью: я знал, что через несколько миль течение, в которое я попал, сольется с другим течением, огибающим остров, и тогда я безвозвратно погиб. А между тем я не видел никакой возможности свернуть. Итак, меня ожидала верная смерть, и не в волнах морских, потому что море было довольно спокойно, а от голода. Правда, на берегу я нашел черепаху, такую большую, что еле мог поднять, и взял ее с собой в лодку. Был у меня также полный кувшин пресной воды. Но что это значило для несчастного путника, затерявшегося в безбрежном океане, где можно пройти тысячи миль, не увидав и признаков земли.

И тогда я понял, как легко самое безотрадное положение может сделаться еще безотраднее, если так угодно будет провиде-

нию. На свой пустынный, заброшенный остров я смотрел теперь как на земной рай, и единственным моим желанием было вернуться в этот рай. В страстном порыве я простирал к нему руки, взывая: «О благодатная пустыня! Я никогда больше не увижу тебя! О, я несчастный, что со мной будет?» Я упрекал себя в неблагодарности, вспоминая, как я роптал на свое одиночество. Чего бы я не дал теперь, чтобы очутиться вновь на том безлюдном берегу! Такова уж человеческая натура: мы никогда не видим своего положения в истинном свете, пока не изведаем на опыте положения еще худшего, и никогда не ценим тех благ, какими обладаем, покуда не лишимся их. Не могу выразить, в каком я был отчаянии, когда увидел, что меня унесло от моего милого острова (да, теперь он казался мне милым), унесло в безбрежный океан почти на шесть миль, и я должен навеки проститься с надеждой увидеть его вновь. Однако я греб почти до потери сил, стараясь направить лодку на север, то есть к той стороне течения, которая приближалась к встречному течению. Вдруг после полудня, когда солнце повернуло на запад, с юго-востока, то есть прямо мне навстречу, потянул ветерок. Это немного меня ободрило. Но вы представьте мою радость, когда ветерок начал быстро свежеть и через полчаса задул как следует. К этому времени меня угнало бог знает на какое расстояние от моего острова. Поднимись на ту пору туман или соберись тучи, мне пришел бы конец: со мною не было компаса, и, если бы я потерял из виду мой остров, я не знал бы, куда держать путь. Но, на мое счастье, был солнечный день и ничто не предвещало тумана. Я поставил мачту, поднял парус и стал править на север, стараясь выбиться из течения.

Как только моя лодка повернула по ветру и пошла наперерез течению, я заметил в нем перемену: вода стала гораздо светлее. Это привело меня к заключению, что течение по какой-то причине начинает ослабевать, так как раньше, когда оно было быстро, вода была все время мутная. И в самом деле, вскоре я увидел на востоке группу утесов (их можно было различить издалека по белой пене бурливших вокруг них волн); эти утесы разделяли течение на две струи, и в то время, как главная продолжала течь к югу, оставляя утесы на северо-восток, другая круто заворачивала назад и, образовав водоворот, стремительно направлялась на северо-запад.

Только те, кто знает по опыту, что значит получить помилование, стоя на эшафоте, или спастись от разбойников в последний момент, когда нож уже приставлен к горлу, поймут мой восторг при этом открытии и радость, с какой я направил свою лодку в обратную струю, подставив парус еще более посвежевшему попутному ветру, и весело понесся назад.

Это встречное течение принесло меня прямо к острову, но милях в шести севернее того места, откуда меня угнало в море, так что, приблизившись к острову, я оказался у северного берега его, то есть противоположного тому, от которого я отчалил.

Пройдя с помощью этого встречного течения около трех миль, я заметил, что оно ослабевает и неспособно гнать меня дальше. Но теперь я был уже в виду острова, в совершенно спокойном месте, между двумя сильными течениями — южным, которым меня унесло в море, и северным, проходившим милях в трех по другую сторону. Пользуясь попутным ветром, я продолжал держать на остров, хотя подвигался уже не так быстро.

Около четырех часов пополудни, находясь милях в трех от острова, я обнаружил, что гряда скал, виновница моих злоключений, тянувшаяся, как я уже описывал, к югу и в том же направлении отбрасывавшая течение, порождает другое, встречное течение в северном направлении; оно оказалось очень сильным, но не вполне совпадающим с направлением моего пути, шедшего на запад. Однако благодаря свежему ветру я пересек это течение и приблизительно через час подошел к берегу на расстояние мили, где море было спокойно, так что я без труда причалил к берегу.

Почувствовав под собой твердую землю, я упал на колени и в горячей молитве возблагодарил бога за свое избавление, решив раз навсегда отказаться от своего плана освобождения при помощи лодки. Затем, подкрепившись бывшей со мной едой, я провел лодку в маленькую бухточку, под деревья, которые росли здесь на самом берегу, и, вконец обессиленный усталостью и тяжелой работой, прилег уснуть.

Я был в большом затруднении, не зная, как мне доставить домой мою лодку. О том, чтобы вернуться прежней дорогой, то есть вокруг восточного берега острова, не могло быть и речи: я уж и так довольно натерпелся страху. Другая же дорога — вдоль западного берега — была мне совершенно незнакома, и у меня не было ни малейшего желания рисковать. Вот почему на другое утро я решил пройти по берегу на запад и посмотреть, нет ли там бухточки, где бы я мог оставить свой фрегат в безопасности и затем воспользоваться им, когда понадобится. И действительно, милях в трех я открыл отличный заливчик, который глубоко вдавался в берег, постепенно суживаясь и переходя в ручеек. Сюда-то я и привел мою лодку, словно в нарочно приготовленный док. Поставив и укрепив ее, я сошел на берег, чтобы посмотреть, где я.

Оказалось, что я был совсем близко от того места, где я поставил шест в тот раз, когда приходил пешком на этот берег. Захватив с собой только ружье да зонтик (так как солнце страш-

но пекло), я пустился в путь. После моего несчастного морского путешествия эта экскурсия показалась мне очень приятной. К вечеру я добрался до моей лесной дачи, где застал все в исправности и в полном порядке.

Я перелез через ограду, улегся в тени и, чувствуя страшную усталость, скоро заснул. Но судите, каково было мое изумление, когда я был разбужен чьим-то голосом, звавшим меня по имени несколько раз: «Робин, Робин, Робин Крузо! Бедный Робин Крузо! Где ты, Робин Крузо? Где ты? Где ты был?»

Измученный утром греблей, а после полудня ходьбой, я спал таким мертвым сном, что не мог сразу проснуться, и мне долго казалось, что я слышу этот голос во сне. Но от повторявшегося оклика: «Робин Крузо, Робин Крузо!» — я наконец очнулся и в первый момент страшно испугался. Я вскочил, дико озираясь кругом, и вдруг, подняв голову, увидел на ограде своего Попку. Конечно, я сейчас же догадался, что это он меня окликал: таким же точно жалобным тоном я часто говорил ему эту самую фразу, и он отлично ее затвердил; сядет, бывало, мне на палец, приблизит клюв к самому моему лицу и долбит: «Бедный Робин Крузо! Где ты? Где ты? Как ты сюда попал?» — и другие фразы, которым я научил его.

Но, даже убедившись, что это был попугай, и понимая, что, кроме попугая, некому было заговорить со мной, я еще долго не мог оправиться. Я совершенно не понимал, во-первых, как он попал на мою дачу, во-вторых, почему он прилетел именно сюда, а не в другое место. Но так как у меня не было ни малейшего сомнения в том, что это он, мой верный Попка, то, не долго думая, я протянул руку и назвал его по имени. Общительная птица сейчас же села мне на большой палец, как она это делала всегда, и снова заговорила: «Бедный Робин Крузо! Как ты сюда попал? Где ты был?» Он точно радовался, что снова видит меня. Уходя домой, я унес его с собой.

Теперь у меня надолго пропала охота совершать прогулки по морю, и много дней я размышлял об опасностях, которым подвергался. Конечно, было бы хорошо иметь лодку по сю сторону острова, но я не мог придумать никакого способа привести ее. О восточном побережье я не хотел и думать: я ни за что не рискнул бы обогнуть его еще раз; от одной мысли об этом у меня замирало сердце и стыла кровь в жилах. Западные берега острова были мне совсем незнакомы. Но что, если течение по ту сторону было так же сильно и быстро, как и по другую? В таком случае я подвергался опасности если не быть унесенным в открытое море, то быть разбитым о берега острова. Приняв все это во внимание, я решил обойтись без лодки, несмотря на то что ее по-

стройка и спуск на воду стоили мне многих месяцев тяжелой работы.

Такое умонастроение продолжалось у меня около года. Я вел тихую, уединенную жизнь, как легко может представить себе читатель. Мои мысли пришли в полное равновесие; я чувствовал себя счастливым, покорившись воле провидения. Я ни в чем не терпел недостатка, за исключением человеческого общества.

В этот год я усовершенствовался во всех ремеслах, каких требовали условия моей жизни. Положительно, я думаю, что из меня мог бы выйти отличный плотник, особенно если принять в расчет, как мало было у меня инструментов. Я и в гончарном деле сделал большой шаг вперед: научился пользоваться гончарным кругом, что значительно облегчило мою работу и улучшило ее качество,— теперь вместо аляповатых, грубых изделий, на которые было противно смотреть, у меня выходили аккуратные вещи правильной формы.

Но никогда я, кажется, так не радовался и не гордился своей сметкой, как в тот день, когда мне удалось сделать трубку. Конечно, моя трубка была самая первобытная — из простой обожженной глины, как и все мои гончарные изделия, и вышла она далеко не красивой, но она была достаточно крепка и хорошо тянула дым, а главное, это была все-таки трубка, о которой я давно мечтал, так как любил курить. Правда, на нашем корабле были трубки, но я не знал тогда, что на острове растет табак, и решил, что не стоит их брать. Потом, когда я вновь обшарил корабль, я уже не мог найти их.

Я проявил также большую изобретательность в плетении корзин: у меня было их несметное множество самых разнообразных видов. Красотой они, правда, не отличались, но вполне годились для хранения и переноски вещей. Теперь, когда мне случалось застрелить козу, я подвешивал тушу на дерево, сдирал с нее шкуру, разнимал на части и приносил домой в корзине. То же самое и с черепахами: теперь мне было незачем тащить на спине целую черепаху; я мог вскрыть ее на месте, вынуть яйца, отрезать, какой мне было нужно, кусок, уложить это в корзину, а остальное оставить. В большие, глубокие корзины я складывал зерно, которое вымолачивал, как только оно высыхало.

Мой запас пороха начинал заметно убывать. Это была такого рода убыль, которую при всем желании я не мог возместить, и меня не на шутку начинало заботить, что я буду делать, когда у меня выйдет весь порох, и как я буду тогда охотиться на коз. Я рассказывал выше, как на третий год моего житья на острове я поймал и приручил молодую козочку. Я надеялся поймать козленка, но все не случалось. Так моя козочка и состарилась без

потомства. Потом она околела от старости: у меня не хватило духу зарезать ее.

Но на одиннадцатый год моего заточения, когда, как сказано, мой запас пороха начал истощаться, я стал серьезно подумывать о применении какого-нибудь способа ловить коз живьем. Больше всего мне хотелось поймать матку с козлятами. Я начал с силков. Я поставил их несколько штук в разных местах. И козы попадались в них, только мне было от этого мало пользы: за неимением проволоки я делал силки из старых бечевок, и всякий раз бечевка оказывалась оборванной, а приманка съеденной.

Тогда я решил попробовать волчьи ямы. Зная места, где чаще всего паслись козы, я выкопал там три глубокие ямы, закрыл их плетенками собственного изделия, присыпал землей и набросал на них колосьев риса и ячменя. Я скоро убедился, что козы приходят и съедают колосья, так как кругом виднелись следы козьих ног. Тогда я устроил настоящие западни, но на другое утро, обходя их, я увидел, что приманка съедена, а коз нет. Это было очень печально. Тем не менее я не пал духом: я изменил устройство ловушек, приладив крышки несколько иначе (я не буду утомлять читателя описанием подробностей), и на другой же день нашел в одной яме большого старого козла, а в другой — трех козлят: одного самца и двух самок.

Старого козла я выпустил на волю, потому что не знал, что с ним делать. Он был такой дикий и злой, что взять его живым было нельзя (я боялся сойти к нему в яму), а убивать было незачем. Как только я приподнял плетенку, он выскочил из ямы и пустился бежать со всех ног. Но я не знал в то время, как убедился в этом впоследствии, что голод укрощает даже львов. Если б я тогда заставил моего козла поголодать дня три-четыре, а потом принес бы ему поесть и напиться, он сделался бы смирным и ручным не хуже козлят. Козы вообще очень смышленые животные, и, если с ними хорошо обращаться, их очень легко приручить.

Но, повторяю, в то время я этого не знал. Выпустив козла, я подошел к той яме, где сидели козлята, вынул их одного за другим, связал вместе веревкой и кое-как, через силу, притащил домой.

Довольно долго я не мог заставить козлят есть; однако, бросив им несколько зеленых колосьев, я соблазнил их и затем мало-помалу приручил. И вот я задумал развести целое стадо, рассудив, что это единственный способ обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут порох и дробь. Конечно, мне надо было отделить их от диких коз, так как иначе, подрастая, все они убежали бы в лес. Против этого было лишь одно средство — держать

их в загоне, огороженном прочным частоколом или плетнем так, чтобы козы не могли сломать его ни изнутри, ни снаружи.

Устроить такой загон было нелегкой работой для одной пары рук. Но он был совершенно необходим. Поэтому я, не откладывая, принялся подыскивать подходящее место, то есть такое, где бы мои козы были обеспечены травой и водой и защищены от солнца.

Такое место скоро нашлось: это была широкая, ровная луговина, или саванна, как называют такие луга в западных колониях; в двух-трех местах по ней протекали ручейки с чистой, прозрачной водой, а с одного края была тенистая роща. Все, кто знает, как строятся такие загородки, наверное, посмеются над моею несообразительностью, когда я им скажу, что, по первоначальному моему плану, изгородь должна была охватить собой весь луг, имевший по меньшей мере две мили в окружности. Но глупость состояла не в том, что я взялся городить две мили: у меня было довольно времени, чтобы построить изгородь не то что в две, а в десять миль длиной. Но я не сообразил, что держать коз в таком громадном, хотя бы и огороженном загоне было все равно, что пустить их пастись по всему острову: они росли бы такими же дикими, и их было бы так же трудно ловить.

Я начал изгородь и вывел ее, помнится, ярдов на пятьдесят, когда мне пришло в голову это соображение, заставившее меня несколько изменить мой план. Я решил огородить кусок луга ярдов в полтораста длиной и в сто шириной и на первый раз ограничился этим. На таком выгоне могло пастись все мое стадо, а к тому времени, когда оно разрослось бы, я всегда мог увеличить выгон новым участком.

Это было осмотрительное решение, и я рьяно принялся за работу. Первый участок я огораживал около трех месяцев, и во время своей работы перевел в загон всех трех козлят, стреножив их и держа поблизости, чтобы приручить их. Я часто приносил им ячменных колосьев или горсточку риса и давал им есть из рук, так что, когда изгородь была окончена и заделана и я развязал их, они ходили следом за мной и блеяли, выпрашивая подачки.

Это отвечало моей цели, и года через полтора у меня было двенадцать коз, считая и козлят, а еще через два года мое стадо выросло до сорока трех голов (кроме тех коз, которых я убивал на еду). С течением времени у меня образовалось пять огороженных загонов, в которых я устроил по маленькому закутку, куда загонял коз, когда хотел поймать их,— все эти загоны соединялись между собой воротами.

Итак, у меня был теперь неистощимый запас козьего мяса, и не только мяса, но и молока. Последнее, собственно говоря, явилось для меня приятным сюрпризом, так как, затевая разводить

коз, я не думал о молоке, и только потом мне пришло в голову, что я могу их доить. Я устроил молочную ферму, с которой получал иной раз до двух галлонов молока в день. Природа, питающая всякую тварь, сама учит нас, как пользоваться ее дарами. Никогда в жизни я не доил корову, а тем более козу, и только в детстве видел, как делают масло и сыр, и тем не менее, когда приспела нужда, научился — конечно, не сразу, а после многих неудачных опытов, но все же научился и доить, и делать масло и сыр и никогда потом не испытывал недостатка в этих продуктах. Даже стоик не удержался бы от улыбки, если бы увидел меня с моим маленьким семейством, сидящим за обеденным столом. Прежде всего восседал я — его величество, король и повелитель острова, полновластно распоряжавшийся жизнью всех своих подданных; я мог казнить и миловать, дарить и отнимать свободу, и никто не выражал неудовольствия. Нужно было видеть, с каким королевским достоинством я обедал один, окруженный моими слугами. Одному только Попке, как фавориту, разрешалось беседовать со мной. Моя собака — она давно уже состарилась и одряхлела, не найдя на острове особы, с которой могла бы продолжить свой род,— садилась всегда по правую мою руку; а две кошки, одна — по одну сторону стола, а другая — по другую, не спускали с меня глаз в ожидании подачки, являвшейся знаком особого благоволения.

Но это были не те кошки, которых я привез с корабля: те давно околели, и я собственноручно похоронил их подле моего жилья. Одна из них уже на острове окотилась, не знаю, от какого животного; я оставил у себя пару котят, и они выросли ручными, а остальные убежали в лес и одичали. С течением времени они стали настоящим наказанием для меня: забирались ко мне в кладовую, таскали провизию и оставили меня в покое, только когда я пальнул в них из ружья и многих уложил наповал. Так жил я с этой свитой, в достатке и, можно сказать, ни в чем не нуждался, кроме человеческого общества. Впрочем, скоро в моих владениях появилось, пожалуй, слишком большое общество.

Хотя я твердо решил никогда больше не предпринимать рискованных морских путешествий, но все-таки мне очень хотелось иметь лодку под руками для небольших экскурсий. Я часто думал о том, как бы мне перевести ее на мою сторону острова, но, понимая, как трудно осуществить этот план, всякий раз успокаивал себя тем соображением, что мне хорошо и без лодки. Однако меня почему-то сильно тянуло сходить на ту горку, куда я взбирался в последнюю мою экскурсию, посмотреть, каковы очертания берегов и каково направление морского течения. Наконец я не выдержал и решил пойти туда пешком, вдоль берега. Если бы у нас в Англии прохожий встретил человека в таком наряде, как я, он,

я уверен, шарахнулся бы от него в испуге или расхохотался бы, да зачастую я и сам невольно улыбался, представляя себе, как я в моем одеянии путешествовал бы по Йоркширу. Разрешите мне теперь сделать набросок моей внешности.

На голове у меня красовалась высокая бесформенная шапка из козьего меха со свисающим назад назатыльником, который прикрывал мою шею от солнца, а во время дождя не давал воде попадать за ворот. В жарком климате нет ничего вреднее дождя, попавшего за платье.

Затем на мне был короткий камзол с полами, доходящими до половины бедер, и штаны до колен, тоже из козьего меха; только на штаны у меня пошла шкура очень старого козла с такой длинной шерстью, что она закрывала мне ноги до половины икр. Чулок и башмаков у меня совсем не было, а вместо них я соорудил себе — не знаю, как и назвать,— нечто вроде полусапог, застегивающихся сбоку, как гетры, но самого варварского фасона.

Поверх куртки я надевал широкий кушак из козьей шкуры, но очищенный от шерсти; пряжку я заменил двумя ремешками, на которые затягивал кушак, а с боков пришил к нему еще по петельке, но не для шпаги и кинжала, а для пилы и топора. Кроме того, я носил кожаный ремень через плечо с такими же застежками, как на кушаке, но только немного пуже. К этому времени я приделал две сумки таким образом, чтобы они приходились под левой рукой; в одной сумке я носил порох, в другой — дробь. На спине у меня болталась корзина, на плече я нес ружье, а над головой держал огромный меховой зонтик, крайне безобразный, но после ружья составлявший, пожалуй, самую необходимую принадлежность моей экипировки. Но зато цветом лица я менее походил на мулата, чем можно было бы ожидать, принимая во внимание, что я жил в девяти или десяти градусах от экватора и нимало не старался уберечься от загара. Бороду я одно время отпустил в полфута, но так как у меня был большой выбор ножниц и бритв, то я обстриг ее довольно коротко, оставив только то, что росло на верхней губе в форме огромных мусульманских усов,— я видел такие у турок в Сале, марокканцы же их не носят; длины они были невероятной — ну, не такой, конечно, чтобы повесить на них шапку, но все же настолько внушительной, что в Англии пугали бы маленьких детей.

Но я упоминаю об этом мимоходом. Немного было на острове зрителей, чтобы любоваться моим лицом и фигурой,— так не все ли равно, какой они имели вид? Я не буду, следовательно, больше распространяться на эту тему. В описанном наряде я отправился в новое путешествие, продолжавшееся дней пять или шесть. Сначала я пошел вдоль берега прямо к тому месту, куда приставал

с моей лодкой, чтобы взойти на горку и осмотреть местность. Так как лодки со мной теперь не было, я направился к этой горке напрямик, более короткой дорогой. Но как же я удивился, когда, взглянув на каменистую гряду, которую мне пришлось огибать на лодке, увидел совершенно спокойное, гладкое море! Ни волн, ни ряби, ни течения — ни там, ни в других местах.

Я стал в тупик перед этой загадкой и для разрешения ее решил наблюдать море в продолжение некоторого времени. Вскоре я убедился, что причиной этого течения является прилив, идущий с запада и соединяющийся с потоком вод какой-нибудь большой реки, впадающей неподалеку в море, и что, смотря по тому, дует ли ветер с запада или с севера, это течение то приближается к берегу, то удаляется от него. В самом деле, подождав до вечера, я снова поднялся на горку и ясно различил то же морское течение; только теперь оно проходило милях в полутора, а не у самого берега, как в тот раз, когда моя лодка попала в его струю и ее унесло в море; значит, такая опасность угрожала бы ей не всегда.

Это открытие привело меня к заключению, что теперь ничто мне не мешает перевести лодку на мою сторону острова: стоит только выбрать время, когда течение удалится от берега. Но, когда я подумал о практическом осуществлении плана, воспоминание об опасности, которой я подвергался, привело меня в такой ужас, что я принял другое решение, более верное, хотя и требующее большего труда: я решил построить еще один челнок или пирогу и иметь в своем распоряжении две лодки: одну — на одной, другую — на другой стороне острова.

Как уже упоминалось, у меня было на острове две усадьбы. Прежде всего моя маленькая крепость под скалой, обнесенная двойной оградой с палаткой внутри и с погребом за палаткой, который к описываемому времени я успел значительно расширить, так что теперь он состоял из нескольких отделений, сообщавшихся между собой. В самом сухом и просторном отделении (в том, из которого, как было сказано выше, я вывел ход наружу, то есть по наружную сторону ограды) стояли большие глиняные горшки моего изделия и штук четырнадцать или пятнадцать глубоких корзин по пяти или шести мер каждая. Все это было наполнено разной провизией, главным образом зерном, частью в колосьях, частью вымолоченным моими собственными руками.

Что касается наружной ограды, то, как я уже говорил, колья, которые я употреблял для нее, пустили корни и выросли в такие развесистые деревья, что за ними не было видно ни малейших признаков человеческого жилья.

Неподалеку от моего укрепления, под горой, несколько дальше в глубь острова тянулись два участка пашен, которые я стара-

тельно возделывал и с которых из года в год получал хорошие урожаи риса и ячменя. И если бы мне понадобилось увеличить посев, кругом был непочатый край удобной земли.

Вторая моя усадьба находилась в лесу. Я содержал ее в полном порядке: лестницу держал внутри, деревья окружавшей ее живой изгороди я постоянно подстригал, не давая им расти вверх, от этого они распустились и давали приятную тень. Под сенью их листвы, внутри ограды, стояла парусиновая палатка, так прочно установленная на вбитых в землю кольях, что ее никогда не приходилось поправлять. В палатке я устроил себе постель из козьих шкур; на постели у меня лежали одеяло с нашего корабля и матросская шинель, чтобы укрываться по ночам, так как я часто проводил здесь по нескольку дней.

К этой усадьбе примыкали мои загоны для коз. Огородить их мне стоило невероятного труда. Я так боялся, чтобы козы не проломили изгородь, что вечно укреплял ее новыми кольями и успокоился только тогда, когда в ней не осталось ни одной щелки и она была скорее похожа па частокол, чем на плетень. С течением времени, когда все колья принялись и разрослись (а они все принялись после дождливого времени года), моя ограда превратилась в сплошную крепкую стену.

Все это показывает, что я не ленился и не щадил трудов, когда видел, что, выполнив ту или другую работу, я сделаю свою жизнь удобнее. Что же до разведения домашнего скота, то это стадо коз означало, что до конца моих дней — а я мог прожить еще лет сорок — у меня всегда будет под рукой неистощимый запас мяса, молока, масла и сыра; иметь же коз в своем распоряжении я мог, только если изгородь моих загонов всегда находилась в полной исправности.

Тут же около моей дачи рос виноград, который я сушил на зиму. Я очень дорожил им не только как лакомством, приятно разнообразившим мой стол, но и как здоровой, питательной, подкрепляющей пищей.

Моя лесная дача была как раз на полпути между главной моей резиденцией и той бухточкой, где я оставил лодку; поэтому в каждую мою экскурсию к тому берегу я останавливался там на ночевку. Я часто ходил смотреть мою лодку и заботился о том, чтобы держать ее в полном порядке. Иногда я катался на ней, но никогда не отъезжал от берега дальше нескольких саженей,— такой у меня был страх перед морским течением и прочими непредвиденными случайностями, которые могли произойти со мной в море. Теперь я перехожу к новому периоду моей жизни.

Однажды около полудня я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и, к величайшему своему изумлению, вдруг увидел

след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на песке. Я остановился, как громом пораженный или как если бы я увидел привидение. Я прислушивался, озирался кругом, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. Я взбежал вверх на откос, чтобы лучше осмотреть местность; опять спустился, ходил взад и вперед по берегу,— но других следов нигде не обнаружил. Я пошел еще раз взглянуть на отпечаток ноги, чтоб удостовериться, действительно ли это человеческий след и не вообразилось ли мне. Но нет, я не ошибся; это был, несомненно, отпечаток человеческой ступни: я ясно различал пятку, пальцы, подошву. Как он сюда попал? Я терялся в догадках и не смог остановиться ни на одной. В полном смятении, не чуя, как говорится, под собой земли, я пошел домой в свою крепость. Я был охвачен невероятным ужасом: через каждые два-три шага я оглядывался назад, пугался каждого куста, каждого дерева, и каждый показавшийся вдали пень принимал за человека. Невозможно описать, в какие страшные и неожиданные формы облекались все предметы в моем возбужденном воображении, какие дикие мысли проносились в моей голове и какие нелепые решения принимал я все время по дороге.

Добравшись до своего замка (как я стал называть мое жилье с того дня), я, точно спасаясь от погони, мгновенно очутился за оградой. Я даже не помнил, перелез ли я через ограду по приставной лестнице, как делал раньше, или вошел через дверь, то есть через наружный ход, выкопанный мною в горе; даже на другой день я не мог этого припомнить. Никогда заяц, никогда лиса не спасались в таком безумном ужасе в свои норы, как я в свое убежище.

Всю ночь я не сомкнул глаз; страх терзал меня еще больше теперь, когда причина его осталась далеко, и это даже несколько противоречило самой природе страха. Но я был до такой степени потрясен, что воображение рисовало мне невероятные ужасы, хотя меня отделяло от следа ноги порядочное расстояние. Минутами я начинал думать, что это дьявол оставил свой след, и рассудок укреплял меня в этой догадке. В самом деле, кто, кроме дьявола в человеческом образе, мог забраться в эти места? Где лодка, которая привезла сюда человека? И где другие следы его ног? Да и каким образом мог попасть сюда человек? Но, с другой стороны, смешно было также думать, что дьявол принял человеческий образ с единственной целью оставить след своей ноги в таком пустынном месте, как мой остров, где было десять тысяч шансов против одного, что никто этого следа не увидит. Если врагу рода человеческого хотелось меня напугать, он мог придумать для этого другой способ, гораздо более остроумный! Нет, дьявол не так глуп. И, наконец, с какой стати, зная, что я живу по эту сторону ост-

рова, оставил бы он свой след на том берегу, да еще на песке, где его смоет волной при первом же сильном прибое? Все это было внутренне противоречиво и не вязалось с обычными нашими представлениями о хитрости дьявола.

Окончательно убежденный этими доводами, я признал несостоятельность своей гипотезы о нечистой силе и отказался от нее. Но если то был не дьявол, тогда возникало предположение гораздо более устрашающего свойства: это дикари с материка, лежавшего против моего острова. Вероятно, они попали на остров случайно: вышли в море на своей пироге и их пригнало сюда течением или ветром; они побывали на берегу, а потом опять ушли в море, потому что у них было так же мало желания оставаться в этой пустыне, как у меня видеть их здесь.

По мере того как я укреплялся в этой последней догадке, мое сердце наполнялось благодарностью за то, что тогда я не был в тех местах и они не заметили моей лодки, иначе они догадались бы, что на острове кто-то живет, и пустились бы на поиски. Но тут меня пронизала страшная мысль: а что, если они видели мою лодку? Предположили, что здесь есть люди? Ведь если так, то они вернутся с целой ватагой своих соплеменников и съедят меня. А если не найдут, так все равно увидят мои поля и выгоны, разорят мои пашни, угонят коз, и я умру с голоду.

Таким образом, страх вытеснил из моей души всякую надежду на бога, все мое упование на него, которое основывалось на столь чудесном доказательстве его благости ко мне; как будто тот, кто доселе питал меня в пустыне, был не властен сберечь для меня блага земные, ниспосланные от его же щедрот. Я упрекал себя в легкомыслии, из-за которого сеял лишь столько, чтобы мне хватало на год, точно не могло произойти случайности, помешавшей бы мне собрать посеянный хлеб. И упреки показались мне столь справедливыми, что я решил впредь сеять с таким расчетом, чтобы уберечься от неожиданностей и запастись хлебом на два или три года.

Какое игралище судьбы человеческая жизнь! И как странно меняются с переменой обстоятельств тайные пружины, управляющие нашими влечениями! Сегодня мы любим то, что завтра будем ненавидеть; сегодня ищем то, чего завтра будем избегать. Завтра нас будет приводить в трепет одна мысль о том, чего мы жаждем сегодня. Я был тогда наглядным примером этого рода противоречий. Я —человек, единственным несчастьем которого было то, что он изгнан из общества людей, что он — один среди безбрежного океана, обреченный на вечное безмолвие, отрезанный от мира, как преступник, признанный небом не заслуживающим общения с себе подобными, недостойным числиться среди живых,—

я, которому увидеть лицо человеческое казалось, после спасения души, величайшим счастьем, какое только могло быть ниспослано ему провидением, и как бы воскресением из мертвых,— я дрожал от страха при мысли о том, что могу столкнуться с людьми, готов был лишиться чувств от одной только тени, от одного только следа человека, ступившего на мой остров!

В самом разгаре моих страхов, когда я бросался от предположения к предположению и ни на чем не мог остановиться, мне как-то раз пришло в голову, что все это лишь плод моего воображения и не я ли сам оставил этот след, когда в предпоследний раз ходил смотреть свою лодку и потом возвращался домой? Положим, возвращался я обыкновенно другою дорогой; но разве не могло случиться, что я изменил своему обыкновению в тот раз? Это было давно, и мог ли я с уверенностью утверждать, что шел именно той, а не этой дорогой? Конечно, я постарался уверить себя, что так оно и было, что это мой собственный след, и в этом происшествии я уподобился тому глупцу, что поверил в им же созданный призрак, испугался страшной сказки, которую сам же сочинил.

Эти мысли придали мне мужества, и я стал выходить из дому, ибо первые трое суток после сделанного мною злосчастного открытия я не высовывал носа из своей крепости и начал даже голодать: я не держал дома больших запасов провизии, и на третьи сутки у меня оставались только ячменные лепешки да вода. Меня тревожило также, что мои козы, которых я обыкновенно доил каждый вечер, остаются недоенными: я знал, что бедные животные должны от этого страдать, и, кроме того, боялся, что у них может пропасть молоко. И мои опасения оправдались: многие козы захворали и почти перестали доиться.

Итак, ободрив себя уверенностью, что это след моей собственной ноги и что я воистину испугался собственной тени, я начал снова ходить на дачу доить коз. Но если бы вы видели, как несмело я шел, с каким страхом озирался назад, как я был всегда начеку, готовый в каждый момент бросить свою корзину и пуститься наутек ради спасения живота своего, вы приняли бы меня либо за преступника, терзаемого совестью, либо за человека, пережившего жестокий испуг, что и соответствовало истине.

Но после того, как я выходил в течение двух или трех дней и не открыл ничего подозрительного, я сделался смелее. Я положительно начинал приходить к заключению, что все это мои собственные фантазии, но, чтобы уже не оставалось никаких сомнений, я решил еще раз сходить на тот берег и сличить таинственный след с отпечатком моей ноги: если бы оба следа оказались одинаковыми, я мог бы быть уверен, что я испугался самого себя.

Но когда я пришел на то место, где был таинственный след, то для меня, во-первых, стало очевидным, что, когда я в тот раз вышел из лодки и возвращался домой, я никоим образом не мог очутиться в этой стороне берега, а во-вторых, когда я для сравнения поставил погу на след, то моя нога оказалась значительно меньше. И опять меня обуял панический страх: я весь дрожал, как в лихорадке; целый вихрь новых догадок закружился у меня в голове. Я ушел домой в полном убеждении, что на моем острове недавно побывали люди или, по крайней мере, один человек. Я даже готов был допустить, что остров обитаем, а отсюда следовало, что меня каждую минуту могут захватить врасплох. Но я совершенно не знал, как оградить себя от этой опасности.

К каким только нелепым решениям не приходит человек под влиянием страха! Страх отнимает у нас способность распоряжаться теми средствами, какие разум предлагает нам в помощь. Если дикари, рассуждал я, найдут моих коз и увидят мои поля с растущим на них хлебом, они будут постоянно возвращаться на остров за новой добычей, а если они заметят мое жилье, то непременно примутся разыскивать его обитателей и доберутся до меня. Поэтому первой моей мыслью было переломать изгороди всех моих загонов и выпустить весь скот, затем перекопать оба поля и таким образом уничтожить всходы риса и ячменя, наконец, снести свою дачу, чтобы не осталось никаких признаков присутствия человека.

Этот план сложился у меня в первую ночь по возвращении моем из только что описанной экспедиции на тот берег, под свежим впечатлением сделанных мною новых открытий. Страх опасности всегда страшнее опасности, уже наступившей, и ожидание зла в десять тысяч раз хуже самого зла. Для меня же всего ужаснее было то, что в этот раз я не находил облегчения в смирении и молитве. Я уподобился Саулу, скорбевшему не только о том, что на него идут филистимляне, но и о том, что бог покинул его. Я не искал утешения там, где мог его найти, я не взывал к богу в печали моей. А обратись я к богу, как делал это прежде, я бы легче перенес это новое испытание, я бы смелее взглянул в глаза опасности, мне грозившей.

Так велико было мое смятение, что я не мог заснуть всю ночь. Зато под утро, когда мой дух ослабел от долгого бдения, я уснул крепким сном и, проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, чем все эти дни. Теперь я начал рассуждать спокойнее, и, по зрелом размышлении, вот к чему я пришел. Мой остров, богатый растительностью и лежащий недалеко от материка, был, конечно, не до такой степени заброшен людьми, как я воображал до сих пор, и хотя постоянных жителей на нем не было, но представлялось весьма вероятным, что дикари с материка приезжали на него ино-

гда в своих пирогах; возможно было и то, что их пригоняло сюда течением или ветром; во всяком случае, они могли здесь бывать.

Но так как за пятнадцать лет, которые я прожил на острове, я до последнего времени не открыл и следа человеческого, то, стало быть, если дикари и приезжали сюда, они тотчас же снова уезжали и никогда не имели намерения водвориться здесь.

Следовательно, единственная опасность, какая могла мне грозить, была опасность наткнуться на них в один из этих редких наездов. Но так как они приезжали сюда не по доброй воле, а их пригоняло ветром, то они спешили поскорее убраться домой, проведя на острове всего какую-нибудь ночь, чтобы не упустить отлива и успеть вернуться засветло.

Значит, мне нужно было только обеспечить себе безопасное убежище на случай их высадки на остров.

Мне пришлось теперь горько пожалеть, зачем я расширил пещеру за своей палаткой и вывел из нее ход наружу, за пределами моего укрепления. И вот, подумав, я решил построить вокруг моего жилья еще одну ограду, тоже полукругом, на таком расстоянии от прежней стены, чтобы выход из пещеры пришелся внутри укрепления. Впрочем, мне даже не понадобилось воздвигать новую стену: двойной ряд деревьев, которые я лет двенадцать назад посадил вдоль старой ограды, представлял уже и сам по себе надежный оплот — так часто были насажены деревья и так сильно они разрослись. Оставалось только забить кольями промежутки между ними, чтобы превратить весь этот полукруг в сплошную, крепкую стену. Так я и сделал.

Теперь моя крепость была окружена двумя стенами. Внутреннюю стену, как уже знает читатель, я укрепил земляной насыпью футов в десять толщиной. Это было еще тогда, когда я расширил пещеру: по мере того как выкапывал землю, я сваливал ее к ограде и плотно утаптывал. Наружная же стена, как уже сказано, состояла из двойного ряда деревьев, между которыми я набил кольев, заложив пустое пространство внутри кусками старых канатов, обрубками дерева и всем, что только могло придать прочности моего брустверу и что оказалось у меня под рукой. Но я оставил в наружной стене семь небольших отверстий, настолько узких, что еле можно было просунуть в них руку. Эти отверстия должны были служить мне бойницами. Я вставил в каждое из них по мушкету (я уже говорил, что перевез к себе с корабля семь мушкетов). Мушкеты были у меня установлены на подставках, как пушки на лафетах, так что в какие-нибудь две минуты я мог разрядить все семь ружей. Много месяцев тяжелой работы потратил я на возведение этого укрепления: мне все казалось, что я не могу считать себя в безопасности, пока оно не будет готово.

Но мои труды не кончились на этом. Огромную площадь за наружной стеной я засадил теми похожими на иву деревьями, которые так хорошо принимались. Я думаю, что посадил их не менее двадцати тысяч штук. Но между деревьями и стеной я оставил довольно большое свободное пространство, чтобы мне было легче заметить неприятеля, если бы таковой вздумал атаковать мою крепость, и чтобы он не мог подкрасться к ней под прикрытием деревьев.

Через два года перед моим жильем была уже молодая рощица, а еще лет через пять-шесть его обступал высокий лес, почти непроходимый — так часто были насажены в нем деревья и так густо они разрослись. Никому в мире не пришло бы теперь в голову, что за этим лесом скрыто человеческое жилье. Чтобы входить в мою крепость и выходить из нее (так как я не оставил аллеи в лесу), я пользовался двумя лестницами, приставляя одну из них к сравнительно невысокому выступу в скале, на который ставил другую лестницу, так что, когда обе лестницы были убраны, ни одна живая душа не могла проникнуть ко мне, не сломав себе шею. Но даже допуская, что какому-нибудь смельчаку удалось бы благополучно спуститься с горы в мою сторону, он очутился бы все-таки не в самой крепости, а за пределами ее наружной стены.

Итак, я принял для своей безопасности все меры, какие только могла мне подсказать моя изобретательность, и, как читатель вскоре увидит, они были не совсем бесполезны, хотя во время работ опасность, от которой я хотел себя оградить, была скорее воображаемой, внушенной моими страхами.

Но, прилагая все старания, чтобы оградить себя от вторжения, я в то же время не забрасывал и других своих дел. Я попрежнему тщательно ходил за моим маленьким стадом. Мои козы кормили и одевали меня, а это избавляло меня от необходимости охотиться и таким образом сберегало не только мой порох, но и силы и время. Выгода была так ощутительна, что мне, разумеется, не хотелось лишиться ее и потом начинать все с начала.

Чтобы избежать этого несчастья, по зрелом размышлении я решил, что у меня только два способа сохранить коз: или загонять на ночь все стадо в пещеру (которую пришлось бы выкопать нарочно для этой цели), или устроить еще два или три отдельных загончика подальше один от другого, но непременно в укромных местах, где бы их было трудно найти, и поместить в каждом из них по полдюжине молодых коз: тогда, если бы даже главное стадо погибло вследствие какой-нибудь несчастной случайности, у меня все-таки осталось бы несколько коз, и я мог бы без особен-

ных хлопот развести новое стадо. В конце концов я остановился на последнем проекте, как на более разумном, хотя осуществление его требовало немало времени и труда.

Я исходил весь остров, отыскивая самые глухие места, и наконец выбрал один уголок, такой уединенный, что лучшего нельзя было и желать. Это была небольшая полянка в низине, в чаще леса — того самого леса, где я заблудился, когда возвращался домой с восточной части острова. Вся полянка занимала около трех акров; лес обступал ее со всех сторон почти сплошной стеной, образуя как бы естественную ограду; во всяком случае, устройство ограды потребовало от меня гораздо меньше труда, чем в других местах.

Я немедленно принялся за работу, и недели через четыре мой новый загон был огорожен настолько плотно, что можно было перевести в него коз. Теперь это не представляло большого труда, так как новые поколения коз утратили свою природную дикость. Я, не откладывая, отделил от стада десять молодых коз и двух козлов и перевел их в новый загон. Еще некоторое время я употребил на окончательное укрепление изгороди, и делал это не торопясь, очень медленно.

И все эти труды, все эти хлопоты порождены были страхом, обуявшим меня при виде отпечатка человеческой ноги на песке, ибо до сих пор я никогда не видел ни одной человеческой души ни на острове, ни близ него. После своего несчастного открытия вот уже два года, как я распростился со своей прежней безмятежной жизнью, чему легко поверят все те, кто испытал, что такое жизнь под вечным гнетом страха. С сожалением должен прибавить, что постоянная душевная тревога, в которой я пребывал в этот период, весьма дурно отразилась и на моих религиозных чувствах. Каждый вечер я ложился с той мыслью, что, может быть, не доживу до утра, что ночью на меня нападут дикари, что они убьют меня и съедят, и этот страх до такой степени угнетал мою душу, что лишь в редкие минуты я мог обращаться к творцу с подобающим смирением и спокойным, умиленным духом. Если я и молился, то скорее как человек, который взывает к богу в своем отчаянии, потому что видит свою близкую гибель. И я могу удостоверить на основании личного опыта, что к молитве больше располагает мирное настроение духа, когда мы чувствуем признательность, любовь и умиление, и что подавленный страхом человек так же мало предрасположен к подлинно молитвенному настроению, как к раскаянию на смертном одре; страх — болезнь, расслабляющая душу, как расслабляет тело физический недуг, а как помеха молитве страх действует даже сильнее телесного недуга, ибо молитва есть духовный, а не телесный акт.

Но возвращаюсь к рассказу. Обеспечив себя таким образом живым провиантом, я стал подыскивать другое укромное местечко для новой партии коз. Как-то раз, во время этих поисков, я добрался до западной оконечности острова, где никогда не бывал до тех пор. Не доходя до берега, я поднялся на пригорок, и, когда передо мной открылось море, мне показалось, что вдали виднеется лодка. В одном из сундуков, перевезенных мною с нашего корабля, я нашел несколько подзорных трубок, но их со мной не было, и я не мог различить, была ли то действительно лодка, хотя проглядел все глаза, всматриваясь в даль. Спускаясь к берегу с пригорка, я уже ничего не видел; так я до сих пор не знаю, что это был за предмет, который я принял за лодку. Но с того дня я дал себе слово никогда не выходить из дому без подзорной трубы.

Добравшись до берега (это была часть острова, где, как уже сказано, я раньше не бывал), я не замедлил убедиться, что следы человеческих ног совсем не такая редкость на моем острове, как я воображал. Да, я убедился, что, не попади я по особенной милости провидения на ту сторону острова, куда не приставали дикари, я бы давно уже знал, что посещения ими моего острова — самая обыкновенная вещь и что западные его берега служат им не только постоянной гаванью во время дальних морских экскурсий, но и местом, где они справляют свои каннибальские пиры.

То, что я увидел, когда спустился с пригорка и подошел к берегу моря, буквально ошеломило меня. Весь берег был усеян человеческими костями: черепами, скелетами, костями рук и ног. Не могу выразить, какой ужас охватил мою душу при виде этой картины. Мне было известно, что дикие племена часто воюют между собой. Должно быть, думал я, после каждой стычки победители привозят с материка своих военнопленных на это побережье, где, по зверскому обычаю всех дикарей-людоедов, убивают и съедают их. В одном месте я заметил круглую, плотно утрамбованную площадку, посреди которой виднелись остатки костра: здесь-то, вероятно, и сидели бесчеловечные варвары, справляя свои ужасные пиры.

Все это до того меня поразило, что я даже не сразу вспомнил об опасности, которой подвергался, оставаясь на этом берегу,— ужас перед возмутительным извращением человеческой природы, способной дойти до такой зверской жестокости, вытеснил из моей души всякий страх за себя. Я не раз слыхал о подобных проявлениях зверства, но никогда до тех пор мне не случалось видеть их самому. С крайним омерзением отвернулся я от ужасного зрелища: я ощущал страшную тошноту и, вероятно, лишился бы чувств, если б сама природа не пришла мне на помощь, очистив мой желудок обильной рвотой. Мне стало немного легче, но ни од-

ной лишней минуты я не мог оставаться в этом ужасном месте; со всей быстротой, па какую был способен, я поднялся на пригорок и устремился назад, к своему жилью.

Отойдя немного от этой части острова, я остановился, чтобы опомниться и собраться с мыслями. В глубоком умилении поднял я глаза к небу и, обливаясь слезами, возблагодарил создателя за то, что он судил мпе родиться в иной части света, где нет таких зверей в человеческом образе.

В этом умиленном настроении вернулся я в свой замок и с того дня стал меньше бояться дикарей. На основании своих наблюдений я убедился, что эти варвары никогда не приезжали на остров за добычей — потому ли, что ни в чем не нуждались, или, может быть, потому, что не рассчитывали чем-нибудь поживиться в таком пустынном месте: в лесистой части острова они, несомненно, бывали не раз, но, вероятно, не нашли там для себя ничего подходящего. Достоверно было одно: я прожил на острове без малого восемнадцать лет и до последнего времени ни разу не находил человеческих следов, из чего следовало, что я мог прожить здесь еще столько же и не попасться на глаза дикарям, разве что наткнулся бы на них по собственной неосторожности. Но этого нечего было опасаться, так как единственной моей заботой было как можно лучше скрывать все признаки моего присутствия на острове и как можно реже выползать из своей норы, по крайней мере, до тех пор, пока мне не представится лучшее общество, чем общество каннибалов.

Однако ужас и отвращение, внушенные мне этими дикими извергами и их бесчеловечным обычаем пожирать друг друга, повергли меня в мрачное настроение, и около двух лет я просидел безвыходно в той части острова, где были расположены мои земли, то есть две мои усадьбы — крепость под горой и лесная дача, и та полянка в чаще леса, на которой я устроил загон, причем его я посещал только ради коз; мое отвращение к дикарям, этим отродьям ада, было таково, что я лучше согласился бы увидеть дьявола, чем встречаться с ними. За это время я ни разу не сходил взглянуть на свою пирогу: я даже стал подумывать о сооружении другой лодки, так как окончательно решил, что не стану и пытаться привести свою лодку с той стороны острова. Я не имел ни малейшего желания столкнуться в море с дикарями, ибо знал, какая участь меня ожидает, если я попадусь им в руки.

Между тем время и уверенность в том, что дикари не могут открыть мое убежище, сделали свое дело: я перестал их бояться и зажил своей прежней мирной жизнью, с той лишь разницею, что теперь я стал осторожнее и принимал все меры, чтоб не попасться им на глаза. Главное, я остерегался стрелять, чтобы не

привлечь внимания дикарей, если бы они случайно находились на острове. К счастью, я мог теперь обходиться без охоты, так как вовремя позаботился обзавестись домашним скотом; несколько диких коз, которых я съел за это время, были пойманы с помощью силков или западней, так что за два года я, кажется, не сделал ни одного выстрела, хотя никогда не выходил без ружья. Больше того, я всегда засовывал за пояс пару пистолетов, найденных мной на корабле, и подвешивал на ремне через плечо остро отточенный тесак. Таким образом, вид у меня был теперь самый устрашающий: ружье, топор, пара пистолетов и огромный тесак без ножен.

Итак, если откинуть в сторону необходимость быть всегда настороже, жизнь моя, как я уже сказал, вошла на некоторое время в свое прежнее покойное русло. Оценивая свое положение, я с каждым днем все больше убеждался, что оно далеко не плохо по сравнению с участью многих других, да, наконец, и сам я мог быть поставлен в гораздо более печальные условия, если бы так судил мне господь. Насколько меньше роптали бы мы на судьбу и насколько больше были бы признательны провидению, если бы, размышляя о своем положении, брали для сравнения худшее, а не лучшее, как мы это делаем, когда желаем оправдать свои жалобы.

В моем теперешнем положении я почти ни в чем не испытывал недостатка: мне кажется, что страх этих извергов-дикарей и, как последствие страха, вечная забота о своей безопасности сделали меня более равнодушным к житейским удобствам и притупили мою изобретательность. Я, например, так и не привел в исполнение одного своего проекта, который некоторое время сильно занимал меня. Мне очень хотелось попробовать сделать из ячменя солод и сварить пиво. Затея была довольно фантастическая, и я часто упрекал себя за свою наивность. Мне было хорошо известно, что для осуществления ее мне многого не хватает и достать невозможно. Прежде всего бочек для хранения пива, которых, как уже знает читатель, я никогда не мог сделать, хотя потратил много недель и месяцев на бесплодные попытки добиться толку в этой работе. Затем у меня не было ни хмеля, ни дрожжей, ни котла, так что даже варить его было не в чем. И тем не менее я твердо убежден, что, не нагони на меня тогда эти проклятые дикари столько страху, я приступил бы к осуществлению моей затеи и, может быть, добился бы своего, ибо, раз уже я затевал какое-нибудь дело, я редко бросал его, не доведя до конца.

Но в те времена моя изобретательность направилась совсем в другую сторону. День и ночь я думал только о том, как бы мне истребить несколько этих чудовищ во время их зверских развлечений и, если можно, спасти несчастную жертву, обреченную на

съедение, которую они привезут с собой. Мне хотелось, если не удастся истребить этих извергов, хотя бы напугать их хорошенько и, таким образом, отвадить от моего острова. Но моя книга вышла бы слишком объемистой, если бы я задумал рассказать все хитроумные планы, какие слагались по этому поводу в моей голове. Однако это была пустая трата времени. Чтобы наказать людоедов, надо вступить с ними в бой, а что мог сделать один человек с двумя-тремя десятками этих варваров, вооруженных копьями и луками, из которых они умели попадать в цель не хуже, чем я из ружья.

Приходило мне в голову подвести мину под то место, где они разводили огонь, и заложить в нее пять-шесть фунтов пороху. Когда они зажгут свой костер, порох воспламенится и взорвет все, что окажется поблизости. Но мне, во-первых, было жалко пороху, которого у меня оставалось немного, а во-вторых, я не мог быть уверен, что взрыв произойдет именно тогда, когда они соберутся у костра. В противном случае какой был бы из этого толк? Самое большее, что некоторых из них опалило бы порохом. Конечно, они испугались бы, но настолько ли, чтобы больше не появляться на острове? Так я и бросил эту затею. Думал я также устроить в подходящем месте засаду: спрятаться с тремя заряженными ружьями и выстрелить в дикарей в разгар их кровавой оргии, с полной уверенностью, что уложу на месте или раню двух-трех человек каждым выстрелом, а потом выскочить из засады и напасть на них с пистолетами и тесаком. Я не сомневался, что при таком способе действия сумею управиться со всеми своими врагами, будь их хоть двадцать человек. Я несколько недель носился с этой мыслью: она до такой степени меня поглощала, что часто мне снилось, будто я стреляю в дикарей или бросаюсь на них из засады.

На некоторое время я до того увлекся этим проектом, что потратил несколько дней на поиски подходящего места для предполагаемой засады против дикарей. Я начал посещать место их сборищ и даже как-то освоился с ним. И все же в те минуты, когда моя душа жаждала мести и ум был полон кровожадных планов избиения отвратительных, пожирающих друг друга выродков, ужас при виде страшных следов кровавой расправы человека с человеком несколько глушил мою злобу.

Место для засады было наконец найдено, то есть, собственно говоря, я подыскал два укромных местечка: с одного из них я предполагал стрелять в дикарей, другое же должно было служить мне пунктом для предварительных наблюдений. Это был выступ на склоне холма, откуда я мог, оставаясь невидимым, следить за каждой приближавшейся к острову лодкой. Завидев издали пирогу с дикарями, я мог, прежде чем они успели бы высадиться,

незаметно пробраться в ближайший лесок. Там в одном дереве было такое большое дупло, что я легко мог в нем спрятаться. Сидя в этом дупле, я мог отлично наблюдать за дикарями и, улучив момент, когда они столпятся в кучу и будут, таким образом, представлять удобную мишень, стрелять, но без промаха, так, чтобы уложить первым же выстрелом трех-четырех человек.

Как только было выбрано место засады, я стал готовиться к походу. Я тщательно осмотрел и привел в порядок свои пистолеты, оба мушкета и охотничье ружье. Мушкеты я зарядил семью пулями каждый: двумя большими кусками свинца и пятью пистолетными пулями; в охотничье ружье я всыпал хорошую горсть самой крупной дроби. Затем я заготовил пороху и пуль еще для трех зарядов и собрался в поход.

Когда мой план кампании был окончательно разработан и даже неоднократно приведен в исполнение в моем воображении, я начал ежедневно совершать экскурсии к вершине холма, который находился более чем в трех милях от моего замка. Я целыми часами смотрел, не видно ли в море каких-нибудь судов и не подходит ли к острову пирога с дикарями. Месяца два или три я самым добросовестным образом отправлял мою караульную службу, но наконец это мне надоело, ибо за все три месяца ни разу не увидел ничего похожего на лодку не только у берега, но и на всем пространстве океана, какое можно охватить глазом через подзорную трубу.

До тех пор, пока я аккуратно посещал свой наблюдательный пост, мое воинственное настроение не ослабевало, и я не находил ничего предосудительного в жестокой расправе, которую собирался учинить. Избиение двух-трех десятков почти безоружных людей казалось мне делом самым обыкновенным. Ослепленный негодованием, которое породило в моей душе отвращение к противоестественным нравам местного населения, я даже не задавался вопросом, заслуживают ли они такой кары. Я не подумал о том, что по воле провидения они не имеют в жизни иных руководителей, кроме своих извращенных инстинктов и зверских страстей. Я не подумал, что если премудрое провидение терпит на земле таких людей и терпело их, быть может, несколько столетий, если оно допускает существование столь бесчеловечных обычаев и не препятствует целым племенам совершать ужасные деяния, на которые могут быть способны только выродки, окончательно забытые небом, то, стало быть, не мне быть им судьей. Но когда, как уже сказано, мои ежедневные бесплодные выслеживания начали мне надоедать, тогда стал изменяться и мой взгляд на задуманное мною дело. Я стал спокойнее и хладнокровнее относиться к этой затее; я спросил себя, какое я имел право брать на себя роль судьи и па-

лача этих людей. Пускай они преступны, но, коль скоро сам бог в течение стольких веков предоставляет им творить зло безнаказанно, то, значит, на то его воля. Как знать, быть может, истребляя друг друга, они являются лишь исполнителями его приговоров? Во всяком случае, мне эти люди не сделали зла: по какому же праву я хочу вмешаться в их племенные распри? На каком основании я должен отомстить за кровь, которую они так неразборчиво проливают? Я рассуждал следующим образом: «Почем я знаю, осудит ли их господь? Несомненно одно: в глазах каннибалов каннибализм не есть преступление, их разум не находит ничего предосудительного в этом обычае, и совесть не упрекает их за него. Они грешат по неведению и, совершая свой грех, не бросают этим вызова божественной справедливости, как делаем мы, когда грешим. Они не считают преступлением убить военнопленного — как мы не считаем преступным зарезать быка, и человеческое мясо они едят так же спокойно, как мы баранину».

Эти размышления привели меня к неизбежному выводу, что я был неправ, произнося свой строгий приговор над дикарями-людоедами как над убийцами. Теперь мне было ясно, что они не более убийцы, чем те христиане, которые убивают военнопленных или — что случается еще чаще — предают мечу, никому не давая пощады, целые армии, даже когда неприятель положил оружие и сдался.

Затем мне пришло в голову, что, каких бы зверских обычаев ни придерживались дикари, меня это не касается. Меня они ничем не обидели, так за что же мне их убивать? Вот если б они напали на меня и мне пришлось бы защищать свою жизнь, тогда другое дело. Но пока я не был в их власти, пока они не знали даже о моем существовании и, следовательно, не могли иметь никаких коварных замыслов против меня, до тех пор и я не имел права на них нападать. Это было бы нисколько не лучше поведения испанцев, прославившихся своими жестокостями в Америке, где они истребили миллионы людей. Положим, то были идолопоклонники и варвары; но при всех своих варварских обычаях и кровавых религиозных обрядах вроде человеческих жертвоприношений, перед испанцами они ни в чем не провинились. Недаром же в наше время все христианские народы Европы и даже сами испанцы возмущаются этим истреблением американских народностей и говорят о нем как о бойне, как о кровавой и противоестественной жестокости, которая не может быть оправдана ни перед богом, ни перед людьми. С тех времен самое имя испанца внушает ужас всякой человеческой душе, исполненной человеколюбия и христианского сострадания, как будто Испания такая уж страна, которая порождает людей, неспособных проникнуться христианскими правила-

ми, чуждых всякому великодушному порыву, не знающих самой обыкновенной жалости к несчастным, свойственной благородным сердцам.

Эти рассуждения охладили мой пыл, и я стал понемногу отказываться от своей затеи, придя к выводу, что я не вправе убивать дикарей и что мне нет никакой надобности вмешиваться в их дела, пока они не трогают меня. Мне нужно заботиться только о предотвращении их нападения, если же они меня откроют и нападут на меня, я сумею исполнить свой долг.

С другой стороны, я подумал, что осуществление моего плана не только не принесет мне избавления от дикарей, но приведет меня к гибели. Ведь только в том случае я могу быть уверен, что избавился от них, если мне удастся перебить их всех до единого, и не только всех тех, которые высадятся в следующий раз, но и всех, которые будут являться потом. Если же хотя бы один из них ускользнет и расскажет дома о случившемся, они нагрянут ко мне тысячами отомстить за смерть своих соплеменников! И я, таким образом, навлеку на себя верную гибель, которая в настоящее время вовсе мне не угрожала.

Взвесив все эти доводы, я решил, что вмешиваться в дела варваров было бы с моей стороны и безнравственно и неблагоразумно и что мне следует всячески скрываться от них и как можно лучше скрывать свои следы, чтоб дикари не могли догадаться, что на острове обитает человеческое существо.

В таком состоянии духа я пробыл около года. Все это время я был так далек от каких-либо поползновений расправиться с дикарями, что ни разу не взбирался на холм посмотреть, не видно ли их и не оставили ли они каких-нибудь следов своего недавнего пребывания на берегу: я боялся, как бы при виде этих извергов во мне снова не заговорило желание хорошенько проучить их и я не соблазнился удобным случаем застать их врасплох. Я только увел оттуда свою лодку и переправил ее на восточную сторону острова, где для нее нашлась очень удобная бухточка, защищенная со всех сторон отвесными скалами. Я знал, что благодаря течению дикари ни за что не решатся высадиться в этой бухточке.

Я перевел свою лодку со всей ее оснасткой, с самодельной мачтой и самодельным парусом и чем-то вроде якоря (впрочем, это приспособление едва ли можно было назвать якорем или даже кошкой; лучшего я сделать не мог). Словом, я убрал с того берега все до последней мелочи, чтобы не оставалось никаких признаков лодки или человеческого жилья на острове.

Кроме того, я, как уже сказано, жил более замкнуто, чем когда-либо, и без крайней необходимости не выползал из своей норы. Правда, я регулярно ходил доить коз и присматривать за

своим маленьким стадом в лесу, но это было в противоположной стороне острова, так что я не подвергался ни малейшей опасности. Можно было с уверенностью сказать, что дикари приезжали на остров не за добычей и, следовательно, не ходили в глубь острова. Я не сомневался, что они не раз побывали на берегу и до и после того, как, напуганный сделанным мною открытием, я стал осторожнее. Я с ужасом думал о том, какова была бы моя участь, если бы, не подозревая о грозящей мне опасности, я случайно наткнулся на них в то время, когда, полунагой и почти безоружный (я брал тогда с собой только ружье, зачастую заряженное одной мелкой дробью), я беззаботно разгуливал по всему острову в поисках дичи, обшаривая каждый кустик. Что было бы со мной, если бы вместо отпечатка человеческой ноги я увидел бы вдруг человек пятнадцать — двадцать дикарей и они погнались бы за мной и, разумеется, настигли бы меня, потому что дикари бегают очень быстро?

Меня теперь все чаще посещала одна мысль, неоднократно приходившая мне в голову и раньше, с того времени, как я впервые уразумел, как неустанно печется о нас милосердный господь, охраняя нас от опасностей, уснащающих наш жизненный путь. Как часто мы, сами того не ведая, непостижимым образом избавляемся от грозящих нам бед! В минуты сомнения, когда человек колеблется, когда он, так сказать, стоит на распутье, не зная, по какой ему дороге идти, и даже тогда, когда он выбрал дорогу и уже готов вступить на нее, какой-то тайный голос удерживает его. Казалось бы, все — природные влечения, симпатии, здравый смысл, даже ясно осознанная определенная цель — зовет его на эту дорогу, а между тем его душа не может стряхнуть с себя необъяснимое влияние неизвестно откуда исходящего давления неведомой силы, не пускающей его туда, куда он был намерен идти. И потом всегда оказывается, что, если б он пошел по той дороге, которую выбрал сначала и которую, по его собственному сознанию, должен был выбрать, она привела бы его к гибели. Под влиянием этих и подобных им размышлений у меня сложилось такое правило жизни: в минуты колебания смело следуй внушению внутреннего голоса, если услышишь его, хотя бы, кроме этого голоса, ничто не побуждало тебя поступить так, как он тебе советует. В доказательство безошибочности этого правила я мог бы привести множество примеров из своей жизни, особенно из последних лет моего пребывания на злополучном острове, не считая многих случаев, которые прошли для меня незамеченными и на которые я непременно обратил бы внимание, если бы всегда смотрел на эти вещи такими глазами, как смотрю теперь. Но никогда не поздно поумнеть, и я не могу не посоветовать всем рассудительным людям,

чья жизнь сложилась так же или хотя бы и не до такой степени необычайно, как моя, никогда не пренебрегать внушениями этого божественного тайного голоса, от какого бы невидимого разума он ни исходил. Для меня несомненно — хотя я и не могу этого объяснить,— что в этих таинственных указаниях мы должны видеть доказательство общения душ, существования связи между телесным и бесплотным миром. Мне представится случай привести несколько замечательных примеров этого общения при дальнейшем описании моей одинокой жизни на этом печальном острове.

Я думаю, читателю не покажется странным, когда я ему скажу, что сознание вечно грозящей опасности, под гнетом которого я жил последние годы, и никогда не покидавшие меня страх и тревога убили во мне всякую изобретательность и положили конец всем моим затеям касательно увеличения моего благосостояния и домашних удобств. Мне было не до забот об улучшении моего стола, когда я только и думал, как бы спасти свою жизнь. Я не смел ни вбить гвоздя, ни расколоть полена, боясь, что дикари могут услышать стук. Стрелять я и подавно не решался по той же причине. Но, главное, на меня нападал неописуемый страх всякий раз, когда мне приходилось разводить огонь, так как дым, который днем виден на большом расстоянии, всегда мог выдать меня. Ввиду этого я даже перенес в новое помещение все те поделки (в том числе и гончарную мастерскую), для которых требовался огонь. Я забыл сказать, что как-то раз я, к несказанной моей радости, нашел природную пещеру в скале, очень просторную внутри, куда, я уверен, ни один дикарь не отважился бы забраться, даже если бы он находился у самого входа в нее; только человеку, который, как я, нуждался в безопасном убежище, могла прийти фантазия залезть в эту дыру.

Устье пещеры находилось под высокой скалой, у подножия которой я рубил толстые сучья на уголь. Но прежде чем продолжать, я должен объяснить, зачем мне понадобился древесный уголь.

Как уже сказано, я боялся разводить огонь подле моего жилья — боялся из-за дыма; а между тем не мог же я не печь хлеба, не варить мяса, вообще обходиться без стряпни! Вот я и придумал заменить дрова углем, который почти не имеет дыма. Я видел в Англии, как добывают уголь, пережигая толстые сучья под слоем дерна. То же стал делать и я. Я производил эту работу в лесу, перетаскивал домой готовый уголь и жег его вместо дров без риска выдать дымом мое местопребывание.

Так вот, в один из тех дней, когда я работал в лесу топором, я вдруг заметил за большим кустом небольшое углубление в скале. Меня заинтересовало, куда может вести этот ход; я пролез в него,

хоть и с большим трудом, и очутился в пещере высотой в два человеческих роста. Но сознаюсь, что вылез оттуда гораздо скорее, чем залез. И не мудрено: всматриваясь в темноту (так как в глубине пещеры было совершенно темно), я увидал два горящих глаза какого-то существа — человека или дьявола, не знаю,— они сверкали, как звезды, отражая слабый дневной свет, проникающий в пещеру снаружи и падавший на них.

Немного погодя, я, однако, опомнился и обозвал себя дураком. Кто прожил двадцать лет один-одинешенек среди океана, тому нечего бояться черта, сказал я себе. Наверное, уж в этой пещере нет никого страшнее меня! И, набравшись храбрости, захватил горящую головню и снова залез в пещеру. Но не успел я ступить и трех шагов, освещая себе путь головешкой, как попятился назад, перепуганный чуть ли не больше прежнего: я услышал громкий вздох, как вздыхают от боли, затем какие-то прерывистые звуки вроде бормотанья и опять тяжкий вздох. Я оцепенел от ужаса; холодный пот выступил у меня по всему телу, и волосы встали дыбом, так что, будь на мне шляпа, я не ручаюсь, что она не свалилась бы с головы... Тем не менее я не потерял присутствия духа: стараясь ободрить себя мыслью, что всевышний везде может меня защитить, я снова двинулся вперед и при свете факела, который я держал над головой, увидел на земле огромного страшного старого козла. Он лежал неподвижно и тяжело дышал в предсмертной агонии: по-видимому, он околевал от старости.

Я пошевелил его ногой, чтобы заставить подняться. Он попробовал встать, но не мог. Пускай его лежит, покуда жив, подумал я тогда; если он меня напугал, то, наверно, не меньше напугает каждого дикаря, который вздумает сунуться сюда.

Оправившись от испуга, я стал осматриваться кругом. Пещера была очень маленькая — около двенадцати квадратных футов,— крайне бесформенная: ни круглая, ни квадратная,— было ясно, что здесь работала одна природа, без всякого участия человеческих рук. Я заметил также в глубине ее отверстие, уходившее еще дальше под землю, но настолько узкое, что пролезть в него можно было только ползком. Не зная, куда ведет этот ход, я не захотел без свечи проникнуть в него, но решил прийти сюда снова на другой день со свечами, с коробочкой для трута, которую я смастерил из ружейного замка, и горящим углем в миске.

Так я и сделал. Я взял с собой шесть больших свечей собственного изделия (к тому времени я научился делать очень хорошие свечи из козьего жира) и вернулся в пещеру. Подойдя к узкому ходу в глубине пещеры, о котором было сказано выше, я вынужден был стать на четвереньки и ползти в таком положении десять ярдов, что было, к слову сказать, довольно смелым подвигом

с моей стороны, если принять во внимание, что я не знал, куда ведет этот ход и что ожидает меня впереди. Миновав самую узкую часть прохода, я увидел, что он начинает все больше расширяться, и тут глаза мои были поражены зрелищем, великолепнее которого я на моем острове ничего не видал. Я стоял в просторном гроте футов в двадцать вышиной; пламя моих двух свечей отражалось от стен и свода, и они отсвечивали тысячами разноцветных огней. Были ли то алмазы, или другие драгоценные камни, или же — что казалось всего вернее — золото?

Я находился в восхитительном, хотя и совершенно темном, гроте с сухим и ровным дном, покрытым мелким песком. Нигде никаких признаков плесени или сырости; нигде ни следа отвратительных насекомых и ядовитых гадов. Единственное неудобство — узкий ход, но для меня это неудобство было преимуществом, так как я хлопотал о безопасном убежище, а безопаснее этого трудно было сыскать. Я был в восторге от своего открытия и решил, не откладывая, перенести в мой грот все те свои вещи, которыми я особенно дорожил, и прежде всего порох и все запасное оружие, а именно: два охотничьих ружья (всех ружей у меня было три) и три из восьми находившихся в моем распоряжении мушкетов. Таким образом, в моей крепости осталось только пять мушкетов, которые у меня всегда были заряжены и стояли на лафетах, как пушки, у моей наружной ограды, но всегда были к моим услугам, если я собирался в какой-нибудь поход.

Перетаскивая в новое помещение порох и запасное оружие, я заодно откупорил и бочонок с подмоченным порохом. Оказалось, что вода проникла в бочонок только на три, на четыре дюйма кругом; подмокший порох затвердел и ссохся в крепкую корку, в которой остальной порох лежал как ядро ореха в скорлупе. Таким образом, я неожиданно разбогател еще фунтов на шестьдесят очень хорошего пороху. Это был весьма приятный сюрприз. Весь этот порох я перенес в мой грот для большей сохранности и никогда не держал в своей крепости более трех фунтов на всякий случай. Туда же, то есть в грот, я перетащил и весь свой запас свинца, из которого я делал пули.

Я воображал себя в то время одним из древних великанов, которые, говорят, жили в расщелинах скал и в пещерах, неприступных для простых смертных. Пусть хоть пятьсот дикарей рыщут по острову, разыскивая меня: они не откроют моего убежища, говорил я себе, а если даже и откроют, так все равно не посмеют проникнуть ко мне.

Старый козел, которого я нашел издыхающим при входе в пещеру, на другой же день околел. Во избежание зловония от раз-

лагающегося трупа я закопал его в яму, вырыв ее тут же, в пещере, подле него: это было легче, чем вытаскивать его вон.

Шел уже двадцать третий год моего житья на острове, и я успел до такой степени освоиться с этой жизнью, что, если бы не страх перед дикарями, которые могли потревожить меня, я бы охотно согласился провести здесь весь остаток моих дней до последнего часа, когда я лег бы и умер, как старый козел в пещере. Я придумал себе несколько маленьких развлечений, и время протекало для меня гораздо веселее, чем прежде. Во-первых, как уже знает читатель, я научил говорить своего Попку, и он так мило болтал, произносил слова так раздельно и внятно, что было большим удовольствием слушать его. Он прожил у меня не менее двадцати шести лет. Как долго жил он потом, я не знаю; впрочем, я слышал в Бразилии, что попугаи живут по сто лет. Может быть, верный мой Попка и теперь еще летает по острову, призывая бедного Робина Крузо. Не дай бог ни одному англичанину попасть на мой остров и услышать его; бедняга, с которым случилось бы такое несчастье, наверное, принял бы моего Попку за дьявола. Мой пес был моим верным и преданным другом в течение шестнадцати лет; он околел от старости. Что касается моих кошек, то, как я уже говорил, они так расплодились, что я принужден был стрелять по ним несколько раз, иначе они загрызли бы меня и уничтожили бы все мои запасы. Когда две старые кошки, взятые мной с корабля, издохли, я продолжал распугивать остальных выстрелами и не давал им есть, так что в заключение все они удрали в лес и одичали. Я оставил у себя только двух или трех любимиц, которых приручил и потомство которых неизменно топил, как только оно появлялось на свет; они стали членами моей разношерстной семьи. Кроме того, я всегда держал при себе двух-трех козлят, приучая их есть из моих рук. Было у меня еще два попугая, не считая старого Попки; оба они тоже умели говорить и оба выкликали: «Робин Крузо», но далеко не так хорошо, как первый. Правда и то, что на него я потратил гораздо больше времени и труда. Затем я поймал и приручил несколько морских птиц, названий которых я не знал. Всем им я подрезал крылья, так что они не могли улететь. Молодые деревца, посаженные мною перед крепостью, чтоб лучше скрыть ее на случай появления дикарей, разрослись в густую рощу, и мои птицы поселились в этой роще и плодились, что меня очень радовало. Таким образом, повторяю, я чувствовал себя спокойно и хорошо и был бы совершенно доволен своею судьбой, если б мог избавиться от страха перед дикарями.

Но судьба судила иначе, и пусть все, кому доведется прочесть эту повесть, обратят внимание на то, как часто в течение нашей жизни зло, которого мы всего более страшимся и которое, когда

оно нас постигло, представляется нам верхом человеческих испытаний,— как часто это зло становится вернейшим и единственным путем избавиться от преследующих нас несчастий. Я мог бы привести много примеров из собственной жизни в подтверждение правильности своих слов, но особенно замечательны в этом отношении события последних лет моего пребывания на острове.

Итак, шел двадцать третий год моего заточения. Наступил декабрь — время южного солнцестояния (я не могу назвать зимой такую жаркую пору), а для меня — время уборки хлеба, требовавшей постоянного моего присутствия на полях. И вот однажды, выйдя из дому перед рассветом, я был поражен, увидев огонь на берегу, милях в двух от моего жилья и, к великому моему ужасу, не в той стороне острова, где, по моим наблюдениям, высаживались посещавшие его дикари, а в той, где жил я сам.

Я был поистине сражен тем, что увидел, и притаился в своей роще, не смея ступить дальше ни шагу, чтобы не наткнуться на нежданных гостей. Но и в роще я не чувствовал себя спокойно, я боялся: если дикари начнут шнырять по острову и увидят мои поля с растущим на них хлебом или что-нибудь из моих работ, они сейчас же догадаются, что на острове живут люди, и не успокоятся, пока не разыщут меня. Подгоняемый страхом, я живо вернулся в свою крепость, поднял за собой лестницу, чтоб замести следы, и начал готовиться к обороне.

Я зарядил все мои пушки (как назвал я мушкеты, стоявшие у меня на лафетах вдоль наружной стены) и все пистолеты и решил защищаться до последнего вздоха. В этом положении я пробыл два часа, не получая никаких вестей извне: у меня не было лазутчиков, чтобы произвести разведку.

Просидев так еще несколько времени и истощив свое воображение, я не в силах был выносить долее неизвестность и полез на гору способом, описанным выше, то есть при помощи лестницы, приставляя ее к уступу горы, спускавшейся в мою сторону. Добравшись до самой вершины, я вынул из кармана подзорную трубу, которую захватил с собой, лег животом на землю и, направив трубу на то место берега, где я видел огонь, стал смотреть. Я увидел человек десять голых дикарей, сидевших кружком подле костра. Конечно, костер они развели не для того, чтобы погреться, так как стояла страшная жара, а, вероятно, затем, чтобы состряпать свой варварский обед из человечьего мяса. Дичина, наверно, была уже заготовлена, но живая или убитая — я не знал.

Дикари приехали в двух лодках, которые теперь лежали на берегу: было время отлива, и они, видимо, дожидались прилива, чтобы пуститься в обратный путь. Вы не можете себе представить, в какое смятение повергло меня это зрелище, а главное, то,

что они высадились на моей стороне острова, так близко от моего жилья. Впрочем, потом я немного успокоился, сообразив, что, вероятно, они всегда приезжают во время прилива и что, следовательно, во все время отлива я смело могу выходить, если только они не высадились до его начала. Это наблюдение успокоило меня, и я как ни в чем не бывало продолжал уборку урожая.

Как я ожидал, так и вышло: лишь только начался прилив, дикари сели в лодки и отчалили. Я забыл сказать, что за час или за полтора до отъезда они плясали на берегу: я ясно различал в подзорную трубу их странные телодвижения и прыжки. Я видел также, что все они были нагишом, но были ли то мужчины или женщины — не мог разобрать.

Как только они отчалили, я спустился с горы, вскинул на плечи оба свои ружья, заткнул за пояс два пистолета, тесак без ножен и, не теряя времени, отправился к тому холму, откуда впервые заметил появление этих людей. Добравшись туда (что заняло не менее двух часов времени, так как я был навьючен тяжелым оружием и не мог идти скоро), я взглянул в сторону моря и увидел еще три лодки с дикарями, направлявшиеся от острова к материку.

Это открытие подействовало на меня удручающим образом, особенно когда, спустившись к берегу, я увидел остатки только что справлявшегося там ужасного пиршества: кровь, кости и куски человеческого мяса, которое эти звери пожрали с легким сердцем, приплясывая и веселясь. Меня охватило такое негодование при виде этой картины, что я снова стал обдумывать план уничтожения первой же группы варваров, которую я увижу на берегу, как бы ни была она многочисленна.

Не подлежало, однако, сомнению, что дикари посещают мой остров очень редко: прошло пятнадцать с лишком месяцев со дня последнего их визита, и за все это время я не видел ни их самих, ни свежих следов человеческих ног, вообще ничего такого, что бы указывало на недавнее их присутствие на берегу. В дождливый же сезон они, наверно, совсем не бывали на моем острове,— вероятно, не отваживались выходить из дому, по крайней мере, так далеко. Тем не менее все эти пятнадцать месяцев я не знал покоя, ежеминутно ожидая, что ко мне нагрянут незваные гости и нападут на меня врасплох. Отсюда я заключаю, что ожидание зла несравненно хуже самого зла, особенно когда ожиданию и страхам не предвидится конца.

В те дни я был в самом кровожадном настроении и все свое свободное время (которое, к слову сказать, я мог бы употребить с гораздо большей пользой) был занят тем, что придумывал, как бы мне напасть на дикарей врасплох в ближайший же их приезд,

особенно если они опять разделятся на две группы, как это было в последний раз. Но я упустил из виду, что, если я перебью всю первую группу, положим, в десять или двенадцать человек, мне на другой день, или через неделю, или, может быть, через месяц придется иметь дело с новой группой, а там опять с новой и так ad infinitum [1], пока я сам не превращусь в такого же, если не худшего, убийцу, как эти дикари-людоеды.

Мои дни проходили теперь в вечной тревоге. Я был уверен, что рано или поздно мне не миновать лап этих безжалостных зверей, и, когда какое-нибудь неотложное дело выгоняло меня из моей норы, я совершал свой путь с величайшими предосторожностями и поминутно озирался кругом. Вот когда я оценил удобство иметь домашний скот: моя мысль держать коз в загонах была поистине счастливая мысль. Стрелять я не смел, особенно в той стороне острова, где обыкновенно высаживались дикари: я боялся всполошить их своими выстрелами; если бы они на этот раз убежали от меня, то, наверное, явились бы снова через несколько дней уже на двухстах или трехстах лодках, и я знал, что меня тогда ожидало.

Но, как уже сказано, только через год и три месяца я снова увидел дикарей, о чем я вскоре расскажу. Возможно, впрочем, что дикари не раз побывали на острове в течение этого года, но, должно быть, они никогда не оставались надолго, во всяком случае, я их не видел; но в мае двадцать четвертого года моего пребывания на острове (как выходило по моим вычислениям) у меня произошла замечательная встреча с ними, о чем будет рассказано в своем месте.

Не могу выразить, каким тревожным временем были для меня эти пятнадцать месяцев. Я плохо спал, каждую ночь видел страшные сны и часто вскакивал, проснувшись в испуге. Иногда мне снилось, что я убиваю дикарей и придумываю оправдания для расправы. Я и днем не знал ни минуты покоя. Но оставим на время эту тему.

В середине мая, а именно 16-го, если верить моему жалкому деревянному календарю, на котором я продолжал отмечать числа, с утра до вечера бушевала сильная буря с грозой, и день сменился такою же бурною ночью. Я читал Библию, погруженный в серьезные мысли о своем положении. Вдруг я услышал пушечный выстрел, и как мне показалось, со стороны моря.

Я вздрогнул от неожиданности; но эта неожиданность не имела ничего общего с теми сюрпризами, какие судьба посылала мне до сих пор. Нового рода были и мысли, пробужденные во мне

[1] До бесконечности *(лат.)*.

этим выстрелом. Боясь потерять хотя бы секунду драгоценного времени, я сорвался с места, мигом приставил лестницу к уступу горы и стал карабкаться наверх. Едва я успел взобраться на вершину, как передо мной блеснул огонек выстрела, и через полминуты раздался второй пушечный выстрел. По направлению звука я без труда различил, что стреляют в той части моря, куда когда-то меня угнало течением вместе с моей лодкой.

Я догадался, что это какой-нибудь погибающий корабль подает сигналы о своем бедственном положении и что невдалеке находится другой корабль, к которому он взывает о помощи. Несмотря на все свое волнение, я сохранил присутствие духа и успел сообразить, что если я не могу выручить из беды этих людей, зато они, может быть, меня выручат. Не теряя времени, я собрал весь валежник, какой нашелся поблизости, сложил его в кучу и зажег. Сухое дерево сразу занялось, несмотря на сильный ветер, и так хорошо разгорелось, что с корабля — если только это действительно был корабль — не могли не заметить моего костра. И он был, несомненно, замечен, потому что, как только вспыхнуло пламя, раздался новый пушечный выстрел, потом еще и еще, все с той же стороны. Я поддерживал костер всю ночь до рассвета, а когда совсем рассвело и небо прояснилось, я увидел в море с восточной стороны острова, но очень далеко от берега, не то парус, не то кузов корабля,— я не мог разобрать даже в подзорную трубу из-за тумана, который на море еще не совсем рассеялся.

Весь день я наблюдал за видневшимся в море предметом и вскоре убедился, что он неподвижен. Я заключил отсюда, что это стоящий на якоре корабль. Легко представить, как не терпелось мне удостовериться в правильности моей догадки; я схватил ружье и побежал на юго-восточный берег, к скалам, где я когда-то был унесен течением. Погода между тем совершенно прояснилась, и, придя на место, я, к великому моему огорчению, отчетливо увидел кузов корабля, наскочившего ночью на подводные рифы, замеченные мною во время путешествия в лодке; эти рифы преграждали путь морскому течению и продолжали как бы встречное течение, и потому им я обязан избавлением от самой страшной опасности, какой я когда-либо подвергался за всю свою жизнь.

Таким образом, то, что является спасением для одного, губит другого. Должно быть, эти люди, кто б они ни были, не зная о существовании рифов, совсем закрытых водой, наскочили на них ночью из-за сильного восточно-северо-восточного ветра. Если бы на корабле заметили остров (а я думаю, его едва ли заметили), то спустили бы шлюпки и попытались бы добраться до берега. Но то обстоятельство, что там палили из пушек, особенно после того, как я зажег свой костер, породило во мне множество предпо-

ложений: то я воображал, что, увидев мой костер, они сели в шлюпку и стали грести к берегу, но не могли выгрести из-за волнения и потонули; то мне казалось, что они лишились всех своих шлюпок еще до крушения, что могло случиться вследствие многих причин: например, при сильном волнении, когда судно зарывается в воду, очень часто приходится выбрасывать за борт или ломать шлюпки. Возможно было и то, что погибший корабль был лишь одним из двух или нескольких судов, следовавших по одному направлению, и что, услыхав сигнальные выстрелы, эти последние корабли подобрали всех бывших на нем людей. Наконец, могло случиться и так: спустившись в шлюпку, экипаж корабля попал в упомянутое выше течение и был унесен в открытое море на верную смерть, и теперь эти несчастные умирают от голода и готовы съесть друг друга.

Так как все это были простые догадки, то в моем положении я мог только пожалеть несчастных. Благотворной для меня стороной этого печального происшествия было то, что оно послужило лишним поводом возблагодарить провидение, которое так неусыпно заботилось обо мне, покинутом и одиноком, и определило так, что из экипажей двух кораблей, разбитых у этих берегов, не спаслось ни души, кроме меня. Я получил, таким образом, новое подтверждение того, что, несмотря на всю бедственность и ужас нашего положения, в нем всегда найдется, за что поблагодарить провидение, если мы сравним его с положением еще более ужасным.

А таково именно было, по всей вероятности, положение экипажа разбившегося корабля; трудно было допустить, чтобы кому-нибудь из людей удалось спастись в такую страшную бурю, если только их не подобрало другое судно, находившееся поблизости. Но ведь это была лишь возможность, да и то очень слабая: по крайней мере, никаких следов другого корабля я не видел.

Где я найду слова, чтобы передать ту страстную тоску, те горячие желания, которые овладели мной, когда я увидел корабль? С моих губ, помимо моей воли, беспрестанно слетали слова: «Ах, если бы хоть два или три человека... нет, хоть бы один из них спасся и приплыл ко мне! Тогда у меня был бы товарищ, был бы живой человек, с которым я мог бы разговаривать». Ни разу за все долгие годы моей отшельнической жизни не испытал я такой настоятельной потребности в обществе людей и ни разу не почувствовал так больно своего одиночества.

Есть тайные пружины страстных влечений, которые, будучи приведены в движение каким-либо видимым предметом или же предметом, хотя бы и невидимым, но оживленным в нашем сознании силой воображения, увлекают душу к этому предмету с такой неистовой силой, что его отсутствие становится невыносимым.

Таким именно было мое горячее желание, чтобы хоть один человек из экипажа разбившегося корабля спасся. «Ах, хоть бы один! Хоть бы один!» Я повторял эти слова тысячу раз. И желание мое было так сильно, что, произнося их, я судорожно сжимал руки, и пальцы мои впивались в ладони: находись у меня там хрупкий предмет, я невольно раздавил бы его; и я так крепко стискивал зубы, что потом не сразу мог разжать их.

Пускай ученые доискиваются причины этого рода явлений; я же только описываю факт, так поразивший меня, когда я его обнаружил. Но, хоть я не берусь объяснить его происхождение, все же он был, несомненно, результатом страстного желания и нарисованных моим воображением картин счастья, которое сулила мне встреча с кем-либо из моих братьев христиан.

Но тяготел ли надо мной злой рок, или же люди, что плыли на разбившемся корабле, были обречены на погибель, только мне не суждено было тогда изведать это счастье. Так до последнего года моего житья на острове я и не узнал, спасся ли кто-нибудь с погибшего корабля. Я только сделал через несколько дней одно печальное открытие: нашел на берегу, против того места, где разбился корабль, труп утонувшего юнги. На нем были короткие холщовые штаны, синяя холщовая же рубаха и матросская куртка. Ни по каким признакам нельзя было определить его национальность: в карманах у него не оказалось ничего, кроме двух золотых монет да трубки, и, разумеется, последней находке я обрадовался гораздо больше, чем первой.

После бури наступил полный штиль, и мне очень хотелось попробовать добраться в лодке до корабля. Я был уверен, что найду там много такого, что может мне пригодиться; но, собственно, не это прельщало меня, а надежда, что, может быть, на корабле осталось какое-нибудь живое существо, которое я могу спасти от смерти и таким образом скрасить свою печальную жизнь. Эта мысль овладела всей моей душой: я чувствовал, что ни днем, ни ночью не буду знать покоя, пока не попытаюсь добраться в лодке до корабля, положившись на волю божию. Побуждение, увлекавшее меня, было так сильно, что я не мог противиться, принял его за указание свыше и чувствовал бы угрызения совести, если бы не исполнил его.

Под влиянием этого импульса я поспешил вернуться в свой замок и стал готовиться к поездке. Я взял хлеба, большой кувшин пресной воды, компас, бутылку рома (которого у меня оставался еще изрядный запас), корзину с изюмом и, навьючив на себя всю эту кладь, отправился к своей лодке, выкачал из нее воду, спустил в море, сложил в нее все, что принес, и вернулся домой за новым грузом. На этот раз я взял большой мешок риса, второй

большой кувшин с пресной водой, десятка два небольших ячменных хлебцев или, вернее, лепешек, бутылку козьего молока, кусок сыру и зонтик, который должен был служить мне тентом. Все это я с великим трудом — в поте лица моего, можно сказать,— перетащил в лодку и, помолившись богу, чтобы он направил мой путь, отчалил. Стараясь держаться поближе к берегу, я прошел на веслах все расстояние до северо-восточной оконечности острова. Отсюда мне предстояло пуститься в открытое море. Риск был большой. Идти или нет? Я взглянул на быструю струю морского течения, огибавшего остров на некотором расстоянии от берега, вспомнил свою первую экскурсию, вспомнил, какой страшной опасности я тогда подвергался, и решимость начала мне изменять; я знал, что, если я попаду в струю течения, меня унесет далеко от берега и я могу даже потерять из виду мой островок, а тогда стоит лишь подняться свежему ветру, чтобы мою лодчонку залило водой.

Эти мысли так меня обескуражили, что я готов был отказаться от своего предприятия. Я причалил к берегу в маленькой бухточке, вышел из лодки и сел на пригорок, колеблясь в душе между желанием побывать на корабле и страхом перед опасностями, меня ожидающими. В то время как я был погружен в свои размышления, на море начался прилив, и волей-неволей я должен был отложить свое путешествие на несколько часов. Тогда мне пришло в голову, что хорошо бы воспользоваться этим временем и, забравшись на какое-нибудь высокое место, удостовериться, как направляется течение при приливе и нельзя ли будет воспользоваться этим течением на обратном пути с корабля на остров. Не успел я это подумать, как увидал невдалеке горку, невысокую, но на открытом месте, так что с нее должно было быть видно море по обе стороны острова и направление течений. Поднявшись на эту горку, я не замедлил убедиться, что течение отлива идет с южной стороны острова, а течение прилива — с северной стороны и что, следовательно, при возвращении с корабля мне нужно будет держать курс на север острова, и я доберусь до берега вполне благополучно.

Ободренный этим открытием, я решил пуститься в путь на следующее же утро, как только начнется отлив. Переночевал я в лодке, укрывшись упомянутой матросской курткой, а наутро вышел в море. Сначала я взял курс прямо на север и шел этим курсом, пока не попал в струю течения, направлявшегося на восток. Меня понесло очень быстро, но все же не с такой быстротой, с какой несло меня южное течение в первую мою поездку. Тогда я совершенно не мог управлять лодкой, теперь же свободно действовал рулевым веслом и несся прямо к кораблю. Я добрался до него менее чем через два часа.

Грустное зрелище открылось мне: корабль (по виду испанский) застрял между двух утесов. Вся корма была снесена; грот- и фок-мачту срезало до основания, но бушприт и вообще вся носовая часть уцелели. Когда я подошел к борту, на палубе показалась собака. Увидев меня, она принялась выть и визжать, а когда я поманил ее, спрыгнула в воду и подплыла ко мне. Я взял ее в лодку. Бедное животное буквально умирало от голода. Я дал ей хлеба, и она набросилась на него, как изголодавшийся за зиму волк. Когда она наелась, я поставил перед ней воду, и она стала так жадно лакать, что, наверное, лопнула бы, если бы дать ей волю.

Затем я поднялся на корабль. Первое, что я там увидел, были два трупа: они лежали у входа в рубку, крепко сцепившись руками. По всей вероятности, когда корабль наскочил на камень, его все время обдавало водой, так как была сильная буря, и весь экипаж захлебнулся, как если б он пошел на дно. Кроме собаки, на корабле не было ни одного живого существа, и все оставшиеся на нем товары подмокли. Я видел в трюме какие-то бочонки, с вином или с водкой — не знаю, но они были так велики, что я не пытался их достать. Было там еще несколько сундуков, должно быть, принадлежавших матросам; два сундука я переправил на лодку, не открывая.

Если бы вместо носовой части уцелела корма, я бы, наверно, воротился с богатой добычей: по крайней мере, судя по содержимому двух взятых мною сундуков, можно было предположить, что корабль вез очень ценные вещи. Вероятно, он шел из Буэнос-Айреса или из Рио-де-ла-Платы в южной части Америки, мимо берегов Бразилии в Гавану или вообще в Мексиканский залив, а оттуда — в Испанию. Несомненно, на нем были большие богатства, но в этот момент никому от них не было проку, а что сталось с людьми, я тогда не знал.

Кроме сундуков, я взял еще бочонок с каким-то спиртным напитком. Бочонок был небольшой — около двадцати галлонов вместимостью,— но все-таки мне стоило большого труда перетащить его в лодку. В каюте я нашел несколько мушкетов и фунта четыре пороха в пороховнице; мушкеты я оставил, так как они были мне ненужны, а порох взял. Я взял лопаточку для угля и каминные щипцы, в которых очень нуждался, затем два медных котелка, медный кофейник и рашпер. Со всем этим грузом и собакой я отчалил от корабля, так как уже начинался прилив, и в тот же день, к часу ночи, вернулся на остров, изнеможенный до последней степени.

Я провел ночь в лодке, а утром решил перенести свою добычу в новый грот, чтобы не тащить ее к себе в крепость. Подкрепившись едой, я выгрузил на берег привезенные вещи и произвел

подробный осмотр их. В бочонке оказался ром, но, говоря откровенно, весьма неважный, совсем не такой, как тот, что был у нас в Бразилии; зато в сундуках я нашел несколько полезных вещей, например, изящной работы погребец, уставленный бутылками какой-то особенной формы, с серебряными пробками (в каждой бутылке было до трех пинт очень хорошей настойки); затем две банки отличного варенья, так плотно закупоренных, что в них не попало ни капли морской воды, и еще две банки, содержимое которых подмокло. В том же сундуке лежало несколько штук очень хороших рубах, которые были для меня очень приятной находкой; затем около полутора дюжин белых полотняных носовых платков и столько же цветных шейных; первым я очень обрадовался, представив себе, как будет приятно в жаркие дни утирать вспотевшее лицо тонким полотном. На дне сундука я нашел три больших мешка с деньгами; всего в трех мешках было тысяча сто серебряных восьмериков, а в одном оказалось еще шесть золотых дублонов, завернутых в бумагу, и несколько небольших слитков золота весом, я думаю, около фунта.

В другом сундуке было несколько пар платья, но похуже. Вообще, судя по содержимому этого сундука, я полагаю, что он принадлежал корабельному артиллеристу: в нем оказалось около двух фунтов прекрасного пороха в трех фляжках, должно быть, для охотничьих ружей. В общем, в эту поездку я приобрел очень немного полезных мне вещей. Деньги же не представляли для меня никакой ценности, это был ненужный сор, и все свое золото я бы охотно отдал за три, за четыре пары английских башмаков и чулок, которых я не носил уже несколько лет. Правда, я раздобыл четыре пары башмаков за эту поездку: две пары снял с двух мертвецов, которых нашел на корабле, да две оказались в одном из сундуков. Конечно, башмаки пришлись мне очень кстати, но ни по удобству, ни по прочности они не могли сравниться с английской обувью: это были скорее туфли, чем башмаки. Во втором сундуке я нашел еще пятьдесят штук разной звонкой монеты, но не золотой. Вероятно, первый сундук принадлежал офицеру, а второй — человеку победнее.

Тем не менее я принес эти деньги в пещеру и спрятал, как раньше спрятал те, которые нашел на нашем корабле. Было очень жаль, что я не мог завладеть богатствами, содержавшимися в корме погибшего корабля: наверное, я мог бы нагрузить ими лодку несколько раз. Если бы мне удалось вырваться отсюда в Англию, деньги остались бы в сохранности в гроте и, вернувшись, я захватил бы их.

Переправив в мой грот все привезенные вещи, я вернулся к лодке, отвел ее на прежнюю стоянку и вытащил на берег, а сам

отправился прямой дорогой на свое старое пепелище, где все оказалось в полной неприкосновенности. Я снова зажил своей прежней мирной жизнью, справляя помаленьку свои домашние дела. Но, как уже знает читатель, в последние годы я был осторожнее, чаще производил рекогносцировку и реже выходил из дому. Только восточная сторона острова не внушала мне опасений: я знал, что дикари никогда не высаживаются на том берегу; поэтому, отправляясь в ту сторону, я мог не принимать таких мер предосторожности и не тащить на себе столько оружия, как в тех случаях, когда мой путь лежал в одну из других частей острова.

Так прожил я почти два года, но все эти два года в моей несчастной голове (видно, уж так она была устроена, что от нее всегда плохо приходилось моему телу) роились всевозможные планы, как бы мне бежать с моего острова. Иногда я решал предпринять новое путешествие к обломкам погибшего корабля, хотя рассудок говорил мне, что там не могло остаться ничего такого, что окупило бы риск моей поездки; иногда затевал другие поездки. И я убежден, что, будь в моем распоряжении такой баркас, как тот, на котором я бежал из Сале, я пустился бы в море очертя голову, даже не заботясь о том, куда меня занесет.

Все обстоятельства моей жизни могут служить предостережением для тех, кого коснулась страшная язва рода людского, от которой, насколько мне известно, проистекает половина всех наших бед; я разумею недовольство положением, в которое поставили нас бог и природа. Так, не говоря уже о моем неповиновении родительской воле, бывшем, так сказать, моим первородным грехом, я в последующие годы шел той же дорогой, которая и привела к моему теперешнему печальному положению. Если бы судьба, так хорошо устроившая меня в Бразилии, наделила меня более скромными желаниями и я довольствовался медленным ростом моего благосостояния, то за это время — я имею в виду время, прожитое на острове,— я сделался бы, может быть, одним из самых крупных бразильских плантаторов. Я убежден, что при улучшениях, которые я уже успел ввести за недолгий срок моего хозяйничанья и еще ввел бы со временем, я нажил бы тысяч сто мойдоров. Нужно ли мне было бросать налаженное дело, благоустроенную плантацию, которая с каждым годом разрасталась и приносила все больший и больший доход, ради того, чтобы ехать в Гвинею за неграми, между тем как при некотором терпении я дождался бы времени, когда наши местные негры расплодились бы и я мог бы покупать их у работорговцев, не трогаясь с места? Правда, это обходилось бы немного дороже, но стоило ли из-за небольшой разницы в цене подвергаться такому страшному риску?

Но, видно, совершать безумства — удел молодежи, как удел людей зрелого возраста, умудренных дорого купленным опытом,— осуждать безрассудства молодежи. Так было и со мной. Однако недовольство своим положением так глубоко укоренилось во мне, что я непрестанно измышлял планы бегства из этого пустынного места. Переходя теперь к изложению последней части моего пребывания на необитаемом острове, я считаю не лишним рассказать читателю, в какой форме у меня впервые зародилась эта безумная затея и что я предпринял для ее осуществления.

Итак, после поездки к обломкам погибшего корабля я вернулся в свою крепость, поставил, как всегда, свой фрегат в безопасное место и зажил по-старому. Правда, у меня было теперь больше денег; но я не стал от этого богаче, ибо деньги в моем положении были мне так же мало нужны, как перуанским индейцам до вторжения в Перу испанцев.

Однажды ночью, в мартовский период дождей, на двадцать четвертом году своей отшельнической жизни, я лежал на койке, совершенно здоровый, не угнетаемый мрачными мыслями, в отличном самочувствии, но не мог сомкнуть глаз ни на минуту.

Невозможно, да нет и надобности, перечислять все мои мысли, вихрем мчавшиеся в ту ночь по большой дороге мозга — памяти. Перед моим умственным взором прошла, если можно так выразиться, в миниатюре вся моя жизнь до и после прибытия моего на необитаемый остров. Припоминая шаг за шагом весь этот второй период моей жизни, я сравнивал мои первые безмятежные годы с тем состоянием тревоги, страха и грызущей заботы, в котором я жил с того дня, как открыл след человеческой ноги на песке. Не то чтоб я воображал, что до моего открытия дикари не появлялись в пределах моего царства: весьма возможно, что и в первые годы моего житья на острове их перебывало там несколько сот человек. Но в то время я этого не знал, никакие страхи не нарушали моего душевного равновесия, я был покоен и счастлив, потому что не сознавал опасности, и хотя от этого она была, конечно, не менее велика, но для меня ее все равно что не существовало. Эта мысль навела меня на дальнейшие поучительные размышления о бесконечной благости провидения, в своих заботах о нас положившего столь узкие пределы нашему знанию. Совершая свой жизненный путь среди неисчислимых опасностей, вид которых, если бы был доступен нам, поверг бы в трепет нашу душу и отнял бы у нас всякое мужество, мы остаемся спокойными потому, что окружающее сокрыто от наших глаз и мы не видим отовсюду надвигающихся на нас бед.

От этих размышлений я, естественно, перешел к воспоминанию о том, какой опасности я подвергался на моем острове в тече-

ние стольких лет, как беззаботно я разгуливал по своим владениям и сколько раз, может быть, лишь какой-нибудь холм, ствол дерева, наступление ночи или другая случайность спасали меня от худшей из смертей, от дикарей-людоедов; для них я был бы такою же дичью, как для меня коза или черепаха, и они убили бы и съели меня так же просто, нисколько не считая, что они совершают преступление, как я убил бы голубя или кулика. Я был бы несправедлив к себе, если бы не сказал, что сердце мое при этой мысли наполнилось самой искренней благодарностью к моему великому покровителю. С великим смирением я признал, что своей безопасностью я был обязан исключительно его защите, без которой мне бы не миновать зубов безжалостных людоедов.

Затем мои мысли приняли новое направление. Я начал думать о каннибализме, стараясь уяснить себе это явление. Я спрашивал себя, как мог допустить премудрый промыслитель всего сущего, чтобы его создания дошли до такого зверства, вернее, до извращения человеческой природы, худшего, чем зверство, ибо надо быть хуже зверей, чтоб пожирать себе подобных. Но это был праздный вопрос, на который я в то время не мог найти ответа. Тогда я стал думать о том, в какой части света живут эти дикари, как далеко от моего острова их земли, ради чего они пускаются в такую даль и что у них за лодки; и, наконец, не могу ли я найти способ переправиться к ним, как они переправлялись ко мне.

Я не давал себе труда задуматься над тем, что я буду делать, когда переправлюсь на материк, что меня ожидает, если дикари поймают меня, и могу ли я надеяться на спасение, если они на меня нападут. Я не спрашивал себя даже, есть ли у меня хоть какая-нибудь возможность добраться до материка, не будучи замеченным ими; я не думал и о том, как я устроюсь со своим пропитанием и куда направлю свой путь, если мне посчастливится ускользнуть от врагов. Ни один из этих вопросов не приходил мне в голову: до такой степени я был поглощен мыслью попасть в лодке на материк. Я смотрел на свое тогдашнее положение как на самое несчастное, хуже которого может быть одна только смерть. Мне казалось, что если я доберусь до материка или пройду в своей лодке вдоль берега, как это я сделал в Африке, до какой-нибудь населенной страны, то, может быть, мне окажут помощь; а может быть, я встречу европейский корабль, который меня подберет. Наконец, в худшем случае, я умру, и со смертью кончатся все мои беды. Конечно, все мои мысли были плодом расстроенного ума, встревоженной души, изнывавшей от нетерпения, доведенной до отчаяния долгими страданиями, обманувшейся в своих надеждах в тот момент, когда предмет ее вожделений был, казалось, так близок. Я говорю о своем посещении обломков погибшего корабля,

на котором я рассчитывал найти живых людей, узнать от них, где я нахожусь и каким способом отсюда вырваться. Я был глубоко взволнован этими мыслями; все мое душевное спокойствие, которое я почерпал в покорности провидению, пропало без следа. Я не мог думать ни о чем другом, будучи весь поглощен планом путешествия на материк; он захватил меня так властно и так неудержимо, что я не в силах был противиться ему.

План этот волновал мои мысли часа два или больше, вся кровь моя кипела, и пульс бился, словно я был в лихорадке, от одного только возбуждения моего ума, пока, наконец, сама природа не пришла мне на выручку: истощенный столь долгим напряжением, я погрузился в глубокий сон. Казалось бы, что меня и во сне должны были преследовать те же бурные мысли, но на деле вышло не так: то, что мне приснилось, не имело никакого отношения к моему волнению. Мне снилось, будто, выйдя, как обыкновенно, поутру из своей крепости, я вижу на берегу две пироги и около них одиннадцать человек дикарей. С ними был еще двенадцатый — пленник, которого они собирались убить и съесть. Вдруг этот пленник в самую последнюю минуту вскочил, вырвался и побежал что есть мочи. И я подумал во сне, что он бежит в рощицу подле крепости, чтобы спрятаться там. Увидя, что он один и никто за ним не гонится, я вышел к нему навстречу и улыбнулся ему, стараясь его ободрить, а он бросился передо мной на колени, умоляя спасти его. Тогда я указал ему на мою лестницу, предложил перелезть через ограду, повел его в свою пещеру, и он стал моим слугой. Имея в своем распоряжении этого человека, я сказал себе: «Вот когда я могу наконец переправиться на материк. Теперь мне нечего бояться: этот человек будет служить мне лоцманом; он научит меня, что мне делать и где добыть провизию; он знает ту сторону и скажет мне, в каком направлении я должен держать путь, чтобы не быть съеденным дикарями, и каких мест следует избегать». С этой мыслью я проснулся — проснулся под свежим впечатлением сна, оживившего мою душу надеждой на избавление. Тем горше было мое разочарование и уныние, когда я вернулся к действительности и понял, что это был только сон.

Тем не менее виденный сон навел меня на мысль, что единственным для меня средством вырваться из моей тюрьмы было захватить кого-нибудь из дикарей, посещавших мой остров, и притом, если можно, одного из тех несчастных, обреченных на съедение, которых они привозили с собой в качестве пленников. Но было важное затруднение, мешавшее осуществлению моего плана: для того чтобы захватить нужного мне дикаря, я должен был напасть на весь отряд людоедов и перебить их всех до одного, а предприятие такого рода было не только отчаянным шагом,

имевшим очень мало надежды на успех, но самая позволительность его внушала мне большие сомнения: моя душа содрогалась при одной мысли о том, что мне придется пролить столько человеческой крови, хотя бы и ради собственного избавления. Нет надобности повторять те доводы, которые я приводил против такого поступка; они были изложены мной раньше. И хотя я приводил себе также и противоположные доводы, говоря, что это мои смертельные враги, что они не дадут мне спуску, очутись я в их власти, и что попытка освободиться от жизни, худшей, чем смерть, была бы только актом самосохранения, самозащиты, совершенно так, как если бы эти люди первые напали на меня, все же, повторяю, одна мысль о пролитии человеческой крови до такой степени ужасала меня, что я никак не мог с ней примириться.

Долго в моей душе шла борьба, но наконец страстная жажда освобождения одержала верх над всеми доводами совести и рассудка, и я решил захватить одного из дикарей, чего бы это мне ни стоило. Оставалось только придумать, каким образом привести в исполнение этот план. Но сколько я ни ломал голову, ничего у меня не выходило. В конце концов я решил подстеречь дикарей, когда они высадятся на остров, предоставив остальное случаю и тем соображениям, какие будут подсказаны обстоятельствами.

Согласно этому решению, я принялся караулить и так часто выходил из дому, что мне это смертельно наскучило: в самом деле, более полутора лет провел я в напрасном ожидании. Все это время я почти ежедневно ходил на южную и западную оконечность острова смотреть, не подъезжают ли к берегу лодки с дикарями, но лодки не показывались. Эта неудача очень меня огорчала и волновала, но, не в пример другим подобным случаям, мое желание достигнуть намеченной цели на этот раз нисколько не ослабевало, напротив, чем больше оттягивалось его осуществление, тем больше оно обострялось. Словом, насколько я прежде был осторожен, стараясь не попасть на глаза дикарям, настолько же нетерпеливо я теперь искал встречи с ними.

В своих мечтах я воображал, что справлюсь даже не с одним, а с двумя-тремя дикарями и сделаю их своими рабами, готовыми беспрекословно исполнять все мои приказания, поставив их в такое положение, чтобы они не могли нанести мне вреда. Я долго тешился этой мечтой, по случая осуществить ее все не представлялось, ибо дикари очень долго не показывались.

Прошло уже полтора года с тех пор, как я составил свой замысел, поэтому я начал уже считать его неосуществимым. Представьте же себе мое изумление, когда однажды ранним утром я увидел на берегу, на моей стороне острова, по меньшей мере пять индейских пирог. Все они стояли пустые: приехавшие в них

дикари куда-то скрылись. Я знал, что в каждую лодку садится обыкновенно по четыре, по шесть человек, а то и больше, и, сознаюсь, меня весьма смущала многочисленность прибывших гостей. Я решительно не знал, как я справлюсь один с двумя-тремя десятками дикарей. Обескураженный, расстроенный, я засел в своей крепости, однако сделал все заранее обдуманные приготовления для атаки и решил действовать, если будет нужно. Я долго ждал, прислушиваясь, не доносится ли шум со стороны дикарей, но наконец, сгорая от нетерпения узнать, что происходит, поставил ружье под лестницей и полез на вершину холма обыкновенным своим способом — прислоняя лестницу к уступу. Добравшись до вершины, я стал таким образом, чтобы голова моя не высовывалась над холмом, и принялся смотреть в подзорную трубу. Дикарей было не менее тридцати человек. Они развели на берегу костер и что-то стряпали на огне. Я не мог разобрать, как они стряпали и что именно, я видел только, что они плясали вокруг костра с нелепыми ужимками и прыжками.

Вдруг несколько человек отделились от танцующих и побежали в ту сторону, где стояли лодки, и вслед за тем я увидел, что они тащат к костру двух несчастных, очевидно, предназначенных на убой, которые, должно быть, лежали связанные в лодках. Одного из них сейчас же повалили, ударив по голове чем-то тяжелым (дубиной или деревянным мечом, какие употребляют дикари), и тащившие его люди немедленно принялись за работу: распороли ему живот и начали его потрошить. Другой пленник стоял тут же, ожидая своей очереди. В этот момент несчастный, почувствовав себя на свободе, очевидно, исполнился надеждой на спасение, он вдруг ринулся вперед и с невероятной быстротой пустился бежать по песчаному берегу прямо ко мне, то есть в ту сторону, где было мое жилье.

Сознаюсь, я страшно перепугался, когда увидел, что он бежит ко мне, тем более что мне показалось, будто вся ватага бросилась его догонять. Итак, первая половина моего сна сбывалась наяву: преследуемый дикарь будет искать убежища в моей роще; но я не мог рассчитывать, чтобы сбылась и другая половина этого сна, то есть чтобы остальные дикари не стали преследовать свою жертву и не нашли бы ее. Тем не менее я остался на своем посту и очень ободрился, увидев, что за беглецом гонятся всего два или три человека; я окончательно успокоился, когда стало ясно, что он бежит гораздо быстрее своих преследователей, расстояние между ними все увеличивается и, если ему удастся продержаться еще полчаса, они его не поймают.

От моей крепости бежавших отделяла бухточка, о которой я неоднократно упоминал в начале моего рассказа,— та самая, куда

я причаливал со своими плотами, когда перевозил вещи с нашего корабля. Я ясно видел, что беглец должен будет переплыть ее, иначе ему не уйти от погони. Действительно, он, не задумываясь, бросился в воду, в каких-нибудь тридцать взмахов переплыл бухточку, вылез на другой берег и, не сбавляя шагу, побежал дальше. Из трех его преследователей только двое бросились в воду, а третий не решился; он постоял на том берегу, поглядел вслед двум другим, потом повернулся и медленно пошел назад: он избрал себе благую часть, как увидит сейчас читатель.

Я заметил, что двум дикарям, гнавшимся за беглецом, понадобилось вдвое больше времени, чем ему, чтобы переплыть бухточку. И тут-то я всем существом моим почувствовал, что пришла пора действовать, если я хочу приобрести слугу, а может быть, товарища или помощника; само провидение, подумал я, призывает меня спасти жизнь несчастного. Не теряя времени, я сбежал по лестницам к подножию горы, захватил оставленные мною внизу ружья, затем с такой же поспешностью взобрался опять на гору, спустился с другой ее стороны и побежал к морю наперерез бегущим дикарям. Так как я взял кратчайший путь, к тому же вниз по склону холма, то скоро оказался между беглецом и его преследователями. Услышав мои крики, беглец оглянулся и в первый момент испугался меня, кажется, еще больше, чем своих врагов. Я сделал ему знак воротиться, а сам медленно пошел навстречу преследователям. Когда передний поравнялся со мной, я неожиданно бросился на него и сшиб с ног ударом ружейного приклада. Стрелять я боялся, чтобы не привлечь внимания остальных дикарей, хотя на таком большом расстоянии они едва ли могли услышать мой выстрел или увидеть дым от него. Когда передний из бежавших упал, его товарищ остановился, видимо, испугавшись, я же быстро побежал к нему. Но когда, приблизившись, я заметил, что он держит в руках лук и стрелу и целится в меня, мне оставалось только предупредить его: я выстрелил и положил его на месте. Несчастный беглец, видя, что оба его врага упали замертво (как ему казалось), остановился, но был до того напуган огнем и треском выстрела, что растерялся, не зная, идти ли ему ко мне или убегать от меня, хотя, вероятно, больше склонялся к бегству; тогда я стал опять кричать ему и делать знаки подойти ко мне, и он меня понял: сделал несколько шагов и остановился, потом снова сделал несколько шагов и снова остановился. Тут я заметил, что он весь дрожит, как в лихорадке: бедняга, очевидно, считал себя моим пленником, с которым я поступлю точно так же, как поступил с его врагами. Тогда я опять поманил его к себе и вообще старался ободрить его, как умел. Он подходил все ближе и ближе, через каждые десять — двенадцать шагов падая

на колени в знак благодарности за спасение его жизни. Я ласково ему улыбался и продолжал манить его рукой. Наконец, подойдя совсем близко, он снова упал на колени, поцеловал землю, прижался к ней лицом, взял мою ногу и поставил ее себе на голову. Последнее, по-видимому, означало, что он клянется быть моим рабом до гроба. Я поднял его, потрепал по плечу и всячески старался показать, что ему нечего бояться меня. Но начатое мной дело еще не было доведено до конца: дикарь, которого я повалил ударом приклада, был не убит, а только оглушен, и я заметил, что он начинает приходить в себя. Я указал на него спасенному мной человеку, обращая его внимание на то, что враг его жив. На это он сказал мне несколько слов на своем языке, и хоть я ровно ничего не понял, но самые звуки его речи были для меня сладостной музыкой: ведь за двадцать пять с лишком лет впервые услыхал я человеческий голос (если не считать моего собственного). Но было не время предаваться таким размышлениям: оглушенный мною дикарь оправился настолько, что уже сидел на земле, и я заметил, что мой дикарь сильно этого испугался. Желая его успокоить, я прицелился в его врага из другого ружья. Но тут мой дикарь (так я буду называть его впредь) стал показывать мне знаками, чтобы я дал ему висевший у меня через плечо обнаженный тесак. Я дал ему его. Он тотчас же подбежал к своему врагу и одним взмахом снес ему голову. Он сделал это так ловко и проворно, что ни один немецкий палач не мог бы сравниться с ним. Такое умение владеть тесаком очень удивило меня, ибо этот дикарь в своей жизни видел, должно быть, только деревянные мечи. Впоследствии я, впрочем, узнал, что дикари выбирают для своих мечей такое крепкое и тяжелое дерево и так их оттачивают, что одним ударом могут отрубать голову и руки. Сделав свое дело, мой дикарь вернулся ко мне с веселым и торжествующим видом, исполнил ряд непонятных мне телодвижений и положил подле меня тесак и голову убитого врага.

Но больше всего он был поражен тем, как я убил другого индейца на таком большом расстоянии. Он указывал на убитого и знаками просил позволения сходить взглянуть на него. Я позволил, и он сейчас же побежал туда. Он остановился над трупом в полном недоумении: поглядел на него, повернул его на один бок, потом на другой, осмотрел рану. Пуля попала прямо в грудь, и крови было немного, но, по всей вероятности, произошло внутреннее кровоизлияние, потому что смерть наступила мгновенно. Сняв с мертвеца его лук и колчан со стрелами, мой дикарь воротился ко мне. Тогда я повернулся и пошел, приглашая его следовать за мной и стараясь объяснить ему знаками, что оставаться опасно, так как за ним может быть новая погоня.

Дикарь ответил мне тоже знаками, что следовало бы прежде зарыть мертвецов, чтобы его враги не нашли их, если придут на это место. Я выразил свое согласие, и он сейчас же принялся за дело. В несколько минут он голыми руками выкопал в песке настолько глубокую яму, что в ней легко мог поместиться один человек; затем он перетащил в эту яму одного из убитых и завалил его землей. Так же проворно распорядился он и с другим мертвецом; словом, вся процедура погребения заняла у него не более четверти часа. Когда он кончил, я опять сделал ему знак следовать за мной и повел его не в крепость мою, а совсем в другую сторону — в дальнюю часть острова, к моему новому гроту. Таким образом, я не дал своему сну сбыться в этой части: дикарь не искал убежища в моей роще.

Когда мы с ним пришли в грот, я дал ему хлеба, кисть винограда и напоил водой, в чем он сильно нуждался после быстрого бега. Когда он подкрепился, я знаками пригласил его лечь и уснуть, показав ему в угол пещеры, где у меня лежала большая охапка рисовой соломы и одеяло, не раз служившие мне постелью. Бедняга не заставил себя долго просить: он лег и мгновенно заснул. Это был красивый малый высокого роста, безукоризненного сложения, с прямыми и длинными руками и ногами, небольшими ступнями и кистями рук. На вид ему можно было дать лет двадцать шесть. В его лице не было ничего дикого и свирепого, однако это было мужественное лицо, обладавшее в то же время мягким и нежным выражением европейца, особенно когда он улыбался. Волосы у него были черные, длинные и прямые, не имевшие ничего общего с курчавыми, как овечья шерсть, волосами негров; лоб высокий и открытый, цвет кожи не черный, а смуглый, но не того противного желто-бурого оттенка, как у бразильских или виргинских индейцев, а скорее оливковый, очень приятный для глаз, но который не так легко описать. Лицо у него было круглое и довольно пухлое, нос небольшой, но совсем не приплюснутый. Ко всему этому у него были быстрые блестящие глаза, хорошо очерченный рот с тонкими губами и правильной формы, белые, как слоновая кость, превосходные зубы.

Проспав или, вернее, продремав около получаса, он проснулся и вышел ко мне. Я в это время доил своих коз в загоне подле грота. Как только он меня увидел, он подбежал и распростерся передо мной, выражая всей своей позой самую смиренную благодарность и производя при этом множество самых странных телодвижений. Припав лицом к земле, он опять поставил себе на голову мою ногу и всеми доступными ему способами старался доказать мне свою бесконечную преданность и покорность и дать мне понять, что с этого дня он будет мне слугой на всю жизнь. Я по-

нял многое из того, что он хотел мне сказать, и, в свою очередь, постарался объяснить ему, что я им очень доволен. Тут же я начал говорить с ним и учить отвечать мне. Прежде всего я объявил, что его имя будет «Пятница», так как в этот день недели я спас ему жизнь. Затем я научил его произносить слово «господин» и дал понять, что это мое имя; научил также произносить «да» и «нет» и растолковал значение этих слов. Я дал ему молока в глиняном кувшине, предварительно отпив сам и обмакнув в него хлеб; я дал ему также лепешку, чтобы он последовал моему примеру; он с готовностью повиновался и знаками показал мне, что угощение пришлось ему очень по вкусу.

Мы провели с ним ночь в гроте, но как только рассвело, я подал ему знак следовать за мной. Я показал ему, что хочу его одеть, чему он, по-видимому, очень обрадовался, так как был совершенно наг. Когда мы проходили мимо того места, где были зарыты убитые нами дикари, он указал мне на приметы, которыми он для памяти обозначил могилы, и стал делать мне знаки, что нам следует откопать оба трупа и съесть их. В ответ на это я постарался как можно выразительнее показать свой гнев и свое отвращение,— показать, что меня тошнит при одной мысли об этом, и повелительным жестом приказал ему отойти от могил, что он и исполнил с величайшей покорностью. После этого я повел его на вершину холма, посмотреть, ушли ли дикари. Вытащив подзорную трубу, я навел ее на то место побережья, где они были накануне, но их и след простыл: не было видно ни одной лодки. Ясно было, что они уехали, не потрудившись поискать своих пропавших товарищей.

Но я не удовольствовался этим открытием; набравшись храбрости и сгорая от любопытства, я велел своему слуге следовать за мной, вооружив его своим тесаком и луком со стрелами, которыми, как я уже успел убедиться, он владел мастерски. Кроме того, я дал ему нести одно из моих ружей, а сам взял два других, и мы пошли к тому месту, где накануне пировали дикари: мне хотелось собрать теперь более точные сведения о них. На берегу моим глазам предстала такая страшная картина, что у меня замерло сердце и кровь застыла в жилах. В самом деле, зрелище было ужасное, по крайней мере, для меня, хотя Пятница остался совершенно равнодушен к нему. Весь берег был усеян человеческими костями, земля обагрена кровью; повсюду валялись недоеденные куски жареного человеческого мяса, огрызки костей и другие остатки кровавого пиршества, которым эти изверги отпраздновали свою победу над врагом. Я насчитал три человеческих черепа, пять рук; нашел в разных местах кости от трех или четырех ног и множество частей скелета. Пятница знаками

рассказал мне, что дикари привезли для пиршества четырех пленных, троих они съели, а четвертый был он сам. Насколько можно было понять из его объяснений, у этих дикарей произошло большое сражение с соседним племенем, к которому принадлежал он, Пятница. Враги Пятницы взяли много пленных и развезли в разные места, чтобы устроить пиршество и съесть их, совершенно так же, как сделала та шайка дикарей, которая привезла своих пленных на мой остров.

Я приказал Пятнице собрать все черепа, кости и куски мяса, свалить их в кучу, развести костер и сжечь. Я заметил, что моему слуге очень хотелось полакомиться человеческим мясом и что его каннибальские инстинкты очень сильны. Но я выказал такое негодование при одной мысли об этом, что он не посмел дать им волю. Всеми средствами я постарался дать понять ему, что убью его, если он ослушается меня.

Уничтожив остатки кровавого пиршества, мы вернулись в крепость, и я, не откладывая, принялся обшивать моего слугу. Прежде всего я дал ему холщовые штаны, которые достал из найденного мной на погибшем корабле сундука бедного артиллериста; после небольшой переделки они пришлись ему как раз впору. Затем я сшил ему куртку из козьего меха, приложив все свое умение, чтобы она вышла получше (я был в то время уже довольно сносным портным), и в заключение смастерил для него шапку из заячьих шкурок, очень удобную и довольно изящную. Таким образом, мой слуга был на первое время весьма сносно одет и остался очень доволен тем, что теперь стал похож на своего господина. Правда, сначала ему было стеснительно и неловко во всей этой сбруе; особенно мешали ему штаны, да и рукава были тесны ему под мышками и натирали плечи, так что пришлось переделать их там, где они беспокоили его. Но мало-помалу он привык к своему костюму и чувствовал себя в нем хорошо.

На другой день я стал думать, где бы мне его поместить. Чтобы устроить его поудобнее и в то же время чувствовать себя спокойно, я поставил его маленькую палатку в свободном пространстве между двумя стенами моей крепости — внутренней и наружной; так как сюда выходил наружный ход из моего погреба, то я устроил в нем настоящую дверь из толстых досок в прочном наличнике и приладил ее таким образом, что она отворялась внутрь, и на ночь запирал на засов; лестницы я тоже убирал к себе; таким образом, Пятница никак не мог проникнуть ко мне во внутреннюю ограду, а если бы вздумал попытаться, то непременно нашумел бы и разбудил меня. Дело в том, что все пространство крепости за внутренней оградой, где стояла моя палатка,

представляло крытый двор. Крыша была сделана из длинных жердей, одним концом упиравшихся в гору. Для большей прочности я укрепил эти жерди поперечными балками и густо переплел рисовой соломой, толстой, как камыш; в том же месте крыши, которое я оставил незакрытым для того, чтобы входить по лестнице, я приладил откидную дверцу, которая при малейшем напоре снаружи падала с громким стуком. Все оружие я на ночь брал к себе.

Но эти предосторожности были совершенно излишни; никто еще не имел такого любящего, такого верного и преданного слуги, какого имел я в лице моего Пятницы: ни раздражительности, ни упрямства, ни своеволия; всегда ласковый и услужливый, он был привязан ко мне, как к родному отцу. Я уверен, что, если бы понадобилось, он пожертвовал бы ради меня жизнью. Я так много раз убеждался в преданности Пятницы, что у меня исчезли всякие сомнения на его счет, и я скоро пришел к убеждению, что мне незачем ограждаться от него.

Размышляя обо всем этом, я с удивлением обнаруживал, что хотя по неисповедимому велению вседержителя множество его творений и лишены возможности дать благое применение своим душевным способностям, однако они одарены ими в такой же мере, как и мы. Как и у нас, у них есть разум, чувство привязанности, доброта, сознание долга; признательность, верность в дружбе, способность возмущаться несправедливостью, словом, все нужное для того, чтобы творить и воспринимать добро; и когда богу бывает угодно дать им случай для надлежащего применения этих способностей, они пользуются им с такою же, даже с большей готовностью, чем мы. При этом я иногда с большой грустью задумывался над тем, как мало пользуемся мы всем этим,— что подтверждается рядом примеров,— хотя наш ум озарен светом просвещения, а душевные силы — духом божьим и пониманием его заповедей; почему, думал я, богу угодно было сокрыть светоч знания от стольких миллионов людей, тогда как (если судить по этому бедному дикарю) эти люди могли пользоваться им лучше, чем делаем это мы сами? Отсюда я иногда заходил так далеко, что дерзал обвинять провидение за произвольность в распределении истины, познание которой дано одним, но скрыто от других, а между тем от всех в одинаковой мере требуется исполнение долга. Но эти мысли прерывались и заканчивались следующим выводом: во-первых, мы не знаем, все ли будут осуждены по одной и той же истине или закону, потому что бог, будучи по природе своей бесконечно благ и справедлив, осудит не тех из своих созданий, кто не познал его, но тех, кто поступил против законов своей совести, как говорит Священное писание, хотя бы

сущность его и была для них сокрыта; во-вторых, все мы подобны глине в руках горшечника, а может ли сосуд спросить у своего создателя: для чего ты сотворил меня таким, каков я есть?

Но возвращаюсь к моему новому товарищу. Он мне очень нравился, и я вменил себе в обязанность научить его всему, что могло быть полезным ему, а главное — говорить и понимать, что говорю я. Он оказался очень способным учеником, всегда веселым, всегда прилежным; он так радовался, когда понимал меня, когда ему удавалось объяснить мне свою мысль, что для меня было истинным удовольствием заниматься с ним. С тех пор как он был со мной, мне жилось так легко и приятно, что, если бы только я мог считать себя в безопасности от других дикарей, я, право, без сожаления согласился бы остаться на острове до конца моей жизни.

Дня через два или три после того, как я привел Пятницу в мою крепость, мне пришло в голову, что если я хочу отучить его от ужасной привычки есть человеческое мясо, то надо отбить у него вкус к этому блюду и приучить к другой пище. И вот однажды утром, отправляясь в лес, я взял его с собой. У меня было намерение зарезать козленка из моего стада, принести его домой и сварить, но по дороге я увидел под деревом дикую козу с парой козлят. «Постой!» — сказал я Пятнице, схватив его за руку, и сделал ему знак не шевелиться, потом прицелился, выстрелил и убил одного из козлят. Бедный дикарь, который видел уже, как я убил издали его врага, но не понимал, каким образом это произошло, был страшно поражен: он задрожал, зашатался; я думал, он сейчас лишится чувств. Он не видел козленка, в которого я целился, но приподнял полу своей куртки и стал щупать, не ранен ли он. Бедняга вообразил, вероятно, что я хотел убить его, так как упал передо мной на колени, стал обнимать мои ноги и долго говорил мне что-то на своем языке. Я, конечно, не понял его, но было ясно, что он просит не убивать его.

Мне скоро удалось его убедить, что я не имею ни малейшего намерения причинить ему вред. Я взял его за руку, засмеялся и, указав на убитого козленка, велел сбегать за ним, что он и исполнил. Покуда он возился с козленком и выражал свое недоумение по поводу того, каким способом тот убит, я снова зарядил ружье. Немного погодя я увидел на дереве, на расстоянии ружейного выстрела от меня, большую птицу, которую я принял за ястреба. Желая дать Пятнице маленький наглядный урок, я подозвал его к себе, показал ему пальцем сперва на птицу, которая оказалась не ястребом, но попугаем, потом на ружье, потом на землю под тем деревом, на котором сидела птица, приглашая его смотреть, как она упадет. Вслед за тем я выстрелил, и он

действительно увидел, что попугай упал. Пятница и на этот раз перепугался, несмотря на все мои объяснения; он был ошеломлен еще и потому, что он не видел, как я зарядил ружье, и, вероятно, думал, что в этом оружии сидит какая-то волшебная разрушительная сила, приносящая смерть на любом расстоянии человеку, зверю, птице, словом, всякому живому существу. Еще долгое время он не мог совладать с изумлением. в которое его поверг мой выстрел. Мне кажется, что, если бы я ему только позволил, он стал бы воздавать божеские почести мне и моему ружью. Первое время он не решался дотронуться до ружья, но зато разговаривал с ним, как с живым существом, когда находился подле него. Он признался мне потом, что просил ружье не убивать его.

Но возвратимся к событиям описываемого дня. Когда Пятница немного опомнился от испуга, я приказал ему принести мне убитую дичь. Он сейчас же пошел, но замешкался, отыскивая птицу, потому что, как оказалось, я не убил попугая, а только ранил, и он отлетел довольно далеко от того места, где я его подстрелил. В конце концов Пятница все-таки нашел его и принес; так как я видел, что Пятница все еще не понял действия ружья, то воспользовался его отсутствием, чтобы снова зарядить ружье, в расчете, что нам попадется еще какая-нибудь дичь, но больше ничего не попадалось. Я принес козленка домой и в тот же вечер снял с него шкуру и выпотрошил его; потом, отрезав хороший кусок свежей козлятины, сварил ее в глиняном горшке, и у меня вышел отличный бульон. Я начал есть сам, затем угостил Пятницу. Ему понравилась еда, только он удивился, зачем я ем суп и мясо с солью. Он стал показывать мне знаками, что с солью невкусно. Взяв в рот щепотку соли, он принялся отплевываться и сделал вид, что его тошнит от нее, а потом выполоскал рот водой. Тогда я, в свою очередь, положил в рот кусочек мяса без соли и начал плевать, показывая, что мне противно есть без соли. Но это не произвело на Пятницу никакого впечатления: я так и не мог приучить его солить мясо или суп. Лишь долгое время спустя он начал класть соль в кушанье, да и то немного.

Накормив таким образом моего дикаря вареным мясом и супом, я решил угостить его на другой день жареным козленком. Изжарил я его особенным способом, над костром, как это делается иногда у нас в Англии. По бокам костра я воткнул в землю две жерди, укрепил между ними поперечную жердь, повесил на нее большой кусок мяса и поворачивал его до тех пор, пока он не изжарился. Пятница пришел в восторг от моей выдумки; но удовольствию его не было границ, когда он попробовал моего жаркого: самыми красноречивыми жестами он дал мне понять, как ему нравится это блюдо, и наконец объявил, что никогда больше

не станет есть человеческого мяса, чему я, конечно, весьма обрадовался.

На следующий день я засадил его за работу: заставил молотить и веять ячмень, показав наперед, как я это делаю. Он скоро понял и стал работать очень усердно, особенно когда узнал, что это делается для приготовления из зерна хлеба: я замесил при нем тесто и испек хлеб. В скором времени Пятница был вполне способен заменить меня в этой работе.

Так как теперь я должен был прокормить два рта вместо одного, то мне необходимо было увеличить свое поле и сеять больше зерна. Я выбрал поэтому большой участок земли и принялся его огораживать. Пятница не только весьма усердно, но с видимым удовольствием помогал мне в этой работе. Я объяснил ему назначение ее, сказав, что это будет новое поле для хлеба, потому что нас теперь двое и хлеба надо вдвое больше. Его очень тронуло то, что я так забочусь о нем: он всячески старался мне растолковать, что он понимает, насколько мне прибавилось дела теперь, когда он со мной, и что лишь бы я ему дал работу и указывал, что надо делать, а уж он не побоится труда.

Это был самый счастливый год моей жизни на острове. Пятница научился довольно сносно говорить по-английски: он знал названия почти всех предметов, которые я мог спросить у него, и всех мест, куда я мог послать его. Он очень любил разговаривать, так что нашлась наконец работа для моего языка, столько лет пребывавшего в бездействии, по крайней мере, что касается произнесения членораздельных звуков. Но, помимо удовольствия, которое мне доставляли наши беседы, самое присутствие этого малого было для меня постоянным источником радости — до такой степени он пришелся мне по душе. С каждым днем меня все больше и больше пленяли его честность и чистосердечие. Малопомалу я всем сердцем привязался к нему, да и он, со своей стороны, так меня полюбил, как, я думаю, никого не любил до этого.

Как-то раз мне вздумалось разузнать, не страдает ли он тоской по родине и не хочется ли ему вернуться домой. Так как в то время он уже настолько свободно владел английским языком, что мог отвечать почти на все мои вопросы, то я спросил его, побеждало ли когда-нибудь в сражениях племя, к которому он принадлежал. Он улыбнулся и ответил: «Да, да, мы всегда биться лучше»,— то есть всегда бьемся лучше других, хотел он сказать. Затем между нами произошел следующий диалог.

Господин. Так вы всегда лучше бьетесь, говоришь ты. А как же вышло тогда, что ты попался в плен, Пятница?

Пятница. А наши все-таки много побили.

Господин. Но если твое племя побило тех, то как же вышло, что тебя взяли?

Пятница. Их было больше, чем наших, в том месте, где был я. Они схватили один, два, три и меня. Наши побили их в другом месте, где я не был; там наши схватили — один, два, три, много тысяч.

Господин. Отчего же ваши не пришли вам на помощь и не освободили вас?

Пятница. Те увели один, два, три и меня и посадили в лодку, а у наших в то время не было лодки.

Господин. А скажи мне, Пятница, что делают ваши с теми людьми, которые попадутся к ним в плен? Тоже куда-нибудь увозят на лодках и съедают потом, как те, чужие?

Пятница. Да, наши тоже кушают людей; все кушают.

Господин. А куда они их увозят?

Пятница. Разные места — куда хотят.

Господин. А сюда привозят?

Пятница. Да, да, и сюда. Разные места.

Господин. А ты здесь бывал с ними?

Пятница. Бывал. Там бывал (указывает на северо-западную оконечность острова, служившую, по-видимому, местом сборища его соплеменников).

Таким образом, оказалось, что мой слуга Пятница бывал раньше в числе дикарей, посещавших дальние берега моего острова, и принимал участие в таких же каннибальских пирах, как тот, на который он был привезен в качестве жертвы. Когда некоторое время спустя я собрался с духом сводить его на тот берег, о котором я уже упоминал, он тотчас же узнал местность и рассказал мне, что один раз, когда он приезжал на мой остров со своими, они на этом самом месте убили и съели двадцать человек мужчин, двух женщин и ребенка. Он не знал, как сказать по-английски «двадцать», и, чтобы объяснить мне, сколько человек они тогда съели, положил двадцать камешков один подле другого и просил меня сосчитать.

Я рассказываю об этих беседах с Пятницей потому, что они служат введением к дальнейшему. После описанного диалога я спросил его, далеко ли до земли от моего острова и часто ли погибают их лодки, переплывая это расстояние. Он отвечал, что путь безопасен и что ни одна лодка не погибала, потому что невдалеке от нашего острова проходит течение и по утрам ветер всегда дует в одну сторону, а к вечеру — в другую.

Сначала я думал, что течение, о котором говорил Пятница, находится в зависимости от прилива и отлива, но потом узнал, что оно составляет продолжение течения великой реки Ориноко,

впадающей в море неподалеку от моего острова, который, таким образом, как я узнал впоследствии, приходится против ее устья. Полоса же земли к северо-западу от моего острова, которую я принимал за материк, оказалась большим островом Тринидадом, лежащим к северу от устья той же реки. Я засыпал Пятницу вопросами об этой земле и ее обитателях: каковы там берега, каково море, какие племена живут поблизости. Он с величайшей готовностью рассказал все, что знал сам. Спрашивал я его также, как называются различные племена, обитающие в тех местах, но большого толку не добился. Он твердил только одно: «Кариб, Кариб». Нетрудно было догадаться, что он говорит о караибах, которые, как показано на наших географических картах, обитают именно в этой части Америки, занимая всю береговую полосу от устья Ориноко до Гвианы и дальше, до острова Сен-Мартена. Пятница рассказал мне еще, что далеко «за луной», то есть в той стороне, где садится луна, или, другими словами, к западу от его родины, живут такие же, как я, белые бородатые люди (тут он показал на мои длинные бакенбарды, о которых я уже упоминал выше), что эти люди убили много других людей. Я понял, что он говорит об испанцах, прославившихся на весь мир своими жестокостями в Америке, где во многих племенах память о них передается от отца к сыну.

На мой вопрос, не знает ли он, есть ли какая-нибудь возможность переправиться к белым людям с нашего острова, он отвечал: «Да, да, это можно: надо плыть на два лодка». Я долго не понимал, что он хотел сказать своими «двумя лодками», но наконец, хотя и с великим трудом, догадался, что он имеет в виду большое судно величиной в две лодки.

Этот разговор очень утешил меня: с того дня у меня возникла надежда, что рано или поздно мне удастся вырваться из моего заточения и что мне поможет в этом мой бедный дикарь.

В течение моей долгой совместной жизни с Пятницей, когда он научился обращаться ко мне и понимать меня, я не упускал случаев насаждать в его душе основы религии. Как-то раз я его спросил: «Кто тебя сделал?» Бедняга не понял меня: он подумал, что я спрашиваю, кто его отец. Тогда я решил попробовать иначе: я спросил его, кто сделал море и землю, по которой мы ходим, кто сделал горы и леса. Он отвечал: «Старик по имени Бенамуки, который живет высоко-высоко». Он ничего не мог сказать мне об этой важной особе, кроме того, что он очень стар, гораздо старше моря и земли, старше луны и звезд. Когда же я спросил его, почему все существующее не поклоняется этому старику, если он создал все, лицо Пятницы приняло серьезное выражение, и он простодушно ответил: «Все на свете говорит ему: «О!» Затем я спросил его, что делается с людьми его племени, когда они уходят

отсюда. Он сказал: «Все они идут к Бенамуки».— «И те, кого они съедают,— продолжал я,— тоже идут к Бенамуки?» — «Да»,— отвечал он.

Так начал я учить его познавать истинного бога. Я сказал ему, что великий творец всего сущего живет на небесах (тут я показал рукой на небо) и правит миром тою же властью и тем же провидением, каким он создал его, что он всемогущ, может сделать с нами все, что захочет, все дать и все отнять. Так постепенно я открывал ему глаза. Он слушал с величайшим вниманием. С радостным умилением принял он мой рассказ об Иисусе Христе, посланном на землю для искупления наших грехов, о наших молитвах богу, который всегда слышит нас, хоть он и на небесах. Один раз он сказал мне: «Если ваш бог живет выше солнца и все-таки слышит вас, значит, он больше Бенамуки, который не так далеко от нас и все-таки слышит нас только с высоких гор, когда мы поднимаемся, чтобы разговаривать с ним».— «А ты сам ходил когда-нибудь на те горы беседовать с ним?» — спросил я. «Нет,— отвечал он,— молодые никогда не ходят, только старики, которых мы называем Увокеки (насколько я мог понять из его объяснений, их племя называет так свое духовенство или жрецов). Увокеки ходят туда и говорят там: «О!» (на его языке это означало: молятся) — а потом приходят домой и возвещают всем, что им говорил Бенамуки». Из всего этого я заключил, что обман практикуется духовенством даже среди самых невежественных язычников и что искусство облекать религию тайной, чтобы обеспечить почтение народа к духовенству, встречается не только у римских католиков, но, вероятно, во всем свете, даже среди самых зверских и варварских дикарей.

Я всячески старался объяснить Пятнице этот обман и сказал ему, что уверения их стариков, будто они ходят на горы говорить «О!» богу Бенамуки и будто он возвещает им там свою волю, пустые враки и что если они и беседуют с кем-нибудь на горе, так разве со злым духом. Тут я подробно распространился о дьяволе, о его происхождении, о его восстании против бога, о его ненависти к людям и причинах ее; рассказал, как он выдает себя за бога среди народов, не просвещенных словом божьим, и заставляет их поклоняться ему; к каким он прибегает уловкам, чтобы погубить человеческий род, как он тайком проникает в нашу душу, потакая нашим страстям, как он умеет ставить нам западни, приспособляясь к нашим склонностям и заставляя таким образом человека быть собственным своим искусителем и добровольно идти на погибель.

Я видел, что гораздо труднее было запечатлеть в уме Пятницы истинное представление о дьяволе или злом духе, чем вну-

шить ему идею бытия божьего. В последнем случае сама природа помогла тем доводам, которые я приводил в доказательство существования великой первопричины, господствующей и управляющей силы, тайного и могущественного провидения, и в подтверждение справедливости поклонения тому, кто создал все, и так далее; ничего подобного не представлялось Пятнице при определении злого духа: происхождение его, сущность, природа и особенно стремление делать зло людям и склонять их к нему были непонятны для этого доброго дикаря.

Однажды Пятница поразил меня вопросом, в сущности, естественным и невинным, на который я, однако же, затруднился ответить. Я много говорил ему о всемогуществе божьем, о его отвращении к греху, о том, что уготовил он для делателей неправды, о том, что он сотворил все и сможет в одно мгновение уничтожить все на свете; и он все время слушал очень внимательно.

Но когда я перешел к рассказу о злом духе, который есть враг божий, сказал, что он живет в сердце человека и пускает в ход всю свою злость и коварство с тем, чтобы уничтожить благие цели провидения и разрушить царство Христа на земле, Пятница остановил меня следующими словами:

— Хорошо, ты говоришь, бог такой сильный, такой могуч, разве он не больше сильный, чем дьявол?

— Да, да, Пятница,— ответил я,— бог сильнее и могущественнее дьявола, и потому мы просим бога, чтобы он сокрушил и поверг его в бездну, чтобы он дал нам силу устоять против его искушений и отвратил от нас его огненные стрелы.

— Но,— возразил он,— раз бог больше сильный и больше может сделать, почему он не убить дьявол, чтобы не было зло?

Его вопрос до странности поразил меня; ведь как-никак, хотя я был теперь уже старик, но в богословии я был только начинающий и не очень-то хорошо умел отвечать на казуистические вопросы и разрешать затруднения. Сначала я не знал, что ему ответить, сделал вид, что не слышал его, и переспросил, что он сказал. Но он слишком серьезно добивался ответа, чтобы позабыть свой вопрос, и повторил его такими же точно ломаными словами, как и раньше. Пятница, видимо, был сильно заинтересован ответом и слово в слово повторил свой вопрос. Собравшись немного с мыслями, я сказал:

— В конце концов бог жестоко накажет дьявола, он сохраняет его до дня Страшного суда, когда ввергнет его в бездонную пропасть, где он и будет гореть в вечном огне.

Но это объяснение не удовлетворило Пятницу. Он посмотрел на меня, повторяя мои слова:

— Сохраняет до конца... я не понимать, почему не убить дьявола теперь, не убить раньше?

— А ты лучше спроси,— сказал я,— почему бог не убьет тебя и меня; ведь мы тоже грешим и оскорбляем его, но он хранит нас, чтобы мы раскаялись и были прощены.

Он задумался и потом с большим чувством ответил: «Хорошо, хорошо... значит, ты, я, дьявол, все грешники... сохраняет... покаются... бог простит всех». Этими словами он сбил меня окончательно с толку, и они мне ясно показали, что хотя простые, природные представления и указывают мыслящему существу путь к познанию бога и поклонению и благоговению перед ним, как перед верховным существом, тем не менее вследствие той же нашей природы мы только божественным откровением можем дойти до представления об Иисусе Христе как об искупителе, посреднике, ходатае и заступнике нашем у подножия всевышнего. Ничто, кроме откровения, говорю я, не может запечатлеть всего этого в нашей душе, и потому Евангелие господа нашего Иисуса Христа, то есть слово божие и дух святой, предвозвещенные народу для поучения,— это важнейшие наставники душ наших в истинном познании бога и путей спасения.

Вот почему я уклонился от продолжения этой беседы и быстро встал, как бы вспомнив о неотложном деле, затем придумал предлог услать Пятницу куда-то, а сам стал молиться. Я горячо просил бога дать мне силы и способность воспитать этого бедного дикаря, одухотворить его сердце и приготовить к познанию бога во Христе, примирить его с ним. Я просил всевышнего руководить мною в проповеди слова божьего, чтобы убедить дикаря, открыть ему глаза и спасти его душу.

По возвращении Пятницы я возобновил с ним беседу. Я говорил ему об искуплении грехов наших спасителем мира, об учении святого Евангелия, которое было предвозвещено небом, то есть о покаянии перед богом и вере в Иисуса Христа. Я объяснил, как мог, почему наш божественный искупитель принял на себя образ не ангела, а человека, сына Авраамова, и почему вследствие этого падшие ангелы не имели доли в искуплении, которое уготовано только для заблудших овец из дома Израиля, и тому подобное.

Одному богу известно, что в моих рассказах было больше добрых желаний и намерений, чем знаний, и надо признаться, что при этом со мною произошло то, что в подобных случаях бывает со многими. Поучая и наставляя Пятницу, я учился и сам; то, что прежде мне было неизвестно или о чем я прежде не рассуждал, теперь ясно представлялось в сознании, когда я передавал это моему дикарю. Я никогда не был столь одушевлен изучением спасительных истин, как теперь, в беседе с ним. Я не знаю,

пробудил ли я чувство в этом несчастном, но у меня были основания благодарить небо за то, что оно послало его. Мое горе облегчалось, жизнь стала для меня приятнее. И когда я вспомнил, что, заключенный в своем одиночестве, я обратил взоры к небу не только затем, чтобы увидеть карающую десницу провидения, но и затем, чтобы стать орудием спасения жизни, а может быть, и души несчастного дикаря — приведя ее к познанию веры и учения Христа,— тогда сердце мое наполнилось восторгом, и я радовался своему прибытию на остров, который прежде считал источником всех моих бедствий и страданий.

В таком душевном настроении я провел остальное время моего заточения на острове. Мои беседы с Пятницею поглощали свободные часы, и я прожил три года в полном довольстве и счастье, если есть полное счастье на земле. Теперь мой дикарь стал добрым христианином, гораздо лучшим, чем я; надеюсь, впрочем, и благодарю за это создателя, что, если я был и грешнее этого дитяти природы, однако мы оба одинаково были в покаянном настроении и уповали на милосердие божье. Мы могли читать здесь слово божье, и, внимая ему, мы были так же близки к богу, как если бы жили в Англии.

Я любил это чтение и толковал его Пятнице согласно своему пониманию, а он возбуждал мой ум вопросами, которые заставляли меня глубже, чем прежде, вдумываться в характер и смысл учения. Но учение о познании бога и учение Иисуса Христа так ясно и просто изложены в Ветхом и Новом заветах, что одно чтение их доставляло мне бесконечное счастье и наслаждение. Одно это чтение породило во мне чувство долга и влекло меня к чистосердечному покаянию; оно заставило меня всеми силами души полюбить спасителя, этот источник жизни и избавления; оно преобразовало мою нравственную жизнь, подчинив ее заповедям божьим. Это же чтение воспитало моего бедного дикаря и сделало его таким христианином, какого я не встречал больше в своей жизни.

Что касается разных тонкостей в истолковании того или другого библейского текста — тех богословских комментариев, из-за которых возгорелось столько споров и вражды,— то нас они не занимали. Так же мало интересовались мы вопросами церковного управления и тем, какая церковь лучше. Все эти частности нас не касались, да и кому они нужны? Я, право, не вижу, какая польза была бы нам от того, что мы изучили бы все спорные пункты нашей религии, породившие на земле столько смуты, и могли бы высказать свое мнение по каждому из них. Слово божье было нашим руководителем на пути к спасению, а может ли быть у человека более надежный руководитель? Однако я должен воз-

вратиться к повествовательной части моего рассказа и изложить все события по порядку.

Когда мы с Пятницей познакомились ближе и он не только мог понимать почти все, что я ему говорил, но и сам стал довольно бегло, хотя и ломаным языком, изъясняться по-английски, я рассказал ему историю моих похождений, по крайней мере, то, как я попал на мой остров, сколько лет прожил на нем и как провел эти годы. Я открыл ему тайну пороха и пуль, потому что для него это была действительно тайна, и научил стрелять. Я подарил ему нож, от которого он пришел в полное восхищение, и сделал ему портупею вроде тех, на каких у нас в Англии носят тесаки, только вместо тесака я вооружил его топором, так как он мог служить не только оружием во многих случаях, но и рабочим инструментом.

Я рассказал Пятнице об европейских странах, в частности, об Англии, объяснив, что я оттуда родом; описал, как мы живем, как совершаем богослужение, как обращаемся друг с другом, как торгуем во всех частях света, переправляясь по морю на кораблях. Я рассказал ему о крушении корабля, на котором я побывал, и показал ему место, где находились его остатки, унесенные сейчас в море. Показал я ему остатки лодки, в которой мы спасались и которую потом, как я уже говорил, выбросило на мой остров. Эта лодка — я был не в силах сдвинуть ее с места — теперь совсем развалилась. Увидев ее, Пятница задумался и долго молчал. Я спросил его, о чем он думает, и он ответил:

— Я видел лодка, как эта: плавала то место, где мой народ.

Я долго не понимал, что он хотел сказать; наконец, после долгих расспросов, выяснилось, что точно такую лодку прибило к берегу в той земле, где живет его племя. Я подумал, что какой-нибудь европейский корабль потерпел крушение около тех берегов и что лодку с него сорвало волнами. Но почему-то мне не пришло в голову, что лодка могла быть с людьми, и, продолжая свои расспросы, я осведомился только о лодке.

Пятница описал мне ее очень подробно, но лишь тогда, когда он с оживлением прибавил в конце: «Белые люди не потонули,— мы их спасли»,— я уяснил себе все значение происшествия, о котором он говорил, и спросил его, были ли в лодке белые люди.

— Да,— ответил он,— полная лодка белых людей.

— Сколько их было? — Он насчитал по пальцам семнадцать.

— Где же они? Что с ними сталось?

Он отвечал:

— Они живы; живут у наших, наши места.

Это навело меня на новую догадку: не с того ли самого корабля, что разбился в виду моего острова, были эти семнадцать

человек? Убедившись, что корабль наскочил на скалу и что ему грозит неминуемая гибель, все они покинули его и пересели в шлюпку, а потом их прибило к земле дикарей, где они и остались. Я стал допытываться у Пятницы, наверно ли он знает, что белые люди живы. Он с живостью отвечал: «Наверно, наверно»,— и прибавил, что скоро будет четыре года, как они живут у его земляков, и что те не только не обижают, но даже кормят их. На мой вопрос, каким образом могло случиться, что дикари не убили и не съели белых людей, он ответил:

— Белые люди стали нам братья,— то есть, насколько я понял его, заключили с ними мир, и прибавил: — Наши кушают людей только на войне.— Это должно было означать только военнопленных из враждебных племен.

Прошло довольно много времени после этого рассказа. Както в ясный день, поднявшись на вершину холма в восточной части острова, откуда, если припомнит читатель, я много лет тому назад увидел материк Америки, Пятница долго вглядывался в даль по тому направлению и вдруг принялся прыгать, плясать и звать меня, потому что я был довольно далеко от него. Я подошел и спросил, в чем дело.

— О, радость! О, счастье! — воскликнул он.— Вон там, смотри, отсюда видно... моя земля, мой народ!

Все лицо его преобразилось от радости: глаза блестели, он весь был охвачен неудержимым порывом,— казалось, он так бы и полетел туда, к своим. Это наблюдение навело меня на мысли, благодаря которым я стал относиться с меньшим доверием к моему слуге. Я убежден, что при первой возможности Пятница вернется на родину и там позабудет не только свою новую веру, но и все, чем он мне обязан, и, пожалуй, даже предаст меня своим соплеменникам: приведет их сотню или две на мой остров; они убьют меня и съедят, и он будет пировать вместе с ними с таким же легким сердцем, как прежде, когда все они приезжали сюда праздновать свои победы над дикарями враждебных племен.

Но, думая так, я был жестоко несправедлив к честному малому, о чем потом очень жалел. Подозрительность моя с каждым днем возрастала, а сделавшись осторожнее, я, естественно, начал чуждаться Пятницы и стал к нему холоднее. Так продолжалось несколько недель, но, повторяю, я был совершенно неправ: у этого честного, добродушного малого не было и в помышлении ничего дурного; он не погрешил тогда против правил христианской морали, не изменил нашей дружбе, в чем я и убедился наконец, к великой своей радости.

Пока я подозревал его в злокозненных замыслах против меня, я, разумеется, пускал в дело всю свою дипломатию, чтобы

заставить Пятницу проговориться; но каждое его слово дышало такою простодушной искренностью, что мне стало стыдно моих подозрений; я успокоился и вернул свое доверие моему другу. А он даже не заметил моего временного к нему охлаждения, и это было для меня только лишним доказательством его искренности.

Однажды, когда мы с Пятницей опять поднялись на этот самый холм (только в этот раз на море стоял туман и берегов материка не было видно), я спросил его:

— А что, Пятница, хотелось бы тебе вернуться на родину к своим?

— Да,— отвечал он,— я был бы много рад воротиться к своим.

— Что ж бы ты там делал? — продолжал я.— Превратился бы опять в дикаря и стал бы, как прежде, есть человеческое мясо?

Его лицо приняло серьезное выражение; он покачал головой и ответил:

— Нет, нет! Пятница сказал бы там им всем: живите хорошо, молитесь богу, кушайте хлеб, козлиное мясо, молоко, не кушайте человека.

— Ну, если ты им это скажешь, они тебя убьют.

Он взглянул на меня все так же спокойно и сказал:

— Нет, не убьют; они будут рады учить доброе (будут рады научиться добру — хотел он сказать).— Затем он прибавил: — Они много учились от бородатых людей, что приехали на лодке.

— Так тебе хочется воротиться домой? — повторил я свой вопрос.

Он улыбнулся и сказал:

— Я не могу плыть так далеко.— Когда же я предложил сделать для него лодку, он отвечал, что с радостью поедет, если я поеду с ним.

— Как же мне ехать? — возразил я.— Ведь они меня съедят!

— Нет, нет, не съедят,— проговорил он с жаром,— я сделаю так, что не съедят, я сделаю, что они будут тебя много любить.— Мой честный Пятница хотел этим сказать, что он расскажет своим землякам, как я убил его врагов и спас ему жизнь, и что за это они полюбят меня. После того он рассказал мне на своем ломаном языке, с какой добротой относились они к семнадцати белым бородатым людям, которых прибило к берегу в их земле.

С того времени, признаюсь, у меня засела мысль попробовать переправиться на материк и разыскать там бородатых людей, о которых говорил Пятница; не могло быть сомнения, что это испанцы или португальцы, и я был уверен, что, если только мне удастся присоединиться к ним, мы сообща отыщем способ до-

браться до какой-нибудь цивилизованной страны, между тем как, находясь в одиночестве, на острове, в сорока милях от материка, я не имел никакой надежды на освобождение. И вот спустя несколько дней я опять завел с Пятницей тот же разговор. Я сказал, что дам ему лодку, чтоб он мог вернуться на родину, и повел его на противоположную оконечность острова, где стоял мой фрегат. Вычерпав из него воду (для большей сохранности он был у меня затоплен), я подвел его к берегу, показал ему, и мы оба сели в него.

Пятница оказался превосходным гребцом: лодка шла у него почти так же быстро, как у меня. Когда мы отошли от берега, я ему сказал: «Ну, что же, Пятница, поедем к твоим землякам?» Он посмотрел на меня недоумевающим взглядом: очевидно, лодка казалась ему слишком маленькой для такого далекого путешествия. Тогда я сказал ему, что у меня есть лодка побольше, и на следующий день повел его к месту, где была моя первая лодка, которую я не мог спустить на воду. Пятница нашел ее величину достаточной. Но так как со дня постройки этой лодки прошло двадцать два или двадцать три года и все это время она оставалась под открытым небом, где ее припекало солнце и мочило дождем, то вся она рассохлась и прогнила. Пятница заявил, что подобная лодка будет вполне подходящей и что на нее можно будет нагрузить довольно еды, довольно хлеба, довольно питья.

В общем, мое намерение предпринять поездку на материк вместе с Пятницей настолько окрепло, что я предложил ему построить такую же точно лодку, на которой он сможет уехать домой. Он не ответил ни слова, но стал очень сумрачным и грустным. Когда же я спросил, что с ним, он сказал:

— За что господин сердится на Пятницу? Что я сделал?

— С чего ты взял, что я сержусь на тебя? Я нисколько не сержусь,— сказал я.

— Не сержусь, не сержусь! — Он повторил эти слова несколько раз.— А зачем отсылаешь Пятницу домой?

— Да ведь сам же ты говорил, что тебе хочется домой,— заметил я.

— Да, хочется,— отвечал он,— но только чтоб оба. Господин не поедет — Пятница не поедет: Пятница не хочет без господина.— Одним словом, он и слышать не хотел о том, чтобы покинуть меня.

— Но послушай, Пятница,— продолжал я,— зачем же я поеду туда? Что я там буду делать?

Он живо повернулся ко мне:

— Много делать, хорошо делать: учить диких людей быть добрыми, кроткими, смирными; говорить им про бога, чтоб молились ему; делать им новую жизнь.

— Увы, мой друг! — вздохнул я.— Ты сам не знаешь, что говоришь. Куда уж такому невежде, как я, учить добру других!

— Неправда! — воскликнул он с жаром.— Меня учил добру, их будешь учить.

— Нет, Пятница,— сказал я решительным тоном,— поезжай без меня, а я останусь здесь один и буду жить, как жил прежде.— Он опять затуманился; потом вдруг подбежал к лежавшему невдалеке топору, который обыкновенно носил, схватил его и протянул мне.

— Зачем ты даешь мне топор? — спросил я.

Он отвечал:

— Убей Пятницу.

— Зачем же мне тебя убивать? — спросил я.

— А зачем гонишь Пятницу прочь? — напустился он на меня. Он был искренне огорчен: я заметил на глазах его слезы. Словом, привязанность его ко мне и его решимость были настолько очевидны, что я тут же сказал ему и часто повторял потом, что никогда не прогоню его, пока он хочет оставаться со мной.

Таким образом, я окончательно убедился, что Пятница навеки предан мне, что единственным источником его желания вернуться на родину была горячая любовь к своим соплеменникам и надежда, что я научу их добру. Но, не будучи преувеличенно высокого мнения о своей особе, я не имел ни малейшего намерения браться за такое трудное дело, как просвещение дикарей. Впрочем, желание мое вырваться из моего заточения было от этого ничуть не слабее. Особенно усилилось мое нетерпение после разговора с Пятницей, когда я узнал, что семнадцать бородатых людей живут так близко от меня. Поэтому, не откладывая долее, я стал искать с Пятницей подходящее толстое дерево, из которого можно было бы сделать большую пирогу или лодку и пуститься на ней в путь. На острове росло столько строевого леса, что из него можно было выстроить целую флотилию кораблей, а не то что пирог и лодок. Но чтобы избежать промаха, допущенного мной при постройке первой лодки, самое существенное было найти дерево, которое росло бы близко к берегу, и нам не стоило бы особенного труда спустить лодку на воду.

После долгих поисков Пятница нашел наконец вполне подходящий для нас экземпляр; он гораздо больше меня понимал в этом деле. Я и по сей день не знаю, какой породы было срубленное нами дерево, впрочем, могу сказать, что оно очень походило на то, которое мы называем фустиком, или же на «никарагуанское дерево», на последнее особенно — своим цветом и запахом. Пятница стоял за то, чтобы выжечь внутренность колоды, как это делают при постройке своих пирог дикари; но я сказал ему, что бу-

дет проще выдолбить ее плотницкими инструментами, и, когда я показал ему, как это делается, он согласился, что мой способ практичнее. Мы живо принялись за дело, и через месяц усиленного труда лодка была готова. Мы обтесали ее снаружи топорами (Пятница мигом научился этой работе), и вышла настоящая морская лодка. Но после того понадобилось еще около двух недель, чтобы спустить нашу лодку в море, так как мы двигали ее на больших деревянных катках буквально дюйм за дюймом; зато на воде она с легкостью выдержала бы человек двадцать.

Когда лодка была спущена на воду, я удивился, как ловко, несмотря на ее величину, управляется с ней Пятница, как быстро он заставляет ее поворачиваться и как хорошо гребет. Я спросил его, можем ли мы пуститься в море в такой лодке. «О да,— ответил он,— такой лодка не страшно даже самый большой ветер». Но прежде чем пускаться в путь, я решил осуществить еще одно намерение, о котором Пятница не знал, а именно снабдить лодку мачтой, парусом, якорем и канатом. Сделать мачту было нетрудно; на острове росло много кедров, прямых как стрела. Я выбрал одно молоденькое деревцо, росшее поблизости, велел Пятнице срубить его и дал ему указания, как очистить ствол от ветвей и обтесать его. Но над парусом мне пришлось потрудиться самому. У меня оставались еще старые паруса или, лучше сказать, куски парусов, но так как они лежали уже более двадцати шести лет и я не особенно заботился о том, чтобы сохранить их в целости, не думая, что они могут когда-нибудь пригодиться, то был уверен, что все они сгнили. И действительно, большая часть их оказалась гнильем; но все же я нашел два куска покрепче и принялся за шитье, на которое потратил много труда, так как даже иголок у меня не было; в конце концов я все же соорудил, во-первых, довольно безобразный треугольный парус, похожий на те, которые мы в Англии называем «бараньей лопаткой», и простирающийся сверху до самого днища, и, во-вторых, маленький и короткий в верхней части мачты, именуемый шпринтоном; такими парусами я умел хорошо управлять, потому что они были на том баркасе, на котором я совершил побег из Берберии, как уже рассказывалось об этом в начальной части моего повествования.

Около двух месяцев провозился я над оснасткой нашего судна, но зато работа была сделана чисто. Кроме двух упомянутых парусов, я смастерил еще третий, укрепив его на носу; он должен был помогать нам поворачивать лодку при перемене галса. Но, главное, я сделал и приладил руль, что должно было значительно облегчить управление лодкой. Я был неискусный корабельный плотник, но, понимая всю пользу и даже необходимость такого приспособления, как руль, я не пожалел труда на его из-

готовление; хотя если принять во внимание все мои неудавшиеся опыты, то, я думаю, он отнял у меня почти столько же времени, как и постройка всей лодки.

Когда все было готово, я стал учить Пятницу управлению лодкой, потому что хоть он и был хорошим гребцом, но ни о руле, ни о парусах не имел никакого понятия. Он был совершенно поражен, когда увидел, как я действую рулем и как парус надувается то с одной, то с другой стороны в зависимости от перемены галса. Тем не менее он очень скоро постиг всю эту премудрость и сделался искусным моряком. Одному только он никак не мог научиться — употреблению компаса: это было выше его понимания. Но так как в тех широтах в сухие сезоны почти никогда не бывает ни туманов, ни пасмурных дней, то в компасе для нашей поездки не представлялось особенной надобности. Днем мы могли править на берег, который был виден вдали, а ночью держать путь по звездам. Другое дело в дождливый сезон, но в дождливый сезон все равно нельзя было путешествовать ни морем, ни сухим путем.

Наступил двадцать седьмой год моего плена. Впрочем, три последние года можно было смело выкинуть из счета, ибо с появлением на острове Пятницы в мое жилище вошла радость и осветила мою печальную жизнь. Двадцать шестую годовщину этой жизни я отпраздновал благодарственной молитвой, как и в прежние годы: я благодарил создателя за те великие милости, которые он даровал мне в моем одиночестве. И если мне было за что благодарить его прежде, то уж теперь и подавно: теперь мне были даны новые доказательства того, как печется обо мне провидение; теперь мне уж недолго оставалось томиться в пустыне: освобождение было близко; по крайней мере, я был твердо убежден, что мне не придется прожить и года на моем острове. Несмотря, однако, на такую уверенность, я не забрасывал своего хозяйства: я по-прежнему копал землю и засевал ее, по-прежнему огораживал новые поля, ходил за своим стадом, собирал и сушил виноград — словом, делал все необходимое, как и раньше.

Между тем приближался дождливый сезон, когда я обыкновенно большую часть дня просиживал дома. Нашу поездку пришлось отложить, а пока необходимо было позаботиться о безопасности нашей новой лодки. Мы привели ее в ту бухточку, куда, как было сказано, я приставал со своими плотами в начале своего пребывания на острове. Дождавшись прилива, я подтянул лодку к самому берегу, пришвартовал ее и приказал Пятнице выкопать маленький бассейн такой величины и глубины, чтобы она поместилась в нем, как в доке. С наступлением отлива мы огородили ее крепкой плотиной, чтобы закрыть доступ в док со стороны

моря. А чтобы предохранить лодку от дождей, мы прикрыли ее толстым слоем веток, под которыми она стояла, как под крышей. Теперь мы могли спокойно дождаться ноября или декабря, чтобы предпринять наше путешествие.

Как только прекратились дожди и погода установилась, я начал деятельно готовиться к дальнему плаванию. Я заранее рассчитал, какой запас провизии нам может понадобиться, и заготовил все, что нужно. Недели через две я предполагал открыть док и спустить лодку в море. Как-то утром я, по обыкновению, был занят сборами в дорогу и отослал Пятницу на берег моря поискать черепаху: яйца и мясо этого животного давали нам еду на неделю. Не успел Пятница уйти, как сейчас же прибежал назад. Словно полоумный, не слыша под собой земли, он мгновенно перелетел ко мне за ограду и, прежде чем я успел спросить его, в чем дело, закричал:

— Господин! Господин! Беда! Плохо!

— Что с тобой, Пятница? Что случилось? — спросил я в тревоге.

— Там, около берега, одна, две, три... одна, две, три лодки! — Зная его способ считать, я подумал, что всех лодок было шесть, но, как потом оказалось, их было только три.

— Ну, что же такое, Пятница! Что ты так испугался? — сказал я, стараясь его ободрить. Бедняга был вне себя; вероятно, он вообразил, что дикари явились за ним, что они разыщут его и съедят. Он так дрожал, что я не знал, что с ним делать. Я успокаивал его, как умел: говорил, что, во всяком случае, я подвергаюсь такой же опасности, как и он, что если съедят его, так и меня вместе с ним.

— Но мы постоим за себя, мы будем драться,— прибавил я.— Готов ты драться?

— Я стрелять,— отвечал он.— Но их много, очень много.

— Не беда,— сказал я,— одних мы убьем, а остальные испугаются выстрелов и разбегутся. Я буду защищать тебя. Но обещаешь ли ты, что не струсишь, а главное, будешь делать все, что я тебе прикажу?

Он отвечал:

— Я умру, если ты велишь, господин.

После этого я принес из погреба рому и дал ему выпить (я так бережно расходовал свой ром, что у меня оставался еще порядочный запас). Затем мы собрали все наше огнестрельное оружие, привели его в порядок и зарядили. Два охотничьих ружья, которые мы всегда брали с собой, выходя из дому, я зарядил самой крупной дробью; в четыре мушкета положил по пять маленьких

пуль и по два кусочка свинца, а пистолеты зарядил двумя пулями каждый. Кроме того, я вооружился, как всегда, тесаком без ножен, а Пятнице дал топор.

Приготовившись таким образом к бою, я взял подзорную трубу и поднялся на гору для рекогносцировки. Направив трубу на берег моря, я скоро увидел дикарей: их было двадцать один человек, трое пленных и три лодки. Было ясно, что вся эта шайка явилась на остров с единственной целью — отпраздновать свою победу над врагом варварским пиром. Ужасное пиршество, но для этих извергов подобные оргии были в порядке вещей.

Я заметил также, что на этот раз они высадились не там, где высаживались три года тому назад, в день бегства Пятницы, а гораздо ближе к моей бухточке. Здесь берега были низкие, и почти к самому морю подступал густой лес. Меня взбесило, что дикари расположились так близко к моему жилью, а отвращение к кровавому делу, для которого они явились на остров, еще сильнее распалило мой гнев. Спустившись с горы, я объявил Пятнице мое решение напасть на этих зверей и перебить их всех до единого и еще раз спросил его, будет ли он мне помогать. Он теперь совершенно оправился от испуга (чему, быть может, отчасти способствовал выпитый им ром) и с бодрым видом повторил, что, если я прикажу, он умрет.

Охваченный яростью я поделил между нами приготовленное оружие, и мы тронулись в путь. Пятнице я дал один из пистолетов, который он заткнул себе за пояс, и три ружья, а сам взял все остальное. На всякий случай я захватил в карман бутылочку рому, а Пятнице дал нести большой мешок с запасным порохом и пулями. Я приказал ему следовать за мной, не отставая ни на шаг, и строго запретил заговаривать со мной и стрелять, пока я не прикажу. Нам пришлось сделать большой крюк, чтоб обогнуть бухточку и подойти к берегу со стороны леса, потому что только с этой стороны можно было незаметно подкрасться к неприятелю на расстояние ружейного выстрела.

Пока мы шли, я имел время поразмыслить о воинственном предприятии, задуманном мной, и моя решимость начала ослабевать. Не многочисленность неприятеля смущала меня: в борьбе с этими голыми, почти что безоружными людьми все шансы победы были, несомненно, на моей стороне, будь я даже один. Нет, меня терзало другого рода сомнение — сомнение в своей правоте. «С какой стати,— спрашивал я себя,— и ради чего я собираюсь обагрить руки человеческой кровью? Какая крайность гонит меня? И кто, наконец, дал мне право убивать людей, не сделавших и не хотевших сделать мне никакого зла? Чем, в самом деле, они про-

випились передо мной? Их варварские обычаи меня не касаются; это — несчастное наследие, перешедшее к ним от предков, проклятие, которым их покарал господь. Но если господь их покинул, если в своей премудрости он рассудил за благо уподобить их скотам, то, во всяком случае, меня он не уполномочивал быть их судьею, а тем более палачом. И, наконец, за пороки целого народа не подлежат отомщению отдельные люди. Словом, с какой точки зрения ни взгляни, расправа с людоедами — не мое дело. Еще для Пятницы тут можно найти оправдание: это его исконные враги; они воюют с его соплеменниками, а на войне позволительно убивать. Ничего подобного нельзя сказать обо мне». Все эти доводы, не раз приходившие мне в голову и раньше, показались мне теперь до такой степени убедительными, что я решил не трогать пока дикарей, а, засевши в лесу, в таком месте, чтобы видеть все, что происходит па берегу, выжидать и начать наступательные действия лишь в том случае, если сам бог даст мне явное указание, что такова его воля.

С этим решением я вошел в лес. Пятница следовал за мной по пятам. Мы шли со всевозможными предосторожностями — в полном молчании, стараясь ступать как можно тише. Подойдя к опушке с того края, который был ближе к берегу, так что только несколько рядов деревьев отделяло нас от дикарей, я остановился, тихонько подозвал Пятницу и, указав ему толстое дерево почти на опушке леса, велел взобраться на это дерево и посмотреть, видно ли оттуда дикарей и чем они занимаются. Он сделал, как ему было сказано, и сейчас же воротился, чтоб сообщить, что все отлично видно, что дикари сидят вокруг костра и едят мясо одного из привезенных ими пленников, а другой лежит связанный тут же на песке, и они, наверное, сейчас же убьют его. Вся моя душа запылала гневом при этом известии. Но меня охватил ужас, когда Пятница сказал мне, что второй пленник, которого дикари собираются съесть, не их племени, а один из тех бородатых людей, что приехали в его землю на лодке. Подойдя к дереву, я ясно увидел в подзорную трубу белого человека. Он лежал неподвижно, его руки и ноги были стянуты гибкими прутьями тростника или другого растения такого рода. На нем была одежда, но не только по этому, а и по лицу нельзя было не признать в нем европейца.

Ярдов на пятьдесят ближе к берегу, на пригорке, на расстоянии приблизительно половины ружейного выстрела от дикарей, росло другое дерево, к которому можно было подойти незамеченным, так как все пространство между ним и тем местом, где мы стояли, было почти сплошь покрыто густой зарослью какого-то

кустарника. Сдерживая бушевавшую во мне ярость, я потихоньку пробрался за кустами к этому дереву и оттуда как на ладони увидел все, что происходило на берегу.

У костра, сбившись в плотную кучу, сидело девятнадцать дикарей. В нескольких шагах от этой группы подле распростертого на земле европейца стояли двое остальных и, нагнувшись над ним, развязывали ему ноги: очевидно, они были только что посланы за ним. Еще минута, и они зарезали бы его, как барана, и затем, вероятно, разделили бы его на части и принялись бы жарить. Нельзя было терять ни минуты. Я повернулся к Пятнице.

— Будь наготове,— сказал я ему. Он кивнул головой.— Теперь смотри на меня, и что буду делать я, то делай и ты.— С этими словами я положил на землю охотничье ружье и один из мушкетов, а из другого мушкета прицелился в дикарей. Пятница тоже прицелился.

— Готов ты? — спросил я его. Он отвечал утвердительно.— Ну, так пли! — сказал я и выстрелил.

Прицел Пятницы оказался вернее моего: он убил двух человек и ранил троих, я же только двоих ранил и одного убил. Легко себе представить, какой переполох произвели наши выстрелы в толпе дикарей. Все уцелевшие вскочили на ноги и заметались по берегу, не зная, куда кинуться, в какую сторону бежать. Они не могли сообразить, откуда обрушилась на них гибель. Пятница, согласно моему приказанию, не сводил с меня глаз. Тотчас же после первого выстрела я бросил мушкет, схватил охотничье ружье, взвел курок и снова прицелился. Пятница в точности повторил каждое мое движение.

— Ты готов? — спросил я опять.

— Готов.

— Так стреляй, и да поможет нам бог.— Два выстрела грянули почти одновременно в середину остолбеневших дикарей, но так как на этот раз мы стреляли из охотничьих ружей, заряженных дробью, то упало только двое. Зато раненых было очень много. Обливаясь кровью, бегали они по берегу с дикими воплями, как безумные. Три человека были, очевидно, тяжело ранены, потому что они вскоре свалились.

Положив на землю охотничье ружье, я взял свой второй заряженный мушкет, крикнул: «Пятница, за мной!» — и выбежал из лесу. Мой храбрый дикарь не отставал от меня ни на шаг. Заметив, что дикари увидали меня, я закричал во всю глотку и приказал Пятнице последовать моему примеру. Во всю прыть (что, к слову сказать, было не слишком быстро из-за тяжелых доспехов, которыми я был нагружен) устремился я к несчастной жертве, лежавшей, как уже сказано, на берегу, между костром и морем.

Оба палача, уже готовые расправиться со своей жертвой, бросили ее при первых же звуках наших выстрелов. В смертельном страхе они стремглав кинулись к морю и вскочили в лодку, куда к ним присоединились еще три дикаря. Я повернулся к Пятнице и приказал ему стрелять в них. Он мигом понял мою мысль и, пробежав ярдов сорок, чтобы быть ближе к беглецам, выстрелил по ним, и я подумал, что он убил их всех, так как все они повалились один на другого на дно лодки; но двое сейчас же поднялись, очевидно, они упали просто со страху. Из трех остальных двое были убиты наповал, а третий был настолько тяжело ранен, что уже не мог встать.

Покуда Пятница расправлялся с пятью беглецами, я вытащил нож и перерезал путы, которыми были стянуты руки и ноги бедного пленника. Освободив его, я помог ему приподняться и спросил его по-португальски, кто он такой. Он отвечал по-латыни: «Christianus» (христианин). От слабости он еле держался на ногах и еле говорил. Я вынул из кармана бутылочку рома и поднес ему ко рту, показывая знаками, чтоб он отхлебнул глоток; потом дал ему хлеба. Когда он поел, я его спросил, какой он национальности, и он отвечал: «Espagniole» (испанец). Немного придя в себя, он начал самыми красноречивыми жестами изъявлять мне свою благодарность за то, что я спас ему жизнь. Призвав на помощь все свои познания в испанском языке, я сказал ему по-испански:

— Сеньор, разговаривать мы будем потом, а теперь надо действовать. Если вы в силах сражаться, то вот вам сабля и пистолет: берите, и ударим по врагу.— Испанец с благодарностью принял то и другое и, почувствовав в руках оружие, словно стал другим человеком. Откуда только взялись у него силы! Как ураган налетел он на своих убийц и в мгновение ока изрубил двоих на куски. Правда, несчастные дикари, ошеломленные ружейными выстрелами и внезапностью нападения, были до того перепуганы, что от страха попадали и были так же не способны бежать, как и сопротивляться нашим пулям. То же самое произошло с пятью дикарями в лодке, в которых выстрелил Пятница: двое из них упали просто со страху, не будучи даже ранены.

Я держал заряженный мушкет наготове, но не стрелял, приберегая заряд на случай крайней нужды, так как я отдал испанцу мой пистолет и саблю. Наши четыре разряженные ружья остались под деревом, на том месте, откуда мы в первый раз открыли огонь; я подозвал Пятницу и велел ему сбегать за ними. Он мигом слетал туда и обратно. Тогда я отдал ему свой мушкет, а сам стал заряжать остальные ружья, сказав своим обоим союзникам, чтобы, когда им понадобится оружие, они приходили ко мне. Пока я заряжал ружье, между испанцем и одним из дикарей завязался ожесточенный бой. Дикарь набросился на него с огромным деревян-

ным мечом, точно таким, каким предстояло быть убитым испанцу, если б я не подоспел к нему на выручку. Мой испанец неожиданно оказался великим храбрецом: несмотря на свою слабость, он дрался как лев и нанес противнику своей саблей два страшных удара по голове, но дикарь был рослый, сильный малый; схватившись с ним врукопашную, он скоро повалил обессилевшего испанца и стал вырывать у него саблю; испанец благоразумно выпустил ее, выхватил из-за пояса пистолет и, выстрелив в дикаря, уложил его наповал, прежде чем я, спешивший ему на выручку, успел подбежать.

Между тем Пятница, предоставленный самому себе, преследовал бегущих дикарей с одним только топором в руке; им он прикончил трех человек, раненных первыми нашими выстрелами; досталось от него и остальным. Испанец тоже не терял времени даром. Взяв у меня охотничье ружье, он пустился в погоню за двумя дикарями и ранил обоих, но так как долго бежать было ему не под силу, то оба дикаря успели скрыться в лесу. Пятница погнался за ними. Одного он убил, а за другим не мог угнаться: тот оказался проворнее. Несмотря на свои раны, он бросился в море, пустился вплавь за лодкой с тремя своими земляками, успевшими отчалить от берега, и нагнал ее. Дикарей было двадцать один человек; эти четверо (и в числе их один раненый, про которого мы не знали, жив он или умер) были единственными, кто ушел из наших рук. Вот точный отчет:

3 — убито нашими первыми выстрелами из-за дерева,
2 — следующими двумя выстрелами,
2 — убито Пятницей в лодке,
2 — раненных раньше, прикончено им же,
1 — убит им же в лесу,
3 — убито испанцем,
4 — найдено мертвыми в разных местах (убиты при преследовании Пятницей или умерли от ран),
4 — спаслись в лодке (из них один ранен, если не мертв).

Всего 21

Трое дикарей, спасшихся в лодке, работали веслами изо всех сил, стараясь поскорее уйти из-под выстрелов. Пятница раза два или три пальнул им вдогонку, но, кажется, не попал. Он стал меня убеждать взять одну из их лодок и пуститься за ними в погоню. Меня и самого тревожил их побег: я боялся, что, когда они расскажут своим землякам о том, что случилось на острове, те нагрянут к нам, быть может, на двухстах или на трехстах лодках и одолеют нас количеством. Поэтому я согласился преследовать беглецов на море и, подбежав к одной из лодок, прыгнул в нее, приказав Пятнице следовать за мной. Но каково же было мое изумление, когда, вскочив в лодку, я увидел лежавшего в ней человека, связанного по рукам и ногам, как испанец, и, очевидно, тоже обре-

ченного на съедение. Он был полумертв от страха, так как не понимал, что творится кругом; краснокожие так крепко скрутили его и он так долго оставался связанным, что не мог выглянуть из-за бортов лодки и еле дышал.

Я тотчас же перерезал стягивавшие его путы и хотел помочь ему встать. Но он не держался на ногах; он даже говорить был не в силах, а только жалобно стонал: несчастный, кажется, думал, что его только затем и развязали, чтобы вести на убой.

Когда Пятница подошел к нам, я велел ему объяснить этому человеку, что тот свободен, и передал Пятнице бутылочку с ромом, чтоб он дал ему глоток. Радостная весть, в соединении с укрепляющим действием рома, оживили беднягу, и он сел в лодке. Но надо было видеть, что сделалось с Пятницей, когда он услышал голос и увидел лицо этого человека. Он бросился его обнимать, заплакал, засмеялся; потом стал прыгать вокруг него, затем заплясал; потом опять заплакал, замахал руками, принялся колотить себя по голове и по лицу,— словом, вел себя как безумный. Я долго не мог добиться от него никаких разъяснений, но когда он наконец успокоился, то сказал, что это его отец.

Не могу выразить, как я был растроган таким проявлением сыновней любви в моем друге. Нельзя было смотреть без слез на эту радость грубого дикаря при виде любимого им отца, спасенного от смерти. Но в то же время нельзя было и не смеяться нелепым выходкам, которыми выражались его радость и любовь. Раз двадцать он выскакивал из лодки и снова вскакивал в нее; то он садился подле отца и, распахнув свою куртку, прижимал его голову к своей груди, словно мать ребенка; то принимался гладить и растирать его своими руками. Я посоветовал растереть его ромом, что бедняге очень помогло.

Теперь о преследовании бежавших дикарей нечего было и думать: они почти скрылись из виду. Таким образом, предполагаемая погоня не состоялась, и, надо заметить, к счастью для нас, так как спустя часа два, то есть прежде, чем мы успели бы проехать четверть пути, задул жестокий ветер, который бушевал потом всю ночь. Он дул с северо-запада, как раз навстречу беглецам, так что, по всей вероятности, они не могли выгрести и больше не увидели родной земли.

Но возвратимся к Пятнице. Он был так поглощен сыновними заботами, что у меня не хватило духа оторвать его от отца. Я дал ему время полностью пережить всю радость встречи и тогда только окликнул его. Он подбежал ко мне вприпрыжку, с радостным смехом, довольный и счастливый. Я его спросил, дал ли он отцу хлеба. Он покачал головой: «Нет хлеба: подлая собака ничего не оставила, все сама съела». И он показал на себя. Тогда я вынул

из своей сумки все, что у меня с собой было,— небольшой хлебец и две или три кисти винограда,— и дал Пятнице для его отца. Самому же Пятнице я предложил подкрепить свои силы остатками рома, но и ром он понес старику. Не успел он опять войти в лодку, как вдруг ринулся куда-то сломя голову, точно за ним гналась нечистая сила. Этот малый, надо заметить, был замечательно легок на ногу, и, прежде чем я успел опомниться, он скрылся из виду. Я кричал ему, чтобы он остановился,— не тут-то было! Так он и псчез. Через четверть часа он возвратился, но уже не так стремительно.

Когда Пятница подошел ближе, я увидел, что он что-то несет. Это был кувшин с пресной водой, которую он притащил для отца. Он сбегал для этого домой, в нашу крепость, а кстати прихватил еще два хлебца. Хлеб он отдал мне, а воду понес старику, позволив мне, впрочем, отхлебнуть несколько глотков, так как мне очень хотелось пить. Вода оживила старика лучше всякого рома: оказалось, что он умирал от жажды.

Когда он напился, я подозвал Пятницу и спросил, не осталось ли в кувшине воды. Он отвечал: «Да»,— и я велел ему дать напиться испанцу, нуждавшемуся в этом не менее его отца. Я передал ему также один хлебец из двух принесенных Пятницей. Бедный испанец был очень слаб: он прилег на лужайке под деревом в полном изнеможении. Его палачи так туго стянули ему руки и ноги, что теперь они у него сильно распухли. Когда он утолил жажду свежей водой и поел хлеба, я подошел к нему и дал горсть винограду. Он поднял голову и взгляпул на меня с безграничной признательностью; несмотря на отвагу, только что проявленную в стычке, он был до того истощен, что не мог стоять на ногах, как ни пытался,— ему не позволяли его распухшие ноги. Я посоветовал бедняге не затруднять себя понапрасну и приказал Пятнице растереть ноги испанца ромом, как он это сделал своему отцу.

Я заметил, что добрый малый при этом поминутно оборачивался взглянуть, сидит ли его отец на том месте, где он его оставил. Вдруг, оглянувшись, Пятница увидел, что старик исчез: тогда он мгновенно сорвался с места и, не говоря ни слова, бросился к лодке так, что только пятки засверкали. Но, когда, добежав, он увидел, что отец его просто прилег отдохнуть, он сейчас же воротился к нам. Я сказал испанцу, что мой слуга поможет ему встать и доведет его до лодки, в которой мы доставим его в свое жилище, а там уже позаботимся о нем. Но Пятница был парень крепкий: не долго думая, он поднял его, как перышко, взвалил к себе на спину и понес. Дойдя до лодки, он осторожно посадил его сперва на борт, а потом па дно подле своего отца. Потом вышел на берег, столкнул лодку в воду, опять вскочил в нее и взялся за весла. Я пошел пешком. В сильных руках Пятницы лодка так шибко

неслась вдоль берега, несмотря на сильный ветер, что я не мог за ней поспеть. Пятница благополучно привел ее в нашу гавань и, оставив в ней обоих инвалидов, побежал за другой лодкой. Он объяснил мне это на бегу, встретив меня на полдороге, и помчался дальше. Положительно, ни одна лошадь не могла бы угнаться за этим парнем — так быстро он бегал. И не успел я дойти до бухточки, как он уже явился туда с другой лодкой. Выскочив на берег, он стал помогать старику и испанцу выйти из лодки, но ни тот, ни другой не были в силах двигаться. Бедный Пятница совсем растерялся, не зная, что с ними делать.

Но я придумал выход из этого затруднения, сказав Пятнице, чтоб он посадил покамест наших гостей на берегу и устроил поудобнее. Я сам на скорую руку сколотил носилки, на которых мы с Пятницей и доставили больных к наружной стене нашей крепости. Но тут мы опять стали в тупик, не зная, как нам быть дальше. Перетащить двух взрослых людей через высокую ограду нам было не под силу, а ломать ограду я ни за что не хотел. Пришлось мне снова пустить в ход свою изобретательность, и наконец препятствие было обойдено. Мы с Пятницей принялись за работу, и часа через два за наружной оградой, между ней и рощей, у нас красовалась чудесная парусиновая палатка, прикрытая сверху ветками от солнца и дождя. В этой палатке мы устроили две постели из материала, находившегося в моем распоряжении, то есть из рисовой соломы и четырех одеял, по два на каждого человека; одно — вместо простыни и другое — чтобы укрываться.

Теперь мой остров был заселен, и я считал, что у меня изобилие подданных. Часто я не мог удержаться от улыбки при мысли о том, как похож я на короля. Во-первых, весь остров был неотъемлемою моей собственностью, и, таким образом, мне принадлежало несомненное право господства. Во-вторых, мой народ был весь в моей власти: я был неограниченным владыкой и законодателем. Все мои подданные были обязаны мне жизнью, и каждый из них, в свою очередь, готов был, если бы это понадобилось, умереть за меня. Замечательно также, что все трое были разных вероисповеданий: Пятница был протестант, его отец — язычник и людоед, а испанец — католик. Я допускал в своих владениях полную свободу совести. Но это между прочим.

Когда мы устроили жилье для наших гостей и водворили их на новоселье, надо было подумать, чем их накормить. Я тотчас же отрядил Пятницу в наш лесной загончик с поручением привести годовалого козленка. Мы зарезали его, отделили заднюю часть и порубили ее на мелкие куски, половина которых пошла на бульон, а половина — на жаркое. Обед стряпал Пятница. Он заправил бульон ячменем и рисом, и вышло превосходное питательное кушанье.

Стряпня происходила подле рощицы, за наружной оградой (я никогда не разводил огонь внутри крепости), поэтому стол был накрыт в новой палатке. Я обедал вместе со своими гостями и всячески старался развлечь и приободрить их. Пятница служил мне толмачом не только когда я говорил с его отцом, но даже с испанцем, так как последний довольно сносно объяснялся на языке дикарей.

Когда мы пообедали или, вернее, поужинали, я приказал Пятнице взять лодку и съездить за нашими ружьями,— за недосугом мы бросили их на поле битвы; а на другой день я послал его зарыть трупы убитых в предупреждение зловония, которое не замедлило бы распространиться от них при тамошней жаре. Я велел ему также закопать ужасные остатки кровавого пиршества, которых было очень много. Я не мог без содрогания даже подумать о том, чтобы зарыть их самому: меня стошнило бы от одного их вида. Пятница пунктуально исполнил все, что я ему приказал: его стараниями были уничтожены все следы посещения дикарей, так что, когда я пришел на место побоища, я не сразу мог его узнать; только по деревьям на опушке леса, подходившего здесь к самому берегу, я убедился, что пиршество дикарей происходило именно здесь.

Вскоре я начал беседовать с моими новыми подданными. Прежде всего я велел Пятнице спросить своего отца, как он относится к бегству четырех дикарей и не боится ли, что они могут вернуться на остров с целым полчищем своих соплеменников, которое нам будет не под силу одолеть. Старый индеец отвечал, что, по его мнению, убежавшие дикари никоим образом не могли выгрести в такую бурю, какая бушевала в ту ночь; что, наверно, все они утонули, а если и уцелели каким-нибудь чудом, так их отнесло на юг и прибило к земле враждебного племени, где они все равно неминуемо должны были погибнуть от рук своих врагов. Что они предприняли бы, если бы благополучно добрались домой, он не знал, но полагал, что они были так страшно напуганы нашим неожиданным нападением, грохотом и огнем выстрелов, что, наверно, рассказали своим, будто товарищи их погибли не от человеческих рук, а были убиты громом и молнией и будто Пятница и я были двое разгневанных духов, слетевших с небес, чтобы их истребить, а не двое вооруженных людей. По его словам, он сам слышал, как они это говорили друг другу, ибо не могли представить себе, чтобы простой смертный мог изрыгать пламя, говорить громом и убивать на далеком расстоянии, даже не замахнувшись рукой, как это было в том случае. Старик был прав. Впоследствии я узнал, что никогда после этого дикари не пытались высадиться на моем острове. Очевидно, те четверо беглецов, которых мы считали погибшими, благополучно вернулись на родину и своими рассказами о случившемся с ними напугали своих земляков и у тех

сложилось убеждение, что всякий ступивший на заколдованный остров будет сожжен небесным огнем.

Но в то время я этого не знал и потому был в постоянной тревоге, ежеминутно ожидая нашествия дикарей. И я, и моя маленькая армия были всегда готовы к бою: ведь нас теперь было четверо, и, явись к нам хоть сотня дикарей, мы бы не побоялись помериться с ними силами даже в открытом поле.

Мало-помалу, однако, видя, что дикари не показываются, я начал забывать свои страхи и вместе с тем все чаще возвращался к давнишней своей мечте о путешествии на материк, тем более что, как уверял меня отец Пятницы, я мог рассчитывать в качестве их общего благодетеля на радушный прием у его земляков.

Но после одного серьезного разговора с испанцем я начал сомневаться, стоит ли приводить в исполнение этот план. Из этого разговора я узнал, что, хотя дикари действительно приютили у себя семнадцать человек испанцев и португальцев, спасшихся в лодке с погибшего корабля, и не обижают их, но все эти европейцы терпят крайнюю нужду в самом необходимом, нередко даже голодают. На мои расспросы о подробностях несчастья, постигшего их корабль, мой гость сообщил мне, что корабль их был испанский и шел из Рио-де-ла-Платы в Гавану, где должен был оставить свой груз, состоявший главным образом из мехов и серебра, и набрать европейских товаров, какие там найдутся. Он рассказал еще, что по пути они подобрали пятерых матросов-португальцев с другого корабля, потерпевшего крушение, что пять человек из их корабельной команды утонули в первые же минуты катастрофы, а остальные, промучившись несколько дней, в течение которых они не раз глядели в глаза смерти, наконец пристали к берегу каннибалов, где каждую минуту ожидали, что их съедят дикари. У них было с собой огнестрельное оружие, но они не могли им пользоваться за неимением пуль и пороха: тот запас, который они взяли с собой в лодку, почти весь был подмочен в пути, а остаток они вскоре израсходовали, добывая себе пищу охотой. Я спросил испанца, какая, по его мнению, участь ожидает их в земле дикарей и неужели они никогда не пытались выбраться оттуда. Он отвечал, что они не раз советовались по этому поводу между собой, но все это кончалось слезами и отчаянием, так как у них не было ни судна, ни инструментов для его постройки и никаких запасов.

Тогда я спросил, как по его мнению, согласятся ли эти люди совершить попытку бегства и для этой цели приплыть сюда, на мой остров. Я, не таясь, сказал ему, что больше всего боюсь вероломства и надругательств, если отдам себя в их руки. Ведь благодарность не принадлежит к числу добродетелей, свойственных человеку, и в своих поступках люди руководятся не столько приня-

тыми на себя обязательствами, сколько корыстью. А было бы слишком обидно, сказал я ему, выручить людей из беды только для того, чтобы очутиться их пленником в Новой Испании, откуда еще не выходил живым и невредимым ни один англичанин, какая бы несчастная звезда или случайность ни забросили его туда; я предпочел бы быть съеденным дикарями, чем попасть в когти духовенства и познакомиться с тюрьмами инквизиции. И я прибавил, что если бы сюда собрались все его товарищи, то, по моему убеждению, при таком количестве рабочих рук нам ничего не стоило бы построить судно, на котором мы все могли бы добраться до Бразилии, до островов или до испанских владений к северу отсюда. Но, разумеется, если за мое добро, когда я сам вложу им в руки оружие, они обратят его против меня, если, пользуясь преимуществом силы, они лишат меня свободы и отвезут к своим соплеменникам, я окажусь еще в худшем положении, чем теперь.

Испанец отвечал с большим чистосердечием, что товарищи его так бедствуют и так хорошо сознают всю безнадежность своего положения, что он не допускает и мысли, чтоб они могли дурно поступить с человеком, который протянет им руку помощи; он сказал, что если мне угодно, то он съездит к ним со стариком индейцем и передаст им мое предложение. Если они согласятся на мои условия, то он возьмет с них торжественную клятву в том, что они беспрекословно будут повиноваться мне, как командиру и капитану; он заставит их поклясться над святыми дарами и Евангелием в своей верности мне и готовности последовать за мной в ту христианскую землю, которую я сам укажу им; он отберет у них собственноручно подписанное ими обязательство и привезет его мне.

Затем он сказал, что хочет сначала поклясться мне в верности сам, в том, что он не покинет меня, пока жив или пока я сам не прогоню его, и что при малейшем поползновении со стороны его соотечественников нарушить данную мне клятву он встанет на мою сторону и будет биться за меня до последней капли крови.

Он, впрочем, не допускал возможности измены со стороны своих земляков; все они, по его словам, были честные, благородные люди. К тому же они терпели большие лишения, не имея ни пищи, ни одежды и находясь в полной власти дикарей, без всякой надежды вернуться на родину,— словом, он был уверен, что, если только я их спасу, они будут готовы отдать за меня жизнь.

Уверенность, с какою мой гость ручался за своих соотечественников, рассеяла мои сомнения, и я решил попытаться выручить их, если возможно, и послать к ним для переговоров старика индейца и испанца. Но когда все было уже готово к отплытию, сам испанец заговорил о том, что, по его мнению, нам не следует спешить с приведением в исполнение нашего плана. Он выдвинул при этом

соображение настолько благоразумное и настолько свидетельствовавшее об его искренности, что я не мог не согласиться с ним. По совету испанца я решил отложить освобождение его товарищей, по крайней мере, на полгода. Дело заключалось в следующем.

Испанец прожил у нас около месяца и за это время успел присмотреться к моей жизни. Он видел, как я работаю и, с божьей помощью, удовлетворяю свои насущные потребности. Ему было в точности известно, сколько запасено у нас риса и ячменя. Конечно, для меня с избытком хватило бы этого запаса, но уже и теперь, когда моя семья возросла до четырех человек, его надо было расходовать с большой осторожностью. Следовательно, мы и подавно не могли рассчитывать прокормиться, когда прибавится еще четырнадцать оставшихся в живых товарищей этого испанца. А ведь нам предстояло заготовить провиант и для путешествия, если мы построим корабль, чтобы совершить на нем плавание в одну из христианских колоний Америки. Ввиду всех этих соображений мой испанец находил, что, прежде чем звать гостей, нам следует позаботиться об их пропитании. План его заключался в следующем. С моего разрешения, говорил он, они втроем вскопают новый участок земли и высеют все зерно, какое я могу уделить для посева; затем мы должны будем дождаться урожая, чтобы хватило хлеба на всех его соотечественников, которые прибудут сюда; иначе, перебравшись пока что на наш остров, они попадут из огня да в полымя, и нужда вызовет у нас разногласия.

— Вспомните сынов Израиля,— сказал он в заключение своей речи,— сначала они радовались своему освобождению от ига египетского, а потом, когда в пустыне у них не хватило хлеба, возроптали на бога, освободившего их.

Я не мог надивиться благоразумной предусмотрительности моего гостя, как не мог не порадоваться тому, что он так предан мне. Его совет был так хорош, что, повторяю, я принял его не колеблясь. Не откладывая дела в долгий ящик, мы вчетвером принялись вскапывать новое поле. Работа шла успешно (насколько успешно может идти такая работа при деревянных орудиях), и через месяц, когда наступило время посева, у нас был большой участок возделанной земли, на котором мы посеяли двадцать два бушеля ячменя и шестнадцать мер риса, то есть все, что я мог уделить на посев. Для еды мы оставили себе в обрез на шесть месяцев, считая с того дня, когда мы приступили к распашке, а не со дня посева, ибо в этих местах от посева до жатвы проходит около шести месяцев.

Теперь нас было столько, что дикари могли нам быть страшны лишь в том случае, если б они нагрянули слишком уж многочисленным отрядом. Но мы не боялись дикарей и свободно разгу-

ливали по всему острову. А так как все мы были поглощены одной надеждою — надеждою на скорое освобождение,— то каждый из нас (по крайней мере, могу это сказать о себе) не мог не думать об изыскании средств для осуществления этой надежды. Во время своих скитаний по острову я отметил несколько деревьев на постройку корабля и поручил Пятнице и его отцу срубить их, а испанца приставил присматривать и руководить их работой. Я показал им доски моего изделия, которые я с такой неимоверной затратой сил вытесывал из больших деревьев, и предложил сделать такие же. Они натесали их около дюжины. Это были крепкие дубовые доски в тридцать пять футов длины, два фута ширины и от двух до четырех дюймов толщины. Можете судить, сколько неимоверного труда было положено на эту работу.

В то же время я старался по возможности увеличить свое стадо. Для этого двое из нас ежедневно ходили ловить диких козлят; Пятница ходил каждый день, а мы с испанцем чередовались. Заприметив где-нибудь козу с сосунками, мы убивали матку, а козлят пускали в стадо. Таким образом, у нас прибавилось до двадцати голов скота. Затем нам предстояло еще позаботиться о заготовке впрок винограда, так как он уже созревал. Мы собрали и насушили его в огромном количестве; я думаю, что, если бы мы были в Аликанте, где вино делается из изюма, мы могли бы наполнить им не менее шестидесяти бочонков. Наравне с хлебом изюм составлял главную статью нашего питания, и мы очень любили его. Я не знаю более вкусного, здорового и питательного кушанья.

За всеми этими делами мы не заметили, как подошло время жатвы. Урожай был недурен — не из самых обильных, но все же настолько велик, что мы могли приступить к выполнению нашего замысла. С двадцати двух бушелей посеянного ячменя мы получили двести двадцать; таков же приблизительно был и урожай риса. Этого хватило бы на прокормление до следующей жатвы всей нашей общины (считая и шестнадцать новых ее членов), и с таким запасом провианта мы, разумеется, могли смело пуститься в плавание и добраться до любого из государств Америки.

Убрав и сложив хлеб, мы принялись плести большие корзины для хранения зерна. Испанец оказался большим искусником в этом деле и часто укорял меня, почему я не устроил себе плетеной изгороди; но я не видел в ней никакой нужды.

Когда, таким образом, продовольствие для ожидаемых гостей было припасено, я разрешил испанцу ехать за ними, снабдив его самыми точными указаниями. Я строго наказал ему не привозить никого, кто не даст в присутствии старика индейца клятвенного обещания, что он не только не сделает никакого зла тому, кого встретит на острове,— человеку, пожелавшему освободить его и

его соотечественников единственно из человеколюбивых побуждений,— но будет защищать этого человека против всяких попыток подобного рода и во всем подчиняться ему. Все это следовало изложить на бумаге и скрепить собственноручными подписями всех, кто согласится на мои условия. Но, толкуя о письменном договоре, мы с моим гостем упустили из виду, что у его товарищей не было ни бумаги, ни перьев, ни чернил.

С этими инструкциями испанец и старый индеец отправились в путь на той самой лодке, на которой они приехали или, вернее, были привезены на мой остров дикарями в качестве пленников, обреченных на съедение. Я дал обоим по мушкету, пороху и пуль приблизительно на восемь зарядов, с наказом расходовать то и другое как можно экономнее, то есть стрелять не иначе как в случаях крайней необходимости.

С какой радостью я снарядил их в дорогу! За двадцать семь с лишком лет моего заточения это была с моей стороны первая серьезная попытка вернуть себе свободу. Я снабдил своих послов запасом хлеба и изюма, достаточным для них на много дней, а для их соотечественников на неделю. Наконец наступил день отплытия. Я условился с отъезжающими, что на обратном пути они подадут сигнал, по которому я мог бы издали признать их лодку, затем пожелал им счастливой дороги, и они отчалили.

Вышли они при свежем ветре в день полнолуния в октябре месяце, по приблизительному моему расчету, ибо, потеряв точный счет дней и недель, я уже не мог его восстановить; я не был даже уверен, правильно ли отмечены годы в моем календаре, хотя, проверив его впоследствии, убедился, что в годах я не ошибся.

Уже с неделю ожидал я своих путешественников, как вдруг произошло непредвиденное событие.

В одно прекрасное утро, когда я еще крепко спал в своем убежище, ко мне вбежал Пятница с громким криком: «Господин, господин! Они подходят, они подходят!» Я мигом вскочил, наскоро оделся, перелез через ограду и, не думая об опасности, выбежал в рощицу (которая, к слову сказать, так разрослась, что в описываемое время ее можно было скорее назвать лесом). Повторяю: не думая об опасности, я, против обыкновения, не взял с собой никакого оружия; но каково же было мое удивление, когда, взглянув в сторону моря, я увидел милях в пяти от берега лодку с треугольным парусом: она держала курс прямо на остров и, подгоняемая попутным ветром, быстро приближалась. Шла она не от материка, а с южной стороны острова.

Сделав это открытие, я приказал Пятнице спрятаться в роще: приближались не те, кого мы ожидали, и мы не знали, враги это или друзья.

Затем я вернулся домой за подзорной трубой, чтобы лучше все рассмотреть. Приставив лестницу, я взобрался на холм, как я всегда это делал, желая произвести рекогносцировку и яснее разглядеть окрестности, не будучи замеченным.

Едва я поднялся на холм, как тотчас увидел корабль. Он стоял на якоре у юго-восточной оконечности острова, милях в восьми от моего жилья. Но от берега до него было не более пяти миль. Корабль был, несомненно, английский, да и лодка, как я мог теперь различить, оказалась английским баркасом.

Не могу выразить, в какое смятение повергло меня это открытие. Моя радость при виде корабля, притом английского,— радость ожидания близкой встречи с моими соотечественниками, была выше всякого описания, а вместе с тем какое-то тайное предчувствие, которого я ничем не мог объяснить, предостерегало меня против них. Прежде всего мне казалось странным, что английский купеческий корабль зашел в эти места, лежавшие, как было мне известно, в стороне от всех морских торговых путей англичан. Я знал, что его не могло пригнать бурей — за последнее время не было бурь. С какой же целью зашел он сюда? Если это действительно англичане, то, вероятнее всего, они явились сюда не с добром, и лучше мне было сидеть в засаде, чем попасть в руки воров и убийц.

Никогда не пренебрегайте тайным предчувствием, предостерегающим вас об опасности, даже в тех случаях, когда вам кажется, что нет никакого основания доверять ему. Что предчувствия бывают у каждого из нас — этого, я думаю, не станет отрицать ни один мало-мальски наблюдательный человек. Не можем мы сомневаться и в том, что такие внушения внутреннего голоса являются откровением невидимого мира, доказывающим общение душ. И если таинственный голос предостерегает нас об опасности, то почему не допустить, что внушения исходят от благожелательной нам силы (высшей или низшей и подчиненной — все равно) для нашего блага?

Случай со мной, о котором я веду теперь речь, как нельзя лучше подтверждает верность этого рассуждения. Если бы я тогда не послушался предостерегающего меня тайного голоса, я бы неминуемо погиб или, во всяком случае, попал бы в несравненно худшее положение, чем то, в каком я был раньше.

Вскоре я увидел, что лодка приблизилась к берегу, как бы выбирая место, где бы лучше пристать. К счастью, сидевшие в ней не заметили бухточки, где я когда-то приставал с плотами, а причалили в другом месте, приблизительно в полумиле расстояния от нее, говорю — к счастью, потому что, высадись они в этой бухточке, они очутились бы, так сказать, у порога моего жилья, выгнали бы меня и, уже наверно, обобрали бы до нитки.

Когда лодка причалила и люди вышли на берег, я мог хорошо их рассмотреть. Это были, несомненно, англичане, по крайней мере, большинство из них. Одного или двух я, правда, принял за голландцев, но ошибся, как оказалось потом. Всех их было одиннадцать человек, причем трое из них были привезены в качестве пленников, потому что у них не было никакого оружия, и мне показалось, что у них связаны ноги: я видел, как четыре или пять человек, выскочившие на берег первыми, вытащили их из лодки. Один из пленников сильно жестикулировал, умолял о чем-то; он, видимо, был в страшном отчаянии. Двое других тоже говорили что-то, воздевая руки к небу, но были много сдержаннее.

Я был в полнейшем недоумении, не зная, чем объяснить эту сцену. Вдруг Пятница крикнул мне на своем невозможном английском языке:

— О господин! Смотри: белые люди тоже кушать человека, как дикие люди.

— С чего ты взял, Пятница, что они их съедят?

— Конечно, съедят,— отвечал он с убеждением.

— Нет, нет, ты ошибаешься,— продолжал я,— боюсь, правда, что они убьют их, но можешь быть уверен, что есть их не станут.

Не зная, что и думать обо всем, что там происходило, я с трепетом и ужасом ожидал, что три пленника вот-вот будут убиты. Я увидел даже, как над головой одной из жертв сверкнуло оружие — кинжал или тесак. Кровь застыла в моих жилах: я был уверен, что бедняга сейчас свалится мертвый. Как я жалел в эту минуту, что со мной нет моего испанца и старика-индейца, отца Пятницы. Я заметил, что ни у кого из разбойников не было с собой ружей. Так хорошо было бы подкрасться к ним теперь и выстрелить по ним в упор. Но скоро мысли мои приняли иное направление.

Я увидел, что, поиздевавшись над тремя связанными пленниками, негодяи разбежались по острову, желая, вероятно, осмотреть местность. Я заметил также, что и троим пленным была предоставлена свобода идти, куда им вздумается. Но все трое сидели на земле, погруженные в размышления, и были, по-видимому, в глубоком отчаянии.

Это напомнило мне первое время моего пребывания на острове. Точно так же и я сидел на берегу, дико озираясь кругом. Я тоже считал себя погибшим. Какие ужасы мерещились мне в первую ночь, когда я забрался на дерево, боясь, чтобы меня не растерзали хищные звери! Как я не знал той ночью о поддержке свыше, которую получу в виде прибитого бурей и приливом ближе к берегу корабля, откуда я запасся всем необходимым для жизни на много, много лет, так и эти трое несчастных не знали, что избавление и поддержка близки и что в тот самый момент,

когда они считали себя погибшими и свое положение безнадежным, они находились уже почти в полной безопасности.

Лодка подошла к берегу во время прилива, и пока разбойники вели разговоры с тремя пленниками да пока они шныряли по острову, прошло много времени: начался отлив, и лодка очутилась на мели. В ней остались два человека, которые, как я обнаружил впоследствии, здорово напились и вскоре уснули. Когда один из них проснулся и увидел, что лодка стоит на земле, он попробовал столкнуть ее в воду, но не мог. Тогда он стал окликать остальных. Они сбежались на его крики и принялись ему помогать, но песчаный грунт был так рыхл, а лодка так тяжела, что все их усилия спустить ее на воду не привели ни к чему.

Тогда они, как истые моряки,— а моряки, как известно, самый легкомысленный народ в мире,— бросили лодку и снова разбрелись по острову. Я слышал, как один из них, уходя, крикнул двоим, оставшимся в лодке:

— Джек! Том! Да бросьте вы ее! Чего там возиться! Всплывет со следующим приливом.— Это было сказано по-английски, так что не оставалось уже никаких сомнений, что эти люди — мои земляки.

Все это время я или выходил на свой наблюдательный пост на вершине холма, или сидел, притаившись в своем замке и радуясь, что я так хорошо его укрепил. До начала прилива оставалось не менее десяти часов; к тому времени должно было стемнеть. Тогда я мог незаметно подкрасться к морякам и наблюдать за их движениями, а также подслушать, что они будут говорить.

Тем временем я начал готовиться к бою, но с большой осмотрительностью, так как знал, что теперь мне предстоит иметь дело с более опасным врагом, чем дикари. Пятнице, который сделался у меня превосходным стрелком, я тоже приказал вооружиться. В своей мохнатой куртке из козьих шкур и такой же шапке, с обнаженной саблей у бедра и с двумя ружьями за спиной, я имел поистине грозный вид.

Как уже сказано, я решил было ничего не предпринимать, пока не стемнеет. Но часа в два, когда жара стала нестерпимой, я заметил, что все моряки побрели к лесу и, вероятно, уснули там. Что же касается трех несчастных пленников, то им было не до сна. Все трое сидели под большим деревом, не более как в четверти мили от меня и, как мне казалось, вне поля зрения остальных.

Тут я решил показаться им и разузнать что-нибудь о их положении. Я немедленно отправился в путь в только что описанном наряде, с Пятницей на почтительном расстоянии от меня. Мой слуга был тоже вооружен до зубов, как и я, но все-таки меньше походил на выходца с того света.

Я подошел к трем пленникам совсем близко и, прежде чем они успели заметить меня, громко спросил их по-испански:

— Кто вы такие, господа?

Они вздрогнули от неожиданности и обернулись на голос, по, кажется, еще больше перепугались, увидя подходившее к ним странное существо. Ни один из них не ответил ни слова, и мне показалось, что они собираются бежать. Тогда я заговорил с ними по-английски.

— Господа,— начал я,— не пугайтесь: быть может, вы найдете друга там, где меньше всего ожидали встретить его.

— Если так, то, значит, его посылает нам само небо,— отвечал мне торжественно один из троих, снимая передо мной шляпу,— потому что мы не можем надеяться на человеческую помощь.

— Всякая помощь от бога, сударь,— сказал я.— Однако угодно ли вам указать чужому человеку, как помочь вам, ибо вы, по-видимому, находитесь в очень незавидном положении. Я видел, как вы высаживались, видел, как вы о чем-то умоляли приехавших с вами негодяев и как один из них замахнулся кинжалом.

Бедняга залился слезами и пролепетал, весь дрожа:

— Кто со мной говорит: человек или бог? Обыкновенный смертный или ангел?

— Да не смущают вас такого рода сомнения, сударь,— отвечал я,— можете быть уверены, что перед вами простой смертный. Поверьте, что, если бы бог послал ангела вам на помощь, он был бы не в таком одеянии и иначе вооружен. Итак, прошу вас, отбросьте ваш страх. Я — человек, англичанин и хочу вам помочь. Как видите, нас только двое, я и мой слуга, но у нас есть ружья и заряды. Говорите же прямо: чем мы можем вам служить? Что с вами произошло?

— Слишком долго рассказывать все, как было,— отвечал он.— Наши злодеи близко. Но вот вам, сударь, вся наша история в коротких словах. Я — капитан корабля; мой экипаж взбунтовался; едва удалось убедить этих людей не убивать меня; наконец они согласились высадить меня на этот пустынный берег с моим помощником и одним пассажиром, которых вы видите перед собой. Мы были уверены в нашей гибели, так как считали эту землю необитаемой. Да и теперь еще мы не знаем, что нам думать о нашей встрече с вами.

— Где эти звери — ваши враги? — спросил я.— В какую сторону они пошли?

— Вон они лежат под теми деревьями, сударь.— И он указал в сторону леса.— У меня сердце замирает от страха, что они увидят вас и услышат, потому что тогда они всех нас убьют.

— Есть у них ружья? — спросил я.

— Только два,— отвечал он,— и одно из них оставлено в лодке.

— Чудесно,— сказал я,— все остальное я беру на себя. Кажется, они крепко уснули; нам нетрудно всех их перебить, но не лучше ли взять их в плен? — На это капитан мне сказал, что между этими людьми есть два отпетых негодяя, которых едва ли было бы разумно щадить; но если отделаться от этих двоих, то остальные, он уверен, вспомнят о своем долге. Я попросил его указать мне этих двоих; он сказал, что не может узнать их на таком большом расстоянии, но что сам он исполнит все, что я прикажу.

— В таком случае,— продолжал я,— прежде всего отойдем подальше, чтобы не разбудить их, и решим сообща, как нам действовать.— Все трое с полной готовностью последовали за мной, и вскоре деревья укрыли нас от глаз наших врагов.

— Слушайте, сударь,— сказал я,— я попытаюсь выручить вас, но прежде ставлю вам два условия...— Он не дал мне договорить.

— Я весь в вашей власти,— сказал он поспешно,— распоряжайтесь мною по своему усмотрению — и мной, и моим кораблем, если нам удастся отнять его у разбойников; если же нет, то даю вам слово: пока жив, я буду вашим послушным рабом, пойду всюду, куда бы вы меня ни послали, и, если понадобится, умру за вас.

Оба его товарища обещали то же самое.

Тогда я сказал:

— Если так, господа, то вот мои условия: во-первых, пока вы у меня на острове, вы не будете предъявлять никаких притязаний на власть; и, если я дам вам оружие, вы по первому моему требованию возвратите мне его, не станете злоумышлять ни против меня, ни против моих подданных на этом острове и будете подчиняться всем моим распоряжениям. Во-вторых, если нам удастся овладеть вашим кораблем, вы бесплатно доставите на нем в Англию меня и моего слугу.

Капитан заверил меня всеми клятвами, какие только может придумать человеческая изобретательность, что он исполнит эти в высшей степени разумные требования и, кроме того, во всякое время и при всех обстоятельствах будет считать себя обязанным мне своей жизнью.

— Так за дело, господа! — сказал я.— Прежде всего вот вам три ружья, вот порох и пули. А теперь говорите, что, по-вашему, следует нам предпринять? — Но капитан опять рассыпался в изъявлениях благодарности и объявил, что роль предводителя принадлежит по праву мне. Тогда я сказал:

— По моему мнению, нам надо действовать решительно. Подкрадемся к ним, пока они спят, и дадим по ним залп, предоставив

богу решать, кому быть убитым нашими выстрелами. Если же те, которые останутся живы, сдадутся, их можно будет пощадить.

На это он робко возразил, что ему не хотелось бы проливать столько крови и что, если можно, он предпочел бы этого избежать, но что двое неисправимых негодяев, поднявших мятеж на корабле, поставят нас в опасное положение, если ускользнут и вернутся на корабль, потому что они приведут сюда весь экипаж и перебьют всех нас.

— Значит, тем более необходимо принять мой совет,— заметил я,— это единственное средство спастись.— Заметив, однако, что он все-таки колеблется, я сказал ему, чтобы он с товарищами поступал, как знает.

Между тем, пока у нас шли эти переговоры, матросы начали просыпаться, и вскоре я увидел, что двое из них поднялись. Я спросил капитана, не это ли зачинщики бунта.

— Нет,— отвечал он.

— Так пусть уходят с миром: не будем им мешать,— сказал я.— Быть может, это сам бог пробудил их от сна, чтобы дать им возможность спастись. Но если вы дадите ускользнуть остальным, это уж будет ваша вина.

Подстрекаемый этими словами, капитан схватил мушкет, заткнул за пояс пистолет и ринулся вперед в сопровождении своих товарищей, каждый из которых тоже вооружился мушкетом. Один из проснувшихся матросов обернулся на шум их шагов и, увидев в их руках оружие, поднял тревогу. Но было уже поздно: в тот самый момент, когда он закричал, грянуло два выстрела — капитанского помощника и пассажира; сам же капитан благоразумно воздержался, приберегая свой заряд. Стрелявшие не дали промаха: один человек был убит наповал, другой тяжело ранен. Однако раненый вскочил на ноги и стал звать на помощь. Но тут к нему подбежал капитан и сказал, что уже поздно ему звать на помощь и лучше молить бога, чтобы он простил ему предательство. С этими словами капитан прикончил его ударом приклада по голове. Оставались еще трое, из которых один был легко ранен. Тут подошел я. Поняв, что сопротивление бесполезно, наши противники запросили пощады. Капитан отвечал, что он готов их пощадить, если они поручатся в том, что искренне каются в своем вероломстве, и поклянутся помочь ему овладеть кораблем и отвести его обратно на Ямайку. Они стали заверять в своей искренности и обещали беспрекословно повиноваться ему. Капитан удовлетворился их обещаниями и склонен был пощадить их жизнь. Я не противился этому, но только потребовал, чтобы в течение всего пребывания на моем острове они были связаны по рукам и ногам.

Пока все это происходило, я отрядил Пятницу и помощника

капитана к баркасу с приказанием унести с него парус и весла. Тем временем три отсутствовавшие, к счастью для них, матроса, услыхав выстрелы, воротились. Когда они увидели, что капитан из пленника превратился в победителя, они даже не пытались сопротивляться и беспрекословно дали себя связать. Таким образом, мы одержали полную победу.

Теперь капитану и мне оставалось только поведать друг другу наши приключения. Я начал первый и рассказал ему всю мою историю, которую он выслушал с жадным вниманием и немало изумлялся чудесной случайности, давшей мне возможность запастись съестными припасами и оружием. Не было, впрочем, ничего удивительного в том, что мой рассказ так его взволновал: вся жизнь моя на острове была сплошными чудесами. Но когда от моей необычайной судьбы мысль его, естественно, перенеслась к собственной судьбе и капитану показалось, что я был сохранен здесь как бы для спасения его жизни, из глаз этого бывалого человека хлынули слезы, и он не мог выговорить больше ни слова.

Я пригласил капитана и обоих его спутников к себе в замок, куда мы вошли моим обыкновенным путем, то есть через крышу дома. Я предложил моим гостям подкрепиться тем, что у меня было, а затем показал им свое домашнее хозяйство со всеми хитроумными приспособлениями, какие были сделаны мною за долгие, долгие годы моей одинокой жизни.

Они изумлялись всему, что я им показывал, всему, что они от меня узнавали. Но капитана больше всего поразили воздвигнутые мной укрепления и то, как искусно было скрыто мое жилье в чаще деревьев. Действительно, благодаря необыкновенной силе растительности в тропическом климате моя рощица за двадцать лет превратилась в такой густой лес, что сквозь него можно было пробраться только по узенькой извилистой тропинке, которую я оставил нарочно для этого при посадке деревьев. Я объяснил моим новым знакомым, что замок — главная моя резиденция, но, как у всех владетельных особ, у меня есть и другая — загородный дворец, который я тоже иногда посещаю. Я обещал им показать его в другой раз, теперь же нам следовало подумать, как освободить от разбойников корабль. Капитан вполне согласился со мной, но прибавил, что он в полнейшем недоумении, как к этому приступить, ибо на корабле осталось еще двадцать шесть человек экипажа. Так как все они замешаны в гнусном заговоре, то есть в таком преступлении, за которое по закону полагается смертная казнь, то они будут сопротивляться до последнего вздоха. Им хорошо известно, что если они нам сдадутся, то тотчас по возвращении в Англию или в какую-нибудь из английских колоний будут повешены; по этой причине немыслимо вступать с ними в бой, имея

столь неравные силы. Слова капитана заставили меня призадуматься. Его соображения казались мне разумными. А между тем надо было на что-нибудь решиться: постараться хитростью заманить их в ловушку и напасть на них врасплох или же помешать им высадиться и перебить всех нас. Но тут я подумал, что вскоре экипаж корабля начнет тревожиться за судьбу товарищей и лодки и, наверно, отправит на поиски другую лодку. На этот раз они, должно быть, явятся вооруженные, и тогда нам не справиться с ними. Капитан нашел мои предположения вполне основательными.

Тогда я сказал, что, по-моему, нам прежде всего следует позаботиться, чтобы разбойники не могли увести обратно баркас, на котором приехала первая группа, а для этого надо сделать его непригодным для плавания. Мы тотчас отправились к баркасу, сняли с него оружие, пороховницу, две бутылки — одну с водой, другую с ромом, мешок с сухарями, большой кусок сахару (фунтов пять или шесть), завернутый в парусину. Я очень обрадовался добыче, особенно водке и сахару: ни того, ни другого я не пробовал уже много, много лет.

Вытащив на берег весь этот груз (весла, мачта, парус и руль были убраны раньше, о чем я уже говорил), мы пробили в дне баркаса большую дыру. Таким образом, если бы нам и не удалось одолеть неприятеля, он, по крайней мере, не мог взять от нас свою лодку. Сказать по правде, я и не надеялся, что нам посчастливится захватить в свои руки корабль, но что касается баркаса, то починить его ничего не стоило, а на таком судне легко было добраться до подветренных островов, захватив по дороге наших друзей испанцев, о которых я не забыл. Когда мы общими силами оттащили баркас в такое место, куда не достигал прилив, и пробили дыру в дне, мы присели отдохнуть и посоветоваться, что нам делать дальше. Но не успели мы приступить к совещанию, как с корабля раздался пушечный выстрел, и на нем замахали флагом. Это был, очевидно, призывный сигнал для баркаса. Но баркас не трогался. Немного погодя грянул второй выстрел, потом еще и еще: сигналы флагом тоже не прекращались.

Наконец, когда все эти сигналы и выстрелы остались без ответа и баркас не показывался, с корабля спустили вторую шлюпку (все это было мне отлично видно в подзорную трубу). Шлюпка направилась к берегу, и, когда она подошла ближе, мы увидели, что в ней было не менее десяти человек и все с ружьями.

От корабля до берега было около шести миль, так что мы имели время рассмотреть сидевших в шлюпке. Мы различали даже лица. Шлюпку относило течением немного восточнее того места, куда мы вытащили баркас, и матросы гребли вдоль берега, чтобы пристать к тому самому месту, куда пристала первая лодка.

Таким образом, повторяю, мы видели в лицо каждого человека. Капитан всех их узнал и тут же охарактеризовал мне каждого из них. По его словам, между ними было три честных матроса. Он был уверен, что их вовлекли в заговор против воли, силой и угрозами; зато боцман, который, по-видимому, командовал ими, и все остальные были отъявленные мерзавцы.

— Они зашли слишком далеко,— добавил капитан,— и будут защищаться отчаянно. Боюсь, что нам не устоять против них.

Я улыбнулся и сказал, что люди в таких обстоятельствах, как мы, уже не подвержены действию страха; что бы ни ожидало нас в будущем, все будет лучше нашего настоящего положения, и, следовательно, всякий выход из этого положения — даже смерть — мы должны считать избавлением. Я спросил его, что он думает о здешнем моем существовании и неужели он не находит, что мне стоит рискнуть жизнью ради своего избавления.

— И где же, сударь,— сказал я,— ваша уверенность, что я сохранен здесь для спасения вашей жизни,— уверенность, которую вы выражали несколько времени тому назад? Что касается меня, то в предстоящей нам задаче меня смущает только одно.

— Что такое? — спросил он.

— Да то, что, как вы говорите, в числе этих людей есть три или четыре порядочных человека, которых следует пощадить. Будь они все негодяями, я бы ни на секунду не усомнился, что сам бог, желая их наказать, передает их в наши руки; ибо всякий вступивший на этот остров будет в нашей власти и, смотря по тому, как он к нам отнесется, умрет или останется жить.

Все это я произнес бодро и решительно, с веселым лицом. Моя уверенность передалась капитану, и мы ревностно принялись за дело. Как только с корабля была спущена вторая шлюпка, мы позаботились разлучить наших пленников и хорошенько запрятать их. Двоих, как самых ненадежных (так, по крайней мере, их аттестовал капитан), я отправил под конвоем Пятницы и капитанского помощника в свою пещеру. Это было достаточно укромное место, откуда арестантов не могли услышать и откуда им было бы нелегко убежать,— они едва ли нашли бы дорогу в лесу. Их посадили связанными, но оставили им еды и сказали, что если они будут вести себя смирно, то через день или два их освободят, но зато при первой попытке бежать убьют без всякой пощады. Они обещали терпеливо переносить свое заключение и очень благодарили за то, что их не оставили без пищи и позаботились, чтоб они не сидели впотьмах, так как Пятница дал им несколько наших самодельных свечей. Они были уверены, что Пятница остался на часах у входа.

С четырьмя остальными пленниками мы поступили мягче. Правда, двоих мы оставили пока связанными, так как капитан за

них не ручался, но двух других я взял под свое начало по рекомендации капитана и после того, как оба они торжественно поклялись мне в верности. Итак,— считая этих двоих и капитана с двумя его товарищами,— нас было теперь семеро хорошо вооруженных людей, и я не сомневался, что мы управимся с теми десятью, которые приближались к острову, тем более что в числе их, по словам капитана, было три или четыре честных человека.

Подойдя к острову в том месте, где мы оставили баркас, они причалили, вышли из шлюпки и вытащили ее на берег, чему я был очень рад. Признаться, я боялся, что они из предосторожности станут на якорь, не доходя до берега, и что часть людей останется караулить шлюпку: тогда мы не смогли бы ее захватить.

Выйдя на берег, они первым делом бросились к баркасу, и легко представить себе их изумление, когда они увидели, что с него исчезли все снасти и весь груз и что в дне его зияет дыра.

Поразмыслив по поводу этого неприятного сюрприза, они принялись что было мочи окликать своих товарищей, надеясь, что те их услышат. Долго надсаживали они себе глотки, но без всякого результата. Тогда они стали в кружок и по команде дали залп из ружей. По лесу раскатилось гулкое эхо, но это нисколько им не помогло: сидевшие в пещере ничего не могли слышать; те же, которые были с нами, хоть и слышали, но откликнуться не посмели.

Матросы были так ошеломлены исчезновением своих товарищей, что (как они нам потом рассказали) решили воротиться на корабль с донесением, что баркас продырявлен, а люди, вероятно, все перебиты. Мы видели, как они торопливо спустили на воду шлюпку и как потом сели в нее.

Капитан, который до сих пор еще надеялся, что нам удастся захватить корабль, теперь совсем пал духом. Он боялся, что когда на корабле узнают об исчезновении команды баркаса, то снимутся с якоря, и тогда прощай все его надежды. Но скоро у него явился новый повод для страха. Не успела шлюпка отдалиться от берега, как мы увидели, что она возвращается: должно быть, посоветовавшись между собой, они приняли новое решение. Мы продолжали наблюдать. Шлюпка причалила к берегу, и в ней осталось три человека, остальные же семеро вышли и отправились в глубь острова, очевидно, на розыски пропавших.

Дело принимало невыгодный для нас оборот. Даже если бы мы захватили семерых вышедших на берег, это не принесло бы нам никакой пользы — шлюпка с тремя остальными вернулась бы назад, и корабль, несомненно, снялся бы с якоря, поднял паруса и был бы для нас потерян.

Однако нам не оставалось ничего больше, как терпеливо выжидать, чем все это кончится. Высадив семерых человек, шлюпка

с тремя остальными отошла на порядочное расстояние от берега и стала на якорь, отрезав нам, таким образом, всякую возможность добраться до нее. Семеро разведчиков, держась плотно друг к другу, стали подыматься на горку, под которой было мое жилье. Нам было отлично их видно, но они не могли видеть нас. Мы все надеялись, что они подойдут поближе — тогда мы могли бы дать по ним залп — или, напротив, уйдут подальше и позволят нам, таким образом, выйти из своего убежища.

Но, добравшись до гребня холма, откуда открывался вид на всю северо-восточную часть острова, спускавшуюся к морю отлогими лесистыми долинами, они остановились и снова стали кричать и звать своих товарищей, пока не охрипли. Наконец, боясь, должно быть, удаляться от берега и друг от друга, они уселись под деревом и стали совещаться. Оставалось только, чтобы они заснули, как те, что приехали в первой группе, тогда наше дело было бы выиграно. Но страх не располагает ко сну, а эти люди, видимо, трусили, хотя и не знали, какая им грозит опасность и откуда она может прийти.

Тут капитану пришла в голову весьма разумная мысль, а именно, что, в случае если бы они решили еще раз попытаться подать сигнал выстрелами своим пропавшим товарищам, мы могли бы броситься на них как раз в тот момент, когда они выстрелят и, следовательно, их ружья будут разряжены. Тогда, говорил он, им ничего больше не останется, как сдаться, и дело обойдется без кровопролития.

План был недурен, но его можно было привести в исполнение, только если бы мы находились достаточно близко к ним, когда они дадут залп, и могли бы наброситься на них прежде, чем ружья будут снова заряжены. Но они и не думали стрелять. Мы долго сидели в засаде, не зная, на что решиться. Наконец я сказал, что, по моему мнению, до наступления ночи нам нечего и думать о каких-либо действиях. Если же к тому времени эти семеро не вернутся на лодку, тогда мы в темноте незаметно проберемся к морю, и, может быть, нам удастся заманить на берег тех, что остались в лодке.

Время тянулось нестерпимо медленно, и нам казалось, что совещанию их не будет конца, но вдруг мы немало встревожились, увидев, что они встали и решительным шагом направились прямо к морю. Должно быть, страх неизвестной опасности оказался сильнее товарищеских чувств и они решили бросить всякие поиски и воротиться на корабль. Я понял это сразу, едва только увидел, что они направляются к берегу, и поделился своей догадкой с капитаном, который пришел в совершенное отчаяние. Но тут мне внезапно пришла на ум одна уловка, которая могла заставить их воротиться и, стало быть, как нельзя лучше отвечала нашим целям.

Я приказал Пятнице и помощнику капитана направиться к западу от бухточки, к месту, где высаживались дикари в день освобождения Пятницы; затем, поднявшись на горку на расстоянии полумили, кричать изо всей мочи, пока их не услышат моряки; когда же те откликнутся, перебежать на другое место и снова аукать и, таким образом, постоянно меняя место, заманивать врагов все дальше и дальше в глубь острова, пока они не заблудятся в лесу, а тогда указанными мной окольными путями вернуться ко мне.

Матросы уже садились в лодку, когда со стороны бухточки раздался крик Пятницы и помощника капитана. Они сейчас же откликнулись и пустились бежать вдоль берега на голос, но, добежав до бухточки, принуждены были остановиться, так как было время прилива и вода в бухточке стояла очень высоко. Посоветовавшись между собой, они наконец крикнули оставшимся в шлюпке, чтобы те подъехали и перевезли их на другой берег. На это-то я и рассчитывал.

Переправившись через бухточку, они пошли дальше, прихватив с собой еще одного человека. Таким образом, в шлюпке остались только двое. Я видел, как они отвели ее в самый конец бухточки и привязали там к небольшому пню.

Все складывалось для нас как нельзя лучше. Предоставив Пятнице и помощнику капитана делать свое дело, я скомандовал остальному отряду следовать за мной. Мы переправились через бухточку вне поля зрения неприятеля и неожиданно выросли перед ним. Один матрос сидел в шлюпке, другой лежал на берегу и дремал. Увидев нас в трех шагах от себя, он хотел было вскочить, но капитан, бывший впереди, бросился на него и ударил его прикладом. Затем, не давая опомниться другому матросу, он крикнул ему: «Сдавайся или умрешь!»

Не требуется большого красноречия, чтобы убедить сдаться человека, который видит, что он один против пятерых и единственный его союзник сбит с ног у него на глазах. К тому же этот матрос был как раз одним из троих, про которых капитан говорил, что они примкнули к заговору не по своей охоте, а под давлением большинства. Он не только беспрекословно положил оружие по первому требованию, но вслед за тем сам заявил о своем желании, по-видимому, вполне искреннем, перейти на нашу сторону.

Тем временем Пятница с помощником капитана так чисто обделали свое дело, что лучше нельзя было и желать. Крича и откликаясь на ответные крики матросов, они водили их по всему острову, от горки к горке, из лесу в лес, пока не завели в такую непроглядную глушь, откуда не было никакой возможности выбраться на берег до наступления ночи. О том, как они измучили

неприятеля, можно было судить по тому, что и сами они вернулись домой, еле волоча ноги.

Теперь нам оставалось только подкараулить в темноте, когда моряки будут возвращаться, и, ошеломив их неожиданным нападением, расправиться с ними наверняка.

Прошло несколько часов со времени возвращения Пятницы и его товарища, а о тех не было ни слуху ни духу. Наконец мы услышали вдали их голоса. Передний кричал отставшим, чтобы поторопились, а отставшие отвечают, что не могут идти быстрее, что совсем стерли себе ноги и падают от усталости. Нам было очень приятно слышать это.

Мы долго ждали, пока они подойдут к лодке. Надо заметить, что за эти несколько часов начался отлив, и шлюпка, привязанная к пню, очутилась на берегу. Невозможно описать, что с ними сделалось, когда они увидели, что шлюпка стоит на мели, а люди исчезли. Мы слышали, как они проклинали свою судьбу, крича, что попали на заколдованный остров, на котором живут или черти, или духи, и что они будут или убиты, или унесены нечистой силой. Несколько раз они принимались окликать своих товарищей, называя их по именам, но, разумеется, не получали ответа. При слабом свете меркнущего дня нам было видно, как они то бегали, ломая руки, то, утомившись этой беготней, бросались в лодку в безысходном отчаянии, то опять выскакивали на берег и опять шагали взад и вперед, и так без конца.

Мои люди упрашивали меня позволить им напасть на неприятеля, как только стемнеет. Но я предпочитал не проливать крови, если только будет хоть какая-нибудь возможность этого избежать, а главное, зная, как хорошо вооружены наши противники, я не хотел рисковать жизнью своих людей. Я решил подождать, не разойдутся ли они в стороны, и, чтобы действовать наверняка, придвинул свою засаду ближе к лодке. Пятнице с капитаном я приказал ползти на четвереньках, чтобы мятежники не заметили их, и стрелять только в упор.

Недолго им пришлось припадать к земле, ибо на них почти наткнулись отделившиеся от остальных два матроса и боцман, который, как уже сказано, был главным зачинщиком бунта, но теперь совсем пал духом. У капитана, почувствовавшего, что главный виновник всех бедствий в его власти, еле хватило терпения выждать, пока тот подойдет ближе, чтобы удостовериться, он ли это, так как до сих пор они слышали только его голос. Едва он приблизился, как капитан и Пятница вскочили и выстрелили.

Боцман был убит наповал, другой матрос ранен в грудь навылет. Он тоже свалился, как сноп, но умер только часа через два. Третий матрос убежал.

Услышав выстрелы, я мгновенно двинул вперед всю свою армию, которая насчитывала теперь восемь человек. Вот ее полный состав: я — генералиссимус, Пятница — генерал-лейтенант, затем капитан с двумя друзьями и трое военнопленных, которых мы удостоили своим доверием, приняв в число рядовых и вооружив ружьями.

Мы подошли к неприятелю, когда уже совсем стемнело, чтобы нельзя было разобрать, сколько нас. Я приказал матросу, который был оставлен в лодке и незадолго перед тем добровольно присоединился к нам, окликнуть по именам своих бывших товарищей. Прежде чем стрелять, я хотел попытаться вступить с ними в переговоры и, если удастся, покончить дело миром. Мой расчет вполне удался, что, впрочем, и понятно: в их положении им оставалось только сдаться. Итак, мой парламентер заорал во все горло:

— Том Смит! Том Смит!

Том Смит сейчас же откликнулся:

— Кто это? Ты, Робинзон? — Он, очевидно, узнал его по голосу.

Робинзон отвечал:

— Да, да, это я. Ради бога, Том Смит, бросай оружие и сдавайся, не то через минуту со всеми вами будет покончено.

— Да кому же сдаваться? Где они там? — прокричал опять Том Смит.

— Здесь! — откликнулся Робинзон.— Здесь наш капитан и с ним пятьдесят человек. Вот уже два часа, как они гоняются за вами. Боцман убит. Уил Фрай ранен, а я попал в плен. Если вы не сдадитесь сию же минуту, вы все погибли.

— А нас помилуют, если мы сдадимся? — спросил Том Смит.

— Сейчас я спрошу капитана,— отвечал Робинзон. Тут вступил в переговоры уже сам капитан.

— Эй, Смит и все вы там! — закричал он.— Вы узнаете мой голос? Если вы немедленно положите оружие и сдадитесь, я обещаю вам пощаду — всем, кроме Уила Аткинса.

— Капитан, ради бога, смилуйтесь надо мной! — взмолился Уил Аткинс.— Чем я хуже других? Все мы одинаково виноваты.— Кстати сказать, это была ложь, потому что, когда начался бунт, Уил Аткинс первый бросился на капитана, связал ему руки и обращался с ним крайне грубо, осыпая его оскорбительной бранью. Однако капитан сказал ему, чтоб он сдавался без всяких условий, а там уж пусть губернатор решает, жить ему или умереть. Губернатором капитан и все они величали меня.

Словом, бунтовщики положили оружие и стали умолять о пощаде. Наш парламентер и еще два человека по моему приказанию связали всех, после чего моя грозная армия в пятьдесят человек,

которая на самом деле вместе с тремя передовыми состояла всего из восьми, окружила их и завладела шлюпкой. Сам я и Пятница, однако, не показывались пленным по государственным соображениям.

Первым нашим делом было исправить лодку и подумать о том, как захватить корабль. Капитан — он мог теперь беспрепятственно говорить с бунтовщиками — изобразил им в истинном свете всю низость их поведения по отношению к нему и еще большую гнусность их планов, которые они не успели осуществить. Он дал им понять, что такие дела к добру не приводят и их ожидает, пожалуй, виселица.

Преступники каялись, по-видимому, от чистого сердца и молили только об одном — чтобы у них не отнимали жизни. На это капитан им ответил, что тут он не властен, они не его пленники, а правителя острова; они были уверены, будто высадили его на пустынный, необитаемый берег, но богу было угодно направить их к населенному месту, губернатор которого англичанин. «Он мог бы,— сказал капитан,— если бы хотел, всех вас повесить, но он помиловал вас и, вероятно, отправит в Англию, где с вами будет поступлено по законам. Но Уилу Аткинсу губернатор приказал готовиться к смерти: он будет повешен завтра поутру».

Все это капитан, разумеется, выдумал, но его выдумка произвела желаемое действие. Аткинс упал на колени, умоляя капитана ходатайствовать за него перед губернатором, остальные тоже стали униженно просить, чтоб их не отправляли в Англию.

Мне показалось, что час моего избавления настал и что теперь нетрудно будет убедить этих парней помочь нам овладеть кораблем. И, держась в темноте, чтобы они не могли рассмотреть, каков их губернатор, я как будто издали позвал капитана. Один из наших людей, как было ему велено заранее, подошел к капитану и сказал: «Капитан, вас зовет командующий»,— на что капитан ответил:

— Передай его превосходительству, что я сейчас явлюсь.

Это произвело надлежащее впечатление: все остались в полной уверенности, что губернатор где-то близко со своей армией в пятьдесят человек.

Когда капитан подошел ко мне, я сообщил ему свой план овладения кораблем. Он горячо его одобрил и решил привести в исполнение на другой же день. Но, чтоб выполнить этот план с большим искусством и обеспечить успех нашего предприятия, я посоветовал капитану разделить пленных. Аткинса с двумя другими закоснелыми негодяями, по моему мнению, следовало связать по рукам и ногам и засадить в пещеру, где уже сидели заключенные. Свести их туда было поручено Пятнице и двум спутникам капитана, высаженным с ним на берег.

Они отвели этих троих пленных в мою пещеру, как в тюрьму, да она и в самом деле имела довольно мрачный вид, особенно для людей в их положении. Остальных я отправил на свою дачу, уже подробно описанную мной. Высокая ограда делала ее тоже достаточно надежным местом заточения, тем более что узники были связаны и знали, что от их поведения зависит их участь.

На другой день поутру я послал к ним для переговоров капитана. Он должен был прощупать почву: узнать и сообщить мне, насколько можно доверять этим людям и не рискованно ли будет взять их с собой на корабль. Он сказал им о нанесенном ему оскорблении и о печальных последствиях, к которым оно их привело; сказал, что хотя губернатор и помиловал их в настоящее время, но, когда корабль придет в Англию, они, несомненно, будут повешены; однако если они помогут в таком справедливом предприятии, как отвоевание у разбойников корабля, то губернатор исхлопочет для них прощение.

Нетрудно догадаться, с какой готовностью это предложение было принято людьми, уже почти отчаявшимися в своем спасении. Они бросились к ногам капитана и клятвенно обещали остаться верными ему до последней капли крови, заявив, что, если он исходатайствует им прощение, они будут считать себя всю жизнь неоплатными его должниками, будут чтить его, как отца, и пойдут за ним хоть на край света. «Ладно,— сказал им капитан,— все это я передам губернатору и, со своей стороны, буду ходатайствовать за вас перед ним». Придя ко мне, он рассказал об их расположении духа, прибавив, что, по его искреннему убеждению, можно вполне положиться на верность этих людей.

Но для большей надежности я предложил капитану возвратиться к матросам, выбрать из них пятерых и сказать им, что мы не нуждаемся в людях и что, избирая этих пятерых в помощники, он оказывает им одолжение; остальных же двоих вместе с теми тремя, что сидят в замке (то есть в моей пещере), губернатор оставит у себя в качестве заложников, и если они изменят своей клятве, то все пятеро заложников будут повешены на берегу.

Это строгое решение показало им, что с губернатором шутки плохи. Им не оставалось другого выбора, как принять мой ультиматум. Теперь это была уже забота заложников и капитана внушить пятерым, чтоб они не изменили своей клятве.

Итак, мы располагали теперь следующими боевыми силами: 1) капитан, его помощник и пассажир; 2) двое пленных из первой группы, которым, по ручательству капитана, я возвратил свободу и оружие; 3) еще двое пленных, которых я посадил связанными на дачу и теперь освободил, опять-таки по просьбе капитана; 4) наконец, пятеро освобожденных в последнюю очередь, итого — две-

надцать человек, кроме пятерых, оставленных в пещере заложниками.

Я спросил капитана, находит ли он возможным атаковать корабль наличными силами, ибо что касается меня и Пятницы, то нам было неудобно отлучаться: у нас на руках оставалось семь человек, их нужно было держать порознь и кормить, так что дела было довольно.

Пятерых заложников, посаженных в пещеру, я решил держать строго. Раза два в день Пятница давал им еду и питье; двое других пленных приносили провизию на определенное место, и оттуда Пятница брал ее. Этим двум заложникам я показался в сопровождении капитана. Он им сказал, что я — доверенное лицо губернатора, мне поручен надзор за военнопленными, без моего разрешения они не имеют права никуда отлучаться, и при первом же ослушании их закуют в кандалы и посадят в замок. За все это время я ни разу не выдавал им себя за губернатора, мне нетрудно было играть роль другого лица, и я по всякому поводу говорил о губернаторе, гарнизоне, замке и т. д.

Теперь капитан мог без помехи приступить к снаряжению двух лодок, заделать в одной из них дыру и назначить для них команду. Он назначил командиром одной шлюпки своего пассажира и дал в его распоряжение четырех человек; сам же со своим помощником и с пятью матросами сел в другую шлюпку. Они отбыли так удачно, что подошли к кораблю в полночь. Когда с корабля можно было расслышать их, капитан приказал Робинзону окликнуть экипаж и сказать, что они привели людей и шлюпку, но что им пришлось долго искать, а затем отвлечь их внимание разными небылицами. Пока Робинзон болтал таким образом, шлюпка причалила к борту. Капитан с помощником первые вбежали на палубу и сшибли с ног ударами прикладов второго помощника капитана и корабельного плотника. Поддерживаемые своими матросами, они взяли в плен всех, кто находился на палубе и на шканцах, а затем стали запирать люки, чтобы задержать внизу остальных. Тем временем подоспела вторая шлюпка, приставшая к носу корабля; ее команда быстро заняла люк, через который был ход в корабельную кухню, и взяла в плен трех человек.

Очистив палубу, капитан приказал своему помощнику взять трех матросов и взломать дверь каюты,— ее занимал новый капитан, избранный бунтовщиками. Подняв тревогу, тот вскочил и приготовился к вооруженному отпору с двумя матросами и юнгой, так что, когда помощник капитана со своими людьми высадили дверь каюты, новый капитан и его приверженцы смело выпалили в них. Помощнику раздробило пулей руку, два матроса тоже оказались ранеными, но никто не был убит.

Помощник капитана позвал на помощь и, несмотря на свою рану, ворвался в каюту и пистолетом прострелил новому капитану голову; пуля попала в рот и вышла за ухом, уложив мятежника на месте. Тогда весь экипаж сдался, и больше не было пролито ни капли крови.

Когда все было кончено, капитан приказал произвести семь пушечных выстрелов. Это был условный знак успешного окончания дела. Я продежурил на берегу до двух часов ночи, поджидая этого сигнала; можете судить, как я обрадовался, услышав его.

Ясно услышав все семь выстрелов, я лег и, утомленный волнениями дня, крепко уснул. Меня разбудил гром нового выстрела. Я мгновенно вскочил и услышал, что кто-то зовет меня: «Губернатор! Губернатор!» Я сейчас же узнал голос капитана. Он стоял над моей крепостью, на холме. Я быстро поднялся к нему, он заключил меня в свои объятия и, указывая на корабль, промолвил:

— Мой дорогой друг и избавитель, вот ваш корабль. Он ваш со всем, что на пем есть, и со всеми нами.

Взглянув на море, я действительно увидел корабль, стоявший всего в полумиле от берега. Восстановив себя в правах командира, капитан тотчас же приказал сняться с якоря и, пользуясь легоньким попутным ветерком, подошел к той бухточке, где я когда-то причаливал со своими плотами; так как вода стояла высоко, то он на своем катере вошел в бухточку, высадился на берег и прибежал ко мне.

Увидев корабль, так сказать, у порога моего дома, я от неожиданной радости чуть не лишился чувств. Пробил наконец час моего избавления. Я, если можно так выразиться, уже осязал свою свободу. Все препятствия были устранены; к моим услугам было большое океанское судно, готовое доставить меня, куда я захочу. От волнения я не мог вымолвить ни слова: язык не слушался меня. Если бы капитан не поддерживал меня своими сильными руками, я бы упал.

Заметив мое состояние, он достал из кармана пузырек с каким-то укрепляющим снадобьем, которое захватил нарочно для меня, и дал мне выпить глоток, затем осторожно посадил меня на землю. Я пришел немного в себя, но долго еще не в силах был говорить.

Бедняга капитан и сам не мог опомниться от радости, хотя для него она уже была не столь неожиданной, как для меня. Он успокаивал меня, как малого ребенка, изливался мне в своей признательности и наговорил тысячу самых нежных и ласковых слов. Но я плохо понимал, что он говорит; должно быть, мой ум помутился от наплыва счастья. Наконец мое душевное смятение разрешилось слезами, после чего способность речи вернулась ко мне.

Тогда я обнял моего друга и освободителя, и мы радовались вместе. Я сказал ему, что смотрю на него, как на человека, посланного небом для моего избавления, и все, что здесь случилось с нами, мне кажется цепью чудес. Такие события свидетельствуют о тайном промысле, управляющем миром, и доказывают, что всевидящее око творца отыскивает несчастных в самых заброшенных уголках мира, дабы утешить их. Не забыл я также вознестись к небу благодарной душой. Да и мог ли я не проникнуться благодарностью к тому, кто столь чудесным образом охранял меня в пустыне и не дал мне погибнуть в безотрадном одиночестве? И кого мог я благодарить за свое избавление, как не того, кто для нас источник всех благ, всякого утешения и отрады?

Когда мы немного успокоились, капитан сказал, что привез мне кое-что для подкрепления из корабельных запасов, которых еще не успели расхитить негодяи, так долго хозяйничавшие на корабле. Вслед за тем он велел матросам, сидевшим в лодке, выгрузить на берег тюки, предназначенные для губернатора. Их было столько, что могло показаться, будто я вовсе не собираюсь уезжать, а остаюсь на острове до конца моих дней.

В тюках оказалось: во-первых, целая батарея бутылок с крепкими напитками, в том числе шесть больших (в две кварты каждая) бутылок мадеры, затем два фунта превосходного табаку, двенадцать огромных кусков говядины, шесть кусков свинины, мешок гороху, около ста фунтов сухарей, ящик сахару, ящик белой муки, полный мешок лимонов, две бутылки лимонного соку и еще много разных разностей по части яств и питий. Но главное, мой друг позаботился снабдить меня одеждой, которая была мне в тысячу раз нужнее еды. Он привез мне полдюжины новых, совершенно чистых рубах, шесть очень хороших шейных платков, две пары перчаток, шляпу, башмаки, чулки и отличный собственный костюм, почти не ношенный,— словом, одел меня с головы до ног.

Легко себе представить, как приятен был для меня этот подарок в моем тогдашнем положении. Но до чего неуклюжий был у меня вид, когда я облекся в новый костюм, и до чего мне было неловко и неудобно в нем первое время!

Как только кончилась церемония осмотра вещей и я велел отнести их в мою крепость, мы стали совещаться, что нам делать с пленными и не будет ли рискованно взять их с собой в плавание, особенно двоих, по аттестации капитана, неисправимых негодяев. По его словам, это были такие мерзавцы, что если бы он и решился взять их на корабль, то не иначе как в качестве арестантов, то есть закованных в кандалы, с тем чтобы отдать их в руки правосудия в первой же на нашем пути английской колонии. Словом, капитан был в большом смущении по этому поводу.

Тогда я сказал ему, что, если он желает, я берусь так устроить, что эти два молодца станут сами упрашивать нас оставить их на острове.

— Пожалуйста, устройте, я буду очень рад,— отвечал мне капитан.

— Хорошо,— сказал я.— Сейчас я за ними пошлю и поговорю с ними от вашего имени.— Затем, позвав к себе Пятницу и двух заложников (которых мы теперь освободили, так как их товарищи сдержали данное слово), я приказал им перевести пятерых пленников из пещеры, где они сидели, на дачу (но отнюдь не развязывая им рук) и там дожидаться меня.

Спустя некоторое время я отправился к ним в своем новом костюме и на этот раз уже в качестве самого губернатора. Когда все собрались и капитан сел подле меня, я велел привести к себе узников и сказал им, что мне в точности известно их преступное поведение по отношению к капитану и то, как они дезертировали с кораблем и, наверное, занялись бы разбоем, если бы, по воле провидения, не упали в ту самую яму, которую вырыли другим.

Я сообщил им, что, по моему распоряжению, корабль был захвачен и приведен на рейд, их же новый капитан получил заслуженное возмездие за свою подлость; вскоре они увидят его висящим на рее. Затем я спросил у них, что они могут сказать мне в свое оправдание, так как я намерен казнить их, как пиратов, на что имею полное право по занимаемой мною должности.

Один из них ответил за всех, что им нечего сказать в свое оправдание, но что капитан обещал им пощаду, и потому они смиренно умоляют меня оказать им милость — оставить их в живых.

— Право, не знаю, какую милость я вам могу оказать,— сказал я им.— Я решил покинуть этот остров со всеми моими людьми: мы уезжаем в Англию на вашем корабле. Капитан говорит, что взять вас с собой он может не иначе как закованными в кандалы, с тем чтобы по прибытии в Англию предать вас суду за бунт и измену. А вы сами знаете, что за это вам грозит виселица. Итак, едва ли мы окажем вам благодеяние, взяв вас с собой. Если хотите знать мое мнение, то я посоветовал бы вам остаться на острове, постарайтесь устроиться здесь: только при этом условии — мне дано разрешение уехать отсюда — я могу помиловать вас.

Они с радостью согласились на мое предложение и очень благодарили меня, говоря, что, конечно, лучше жить на этом острове, чем воротиться в Англию только затем, чтобы попасть на виселицу.

Капитан сделал вид, будто у него есть возражения против моего плана и он не решается оставить изменников. Тогда я, в свою очередь, сделал вид, что рассердился на него. Я сказал ему, что они

мои пленники, а не его. Я обещал помиловать их и сдержу свое слово; если же он не находит возможным согласиться со мной, то я сейчас же выпущу их на свободу, и тогда пусть ловит их сам, как знает.

Пленники еще раз горячо поблагодарили меня за заступничество, и таким образом дело было улажено. Я приказал развязать их и сказал им: «Теперь ступайте в лес на то место, где мы вас забрали; я прикажу оставить вам несколько ружей, порох и патроны и дам необходимые указания на первое время. Вы можете очень недурно прожить здесь, если захотите».

Вернувшись домой после этих переговоров, я начал собираться в дорогу. Я, впрочем, предупредил капитана, что не могу быть готов раньше следующего утра, и попросил его ехать на корабль без меня и готовиться к отплытию, а поутру прислать за мной катер.

— Да прикажите,— прибавил я,— повесить на рее труп того бездельника, которого они выбрали в капитаны: я хочу, чтоб его видели те пятеро, что остаются здесь.

Когда капитан уехал, я велел позвать ко мне пятерых пленников и завел с ними серьезный разговор об их положении. Повторив, что, по моему мнению, они делают правильный выбор, оставаясь на острове, так как, если они вернутся на родину, их непременно повесят, я указал им на корабельную рею, где висело бездыханное тело их капитана, и сказал, что и их ожидала бы такая же участь.

Затем, заставив пленных еще раз подтвердить, что они остаются с охотой, я сказал, что намерен ознакомить их с историей моей жизни на острове, чтобы облегчить им первые шаги, и приступил к рассказу. Я рассказал все подробно: как я попал на остров, как собирал виноград, как посеял рис и ячмень, как научился печь хлеб. Я показал свои укрепления, поля и загоны — словом, сделал все от меня зависящее для того, чтобы они могли устроиться удобно; не забыл я предупредить этих людей и о том, что в скором времени к ним могут приехать шестнадцать испанцев; я дал письмо для ожидаемых гостей и взял с них слово, что они примут вновь прибывших в свою общину на равных с собою правах.

Я оставил им все свое оружие, а именно: пять мушкетов, три охотничьих ружья и три шпаги, а также полтора бочонка пороху, которого у меня сохранилось так много потому, что за исключением двух первых лет я почти не стрелял. Я дал им подробное наставление, как ходить за козами, как их доить и откармливать, как делать масло и сыр. Короче говоря, поведал им в немногих словах всю историю своей жизни на острове. В заключение я пообещал упросить капитана оставить им еще два бочонка пороху и семян огородных овощей, которых мне так недоставало и которым

я был бы так рад. Мешок с горохом, привезенный мне капитаном в подарок, я тоже отдал им, посоветовав употребить его весь на посев.

Дав это наставление, я простился с ними на другой день и переехал на корабль. Но как мы ни спешили с отплытием, а все-таки не успели сняться с якоря в ту ночь. На следующий день на рассвете двое из пяти изгнанников подплыли к кораблю и, горько жалуясь на трех своих товарищей, Христом-богом заклинали нас взять их с собой, хотя бы потом их повесили, потому что, по их словам, им все равно грозит смерть, если они останутся на острове.

В ответ на просьбу этих матросов капитан сказал, что он не может взять их без моего разрешения. Но в конце концов, заставив их дать торжественную клятву в том, что они исправятся и будут вести себя примерно, мы приняли их на корабль и вскоре как следует наказали. После здоровой порки они стали весьма порядочными и смирными людьми.

Дождавшись прилива, капитан отправил на берег шлюпку с вещами, которые были обещаны поселенцам. К этим вещам по моей просьбе он присоединил их сундуки с платьем, за что они были очень благодарны. Я тоже ободрил их, обещав, что не забуду о них и, если только по пути мы встретим корабль, я непременно пошлю его за ними.

Простившись с островом, я взял с собой на память сделанную мной собственноручно большую шапку из козьей шкуры, мой зонтик и одного из попугаев. Не забыл я взять и деньги, о которых уже упоминал раньше, но они так долго лежали у меня без употребления, что совсем потускнели и только после основательной чистки стали опять похожи на серебро; я взял также деньги, найденные мною в обломках испанского корабля.

Так покинул я остров 19 декабря 1686 года, судя по корабельному календарю, пробывши на нем двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней; из этого вторичного плена я был освобожден в тот самый день месяца, в какой я некогда спасся бегством на баркасе от мавров города Сале.

После продолжительного морского путешествия я прибыл в Англию 11 июня 1687 года, пробыв в отсутствии тридцать пять лет.

В Англию я приехал для всех чужим, как будто никогда и не бывал там. Моя благодетельница и доверенная, которой я отдал на сохранение свои деньги, была жива, но пережила большие невзгоды, во второй раз овдовела, и дела ее были очень плохи. Я успокоил эту добрую женщину насчет ее долга мне, уверив, что ничего не стану с нее требовать, и, напротив, в благодарность за прежние заботы и преданность помог ей, насколько это позволяли мои обстоятельства, но позволили они немногое, так как и мой собственный запас денег был в то время весьма невелик. Зато я обещал, что

никогда не забуду ее прежней доброты ко мне, и действительно не забыл мою благодетельницу, когда мои дела поправились, как о том будет рассказано своевременно.

Затем я поехал в Йоркшир, но отец мой умер, мать также, и весь род мой угас, за исключением двух сестер и двоих детей одного из моих братьев; меня давно считали умершим, и поэтому мне ничего не оставили из отцовского наследства. Словом, я не нашел ни денег, ни помощи, а того, что у меня было, оказывалось слишком мало, чтобы устроиться.

Встретил я, однако же, проявление благодарности, совершенно для меня неожиданное, со стороны капитана корабля, которого я так удачно выручил из беды, спасши ему и судно и груз. Он так расхвалил меня хозяевам судна, столько наговорил им о том, как я спасал жизнь матросам, что они вместе с другими купцами, заинтересованными в грузе, позвали меня к себе, наговорили мне много лестного и поднесли двести фунтов стерлингов.

Однако, поразмыслив о своем положении и о том, как мало для меня надежды устроиться в Англии, я решил съездить в Лиссабон и попытаться узнать что-нибудь о моей плантации в Бразилии и о моем компаньоне, который, как я имел основание предполагать, уже несколько лет должен был считать меня мертвым.

С этой целью я отплыл на корабле в Лиссабон и прибыл туда в апреле; во всех этих поездках мой слуга Пятница добросовестно сопровождал меня и много раз доказывал мне свою верность.

По приезде в Лиссабон я навел справки и, к великому моему удовольствию, разыскал моего старого друга, капитана португальского корабля, впервые подобравшего меня в море у берегов Африки. Он состарился и не ходил больше в море, а судно передал своему сыну, тоже уже немолодому человеку, который и продолжал вести торговлю с Бразилией. Старик не узнал меня, да и я едва его узнал, но все же, всмотревшись, припомнил его черты, и он припомнил меня, когда я сказал ему, кто я такой.

После горячих, дружеских приветствий с обеих сторон я, конечно, не преминул спросить о своей плантации и своем компаньоне. Старик сказал мне, что он не был в Бразилии уже около девяти лет, что, когда он в последний раз уезжал оттуда, мой компаньон был еще жив, но мои доверенные, которым я поручил наблюдать над моей частью, оба умерли. Тем не менее он полагал, что я могу получить самые точные сведения о своей плантации и произведенных на ней улучшениях, ибо ввиду общей уверенности в том, что я пропал без вести и утонул, поставленные мной опекуны ежегодно отдавали отчет о доходах с моей части плантации чиновнику государственного казначейства, который постановил — на случай, если я не вернусь,— конфисковать мою собственность и одну треть

доходов с нее отчислять в казну, а две трети — в монастырь. Но, если я сам явлюсь или пришлю кого-либо вместо себя требовать моей части, она будет мне возвращена — конечно, за вычетом ежегодных доходов с нее, истраченных на добрые дела. Зато он уверил меня, что королевский чиновник, ведающий доходами казны, и монастырский закон все время тщательно следили за тем, чтобы мой компаньон ежегодно доставлял им точный отчет о доходах с плантации, так как моя часть поступала им полностью.

Я спросил капитана, известно ли ему, насколько увеличилась доходность плантации, стоит ли заняться ею и, если я приеду туда и предъявлю свои права, могу ли я, по его мнению, беспрепятственно вступить во владение своей долей.

Он ответил, что не может сказать в точности, насколько увеличилась плантация, но только знает, что мой компаньон страшно разбогател, владея лишь одной половиной, и, насколько ему известно, треть моих доходов, поступавшая в королевскую казну и, кажется, передаваемая тоже в какой-то монастырь или религиозную общину, превышала двести мойдоров в год. Что же касается до беспрепятственного вступления в свои права, об этом, по его мнению, нечего было и спрашивать, так как мой компаньон жив и удостоверит мои права, да и мое имя числится в списках местных землевладельцев. Сказал он мне еще, что преемники поставленных мною опекунов хорошие, честные люди, притом очень богатые, и что они не только помогут мне вступить во владение своим имуществом, но, как он полагает, еще и вручат мне значительную сумму денег, составившуюся из доходов с плантации за то время, когда ею еще заведовали их отцы и доходы не поступали в казну, то есть, по его расчету, лет за двенадцать.

Это несколько удивило меня, и я не без тревоги спросил капитана, как же могло случиться, что опекуны распорядились таким образом моей собственностью, когда он знал, что я составил завещание и назначил его, португальского капитана, своим единственным наследником.

— Это правда,— сказал он,— но ведь доказательств вашей смерти не было, и, следовательно, я не мог действовать в качестве вашего душеприказчика, не имея сколько-нибудь достоверных сведений о вашей гибели. Да мне и не хотелось брать на себя управление вашей плантацией — она находится так далеко. Завещание ваше, впрочем, я предъявил и права свои тоже, и, будь у меня возможность доказать, что вы живы или умерли, я бы стал действовать по доверенности и вступил бы во владение инхеньо (так называют там сахарный завод) или поручил бы это своему сыну, он и теперь в Бразилии. Но,— продолжал старик,— я должен сообщить вам нечто такое, что, может быть, будет вам менее приятно,

чем все предыдущее: ваш компаньон и опекуны, думая, что вы погибли — да и все ведь это думали,— решили представить мне отчет в прибылях за первые шесть-семь лет и вручили мне деньги. В то время плантация требовала больших расходов на расширение хозяйства, постройку инхеньо и приобретение невольников, так что доходы были далеко не такие, как позже. Тем не менее я вам дам подробный отчет в том, сколько денег я получил и на что израсходовал.

Несколько дней спустя мой старый друг представил мне отчет о ведении хозяйства на моей плантации в течение первых шести лет моего отсутствия. Отчет был подписан моим компаньоном и двумя моими доверенными; доходы исчислялись везде в товарах, например, в пачках табака, ящиках сахара, бочонках рома, патоки и т. д., как это принято в сахарном деле. Из отчета я увидел, что доходы с каждым годом росли, но вследствие крупных затрат сумма прибылей вначале была невелика. Все же, по расчету старика капитана, оказывалось, что он должен мне четыреста семьдесят золотых мойдоров да еще шестьдесят ящиков сахару и пятнадцать двойных пачек табаку, погибших вместе с его кораблем,— он потерпел крушение на обратном пути из Бразилии в Лиссабон, лет одиннадцать спустя после моего отъезда.

Добряк жаловался на постигшие его несчастья и говорил, что он вынужден был израсходовать мои деньги на покрытие своих потерь и на покупку пая в новом судне.

— Но все же, мой старый друг,— закончил он,— нуждаться вам не придется, а когда возвратится мой сын, вы получите деньги сполна.— С этими словами он вытащил старинный кошелек и вручил мне сто шестьдесят португальских мойдоров золотом, а в виде обеспечения остального долга передал свои документы на владение судном, на котором сын его поехал в Бразилию; он владел четвертью всех паев, а сын его — другой четвертью.

Этого я уже не мог допустить: честность и доброта бедного старика глубоко меня растрогали; вспоминая, что он сделал для меня, как он подобрал меня в море, как великодушно относился ко мне все время и в особенности каким искренним другом показал себя теперь при свидании, я с трудом удерживался от слез. Поэтому я прежде всего спросил его, позволяют ли ему его обстоятельства уплатить мне сразу столько денег и не будет ли это для него стеснительно. Он ответил, что, по правде говоря, это, конечно, будет ему несколько трудновато, но ведь деньги мои и мне они, может быть, нужнее, чем ему.

В каждом слове старика было столько приязни ко мне, что, слушая его, я едва не заплакал. Короче говоря, я взял его сто мойдоров и, спросив перо и чернила, написал ему расписку в получе-

нии их, а остальные деньги отдал назад, говоря, что, если я получу обратно свою плантацию, я отдам ему и остальное, как я и сделал впоследствии. Что же касается до переуступки мне его прав на владение судном, на это я ни в коем случае не согласен: если мне нужны будут деньги, он и сам отдаст,— я убедился, что он честный человек; а если не будут нужны, если я получу свою плантацию, как он дал мне основание надеяться, я не возьму с него больше ни гроша.

После этого старик предложил научить меня, как предъявить свои права на плантацию. Я сказал, что думаю поехать туда. Он возразил, что, конечно, можно и поехать, если мне так угодно, но и, помимо этого, есть много способов установить мои права и немедленно же вступить в пользование доходами. Зная, что на реке у Лиссабона стоят суда, уже совсем готовые к отплытию в Бразилию, он внес мое имя в официальные книги и удостоверил присягой, что я жив и что я то самое лицо, которое первоначально приобрело землю для того, чтобы устроить на ней указанную плантацию. Затем я составил у нотариуса доверенность на имя одного его знакомого купца в Бразилии. Эту доверенность он отослал в письме, а мне предложил остаться у него до получения ответа.

Невозможно было действовать добросовестнее, чем действовал по доверенности этот купец: меньше чем через семь месяцев я получил от наследников моих доверенных, то есть тех купцов, по просьбе которых я отправился за невольниками в Гвинею, большой пакет с вложением следующих писем и документов.

Во-первых, отчет о прибылях, начиная с того года, когда отцы их рассчитались с моим старым другом, португальским капитаном, за шесть лет: на мою долю приходилось тысяча сто семьдесят четыре мойдора.

Во-вторых, отчет еще за четыре года, в течение которых они самостоятельно заведовали моими делами, пока правительство не взяло под свою опеку плантации, как имущество лица, пропавшего без вести,— это называется в законе гражданской смертью; доходность плантации постепенно росла, и доход за эти четыре года равнялся 13 814 крузадо, или 3 241 мойдорам.

В-третьих, отчет настоятеля монастыря святого Августина, получавшего доходы в течение четырнадцати с лишком лет; настоятель не мог, конечно, возвратить мне денег, уже израсходованных на больницы, но честно заявил, что у него осталось 872 мойдора, которые он признает моей собственностью. Только королевская казна не возвратила мне ничего.

В пакете было еще письмо от моего компаньона. Он сердечно поздравлял меня с возвращением, радовался, что я жив, сообщал мне, как разрослось теперь наше имение и сколько оно дает еже-

годно, сколько в нем теперь акров, чем засеяна плантация и сколько невольников работает на ней. Затем следовали двадцать два крестика, выражавшие добрые пожелания и сообщения, что он столько же раз прочел «Ave Maria» [1], благодаря святую деву за то, что я жив. Далее мой компаньон горячо упрашивал меня вернуться в Бразилию и вступить во владение своей собственностью, а пока дать ему наказ, как распорядиться ею в случае, если я сам не приеду. Письмо заканчивалось уверениями в искренней дружбе ко мне его самого и его домашних. Кроме письма, он прислал мне в подарок семь прекрасно выделанных леопардовых шкур, по-видимому, привезенных из Африки на другом корабле, посланном им туда и совершившем более удачное путешествие, чем мое судно. Прислал он мне еще пять ящиков разных сластей превосходного качества и сто золотых пластинок, еще не отчеканенных в монеты и не таких больших, как мойдоры.

С теми же кораблями мои доверенные посылали мне доход с плантаций за текущий год: тысячу двести ящиков сахарного песку, восемьсот пачек табаку и остальное золотом.

Могу сказать, для меня, как для Иова, конец был лучше начала. Невозможно описать, как трепетно билось мое сердце, когда я читал эти письма и в особенности когда я увидал вокруг себя свое богатство. Бразильские суда идут обыкновенно целой флотилией; и караван, привезший мне письма, привез также и товары, так что, прежде чем письма были вручены мне, товары были уже в гавани в целости и сохранности. Узнав об этом, я побледнел, почувствовал дурноту, и, если бы старик капитан не подоспел вовремя с лекарством, я, пожалуй, не вынес бы этой неожиданной радости и умер тут же, на месте. Несколько часов я чувствовал себя очень плохо, пока наконец не послали за доктором, и тот, узнав истинную причину моей болезни, пустил мне кровь. После этого мне стало гораздо лучше; я положительно думаю, что, если бы кровопускание не облегчило меня, мне бы несдобровать.

Итак, я неожиданно оказался обладателем более пяти тысяч фунтов стерлингов и поместья в Бразилии, приносящего свыше тысячи фунтов в год дохода, ничуть не менее верного, чем приносят поместья в Англии; я никак не мог освоиться со своим новым положением и не знал, что начать, как извлечь из него те выгоды и удовольствия, какие оно могло мне дать. Первым делом я вознаградил своего благодетеля, доброго старика капитана, который так много помог мне в годину бедствия, был добр ко мне вначале и верен мне до конца. Я показал ему все присланное мне, говоря, что после провидения, которое всем управляет, я обязан своим

[1] Хвала тебе, Мария! *(лат.)*.

богатством ему, что теперь долг мой — отблагодарить его, и он будет вознагражден сторицею. Прежде всего я возвратил ему взятые у него сто мойдоров, затем послал за нотариусом и формальным образом уничтожил расписку, по которой он признавал себя должным мне четыреста семьдесят мойдоров. Затем я составил доверенность, давшую ему право ежегодно получать за меня доходы с моей плантации и обязывающую моего компаньона представлять ему отчеты и отправлять на его имя товары и деньги. Приписка в конце предоставляла ему право на получение из доходов ежегодной пенсии в сто мойдоров, а после его смерти эта пенсия, в размере пятидесяти мойдоров, должна была перейти к его сыну. Так я отблагодарил своего старого друга.

Теперь надо было подумать о том, куда направить свой путь и что делать с состоянием, милостью провидения доставшимся мне. Забот у меня было несравненно больше, чем в то время, когда я вел одинокую жизнь на острове и не нуждался ни в чем, кроме того, что у меня было, но и не имел ничего, кроме необходимого. Теперь у меня не было пещеры, куда я мог спрятать свои деньги, или места, где бы они могли лежать без замков и ключей и потускнеть и заплесневеть, прежде чем кому-нибудь вздумалось бы воспользоваться ими; напротив, теперь я не знал, куда их девать и кому отдать на хранение. Единственным моим прибежищем был мой старый друг капитан, в честности которого я уже убедился.

Далее, как мне казалось, мои интересы в Бразилии призывали меня туда, но я не мог себе представить, как же я уеду, не устроив своих дел и не оставив своего капитала в надежных руках. Вначале мне приходило в голову отдать его на хранение моей старой приятельнице, вдове капитана; я знал, что она честная женщина и отнесется ко мне вполне добросовестно; но она была уже в летах и бедна, и, как мне думалось, у нее могли быть долги. Словом, делать было нечего, приходилось самому ехать в Англию и везти деньги с собой.

Прошло, однако же, несколько месяцев, прежде чем я пришел к такому решению, а потому, вознаградив по заслугам старого капитана, моего бывшего благодетеля, я подумал и о бедной вдове, покойный муж которой оказал мне столько услуг, да и сама она, пока это было в ее власти, была моей верной опекуншей и советчицей. Я первым делом попросил одного лиссабонского купца поручить своему агенту в Лондоне не только выплатить ей сто фунтов по чеку, но разыскать ее и лично вручить от меня эти деньги, поговорив с ней, утешить бедную женщину, сказав, что, пока я жив, я и впредь буду помогать ей. В то же время я послал своим сестрам, жившим в деревне, по сто фунтов каждой; они, правда, не нуждались, но и нельзя сказать, чтобы жили в достатке: одна

вышла замуж и овдовела, у другой муж был жив, но относился к ней не так хорошо, как следовало бы.

Но из всех моих родственников и знакомых я не находил ни одного, кому бы я решился доверить целиком свое состояние, чтобы со спокойной душой уехать в Бразилию, и это сильно тревожило меня.

Я было совсем решился ехать в Бразилию и поселиться там — ведь я, так сказать, натурализовался в этой стране,— но было одно маленькое препятствие, останавливавшее меня, а именно религия. Правда, в данное время не религия удерживала меня от поездки: как раньше, живя среди католиков, я открыто придерживался их религии, так и теперь не ставил этого в грех; но дело в том, что за последнее время я больше думал об этом, чем прежде, и теперь, когда я говорил себе, что мне придется жить и умереть среди католиков, я иногда раскаивался, что признал себя папистом, мне приходило в голову, что католическая вера, быть может, не лучшая, и мне не хотелось умереть католиком.

Но, как я уже говорил, главная причина, удерживавшая меня от поездки в Бразилию, была не в этом, а в том, что я положительно не знал, кому доверить свои товары и деньги, и в конце концов решил, захватив с собой все свое богатство, ехать в Англию. По прибытии туда я рассчитывал завести знакомства или же найти родственников, на которых можно было бы положиться. И вот я стал собираться в путь.

Перед возвращением домой я решил привести в порядок все свои дела и прежде всего (узнав, что бразильские корабли готовы к отплытию) ответить на письма, полученные мною из Бразилии, с полными и правдивыми отчетами в моих делах. Я написал настоятелю монастыря святого Августина, поблагодарил его за добросовестность и просил принять от меня в дар не израсходованные им восемьсот семьдесят два мойдора с тем, чтобы пятьсот пошли на монастырь, а триста семьдесят два — бедным, по усмотрению настоятеля, затем просил доброго падре молиться обо мне и т. д.

Потом я написал благодарственное письмо двум моим доверенным, воздав должное их справедливости и добросовестности; от посылки им подарка я удержался: для этого они были слишком богаты. Наконец, я написал своему компаньону, восхищаясь его умением вести хозяйство, расширять дело и увеличивать доходы; затем дал ему наказ, как поступать с моей частью на будущее время; сообщил, какие полномочия я оставил старому португальскому капитану, и просил впредь до получения от меня вестей отсылать ему все, что будет мне причитаться; я заверил своего компаньона, что имею намерение не только посетить свое имение, но и прожить в нем до конца дней моих. К письму я присоединил

подарки: итальянского шелку на платье его жене и дочерям — о том, что у него есть жена и дочери, я узнал от сына моего приятеля, капитана,— затем два куска тонкого английского сукна, лучшего, какое можно было найти в Лиссабоне, пять кусков черной байки и дорогих фламандских кружев.

Устроив таким образом свои дела, продав товары и обратив деньги в надежные бумаги, я мог спокойно двинуться в путь. Но теперь возникло другое затруднение: как ехать в Англию — сухим путем или морем? К морю я, кажется, достаточно привык, а между тем на этот раз мне до странности не хотелось ехать в Англию морем, и, хотя я ничем не мог объяснить это нежелание, оно до того разрослось во мне, что, уже отправив свой багаж на корабль, я передумал и взял его назад. И так было не раз, а раза два или три.

Правда, мне очень не везло на море, и это могло быть одной из причин, но все же тут главное дело было в предчувствии, а человеку никогда не следует идти против своих предчувствий. Два корабля, на которых я хотел плыть, выбранных мною из числа других — на один я даже свез свой багаж, а с капитаном другого условился о цене,— оба эти корабля не дошли до места назначения. Один был взят алжирскими пиратами; другой потерпел крушение у Старта возле Торбея, и все бывшие на нем, за исключением троих, утонули; так что на обоих мне пришлось бы худо, и на котором хуже — сказать трудно.

Видя такое смятение в моих мыслях, мой старый друг капитан, от которого я ничего не скрывал, стал убеждать меня не ехать морем, но либо отправиться сухим путем в Корунью и далее через Бискайский залив в Ла-Рошель, откуда уже можно легко и безопасно проехать в Париж, а также в Кале и Дувр; либо ехать на Мадрид и оттуда все время сухим путем через Францию.

Я был тогда настолько предубежден против всякой морской поездки, за исключением переезда из Кале в Дувр, что решил ехать всю дорогу сухим путем, а так как я не торопился и не считался с издержками, то этот путь был и самым приятным. А чтобы сделать его еще более приятным для меня, старик капитан нашел мне попутчика, англичанина, сына одного лиссабонского купца; кроме того, мы еще прихватили с собой двух английских купцов и двух молодых португальцев — последние, впрочем, ехали только до Парижа; всех нас собралось шесть человек да пять слуг — купцы и португальцы для сокращения расходов брали с собой только по одному слуге на двоих. Я же взял с собой в качестве слуги одного английского матроса да своего Пятницу, который был слишком непривычен к европейским порядкам, чтобы в дороге заменить мне слугу.

Так я наконец выехал из Лиссабона; мы запаслись всем необходимым, были хорошо вооружены и все вместе составляли маленький отряд; мои спутники почтили меня званием капитана как потому, что я был старше всех годами, так и потому, что у меня было двое слуг, да я же и затеял все это путешествие.

Я не докучал читателю выписками из своего корабельного журнала; так и теперь я не стану приводить выдержек из своего сухопутного дневника, но о некоторых приключениях, случившихся с нами во время этого трудного и утомительного пути, умолчать не могу.

По прибытии в Мадрид мы все, будучи в первый раз в Испании, пожелали остаться там, чтобы увидеть испанский двор и посмотреть все, что заслуживало внимания, но, так как лето уже близилось к концу, мы поторопились с отъездом и выехали из Мадрида около половины октября. Доехав до границы Наварры, мы получили тревожную весть, что на французской стороне гор выпал глубокий снег и многие путешественники принуждены были вернуться в Памплону после напрасной и крайне рискованной попытки перебраться через горы.

Добравшись до Памплоны, мы и сами убедились в этом. Для меня, прожившего почти всю жизнь в жарком климате, в странах, где я мог обходиться почти без платья, холод был нестерпим. Притом же было не только тягостно, но и странно: всего десять дней тому назад выехав из Старой Кастилии, где было не только что тепло, а жарко, тотчас же вслед за этим попасть под такой жестокий ледяной ветер, дувший с Пиренейских гор, что мы не могли выносить его, не говоря уже о том, что рисковали отморозить себе руки и ноги.

Бедный Пятница — тот попросту испугался, увидав горы, сплошь покрытые снегом, и ощутив холод, какого ему никогда в жизни не доводилось испытывать.

В довершение всего в Памплоне по приезде нашем продолжал идти снег в таком изобилии и так долго, что все удивлялись необыкновенно раннему наступлению зимы.

Дороги, и прежде не очень доступные, теперь стали непроходимыми; в иных местах снег лежал такой глубокий, что ехать было немыслимо,— здесь ведь снег не затвердевает, как в северных странах, и мы на каждом шагу подвергались бы опасности быть похороненными заживо. В Памплоне мы пробыли целых двадцать дней, затем, видя, что зима на носу и улучшения погоды ожидать трудно,— эта зима во всей Европе выдалась такая суровая, какой не запомнят старожилы,— я предложил своим спутникам поехать в Фуентеррабию, а оттуда отправиться морем в Бордо, что отняло бы очень немного времени.

Но пока мы судили да рядили, в Памплону прибыли четверо французов, перебравшихся через горы с той стороны с помощью проводника; следуя по окраине Лангедока, он провел их через горы дорогой, где снегу было мало и он не особенно затруднял путь, а если и встречался в больших количествах, то был настолько тверд, что по нему могли пройти и люди и лошади.

Мы послали за этим проводником, и он обещал провести нас тою же дорогой, и переход не будет нам опасен при условии, что мы хорошо вооружимся, чтобы не бояться диких зверей: по его словам, во время обильных снегов у подножия гор нередко показываются волки, разъяренные отсутствием пищи. Мы сказали ему, что к встрече с этого рода зверями мы подготовлены достаточно, если только он уверен, что нам не грозит опасность со стороны двуногих волков, которых, как нам говорили, здесь больше всего следует опасаться, в особенности на французской стороне гор.

Он успокоил нас, говоря, что на том пути, каким мы отправимся, такая опасность нам не грозит, и мы охотно согласились следовать за ним, равно как и другие двенадцать путешественников со своими слугами, как я уже сказал, ранее пытавшиеся перебраться через горы и вынужденные вернуться обратно.

И вот мы все 15 ноября выехали из Памплоны. Я был поражен, когда вместо того, чтобы двинуться дальше к горам, проводник повернул назад и пошел по той самой дороге, по которой мы приехали из Мадрида; так мы следовали миль двадцать, переправились через две реки и очутились в ровной местности, приятной для взора, где было снова тепло и снега нигде не было видно. Но затем, неожиданно свернув налево, проводник повел нас к горам другой дорогой, и, хотя горы и пропасти внушали нам страх, проводник наш делал столько кругов, столько обходов, вел нас такими извилистыми тропинками, что мы незаметно перевалили на ту сторону хребта, не испытав особенных затруднений от снега. И тут перед нами раскинулись веселые плодородные провинции Лангедок и Гасконь, зеленые и цветущие, но они были еще далеки, и, чтобы добраться до них, предстояло совершить трудный путь.

Весь этот день и всю ночь шел снег, такой сильный, что ехать было нельзя; нас это несколько смутило, но проводник успокоил нас, говоря, что скоро мы будем вне полосы снегов. Действительно, мы с каждым днем спускались все ниже и подвигались все дальше на север, вполне доверяясь нашему проводнику.

Часа за два до наступления ночи, в то время как проводник наш был далеко впереди и едва виден нам, из соседней лощины, прилегавшей к густому лесу, выскочили три волка и вслед за ними медведь. Два волка кинулись на проводника, и, будь он в полумиле от нас, они растерзали бы его раньше, чем мы бы успели подо-

спеть к нему на помощь. Один набросился на его лошадь, другой напал на него самого с такой яростью, что бедный малый не имел ни времени, ни присутствия духа вытащить пистолет и только отчаянно призывал нас на помощь. Рядом со мной ехал мой Пятница; я велел ему скакать вперед и узнать, в чем дело. Увидев, что творилось с нашим проводником, Пятница стал кричать еще громче того: «Господин! Господин!» Он был малый смелый, погнал свою лошадь прямо к месту схватки, выхватил пистолет и прострелил голову волку.

Счастье для бедняка, что к нему подскакал именно Пятница: он у себя на родине привык видеть волков и не боялся их, поэтому подъехал вплотную к волку и застрелил его, как было описано выше; всякий другой из нас выстрелил бы издали и рисковал бы промахнуться или подстрелить самого проводника.

Это могло бы напугать и более смелого человека, чем я, и действительно, весь наш отряд всполошился, когда вслед за выстрелом до нас с двух сторон донесся зловещий волчий вой, повторяемый горным эхом, так что, казалось, волков было множество, да, по всей вероятности, их и в самом деле было не так уж мало, и страх наш оказался вовсе не напрасен.

Как бы там ни было, когда Пятница убил волка, другой волк, набросившийся на лошадь, тотчас же выпустил ее и убежал; к счастью, он вцепился ей в голову, ему попадались под зубы бляхи уздечки, и он не мог причинить ей особенного вреда. Зато человеку пришлось хуже, чем лошади: разъяренный зверь укусил его дважды, один раз в руку и другой — повыше колена, и наш проводник готов был уже свалиться с лошади, когда подоспел Пятница и застрелил волка.

Понятно, что, услыхав выстрел, мы, чтобы поскорее узнать, что случилось, прибавили ходу и поскакали так быстро, как только позволяла дорога,— в этом месте спуск был очень крутой. Как только мы выехали из-за деревьев, ранее заслонявших нам вид, мы сразу поняли, в чем дело, и видели, как Пятница выручил нашего бедного проводника, хотя и не могли разглядеть, что за животное он убил.

Невозможно себе представить более необычайного и захватывающего зрелища, чем последовавшая затем схватка Пятницы с медведем. Бой между ними развеселил нас всех, хотя сначала мы и удивились и испугались за моего верного слугу. Медведь — зверь тяжелый и неуклюжий, он не способен мчаться, как проворный и легкий на бегу волк; зато он обладает двумя особенностями, которые обыкновенно и сказываются на его поведении. Во-первых, он вообще не нападает на человека; говорю: вообще, потому что нельзя сказать, до чего может довести его голод, как это было

в данном случае, когда вся земля была покрыта снегом,— на человека, повторяю, он не нападает, если только человек сам не нападет на него; если вы встретитесь с медведем в лесу и не затронете его, он тоже не тронет вас, но при этом вы должны быть очень вежливы и уступать ему дорогу,— он большой барин и сам не уступит дороги даже королю. А коль вы испугались, самое лучшее — не останавливаться и смотреть в другую сторону, ибо иной раз, когда вы остановитесь и станете пристально смотреть на него, он может принять это за обиду; если же вы чем-нибудь бросите в него и попадете, хотя бы даже сучком не толще вашего пальца, он уж непременно обидится и оставит все другие дела, чтобы отомстить вам, ибо в делах чести он крайне щепетилен,— и это его первая особенность. А вторая — то, что, если он почувствовал себя обиженным, он уже не оставит вас в покое, а днем и ночью будет бежать за вами крупной рысью, пока не нагонит и не отомстит за обиду.

Итак, Пятница выручил из беды нашего проводника и в ту минуту, как мы подъехали к ним, помогал ему сойти с лошади, так как бедняга совсем ослабел от испуга и ран,— впрочем, он не столь пострадал, сколько испугался. Вдруг мы увидели выходящего из лесу медведя, это был зверь чудовищной величины, такого огромного я еще никогда не видал. Мы все были поражены его появлением, но на лице Пятницы при виде медведя выразились и радость и отвага.

— О! О! О! — вскричал он трижды, указывая на зверя.— О господин, позволь мне с ним поздороваться: мой тебя будет хорошо смеять!

Я удивился, не понимая, чему он так радуется.

— Глупый ты! Ведь он съест тебя!

— Есть меня! Мой его есть, мой вас будет хорошо смеять! Вы все стойте здесь, мой вам покажет смешно.— Он сел на землю, стащил с себя сапоги, надел туфли (плоские башмаки, какие носят индейцы), лежавшие у него в кармане, отдал свою лошадь другому слуге и, изготовив ружье, помчался, как ветер.

Медведь шел не спеша и никого не трогал; но Пятница, подбежав к нему совсем близко, окликнул его, как будто медведь мог его понять: «Слушай! Слушай! Мой говорит тебе!» Мы следовали за Пятницей поодаль. В это время мы спускались по гасконскому склону и вступили в большой лес, где местность была ровная и довольно открытая, ибо множество деревьев было разбросано то тут, то там.

Пятница, как мы уже говорили, следовал за медведем по пятам и скоро поравнялся с ним, а поравнявшись, поднял с земли большой камень и запустил в него. Камень угодил зверю в голову; положим, он отскочил от него, как от каменной стенки, но все же

Пятница добился своего — плут ведь нисколько не боялся и сделал это только для того, чтобы медведь погнался за ним и чтобы, как он выразился, «показать смешно».

Лишь только медведь почувствовал прикосновение камня и, повернувшись, увидел обидчика, он пустился вслед за Пятницей вразвалку, но такими огромными шагами, что и лошади пришлось бы удирать от него в галоп. Пятница мчался, как ветер, прямо на нас, как будто ища у нас защиты, и мы решили все разом стрелять в медведя, чтоб выручить моего слугу, хотя я искренне рассердился на него — зачем он погнал на нас медведя, когда тот шел по своим делам совсем в другую сторону и не обращал на нас внимания; в особенности я рассердился на то, что медведя он погнал на нас, а сам стал удирать.

— Ах ты, собака! — крикнул я.— Хорошо же ты нас насмешил! Беги скорее, вскакивай на лошадь и дай нам застрелить зверя!

Он услышал и кричит мне в ответ:

— Нет стрелять! Нет стрелять! Стоять тихо, будет очень смешно! — И бежал дальше вдвое скорее медведя. Потом внезапно свернул, увидев подходящее дерево, сделал нам знак подъехать ближе, припустил еще быстрее и мигом вскарабкался на дерево, бросив ружье на землю, шагах в шести от ствола.

Медведь вскоре добежал до дерева и первым делом остановился возле ружья, понюхал его, но не тронул и полез на дерево, как кошка, несмотря на свою чудовищную грузность. Я был поражен безрассудным, как мне казалось, поведением моего слуги и при всем желании не мог найти здесь ничего смешного, пока мы, видя, что медведь влез на дерево, не подъехали ближе.

Подъехав к дереву, мы увидели, что Пятница забрался на тонкий конец большого сука, а медведь дошел до половины сука, до того места, где сук становился тоньше и гибче.

— Ого! — крикнул нам Пятница.— Теперь вы увидите: мой будет учить медведя танцевать.— И он начал подпрыгивать и раскачивать сук; медведь зашатался, но не тронулся с места и только оглядывался, как бы ему вернуться назад подобру-поздорову; при этом зрелище мы действительно смеялись от души. Но Пятнице было мало этого: увидев, что медведь стоит смирно, он стал звать его, как будто медведь понимал по-английски:

— Что же ты не идешь дальше? Пожалста, иди дальше,— и перестал трясти и качать ветку. Медведь словно понял, что ему было сказано, полез дальше; тут Пятница снова запрыгал, и медведь опять остановился.

Мы думали, что теперь-то и следует прикончить его, и крикнули Пятнице, чтоб он стоял смирно, что мы будем стрелять в мед-

ведя, но он горячо запротестовал: «О, пожалста! Пожалста, мой сам будет стрелять сичас!» Словом, Пятница так долго плясал на суку, и медведь так уморительно перебирал ногами, что мы действительно нахохотались вдоволь, но все-таки не могли себе представить, чего, собственно, добивается отважный индеец. Сначала мы думали, что он хочет стряхнуть медведя наземь, но для этого медведь был слишком хитер: он не заходил настолько далеко, чтобы потерять равновесие, и крепко цеплялся за ветку своими огромными лапами и когтями, так что мы положительно недоумевали, чем кончится эта потеха.

Но Пятница скоро вывел нас из педоумения. Видя, что медведь крепко уцепился за сук и что его не заставишь идти дальше, он заговорил:

— Ну, ну, твой не идет, мой идет, мой идет! Твой не хочет идти ко мне, мой хочет к себе.— С этими словами он передвинулся на тонкий конец сука, который согнулся под его тяжестью, и осторожно по ветке соскользнул на землю и побежал к своему ружью.

— Ну, Пятница,— сказал я ему,— что ты еще затеял? Почему ты не стреляешь в него?

— Не надо стрелять! — сказал Пятница.— Теперь еще не надо стрелять; теперь мой стрелять, мой убьет, когда твой будет еще смеяться.— И в самом деле, он опять рассмешил нас, как вы сейчас увидите. Когда медведь заметил, что его враг исчез, он стал пятиться назад, но осторожно, не спеша и на каждом шагу оглядываясь, пока не добрался до ствола; затем по-прежнему задом наперед полез вниз по дереву, цепляясь когтями и осторожно, одну за другой, передвигая ноги. Тут-то, раньше чем зверь успел стать на землю задними ногами, Пятница подошел к нему вплотную, вставил ему в ухо дуло своего ружья и застрелил медведя на месте.

Проказник обернулся посмотреть, смеемся ли мы, и, видя по нашим лицам, что мы довольны, сам захохотал во все горло.

— Так мы убиваем медведь в наша страна! — сказал он.

— Как же вы их убиваете? — спросил я.— Ведь у вас нет ружей.

— Нет, ружей нет, зато есть много, много длинные стрелы.

История с медведем нас развлекла, но все же мы были в глухом месте, проводника нашего сильно потрепали волки, и мы не знали, что предпринять; волчий вой все еще отдавался в моих ушах: поистине, после рева, слышанного мною однажды на африканском берегу,— о чем я уже рассказывал,— я в жизни своей не слыхал таких ужасающих звуков.

Этот вой и близость ночи заставили нас поспешить, иначе мы сдались бы на просьбы Пятницы и, конечно, сняли бы шкуру с

медведя: зверь был такой огромный, что дело стоило того, но нам оставалось пройти еще около десяти миль, и проводник торопил нас; мы оставили медведя и пошли дальше.

Земля здесь была покрыта снегом, хотя не таким глубоким и опасным, как в горах; мы потом узнали, что хищные звери, гонимые голодом, спустились с гор в лес и в долины в поисках пищи и натворили в деревнях много бед: пугали поселян, задрали множество овец и лошадей и даже несколько человек.

Путь наш лежал через опасное место, и проводник сообщил, что мы непременно встретим волков, если в этих краях они еще водятся; то была небольшая лощина, окруженная лесом, и узкое ущелье вело через него в селение, где мы решили заночевать.

Оставалось с полчаса до заката солнца, когда мы вошли в первый лесок, а когда вышли из него на равнину, солнце уже село. В этом первом лесу не случилось ничего особенного, если не считать того, что на небольшой прогалине, длиною около четверти мили, мы видели пять больших волков, быстро перебежавших дорогу, один вслед за другим, словно они гнались за какой-то добычей; нас они не заметили и через несколько мгновений скрылись.

Наш проводник, кстати сказать, выказавший себя порядочным трусом, просил нас быть настороже, полагая, что вслед за этими волками появятся и другие.

Мы ехали, озираясь и держа ружья наготове, но волков не видели, пока не выбрались из леса, тянувшегося мили полторы, на равнину. Здесь, на равнине, действительно приходилось ехать с оглядкой: первое, что нам бросилось в глаза, была мертвая лошадь и над нею с дюжину волков за работой — не могу сказать, за едой, потому что они уже сожрали все мясо и теперь обгладывали кости.

Мы не сочли удобным мешать их пиршеству, да и они не обратили на нас особенного внимания. Пятнице очень хотелось выпалить в них, но я не допустил этого, находя, что у нас и без того достаточно хлопот, а может оказаться и еще больше. Мы не дошли и до половины равнины, как вдруг слева от нас раздался ужаснейший волчий вой, и сейчас же вслед за тем мы увидали стаю волков, бегущих прямо на нас, большинство в ряд, словно регулярная армия под командой опытных офицеров. Я не знал, как их следует встретить, но подумал, что единственное средство — сомкнуться в тесный ряд; так мы и сделали. А чтобы не было больших промежутков между выстрелами, я велел стрелять через одного, а нестреляющим держать ружья наготове для второго залпа на случай, если волки не повернут назад после первого; тех, кому приходилось стрелять в первую очередь, я предупредил, чтоб они не заряжали ружья снова, но держали бы наготове пистолеты, ибо

у всех нас было по ружью и по паре пистолетов, так что при этой системе мы, разделившись надвое и стреляя по очереди, могли дать шесть залпов подряд. Впрочем, в этом не оказалось надобности, ибо после первого же залпа враг остановился как вкопанный, испугавшись равно и грохота и огня; четыре волка были убиты на месте, несколько раненых повернули назад, оставив за собой на снегу кровавый след. Я уже сказал, что стая остановилась, а не бросилась бежать; тогда, вспомнив, что, по рассказам, самые свирепые животные боятся человеческого голоса, я велел всей нашей компании крикнуть разом, как можно громче, и убедился, что в таких рассказах есть доля правды: услыхав наш крик, волки отступили и обратились в бегство. Тогда я велел дать другой залп, им вслед,— волки пустились в галоп и скрылись из виду за деревьями.

Воспользовавшись затишьем, мы стали перезаряжать ружья, а чтобы не терять времени, продолжали ехать; едва мы приготовились к новому залпу, как услыхали дикий шум в том же лесу, в той самой стороне, куда направлялись.

Надвигалась ночь, и с каждой минутой становилось темнее, что было для нас крайне невыгодно; шум усиливался, и мы без труда могли различить в нем рычание и вой этих дьявольских созданий; неожиданно мы увидели перед собой целых три стаи волков — одну слева, одну позади и одну впереди нас,— мы, казалось, были окружены волками; они не нападали на нас, и мы продолжали свой путь, подгоняя лошадей, насколько возможно, но дорога была ухабистой, и лошади могли бежать только крупной рысью. Так мы доехали до опушки второго леса, лежавшего на нашем пути, и были крайне удивлены, увидев у просеки несметное множество волков.

Вдруг на другом конце просеки раздался выстрел; из леса выбежала лошадь, оседланная и взнузданная: она неслась вихрем, а за нею мчались во всю прыть шестнадцать или семнадцать волков; лошадь далеко опередила их, но мы были уверены, что она не выдержит долго безумного бега и волки в конце концов нагонят ее; так оно, вероятно, и вышло. В просеке, откуда выбежала лошадь, взорам нашим представилось ужасное зрелище: мы увидали трупы еще одной лошади и двух человек, растерзанных хищными зверями. Один из них был, по всей вероятности, тот самый, который стрелял,— возле него лежало заряженное ружье; но голова его и верхняя часть туловища были изгрызены.

Это зрелище наполнило нас ужасом, и мы не знали, что предпринять и куда направить путь, волки скоро заставили нас решиться: они окружили нас в надежде на новую добычу; я уверен, что их было не меньше трехсот. На счастье наше, у опушки леса, не-

много в стороне от дороги, лежало несколько огромных деревьев, сваленных прошлым летом и, вероятно, оставленных здесь до перевозки. Я повел свой маленький отряд к этим деревьям; по моему предложению все мы спешились и, укрывшись за одним длинным деревом, как за бруствером, образовали треугольник, поместив лошадей в середине.

И хорошо, что мы это сделали, ибо тотчас же волки напали на нас с невиданной доселе яростью. Они с рычанием бросились к нам, вскочили на бревно, служившее нам прикрытием, как будто рассчитывая на верную добычу; я думаю, ярость их еще увеличивалась тем, что мы укрыли за собой наших лошадей, на которых они, собственно, и нацеливались. Я велел своим стрелять, как прежде,— через одного, и выстрелы их были так метки, что с первого же залпа многие волки были убиты; но этого оказалось недостаточно: необходимо было стрелять непрерывно, ибо волки лезли на нас, как черти: задние подталкивали передних.

После второго залпа нам показалось, что волки приостановились, и я надеялся, что они уйдут; но это продолжалось одно мгновение — сейчас же подоспели другие; мы дали по ним еще два залпа из пистолетов и, думается мне, этими четырьмя залпами убили штук семнадцать или восемнадцать да ранили вдвое столько же, но волки продолжали наступать.

Мне не хотелось слишком поспешно тратить наши заряды, поэтому я кликнул своего слугу — не Пятницу, который был занят другой работой: он с необычайной быстротой и ловкостью успел уже зарядить снова свое и мое ружье,— итак, не Пятницу, а другого моего слугу и, дав ему пороховницу, велел посыпать порохом дорожку вдоль бревна, да пошире. Он повиновался и едва успел отойти, как волки опять полезли на нас через пороховую дорожку. Тогда я, щелкнув незаряженным пистолетом возле самого пороха, зажег его, и волки, которые были на бревне, обожглись, а с полдюжины их свалились или, вернее, спрыгнули на нас, шарахнувшись в сторону от огня и под влиянием страха; с этими мы живо расправились, а остальные так испугались яркого света, казавшегося еще страшнее от густой тьмы вокруг, что немного отступили. Тут я в последний раз скомандовал стрелять всем вместе, а затем мы все разом крикнули, и волки показали нам тыл; осталось только около двадцати раненых, корчившихся на земле; мы моментально кинулись на волков и принялись рубить их саблями, рассчитывая, что визг и вой этих тварей будут понятнее их товарищам, чем наши выстрелы; так оно и вышло: волки все убежали и оставили нас в покое.

Убили мы волков штук шестьдесят, и, будь в лесу светло, они, наверное, поплатились бы еще дороже. Когда поле битвы было та-

ким образом очищено, мы двинулись дальше, так как нам оставалось пройти еще около трех миль. По пути мы не раз еще слышали в лесу завывания хищников и, казалось нам, видели, как сами они мелькали между деревьями, но снег слепил нам глаза, и разглядеть хорошенько мы не могли. Через час или около того мы добрались до городка, где решили заночевать, и нашли там всех вооруженными и в страшном переполохе; оказалось, что накануне ночью волки и несколько медведей ворвались в городок и страшно перепугали всех жителей, так что теперь они были вынуждены сторожить день и ночь, и в особенности ночью, оберегая свой скот, да и самих себя.

На следующее утро нашему проводнику стало так худо, рука и нога у него так распухли от укусов волка, что он был не в состоянии ехать дальше, и нам пришлось взять другого. С этим новым проводником мы доехали до Тулузы, где климат теплый, местность красивая и плодородная и нет ни снега, ни волков. Когда мы рассказали в Тулузе наши дорожные приключения, нам сообщили, что встреча с волками в большом лесу у подножия гор, в особенности в такую пору, когда земля покрыта снегом, дело самое обыкновенное, и немало любопытствовали, что же то был за проводник, который решился повести нас такой дорогой в это суровое время года, и считали чудом, что волки не растерзали нас всех. Наш рассказ о том, как мы бились с волками, прикрывая собой лошадей, вызвал общее порицание; все говорили, что при таких условиях было пятьдесят шансов против одного, что мы все будем растерзаны волками, так как их разъярил именно вид лошадей — их лакомой пищи. Обыкновенно они пугаются первого же выстрела, но тут, будучи страшно голодны и оттого свирепы и еще видя перед собой так близко лошадей, они забыли об опасности; и, если бы мы не укротили их непрерывным ружейным огнем и под конец взрывом пороха, многое говорило за то, что они бы нас разорвали на куски; если бы мы не спешились и стреляли, не сходя с лошадей, волки не рассвирепели бы так, ибо, когда они видят на лошади человека, они не смеют считать ее своей собственностью, как в тех случаях, когда лошадь бывает одна. Нам говорили еще, что, если бы мы бросили лошадей на произвол судьбы, волки накинулись бы на них с такой жадностью, что мы успели бы за это время благополучно уйти, тем более что нас было много и все мы имели огнестрельное оружие.

Сам я никогда в жизни не испытывал подобного страха: видя перед собой три сотни этих дьяволов, мчавшихся на нас с ревом и раскрытыми пастями, готовыми пожрать нас, я уже счел себя безвозвратно погибшим, потому что скрыться было некуда; да и того, что я натерпелся, с меня достаточно; я думаю, мне никогда

больше не придет охота перебираться еще раз через горы, лучше уж проехать тысячу миль морем, хотя бы меня каждую неделю трепали бури.

О своем путешествии по Франции я не могу сообщить ничего особенного — ничего, кроме того, о чем уже рассказывали другие путешественники, и притом гораздо интереснее, чем я. Из Тулузы я приехал в Париж, потом, не останавливаясь там долго, дальше, в Кале, и благополучно высадился в Дувре 14 января, совершив свое путешествие в самую суровую и холодную пору года.

Теперь я был у цели и скоро вступил во владение всем своим недавно приобретенным богатством, ибо по квитанциям, привезенным мною с собой, мне уплатили здесь без всяких промедлений.

Моей главной руководительницей и советчицей была здесь добрая старушка, вдова капитана. Она была весьма благодарна мне за присылку денег и не жалела для меня ни трудов, ни забот, а я ей во всем доверялся и ни разу не имел повода раскаяться в этом; с первых дней и до конца эта добрая и благоразумная женщина восхищала меня своей безукоризненной честностью.

Я уже стал подумывать о том, не поручить ли мне ей свои товары и деньги и не отправиться ли обратно в Лиссабон и затем в Бразилию, но меня удержали религиозные соображения. Касательно католицизма у меня были сомнения еще во время моих странствований, особенно во время моего одиночества; а я знал, что мне нечего и думать ехать в Бразилию и тем более селиться там, если я не решусь перейти в католичество или, наоборот, пасть жертвой своих убеждений, пострадать за веру и умереть под пытками инквизиции. А потому я решил остаться дома и, если представится возможность, продать свою плантацию.

О последнем я написал в Лиссабон своему старому другу, и тот ответил мне, что продать ее — дело нетрудное, но, если я дам ему разрешение действовать от моего имени, он находит более выгодным предложить мою часть имения двум купцам, управлявшим ею теперь вместо прежних опекунов,— людям, как мне было известно, очень богатым, живущим в Бразилии и, следовательно, знающим настоящую цену моей плантации. Капитан не сомневался, что они охотно купят мою часть и дадут за нее на четыре-пять тысяч больше всякого другого покупателя.

Я признал его доводы вполне убедительными и поручил ему сделать это предложение, а через восемь месяцев вернувшийся из Португалии корабль привез мне письмо, в котором мой старый друг сообщал, что купцы приняли предложение и поручили своему поверенному в Лиссабоне уплатить мне тридцать три тысячи золотых. Я подписал составленный по всей форме акт о продаже, присланный мне из Лиссабона, и отправил его назад старику, а тот

прислал мне чеки на тридцать три тысячи. Помимо этой единовременно уплаченной суммы, покупатели обязались еще выплачивать капитану по сто мойдоров ежегодно, а после его смерти — по пятидесяти мойдоров его сыну, из доходов плантации.

Так завершился первый период моей жизни, полной случайностей и приключений, похожей на мозаику, подобранную самим провидением, столь пеструю, какая редко встречается в этом мире,— жизни, начавшейся безрассудно и кончавшейся гораздо счастливее, чем на то позволяла надеяться какая-либо из ее частей.

Читатель подумает, что, достигнув такого благополучия, я уже не стал подвергать себя игре случая; так оно и было бы, если бы обстоятельства пришли мне на помощь, но я привык к бродячей жизни, и у меня не было ни семьи, ни многочисленной родни и даже, несмотря на мое богатство, обширных знакомств. А потому, хоть я и продал свое поместье в Бразилии, я никак не мог выкинуть из головы этой страны, и меня сильно тянуло опять пострансствовать по свету, в особенности побывать на своем островке и посмотреть, живут ли там еще бедные испанцы и как обходятся с ними оставленные мною там негодяи-матросы.

Мой истинный друг, вдова капитана, очень меня отговаривала от этого и умела так повлиять на меня, что я почти семь лет прожил безвыездно в Англии. За это время я взял на свое попечение двух племянников, сыновей одного из моих братьев; у старшего были свои небольшие средства; я воспитал его как дворянина и в своей духовной завещал ему известную сумму, которая должна была служить прибавкой к его собственному капиталу. Другого я готовил в моряки: через пять лет, убедившись, что из него вышел разумный, смелый и предприимчивый молодой человек, я снарядил для него хорошее судно и отправил его в море; этот самый юноша впоследствии увлек меня, уже старика, в дальнейшие приключения.

Тем временем я сам до некоторой степени обжился в Англии, так как прежде всего женился — небезвыгодно и вполне удачно во всех отношениях, и от этого брака у меня было трое детей — два сына и одна дочь. Но когда жена моя умерла, а племянник мой с хорошей прибылью возвратился из путешествия в Испанию, склонность моя к скитаниям в чужих краях и его докучливые приставания превозмогли все; он уговорил меня отправиться с ним на корабле в Ост-Индию в качестве купца, имеющего собственный товар. Это случилось в 1694 году.

Во время этого плавания я посетил свою новую колонию на острове, виделся там с моими преемниками — испанцами и узнал всю историю их жизни и жизни тех негодяев, которых я оставил на острове. Мне рассказали, как сначала они притесняли бедных

испанцев, как они враждовали и затем снова мирились с ними, объединялись и вновь расходились, как испанцы в конце концов вынуждены были прибегнуть к насильственным мерам против них, как подчинили их себе и как справедливо они обращались с этими негодяями. Эта история, ежели вникнуть в нее, была полна столь разнообразных и чудесных приключений, сколь и моя собственная, в особенности в той своей части, где шла речь о сражениях их с карибами, в разное время появлявшимися на острове, а также о всяческих улучшениях, произведенных ими на острове. Тут я узнал также, как пятеро поселенцев совершили нападение на соседний материк и захватили в плен одиннадцать мужчин и пятерых женщин, от которых к моему прибытию на остров родилось около двадцати малышей.

Я пробыл на острове дней двадцать. Снабдив поселенцев всем необходимым, особенно оружием, порохом, пулями, одеждой, инструментами, я оставил там также двух привезенных мною из Англии работников, а именно: плотника и кузнеца.

Кроме того, считая весь этот остров своей неотъемлемой собственностью, я разбил его землю на участки и поделил их между поселенцами сообразно их желаниям. Устроив все таким образом, я убедил поселенцев не покидать остров и уехал.

Прибыв в Бразилию, я купил там и отправил поселенцам парусное судно, груженное различными необходимыми для них вещами. Кроме того, я послал на остров семь женщин, которые могли бы там поступить в услужение или стать женами тех, кто захотел бы на них жениться. Что же касается оставшихся на острове англичан, то я обещал им прислать несколько женщин из Англии вместе с грузом хозяйственных принадлежностей, в том случае, если они станут обрабатывать землю, однако этого я впоследствии не мог выполнить. Они сделались честными и трудолюбивыми работниками после того, как их принудили к подчинению и выделили участки в их владение. Я отправил также из Бразилии пять коров, из которых три должны были отелиться, несколько овец и свиней; к моему возвращению эти животные сильно размножились.

Дальнейшие истории о том, как триста карибов, явившись на остров, напали на поселенцев и разорили их плантации, как поселенцы дважды сражались с полчищем дикарей и потерпели сначала поражение, потеряв в схватке одного человека, но затем — после бури, уничтожившей неприятельские пироги,— перебили и уморили голодом всех остальных врагов; как поселенцы вернули себе свои плантации и поныне живут на острове,— все это вместе с описанием поистине удивительных происшествий и некоторых новых приключений из моей собственной жизни последующих десяти лет, может быть, будет потом рассказано мною особо.

ИСТОРИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЙ, ПОЛНОЙ БУРНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, ЖИЗНИ ВЫСОКОЧТИМОГО ПОЛКОВНИКА ЖАКА, В ПРОСТОРЕЧЬЕ ИМЕНУЕМОГО ПОЛКОВНИКОМ ДЖЕКОМ, УРОЖДЕННОГО ДВОРЯНИНА, ОТДАННОГО В УЧЕНИКИ К КАРМАННОМУ ВОРУ, ПРОЦВЕТАВШЕГО НА ПОПРИЩЕ ВОРОВСТВА ЦЕЛЫХ ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ЛЕТ, НАСИЛЬНО УВЕЗЕННОГО В ВИРГИНИЮ, ОТКУДА ОН ВЕРНУЛСЯ КУПЦОМ; ПЯТЬ РАЗ БЫЛ ЖЕНАТ НА ЧЕТЫРЕХ ШЛЮХАХ, УЧАСТВОВАЛ В ВОЙНАХ, ВЫКАЗАЛ ОТВАГУ, БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН В ПОЛКОВНИКИ, ВОЗВРАТИЛСЯ В АНГЛИЮ, УДОСТОИЛСЯ ЧЕСТИ ИМЕНОВАТЬСЯ КАВАЛЕРОМ ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГА, БЫЛ СХВАЧЕН ВО ВРЕМЯ ПРЕСТОНСКОГО ВОССТАНИЯ, ПОМИЛОВАН ПОКОЙНЫМ КОРОЛЕМ, ОСТАЕТСЯ И ПОНЫНЕ КОМАНДИРОМ СВОЕГО ПОЛКА, СРАЖАЮЩЕГОСЯ В ЦАРИЦЫНЫХ ВОЙСКАХ ПРОТИВ ТУРОК, И ЗАВЕРШАЕТ СВОЮ УДИВИТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, РАССЧИТЫВАЯ УМЕРЕТЬ ГЕНЕРАЛОМ. НАПИСАНА АВТОРОМ РОБИНЗОНА КРУЗО.

ПЕРЕВОД
Н. ШЕРЕШЕВСКОЙ И Л. ОРЕЛ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Подобного рода книги принято начинать с предисловия, дабы, выпуская их в свет, заранее расписать все их достоинства, так что опубликование сего сочинения без подобного начала могло бы показаться великой самонадеянностью. И все же осмелюсь заметить, эта добрая услуга необходима ему не более, чем прочим произведениям, публиковавшимся ранее. Все, что может доставить в нем удовольствие или вызвать восхищение, постоит само за себя, полезное же и поучительное настолько существенно в нем, так ясно имеет целью исправлять нравы и воспитывать ум, что потребовался бы отдельный том, ничуть не меньший по объему, чтобы изложить обстоятельно все наставления, какие можно почерпнуть из данного труда.

Здесь же уместно лишь поделиться обилием точных наблюдений, говорящих в пользу разумного воспитания, отсутствие или недостаток коего повлекли на гибель тысячи и тысячи наших соотечественников; следует, кроме того, отметить, что не мешало бы серьезно усовершенствовать школы и приюты для малолетних, дабы уберечь несчастных детей, из которых многие что ни год попадают в нашем городе в руки палача, от губительного влияния.

Горестное положение детей, чья натура мягка как воск и тяготеет более к восприятию добра, чем зла, поистине достойно сожаления, в чем со всей очевидностью можно убедиться хотя бы на истории детства моего героя; обстоятельства жизни вынудили его стать вором, и все же он чудом сумел сохранить врожденную честность, которая с малолетства внушила ему отвращение к самой темной стороне его ремесла, а в конце концов заставила и вовсе от него отречься. Если бы с юных лет у него было преимущество в виде добродетельного воспитания и он бы знал, как совершенствовать заложенные в нем благородные свойства,

каким бы прекрасным человеком и добрым христианином он мог бы стать!

Читателя ждет усладительная прогулка по пестрому полю жизни моего героя, полной самых неожиданных поворотов изменчивой фортуны; пред ним откроется сад, где он может рвать полные целебных соков плоды и не найдет ни одного пагубного и ядовитого, где он узрит саму Добродетель и все пути Мудрости, повсюду встречающей одобрение, почет, поддержку и награду; где Пороку и Расточительности сопутствует Несчастье и Горе, где Грех и Стыд идут рука об руку, Обидчик встречается лицом к лицу с Укором и Презрением, а Преступления — с Ненавистью и Карой.

Человека испорченного наш рассказ поощрит к исправлению, и всякий сможет убедиться, что единственно добродетельным завершением нечестивой, беспутной жизни является Раскаяние, в котором грешник находит Мир, Покой, а часто и Надежду, что покаяние щедро искупает все грехи, и, значит, конец дней его может сделаться лучше, нежели начало.

Произведение, написанное со столь похвальными намерениями и призванное способствовать столь полезным целям, кои перечислялись выше, не требует защиты. К тому же читателю безразлично, изложены в нем достоверные факты или нет и собирался ли его герой преподнести нам историю, хоть в какой-то мере нравоучительную. В любом случае оно послужит поруганию Греха и восхвалению Добродетели.

Полагая жизнь свою игрушкою в руках изменчивой природы и имея возможность оглянуться на нее с более безопасного расстояния, чем бывает доступно человеку того круга, к коему я принадлежал когда-то, я рассчитываю, что история моя займет достойное место рядом с теми, какие, по моему наблюдению, читаются в наши дни с немалым удовольствием, хотя в них и нет той развлекательности и поучительности, каковую, я надеюсь, можно найти в моей.

Я мог бы похвастать не менее благородным происхождением, чем иные прочие, поскольку матушка моя была принята в хорошем обществе, да только это относится уже к ее истории, а не к моей; все, что я знаю об этом, я почерпнул из рассказов моей кормилицы, она-то и поведала мне, что матушка моя была дворянского роду, что отец мой тоже был из господ и что она, моя кормилица, получила от него хороший куш за то, что, приютив меня, развязала ему руки и освободила его и мою мать от всех неприятностей, связанных с тяжкой мукой растить ребенка, пряча его от чужих глаз и ушей.

Судя по всему, отец мой, по просьбе матушки, прибавил еще кое-что моей кормилице сверх уговора, взяв с нее торжественную клятву, что она будет со мной хорошо обращаться, отдаст меня в школу, и наказал ей, если я доживу до того возраста, когда уже кое-что начинают смыслить, внушить мне, что я дворянин. Вот, собственно, и все, что он ждал от нее как от воспитательницы, ибо, сказал он, у него нет сомнений, что придет время и тогда довольно будет легкого толчка, чтобы мысли мои оказались достойны моего происхождения, а поступки отличали бы во мне истинного дворянина, стоит мне только вспомнить, что я таковым и являюсь.

Но все это было только началом моих несчастий, которые на том не кончились; невезенье редко посещает нас лишь на один

день: подобно тому как все великое по ступенькам величия возносится на вершину славы, чтобы блистать там во всей красе, так все ничтожное по цепочке несчастий скатывается в бездну и терзается там, мучимое бедственными обстоятельствами, пока судьба не сжалится, если только ей будет это угодно, и не подаст надежды на избавление.

Моя кормилица относилась к взятым на себя обязанностям со всем тщанием, какое только можно было ожидать от особы, живущей подобного рода поручениями, ибо она с великим усердием воспитывала меня вместе с родным своим сыном и еще с одним сыном греха, вроде меня, которого она взяла на тех же условиях.

Меня звали Джон, как она сообщила мне; какова же была моя фамилия, не знали ни она, ни я, таким образом, мне оставалось называть себя мистер Кто Угодно, в зависимости от обстоятельств.

Случилось так, что ее собственного сына (а у нее был мальчонка, примерно годом старше меня) звали тоже Джон, а двумя годами позднее она взяла, как я уже говорил, на воспитание еще одно дитя греха, и его звали тоже Джон.

А поскольку все мы были Джонами, нас всех стали звать Джеками, ибо в той части города, где мы росли и воспитывались, а именно возле Гудменс-Филдз, всех Джонов принято было звать Джеками; однако моей кормилице вполне естественно хотелось как-то отличить свое родное дитя от остальных, и она стала звать его капитаном, потому что он и в самом деле был старшим среди нас.

Я досадовал, что мне велели называть этого мальчишку капитаном, и плакал и упрашивал кормилицу звать капитаном меня; ведь она же сама твердила мне, что я дворянин, а стало быть, кого и звать капитаном, как не меня. И добрая женщина, чтобы сохранить мир в доме, соглашалась: ну да, конечно, я дворянин, а значит, я должен быть выше капитана, то есть по меньшей мере полковником, это же куда лучше капитана; голубчик, говорила она, да любой матрос с самого захудалого судна, стоит ему дослужиться до лейтенанта, глядишь, уже зовется капитаном, а полковники — те настоящие солдаты, да и произведены в полковники могут быть только дворяне; к тому же, уговаривала она, ей были известны случаи, когда полковники становились лордами и генералами, хотя и были незаконнорожденными, потому и мне следует зваться полковником.

Что ж, на время я успокоился, хотя и не очень был удовлетворен таким объяснением, правда только до тех пор, пока вскорости не услышал, как она внушает своему сыну, что он должен величать меня полковником, потому что я дворянин, а тот ударился в плач, почему не его будут звать полковником; этот случай

доставил мне большое удовольствие, наконец-то я убедился, что быть полковником лучше, чем капитаном. До чего же честолюбие в природе человека, если даже в сердце какого-то жалкого мальчишки оно нашло себе уголок!

Так и звали нас: Полковник Джек и Капитан Джек, а что до третьего, то несколько лет он звался просто Джеком, пока не вырвался вперед благодаря своему происхождению, о чем вы узнаете в свое время.

Мы все трое подавали надежды, и так сложилась наша жизнь, что уже с малых лет уподобились мы настоящим мошенникам, хотя и не могу отрицать, что честная женщина, если считать, что я прав, веря в ее честность, делала все, от нее зависящее, чтобы предотвратить это.

Прежде чем углубляться в нашу историю, будет весьма кстати обрисовать хотя бы бегло характер каждого из нас, каковым он запечатлелся в моей душе с той поры, как я помню себя и своих братьев Джеков; постараюсь сделать это кратко и беспристрастно.

Капитан Джек, старший среди нас, был приземистым, плотным крепышом, обещавшим стать таким же плотным и невысоким мужчиной. Характер у него был скрытный, угрюмый, замкнутый, злобный, мстительный; к тому же он отличался тупой кровожадной жестокостью; по манерам это был просто извозчик, мужлан, деревенщина, смекалистый, как все уличные мальчишки, однако невежественный и тупой к ученью. Отчаянно смелый, но отнюдь не великодушный, по характеру он походил на бульдога; ни одной учительнице, которых мы посещали, не удалось заставить его взяться за ученье,— какое там, хоть бы научиться простой грамоте, и то нет; он словно уродился вором и, едва выучившись говорить, тащил что ни попадет под руку, и не только у своей матери, но у кого угодно, даже у нас, своих братьев и товарищей. Он был врожденным негодяем, потому что совершал самые гнусные и низкие поступки исключительно по склонности натуры своей; он не имел понятия о честности и не желал блюсти ее даже со своими собратьями-жуликами, что среди воров считается своего рода делом чести; я имею в виду соблюдение честности по отношению друг к другу.

Следующий, то есть младший из трех Джонов, звался Майор Джек, и вот по какому случаю: леди, которая сдала его нашей кормилице на попечение, открылась ей, что отец ребенка — гвардейский майор, чье имя она вынуждена хранить в тайне, и этого было достаточно. Поэтому сначала его и звали Майор Джон, потом просто Майором и, наконец, когда нам пришлось вместе скитаться по свету,— Майором Джеком, наподобие остальных, так как наречен он был Джоном, о чем я уже успел сообщить вам.

Майор Джек, весельчак и славный малый, от природы одаренный живым умом — как говорится, хватал все на лету,— был большой насмешник и мастер на всякие выдумки; к тому же, как я не раз замечал, в нем всегда угадывался дворянин; он обладал истинным мужеством, не боялся решительно ничего и мог смотреть смерти в лицо без содрогания; и вместе с тем он был самым великодушным и чувствительным существом на свете; ему от рождения была свойственна благородная отвага, ничего общего не имевшая, однако, с отвратительной жестокостью Капитана; одним словом, чтобы считаться совершенством, ему недоставало лишь честности. Подобно мне, он научился читать, умел складно говорить и писал очень толково, на редкость изящным слогом, в чем вы сами сможете убедиться, читая мой рассказ.

Что же касается вашего покорного слуги, Полковника Джека, он был бедным, несчастным, смирным псом, исполненным рвения научиться всему на свете от любого учителя, кроме разве самого дьявола. Он был выброшен в жизнь так рано, что, ступая на стезю греха, не понимал еще ни всей безнравственности его, ни грядущей вослед расплаты. Прекрасно помню, как, представ однажды перед судом за кражу, которой на самом деле не совершал, я пытался защитить себя, объясняя и доказывая, что мои обвинители заблуждаются и противоречат сами себе, и тогда судья сказал мне, как жаль, что я не нашел лучшего применения своим способностям, ибо, по всему видно, учили-то меня добру; однако его честь ошибался: ничему меня никогда не учили, кроме как воровать да еще, как я уже сказал, читать и писать, вот и вся моя наука за десять лет жизни. Но язык у меня был хорошо подвешен, и говорил я не хуже иных недоучек.

Среди товарищей моих слыл я парнем храбрым, решительным и отчаянным забиякой; однако сам я был о себе иного мнения и всячески избегал драк, хотя иногда все же в них ввязывался, а поскольку был я крепок и к тому же отличался проворством, победа всегда оставалась за мной. Однако, если кулаки не помогали, частенько меня выручал мой язык, не только когда я был мальчишкой, но и позже, когда стал уже взрослым мужчиной.

В нашем деле я был осмотрителен и ловок и попадался реже моих коллег-жуликов, даже в годы детства, а уж взрослым и вовсе никогда, ни единого разу за все двадцать шесть лет — вот сколько времени отдал я нашему делу,— а с виселицей так и не свел знакомства, а как мне это удалось, вы еще услышите.

Что до моего вида, то, поскольку я спал в угольной яме при стекольном заводе и вечно околачивался на грязной улице, то и выглядел я соответственно, как, впрочем, все мы, другого ждать от нас и не приходилось,— вылитый «Чистим-ваксим, ваша

честь!» — попрошайка, жулик, что хотите, самая презренная и разнесчастная тварь; и все же, помню, иногда люди говорили обо мне: «Какое хорошее у мальчишки лицо, если бы его умыть да одеть получше, из него вышел бы пу просто славный мальчуган, только поглядите, какие у него глаза, какая приятная улыбка, вот жалость-то! Что только думают родители этого оборванца?» И они подзывали меня к себе и спрашивали, как меня зовут, а я отвечал, что меня зовут Джек. «Да нет, как твоя фамилия, плутишка?» — спрашивали они. «Не знаю»,— отвечал я. «Ну, кто твои отец и мать?» — «Нет у меня отца и матери»,— говорил я. «Но были когда-то?» — спрашивали они. «Нет,— отвечал я,— я никогда их не знал». Тогда они качали головой и восклицали: «Бедный мальчонка! Вот горе-то!» И тому подобное... И отпускали меня. Однако подобные разговоры западали мне в душу.

Мне было почти десять, Капитану одиннадцать, а Майору около восьми лет, когда умерла моя добрая кормилица. Ее муж был моряком еще во времена Карла II и утонул незадолго до того, плывя на королевском фрегате «Глостер», который потерпел кораблекрушение по пути в Шотландию с герцогом Йоркским на борту, поэтому честная женщина умирала в великой бедности, и хоронить ее пришлось приходу, а мы, все три Джека, провожали ее тело; я, то есть Полковник (всю нашу троицу принимали за ее детей), возглавлял траурное шествие, а старший сын, Капитан, горевавший больше всех, его замыкал.

После смерти кормилицы наша тройка — три Джека — оказалась брошенной на волю судьбы; но так как приход взял нас на попечение, мы ни о чем особенно и не беспокоились, всюду бродили втроем, и все, кто жил на Розмэри-Лейн, на Рэтклиф-Хайуэй и по соседству, знали нас прекрасно, а потому с едой у нас хлопот особых не было, даже попрошайничать не приходилось.

Что же касается меня, то я даже завоевал репутацию на редкость воспитанного и честного мальчика: когда меня посылали с каким-нибудь поручением, я выполнял его всегда старательно и точно, о чем тут же спешил сообщить, а если мне что доверяли, я никогда ничего не трогал, не запускал руку в чужое добро. Напротив, делом моей чести было доставить все, что́ бы меня ни просили передать, в целости и сохранности, хотя в других случаях я был таким же отпетым воришкой, как и мои собратья.

К примеру, владельцы лавочек, что победнее, часто просили меня посидеть у дверей постеречь их добро, пока они поднимутся к себе пообедать или перейдут через улицу в какое-нибудь питейное заведение, и я делал это для них всегда охотно и с радостью, соблюдая при этом отменную честность.

В отличие от нас Капитан Джек хранил всегда угрюмый, злобный вид, от него нечего было ждать ни доброго слова, ни приветливого обращения; на вопросы он отвечал только «да» или «нет» и услужливостью отнюдь не отличался; если его посылали с поручением, он половину позабывал или же по дороге мог заиграться с мальчишками и тогда вовсе не вспоминал о поручении или не давал себе труда вернуться с ответом; он выказывал такое небрежение и нелюбезность, что ни у кого не находилось для него доброго слова, и все говорили, что он закоченный мошенник и угодит когда-нибудь на виселицу. Одним словом, он ни от кого не получал доброхотных даяний и, чтобы раздобывать себе хлеб насущный, был вынужден заделаться вором, ибо обращался он к людям за помощью таким дерзким тоном, точно требовал, а не просил, и один человек, от которого Джек кое-что получил и знавший его хорошо, сказал ему как-то: «Капитан Джек,— сказал он,— уж коли ты мальчишкой не умеешь просить по-хорошему, а прямо с ножом к горлу лезешь, уж боюсь, ставши взрослым, ты приспособишься требовать у людей не пенни, а весь кошелек».

Майор, беззаботный легкомысленный мальчишка, всегда веселый, независимо от того, голоден он или нет, никогда не жаловался ни на что и так зарекомендовал себя отменным своим поведением, что все соседи души в нем не чаяли, и потому уж чего-чего, а еды ему всегда хватало. Так мы и перебивались; чтоб не умереть с голоду, нам, детям, требовалось немного, а что до жилья, то летом мы спали где-нибудь поближе к сторожевым будкам или на крыше, а то и под дверью чьей-нибудь лавки, если хозяин знал нас,— про кровать, с тех пор как скончалась наша кормилица, мы и думать забыли,— зимою же забирались в угольные ямы или устраивались под сводом стеклодувной печи на стекольном заводе на Розмэри-Лейн, который назывался Дэллоуский стекольный завод, а иногда на другом стекольном заводе на Рэтклиф-Хайуэй.

Такую жизнь мы вели несколько лет и мало-помалу не могли не втянуться в шайку воришек, голых и босых, вроде нас самих, уже в столь нежном возрасте коварных, как истинные ученики дьявола, а с годами созревших для любых скверных дел.

Помню, как однажды холодной зимней ночью наш сон нарушили констебль со своим дозором, они требовали некоего Вертишейку, который, видимо, совершил какую-то кражу, и за ним выслали погоню, а властям было известно, что искать его надо среди юных бродяжек под печной дугой на стекольном заводе.

Посреди ночи нас разбудил шум и крики: «А ну, вылезайте, дьявольское отродье! Выходи на свет!» Вызвали нас, стало быть, наверх, одни вылезали сами, протирая глаза и скребя затылки, других выволакивали силой, всего человек семнадцать, однако Вер-

тишейки среди нас не оказалось; наверное, речь шла о здоровенном детине, который частенько разделял с нами ночлег; он был замешан в краже, совершенной прошлой ночью, о чем сообщил его же товарищ, который попался и, в надежде избежать наказания, выдал его и донес, где тот ночует; однако тот, видимо, был предупрежден и скрылся, по крайней мере, на время; итак, нам разрешили вернуться в наши апартаменты под укрытие теплой золы, где я провел немало студеных зимних ночей. Какое там ночей — много зим подряд. И спалось там так крепко, так уютно, как потом и на пуховых перинах никогда не спалось.

Такую жизнь мы вели довольно долго, пожалуй, года два, и ни о чем дурном даже не помышляли. Обычно мы трое держались вместе, иначе Капитан со своим отталкивающим характером и неспособностью ладить с людьми помер бы с голоду без нашей поддержки. А поскольку мы всегда держались вместе, нас так и прозвали Три Джека; однако Полковник Джек во многом перед ними имел преимущество; как я уже говорил, Майор был малый веселый и общительный, но беседы с людьми почтенными, я имею в виду тех из них, которые снисходили до разговоров с нищим мальчишкой, обычно вел Полковник. Я любопытствовал обо всем на свете, расспрашивал о делах и государственных и частных, особенно же любил поговорить с матросами и солдатами о войне, о великих морских сражениях или битвах на суше, в которых они побывали, а так как я помнил все, что они мне рассказывали, то вскоре, ну, скажем, через несколько лет, я мог описать войну с голландцами или там морские бои, битву во Фландрии или взятие Маастрихта и тому подобное не хуже самих очевидцев, и потому бывалые солдаты и моряки не прочь были потолковать со мной; от них я узнал разные истории, не только о современных войнах, но и о сражениях времен Оливера Кромвеля, и про смерть Карла I, и всякое прочее.

Вот каким манером я, еще совсем мальчишка, стал своего рода историком, и хотя я вовсе не читал книг, никогда даже таковых не имел, я обладал изрядными познаниями о делах минувших и давно прошедших, в первую очередь наших отечественных. Я знал название каждого корабля в нашем флоте и имя его командира, и все это еще до того, как мне исполнилось четырнадцать, или чуть позже.

Между тем Капитан Джек попал в дурную компанию и бросил нас; прошло немало времени, пока до нас дошли о нем какие-либо слухи и толки; лишь спустя примерно полгода я узнал, что он орудует в шайке киднэпперов, как тогда говорили, самых отъявленных негодяев, которые похищали детей, то есть хватали их под прикрытием темноты, затыкали им рты, относили в дома, где их

уже поджидали другие мошенники, а потом переправляли на борт какого-нибудь судна, идущего в Виргинию, и продавали там в рабство.

Вот к этакому ремеслу наш Громила Джек, как я его стал звать, когда мы выросли, был как нельзя более годен, особенно если надо было применять силу; когда ребенок попадал в его лапы, он готов был заткнуть ему не только рот, но и глотку, ничуть не беспокоясь, что тот может задохнуться, только бы он не подымал шума. Кажется, именно в то время их шайка совершила одно гнусное дело: то ли придушила ребенка, попавшего к ним, то ли по-иному искалечила его, главное, что это оказался ребенок одного из именитых граждан, и отец каким-то образом напал на след; ребенка нашли, хотя и в прискорбном виде, еле живого; я был тогда еще слишком мал, да и случилось это много лет тому назад, так что подробностей истории я не помню, знаю только, что вся шайка была схвачена и отправлена в Ньюгетскую тюрьму, и Капитан Джек в том числе, хотя лет ему тогда было совсем немного, не более тринадцати.

Какое наказание положили этим негодяям, я сейчас не могу вам сказать, что же касается Капитана Джека, то, поскольку он был подростком, его решили трижды подвергнуть строгой порке в Брайдуэлле; и то, как заявил лорд-мэр или, может, главный судья, ему еще смягчили наказание, а стоило его вздернуть; впрочем, они не преминули заметить, что если судить по виду, то виселица по нему уже плачет, и посоветовали учесть это на будущее; вот какова была внешность у Капитана, даже в отроческие годы; впрочем, ему не раз об этом говорили и после, по самым разным поводам. Я проведал о его беде, когда он сидел в Брайдуэлле, и вместе с Майором отправился навестить его.

В тот день, когда мы пришли к нему, его как раз вызвали для «исправления», как они это называли, а поскольку по приговору порка полагалась строгая, то согласно приказу и действовали; сам олдермен, он же начальник Брайдуэллской тюрьмы, звавшийся, как помнится мне, сэром Уильямом Тернером, прочел ему целую проповедь о том, как он юн и сколь это горько, когда такой еще молодой человек, а уже заслужил виселицу, и дальше в том же духе, что все это должно служить ему грозным предупреждением, ибо красть бедных невинных детей — это злодейство и так далее и тому подобное; а тем временем человек с голубой кокардой нещадно сек его и не имел права остановиться, пока сэр Уильям не ударит своим молоточком по столу.

Бедняга Капитан и ногами бил, и дергался, и орал, как безумный; должен признаться, я был напуган до смерти, и хотя близко подойти не мог — никто бы не подпустил какого-то там мальчиш-

ку-оборванца — и сам не видел, как его отделывали, зато увидел потом спину, всю исполосованную плетьми, в нескольких местах даже до крови, и подумал, что не перенесу этого зрелища; однако позднее мне приходилось быть причастным подобным экзекуциям.

Я утешал бедного Капитана, как мог, всякий раз, как меня к нему пускали. Но худшее было у него впереди, ибо, прежде чем выйти на свободу, ему полагалось вытерпеть еще две таких порки; ох, и отделали же они его — так крепко, что надолго отбили у него всякую охоту похищать детей; но он все равно не порвал с киднэпперами и держался с ними до конца, пока несколько лет спустя не накрыли всю шайку.

Несмотря на то что Майор и я были еще совсем мальчишками, жестокая расправа с Капитаном произвела на нас заметное впечатление, можно даже сказать, что она послужила исправлению не только его, но и нас, непричастных к этому преступному делу. Однако не прошло и года, как Майор, отличавшийся легким, покладистым характером, поддался на уговоры двух воришек, из тех, что часто пользовались гостеприимством стекольного завода, и отправился с ними, как они выражались, на прогулку; компания подобралась отменная: Майору было около двенадцати, старшему из тех двоих, что увели его, не более четырнадцати; решено было идти на Варфоломеевскую ярмарку, а цель путешествия — если в двух словах — обчищать карманы.

Майор был новичком в этом деле, поэтому от него ничего и не ждали, но обещали равную долю, как если бы он был мастером не хуже их. Итак, они пустились в путь; парочка юных жуликов оказалась такой ловкой, что уже к восьми часам вечера все благополучно вернулись в свои пыльные апартаменты на стекольном заводе и, усевшись в уголку, в отблеске огня стеклодувных печей, принялись делить добычу. Майор выложил все добро, потому что, хотя шарили по карманам те двое, они тут же сбывали краденое с рук, передавая его Майору, так что, если бы их и поймали, все равно ничего бы не нашли.

День оказался для них чертовски удачным, точно сам дьявол подкидывал им богатую добычу на радостях, что ему удалось завлечь молодого игрока и поощрить его к действию, когда он уж было совсем отступился после несчастья с Капитаном. Список наворованного в первый вечер был таков.

I. Белый носовой платок деревенской девушки, засмотревшейся на сдобный пудинг; в нем было завязано три шиллинга шесть пенсов, да еще в один из углов платка было воткнуто несколько булавок.

II. Пестрый шейный платок из кармана у молодого деревенского парня, пока тот покупал апельсины.

III. Плетенный из тесьмы кошелек с одиннадцатью шиллингами и тремя пенсами да серебряным наперстком в придачу, вытащенный из кармана у молодой женщины как раз в ту минуту, когда какой-то молодой человек пытался завести с ней знакомство.

Примечание. Она тут же хватилась своего кошелька и, не видя вора, обвинила молодого человека, который только что заговаривал с нею, и подняла крик: «Держите вора!», так что бедняга попал в руки толпы, но, к счастью, его все знали на этой улице, и потому ему удалось выпутаться, хотя и с большим трудом.

IV. Нож с вилкой, только что купленные двумя мальчуганами, которые собирались уже идти с покупкой домой; воришка стянул их через секунду после того, как один из мальчуганов опустил их к себе в карман.

V. Серебряная коробочка с семью шиллингами серебряными монетками по одному пенни, по два, три и четыре пенса.

Примечание. Судя по всему, какая-то служанка вынула ее из кармана, чтобы заплатить за вход в балаган на представление, и маленькому воришке удалось запустить туда руку в тот самый миг, когда она положила коробочку обратно.

VI. Еще один носовой платок, шелковый, из кармана у джентльмена.

VII. Еще платок.

VIII. Кукла на пружинах и ручное зеркальце, украденные на ярмарке с прилавка торговца игрушками.

Принести домой такую добычу, полученную всего за один день, точнее, даже за один вечер, для двух малолетних воришек, скажу вам честно, дело просто невероятное; с этого дня Майор весьма высоко поднялся в глазах своих дружков.

Рано утром он пришел прямо ко мне, я спал неподалеку от него, и сказал: «Полковник Джек, мне надо с тобой поговорить».— «Да,— сказал я,— а в чем дело»? — «Дело серьезное,— сказал он,— здесь я не могу разговаривать». Мы вышли. Как только мы очутились в узком проходе рядом со стекольным заводом, он и говорит: «Смотри!» — и протягивает мне ладонь, а на ней полная горсть монет.

Увидев их, я очень удивился, а он их спрятал, потом снова показал и говорит мне, что часть денег моя, и дает шестипенсовик и мелкое серебро, всего на шиллинг. Мне это было особенно приятно, так как, хотя я и родился дворянином и всегда помнил об этом, все же ни разу в жизни не располагал я сразу целым шиллингом, который мог бы назвать своим.

Я настойчиво расспрашивал, откуда у него такое богатство; оказалось, что его доля составляет семь шиллингов шесть пенсов, не считая серебряного наперстка и шелкового платка, что, право же, было для него целым состоянием, ибо у него, как и у меня, в жизни не водилось даже шиллинга.

«Что ты с ними собираешься делать, Джек?» — спросил я. «Перво-наперво,— говорит он,— пойду в Ветошный ряд и куплю себе пару башмаков и чулки».— «Дело,— говорю я,— пожалуй, я тоже». И мы с ним отправились в Ветошный ряд и купили там каждый по паре чулок за пять пенсов, не пять за пару, а пять за обе; и хороши же были чулочки, куда лучше остальной нашей одежды, это уж точно.

Подходящие башмаки найти оказалось много труднее; наконец, потратив на поиски уйму времени, мы набрели на лавку с большим выбором и купили там две пары за шестнадцать пенсов.

Мы тут же надели их и испытали истинное удовольствие, ибо давно уже не было у нас целых башмаков и чулок в придачу. Надев пару теплых чулок и недраные башмаки, я почувствовал себя как бы обновленным; повторяю, ничего подобного я не испытывал уже очень давно, и снова мне на ум пришло мое дворянское происхождение, и я подумал, что вот оно наконец начинает показывать себя; после того как мы приоделись, я сказал: «Послушай, Майор Джек, ведь у нас никогда в жизни не было ни гроша, ни разу в жизни мы толком не пообедали, а что, если нам пойти да поесть где-нибудь? Я голоден как волк».

«Что ж, возьмем да пойдем,— сказал Майор,— я сам голоден как волк». И мы отправились в настоящую харчевню на Розмэри-Лейн, где угостились на славу; про себя я даже подумал, вот это жизнь, достойная дворянина. Мы взяли на три пенса вареной говядины, двухпенсовый пудинг, хлебец за пенни (или булку, как еще говорят) да вдобавок пинту крепкого пива, итого на шесть пенсов.

Примечание. Сверх того каждый из нас еще выпил изрядное количество восхитительного мясного бульона; но более всего порадовало меня за обедом то, что служанка и мальчик, прислуживавшие в этом заведении, проходя мимо открытого кабинета, где мы сидели, каждый раз заглядывали к нам и спрашивали: «Вы звали, господа?» — или: «Господа, вы звали?» Для меня это было дороже самого обеда.

Ни один добрый домохозяин во всем нашем приходе Степни, ни сам лорд-мэр Лондона, ни величайший из людей на земле не испытал, даже в воображении своем, столь чистого и полного блаженства, как я от свалившейся на меня вдруг удачи, хотя на мою долю выпала лишь малая толика ее по сравнению с Майором

Джеком, который обладал теперь целым состоянием, и все же сам я тоже получил целое состояние по сравнению с тем, что было у меня прежде. Одним словом, ничто не дарует такого счастья, как полное неведение о еще больших благах, так что, хотя из всей добычи мне перепало каких-нибудь жалких восемнадцать пенсов, я был до крайности доволен и этим.

В эту ночь Майор и я, насладившись нашим первым успехом, спали спокойно, не потревоженные никем, на нашем обычном месте, согреваемые теплом от стеклодувных печей, расположенных над нами, что сполна вознаграждало нас за угольную пыль и золу, в которых мы валялись.

Кто знаком с устройством стекольных заводов и с печами, где производят отжиг уже изготовленных бутылок, знают, куда сбрасывают золу и шлак, вот там-то и спит бедная ребятня — в проемах кирпичной кладки, очень узких и расширяющихся только при входе; в них всегда тепло, словно в предбаннике, холод туда не проникает, будь то в Гренландии или на Новой Земле, поэтому мальчишкам там спать и безопасно, и очень уютно, если не считать, что все они перемазываются золой, но, впрочем, им до этого горя мало.

На другой день Майор со своими приятелями опять ходили в поход, с еще большим успехом; беда обходила их стороной и довольно долго, во всяком случае, не один месяц. Майор Джек так усердно старался следовать всем их наставлениям, что заделался не менее искусным карманником, чем они, и долго играл с судьбой, слишком даже долго, чтобы здесь останавливаться на этом, поскольку я спешу поведать вам мою собственную историю, что является главной целью повествования.

Майор дня не пропускал, чтобы не поделиться со мной своими новыми успехами, и был так щедр, что частенько подбрасывал мне шестипенсовик, а случалось, и шиллинг; и я стал замечать, что он уже начал одеваться как подобает владельцу приличной квартиры (описание которой, если позволите, я дам в другом месте), более того, он даже завел себе рубашку, чего ни он, ни я не позволяли себе вот уже три года.

Однако во все это время я не мог не заметить, что, хотя Майор Джек преуспевал и дела его процветали и по доброте своей и великодушию он давал мне при случае денег, все же, несмотря на это, он ни разу не пригласил меня в свою компанию и не предложил вступить с ним в дело, что составило бы и мое счастье, не тутто было, он даже не посвящал меня в него.

Признаться, меня немного обижала такая скрытность, я уже знал, что их занятие — обчищать чужие карманы, и был уверен, что успеха в этом деле можно добиться, если у тебя легкая рука,

достаточно ловкости и смекалки, а всему прочему не так уж трудно выучиться. И как подумаешь, сколько удобных случаев представляется им на каждом шагу, ибо все деревенские, приезжающие в Лондон, до того глупы, такие все разини, только знай себе по сторонам глазеют, так что никакого риску, как мне казалось, в этом промысле не было, да и постигнуть его не так уж трудно, усвой я хотя бы главные приемы и как их применять.

Лукавый дьявол, который никогда не дремлет и готов воспользоваться любым поводом, чтобы соблазнить верных слуг своих, отмел все затруднения на моем пути и свел меня близко с одним из искуснейших щипачей, то есть карманников города: вот как возникла наша с ним дружба, а поскольку во мне ничуть не менее, чем в прочих его дружках, замечалась порочная склонность к воровству, то еще моему наставнику приходилось заботиться, как бы не разочаровать меня.

Он был на голову выше тех юнцов, что воровали на Варфоломеевской ярмарке всякую мелочишку, пустяки разные и рисковали угодить в руки властей за каких-нибудь три или четыре шиллинга, тогда как он зарился на большее, уж во всяком случае, на кругленькую сумму денег или векселя.

Он сам настоял, чтобы я вышел с ним «прогуляться», и добавил, что, как только меня немножко поднатаскает, я начну работать на собственный страх и риск,— иными словами, он мне только поможет освоиться, а дальше, если мне будет угодно, я смогу уже действовать сам по себе, а ему останется лишь пожелать мне удачи.

Все было точно, как с Майором Джеком, который отправился со своим наставником, чтобы поучиться у него приемам и прятать краденое, но все равно получил свою долю, так и со мной: если ему повезет, сказал он, я все равно получу свою долю, как если бы я был равным участником в этом деле; таков их обычай, заверил он меня, для того чтобы поощрять юных новичков, которым следует действовать безо всякого страха с самого начала, ибо в этом деле успех ожидает только того, у кого сердце льва.

Я долго колебался, меня пугал риск, я даже рассказал ему историю Капитана Джека, моего старшего брата, если его можно так назвать. «Э-ге, Полковник,— сказал он мне,— да ты, я вижу, малость трусоват, а трусам в воровском цехе не место, нет, только отвага помощница в нашем деле. А и то сказать, пусть тебе оно и не подойдет, все одно риску тут нет никакого, потому как, если меня схватят,— сказал он,— тебя все равно отпустят, раз ты тут ни при чем, а доказать это проще простого: раз виноват я, значит, не ты это сделал».

Поддавшись на уговоры, я наконец отважился выйти с ним; вскоре я убедился, что мой новый друг был вором самого высокого класса, просто-таки выдающимся карманником, и метил куда выше моего братца Джека; он был много крупнее меня: хотя мне к тому времени исполнилось уже почти пятнадцать, но для своего возраста я был мелковат, а что до нового ремесла, тут я оказался простофилей; только значительно позже я узнал то, чего не знал с самого начала, и понял, что занятие это преступно. Раньше я полагал воровство обычным делом, которому и собирался выучиться; конечно, я был тогда еще несведущ в законах гражданских и слишком юн годами, но я и потом долго считал, что за такие дела, как воровство, полагается только крепкая накачка или взбучка, у нас это называлось «штаны спустить», а нам и не жаль было, все равно одно рванье носили; и я только много лет спустя узнал, что воровство считается уголовным преступлением, за которое нас могли отправить в Ньюгетскую тюрьму, и узнал это, когда одного взрослого парня, почти уже мужчину, из нашей компании за это вздернули, вот тогда я сильно напугался, но об этом вы еще услышите.

Итак, поддавшись на уговоры моего старшего друга, я пошел с ним — бедный, невинный ребенок (я как сейчас помню все, о чем я думал тогда), без всяких дурных наклонностей, в жизни не укравший ни гроша; когда ювелир оставлял меня в своей лавке присмотреть за грудами денег, рассыпанных перед самым моим носом, я до них и не дотрагивался — вот ведь до чего доходила моя честность; и все же коварный искуситель поймал меня на свой крючок, так как я был совсем еще дитя и по-детски даже в мыслях не имел, что шарить по чужим карманам — нечестно, напротив, как я уже сказал, я полагал это своего рода ремеслом, которому не мешает поучиться, но, занявшись им, я так увяз в этой трясине, что отступать было поздно. Вот так я и сделался вором помимо моей воли и преуспел в этом, как мало кто из моих собратьев, избежав общей участи людей нашей профессии: я имею в виду галеры или виселицу.

В первый же день, что я решился выйти с моим учителем, он повел меня прямо в город; когда мы спустились к реке, он зашел со мной в Длинный зал таможни; выглядели мы настоящими оборванцами, особенно я. Мой вожатый был все-таки в шляпе, в рубашке и даже с шейным платком; у меня же не было ни одного из этих трех украшений с тех самых пор, как умерла моя кормилица, а случилось это уже несколько лет назад, не такую жизнь я вел, чтобы прикрывать голову шляпой. Он велел мне держаться невдалеке у него на виду, но не вовсе рядом и словно бы не за-

мечать его, пока он сам не подойдет ко мне, а если случится переполох, вести себя так, будто я его не знаю.

Я сделал все, как он приказал, а он тем временем совал свой нос во все углы и внимательно оглядывал каждого; я не спускал с него глаз, но держался все время на расстоянии, у противоположной стены зала, делая вид, что выискиваю на грязном полу булавки, а когда и в самом деле находил их, то подбирал и втыкал себе в рукав, так что понемногу у меня набралось не менее сорока — пятидесяти вполне годных булавок; однако своего компаньона я из виду не терял и видел, как он сновал туда-сюда в толпе людей, проходивших таможенный досмотр и разговаривавших с чиновниками.

Но вот наконец он подходит ко мне, наклоняется, словно чтобы поднять с полу рядом со мной булавку, и сует что-то мне в руку, бросив при этом: «Прячь и беги за мной вниз по лестнице, живо!» Сам он не побежал, а смешался с толпой и спустился вниз не главной лестницей, по которой мы поднимались, а маленькой узкой лестничкой в другом конце зала; я следовал за ним, он это заметил и продолжал свой путь, не остановившись даже внизу, как я рассчитывал, не сказав мне ни слова, пока через бесчисленные узкие улочки, проходы и темные закоулки мы не добрались до Фенчёрч-стрит, а оттуда через Биллитер-Лейн на Лиденхолл-стрит и дальше к Лиденхоллскому рынку.

То был день поста, и потому мы устроились на одном из прилавков рыночных мясников, и тут только он велел мне вытащить то, что я спрятал; это оказался небольшой кожаный бумажник, внутри которого был вклеен французский календарь и хранилась уйма всяких бумаг.

Мы просмотрели их и обнаружили несколько денежных документов, в том числе векселей и разных расписок; толку в них я не знал никакого, однако среди прочих я увидел вексель на имя ювелира от некоего сэра Стивена Ивенса на выплату, как объяснил мне мой друг, трехсот фунтов по предъявлении векселя, а кроме него, еще расписку на двенадцать фунтов десять шиллингов, тоже на имя ювелира, только не помню от кого; еще были там один-два векселя на французском, но мы оба не могли их прочесть, по-видимому, довольно крупные, поскольку на них стояло: «Иностранные векселя, акцептованные».

Мой учитель прекрасно разобрался, что причитается по векселям, выданным на имя ювелира, я наблюдал за ним, когда он читал расписку сэра Стивена; он решил, что этот вексель слишком крупный, чтобы путаться с ним, а когда дошел до расписки на двенадцать фунтов десять шиллингов, сказал: «Вот этот сойдет, пошли, Джек!» И тут же пустился бегом на Ломбард-стрит, а я

за ним, засовывая на ходу остальные бумаги в бумажник; по дороге он первым делом выяснил имя владельца расписки и тогда уже направился прямо в ювелирную лавку, напустил на себя степенности и получил там деньги безо всякой задержки и без единого вопроса. Я стоял на противоположной стороне улицы, выполняя роль зеваки; однако я заметил, что, предъявляя вексель, он достал и бумажник, как будто он слуга купца, посвященный во все его дела, а потому имеет при себе все прочие его бумаги.

Ему выплатили золотом, он поспешил пересчитать все и убраться восвояси; перейдя улицу, он прошмыгнул мимо меня и направился в переулок, носивший название Двор Трех Королей; потом мы вместе пересекли улицу в обратном направлении и через Клемент-Лейн поспешили к Капустной гавани и там наняли за пенни лодочника, чтобы он переправил нас через реку прямо к собору Сент-Мэри-Овери, где мы высадились и почувствовали себя в полной безопасности.

Тут он оборачивается ко мне и говорит: «Счастливчик ты, Полковник Джек, хорошее дельце мы обделали, пойдем-ка с тобой сейчас к Сент-Джордж-Филдз и там разделим всю добычу». Мы отправились туда, он уселся на травку в стороне от дороги и вытряс все деньги. «Смотри-ка, Джек,— говорит он мне,— видал ты когда-нибудь такое?» — «Никогда! — говорю я и простодушно так спрашиваю: — И все это нам?» — «Так оно наше! — говорит он.— А чье же еще?» — «А как же,— говорю я,— а тому человеку, который лишился денег, ничего уже не достанется?» — «Достанется? Ты это о чем?» — говорит он. «Не знаю,— говорю я,— но ты же недавно сказал, что не будешь путаться с этим векселем и вернешь его хозяину, потому что он слишком крупный».

Он посмеялся надо мной. «Да ты, оказывается, совсем дурачок,— говорит он,— а я и не думал, что ты еще такой ребенок!» И он со всей серьезностью объяснил мне суть дела. «Это я про вексель сэра Стивена Ивенса сказал,— говорит он,— он действительно крупный, на триста фунтов, и ежели бедный малый, вроде меня, рискнет сунуться за такими деньгами, они тут же спросят, откуда у меня вексель, нашел я его либо украл, и тогда они меня задержат,— говорит он,— и отымут его, да еще и в переделку попадешь из-за всего этого, потому,— говорит,— я и сказал, что он слишком крупный, чтоб путаться с ним и готов вернуть его владельцу, если бы знал как. Но что касается денег, Джек, тех денежек, что нам перепали, даю тебе слово, Джек, ему из них не достанется ничего! Да и к тому же,— говорит,— кто бы ни был этот человек, что лишился своих бумаг, будь уверен, как только он их хватится, он тут же побежит к ювелиру и предупредит его, так что, если кто и придет за деньгами, его непременно задер-

жат, да я-то уж стреляный воробей,— говорит он,— на этом не попадусь».

«А что же,— говорю,— ты будешь делать с этим векселем? Выкинешь его? Если выкинешь, кто-нибудь его подберет,— говорю,— и пойдет да получит деньги!» — «Нет, что ты,— говорит он,— я же объяснил тебе: в таком случае его задержат вместо меня и станут допрашивать». Но я все равно толком ничего не понял, а потому не задавал больше вопросов; мы принялись делить добычу — столько денег я в жизни своей не видывал и понятия не имел, что с ними и делать-то, даже хотел было попросить моего друга припрятать их пока у себя, что было бы сущим ребячеством,— уж будьте покойны, больше бы мне их не видать как своих ушей, даже если бы с ним самим ничего не стряслось.

К счастью, я об этом умолчал, и он честно разделил между нами все деньги, только под конец сказав мне, что хотя он и обещал мне ровно половину, однако, поскольку это был мой первый выход и мне не пришлось ничего делать, только наблюдать, он считает, что будет справедливо, если я получу чуть меньше него; и он разделил сначала все деньги, то есть двенадцать фунтов десять шиллингов, поровну — по шесть фунтов пять шиллингов каждому, а потом взял один фунт пять шиллингов из моей доли и сказал мне, что я должен подарить это ему на счастье. «Что ж,— сказал я,— конечно, бери, я-то считаю, что ты заслужил их все». Тем не менее оставшиеся деньги я забрал. «Но что мне с ними делать? — сказал я.— Мне их держать негде!» — «А что, у тебя разве нет карманов?» — спрашивает он. «Есть,— говорю я,— только дырявые». Не раз потом я с улыбкой вспоминал, в какой растерянности был, обретя богатство, с которым не знал, что делать, ибо у меня не было ни своего угла, ни шкатулки, ни ящика, куда бы спрятать эти деньги, даже кармана, я имею в виду не дырявого; я был один на свете, мне не к кому было пойти и попросить, чтобы их сберегли для меня, такой жалкий голодранец, как я, только вызвал бы подозрение, все решили бы, что я ограбил кого-то, и, чего доброго, схватили бы меня да, чтобы заполучить эти самые деньги, еще и обвинили, как, говорят, делают частенько. Так-то вот, разбогатев, я приобрел столько забот, что и передать вам не могу! Весь следующий день мне покою не давала мысль, как же хранить эти денежки, и довела меня до того, что я попросту сел и заплакал.

Ничто никогда не доставляло мне бóльших хлопот и волнений, чем эти монеты; поначалу я просто таскал их в руке; кроме четырнадцати шиллингов, остальные были золотыми — всего четыре гинеи, и, надо сказать, эти четырнадцать шиллингов приносили больше неудобств, чем четыре гинеи. В конце концов я уселся на

землю, снял один башмак и засунул в него четыре гинеи, но проходил с ними недолго, так как сильно натер себе ногу и больше не мог ступить ни шагу; и снова я был вынужден присесть, вынуть их из башмака и опять таскать в руке. Наконец я подобрал на улице грязную полотняную тряпку, завернул в нее деньги и какое-то время нес их в узелке. Много раз слышал я потом, как люди говорят, когда не знают, где взять деньги: «Ведь на помойке они не валяются!» Что правда, то правда, однако я завернул мои деньги в грязный лоскут, грязный, будто и в самом деле с помойки, а когда на пути моем встретилась водосточная канава, я, сидя на корточках, выполоскал в ней свою тряпицу и потом снова завернул в нее деньги.

Так я и принес их в свою ночлежку на стекольном заводе, но, укладываясь спать, опять стал ломать себе голову, куда их деть; если б хоть кто-нибудь из нашей воровской шайки проведал о них, меня бы в золу носом ткнули и отняли бы их,— словом, мне бы не поздоровилось; я не знал, как быть, и лежал, зажав их в руке, а руку спрятал за пазуху и не смыкал глаз. О, бремя забот человеческих! Я, бездомный бродяжка, который спал на груде камней, шлака или золы так крепко, как не спится иному богачу в своей мягкой постели, не мог теперь сомкнуть глаз из-за каких-то ничтожных денег.

Стопило мне задремать, как мне чудилось, будто у меня стащили мои денежки, в испуге я вздрагивал и просыпался, а убедившись, что крепко держу их в руке, долго пытался заснуть, потом засыпал наконец и снова пробуждался; вдруг мне пришло на ум, что, если я засну, мне непременно приснятся мои деньги, я стану говорить о них во сне, и, если я проговорюсь, что у меня завелись деньги, кто-нибудь из воришек меня услышит, залезет ко мне за пазуху и вытащит из руки моей деньги так, что я даже и не почувствую; после таких мыслей я и вовсе не мог заснуть; так, в тревоге и беспокойстве прошла эта ночь, и могу вас заверить, то была первая бессонная ночь, которую доставили мне жизненные треволнения и обманчивая привлекательность богатства.

Едва настал день, я вылез из ямы, в которой мы проводили ночь, и направился через Сент-Джордж-Филдз к Степни, там я опять долго размышлял и прикидывал, что же мне делать с моими деньгами, и не единожды пожелал, чтоб у меня их вовсе не было, но сколько я ни думал об этом, так ничего и не придумал, и беспомощность моя привела меня в такое отчаяние, что, повторяю, мне оставалось лишь сесть и горько расплакаться.

Но слезами горю не поможешь; деньги никуда от меня не делись, и, как с ними поступить, я понятия не имел; наконец мне пришло в голову, нет ли в каком-нибудь дереве глубокого дупла,—

вот там бы и схоронить их до поры до времени. Окрыленный этой идеей, которая казалась мне тогда поистине великой, я огляделся вокруг в поисках хоть какого-нибудь деревца, однако вокруг Степни и возле Майл-Энда не было ни одного дерева, подходящего для моей цели, а если и нашлись бы при более внимательном осмотре, все равно там было полно народу и кто-нибудь непременно заметил бы, как я что-то прячу; мне даже мерещилось, все так и глазеют на меня, а двое будто даже пошли за мной, желая проследить, что я намерен делать.

Это заставило меня отойти подальше, возле Майл-Энда я пересек дорогу и уже в самом центре города вышел на улицу, которая вела к Слепым Нищим, что у самого Бетнал-Грина; пройдя немного по улице, я обнаружил пешеходную тропу, ведшую обратно к Сент-Джордж-Филдз, где к моим услугам росло несколько деревьев, какие я искал. Наконец попалось и дерево с небольшим дуплом, расположенным довольно высоко от земли,— рукою было не достать, я влез на дерево и, когда дотянулся до него, пошарил там рукой и обнаружил (как я и надеялся), что лучшего тайника не сыскать. Я опустил туда мое сокровище и почувствовал величайшее облегчение. Но вот так история! Когда я снова засунул туда руку, чтобы поудобнее уложить там свой узелок, он неожиданно ускользнул от меня, и тогда только я заметил, что дерево все полое, и мой узелок провалился вниз, так что его и не достать, а насколько глубоко он провалился, я не знал; одним словом, денежки мои уплыли, потеряны для меня навсегда, безвозвратно и безнадежно, ибо дерево это было толстенным и огромным.

Хоть я был еще совсем юнец, все же я сообразил, что вел себя, как сущий болван,— не сумел надежно спрятать свои деньги, а вместо этого забрел невесть куда, чтобы выбросить их в какую-то дыру, из которой мне их теперь не выудить; я засунул руку в дупло по самый локоть, но дна так и не достал; я отломил у дерева сук и проник поглубже, но с тем же успехом; и тогда я разрыдался, нет, какое там, я просто взревел от ярости и вне себя соскочил с дерева, потом снова влез и снова запустил руку в дупло и шарил там, заливаясь горючими слезами, пока не изодрал плечо до крови. Потом подумал, что у меня не осталось и полпенни на булочку, а я так хочу есть, и заревел еще громче. И вот я пошел прочь, вопя и стеная, словно малый ребенок, которого только что выдрали, потом снова вернулся к дереву, снова влез на него, и так несколько раз подряд.

В последний раз, когда я взобрался на дерево, я случайно слез с него не с той стороны, откуда влезал и куда спускался перед этим, а по другую сторону ствола. И что же? Я вдруг увидел в де-

реве сбоку большую дыру почти у самой земли,— у дуплистых деревьев так часто бывает; я заглянул в эту дыру и, к своей неописуемой радости, увидел там мои деньги, завернутые в полотняную тряпку точно так, как я положил их в дупло. Вероятно, дерево это было полое сверху донизу, а мох, или еще что-то, чем оно внутри поросло, оказался недостаточно плотным, чтобы задержать этот узелок, когда он выскользнул у меня из рук, и потому он сразу же провалился вниз.

Будучи, в сущности, еще ребенком, я и обрадовался, как дитя, и, увидев мой узелок, завопил не своим голосом; я бросился к нему, схватил его, прижал к груди и раз сто поцеловал грязную тряпку, потом принялся танцевать, прыгать и беситься как сумасшедший,— словом, я сам тогда не помнил, что вытворял, а теперь и подавно не вспомню, одно только никогда не забуду: то великое горе, какое сжало мое сердце, когда я решил, что потерял деньги, и бурную радость, охватившую меня, когда я их снова нашел.

Итак, в первом порыве радости я носился вокруг, не соображая, что делаю, но как только этот порыв прошел, я сел на землю, развязал грязный лоскут, в который были завернуты деньги, проверил их, пересчитал, обнаружил, что они в полной сохранности, и вдруг разрыдался так же горько, как раньше, когда думал, что потерял их.

Читателя утомит, если я вздумаю перечислять все глупости, какие я в своей детской радости и умилении вытворял, получив назад свои деньги, а посему на этом я ставлю точку. Радость может быть столь же безумной, сколь и горе, и, будучи уже взрослым мужчиной, я не раз думал: случись такое со взрослым человеком, то есть потеряй он все, что имел, вплоть до последнего пенни, а потом столь же неожиданно получи все обратно, когда мысленно уже примирился с потерей,— ручаюсь вам, случись такое со взрослым, он бы, чего доброго, спятил бы.

Наконец я ушел со своими денежками, но, прежде чем опять их завязать в узелок, я взял себе шесть пенсов, пошел на Майл-Энд в лавку Чэндлера и купил себе там на полпенни булку, на столько же сыра, потом уселся у входа и с аппетитом принялся за еду, а чтобы запить ее, попросил еще и пива, которое радушная хозяйка поднесла мне, не поскупившись.

Оттуда я направился в город на поиски кого-нибудь из моих приятелей, твердо решив оставить раз и навсегда поиски дуплистого дерева, где бы хранить мой клад. Когда я проходил улицей Уайтчэпел, я поравнялся с лавкой старьевщика, что рядом с церковью; в ней торговали поношенным платьем, а на мне, надо сказать, красовалась одна рвань, поэтому я остановился, разглядывая одежду, вывешенную в дверях лавки.

«Ну-с, молодой человек,— сказал хозяин, стоявший у входа,— вижу, глаза у вас разгорелись, присмотрели что-нибудь себе по вкусу? Да по карману ль вам будет хороший-то мундир, ведь вы, если не ошибаюсь, из полка голодранцев?» Я оскорбился словами этого человека. «А какая вам забота,— сказал я,— дырявое на мне платье или нет, ежели я присмотрел то, что мне нравится, и могу заплатить за это? Впрочем, пойду-ка я в другое место, где не придется выслушивать всякие оскорбления».

Пока я таким образом весьма смело парировал хозяину, из дому вышла женщина. «Какая муха тебя укусила,— обратилась она к мужчине,— что ты вздумал отпугивать покупателей, а? Деньги этого бедного мальчугана ничем не хуже денег самого лорд-мэра! Да ежели б бедняки не покупали старую одежду, что стало бы тогда с нашей торговлей? — И, повернувшись ко мне, сказала: — Входи, входи, малыш, если тебе приглянулась какая вещь, бери, не бойся, а на него внимания не обращай. Какой славный парнишка, правда?» — обратилась она тут к другой женщине, которая в это время подошла к ней. «Пожалуй»,— ответила та. «И такой хорошенький,— продолжала она,— если бы его умыть да одеть получше, он бы и за дворянского сынка сошел, почему и нет, чем он хуже, ежели б только приодеть его. Поди сюда, милый, скажи, что тебе надо?» До чего ж мне понравилось, когда она сказала про меня — дворянский сынок, я тут же вспомнил мое происхождение, но потом, когда она заметила, что я не мыт и одет в лохмотья, я не удержался и пустил слезу.

Она настойчиво спрашивала, приглянулось ли мне что-нибудь из вещей, на что я ответил «нет», потому что вся одежда, какую я там видел, была чересчур велика для меня. «Подожди, малыш,— сказала она,— есть у меня две вещички, они как раз тебе подойдут, и обе тебе понравятся, право слово, во-первых, вот эта шапчонка, смотри,— говорит она, кидая ее мне,— я отдаю ее тебе даром. А еще пара добротных теплых штанов, ручаюсь,— говорит она,— они тебе будут впору, они такие крепкие и совсем целые! К тому же,— говорит она,— если у тебя вдруг заведутся деньги и ты не будешь знать, куда их девать, у них, смотри, прекрасные карманы,— говорит она,— и даже вот кармашек для часов, куда можешь прятать золотые монеты или часы, когда ты их купишь».

Сердце у меня так и подпрыгнуло от несказанной радости при одной мысли, что у меня теперь будет место, где держать деньги, и больше мне не придется прятать их в дупле; я готов был прямотаки выхватить штаны у нее из рук, удивляясь только, как это мне раньше не пришло в голову, что можно купить пару штанов с карманом, куда можно положить деньги, а не таскаться с ними, держа то в руке, то в башмаке, как мне пришлось эти два дня;

одним словом, я заплатил ей за штаны два шиллинга и зашел во двор при церкви, чтобы переодеться, спрятал в карман мои денежки и почувствовал себя довольным и счастливым, словно принц, получивший новую карету, запряженную шестерней; я поблагодарил добрую женщину также и за шапку и сказал, что приду опять, как только раздобуду денег, чтобы купить себе еще что-нибудь; и с этим я ушел.

Конечно, я был всего лишь мальчишкой, но с той минуты, как у меня завелся карман, а в нем деньги, я почувствовал себя настоящим мужчиной и первым делом отправился искать моего друга, благодаря которому я разбогател; и тут я напугался до смерти, услышав, что его отправили в Брайдуэлл. Я ни о чем не стал расспрашивать, я и так знал, что это за тот самый бумажник и что я и сам могу туда угодить; на память мне пришла история с моим бедным братом Капитаном Джеком, неужели и меня подвергнут такой же жестокой порке? И я так был напуган, что просто не знал, что и делать.

Однако вечером я его встретил, он действительно попал в Брайдуэлл из-за того самого дела, но его уже выпустили. А случилось все так: поскольку накануне в помещении таможни счастье улыбнулось ему, он отправился туда снова и, когда очутился в Длинном зале, высматривая себе поживу, некий человек схватил его и тут же позвал чиновника, сидевшего за столом. «Вот,— сказал он,— это и есть молодой мошенник, который, как я вам говорил, околачивался здесь, когда у того господина пропал бумажник с векселями на имя ювелира. Ручаюсь, это он украл их!» Тут же их окружила толпа, и все наперебой стали обвинять его в краже; однако он был стреляный воробей, и одними угрозами без доказательств признание вытянуть из него все равно не удалось бы, потому как он знал, что улик против него никаких нет, даже денег в кармане, кроме одного шестипенсовика и каких-то жалких фартингов.

Ему угрожали, волокли куда-то, кричали, чуть не сорвали с него одежду, наконец досмотрщики обыскали его, но все с тем же успехом, ничего у него не нашли; он сказал, что прохаживался по залу таможни просто из любопытства, как в этот раз, так и раньше, и признался, что уже бывал тут, а поскольку никаких фактов, связанных с пропажей бумажника против него не было, задержать его они не могли; и все же они разыграли, будто ведут его в Брайдуэлл, и дотащили до самых ворот, пытаясь выудить у него признание, но он ни в чем не признался, так что пра́ва на заключение его в тюрьму у них не было, и они не посмели повести его туда; все равно его там бы не приняли, я так думаю, даже

если бы они и повели, так как у них не было никаких законных оснований, чтобы засадить его за решетку.

И вот, убедившись, что от него ничего не добьешься, они пригласили его в пивную и там сказали ему, что в бумажнике были ценные бумаги и что мелкому жулику они будут все равно без пользы, тогда как для господина, у которого их украли, это огромный урон, и якобы господин этот в присутствии человека, принявшего его за вора, пообещал таможенному чиновнику, что даст тридцать фунтов тому, кто их вернет, и, кто бы то ни оказался, обещает не причинять ему никакого вреда.

Когда я встретился с моим другом, он только что вырвался из их лап и тут же рассказал мне эту историю. «Все равно,— сказал он,— я ни в чем не признался, потому и ушел от них чист как стеклышко».— «Это хорошо,— говорю я,— а что же ты собираешься делать с бумажником и с векселями, разве ты не вернешь векселя несчастному господину?» — «Ну нет,— говорит он,— векселя векселями, но я им не доверяю». Тут я подумал, хотя и был еще совсем мал, какая, однако ж, досада владеть такими ценными бумагами и не иметь возможности их использовать; про себя я решил, что хозяин векселей все равно уже потерял свои деньги, и все-таки мне казалось диким, что он теряет целое богатство только потому, что мой друг держит у себя его бумаги безо всякой выгоды для себя. Помню, что я размышлял об этом без конца, и хотя я и не очень-то разбирался в таких делах, все же у меня это крепко засело в мозгу, и я нет-нет да повторял ему,— пусть, мол, вернет господину его бумаги: «Ну, пожалуйста, очень прошу!» И так приставал с этим «очень прошу» и «пожалуйста», пока наконец не расплакался, а он спросил, что, разве я хочу, чтобы его поймали с поличным и отправили в Брайдуэлл и высекли, как моего брата Капитана Джека? А я отвечал: нет, конечно, не хочу я, чтобы его пороли, я хочу только, чтобы он отдал тому господину бумаги, потому что ему они без пользы, а господина это может загубить. И опять за свое: «Очень прошу, отдай их, пожалуйста». Но он оборвал меня. «Нет, ты лучше скажи,— сказал он,— как я их отдам ему? Кто посмеет отнести их? Сам я не посмею, и думать нечего, потому что они меня задержат и позовут ювелира, чтобы он сказал, знает он меня или нет; а ведь я-то получил у него те деньги, вот вам и доказательство кражи, и меня повесят, ты разве хочешь, чтобы меня повесили, Джек?»

Тут я прикусил язык, потому, когда он спросил: «Ты разве хочешь, чтобы меня повесили, Джек?» — крыть мне было нечем; однако на другой день он подзывает меня к себе и говорит: «Полковник Джек,— говорит он,— я все-таки придумал, как сделать,

чтобы тот господин получил назад свои бумаги, а мы бы с тобой разжились на этом деньжатами, только, чур, и ты поступишь со мной так же честно, как я с тобой».— «Клянусь, Уилл (так звали его),— говорю я,— в честности моей не сомневайся, я что хочешь сделаю, только чтобы он получил назад свои бумаги».

«Так вот,— говорит он,— мне сказали, что он пообещал в таможне дать без всяких лишних вопросов и разговоров тридцать фунтов тому, кто вернет ему бумаги. Ты, стало быть, идешь в Длинный зал, эдакий бедный, невинный мальчуган, да такой ты и есть, на это и расчет, и обращаешься прямо к таможенному чиновнику. Ты говоришь ему, что, если господин готов выполнить свое обещание, ты берешься сказать ему, у кого бумаги, и, если они будут хорошо обращаться с тобой и сдержат свое слово, ты обещаешь достать бумажник с векселями и принести им».

Я сказал, что пойду с великим удовольствием. «Только вот что еще, Полковник Джек,— сказал он,— а вдруг все же они тебя схва́тят и станут угрожать плетьми? Ты меня тогда не выдашь?»— «Нет,— говорю я,— не выдам, даже если они запорют меня до смерти».— «Ну смотри,— говорит он,— вот бумажник, и можешь идти». И он мне дал подробные указания, как действовать и что говорить, но бумажник я с собой не взял,— а что, если они обманут и схватят меня, рассчитывая, что бумажник при мне, и таким образом поймают меня с поличным, поэтому бумажник я оставил у Уилла и на следующее утро, как условились, отправился в таможню; какие указания были мне даны, вы узнаете из дальнейшего, так что пересказывать их здесь я не стану, чтобы не повторяться; задача эта была и впрямь слишком трудной для мальчишки вроде меня, не только юному по годам, но и совсем неопытному в воровстве.

Две мысли засели у меня в голове, укрепляя мою решимость. Первая: этот человек должен получить назад свои бумаги, ибо мне казалось ужасным, что он потеряет такие деньги, а я считал, что он непременно их потеряет, если мы не вернем ему векселя. Вторая: что́ бы со мной ни случилось, я никогда не выдам моего друга и учителя Уилла. Вооруженный двумя такими залогами честности,— собственно, честность меня тут и заботила,— сердцем мужчина, но разумом еще дитя, я вступил на другое утро в Длинный зал таможни.

Когда я прибыл на место происшествия, я увидел того же чиновника, сидевшего там же, что и в прошлый раз, и вообразил, что он так сидит с тех самых пор; впрочем, мне было все равно, я подошел к его столу и встал по другую сторону перегородки; она была очень высокая, примерно мне по плечо — ведь роста я был небольшого.

Пока я там стоял, проходящие мимо толкали меня, и тот чиновник, что сидел за перегородкой, стал ко мне приглядываться, наконец он крикнул:

— Что здесь делает этот мальчишка? Уходи-ка лучше, бездельник! Не из тех ли ты негодяев, что украли в понедельник у одного господина бумажник с векселями? — И, обращая свой рассказ к господину, которому он подписывал бумаги, продолжал: — Был тут в понедельник мистер... как его... и такая беда с ним приключилась, не слышали часом?

— Нет, ничего не слыхал,— ответил тот.

— Да-а, он стоял вот здесь как раз, где вы сейчас,— говорит он,— и чтобы заполнить таможенную декларацию, вынул свой бумажник и положил на стол рядом с собой, как сам потом рассказывал, но пока он тянулся через стол к чернильнице, чтобы обмакнуть перо, кто-то стащил его.

— Подумать только! — воскликнул слушатель.— А были в нем векселя?

— В том-то и дело,— говорит чиновник,— в нем был счет сэра Стивена Ивенса на триста фунтов и еще один вексель на имя ювелира, примерно на двенадцать фунтов, да это бы еще ничего, но там было два иностранных акцептованных векселя на крупную сумму, не знаю в точности какую, один французский вексель, кажется, па тысячу двести крон, и тот господин очень убивался из-за них.

— Но кто же мог украсть? — спрашивает его собеседник.

— Никто не знает,— говорит чиновник.— Правда, один из наших надзирателей говорит, что видел в зале двух жуликоватых подростков, вон вроде того.— Он указал на меня.— Они болтались тут, а потом вдруг исчезли, оба сразу.

— Ах, мошенники! И зачем? Что им делать с такими векселями? Они ими все равно не смогут воспользоваться; надеюсь, тот господин пошел и тут же сделал заявление, чтобы задержать выплату?

— Конечно,— сказал чиновник.— Но жулики оказались проворнее, они опередили его с векселем на меньшую сумму в двенадцать с чем-то фунтов и получили по нему деньги, остальная выплата, само собой, приостановлена, но потерять столько денег, потерпеть такой убыток, неслыханно!

— Что ж, тогда он должен объявить поощрительное вознаграждение тем, кто их прикарманил и теперь вернет их ему. Уверяю вас, они будут даже счастливы вернуть их.

— Он вывесил на дверях таможни объявление, что даст за них тридцать фунтов.

— Да-а, только он должен был прибавить, что обещает не за-

держивать того, кто принесет векселя, и не причинять ему неприятностей.

— И это он сделал,— говорит чиновник,— но, боюсь, они не решатся из страха, что он не сдержит своего слова.

— Пожалуй, это резонно, он может нарушить свое слово, хотя и не следовало бы, иначе ни один жулик больше не рискнет вернуть краденое. Это была бы дурная услуга всем, кто пострадает после него.

— Смею думать, это его не очень-то беспокоит.

В таком духе они продолжали свою беседу, а потом заговорили о другом; я слышал все, но долго не знал, как мне поступить; наконец я увидел, что господин отошел от стола, и бросился за ним следом, в надежде заговорить и сразу все ему выложить, однако он быстро прошел в комнату, смежную с Длинным залом, где было полно людей, из нее — в другую, и, когда я собрался последовать за ним, привратник не впустил меня, сказав, что туда нельзя; я вернулся и долго бродил по залу неподалеку от стола, за которым сидел тот чиновник; я слонялся вокруг, пока часы не пробили двенадцать и зал начал понемногу пустеть; чиновник что-то писал, перед ним уже не было ни души, не то что утром, тогда я подошел поближе и опять остановился у самого его стола; он оторвался от бумаг, поднял на меня глаза и сказал:

— Все утро ты тут околачиваешься, бездельник, чего тебе надо? Ох, боюсь, на уме у тебя что-то недоброе.

— Нет, что вы, сэр,— говорю я.

— Что ж, хорошо, коли нет,— говорит он.— А какое у тебя может быть дело в таможне, ты ведь не купец.

— Мне надо с вами поговорить,— говорю я.

— Со мной? — говорит он.— А что ты хочешь сказать мне?

— Кое-что,— говорю я,— только, если вы мне за это ничего плохого не сделаете.

— Плохого? А что плохого я могу тебе сделать, а? — спросил он ласково.

— Вправду не сделаете, сэр? — говорю я.

— Право же, мальчуган! Ничего плохого я тебе не сделаю. Ну, так о чем речь? Ты что-нибудь знаешь про бумажник того господина?

Я ответил, но так тихо, что он не расслышал, тогда он пересел на соседнее место, открыл дверцу в перегородке и подозвал меня к себе; я вошел.

Он опять спросил, знаю ли я что-нибудь о бумажнике.

Я таким же тихим голосом ответил, что нас могут услышать.

Тогда он, понизив голос почти до шепота, еще раз спросил о бумажнике.

Я ответил ему, что, по-моему, кое-что знаю о нем, только у меня его нет и в этом деле я посторонний, а что находятся бумаги у одного парня, который хотел их сжечь и сжег бы, если бы не я, и что вот только что я услышал, будто бы тот господин рад получить их назад и даст за них, то есть за те бумаги, много денег.

— Да, да, я говорил это,— сказал чиновник,— и если ты сможешь вернуть их, он тебя щедро вознаградит, не меньше тридцати фунтов даст, как обещал.

— И еще вы сказали, сэр, другому господину, вот только сейчас,— говорю я,— что он ничего худого не сделает тому, кто их принесет.

Чиновник. Нет, нет, тебе и вправду ничего не грозит, могу ручаться.

Мальчик. А другим из-за меня не попадет?

Чиновник. Нет, тебя даже не спросят, кто они такие и как их зовут.

Мальчик. Ведь я просто нищий, и я всей душой хотел бы, чтобы тот господин получил назад свои бумаги, и клянусь, я сам не брал их и нет их у меня сейчас.

Чиновник. Ну скажи, а как же этот господин тогда их получит?

Мальчик. Если я сумею их достать, я принесу их вам завтра утром.

Чиновник. А сегодня вечером нельзя?

Мальчик. Постараюсь, только где я вас найду?

Чиновник. Приходи ко мне домой, мальчуган.

Мальчик. А где вы живете, я не знаю.

Чиновник. Пойдем сейчас со мной, и я тебе покажу.

Он повел меня на Тауэр-стрит, показал свой дом и назначил прийти к пяти часам вечера, что я, само собой, сделал, прихватив и бумажник.

Когда я пришел, чиновник спросил меня, принес ли я книжку, как он выразился.

— Какая же это книжка? — сказал я.

— Неважно, пусть бумажник, это все равно,— говорит он.

— Помните,— сказал я,— вы обещали не трогать меня.— И я начал всхлипывать.

— Тебе нечего бояться, малыш,— говорит он,— я не трону тебя, бедный мальчик! Никто тебя не тронет.

— Тогда вот он,— сказал я и вытащил бумажник.

Тут он пригласил еще одного господина, судя по всему, владельца этого бумажника, и спросил, тот ли это бумажник, и господин ответил: «Да».

И спросил меня, все ли векселя там.

Я ответил, что как будто одного не хватает, но думаю, что остальные целы.

— А почему ты так думаешь? — спросил он.

— Потому что я слышал, как один малый, который, по-моему, и украл их, говорил, что они чересчур крупные, чтобы ему путаться с ними.

Тогда господин, чьи были бумаги, говорит:

— А где этот малый?

Но чиновник вмешался и сказал:

— Нет, нет, вы не должны спрашивать его об этом, я дал слово, что ему не придется об этом говорить.

— Ну что же, дитя,— говорит тот,— а позволишь ты нам открыть бумажник, чтобы посмотреть, там ли бумаги.

— Открывайте,— говорю я.

Тогда чиновник спрашивает его:

— А сколько там было векселей?

— Всего три,— говорит он,— не считая расписки на двенадцать фунтов десять шиллингов. Один счет сэра Стивена Ивенса на триста фунтов и два иностранных векселя.

— Так, значит, если все они в бумажнике, мальчик получит свои тридцать фунтов, не так ли?

— Да,— отвечает господин,— он их непременно получит.— И, обращаясь ко мне, говорит: — Подойди ко мне, дитя, позволь мне открыть бумажник.

Я отдал ему бумажник, он открыл его и увидел там все три векселя и другие бумаги, в целости и сохранности, не смятые и не порванные, и признал, что все в порядке.

Тут чиновник и говорит:

— Я поручился мальчику за вознаграждение.

— Но позвольте,— говорит господин,— ведь жулики уже получили двенадцать фунтов десять шиллингов, пусть считают это частью тридцати фунтов.

По мне, и на это можно было согласиться без разговоров, но чиновник держал мою сторону.

— Нет,— сказал он,— вы уже знали, что двенадцать фунтов десять шиллингов получены, когда назначили за остальные векселя тридцать фунтов, объявили это через глашатого и вывесили объявление на двери таможни, и я обещал мальчику сегодня утром тридцать фунтов.

Они долго спорили, и я даже думал, они, чего доброго, еще поссорятся. Но они наконец сторговались, и чиновник дал мне двадцать пять фунтов золотыми гинеями; а потом велел мне протя-

нуть руку и, пересчитав деньги на моей ладони, спросил меня, все ли верно, а я сказал, что не знаю, но, должно быть, верно.

— Как,— говорит он,— разве ты сам не можешь пересчитать?

Я сказал, что не могу, что в жизни своей не видал столько денег и не умею их считать.

— Да что ты,— говорит он,— неужели ты не знаешь, что это гинеи?

— Знаю,— говорю я,— только не знаю, сколько это — гинея.

— Вот так так,— говорит он,— а как же ты тогда сказал, что, должно быть, все верно?

— Потому,— ответил я,— что я верил, вы меня не обманете.

— Бедное дитя! — говорит он.— Как мало ты знаешь о жизни! Кто же ты?

— Я бедный бродяжка,— ответил я и заплакал.

— Я спрашиваю, как тебя зовут,— говорит он.— Ах да, я и забыл,— говорит он,— я же обещал не спрашивать твоего имени, можешь мне не отвечать.

— Меня зовут Джек,— сказал я.

— Ну, а фамилия у тебя есть? — спрашивает он.

— А что это такое? — спрашиваю я.

— Ну, есть у тебя еще какое-нибудь имя, кроме Джека? — говорит он.

— Да,— говорю я,— меня все зовут Полковник Джек.

— А другого имени у тебя нет?

— Нет,— говорю я.

— Тогда скажи, отчего же тебя стали звать Полковником Джеком?

— Мне сказали, что моего отца звали Полковником.

— А твои отец с матерью живы? — спрашивает он.

— Нет,— говорю я,— отец мой умер.

— А где же твоя мать? — спрашивает он.

— Матери у меня никогда не было,— отвечаю я.

Тут он рассмеялся.

— Как же так,— говорит он,— а кто же у тебя был тогда, если не мать?

— Кормилица,— ответил я,— но она не была мне матерью.

— Ну вот что,— говорит он тому господину,— могу побиться об заклад, что не этот мальчик украл ваши бумаги.

— Честное слово, сэр, я их не крал,— сказал я и опять заплакал.

— Не надо, не надо, малыш,— сказал он.— Мы и не думаем, что это ты. Он мальчик смышленый,— говорит он господину,— но слишком невежественный и доверчивый, просто жалость берет,

что некому присмотреть за ним и помочь. Давайте-ка потолкуем с ним еще немного.

И они сели, стали пить вино и меня угостили, а потом чиновник опять стал задавать мне вопросы.

— Ну,— сказал он,— а что ты, собственно, собираешься делать с этими деньгами, которые ты получил?

— Еще не знаю,— ответил я.

— А куда ты их положишь? — спрашивает он.

— В карман,— отвечаю я.

— В карман? — спрашивает он.— А карман у тебя целый? Ты не потеряешь их?

— Нет,— говорю я,— у меня карман целый.

— А куда ты их денешь, когда придешь домой?

— У меня нет дома,— ответил я и опять заплакал.

— Бедняга! — воскликнул он.— А чем же ты вообще пробавляешься?

— Хожу по поручениям,— говорю я,— для тех, кто живет на Розмэри-Лейн.

— А где же ты спишь ночью?

— Ночью я сплю на стекольном заводе,— сказал я.

— Спишь на стекольном заводе? Разве там есть кровати? — спросил он.

— А я на кровати никогда и не спал,— сказал я.

— На чем же ты тогда спишь там, на стекольном заводе? — спрашивает он.

— На земле,— отвечаю я,— когда на соломе, когда в теплой золе.

Тут господин, у которого украли бумаги, сказал:

— Слушаешь это бедное дитя и плакать хочется над злосчастиями человечества, а мы еще ропщем на свою судьбу, у меня даже слезы на глаза навернулись.

— И у меня тоже,— сказал господин чиновник.

— Послушай-ка, Джек,— говорит он,— а разве тебе не дают денег, посылая с поручениями?

— Мне дают есть,— ответил я,— а это куда лучше.

— А как же ты обходишься с одеждой? — спрашивает он.

— Иногда мне дарят старые вещи, когда лишние,— говорю я.

— У тебя и рубашки-то никогда небось не было, а? — говорит он.

— Рубашки? Нет,— говорю я,— как умерла моя кормилица, не было.

— А когда она умерла? — спрашивает он.

— Весной будет шесть зим,— ответил я.

— Сколько же тебе лет? — спрашивает он.

— Не знаю,— говорю я.

— Ну ладно,— говорит чиновник,— а теперь, когда у тебя завелись деньги, купишь ты себе одежонку, потратишься на рубашку?

— Конечно,— говорю я,— я и собираюсь купить себе какую-нибудь одежку.

— А что сделаешь с остальными деньгами?

— Не знаю,— сказал я и заплакал.

— Отчего же ты плачешь, Джек? — говорит он.

— Я боюсь,— говорю я, продолжая плакать.

— Чего боишься?

— А если они узнают, что у меня есть деньги...

— Ну и что тогда?

— Тогда мне больше нельзя будет спать в теплой золе на стекольном заводе, не то они у меня их отнимут.

— А зачем же тебе теперь спать там?

И тут господа заговорили между собой о том, что волнения и заботы чаще всего посещают тех, у кого есть деньги, и это вполне естественно.

— Уверяю вас,— сказал таможенный чиновник,— пока у этого бедного мальчика не было денег, он проводил ночи на стекольном заводе и спал на соломе или на теплой золе самым крепким и сладким сном; а теперь, когда у него завелись деньги, забота о том, как бы их сохранить, вызывает слезы на его глазах и вселяет страх в сердце.

Они задали мне еще очень много вопросов, на которые я отвечал по-детски, как умел, но в то же время стараясь угодить им; наконец, я ушел от них с тяжело набитым карманом, но, даю вам слово, совсем не с легким сердцем, потому как меня пугало мое богатство, я просто-таки не знал, куда с ним деваться. Однако я ушел и бродил какое-то время, не ведая, что же мне теперь делать; проблуждав так часа два или около того, я вернулся и сел у дверей дома господина чиновника; я сидел там, и слезы лились из моих глаз ручьями, пока не иссякли, но я не решался постучать в дверь.

Правда, сидел я там, кажется, не очень долго, потому что кто-то из домочадцев заметил меня; вышла служанка, она заговорила со мной, но я ничего не мог ей ответить, а продолжал плакать; наконец, мой плач донесся до ушей чиновника (купец к тому времени уже ушел), он позвал меня в дом и спросил, почему я все еще здесь.

Я объяснил ему, что я не все время был здесь, я долго бродил и снова вернулся.

— Отчего же,— говорит он,— ты вернулся?

— Не знаю,— говорю я.

— А из-за чего ты так плачешь,— говорит он,— надеюсь, ты не потерял свои деньги?

— Нет,— сказал я,— я еще не потерял их, но боюсь, что скоро потеряю.

— Из-за этого ты и плачешь? — спрашивает он.

Я ответил, что да, потому что знаю, что не сумею сберечь их, они их у меня все равно выманят, а то и убьют, чтобы завладеть ими.

— Кто это они? — спрашивает он.— С какой шайкой ты связан?

Я сказал, что все это мальчишки, но мальчишки испорченные, воры и карманники, такие, сказал я, как тот, что украл бумажник с векселями, отчаянная банда, с которой я не хочу водиться.

— Да-а, Джек,— говорит он,— так чем же тебе помочь? Может, ты доверишь деньги мне, хочешь, я сберегу их для тебя?

— Да,— сказал я с радостью,— если только можно.

— Ну что же,— говорит он,— давай их мне и, пока они у меня, ты можешь быть спокоен, а когда захочешь, я верну их почестному, с процентами. Я дам тебе на них расписку, если ты ее и потеряешь,— добавил он,— или кто-нибудь ее у тебя отнимет, неважно, никто, кроме тебя, не получит из них ни гроша.

Я тут же вытащил все деньги и отдал их ему, оставив себе примерно пятнадцать шиллингов, чтобы купить что-нибудь из одежды; этим завершилась наша первая встреча. Надежно схоронив мои денежки я, к моему величайшему удовольствию, совершенно развязал себе руки, да и тревожные мысли, дотоле не дававшие мне покою, стали постепенно выветриваться.

Да, теперь вы видите, как рождаются в нашей жизни треволнения и беспокойства, как они возрастают от вечной погони за деньгами и вечных забот, где бы их сберечь, когда ты их заполучил. Я, который не имел ничего и даже не знал, что такое деньги, не ведал и забот, где их взять и как сберечь; пока у меня не было ничего, я ни в чем и не нуждался; живя без забот, я никогда не ломал себе голову, где раздобыть пропитание или ночлег, я знать не знал, что такое деньги и что можно на них сделать, и, пока они не завелись у меня, не ведал, что такое бессонница или страх их потерять.

Без сомнения, на этот раз мне представлялся счастливый случай, если бы я не оказался глупцом и таким, в сущности, еще ребенком: да, мне представлялась счастливая возможность получить работу или хотя бы обеспечить себе внимание и помощь этих благородных людей, поскольку они проявили такое горячее желание

принять участие в моей судьбе, изумившись простодушию моих речей и бедственности (как они полагали) моего положения.

Но я повел себя, как дитя, и, оставив, как я уже говорил, чиновнику все мои деньги, не являлся за ними потом несколько лет; моя дальнейшая судьба и приключения, выпавшие мне на долю, столь пестры и поучительны, что следует остановиться на них поподробнее.

Итак, первую счастливую возможность, предоставленную мне судьбой, я пропустил; обзавелся деньгами, но не знал им ни цены, ни пользы; та жизнь, какую я вел, казалась мне столь естественной, что я не намерен был ее менять, даже и к лучшему; не горел я желанием и приобретать себе одежду, хотя бы просто рубашку, а еще менее искать новое жилье,— стекольный завод был мне по душе,— или бросить привычное занятие — шататься по улицам. Я не знал добра и не умел отличить его от зла, то есть я хочу сказать, что жизнь, какую я вел, не казалась мне такой уж дурной.

Так, в наивности своей, я вернулся к моей нищей жизни, несчастной и убогой, хотя сам я этого не сознавал, ибо не знал иной, а стало быть, не мог о ней и судить.

Мой друг, который вернул те векселя и, если бы не моя настойчивость, никогда сам не подумал бы возвратить их владельцу, ни разу даже не спросил меня, что я за них получил, он только сказал мне, что, если они и дали за них что-либо, это все принадлежит мне, поскольку, как он сказал, он сам никогда не рискнул бы вернуть их, боясь показаться с ними хоть кому-нибудь на глаза, так что любая награда за них принадлежит мне; он даже не полюбопытствовал узнать, сколько я получил и получил ли вообще что-нибудь; таким образом, я обрел полное право владеть моими деньгами.

Как и прежде, я слонялся, где вздумается, но теперь у меня в кармане завелись деньги, правда, я никому об этом и слова не сказал; как и прежде, я охотно бегал по чужим поручениям и получал свое заработанное с искренней благодарностью; однако теперь, когда я бывал голоден, а никто не нуждался в моих услугах и не давал чего-нибудь поесть, я не обивал пороги и не попрошайничал, а шел в харчевню, где, как уже говорил вам, побывал однажды, и брал похлебку и кусок хлеба, всего на полпенни, в редких случаях немножко мяса, а если хотел себя побаловать, то еще на полпенни сыра, тратя на все про все не больше двух-трех пенсов в неделю. В отличие от всей нашей компании, я был малый на редкость бережливый и даже не притронулся к своим гинеям; правда, как я и сказал тому господину в таможне, я понятия не имел, сколько же это гинея и что на нее можно купить.

Так в безделье прошел целый месяц, но однажды утром ко мне пришел мой друг, как я называл его, и говорит: «Полковник Джек, когда мы с тобой опять выйдем на прогулку?» — «Когда захочешь»,— ответил я. «У тебя нет сейчас дела?» — говорит он. Я отвечаю «нет», и так, слово за слово, он признался, что раз однажды мне дьявольски повезло, то повезет и в другой раз. «Только теперь, Полковник,— говорит он мне,— условия будут другими. Потому как,— говорит он,— новичку у нас принято давать равную долю, чтоб поощрить его, но потом уж все будет зависеть от моего благородства, разве что ты примешь в деле равное со мной участие и разделишь весь риск. Но мы джентльмены,— говорит он,— и всегда честно поступаем друг с другом. Так что, ежели ты надумаешь довериться мне и предоставишь все решать самому, я не поскуплюсь, можешь на меня положиться». Я ему признался, что делать ничего не умею и совсем в этом не смыслю, а потому и не рассчитываю что-либо заработать, однако буду исполнять все, что он мне велит; итак, мы отправились вместе.

В таможню мы больше не заглядывали, это было бы слишком рискованно, к тому же я вовсе не хотел показываться там снова, особенно в его обществе; поэтому мы направились прямо к Бирже и рыскали по Касл-Элли, Суизен-Элли и перед входом в кофейню. День выдался на редкость неудачным, ибо вся добыча наша свелась к двум-трем носовым платкам, с которыми мы и вернулись домой в нашу родную ночлежку на стекольном заводе; весь день я не пил, не ел ничего, если не считать куска хлеба, которым он поделился со мной, да глотка воды из крана у входа в здание Биржи, поэтому, когда он расстался со мной, так как ночевал он не на стекольном заводе, был не чета мне, я тут же пошел в мою милую харчевню, где уже привык кормиться, и подкрепился там, а на другой день опять встретился с ним, как условились.

Утро было раннее, и он направился прямо к Биллингсгейту, где с самого рассвета, а в это время года даже задолго до рассвета, толпится народ: во-первых, агенты по продаже угля и владельцы судов для перевозки угля, или, как их еще называют, угольщики, а во-вторых, рыбники — продавцы и скупщики рыбы.

За первыми-то он и охотился; мне он дал задание: «Заходи,— сказал он,— подряд во все пивные и прислушивайся, не говорит ли кто там о деньгах, а если говорит, выйдешь и скажешь мне». Итак, мы стали обходить пивные, он оставался у дверей, а я заходил внутрь. Угольщики, как правило, заключают свои сделки «у ворот», а денежные расчеты производят в пивных, поэтому ждать от меня первых весточек ему пришлось недолго; он тут же вошел в пивную, чтобы оглядеться, однако ничего интересного

для себя не заметил. Наконец я сообщил ему, что в одном из таких заведений сидит человек, который только что получил от кого-то уйму денег, наверное, сразу от нескольких людей, и все они лежат грудой прямо на столе, он их подсчитывает и рассовывает по разным кошелькам. «Ишь ты,— говорит он,— что ж, бьюсь об заклад, придется ему со мной поделиться»,— и заходит в пивную, обходит ее всю, общий зал и кабинеты, прислушиваясь, не назовет ли кто этого человека по имени, слышит, как кто-то окликает его «Калем» или что-то в этом роде, тогда он выбирает подходящий момент, направляется прямо к нему и плетет длинную историю, будто бы два господина из Охотничьей таверны послали его к нему и хотят, мол, с ним переговорить.

Деньги этого угольщика, как я говорил, лежали прямо перед ним на столе; два или три небольших черных от грязи кошелька, тоже с деньгами, он отложил в сторону. Еще только начинало светать, и мой друг прекрасно справился со своей задачей: разговаривая с угольщиком, он незаметно накрыл рукой один кошелек и спрятал его, не вызвав ни малейшего подозрения.

Исполнив дело, он тут же выскочил ко мне,— я стоял у самых дверей,— и, потянув меня за рукав, сказал: «Ну, теперь, Джек, давай бог ноги!» И бросился наутек, а я за ним, без передышки и без оглядки до самой Фенчерч-стрит, через Лайм-стрит до Лиденхолл-стрит, оттуда по Сент-Мэри-Экс до Лондонской Стены, через Бишопсгейт вниз к Старому Бедламу в Мурфилдс. К тому времени мы оба уже выдохлись и не могли бежать слишком быстро, да нам и нужды не было забираться в такую даль, во всяком случае, я что-то не заметил, чтобы кто-нибудь погнался за нами. Когда мы очутились уже в Мурфилдсе и чуть отдышались, я спросил, что его так напугало. «Напугало? Вот дурак, да я же свистнул толстенный кошелек с деньгами!» — «Кошелек?» — переспросил я. «А то! — говорит он.— Только давай-ка уберемся куда подальше, чтобы никто нас не видел, я тебе тогда покажу его». И он повел меня через Лонг-Элли, потом мы пересекли Хог-Лейн и по Холуэй-Лейн попали в самый центр местечка, которое потом стало называться Харчевня-на-Лугу. Здесь мы могли наконец передохнуть, но кругом было топкое болото, и нам пришлось идти дальше, пересечь дорогу на Эннисид-Клир и выйти опять к Мурфилдсу в том месте, где теперь стоит огромное здание больницы; отыскав укромное местечко, мы сели, и он вытащил кошелек с деньгами. «Счастливчик ты, Джек,— говорит,— если по справедливости, тут и твоя хорошая доля, поскольку добрые вести ты принес, разве нет?» — И он высыпает все содержимое ко мне в шапку; я ведь говорил вам, что тогда у меня уже появилась и шапка.

Как исхитрился он стянуть столько денег прямо из-под носа у человека, который не дремал и находился в здравом уме, я понять не могу; в кошельке было и денег полно, да еще лежал пакет, тоже с деньгами. Пакет вывалился из кошелька, и он воскликнул: «Смотри-ка, да это золото!» — и ну орать и вопить как безумный, но тут же заткнулся, так как в свертке оказались старые монеты по полпенни, всего на тринадцать пенсов; девять пенсов по половинке и четвертушке и еще четыре пенса по полпенни, все монеты старые, погнутые, по большей части шотландские и ирландские, так что он сильно приуныл. Худо, бедно ли, но всего в сумке оказалось около семнадцати или восемнадцати фунтов, как он сказал мне, сам-то я деньги считать не умел.

И вот он разделил все деньги на три части, так сказать, на три доли, две взял себе, одну дал мне и спрашивает, доволен ли я. Я сказал ему «да», у меня были все основания чувствовать себя довольным; а если еще прибавить эти деньги к тем, что оставались у меня от предыдущей нашей вылазки, то выходило так много, что я просто не знал, куда девать их, и самого себя в придачу.

Ох и тонкий мастер он был, этот жулик: стоило ему на что положить глаз, и дело можно было считать сделанным; я просто не знаю случая, чтобы он промахнулся либо попался на месте преступления.

Это был выдающийся щипач и настоящий виртуоз по женским золотым часам, однако любил замахиваться на большее и откалывал отчаянные номера, вроде тех, что я описал, однако всегда выходил сухим из воды, умея сорвать хорошенький куш; и в этой безнравственной воровской профессии я стал его верным учеником.

Поскольку мы теперь разбогатели, он не пустил меня больше ночевать на стекольный завод и не велел ходить таким обтрепанным, как я привык; он заставил меня купить две рубашки, жилет и пальто — в нашей работе пальто было особенно необходимо. Словом, по его наущению, я оделся, и мы на пару сняли мансарду, как раз подходящую для нашего брата.

Вскоре мы опять вышли на прогулку и на этот раз вторично попытали счастья в районе Биржи. Мы разделились и начали действовать самостоятельно, я пошел один, и первое же дельце обделал очень чисто, что потребовало известной ловкости от такого новичка, как я, поскольку никогда прежде мне не случалось наблюдать подобной работы. Я увидел двух оживленно беседующих джентльменов, один из которых раза два или три вытаскивал из кармана сюртука бумажник и снова совал его в карман, потом опять вытаскивал, вынимал из него одни бумаги, засовывал туда

другие, после этого опять отправлял бумажник в карман — и так несколько раз, не переставая вести оживленную беседу со вторым господином, а еще двое-трое стояли совсем рядом с ними. Когда он в последний раз засунул или, лучше сказать, метнул бумажник к себе в карман, тот застрял по дороге, упершись в другой бумажник, или еще во что-то, что лежало в кармане, так что погрузился в карман не целиком, а остался торчать.

Мужчинам вообще свойственно небрежно засовывать в карман бумажник и прочее; поэтому мальчишкам, уже поднаторевшим в своем ремесле, ничего не стоит запустить туда руку,— что ж их за это бранить? Мужчины вечно спешат, их мысли и внимание всецело поглощены разговором, что делает их совершенно беззащитными перед такими глазастыми пронырами, как мы; им следовало бы или вовсе никогда не класть бумажников в карман, или если уж класть, то аккуратнее, а лучше вообще не хранить в бумажниках ничего ценного. Я остановился как раз напротив того господина в переулке, который называют Суизен-Элли, а вернее — в проулке между Суизен-Элли и Биржей, как раз у прохода, который ведет от Элли прямо к Бирже. Само собой, когда я, как уже сказал, увидел, как злополучный бумажник путешествует из кармана и обратно, мне в голову пришла идея, что, прояви я известную ловкость, и бумажник будет мой; Уилл, на моем месте, наверняка бы вытащил его, если бы увидел, как тот снует туда-сюда. Когда же я заметил его кончик, торчащий из кармана, я сказал себе: «Не зевать!» Я пересек проход, протиснулся поближе к этому господину и потянул за торчащий кончик — рукой я при этом не двигал; бумажник оказался у меня, а господин даже не успел ничего заметить, остальные тоже. Я тут же прошмыгнул вперед и вышел на площадь с северной стороны, то есть к Бирже, оттуда по Бартоломью-Лейн прямо к Токенхаус-ярд и переулком, ведущим к Лондонской Стене, дальше через Ворота-у-Болота и во втором, считая от центра, квартале Мурфилдса уселся прямо на траву; это было условленным местом нашей с Уиллом встречи, если один из нас подцепит добычу. Когда я добрался туда, Уилла еще не было, он появился примерно через полчаса.

Увидев Уилла, я тут же осведомился, ухватил он что-нибудь или нет; он был бледен и казался испуганным. Однако ответил мне: «У меня-то пусто, ровным счетом ничего, а вот что у тебя,— говорит он,— сукин ты сын, счастливчик! Удалось-таки выудить у благородного господина на Суизен-Элли бумажник, а?» — «Удалось,— ответил я и засмеялся.— Только как ты узнал об этом?» — «Хм, узнал! Да этот господин,— говорит он,— рвет и мечет, он почти обезумел от горя, кричит, топает ногами, раздирает на себе одежду, он говорит, что пропал и разорен совершенно, а люди

толкуют, будто в бумажнике было незнамо сколько тысяч фунтов. Давай-ка посмотрим, что там на самом деле»,— говорит мне Уилл.

И вот улеглись мы с ним рядышком на траве у всех на виду, чтобы не возбуждать подозрений, и наконец открыли бумажник; в нем оказалось полно всяких бумаг и долговых расписок, некоторые из них от ювелиров, другие от страхового общества и так далее. Однако самое ценное, по-видимому, ценнее всего остального, хранилось в особом отделении бумажника. Это был маленький ларчик тоже с несколькими отделениями, и в одном из них завернутые в бумагу лежали неоправленные бриллианты. Как мы потом сообразили, тот человек был евреем, который занимался торговлей драгоценностями и которому, безусловно, следовало бы с бóльшим тщанием беречь их.

Да, такое богатство показалось огромным даже Уиллу, неизвестно, что и делать с таким; и хотя к тому времени я уже начинал получше разбираться в подобных делах, не то что раньше, когда я вовсе не знал цены деньгам, все же Уилл тут был намного опытнее меня. Однако он был не менее меня озадачен. С нами получилось то же, что с петушком из басни, и виной всему — бумаги; среди них был вексель от сэра Генри Фёрнеса на тысячу двести фунтов, да еще бриллианты на сумму, как говорили, примерно в сто пятьдесят фунтов, и все это, сами понимаете, не имело для нас проку; небольшой кошелек с золотыми монетами пригодился бы нам куда больше. «Погоди,— говорит Уилл,— давай поглядим, может, среди них есть какой-нибудь скромный вексель».

Мы просмотрели все бумаги и обнаружили среди них чью-то долговую расписку на тридцать два фунта. «Это сойдет,— говорит Уилл,— пошли узнаем, где он живет». И мы снова отправились в город; Уилл зашел на почту и выяснил там, что этот человек живет у Темпл-Бара. «Ладно,— говорит Уилл,— рискну, пойду и получу деньги, может, туда еще не поспело предупреждение, чтобы задержать выплату».

Но потом у него мелькнула новая мысль. «Стой,— говорит Уилл,— вернусь-ка я сначала на Суизен-Элли, может, что проведаю, уверен, паника там еще не утихла, а того человека, который остался без бумажника, кажется, увели в таверну «Королевская Голова», что в самом конце улицы, там у входа собралась тогда целая толпа».

И Уилл уходит; он приглядывается ко всем, выжидает, наконец видит нескольких людей, из тех, что не успели разбрестись и сбились все в кучку, и спрашивает у одного из них, что произошло; они ему рассказывают длинную историю, как один господин потерял бумажник, в котором был целый сверток с бриллиантами

и векселя на много тысяч фунтов и всякое прочее; а еще, мол, только что объявили, что тому, кто найдет и вернет их, будет награда в сто фунтов.

«Если б мне только знать,— говорит Уилл одному из тех, с кем вел разговор,— у кого бумажник, я бы наверняка сумел помочь бедному господину, и он получил бы его назад. Не помнит ли он, не болтался тут кто-нибудь поблизости, мальчишка или парень? Если бы только он мог описать его, это бы много помогло». Кто-то из слушателей, принимавший особенно горячее участие в бедном господине, пошел и сообщил ему, что говорит у входа в таверну какой-то молодой человек, то есть Уилл; тогда другой господин выходит к нему, отводит Уилла в сторонку и просит повторить, что он только что говорил по поводу этого дела. Уилл выглядел вполне внушающим доверие молодым человеком, и хотя был он в своем деле уже мастером, однако по внешности этого никак нельзя было сказать. Он отвечал, что случайно осведомлен об одной истории, в которой замешана целая шайка карманных воришек, так что, если бы ему дали хотя бы примерное описание подозреваемой личности, он ручается, что найдет вора и сумеет вернуть награбленное. На это господин предложил ему пойти вместе с ним к пострадавшему, что они тут же и сделали. Уилл потом рассказывал, что тот сидел, откинувшись на спинку стула, бледный как полотно, совершенно безутешный, словно приговоренный к казни, по описанию Уилла.

Когда они пришли к нему и спросили, не шатался ли поблизости от того места, где он стоял, какой-нибудь мальчишка или оборванец постарше, не терся ли около него, он ответил «нет», таких там не было, он даже не помнит, чтобы к нему вообще кто-нибудь там подходил. «Да-а,— сказал Уилл,— тогда трудновато будет найти воров, если вообще это возможно. Однако,— сказал Уилл,— если вы считаете, что игра стоит свеч, я могу поближе сойтись с этими мошенниками, хотя не хотелось бы, чтобы меня с ними видели, однако я проникну к ним, и если это проделал кто-нибудь из их шайки, десять против одного, я что-нибудь да разузнаю».

Тогда Уилла спросили, знает ли он, какую награду предложил господин тому, кто вернет его бумажник; Уилл ответил «нет» (хотя у входа и слышал об этом), тогда они сказали, что он обещал за это сто фунтов. «Это слишком много,— возразил Уилл,— и если вы доверяете это дело мне, я или раздобуду бумажник за меньшее вознаграждение, или если не сумею, то вовсе ничего не возьму». Тут господин, у которого украли бумажник, сказал другому: «Передай ему, что, ежели он сумеет раздобыть его за меньшее вознаграждение, разницу получит он». На что Уильям, как они его называли, сказал, что будет рад оказать господину такую

услугу и получить за то награду. «Так вот, молодой человек,— говорит один из присутствующих,— что бы вы ни назначили этому юному виртуозу, совершившему кражу, ибо, клянусь, такое проделать мог только виртуоз, он получит свое в пределах ста фунтов, а вам господин желает вручить, помимо всего, пятьдесят фунтов за ваши старания».

«Поверьте сэр,— говорит Уилл с самым серьезным видом,— все получилось совершенно случайно: я проходил мимо дверей в таверну и, увидев толпу, спросил, что произошло, однако, если благодаря моим усилиям несчастный господин получит назад свой бумажник со всем его содержимым, я буду очень рад; и, признаюсь, сэр, не так я богат, чтобы отказываться от пятидесяти фунтов, они мне весьма пригодятся». Вслед за этим он условился, куда должен прийти и кому сообщить, если он что-либо выяснит, и так далее.

Уилл задержался там так надолго, что я, как мы с ним решили, пошел домой; он не возвращался до самой ночи; мы еще раньше догадались, что не стоит идти от них прямо ко мне, на случай если они захотят последовать за ним и сцапать меня. Уговор был такой: если встреча окажется безуспешной, он вернется через полчаса, если задержится, то мы встречаемся в обычном месте наших вечерних свиданий на Розмэри-Лейн.

Вернувшись, он передал мне весь разговор, особенно напирая на то, в каком отчаянии находится господин, у которого пропал бумажник, и выразил полную уверенность, что если мы вернем его, то получим за это кругленькую сумму.

Весь вечер мы совещались и составили такой план: назавтра он у них не появится, а придет лишь послезавтра, но ничего им существенного не сообщит, а скажет лишь, что напал на след и надеется достичь успеха, словом, изобразит все дело как можно сложней и создаст видимость всяческих препятствий. Когда на третий день он встретился с пострадавшим господином, тот уже начал волноваться, почему Уилл долго не появляется, и сказал, что Уилл, верно, водит его за нос и напрасно, дескать, они были столь легковерны тогда, что отпустили его, даже толком не расспросив.

Уилл принял оскорбленный вид и сказал, что, если его принимали не за того, кто он есть, только потому, что он взял на себя смелость предложить им свои услуги, они могли бы уже понять, что ошиблись на его счет, поскольку он ведь сам добровольно вернулся к ним. Но если они полагают, что следовало бы допросить его, что ж, пожалуйста, пусть допрашивают хоть сейчас, а сообщить он хотел только то, что ему известно, где обитает кое-кто из молодых мошенников, прославившихся как раз подобными про-

делками, и, поговорив с ними, а затем предложив им деньги и всякое такое, он уверен, что заставит их выложить друг о друге все, что нужно, и таким образом соберет все сведения, которые, если это будет необходимо, он готов повторить хоть перед самим мировым судьей; и, наконец, последнее: он потерял день, а то и два, стремясь услужить им, а за все свои старания не заработал ничего, кроме подозрений, и это-то после всего, что он для них сделал, так что пусть теперь они ищут свое добро сами, как хотят.

Тогда они пошли на попятный и спросили его, есть ли хоть малейшая надежда вернуть пропажу, на что он ответил им, что, не для хвастовства будь сказано, он кое-чего добился, и благодаря ему бумажник, векселя и прочее не сожгли; однако он не станет им ничего рассказывать, пока они не будут любезны ответить на один-два его вопроса. Они сказали, что готовы, если сумеют ответить, и попросили сказать, что его интересует.

— Послушайте, сэр,— сказал он,— как можете вы рассчитывать, что хоть один жулик, обчистивший вас на такую порядочную сумму, явится, чтобы отдать себя в ваши руки, признается, что все ваше богатство у него и вот он его вам возвращает, если вы не гарантируете ему выплату обещанного вознаграждения и не дадите заверение, что его не задержат, не станут задавать ему вопросов и не призовут к ответу перед судом?

В ответ ему пообещали дать все возможные гарантии.

— Не знаю,— сказал он,— не знаю, что за гарантии! Когда бедный малый окажется в ваших когтях и выложит вам ваше богатство, вы имеете все основания тут же схватить его, как вора. Да он и есть вор. Вы заберете свое богатство, а его отправите в тюрьму, и чем же тогда можно будет исправить положение?

Такой поворот дела поставил их в тупик, и они попросили его, не может ли он постараться заполучить все в свои руки, и тогда они выплатят обещанные деньги ему еще до того, как он выпустит из рук добычу, а когда он уйдет от них, они обещают еще полчаса не покидать комнаты.

— Нет, господа,— сказал он,— так не пойдет. Если бы вы раньше так говорили, вместо того чтоб ни за что ни про что грозиться арестовать меня, я бы вам поверил, но теперь ясно, что́ у вас на уме, и ни я, ни кто другой не может быть уверен в своей безопасности.

Чего только они ни предлагали, но все было напрасно; наконец кто-то из присутствующих измыслил способ обеспечить ему безопасность, посулив под залог долгового обязательства на тысячу фунтов, что не тронут его, чего бы ни случилось. Но Уилл отговорился тем, что это их все равно ни к чему не обяжет, да и обязательство это никакой цены не имеет, ибо стоит только пока-

зать им добычу, и они ее схватят, а подумаешь, дело, сказал он, отправить какого-то жалкого воришку под суд? В виде награждения, так сказать. На это они не знали, что и возразить, сказали только, чтобы он сам взял у того мальчишки, если это мальчишка, украденное, а они тогда выплатят все обещанные деньги ему. Но он лишь рассмеялся и сказал: «О нет, господа, я ведь не вор! И совершенно не желаю брать на себя такую роль в расчете на вашу милость».

Тогда они сказали, что просто не знают, что делать и как это ужасно, что он не хочет им довериться, а он заметил, что, напротив, он очень хотел бы им довериться и услужить, если бы не думал, как это ужасно навлечь на себя обвинение в воровстве и погубить себя из-за одного только желания помочь им.

Наконец они предложили выдать ему расписку, что ни в чем его не подозревают, что никогда не предъявят никаких обвинений в связи с этим делом, а также подтверждают, что он производил розыски ценных бумаг по их просьбе, и если он их представит им, они обязуются выплатить ему такую-то сумму при вручении или даже до вручения этих бумаг, не требуя от него назвать или представить то лицо, которое отдаст ему эти бумаги.

Получив такое свидетельство, подписанное тремя из присутствующих господ и среди них самим господином, у которого украли бумаги, Уилл заявил, что пойдет и сделает все возможное, чтобы раздобыть бумажник со всем его содержимым.

Но сначала он попросил составить подробный список всего, что находилось в бумажнике, чтобы никто не мог сказать потом, когда он предъявит бумажник, что в нем чего-то не хватает, и этот список запечатать, а он, в свою очередь, заставит наложить печать на бумажник, когда получит его. Они с этим согласились, и тут же господин составил подробный перечень векселей, какие, как он помнит, сказал он, были в бумажнике, а также всех бриллиантов.

Один вексель за подписью сэра Генри Фёрнесса на	1200 ф.
Один вексель за подписью сэра Чарлза Данкома на 800 ф. с вычетом 250 ф.	550 »
Один вексель за подписью Ф. Тассела, ювелира	165 »
Один счет на имя сэра Фрэнсиса Чайлда	39 »
Счет на имя некоего Стюарта, который содержит контору по закладным и страховке	350 »
Сверток с 37 неоправленными бриллиантами, стоимостью примерно в 250 фунтов.	
Маленький пакетик с тремя большими необработанными бриллиантами и с одним, тоже большим, отшлифованным и граненым, стоимостью в 185 фунтов.	

И за все эти богатства они обещали ему столько, на сколько он сторгуется с самим жуликом, однако не более пятидесяти фунтов и еще пятьдесят фунтов ему за то, что он доставит им все это.

Теперь он знал, за какую ниточку ему ухватиться, и пришел прямо ко мне и честно выложил все, как есть; я тут же вручил ему бумажник, и он сказал, что, по его мнению, будет вполне справедливо взять всю обещанную сумму, поскольку дело выглядит так, будто он оказывает им услугу, облегчая тем самым их положение; я с этим согласился, и на другой день он отправился на условленное место, где господа уже ожидали его.

Он сразу же сообщил им, что выполнил их поручение, чем, он надеется, они будут довольны; он признался им, что, если бы не бриллианты, он бы вручил все назад за десять фунтов, однако бриллианты так играли и сияли в мальчишеском воображении, что воришка уже поговаривал о бегстве во Францию или Голландию, чтобы прожить там свою жизнь благородным джентльменом, на каковые слова господа только рассмеялись. «Однако же,— сказал он,— вот бумажник!» И с этими словами он вытащил бумажник, завернутый в грязный цветной лоскут, такой грязный, словно во всех лужах выкупался, и запечатанный каким-то никудышным сургучом с изображением фартинга вместо печати.

Они распечатали опись всех ценностей, а он одновременно развязал грязный лоскут и показал господину его бумажник, от чего тот пришел в неописуемую радость, но хотя предварительные переговоры и подготовили его к этой радости, он все-таки был вынужден попросить бокал вина или коньяку, чтобы не лишиться чувств.

Открыли бумажник и первым делом достали оттуда сверток с бриллиантами, все они оказались на месте, все до одного, лишь маленький пакетик лежал отдельно, но и в нем, как засвидетельствовал владелец, все было в полном порядке, только необработанные бриллианты смешались с остальными.

Затем зачитали подряд все векселя и обнаружили один лишний на восемьдесят фунтов, который не был упомянут в описи, да еще некоторые бумаги, не ценные, но очень важные для господина; и он признал, что все возвращено по-честному. «А теперь, молодой человек,— сказали они,— вы убедитесь, что и мы честно сдержим свое слово по отношению к вам». И первым делом они выдали ему лично пятьдесят фунтов, а затем отсчитали пятьдесят для меня.

Он взял свои пятьдесят фунтов и спрятал их в карман, но так как они были в золотых, он сначала завернул их в бумагу. Затем он стал отсчитывать следующие пятьдесят фунтов, но, отсчитав

тридцать, сказал: «Так вот, господа, поскольку я вел честную игру, пусть у вас не будет оснований считать, что я был честен не до конца. Я беру у вас только тридцать фунтов, поскольку на эту сумму я уговорился с юным вором, так что вот вам назад двадцать фунтов».

Они смотрели друг на друга, изумленные такой честностью. Потому как до этой минуты в глубине души у них все-таки таилось подозрение, что Уилл и есть вор, однако подобная хитрость совершенно обелила его в их глазах. Господин, обретший снова свои бумаги, заметил тихо одному из присутствующих: «Отдайте ему все». Но другой возразил (тоже тихо): «Нет, не стоит, раз уж он сам назвал цену и удовлетворен своими пятьюдесятью фунтами, которые вы ему дали».— «Ну хорошо, пусть будет по-вашему». Однако не так уж тихо они говорили, и Уилл, услышав их, заметил: «Нет, нет, не надо, я совершенно удовлетворен, я очень рад, что мне удалось оказать вам услугу»,— и на этом они стали прощаться.

Но до того, как все разошлись, один из господ-свидетелей сказал ему: «Послушайте, молодой человек, вот вы сейчас убедились в нашей справедливости, мы поступили с вами так же честно, как вы с нами, и не просим вас открыть нам, кто этот ловкач, схвативший награду, но, поскольку уж вам довелось говорить с ним, не могли бы вы удовлетворить наше любопытство и рассказать, как он это проделал, чтобы впредь нам остерегаться таких виртуозов».

«Сэр,— сказал Уилл,— когда я передам вам, что мне сказали и как обстояло дело, господин будет винить во всем себя больше, чем кого-либо другого. Юный воришка, которому удалось схватить эту награду, был на охоте вместе со своим товарищем, самым ловким и опытным лондонским карманником, однако в тот решающий момент учитель находился далеко от ученика, и этот мальчуган, в жизни своей еще не обчистивший ни одного кармана, стоял, как он сказал, напротив входа в здание Биржи с восточной его стороны, а господин находился у самого входа и был совершенно поглощен разговором с другими господами, при этом он часто доставал свой бумажник, открывал его, вынимал оттуда одни бумаги, прятал другие и снова засовывал бумажник в карман сюртука, так что в один прекрасный момент бумажник то ли застрял по дороге, то ли наткнулся на что-то, что лежало в кармане, и остался так торчать. Мальчуган, который уже давно наблюдал за ним, заметил это, прошелся совсем рядом с господином и незаметно подхватил бумажник, так что господин даже ничего не почувствовал».

Продолжая разговор, Уилл сказал: «Ну не чудно́ ли, что господа, у которых в бумажнике такие ценности, суют его так небрежно прямо в карман».— «Совершенно верно»,— согласился беседовавший с ним господин. Поговорив еще немного о всяких пустяках, Уилл вернулся ко мне.

Мы теперь сделались так богаты, что не знали толком, куда девать деньги, я во всяком случае, поскольку у меня не было ни родных, ни друга, и спрятать деньги было негде, разве что в собственном кармане; что же касается Уилла, у него была мать, бедная женщина, правда, грешница и под стать Уиллу нечиста на руку, но он ее озолотил, и она вместе с ним порадовалась его успеху.

Добычу мы поделили поровну, несмотря на то что досталась она мне, однако, если бы не он, нам бы не удалось ею воспользоваться: это же его стараниями мы получили деньги, а друг без друга мы ничего не смогли бы добиться; что до векселей, то не приходилось сомневаться, а отнеси мы их немедленно к ювелиру, чтобы получить по ним деньги, их хозяин мог опередить нас с требованием приостановить выплату или пришел бы как раз, когда один из нас получал деньги, и схватил бы его на месте; а что до бриллиантов, такие бедняки, как мы, все равно никому не могли бы предложить их, кроме известных нам скупщиков краденого, но те заплатили бы нам за них всего ничего, по сравнению с тем, что они стоят на самом деле, ибо, как я уяснил себе позже, те, кто промышляют краденым, умеют так ловко обмануть на весе, что бедняга, совершивший кражу, теряет, по крайней мере, один к трем, если считать в унциях.

Так или иначе, мы, рассмотрев все возможности, воспользовались наилучшей; в ту пору у меня еще оставалась своеобразная врожденная совестливость: хотя я нйчуть не угрызался, обделывая подобные делишки, в то же время я никогда не допускал, чтобы зря погибали векселя и бумаги, поскольку для других это был огромный ущерб, а для меня — все равно без пользы, и каждый раз я мучился из-за этого и не имел покою ни днем, ни ночью, пока не возвращал назад бумаги.

Итак, теперь я был богат, так богат, что не знал, что делать и с собой и с деньгами. Я жил настолько скудно и бережливо, что, хотя мне и случалось, как я уже говорил, выложить два-три пенса, чтобы утолить голод, все равно находилось так много людей, посылавших меня с поручениями и дававших за это еду, а иногда и одежду, что за целый год я не израсходовал даже пятнадцати шиллингов из тех, что хранились у господина из таможни, да еще у меня имелись в кармане четыре гинеи от самой первой добычи,

я имею в виду деньги, которые когда-то провалились в дупло дерева.

Но аппетиты мои разгорелись; мы еще не раз выходили с Уиллом на охоту, но уже из-за такой мелочи, как платки и прочее, не пачкались, избегая рисковать по пустякам. Вот как-то в одну из пятниц прогуливались мы возле Уэст-Смитфилда и набрели на одного старика, приехавшего из деревни продавать на рынке здоровенных волов, по всему судя из Сассекса, так как мы слышали, как он похвалялся, что во всем сассекском графстве не сыщешь лучших волов; его милость — так к нему все обращались — получил деньги за своих волов в таверне, название которой сейчас уж не припомню, засунул их все в кошель и нес этот кошель в руке, как вдруг на него напал приступ кашля, так что пришлось ему остановиться и опереться рукою, в которой держал он кошель с деньгами, об угол какой-то лавки, находившейся неподалеку от Монастырских ворот, в Смитфилде, дома за три-четыре от них. Мы оказались тут как тут, и Уилл говорит мне: «Не зевай!» — и с этими словами, притворившись, что споткнулся, налетает с размаху на старого господина в тот самый момент, когда у того совсем перехватило дыхание от кашля, чуть бедняга не задохнулся.

Мощный удар сшиб благородного старца с ног, однако кошель с деньгами он при этом из рук не выпустил, но тут подскочил я, схватился за кошелек, рванул его к себе и, завладев им, понесся, словно ветер, вдоль по Монастырской, а потом, пробежав ее всю, свернул налево и прямиком через Литл-Бритн в Варфоломеевский тупик, пересек Олдерсгейт-стрит и через Полз-Элли выбрался на Ред-кросс и дальше, минуя бесчисленные улицы и переулки, не давал себе передышки, пока не очутился во втором квартале Мурфилдса, где было давнишнее наше место встречи.

Тем временем Уилл, который вместе со стариком полетел на землю, быстренько вскочил; почтенный господин — таковым он, во всяком случае, казался — был в перепуге от своего падения и так зашелся в кашле, что совсем не мог какое-то время говорить; этой минуты было достаточно, чтобы проворному Уиллу подняться с земли и улизнуть. Старик долго не мог даже крикнуть: «Держи вора!» — или хотя бы объяснить кому-нибудь, что у него что-то отняли; продолжая сильно кашлять, отчего кровь прилила у него к лицу, так что оно даже побагровело, он лишь вымолвил: «В... в... во... кхе, кхе, кхе, воры... кхе, украли, кхе, кхе, кхе, кхе, кхе...» Затем набрал воздуха и снова: «Воры... кхе, кхе...» — и так после многочисленных «кхе, кхе» и «воры», докончил: «Украли у меня кошелек с деньгами!»

Люди не скоро поняли, что случилось, а потому ворам вполне хватило времени, чтобы скрыться, и через полчаса Уилл явился

на наше место встречи; мы уселись, как всегда, на травку и вытряхнули все деньги, которых оказалось восемь гиней, пять фунтов и восемь шиллингов серебром, итого в целом четырнадцать фунтов; разделив все на месте, мы в тот же день отправились за новой добычей; однако, то ли успех ударил нам в голову и мы утратили зоркость, то ли не представилось еще одного удобного случая, уж не знаю, только ничего больше мы в этот вечер так и не раздобыли, даже и не пытались.

Такого рода прогулок мы совершали немало, иногда вдвоем, держась на некотором расстоянии друг от друга; на нашу долю выпало несколько мелких удач, но, как я уже говорил, успех так ударил нам в голову, что на мелочь мы не растрачивались, иные были бы и ей рады, но только не мы, нас интересовали бумажники, портфели да звонкая монета.

Следующее наше приключение случилось под вечер в одном из дворов, через который можно попасть с Грейс-Черч-стрит на Ломбард-стрит, где стоит Дом Квакеров; там попался нам один молодой человек, после мы узнали, что он был учеником у суконщика с Грейс-Черч-стрит и, как видно, только успев получить порядочную сумму денег, направлялся с ними к ювелиру на Ломбард-стрит; пока он расплачивался там, отдав большую часть денег, которые были при нем, уже стемнело, и ювелир принялся запирать свою лавку и зажигать свечи. Мы стояли на другой стороне и наблюдали, что он будет делать. Выплатив сполна все, что полагалось, он еще задержался, чтобы получить расписку; к этому времени сумерки совсем сгустились; наконец он покинул ювелирную лавку и вышел прямо в темный двор, держа под мышкой все еще довольно толстую сумку с деньгами; посередине двора идет крытая галерея, в конце которой есть ступенька, и стоит шагнуть вниз, как по левую руку от вас вот уже и Грейс-Черч-стрит.

«Будь наготове,— говорит мне Уилл,— не мешкай». И с этими словами ринулся на молодого человека и толкнул его с такой силой, что тот, не в силах сохранить равновесие, устремился вперед, попытался устоять на ногах, споткнулся о ступеньку и, словно на крыльях, вылетел уже в другом конце двора, распластавшись на земле головой в сторону Дома Квакеров. Я был наготове и тут же подхватил сумку с деньгами, которая выпала у него из рук, когда он вынужден был спасать свою жизнь, а не деньги. Схватив сумку, я бросился наутек, а Уилл, поняв, что я подобрал ее, побежал назад; когда я находился уже на Фен-Черч-стрит, он нагнал меня, и мы вместе помчались домой. Бедный юноша пострадал от падения только слегка, и все же, как мы потом узнали, доложил своему хозяину, что был сбит с ног сильным ударом дубинки, однако это неправда, потому как ни у меня, ни у Уилла

никакой дубинки в руках не было; кажется, хозяин юноши был так счастлив, что это случилось уже после того, как его ученик успел выплатить часть денег (а она составляла более ста фунтов) ювелиру, которого звали сэр Джон Суитэпл, что большого шума из-за своей потери не поднимал; как выяснилось, он лишь предупредил своего ученика впредь быть поосторожнее и не ходить подобными дворами, когда стемнеет. И все-таки истинную причину своего спасения молодой человек угадать не мог, ибо не знал, что мы-то положили на него глаз еще раньше, когда все деньги были при нем, однако для нашей работы то было неподходящее время суток, и потому он оказался вне опасности.

Добыча наша составляла двадцать девять фунтов шестнадцать шиллингов, то есть по четырнадцать фунтов восемнадцать шиллингов на брата, что значительно увеличивало мои сбережения, которые становились уже чересчур солидными, чтоб таскать их все с собой, так что теперь мне только прибавилось забот, как бы их сберечь. Я нуждался в верном друге, которому мог бы доверить их, но откуда у бедняги, выросшего среди воров, возьмется такой друг? Стоило бы мне признаться честным людям, что я владею таким богатством, они бы перво-наперво спросили, откуда оно у меня, да и побоялись бы взять его на сохранение — а что, ежели меня за мои делишки рано или поздно сцапают, ведь тогда и их обвинят в утайке краденого и в поощрении воровства.

А покуда суд да дело, мы еще много удачных вылазок совершили, самого разного свойства, и все же ни разу не попались; однако мой напарник Уилл — к тому времени он уж стал взрослым мужчиной,— окрыленный нашими успехами, ступил на совсем иную стезю преступлений и свел дружбу с шайкой отпетых негодяев, которые готовы были взяться за любое грязное дело.

Уилл был парень что надо, здоровяк да к тому же отчаянный храбрец, спуску никому не давал и готов был на все; я заметил, что он уже ставит себя выше нашего брата, ничтожных карманных воришек, и появляется среди нас все реже. Но вот как-то он приходит ко мне и заводит дружескую беседу, как, мол, идут у меня дела, я отвечаю, что по-прежнему занимаюсь нашим старым ремеслом, что было у меня два-три удачных дельца, одно с молодой женщиной, чей карман я облегчил на одиннадцать гиней, другое — с крестьянкой: она только успела сойти с дилижанса, и я видел, как она вытащила кошелек, чтобы расплатиться с кучером, и последовал за ней, пока не представился удобный случай стянуть его, да так чисто, что, хотя в нем хранилось целых восемь фунтов семнадцать шиллингов, она и не заметила, как их не стало; рассказал я ему еще про несколько дел, принесших мне славную добычу. «Я всегда говорил, что ты счастливчик, Полковник Джек,—

сказал Уилл.— Послушай, ты ведь уже не мальчик, не собираешься же ты весь век играть в бирюльки. Я тут втянулся в одно стоящее дело, ей-ей, стоящее, тебя тоже можно взять на него. Введука я тебя в нашу компанию, Джек,— ребята там все отважные и настоящие джентльмены, вот увидишь».

И он вкратце описал мне, чем они занимались; оказывается, эти молодчики набили себе руку на двух самых отчаянных в воровском искусстве специальностях, а именно: когда стемнеет — грабеж на дорогах, а по ночам — кража со взломом. Уилл рассказал мне столько заманчивых историй, о таких великих делах поведал мне, что я, и так привыкший его во всем слушаться, без колебаний решил последовать за ним.

Ясно одно, что из-за полного моего невежества, так как детство я провел без учителей, о чем я уже не раз упоминал, а в какой-то мере также из-за грубости и безнравственности компании, какую я водил, да прибавить к этому, что только к их ремеслу я имел склонность, повторяю, по всем этим причинам мне до сих пор не приходилось даже задумываться, добро или зло я творю, а следственно, меня не тревожили ни угрызения совести, ни сожаления из-за совершенных мною дурных поступков.

И тем не менее оставалась во мне какая-то неведомая сила, которая не давала мне окончательно погрязть в беспутстве и пороке и разделить ничтожный удел моих товарищей. Никогда, к примеру, не имел я привычки употреблять бранные слова; хоть кто-нибудь когда слышал, как я ругаюсь? И пить не пил, не пристрастился к крепким напиткам. Не могу тут не рассказать вам, какой случай уберег меня от этого. Была у меня, как я уже говорил, некая убежденность в моем благородном происхождении; целый ряд самых неожиданных событий укрепили во мне эту своего рода фантазию, и случилось однажды так, что, когда я находился во дворе стекольного завода, что между Розмэри-Лейн и Рэтклиф-Хайуэй, туда зашел один богато одетый господин, свою карету он оставил на улице; зашел, я полагаю, чтобы купить бутылки или еще что из тамошних товаров; и вот, договариваясь о покупке, он через каждое слово вставлял самые грязные ругательства, какие знал.

Наконец хозяин стекольного завода, серьезный, преклонных лет человек, осмелился сделать ему замечание, на которое тот ответил руганью еще похлеще; понемногу, однако, господин этот поостыл, хотя долго еще продолжал сквернословить, разве что не так бойко; в конце концов хозяин стекольного завода не выдержал и повернулся, чтобы уйти. «Ну и ругатель вы, сэр,— сказал честный старик,— бога вы не боитесь, поминая имя господне всуе. Не могу я больше с вами тут разговаривать, уж будьте добры,

оставьте в покое мои бутылки и прочее и ступайте за ними в какое-нибудь другое место, не в обиду будь вам сказано, не хочу я иметь дело с таким хулителем божиим, а то как бы мой стекольный завод не обрушился тут вам на голову».

Господин принял сей выговор весьма добродушно и сказал: «Стойте, не уходите, обещаю больше не ругаться,— сказал он.— Если, конечно, утерплю,— добавил он,— во всяком случае, постараюсь, потому, что ни говори, а вы правы».

Тут старик хозяин глянул на него и, воротившись, сказал: «Честное слово, сэр,— сказал он,— просто горько наблюдать, когда такой благородный, хорошо воспитанный господин, и к тому же добродушный, подвержен столь ужасной привычке; ну разве пристало джентльмену ругаться, вы же не из этих чумазых, что работают у печи, или вон тех голодранцев, разбойников малолетних,— сказал он, указывая на меня и на прочих из нашей грязной команды, спавшей в золе.— Даже для них это стыд и срам,— говорит он,— их бы тоже стоило за это проучить. А уж для воспитанного человека, сэр,— сказал он,— для дворянина! Это ставит вас ниже их, а дворяне ведь люди образованные и ученые, не как прочие, сразу вот видно, что вы человек ученый. Заклинаю вас, сэр, когда вы испытываете искушение употребить крепкое словцо, спросите себя, достоин ли будет сей поступок истинного джентльмена? К лицу ли он дворянину? Задайте себе только один вопрос, и разум ваш восторжествует, и вы бросите сие недостойное занятие!»

От этих слов, из коих я не пропустил ни одного, кровь застыла в моих жилах, особливо когда он сказал, что ругаться пристало только таким, как мы; словом, на меня все это произвело такое же сильное впечатление, как и на самого господина, который принял стариковское внушение вполне благосклонно и поблагодарил старика за совет. Именно с тех пор я навек утратил всякую склонность к брани и к крепким выражениям и совершенно не терпел, когда их употреблял кто-нибудь из наших; что же до выпивки, то мне и случая-то не представлялось, поскольку пил я только воду или слабенькое пиво, когда угощали, а крепким кто угостит? И даже после того, как завелись у меня деньги, я все равно обходился без крепкого пива, и желания не было, да и денег тратить на него не хотелось.

А в общем-то, спору нет, никаких принципов, какие внушает образование, у меня не было, и, будучи с малолетства увлечен судьбою моею на путь порока, я совершенно не отдавал себе отчета, сколь губительный след это оставляет в моей душе. Когда же я стал приближаться к сознательному возрасту и уразумел, что я вор, выросший среди всякого рода гнусностей, и мне уготована до-

рога на виселицу, меня стала часто посещать мысль, что я неверно живу, что я прямиком качусь в ад, и я не раз задумывался и спрашивал сам себя: разве это жизнь, достойная дворянина?

Однако легкие укоры совести улетучивались так же быстро, как возникали, и я продолжал заниматься своим ремеслом, в особенности когда меня поощрял к этому Уилл, о чем я уже рассказывал вам, ибо в подобных делах он был для меня своего рода наставником, и я, следуя привычке подражать ему, достиг в нашей работе такой же ловкости, какою славился мой учитель.

Итак, возвращаюсь к тому, на чем я остановился: ко мне пришел Уилл и рассказал, каким стоящим делом он теперь занимается, и предложил мне присоединиться к нему, пообещав, что тогда наконец и я почувствую себя джентльменом. Только Уилл это слово понимал иначе, чем я, его «джентльмен» означал всегонавсего — джентльмен среди воров или мошенник более высокого пошиба, чем карманный воришка, словом — всякий, кто способен на темные дела, за которые грозит виселица, не чета нам. А мой «джентльмен», которого я вынашивал в своем сердце, означал совсем другое, хотя в точности я и не мог бы объяснить вам, что именно.

Слово это, однако, на меня подействовало, и я отправился за Уиллом; мы оба были еще молоды: Уиллу стукнуло двадцать четыре, а мне к тому времени почти исполнилось восемнадцать, но для своего возраста я был уже довольно рослым малым.

Для начала он познакомил меня с двумя молодцами; мы встретились в нижней части Грейс-Инн-Лейн примерно за час до захода солнца и двинулись оттуда на Пустошь, к тому месту, которое называется Пиндар-оф-Уэйкфилд, где стоит множество печей для обжига кирпича. Отсюда решено было разными тропинками выйти к большой дороге и следовать по ней дальше к Панкрас-Черч в поисках случайной дичи, которую они могли бы, по их выражению, подстрелить на лету. Там, где от большой дороги отходит тропа на Кентиш-Таун, двое из нашей банды — Уилл и один из тех двоих — встретили одинокого путника, торопившегося в город; почти совсем уже стемнело, и Уилл крикнул: «Готовьсь!» Это, кажется, означало, что нам следует замереть на месте в отдалении от него и, если ему понадобится помощь, приблизиться, если же заметим опасность, дать ему сигнал.

И вот Уилл подходит к этому господину, останавливает его и говорит: «Ваши деньги, сэр!» Прохожий, видя, что Уилл один, замахивается на него своей палкой, однако Уилл, парень верткий и сильный, налетает на него и валит на землю; тот просит пощады, а Уилл божится, что перережет ему глотку. Пока разворачи-

ваются эти события, мимо по дороге проезжает наемная карета, и тогда четвертый из нашей шайки, который стоял как раз на дороге, кричит: «Готовьсь!» Этим он дает знать, что пахнет богатой добычей, а опасности нет никакой, и напарник Уилла немедля бросается ему на помощь; они останавливают карету, в которой ехали доктор и хирург, возвращавшиеся от солидного пациента, получив от него, я полагаю, не менее солидный гонорар, поскольку у них отняли два туго набитых кошелька, один с одиннадцатью или двенадцатью гинеями, а другой с шестью, не считая карманной мелочи, двух пар часов, одного кольца с бриллиантом да еще ящичка с хирургическими инструментами из чистого серебра.

Пока наши дружки были заняты делом, Уилл стерег пешехода, которого повалил на землю; впрочем, он пообещал не убивать его, если тот не будет шуметь, однако не давал ему даже шевельнуться, пока не услышал снова стук кареты и не убедился, что дело на той стороне дороги обделано чисто. Тогда он оттащил человека от проезжей части, связал ему за спиной руки и посоветовал лежать смирно, не шуметь, посулив через полчаса вернуться и развязать руки, в чем дал честное благородное слово, а ежели тот закричит, то он вернется, чтобы прикончить его, сказал он.

Бедняга пообещал лежать смирно и не шуметь, и свое обещание сдержал; в кармане у него оказалось всего одиннадцать шиллингов шесть пенсов, которые Уилл и забрал, а потом примкнул к остальным; когда они встретились, я находился уже около Пиндар-оф-Уэйкфилд, и мне тоже представился случай крикнуть: «Готовьсь!»

Я увидел двух бедных женщин, одна смахивала на няньку, другая на горничную, и направлялись они в Кентиш-Таун. Поскольку Уилл знал, что я новичок в этом деле, он тут же подлетел ко мне на подмогу, однако, увидев, что дело выеденного яйца не стоит, сказал: «За работу, Полковник!» Я подошел к женщинам и, обращаясь к старшей, то есть к нянюшке, сказал: «Не спешите так, я хочу с вами поговорить». Они, видимо, испугались и остановились. «Не бойся, милая,— сказал я горничной,— пошарь-ка лучше на дне своего кармана, и, пусть сумма невелика, дело сразу устроится, я вас не обижу». Как раз в это время к нам подошел Уилл, которого они раньше не видели и потому от неожиданности вскрикнули. «Перестаньте,— говорю я,— не вопите, если не хотите заставить нас против нашей же воли действовать силой. Отдавайтека все ваши деньги без лишних слов, и мы вас отпустим подобру-поздорову». На это бедная служанка вытаскивает пять шиллингов шесть пенсов, а старуха целую гинею и еще шиллинг, оплакивая их горючими слезами, потому как отдала последние свои деньги.

Что делать, мы забрали у них все, хотя сердце мое обливалось кровью при виде отчаяния бедной женщины, когда она рас-

ставалась со своими деньгами, и я спросил ее, где она проживает. Она ответила, что фамилия ее Смит и что живет она в Кентиш-Тауне; больше я ничего не сказал ей и предложил следовать по своим делам, а деньги отдал Уиллу, и через несколько минут мы присоединились к остальным. Тогда один из двух грабителей и говорит: «Пошли, нечего топтаться на одном месте, пора сматывать удочки». И мы двинулись прочь оттуда, пересекли Мурфилдс, а оттуда — напрямик к Тотенхэм-Корту, когда Уилл вдруг говорит: «Стойте, я должен вернуться и освободить того человека!» — «А-а, черт с ним,— говорит один из тех,— пусть валяется».— «Нет,— говорит Уилл,— не хочу я нарушить слово, пойду развяжу его». И он вернулся на место, однако человек уже исчез, то ли сам развязал себя, то ли кто мимо проходил и он взмолился о помощи, и его освободили, во всяком случае, Уилл его не нашел и тот не отозвался, хоть Уилл и осмелился дважды громко окликнуть его.

Это заставило нас заторопиться, однако идти по Тотенхэм-Корт-Роуд им показалось слишком опасно, так что они вошли в город возле Сент-Джайлз, потом свернули на Пикадилли и следовали по ней до ворот Гайд-Парка: здесь они, вернее, Уилл и один из его компании, рискнули ограбить еще одну карету где-то в районе между воротами парка и Найтсбриджем; в карете ехали лишь джентльмен с дамой легкого поведения, то есть шлюхой, которую, судя по всему, он подцепил неподалеку от Спринг-Гарден; они отобрали у джентльмена все деньги, часы и шпагу с серебряным эфесом, когда же подступились к его даме, она покрыла их на чем свет стоит за то, что они отняли у джентльмена все его деньги и для нее ничего не осталось, у нее же самой не оказалось и шестипенсовика, хотя одета она была вполне прилично.

После этого подвига мы покинули дорогу и, миновав пустошь Мурфилдс, пришли в Челси; по пути от Уэстминстера к Челси нам повстречались три джентльмена, но на вид они были крепкие ребята, так что связываться с ними не стоило, к тому же, побоявшись идти одни через Мурфилдс в такое позднее время (уже пробило восемь, и хотя луна светила, все же было слишком поздно и слишком темно, чтобы чувствовать себя в безопасности), они наняли в Челси троих провожатых, двое были с вилами, а третий, лодочник, с багром на шесте, чтобы охранять господ, так что мы постарались убраться с их дороги, чтобы они нас, по возможности, не заметили, но они все-таки увидели нас и крикнули: «Кто идет?» Мы ответили: «Добрые люди!» И они проследовали дальше, к великому нашему удовольствию.

Когда мы добрались до Челси, оказалось, нам предстоит другая работа, которая также была мне в новинку, а именно — ограбление дома. Судя по всему, у них был сговор со слугой из этого

дома, который тоже принадлежал к их шайке; этот мошенник служил то ли камердинером, то ли ливрейным лакеем и должен был впустить их по условленному сигналу. И вот этот малый не оттого, что у него не хватило подлости, а просто по пьянке забыл свою роль, чем горько разочаровал нас, так как он пообещал встать в два часа ночи и открыть нам дверь, а вместо этого напился и не пришел домой как положено к одиннадцати, за что господин вообще велел его прогнать, двери в доме запереть и другим слугам его не впускать ни под каким видом.

Мы были около дома уже к часу ночи,— надо было осмотреться, а потом залечь у стены Боферт-Хаус, пока не пробьет два, и только тогда вернуться. Но вот послушайте только: подходим мы к дому и видим у дверей нашего молодца, который дрыхнет без задних ног, в стельку пьяный. Уилл, который, как я понял, был главарем в этих делах, стал будить его, а так как негодяй уже проспал часа два, то он слегка очухался и доложил нам о своем, как он выразился, невезенье, из-за которого не может теперь попасть в дом; с собой у них имелись кой-какие инструменты, которые помогли бы взломать замок, однако Уилл полагал, что лучше подождать другого раза, когда их впустят в дом по-тихому, и было решено отложить дело до следующего случая.

Да, пьянка эта сослужила хорошую службу владельцам дома, потому как, будучи не только выпивохой, но и наглецом, слуга спьяну обронил несколько слов, звучавших подозрительно, в том духе, что, мол, пусть лучше откроют ему дверь, не то им же хуже будет, и все в таком роде; господин слышал его слова и утром велел ему убираться восвояси и носу больше не казать в его дом; вот я и говорю, хорошую службу сослужила эта пьянка всему семейству, ибо спасла их от ограбления, а может, и от гибели, потому как судьба поставила на их пути грязную шайку убийц, в которой, как я потом выяснил, насчитывалось всего тринадцать человек, из коих трое, как правило, нанимались в услужение к господам, чтобы как-нибудь ночью открыть дверь и впустить в дом остальных бандитов, а там уж пусть они грабят и убивают хоть всех подряд.

Я провел с ними всю ночь; из Челси, где, как я уже упоминал, их постигло разочарование, они отправились в Кенсингтон, там они влезли в пивоварню и в прачечную, а оттуда проникли на кухню господского дома, где сняли небольшой медный котел и унесли его, а с ним заодно кое-что из оловянной посуды, и благополучно скрылись; потом каждый добрался до условленного места, где обычно оставлял краденое.

Весь следующий день мы спокойно отдыхали и делили выручку за прошлую ночь; на мою долю пришлось восемь фунтов

девятнадцать шиллингов; медный котел и оловянную посуду взвесили, и тут же нашелся человек, который взял их на вес за половинную стоимость. Вечером мы с Уиллом вышли пройтись, Уилл был весьма доволен нашим успехом и выражал уверенность, что если так дальше пойдет, мы каждый день будем выручать столько же. Однако он заметил, что меня не окрылил успех нашей ночной прогулки, не то что бывало прежде, а также что я не разделяю его надежд на лучшее будущее, хотя сам я об этом ничего ему не сказал.

Из головы у меня не шел случай с бедной женщиной из Кентиш-Тауна, и я решил, коли представится возможность, разыскать ее и непременно вернуть ей деньги. За чувством отвращения, какое вызвал у меня этот жестокий поступок, естественно, последовало легкое разочарование в самом роде занятия, и я, как никогда ясно, понял, что это прямая дорога в ад и, уж конечно, не жизнь для урожденного джентльмена.

На этом мы с Уиллом расстались, однако на другое утро опять встретились; Уилл казался очень весел и оживлен.

— Ну, Полковник Джек,— сказал он,— скоро мы станем богачами.

— Ну и что мы будем делать,— говорю я,— когда станем богачами?

— Ха,— говорит он,— купим себе пару добрых коней и будем действовать дальше.

— А что ты имеешь в виду под «действовать дальше»? — говорю я.

— А то,— говорит он,— что мы выйдем на большую дорогу настоящими джентльменами и награбим кучу денег.

— Ну, а что тогда? — говорю я.

— Вот тогда мы наконец заживем по-джентльменски.

— Скажи, Уилл,— говорю я,— а если мы награбим кучу денег, разве мы не бросим наше ремесло, не успокоимся наконец, не заживем тихо-мирно?

— Нет,— говорит он,— вот когда мы накопим целое состояние, тогда при большом желании можно и бросить.

— Да, но только где мы окажемся к тому времени,— говорю я,— если будем продолжать заниматься нашим проклятым ремеслом?

— Послушай, не ломай ты себе голову,— говорит Уилл,— если будешь много думать об этом, никогда не станешь джентльменом.

Слова его сильно задели меня, ибо меня не покидала мысль, что мне на роду написано быть джентльменом, и потому на какое-то время я замолк, но потом опять принялся за свое и доволь-

но резко спросил Уилла, почему он называет это жить по-джентльменски?

— А как же еще? — говорит Уилл.

— Ну разве это по-джентльменски,— говорю я,— отнять двадцать два шиллинга у бедной старухи, которая на коленях молила не забирать их, объясняя мне, что это все, что есть у нее на пропитание — свое собственное и ее больного мужа. Неужели ты думаешь, что, не стой ты рядом со мной, у меня хватило б жестокости отнять у нее деньги? Да я обливался такими же горючими слезами, как сама бедная женщина, хотя и виду тебе не показал.

— Ну и дурак же ты,— говорит Уилл,— не годишься ты ни черта для нашей профессии, коли тебя бередят такие мысли, ну да я живо излечу тебя от этой дури. Ежели ты и впрямь хочешь добиться успеха в нашем ремесле, ты должен научиться отвечать силой на их сопротивление, а когда просят пощады, затыкать им глотку. Что такое жалость, скажи? Кто-нибудь пожалеет нас, когда поведут нас в Олд Бейли? Да слово тебе даю, эта старуха, что так вопила и клянчила назад свои шиллинги, и не подумала бы спасти нас, даже если бы мы с тобой упали перед ней на колени и просили, чтобы она не являлась свидетельствовать против нас. Где, когда ты видел, чтоб кто-нибудь плакал, когда нашего брата джентльмена ведут на виселицу, а?

— И все-таки, Уилл,— говорю я,— лучше бы нам заниматься тем прежним делом, во всяком случае, тогда все обходилось без насилия, а денег выручали больше, чем мы получим здесь, уверяю тебя.

— Нет, нет,— говорит Уилл,— ты просто глупец, ты даже не представляешь себе, какие дела нам предстоят вскорости.

Поговорив так, мы расстались, однако я дал себе зарок никогда впредь не участвовать в подобных его предприятиях. И в самом деле, это была такая мерзкая шайка отъявленных негодяев, что страшно даже вспомнить; чего я только не наслушался за то короткое время, что провел с ними, но особенно противна мне была их привычка ругаться на каждом слове и осыпать проклятьями самих себя и друг друга; на уме у них, как я заметил, только и было, что убивать да резать. Впервые я понял это, когда обсуждалась их неудача в Челси, и те два негодяя, какие были с нами, и сам Уилл ругались и чертыхались, что нам не удалось проникнуть в дом, клялись, что с удовольствием перерезали бы хозяину горло, если бы наконец очутились там, и, скрепив эту клятву рукопожатием, призвали на свою голову еще худшие проклятья, ежели они не прикончат все семейство, как только Тому (так звали того лакея) представится случай впустить их в дом.

Два дня спустя Уилл наведался ко мне домой,— к тому времени я уже поселился в отдельной комнате и завел себе вполне приличное платье и несколько рубашек, так что выглядел теперь не хуже людей,— но случилось так, что он меня не застал, поскольку я вышел на разведку в другом направлении; хоть я и не докатился еще до того, чтобы стать подлым злодеем, как этого хотелось Уиллу, однако я не придерживался и твердых правил, которые помогли бы бросить жизнь по-своему достаточно порочную и грозящую гибелью, пусть и не столь быстрой и неукоснительной. Он оставил мне весточку, чтобы я пришел на встречу с ним в условленное место на другой вечер; я постарался быть вовремя, приняв заранее решение, что тут же порву с ним и с его шайкой.

К великому моему удовольствию, я его не нашел, так как он вообще не явился на место, потому что отправился на встречу со своими дружками: те срочно послали за ним, получив известие насчет какой-то там добычи; наверное, им дал знать один из сообщников, служивший неподалеку от Хапслоу, в чужом доме, который они тогда же лихо ограбили; правда, они ранили хозяйского садовника, и тот, кажется, отдал богу душу, но зато уволокли оттуда много денег и столового серебра.

Однако чисто сработать и сбыть все с рук без помех им на этот раз не удалось из-за стычки с соседями; за нашими джентльменами была послана погоня, и уже в Лондоне, куда они явились со своей добычей, одного из них сцапали. Ловкачу Уиллу, главарю всей шайки, удалось смыться: он как был в одежде да еще с порядочным грузом — деньгами и столовым серебром — бросился вплавь через Темзу и вылез на берегу в глухом месте, чтобы никто не подумал его там искать. Выбравшись из воды, весь мокрый, он направился в ближайшую рощу неподалеку от Чертси, как он мне потом рассказывал, и скрывался там и в окрестных полях, пока не просохла его одежда, после чего уже ночью добрался до Кингстона, а оттуда в Мортлэк, где нанял лодку до Лондона.

Он ни сном ни духом не ведал, что одного из его дружков сцапали; знал только, что погоня буквально наступала им на пятки, а потому им надлежит рассеяться и каждому спасать свою шкуру. Судьба ему явно благоприятствовала, так как он пришел к себе домой вечером тут же вслед за тем, как там побывали констебли; его соучастник, который попался, за обещанное помилование выдал остальных членов шайки, среди них и Уилла, как главаря всего предприятия.

Уилл получил об этом уведомление как раз вовремя, чтобы успеть сбежать, так что его не сцапали, и он отправился прями-

ком ко мне; однако судьба улыбнулась и мне, и он опять не застал меня дома, правда, он оставил в моей комнате всю награбленную добычу, завернув ее в старый сюртук и засунув ко мне под матрац, а мне велел передать, что заходил, дескать, братец Уилл и оставил сюртук, который брал у меня взаймы, и что он лежит у меня под матрацем.

Я не знал, что и думать, и тут же поспешил осмотреть постель; обнаружив пакет, я пришел в совершеннейший ужас, так как в нем было завернуто более ста фунтов столового серебра и еще деньги, к тому же для меня было полной неожиданностью появление, как он себя назвал, братца Уилла, от которого я не имел никаких известий в продолжение трех-четырех дней.

Прошло еще четыре дня, и по чистой случайности я узнаю, что Уилл, которого часто видели со мной и который называл меня своим братом, попался и ждет виселицы. В тот же день один бедняк сапожник, который раньше проявлял ко мне доброжелательство, посылал меня с разными поручениями и угощал иногда чем бог пошлет, увидел меня на Розмэри-Лейн, когда я проходил мимо, и — цап меня за плечо.

— Ага, молодой человек,— говорит он,— вот ты и попался,— и поволок меня, словно констебль вора.— Вот ты и попался, Полковник Джек,— повторяет он.— А ну-ка, пойдем со мной, поговорим. Значит, и ты тоже затесался в их шайку? Выходит, ты у нас взломщик! Пойдем, пойдем, уж я похлопочу, чтоб тебя вздернули.

Хоть я и не был замешан в этой истории, слова его заставили меня содрогнуться,— я ведь и раньше беспокоился, не представляя себе, какое обвинение мне могут предъявить за связь с Уиллом, если того схватят, а этим самым утром я услышал, что его уже схватили. Высказавшись, сапожник поволок меня, словно я все еще был мальчишкой.

Но понемногу я пришел в себя и сердито спросил его:

— О чем вы толкуете, мистер ...? Пустите меня, не то я вас заставлю это сделать! — И с этими словами я остановился, чтобы он мог своими глазами убедиться, что, пожалуй, я уже вышел из того возраста, когда меня можно гонять с поручениями, и что так волочить меня теперь неудобно, при этом я слегка повел рукой, словно собираясь съездить ему по физиономии.

— Как, Джек! — воскликнул он.— Ты хочешь меня ударить? Ударить меня, твоего старого друга? — И он тут же выпустил мою руку и засмеялся.— Ну, ладно, ладно, Полковник,— сказал он,— а знаешь, я и в самом деле слышал про тебя плохие вести. Говорят, будто ты встрял в дурную компанию и этот самый Уилл называет тебя своим братом; он большой негодяй, и, слышь, его обвиняют в мокром деле и беспременно повесят, коли схватят.

Надеюсь, ты тут не замешан, а коли замешан, советую тебе поскорее смываться, потому как за ним охотятся констебль и сам шериф, и, если он что может свалить на тебя, он беспременно это сделает, будь уверен, чтобы спасти себя, он не пожалеет отправить тебя на виселицу.

С его стороны сообщить это было любезностью, и я поблагодарил его, однако заметил, что дело это слишком серьезное и чревато последствиями, и шутки, какие он только что себе позволил, здесь неуместны; чего доброго, какой-нибудь случайный прохожий по неведению может схватить меня, как настоящего преступника, тогда как никакого отношения я к этому не имею, кроме знакомства с главарем, словом, я могу влипнуть в историю ни за что; во всяком случае, люди обвинят меня в связи с этой шайкой, неважно, так это на самом деле или нет, и одно обвинение уже очернит меня, хотя я ни в чем не замешан.

Он согласился со мной и сказал, что пошутил, так уж, по старой привычке. «Ладно, Полковник,— говорит он,— шутки в сторону, раз дело такое серьезное и опасное, только советую тебе не водить больше компанию с этими ребятами».

Я поблагодарил его и ушел в самых расстроенных чувствах, не зная, что мне делать с самим собой и с моим неправедно нажитым богатством; и вот побрел я в раздумье, один, моей знакомой дорогой через Мурфилдс в сторону Степни; тут стал я прикидывать, что же предпринять, и мне пришло в голову, что раз этот голубчик спрятал свою добычу на моем чердаке, а его, чего доброго, схватили, то он может во всем признаться и направить полицию прямо ко мне за награбленным, они обнаружат его добро, и тогда я пропал, меня арестуют как сообщника, хотя я понятия не имел об этом деле и не принимал в нем участия.

Пока я так размышлял, находясь в полной растерянности, я вдруг услышал, что кто-то меня окликает; оглядываюсь и вижу Уилла, бегущего ко мне. Сперва я не знал, что и подумать, однако приободрился, увидев, что он один; я остановился в ожидании и, когда он подошел ко мне, спросил:

— Как дела, Уилл?

— Дела? — говорит Уилл.— Такие, брат, дела, что пропал я. Ты когда был у себя дома?

— Я уже видел, что ты там оставил,— сказал я,— но что все это значит? Откуда ты это взял? На этом ты и попался?

— Эх,— говорит Уилл,— на всем вместе. Полиция ищет меня, и, коли сцапает, мне крышка, потому как Джорджа отправили в тюрьму, и, спасая свою шкуру, он выдал меня и остальных.

— Почему же крышка? — спрашиваю я.— Почему тебе крышка, если сцапают? Что же с тобой сделают, а?

— Что сделают? — говорит он.— Да повесят, вот что. Даже если гвардия короля и недосчитается через это одного из своих солдат, все равно повесят, это так же верно, как то, что я стою сейчас перед тобой жив-здоров.

Я сильно перетрухнул и спрашиваю:

— А как же ты собираешься выпутываться?

— Не знаю,— говорит он.— Уехал бы за границу, если бы знал как, но я не сведущ в таких делах и даже не знаю, как за это взяться. Хоть бы ты посоветовал мне, Джек,— говорит он,— ну, скажи, куда мне податься? Я бы хотел куда-нибудь за море.

— Значит, думаешь уехать,— говорю я.— А что будешь делать со своим добром, которое спрятал у меня на чердаке? Там ему оставаться нельзя,— говорю я,— потому что, если меня сцапают и выяснится, что это те самые деньги, мне крышка.

— Плевать я хотел на это добро,— говорит Уилл.— Хочешь, забирай его, когда я смоюсь, и делай с ним, что угодно. А я должен бежать и брать с собой его не могу.

— Не нужно мне его,— говорю я ему.— Я лучше схожу за ним и принесу тебе,— говорю я.— А я с ним связываться не хочу. Да там еще столовое серебро, куда мне его-то девать? — говорю я.— Куда бы я с ним ни пошел, меня тут же задержат.

— Насчет серебра,— говорит Уилл,— его бы я живо пристроил, да вот только не должны меня видеть среди старых моих друзей; на меня ведь уж донесли, так что любой теперь выдаст. Но, если хочешь, я скажу, куда пойти, чтобы сбыть его, вопросов там задавать не станут, только скажи им заветное словцо, какое я тебе открою.

И он сказал мне пароль и направил к ростовщику, что жил возле Суконного ряда; а пароль был такой — «Чистой Тауэрской пробы»; наставив меня, Уилл сказал:

— Я уверен, Полковник Джек, что ты меня не выдашь, и я тебе обещаю, если меня схватят и решат повесить, я твоего имени им не открою; сейчас я пойду в один кабак, который называется Кабачок-на-Бромли-возле-Дуги, мы с тобой там не раз бывали,— говорит он,— там я отсижусь до темноты, а позднее переберусь ближе к городу и проведу ночь под стогом сена — место тоже нам с тобой известное; если ты не успеешь обделать дело и застать меня там, я вернусь к Дуге.

Я пошел домой, взял драгоценный товар и отправился с ним в Суконный ряд; услышав заветное: «Чистой Тауэрской пробы», они без лишних слов, забрали у меня все серебро, взвесили его и заплатили из расчета два шиллинга за унцию; с этим я ушел и поспешил на встречу, но было уже слишком поздно, чтобы застать

его в первом месте, поэтому я пошел прямо к стогу сена, где и нашел его крепко спящим.

Вручив ему его богатство, размеров которого я в точности не знал, так как не считал эти деньги, я вернулся к себе на квартиру уже затемно и совершенно измученный. Я сразу лег спать, однако, несмотря на ужасную усталость, долго не мог заснуть, а если и спал, то очень неспокойно; только я заснул по-настоящему, как тут же проснулся от стука в дверь, такого, словно ее хотели вышибить, и от криков: «Эй, люди, вставайте, откройте констеблю, мы пришли за вашим жильцом с чердака».

Я до смерти перепугался и сел на постели, но, когда совсем очухался, все было тихо, только два ночных сторожа стучали своими колотушками по дверям,— значит, три часа уже пробило и приближалось дождливое утро. Я понял, что это был сон, и, счастливый, снова лег, но вскоре меня опять разбудил тот же шум и те же слова. На этот раз я проснулся быстрее, соскочил с кровати и, подбежав к окну, обнаружил, что прошел еще только час, так как сторожа выстукивали «четыре», после чего все быстро стихло; я снова улегся и остаток ночи проспал уже спокойно.

Большого значения таким пустякам, как этот сон, я не придавал, да и вообще до самого последнего времени в сны я не верил. Поднявшись на другое утро и выйдя из дому с твердым намерением повидать моего дружка Уилла, кого бы, вы думали, я повстречал? Бывшего моего братца Капитана Джека, вот кого. Увидев меня, он прямиком подходит ко мне и говорит:

— Слыхал новости?

— Нет, ничего не слыхал,— говорю я.— Какие такие новости?

— Твоего закадычного друга и учителя сегодня утром забрали и отправили в Ньюгет.

— Не может быть! — говорю я.— Сегодня утром?

— Да,— говорит он,— сегодня утром, в четыре часа. Ему хотят пришить ограбление с убийством где-то в районе Брентфорда. Дело дрянь, потому как один из их шайки, чтобы спасти свою шкуру, выдал его. и согласился выступать свидетелем, так что ты поразмысли,— говорит Капитан,— что тебе делать.

— А что мне делать? — говорю я.— Что ты, собственно, хочешь этим сказать?

— Ну, ну, Полковник,— говорит он,— только не злись, тебе же лучше знать, угрожает тебе что или нет. Нет, так тем лучше, только я-то не сомневаюсь, что ты был с ними.

— Да не был я,— говорю я,— слово даю, не был.

— Что ж,— говорит он,— коли в этот раз не был, то был в другой, а это все одно.

— Да не был я,— повторяю,— ты ошибаешься, я в их шайке не состою, они птицы более высокого полета.

Поговорив так еще немножко, мы расстались, и Капитан Джек ушел; но, уходя, он покачал головой, и я заметил, что он озабочен сильнее, чем мне показалось вначале; он и в самом деле был необычайно встревожен, и тревожила его именно моя судьба, а почему, вы еще узнаете, и очень скоро.

Я сильно перетрухнул, услышав, что Уилл в Ньюгетской тюрьме, и знай я, куда скрыться, пустился бы без оглядки, а там — давай бог ноги; колени у меня подгибались, я вздрагивал от малейшего шороха, словом, весь этот вечер и последующую за ним ночь я находился в самом плачевном состоянии; я ни о чем не мог думать, кроме тюрьмы и виселицы; вот повесят меня — и по заслугам, говорил я себе, хотя бы даже за то, что отобрал у бедной старой нянюшки двадцать два шиллинга.

Первая мысль, какая возникла в моем смятенном разуме, была о деньгах: они лежали в карманном компасе, который я всюду таскал с собой; там уже набралось, как вы, может быть, помните, по последним подсчетам более шестидесяти фунтов, поскольку я ничего не тратил и, куда их девать, я не знал. Наконец мне пришло в голову, что я мог бы отнести их моему покровителю, чиновнику из таможни, если сумею разыскать его и он согласится оставить на хранение еще и эти деньги; единственная трудность была придумать правдоподобную историю, чтобы он не удивился, откуда у меня взялась такая сумма.

Однако тут пришла на помощь смекалка: в одном из наших тайных притонов хранилось платье на случай, если кому-нибудь из шайки потребовалось бы вдруг изменить свой облик. Там была зеленая ливрея, украшенная красным галуном и на красной подкладке, шляпа, окантованная тесьмой, пара башмаков и кнут. Я пошел и переоделся в ливрею, а потом отправился к моему покровителю домой на Тауэр-стрит, где и нашел его в добром здравии и все таким же истинным джентльменом, как прежде.

Я встретился с ним в самых дверях, и он с удивлением поглядел на меня; я несколько раз ему поклонился, зажав шляпу под мышкой, он, повторяю, воззрился на меня и, так и не узнав, спросил:

— У вас ко мне разговор, молодой человек?

Я ответил:

— Да, сэр. Вижу, ваша милость (я уже успел выучиться хорошим манерам) не узнает меня. Ведь я тот бедный мальчик Джек.

Он внимательно вглядывается в меня и, наконец вспомнив, говорит:

— Неужели Полковник Джек! Где же ты пропадал столько времени? Уже, верно, лет пять-шесть мы не виделись.

— Разрешите вам заметить, больше шести лет, ваша милость,— говорю я.

— Где же ты все это время был? — спрашивает он.

— Я находился в деревне, сэр,— говорю я,— в услужении.

— А знаешь, Полковник Джек,— говорит он,— выходит, ты очень терпеливый кредитор. Но по какой же, интересно, причине ты так долго не приходил за деньгами или хотя бы за процентами? Чего доброго, ты так разбогатеешь с одних процентов, что скоро не будешь знать, куда девать деньги.

На это я ничего не ответил, а снова ему поклонился.

— Так идем же, Полковник Джек,— говорит он,— войдем в дом, и я отдам тебе твои деньги и проценты в придачу.

Я склонился в низком поклоне и сказал, что пришел к нему не за деньгами, что сменил за это время одно-два хороших места и в деньгах не нуждаюсь.

— Скажи, Полковник Джек,— говорит он,— а у кого ты служишь?

— У сэра Джонатана Локсэма, сэр,— говорю я,— в Сомерсетшире, к вашим услугам, сэр.— Такое имя я действительно слыхал, но знать не знал ни самого господина, ни тех мест.

— Ну так что, Джек,— говорит он опять,— хочешь забрать свои деньги?

— О нет, ваша милость,— говорю я,— с вашего позволения, сэр, у меня хорошее место, сэр.

— А чего ты хочешь, с моего позволения? Деньги твои тебя ждут.

— Ах нет, не надо, сэр,— говорю я,— у меня хорошее место.

— Тогда о чем же ты, Джек? Я что-то не пойму.

— Если позволите, сэр, мой старый господин, сэр, отец Джонатана, завещал мне перед смертью тридцать фунтов и траурное платье, и...

— Ты хочешь, стало быть, сказать, Джек, что принес мне новые деньги? — Наконец он стал понимать, к чему я клоню.

— Да, сэр,— говорю я,— если ваша милость любезно согласится взять их и положить вместе с теми, да я тут еще откладывал кое-что из моего жалованья.

— Я же сказал, Джек,— говорит он,— что ты скоро разбогатеешь. Сколько же тебе удалось отложить? Давай посмотрим.

Короче говоря, я выложил все свои деньги, и он с удовольствием их принял, дав мне расписку, с учетом процентов, на всю сумму, которая составляла теперь девяносто четыре фунта, а именно:

25 ф. — первый вклад
9 » — проценты за шесть лет
60 » — вновь принесенные деньги

Итого: 94 фунта

Я ушел от него премного довольный, отвешивая поклон за поклоном и расшаркиваясь, потом немедля отправился переодеться в мое старое платье и решил надолго покинуть Лондон, чтобы глаза мои на него не глядели. Однако на другое утро меня ждал сюрприз: переходя Розмэри-Лейн в том месте, которое называется Лоскутным рядом, я услыхал, как кто-то позвал меня: «Джек!» Перед этим было сказано еще что-то, только я не расслышал что. Я оглянулся и увидел трех мужчин, приближавшихся ко мне с решительным видом, а за ними констебля. Я в полном замешательстве бросился бежать, но один из них поймал меня и держал крепко, пока остальные не окружили нас; я спросил, что они от меня хотят и что я такого сделал. Они ответили, что это не место для подобных разговоров, однако показали мне приказ о взятии меня под стражу и предложили прочитать его, заметив, что остальное мне станет известно, когда я предстану перед судом, и велели поторапливаться.

Я взял приказ, но, к великому моему огорчению, ничего не узнал из него, так как не умел читать, пришлось просить их прочитать его мне; они прочли, что им предписывается схватить известного вора, одного из трех Джеков с Лоскутного ряда, обвиняемого под присягой в том, что он принимал участие в знаменитом ночном ограблении со взломом и в убийстве, совершенном так-то и так-то, в таком-то месте, такого-то числа.

Я все отрицал и говорил, что ничего об этом деле не знаю,— но все было напрасно, их это не касается, сказали они, спорить будешь в суде, сказали они, там тебе представят показания, данные под присягой, и тогда, может быть, ты перестанешь отпираться.

Мне оставалось только терпеливо ждать, сердце мое разрывалось от ужаса и чувства вины, под их тяжестью я готов был умереть тут же в дороге, поскольку отчетливо сознавал свою долю участия в первом деле, хотя к последнему никакого касательства не имел. Я ни минуты не сомневался, что меня отправят в Ньюгет, а значит, обязательно повесят; по моим представлениям, эти два события — отправка в Ньюгетскую тюрьму, а потом на виселицу — всегда следуют одно за другим.

Однако прежде, чем дошло до этого дело, со мной произошла неожиданная история, и случилась она, когда я предстал перед судьей. Меня доставили в суд, констебль ввел меня в зал, и судья

спросил, как меня зовут. «Впрочем, обождите, молодой человек,— сказал он,— прежде чем спрашивать ваше имя, справедливости ради, я должен сказать вам, что вы не обязаны отвечать, пока не вызовут ваших обвинителей». И, обращаясь к констеблю, попросил показать приказ об аресте.

— Значит, так,— говорит судья,— вы привели сюда этого молодого человека на основании этого приказа, а является ли этот молодой человек именно тем лицом, какое здесь указано?

Констебль. Надеюсь, так, ваша честь, если позволите.

Судья. Надеюсь? А почему вы не говорите, что уверены?

Констебль. С вашего разрешения, ваша честь, я не уверен. Люди сказали, когда я брал его.

Судья. Это необычный приказ, он предписывает арестовать молодого человека, известного под именем Джек, фамилия отсутствует, сказано только — по кличке Капитан Джек или что-то в этом роде. Так как же, молодой человек, Капитан Джек — это ваше имя или ваша кличка?

Тут я смекнул, что эти люди вовсе не знали меня, когда забирали, и констебль арестовал меня понаслышке, поэтому я набрался храбрости и сказал судье, что, по моему мнению, вопрос, как меня зовут, несвоевремен, поскольку, как бы меня ни звали, сначала надо установить, в чем состоит обвинение.

Судья улыбнулся. «Верно, молодой человек,— сказал он,— совершенно верно, я согласен, что, если они забрали вас, не зная, кого забирают, и не могут представить вашего обвинителя, значит, они совершили ошибку, за которую понесут наказание».

Тут я сказал судье, что, надеюсь, я могу не называть своего имени, пока в суд не явится мой обвинитель, а тогда, что ж, я своего имени скрывать не стану.

«Вполне справедливо,— сказал его честь и, поворотившись к страже, спросил: — Господин констебль, уверены ли вы, что это тот человек, который значится в приказе об аресте? Если нет, вы должны послать за обвинителем, со слов которого под присягой составлен этот приказ об аресте». Было потрачено много слов, чтобы доказать, что я именно тот, кто нужен, о чем и сам прекрасно знаю, и должен назвать свое имя.

Я же настаивал на несправедливости этого требования, говорил, что нельзя заставить признать себя виновным, если ты невиновен; судья тоже не скупился на слова, объясняя, что не может принуждать меня к этому, разве что я признаюсь добровольно. «Сами видите,— сказал судья,— он слишком хорошо разбирается в деле и не даст себя провести». Словом, после часового препирательства с ними перед лицом его чести, когда мне пришлось отвечать на нападки всех четверых, судья наконец объявил им, что они

должны представить суду обвинителя, иначе он будет вынужден освободить меня из-под стражи.

Мне это придало смелости, и я еще энергичнее продолжал отстаивать свои права. Наконец обвинитель был доставлен прямо из тюрьмы как был в кандалах, и до чего же я обрадовался, когда увидел его и убедился, что знать его не знаю и что он не из тех двоих мошенников, с которыми я находился в ту ночь, когда мы ограбили бедную старушку.

Узника ввели в зал и посадили прямо против меня.

— Знаете вы этого молодого человека? — спрашивает его судья.

— Нет, сэр,— отвечает колодник,— в жизни своей не видел его.

— Хм,— говорит судья,— разве вы не предъявляли обвинения человеку, известному под именем Джек, или Капитан Джек, принимавшему участие в ограблении и убийстве, за которое вы сами взяты под стражу?

Узник. С вашего разрешения, да, ваша честь,— говорит узник.

Судья. Это тот человек или не тот?

Узник. Не тот, сэр, этого я никогда раньше не видел.

— Прекрасно, господин констебль,— говорит судья,— что же мы теперь должны делать?

— Я крайне удивлен,— говорит констебль,— я находился в одном заведении, которое так и называется Заведение, когда молодой человек проходил мимо, и эти люди закричали: «Вон Джек, вон он, ваш голубчик»,— и побежали за ним, чтобы задержать его.

— Так,— говорит судья,— имеют эти люди что-нибудь сказать ему? Могут они доказать, что он и есть нужное лицо?

Один сказал «нет», другой тоже сказал «нет», короче, все сказали «нет».

— Ну так что же теперь делать? — говорит судья.— Молодого человека следует из-под стражи освободить, но должен вам сказать, господин констебль, и вы, господа, потрудившиеся привести его сюда, что он может доставить вам серьезные неприятности, если сочтет нужным взыскать с вас за вашу прыть. Однако, по чести говоря, молодой человек,— говорит судья,— вы все же не очень пострадали, и констебль, хотя и был неправ, поступил так не по злому умыслу, а из верности своему служебному долгу, так что, я думаю, вы можете предать забвению случившееся.

На это я ответил его чести, что готов по его совету предать случившееся забвению, однако хотел бы, чтобы констебль и остальные потрудились вернуться со мной на то место, где они оскорби-

ли меня, и объявить там во всеуслышание, что я с честью оправдан и не являюсь тем, кого разыскивают. Его честь согласился, что такое желание мое вполне законно, на что констебль и его подручные сказали, что обещают выполнить его, и мы все вместе как добрые друзья отправились назад к Заведению, и я был там торжественно оправдан.

Замечание: Именно тогда судья в разговоре со мной и сказал, как я уже упоминал выше, что я рожден для лучшей жизни и что, судя по моей умелой самозащите, он убежден, хотя и не спрашивал меня, что я получил хорошее образование, и ему жаль, что со мной случилось подобное недоразумение, однако он надеется, что этот случай не принесет мне бесчестья, поскольку я так блестяще оправдан.

Хотя его честь и заблуждался насчет моего образования, однако слова его возымели на меня то весьма положительное действие, что я решил, поелику будет возможно, научиться читать и писать, чтобы не чувствовать себя беспомощным настолько, что не уметь даже прочитать приказ об аресте и убедиться своими глазами, кого предписано задержать, меня или не меня.

Однако в деле этом была и другая сторона, всю важность которой я не сразу оценил, а коротко — вот что: мой братец Капитан Джек был готов считать меня соучастником преступления, не интересуясь, соответствует это истине или нет, тогда как выходит, он сам был в нем замешан, и если у кого и была причина для опасений и для бегства, то именно у него, а он еще мне советовал, как вывернуться.

Когда эти мысли пришли мне в голову, я счел своим долгом поскорей разыскать его и предупредить.

Что же до меня самого, то, успокоившись насчет собственной безопасности, я не проявлял большой заботы о себе, теперь меня больше тревожил бедный Уилл, мой учитель и наставник в темных делах, который томился за решеткой в Ньюгете, пока я тут наслаждался свободой, и мне очень хотелось его повидать, что я и выполнил.

Я нашел его в плачевном состоянии, на него надели тяжелые кандалы, и на спасение бегством не было никакой надежды; он сказал мне, что его ждет смерть, но чтобы я ни о чем не волновался: поскольку топить меня ему смысла нет, тем более что я с ними и не работал, кроме одного того раза; я могу быть совершенно спокоен: он не станет меня впутывать в эту историю; что же касается негодяя, который их всех предал, он тоже не может повредить мне, так как никогда в жизни своей меня не видел, и пусть меня это утешит. «А вот знаешь, Полковник Джек,— гово-

рит он,— кто был тогда с нами? Твой братец Капитан, и этот предатель, конечно, выдал его, поэтому,— говорит Уилл,— если удастся, предупреди его вовремя, чтобы он успел скрыться».

Он дал мне еще много наставлений, предостерегая меня от следующих шагов по тому пути, на который сам вывел меня. «Заблуждался я, Джек,— сказал он,— когда говорил, будто быть знаменитым вором — значит жить по-джентльменски». Больше всего он боялся, что в тот раз они прикончили хозяйского садовника, причем он сам ранил его в шею, отчего тот и мог умереть.

У Уилла при себе оказалось много денег, и все золотом, это были те деньги, что я отнес к стогу сена, ему удалось так ловко спрятать их, что, когда его схватили, их все равно не нашли; он попросил большую часть из этих денег отнести его матери, что я честно выполнил; я ушел от него с тяжелым сердцем, больше я его не видел, так как он был казнен примерно через три недели после того по приговору ближайшей сессии суда.

Теперь мне оставалось только разыскать Капитана, о котором не без труда, но все-таки наконец я получил известие, и обо всем подробно рассказать ему: как вместо него забрали по ошибке меня, как мне удалось выпутаться, и что приказ о его аресте находится еще в силе, и ведутся тщательные поиски; когда я выложил ему все это, он, будучи застигнут врасплох, тут же признал себя виновным и в дальнейшем разговоре откровенно сознался, что так оно все и было, что он участвовал в этом ограблении и что у него хранится бóльшая часть награбленного добра, но, куда его деть и самому куда деться, он не знает, разве что я ему посоветую, однако проку от меня было мало, поскольку я плохо в таких делах разбирался; тогда он сказал, что хотел бы удрать в Шотландию, что это не так уж трудно осуществить и не хочу ли я присоединиться к нему. Я сказал, что с великим удовольствием, только денег у меня нет, чтобы разделить расходы; судя по его ответу, он не собирался бросать свое ремесло.

— Имей в виду,— сказал он мне,— путешествие окупится.

— У меня духу не хватит,— говорю я,— идти опять на риск, а кроме того, если мы попадем в новую неприятность, мы уже не выкарабкаемся, можно тогда ставить на нас крест.

— Эх,— говорит он,— но здесь-то мы денег не раздобудем, раз нас вот-вот могут сцапать, а там они до нас не доберутся. Нет, я всегда за риск.

— Капитан,— говорю я,— неужели ты зря терял время и ничего не отложил на черный день?

— Очень мало, ей-ей, мне что-то давно не везет.

Врал он,— ведь он сам признался, что в последнем деле получил львиную долю добычи, другие даже жаловались, что он и Уилл

прикарманили себе почти все, так что остальные свою долю не получили, и потому всем хотелось, чтобы они попались.

Однако у него все-таки оказалось около двадцати двух фунтов наличными и кое-что, что можно было обратить в деньги, полагаю, это было столовое серебро; правда, мне он не захотел сказать, что это такое и где спрятано, признался только, что не смеет пойти забрать свое добро, потому как его могут выдать, и тогда его поймают, лучше уж он обойдется без этого. «Уверен,— сказал он,— что рано или поздно мы сюда вернемся».

Я честно выложил все деньги, какие у меня были, что составляло шестнадцать фунтов и несколько шиллингов в придачу. «Что ж,— сказал я,— если мы не будем транжирами и станем тратить в пути экономно, этого вполне хватит, чтобы добраться до безопасного места». Мы были оба убеждены, что стоит нам покинуть Англию, как всякая опасность останется позади, никто уже нас не тронет, даже если и узнает все про нас. Однако мы и не предполагали, сколько мытарств нам предстоит испытать, прежде чем мы попадем в Шотландию.

Я говорю о равной опасности, которой якобы подвергались мы с братом Джеком, лишь потому, что мы испытывали равный страх, на самом же деле мое положение было несравненно лучше.

Не могу умолчать о том, что в один из тихих дней еще до того, как я отнес мои деньги господину, жившему на Тауэр-стрит, я отправился в одиночестве в Мурфилдс, а оттуда в Кентиш-Таун, чтобы выполнить долг справедливости перед той бедной старушкой, и не заметил, как ноги словно сами вынесли меня к тому самому месту, где я ограбил бедную нянюшку и служанку, или, вернее было бы сказать, где Уилл заставил меня их ограбить; я много раз угрызался в душе из-за этого жестокого поступка и не раз давал себе обещание непременно найти способ утешить ее и вернуть ей ее деньги, но из-за разных дел все откладывал с этим; я был слегка удивлен, очутившись вдруг на том злополучном месте.

Место напомнило мне о низости, какую я совершил здесь, и во мне вдруг родилась не скажу молитва, ибо я никогда не молился, но страстная потребность навсегда бросить мое проклятое ремесло. Я сказал себе: «Если бы только нашлась для меня работа, которая прокормила бы меня, я бы никогда не стал больше воровать, вот уж воистину злое и мерзкое занятие».

И тут я особенно отчетливо осознал, как это тяжело расти без родителей, которые одни могут или даже должны помогать своим детям выбрать себе стоящее ремесло или иное дело. Сколько раз я плакал, не зная, что мне делать, к чему приложить

руки, когда уже решил окончательно порвать со своим позорным прошлым.

Однако вернусь к рассказу о моем путешествии. Я хотел спросить дорогу на Кентиш-Таун у бедной женщины, которая, как выяснилось случайно, там жила, и я поинтересовался, а не знает ли она там старушку по фамилии Смит. Она ответила, что знает, и даже очень хорошо, что своего дома у нее нет, но она снимает в городе квартиру, что она честная, работящая, бедная женщина, которая своим трудом и стараниями поддерживает больного мужа, так как вот уже несколько лет, как он не может себя обслуживать.

Ну и негодяем же я был, сказал я сам себе, ведь, ограбив эту бедную старушку, я добавил еще горя и слез к ее страданиям и семейным несчастьям! Эта мысль еще подхлестнула мое желание вернуть ей деньги, и не только вернуть, но, я твердо это решил, прибавить ей еще сверх того, что она потеряла; итак, я отправился дальше и, согласно указаниям, какие получил, без труда отыскал ее дом. Стоило мне спросить ее, и она тут же вышла ко мне из дома, так как слышала, как я произнес ее имя, когда говорил с девочкой, первой подошедшей к двери. Я сразу же приступил к делу.

— Сударыня,— сказал я,— не нападали ли на вас грабители примерно с год тому назад, когда вы возвращались домой из Лондона, возле Пиндара в районе Уэйкфилда?

— И в самом деле нападали,— ответила она.— Ох, и страху натерпелась я тогда.

— А сколько денег у вас отняли? — спросил я.

— Да все, что были при мне. С таким трудом я их заработала! Это были деньги за ребенка, которого мне дали тогда нянчить, и я аккурат ездила в Лондон, чтобы получить их.

— Ну, а всего сколько их было, сударыня? — спрашиваю я.

— Двадцать два шиллинга шесть пенсов. Полпенни и двадцать два шиллинга я только перед тем получила, а остальная мелочь у меня раньше была.

— Послушайте, хозяюшка, а что бы вы сказали, если бы я помог вам получить назад эти деньги? Дело в том, что человек, который их отнял у вас, крепко засел сейчас за решетку, и очень может быть, я сумею оказать вам в этом деле услугу, ради чего я, собственно, и пришел сюда.

— О, господи,— говорит старушка,— я поняла вас, но, право, не могу поклясться, что узнала бы его в лицо, тогда было так темно, и к тому же я бы нипочем не хотела, чтобы беднягу из-за моих денег повесили, пусть живет и кается.

— Это очень благородно с вашей стороны, он того и не заслуживает, однако пусть вас это не тревожит, его все равно повесят,

покажете вы против него или нет. Так как же, хотите вы получить назад деньги, которых вы лишились?

— Ну, конечно,— говорит женщина,— была бы очень даже рада, потому как давно у меня не бывало так туго с деньгами, как сейчас, приходится изворачиваться, чтобы раздобыть на кусок хлеба, хотя я день и ночь работаю, не разгибая спины.— И она даже заплакала.

У меня сердце чуть не разорвалось от мысли, что бедняжке приходится так тяжело работать в свои почти шестьдесят лет, а я, молодой бездельник, которому и двадцати еще не стукнуло, отнял у нее последний кусок хлеба, чтобы самому вести праздную, нечестивую жизнь; и, вопреки всем моим усилиям, слезы так и потекли у меня из глаз, она это заметила.

— Как горько,— сказал я,— что всякие негодяи могут грабить и обижать бедную, несчастную женщину. Теперь-то у него есть время для раскаяния, уверяю вас.

— Ох, сударь,— говорит она,— видно, вы и впрямь очень сострадательный человек, а я бы только одного пожелала, чтобы он с пользой употребил время, какое ему ссудил господь, и успел еще раскаяться. Я сама буду молить о том бога, и, что бы он ни совершил, я прощаю ему его грех; сумеет он вернуть мне долг или нет, я все равно буду молить бога простить его. Нет, нет, пагубы ему я не желаю! — И она стала молиться за меня.

— Подойдите ко мне поближе, сударыня,— говорю я и с этими словами лезу к себе в карман; она приблизилась.— Протяните руку,— говорю я, она протянула, и я положил ей на ладонь девять полукрон.— Здесь,— говорю я,— все ваши двадцать два шиллинга шесть пенсов, которых вы лишились, и знайте, сударыня, что эти деньги вы получаете только благодаря моим стараниям. С того самого дня, как в числе историй о нечестивых своих похождениях он поведал мне эту, я покою ему не давал, пока не вырвал у него обещание вернуть вам деньги.

Говоря так и передавая ей деньги, я держал ее руку, смотрел ей в лицо и видел, как она то краснеет, то бледнеет от величайшего изумления и несказанной радости.

— Благослови, господи, его грешную душу,— воскликнула она,— и, если будет на то твоя воля, избавь его от несчастья, которого он страшится! Вот уж поистине поступил как благородный человек! Вот уж не думала, не гадала.— И долго еще она так приговаривала, жалея его, пока я не сказал ей, что вряд ли есть хоть какая-нибудь надежда на спасение его жизни.

— Да принесет ему тогда господь раскаяние,— молвила она,— и призовет его на небо, ибо верю я, в глубине души его есть место добру и чести, может, просто его скверная компания

сбила с пути, или дурной пример, или еще какие искушения. Только знаю я, что все равно до смерти он придет к раскаянию.

Я принял ее слова ближе к сердцу, чем она могла себе представить, ибо человек, о котором она молилась, был я, хотя она этого и не подозревала, и в душе своей я сказал ее молитве: «Аминь!» Я же прекрасно сознавал, что было подлостью напасть на бедную беззащитную старушку и не внять ее мольбам, когда она слезно просила оставить ей ее жалкие гроши.

Одним словом, щедрые ее молитвы так растрогали меня, что заставили меня снова полезть в карман.

— Сударыня,— сказал я ей,— вы так милосердны в своих молитвах к этому несчастному, что надоумили меня сделать для него еще кое-что, пусть и без его ведома. Я буду просить у вас прощения за вора, ограбившего вас, ибо он нанес вам обиду и оскорбление, совершив несправедливость, а поэтому я хочу повиниться перед вами за него. Можете ли вы искренне и от души простить его? Я очень прошу вас об этом, сударыня.— И с этими словами я принял приличествующую позу, снял шляпу и попросил у нее прощения.

— Не надо, что вы, сударь,— сказала она,— не снимайте передо мной шляпу, я всего лишь бедная женщина, я не держу зла на него и на всех, кто был с ним, я всей душой им прощаю и бога молю простить им.

— Спасибо, сударыня,— сказал я,— за вашу доброту, вот вам еще вдобавок к тому, что вы потеряли тогда,— и с этими словами я дал ей еще крону.

Потом я спросил ее, кто была та женщина, которую ограбили вместе с ней. Она ответила, что служанка, проживавшая тогда в их городе, однако она уже ушла со своего места, а где живет теперь, старушка не знала. «Прошу вас, сударыня, если случится вам что-либо услышать о ней, велите ей оставить о себе весточку, где ее найти; коли жив буду и приду еще раз вас навестить, я возьму у него деньги и для нее, чтобы вернуть их, думается, их было не так уж много. «Нет, нет,— говорит старушка,— всего пять шиллингов шесть пенсов, мне это доподлинно известно».— «Очень хорошо,— говорю я,— так проведайте о ней, если случай будет». Она пообещала, и с тем я ушел.

От этого посещения я получил огромное удовлетворение, но сам собой напросился вывод, который заставил меня впоследствии задуматься вот над чем: а почему бы не возместить таким же путем убытки всем, кому я когда-либо нанес ущерб? Только как же это осуществить? Ответа на вопрос я не находил, и со временем порыв мой угас, потому как подобная затея была, в общем-то, невыполнима. Я не представлял себе, как к этому подступиться, и

не знал людей, перед которыми был виноват; успокоившись на время, впоследствии я забыл и думать об этом.

Теперь я подхожу к описанию путешествия с моим названым братом Капитаном Джеком. Из Лондона мы отправились пешком и в первый день дошли до Уэйра; мы хорошо изучили наш путь и знали, что он лежит через этот город; устали мы за первый день очень, так как совсем не привыкли путешествовать, однако, добравшись до города, мы все же прогулялись по нему разок.

Довольно быстро я смекнул, что эту прогулку Джек совершил вовсе не из любознательности — похвальная сия черта нисколько не была ему свойственна,— а лишь в расчете, не подвернется ли какая добыча, ибо был он жуликом от природы и ни на что не обращал внимания, кроме одного: как бы половчее что-нибудь стянуть да незаметненько унести, вот и все.

Но день был не базарный и ничего, достойного его внимания, в Уэйре не попалось; что до меня, то, хотя я не слишком угрызался, когда пил и ел на его ворованные деньги, все же я твердо решил сам к делу, как они это называли, руку не прикладывать и ничего, даже самую малость, ни у кого не красть.

Обнаружив твердое мое решение отступиться от нашего ремесла, он полюбопытствовал: а на что, собственно, я собираюсь путешествовать? Я же спросил его, подумал ли он о себе, ведь если его схватят, его ж беспременно повесят, на какой бы мелочи он ни попался. «Пустяки все это,— сказал он,— откуда им тут в деревне знать, кто я такой?» — «Ужель ты думаешь,— говорю я,— что, поймав здесь вора, они не запрашивают Ньюгетскую тюрьму, не сбежал ли от них кто, не разыскивают ли они кого-нибудь, чтобы не дать промашки? Уж будь уверен,— говорю я,— тюремщикам положено сообщаться друг с другом. И если тебя схватят здесь за воровство хотя бы корзины яиц, тут же вызовут свидетеля, чтобы он опознал тебя».

На какое-то время слова мои сильно его напугали, так что дня три-четыре он вел себя как честный человек, однако на дольше его не хватило; без моего ведома он совершил еще великое множество мошеннических проделок, пока наконец не попался, тоже без моего ведома,— впрочем, случилось это много лет спустя, о чем будет речь в своем месте; а поскольку подвиги эти причастны не к моей истории, а к его и описание их, а также всей его жизни могло бы составить увесистый том, поболее настоящего, я опускаю подробности, непосредственно не связанные с нашим и без того утомительным путешествием.

Из Уэйра мы проследовали в Кембридж, хотя он вовсе не стоял у нас на пути, а попали мы туда вот почему. По дороге, проходя деревней Пакеридж, мы остановились на постоялом дворе

под вывеской «Сокол» перекусить; пока суд да дело, туда зашел какой-то крестьянин, а коня своего он привязал у ворот. Мы заказали пива и сидели во дворе, потягивая из кружек. Хозяин, с которым мы разговорились насчет дороги в Шотландию, посоветовал нам держаться на Ройстон. «Только есть тут поворот, чуть отойдете немного,— сказал он,— так туда не идите, это поворот на Кембридж».

Мы расплатились за пиво и спокойно отдыхали, в это время вдруг подкатила господская карета, а за нею три или четыре всадника; всадники проскакали во двор, и хозяину пришлось заняться ими. «Молодой человек,— сказал он, обратившись к Капитану,— не сочтите за труд отвязать этого коня,— он имел в виду крестьянского коня, о котором уже упоминалось,— и отвести его с дороги, чтобы карета могла проехать». Джек выполнил это, а потом поманил меня к себе и говорит: «Пошли до поворота, ты ступай вперед и сворачивай, я нагоню тебя». И я направился к повороту; не прошло и нескольких минут, как он, уже верхом на коне, нагоняет меня. «А ну, быстро в седло,— говорит он,— не мытьем, так катаньем, не купили коня, так украли».

Я без труда уселся позади него, и мы поскакали во весь опор, благо конь попался добрый. Час, а то и больше мы гнали без передышки, пока не решили, что погоня нас уже не настигнет, потому как, когда крестьянин хватится своего коня, ему сообщат, что мы спрашивали дорогу на Ройстон, и он пустится в погоню именно в ту сторону, а не в Кембридж. После первой гонки в течение нескольких часов мы пустили коня потише; миновав один-два города, мы решили по очереди спешиваться, а в деревнях вдвоем вообще не показываться.

Теперь, когда у нас завелся конь, на котором можно было увезти любую добычу, искушение воровать у Капитана только выросло, ибо он просто не мог пройти мимо чего-нибудь, что плохо лежит, и не украсть; так в деревне он не мог миновать изгородь, на которой какая-нибудь усердная хозяйка вывесила сушить белье, без того, чтобы не стянуть пару, пусть даже непросохших, но крепких еще рубах, а потом, пришпорив коня, догонял меня по дороге; я тут же вскакивал позади него, и мы мчались галопом, сколько хватало у нашего коня сил. На этом этапе нашего путешествия, то ли по его вине, то ли по моей, мы сбились с пути и, когда обнаружили это, решили разузнать дорогу, но совсем заблудились и проплутали бог знает сколько, двигаясь все вправо и вправо, пока, то ли именно поэтому, то ли по причине, о которой я сейчас расскажу, мы попали наконец возле Бишоп-Стортфорда на почтовый тракт из Лондона в Кембридж. А причина, которая привела нас туда, заключалась в следующем. Вся эта местность

была сплошным хлебным полем без изгородей; когда мы поднялись на небольшую возвышенность, я попросил Капитана Джека остановить коня, чтобы я мог спешиться и немного пройтись, так как ужасно устал долго скакать позади него без стремян и хотел размять ноги. Соскочив на землю, я огляделся и увидел примерно в двух милях от нас широкую светлую дорогу, какой мы и должны были держаться.

Глянув ненароком влево, я вдруг обнаружил на этой дороге четырех или пятерых всадников, несшихся во весь опор на порядочном расстоянии друг от друга, такая поспешность явно выдавала в них преследователей.

Меня словно ударило. «Эй! Братец Джек,— крикнул я,— слезай-ка живо с коня, потом спросишь почему!» Он тут же спрыгнул и спрашивает: «В чем дело?» — «Глянь-ка туда, увидишь,— говорю я.— Вот повезло, что мы заблудились. Видишь, как они скачут, это погоня за нами, не иначе! Или они выехали из последней деревни, где ты стащил две рубахи,— говорю я,— или из самого Пакериджа, тогда они — за конем». Тут он, не дожидаясь моих приказаний и сохраняя полное присутствие духа, живо уволок коня за высокий серебристый куст чертополоха, росший рядом, чтобы преследователи его не увидели: мы ведь находились на вершине холма, и, не сделай он этого, они бы непременно заметили коня и на всякий случай поехали бы в нашу сторону.

Ну, а раз конь им был невиден, то мы и подавно — с такого-то расстояния, так как мы уселись на землю, чтобы иметь возможность разглядеть их, оставаясь сами в полной безопасности.

Дорога так извивалась, что мы еще долго видели, как они скачут, не жалея лошадей; когда они исчезли из глаз, мы поднялись и тоже поспешили убраться оттуда, и, хотя нас было двое на одном коне, скорости мы не сбавляли, где только позволяла дорога, и ни у кого не справлялись, куда нам держать путь, пока, после почти двухчасовой скачки, не достигли города, который, как выяснилось, назывался Честерфилдом. Тут мы сделали остановку и наконец спросили, но не как проехать в такое-то место, а куда ведет эта дорога, и услышали в ответ, что это и есть почтовый тракт, ведущий в Кембридж, и не только в Кембридж, но и в Нью-Маркет, и в Сент-Эдмундс-Бери, и дальше в Норидж, Ярмут, Линн, Или и далее.

В Честерфилде мы сделали передышку, так как считали себя здесь в безопасности, а ближе к вечеру направились в местечко, называемое Бернбридж, где дороги на Кембридж и Нью-Маркет разветвляются. Там было всего два дома, и тот и другой — постоялые дворы. Когда мы пришли туда, Капитан и говорит мне: «Нас ведь ищут по дороге на Кембридж, смекаешь? И ежели мы дви-

немся именно туда, нас тут и сцапают, а Нью-Маркет всего в десяти милях отсюда, и там нас никто не тронет, а может, подвернется и какое-нибудь стоящее дельце».

На это я сказал ему:

— Знаешь, Джек, чтобы ни о каких дельцах я больше от тебя не слышал! Во всяком случае, я сам ни в чем таком участвовать не стану; честно говоря, я бы предпочел доставить тебя в Шотландию до того, как на твоей шее затянется веревка. Если от меня хоть что-то может зависеть, я не допущу, чтобы тебя вздернули тут в Англии, поэтому не пойду с тобой в Нью-Маркет, если ты не дашь мне слова вести себя там чинно-благородно.

— Что ж,— говорит он,— раз надо, так надо, по я надеюсь, ты хоть позволишь мне раздобыть второго коня, чтобы мы могли побыстрей передвигаться, а?

— Нет,— говорю я,— я против этого, а вот, если ты разрешишь мне честно вернуть нашего коня хозяину, я научу тебя, как поступить дальше: ведь можно нанять лошадей на один-два перегона, а там ехать на них сколько потребуется, надо будет только отправить владельцу письмо, чтобы он прислал за лошадьми, и тогда, даже если нас задержат, опасаться нам особенно нечего.

— Ну и хитер ты! — говорит Капитан.— Но я-то считаю, что лучше оставить все, как есть. Стоит нам уехать отсюда, и нам уже ничего не грозит, на дороге нас не задержат.

Мы быстро кончили наш спор, однако среди ночи в ворота соседнего постоялого двора — как я уже упоминал, там их было два — постучал какой-то человек и потребовал пива, но слуги уже легли и вставать с постели не пожелали; тогда он спросил, не проезжали ли тут случаем два молодца верхом на одном коне. И хозяин ответил, что проезжали днем и еще спрашивали дорогу на Кембридж, а задерживаться не стали, только выпили кружку пива. «Ах, вот что, они, стало быть, поехали в Кембридж? Ну, теперь я их живо нагоню!» Мне не спалось на нашем тесном чердаке, и только я услышал, что в ворота соседнего постоялого двора стучат, я тут же вскочил и бросился к окну; любой шум повергал меня тогда в смятение, потому мне и удалось все услышать. Да, дело было ясное, наш час еще не пробил, судьба распорядилась иначе, и опасность на этот раз обошла нас стороной. А все обстояло вот каким образом: прибыв в Бернбридж, мы зашли на первый постоялый двор, чтобы спросить дорогу на Кембридж, выпили кружку пива и ушли; люди видели, как мы тут же направились в указанном направлении, однако близилась ночь, мы изрядно устали, подумали, что можем заблудиться, и вернулись, уже со-

всем в сумерках, но не на тот же постоялый двор, а на другой, который теперь, на обратном нашем пути, был ближе.

Можете вообразить себе, как я испугался, тем более что причины к этому были; Капитан крепко спал в своей постели, но я разбудил его, растолкав так яростно, что он не на шутку перепугался. «Вставай, Джек! — сказал я.— Мы пропали! Они пришли сюда за нами». Может, не стоило нагонять на него такого страху, ибо он соскочил с кровати и, не соображая, где он и что с ним, кинулся к окну; он еще не успел как следует проснуться и хотел тут же выпрыгнуть на улицу, но я вовремя схватил его. «Ты что хочешь делать?» — спросил я. «Я им не дамся,— ответил он,— отпусти меня! Где они?»

Он был в полном замешательстве и совсем потерял голову от страха, мне стоило больших трудов не позволить ему выброситься из окна, так как он все еще находился во власти сна. Но я крепко держал его, и тем временем он окончательно проснулся, пришел наконец в себя и успокоился.

Я рассказал ему все, и, сидя на краю кровати, мы долго обсуждали, как же нам поступить. В общем-то, поскольку тот человек, очевидно, отправился в Кембридж, особенно нам опасаться было нечего, можно было спокойно дождаться утра, а тогда вскочить на коня — и поминай как звали.

Так мы и сделали; едва забрезжил рассвет, мы были уже на ногах. К счастью, мы заранее спросили дорогу на первом постоялом дворе, и нам сказали, что на Кембридж надо свернуть по дороге налево, а на Нью-Маркет идти все время прямо. Итак, помня об этом, Капитан предложил мне, что выйдет пешком и в одиночку направится в Нью-Маркет, таким образом, я буду уезжать как бы один. И он тут же отправился, как уговорились, и зашагал прочь по дороге; он шел так быстро, что, когда я последовал за ним, у меня было мелькнула мысль, не бросил ли он меня, так как, хотя я гнал во весь опор, прошел почти час, а его все еще не было видно. Наконец, миновав крутой откос, прозванный Чертовой Ямой, я нашел его и велел садиться позади меня на коня. Так мы и ехали вместе верхом почти до самой окраины Нью-Маркета. В городе возле первого же дома у дверей стояла лошадь, совсем как тогда в Пакеридже. «Эх,— говорит Джек,— встреться нам этот конь уже при выезде из города, я бы прихватил его, точно как того, в Пакеридже!» Но тут он этого не мог, а потому, спешившись, пошел через город пешком, держась все время правой стороны дороги.

Не успел он проделать полпути, как лошадь каким-то чудом сама отвязалась и преспокойно затрусила рысцой, однако никто ее не хватился. Когда лошадь очутилась далеко впереди Капитана и он увидел, что следом никто не бежит, он тут же сам при-

пустил за пей; в таких делах он в подсказке не нуждался. Услышав его шаги за собой, лошадь затрусила быстрей, тогда Капитан стал кричать: «Остановите лошадь!» К этому времени лошадь уже почти достигла противоположного конца города, а в доме, возле которого она была привязана, никто ее так и не хватился.

На его крики «Остановите лошадь!» бедные горожане, случившиеся тут на улице, сбежались с обеих сторон дороги и с великой готовностью поймали и держали ее, пока Джек не подошел. Он с сердитым видом приблизился к лошади, отвесил ей пару тумаков и обозвал скотиной за то, что сбежала, а человеку, поймавшему ее, протянул два шиллинга, потом вскочил верхом и поскакал вслед за мной.

Вышел на редкость чудной случай: не Капитан облюбовал себе эту лошадь, а лошадь — Капитана, и когда он подъехал ко мне, то спросил: «Ну, что ты скажешь о такой удаче, Полковник Джек? Не станешь же настаивать, чтобы я отказался от лошади, которая так любезно сама предложила мне на ней прокатиться?» — «Да нет, конечно,— сказал я,— эту лошадь ты добыл смекалкой, а не обманом, можешь и дальше на ней скакать, и, пожалуй, если нас схватят, тебе даже меньше угрожает опасность, чем мне».

Теперь встал вопрос, какой дорогой ехать. Перед нами расходились четыре дороги, но какую выбрать, мы не знали. Первая, справа, в какой-нибудь миле от города, вела на Сент-Эдмундс-Берп; та, что шла прямо, а потом сворачивала вправо, тянулась до Батн-Миллза, Тетфорда и дальше до Нориджа; прямо перед нами лежала широкая дорога на Брендон и Линн, а слева шла дорога поуже на Или, которая вела потом к Фенам.

Короче говоря, не зная, какую дорогу выбрать и каким путем добраться до главного Северного тракта, с которого мы сошли, мы двинулись наугад в сторону Брендона, а следовательно, на Линн. В Брендоне, или, как его еще называют, в Бренде, нам сказали, что, когда мы оставим позади местечко, именуемое Даунэмбридж, мы сможем пересечь Фены, чтобы выйти к Уизбичу, а уж оттуда берегом реки Нин добраться до Петерборо и дальше до Стамфорда, где мы снова попадем на Северный тракт. Кроме того, из Линна мы могли переправиться через залив Уош в графство Линкольншир и дальше держать путь на север. Так или иначе, а в мой обычай вошло, уж коли спрашивать о дороге, никогда ею не следовать, а выбирать совсем иную, какую мог подсказать случайный разговор. Так мы поступили и на этот раз: расспросив о том, как попасть на Северный тракт, мы решили отправиться прямиком в Линн.

Мы тихо-мирно прибыли туда, но, когда стали обсуждать, каким путем ехать далее, обнаружили, что выбора нет, и нам при-

дется добираться до Линкольнширского графства через залив Уош, а это считалось опасным. Но случай помог нам: одному человеку тоже предстоял путь через Фены, и мы наняли его в качестве провожатого. Вместе с ним мы доехали до Сполдинга, оттуда в городишко под названием Дипинг и далее в Стамфорд, что в графстве Линкольншир.

Стамфорд — большой, густо населенный город. Приехали мы туда как раз в базарный день и остановились в скромной гостинице на самой окраине, а оттуда уже пошли в город.

Удержать Капитана от излюбленных его проделок было невозможно, и душа у меня была не на месте. Я сразу заявил ему, что не пойду с ним, ибо он все равно не сдержит своего слова, а мне слишком хорошо известна его склонность к рискованным поступкам, и это меня беспокоит, поэтому я шагу из дому не сделаю. Но разве его убедишь? Все было напрасно, он отправился на рынок и живо отыскал там то, что ему надо было. О том, как он обчистил там за четверть часа два чужих кармана, как приволок в наше пристанище два куска голландского полотна в восемь или девять элей и шерстяной отрез да обделал еще три-четыре таких же дельца менее чем за два часа, а потом еще успел ограбить доктора и вышел сухим из воды — все это, как мне уже доводилось говорить вам, относится к его истории, но не к моей.

Я крепко отругал его, когда он вернулся, и заявил ему, что он погубит и себя и меня, если не оставит это занятие, и наговорил ему много слов, пригрозив бросить его, а самому вернуться в Пакеридж, чтобы отвести назад коня, которого мы там позаимствовали, и потом направиться в Лондон одному.

Он пообещал исправиться, но так как мы решили отныне путешествовать только по ночам (мы уже достигли главного тракта), а ночь еще не наступила, он опять ускользнул от меня, и не прошло и получаса, как вернулся с золотыми часами. «Ты еще не готов? — спрашивает.— Я могу отчалить в любую минуту, как ты соберешься».— И с этими словами он вытаскивает золотые часы. Я был поражен: откуда тут в глуши взялась такая дорогая вещь? Но, оказывается, он зашел в церковь, где шла вечерняя служба, и по воле случая сел рядом с богатой дамой, у которой незаметно сбоку и срезал часы, а потом удрал с ними.

В ту же ночь, как только взошла луна, мы двинулись в путь, но перед тем потешились на славу, когда услышали объявление констебля, что за часы, если их вернут, обещают вознаграждение в десять гиней. Капитану очень хотелось получить вместо часов десять гиней, однако у него духу не хватало отнести их. «Что ж,— сказал я,— у тебя есть все основания бояться, лучше дай их мне,

я рискну вернуть их владельцу». Но он мне их не дал, а сказал, что, когда мы доберемся до Шотландии, мы сможем без опаски продать что угодно, и это оказалось правдой: лишних вопросов там нам не стали задавать.

Итак, мы выехали поздно вечером при луне и, скача во весь опор, благо дорога была ровная и широкая, прибыли в Грантам что-то около двух часов пополуночи. Город еще спал мертвым сном, и мы отправились дальше в Ньюарк, которого достигли часов в восемь утра; там мы легли спать и проспали почти весь день — и слава богу, не то, боюсь, я не сумел бы удержать его от его обычных пагубных поступков.

Из Ньюарка, случайно подслушав, как какой-то человек рассуждает о сравнительных достоинствах дорог, мы выбрали самую подходящую для нас, что вела в Ноттингем. Для этого мы свернули с главного тракта и двинулись берегом Трента вверх по течению, пока не достигли Ноттингема. Здесь Капитан опять принялся за свои проделки, столь наглые, что я диву давался, как это он ухитряется уйти целым и невредимым. Добыча его была столь велика, что ему пришлось купить чемодан и все сложить туда. Мои попытки урезонить его оказались тщетными, и с этих пор он вел себя уже совсем независимо.

Повторяю, в Ноттингеме Капитан действовал так успешно, что мы были вынуждены выбираться оттуда скорее, чем предполагали, не то бы нас задержали и препроводили в тюрьму. Покинув Ноттингем, мы опять сошли с главного тракта, ведшего на север, и, миновав Мансфилд, прибыли в Скарсдейл, а потом в Йоркшир.

Более я не намерен отвлекаться от моей истории, чтобы расписывать проделки Капитана, они вполне заслуживают отдельной книги, я остановлюсь лишь на том, что было связано с нашим путешествием. В двух словах: я старался как можно скорее добраться с ним до города Лидса в Йоркширском графстве; несмотря на то что Лидс большой и населенный город, Капитану ничего не удалось там стянуть, равно как в Уэйкфилде, в результате чего он заявил мне, что все люди тут на севере не иначе как сами жулики. «Почему же? — удивился я.— Люди как люди».— «Ну, нет уж! — сказал он.— Они так зыркают по сторонам, ушки на макушке, будто каждый встречный у них карманник, не то с чего им всех подозревать? А и то сказать,— добавил он,— что у них красть-то, они же все нищие, и, боюсь, чем дальше на север, тем будет хуже».— «Так какой же ты делаешь из этого вывод?» — спросил я. «А такой,— отвечал он,— что нечего нам тут околачиваться, какая разница, вернуться нам на юг, чтоб нас там вздернули, или идти дальше на север и подохнуть с голоду?»

И вот мы наконец попали в Ньюкасл-на-Тайне. В базарный день тут полным-полно народу, многие из горожан отправляются на рынок закупать провизию, и Капитану было где порезвиться; сначала он надул какого-то лавочника, набрав у него фунтов на пятнадцать — шестнадцать товару, и смылся с ним; стащил лошадь, а свою, приблудную, продал, словом, столько дел натворил, что я за него натерпелся-таки страху. Я говорю за него, потому как сам я держался в стороне и не покидал нашей гостиницы, а если и выходил, то, уж во всяком случае, не с ним, а с кем-нибудь из постояльцев или из прислуги, чтобы, в случае чего, спутник мог засвидетельствовать мою невиновность.

Я не зря проявлял такую осторожность, так как он слишком уж увлекся своими мошенническими проделками и в любой момент мог попасться. Если бы только он с самого начала не ловчил, сообщая всем и каждому, что приехал из Шотландии и держит путь в Лондон, расспрашивая о дороге туда и всяком таком прочем, чем в первый день сбил с пути своих преследователей, его бы непременно схватили и, по всей вероятности, повесили бы тут же на месте. Однако благодаря своей изобретательности он выиграл у них полдня, и все-таки дело кончилось тем, что он вынужден был броситься в реку Твид, как был на коне и в одежде, и, только перебравшись вплавь, ушел от погони. Правда, он уже находился на шотландской земле, и его не так-то просто было схватить,— любой мог вмешаться и воспрепятствовать этому. И все же, если бы погоня продолжалась, его бы настигли и рискнули бы забрать, а отпустили лишь после тщательного дознания.

Так или иначе, ему удалось переплыть Твид и благополучно пристать к берегу, а преследователям пришлось оставить погоню, так как вода в Твиде у места переправы стояла слишком высокая, да ежели бы опи его и настигли, им бы ни за что не переправить его обратно на свой берег.

В том месте, где он переплыл реку, чуть пониже города Келсо, обычно был брод, да только из-за высокого паводка пельзя было им воспользоваться, а времени, чтобы добраться до перевоза, который находился примерно в двухстах ярдах, как раз напротив самого города, у Капитана не хватило. Уйдя таким образом от погони, он направился в Келсо, куда, как мы условились, должен был приехать вслед за ним и я.

С тяжелым сердцем отправился я в путь, опасаясь в любую минуту встретить его на дороге под конвоем в сопровождении констеблей или же услышать весть, что он попал в тюрьму. Однако, прибыв в местечко Уоллербохед, на границе Англии и Шотландии, я узнал, как ему удалось скрыться.

Прибыв в Келсо, я без труда отыскал его, поскольку его отчаянная переправа вплавь через бурный и широкий Твид вызвала немало толков, хотя, судя по всему, там не знали, что заставило его сделать это и кто он вообще такой, поскольку у него хватило ума помолчать и, пока я не приехал туда, жить тихо-скромно.

Не могу сказать, что я так уж обрадовался, найдя его целым и невредимым, поскольку имел зуб на него за его поведение; хуже того, я понял, что он вовсе не считает свои поступки в сложившихся обстоятельствах безрассудными и прямо противоречащими тому, что он обещал мне.

Но, толкуй не толкуй, ему все было без пользы, и я только поздравил его со счастливым избавлением и спросил, как он намерен жить здесь. Он в двух словах ответил, что пока не знает и боится, что люди здесь чересчур бедные, но если у них водятся хоть какие-нибудь деньжонки, он уж наверняка ими разживется.

«А тебе известно,— сказал я,— что никто строже шотландцев не относится к преступникам, вроде тебя?» Но он ответил, по своему обыкновению, нахально, что плевать он на это хотел, все равно он попытает счастья. На это я заявил ему, что, раз так, раз он решил во что бы то ни стало рисковать, я его бросаю и возвращаюсь в Англию. Он казался угрюмым, но, может быть, это было лишь проявлением всегдашней его грубости и дурного нрава, и сказал, что я могу поступать, как мне заблагорассудится, а он будет искать своей удачи. И все-таки в этот раз мы не расстались, а продолжали вместе путь к здешней столице. По дороге мы наблюдали картины такой ужасной бедности и так редко встречали людей, чей вид сулил нам хоть какую-нибудь добычу, что, хотя его орлиной зоркости можно было позавидовать, он так и не приметил ничего, чем бы стоило поживиться. Что касается мужчин, было непохоже, чтобы у них водились деньги, а женщины рядились в такую одежду, что, имей они денег полные карманы или хотя бы просто карманы, добраться до них было бы все равно невозможно, так как все они носили длинные пледы, которые доходили им до колен, и так плотно в них кутались, что обчистить их и пытаться не стоило.

Келсо оказался и впрямь славным городом, и народу там проживало много, а все-таки, хотя Капитан уже провел в нем одно воскресенье и побывал в церкви, причем в церкви очень большой и битком набитой людьми, он не увидел там ни одной женщины, как он мне потом рассказывал, в иной одежде, чем плед, разве что на двух скамьях со спинками, где расположились знатные горожане, но когда они покинули церковь, то оказались со всех сторон окруженными лакеями и слугами, так что к ним было не подступиться, словно к королю, окруженному своей гвардией.

Все это сильно охладило его пыл, чему я в глубине души был рад, мы покинули Келсо и направились в Эдинбург. По дороге туда нам не встретилось ни одного мало-мальски стоящего города, и путешествие для нас оказалось на редкость трудным, поскольку места нам были незнакомы, а на пути встречались реки, которые из-за проливных дождей разлились, и переправляться через них было опасно; так, возле местечка Лодердейл Капитан чуть не утонул, когда поток воды поволок его коня и конь под ним упал; он промок насквозь и совершенно испортил наворованное добро, которое раздобыл еще в Ньюкасле и которое чудом не намочил в воде, переплывая Твид, потому что держал его высоко над водой. На этот раз еще бы немножко — и он вместе с конем пошел бы ко дну, но не потому, что там было глубоко, а слишком уж бурный оказался поток. Однако он выплыл, правда, не без труда, словно про него сказано: кому на роду написано иное, тот не утонет. А что было написано ему на роду, я сообщу в своем месте.

Мы прибыли в Эдинбург на третий день после отъезда из Келсо, задержавшись по дороге на целый день в местечке Саутра-Хилл, на постоялом дворе, чтобы просушить все наши вещи и подкрепиться. Странная встреча ждала нас в Эдинбурге на другой же день после нашего прибытия туда. Моему другу Капитану захотелось выйти погулять, чтобы поглядеться, и он предложил мне, не хочу ли и я пойти с ним осмотреть город. Я согласился, мы вышли и, пройдя через ворота, которые называют там Нижней Аркой, попали на широкую Главную улицу, тянувшуюся до самого Перекрестка; нас удивило, что улица запружена несметным числом людей. «Нам повезло!» — сказал Капитан. Однако еще перед выходом я заставил его поклясться, что в этот день он обойдется без своих проделок, иначе я вообще не пойду с ним, и я держал его за рукав и не отпускал от себя ни на шаг.

Наконец мы добрались до Перекрестка Меркарта и, затесавшись в толпу, наблюдали грандиозное сборище, что-то вроде парада или смены почетного караула, в котором были представлены все ранги и звания, так что мой Капитан снова оживился, любуясь на эту картину.

Пока мы стояли и смотрели, гадая, что же сие означает, перед нами предстала новая удивительная картина, которой мы никак не ожидали; мы заметили, что все люди вдруг побежали, словно увидели на улице какое-то чудо. Это и в самом деле оказалось чудо: перед нашими глазами, словно ветер, пронеслись два человека, обнаженные до пояса, и мы подумали было, что это всего-навсего состязаются на какой-нибудь особый приз два бегуна, но тут неожиданно наше внимание привлекли два длинных тон-

ких то ли капата, то ли веревки, которые поначалу свисали свободно, а потом туго натянулись, отчего оба бегуна вдруг сразу остановились и застыли в неподвижности один подле другого. Мы не понимали, что все это значит, и читатель может вообразить себе наше изумление, когда мы увидели, что за ними следует еще один человек, который держит в руках концы этих веревок; подойдя к бегунам, он ударил их со всего размаха железной плеткой или бичом, после чего эти голые страдальцы опять продолжали свой бег на длину привязи, то есть веревки, в конце которой их ждало подобное же вознаграждение. Таким манером они прошли всю улицу, которая протянулась почти на полмили.

Это был наглядный урок моему другу Капитану! И он волей-неволей не только задумался о том, что́ с ним случится, если он оплошает на избранной им стезе, но вспомнил также, что пришлось ему пережить еще совсем мальчишкой в небезызвестном месте, именуемом Брайдуэлл.

Однако на этом дело не кончилось: поскольку нам случилось увидеть экзекуцию, мы захотели удовлетворить свое любопытство и выяснить, чем они провинились, и мы спросили у парня, стоявшего рядом с нами, что сделали эти два человека, чтобы заслужить такое наказание. Парень этот, обтрепанный, угрюмого вида шотландец, угадав по нашему разговору, что мы англичане, а по нашим вопросам, что мы люди пришлые, сообщил нам не без ехидства, что оба преступника — англичане и заслужили наказание плетьми за то, что обчищали карманы и совершали прочие мелкие кражи и что отсюда их отошлют через границу в саму Англию.

Все это оказалось чистым враньем и было подсказано его откровенным желанием оскорбить англичан, ибо, продолжая расспросы, мы выяснили, что оба преступника — шотландцы и заработали кнут такими же преступлениями, за какие и у нас в Англии дают подобное наказание, а что человек, который держал веревку и стегал их,— это городской палач и, к слову сказать, весьма видное должностное лицо, он получает постоянное жалованье и является человеком состоятельным, зарабатывающим большие деньги на этой службе.

И все-таки зрелище произвело на нас тягостное впечатление. Обернувшись ко мне, Капитан сказал: «Пошли отсюда! Не хочу я больше здесь оставаться, пошли!» Я был рад услышать от него эти слова, хотя не очень-то верил, что он и в самом деле хотел уйти. И все-таки мы возвратились на квартиру, которую сняли там, и старались поменьше показываться на улице, и выходили только иногда по вечерам, но Капитану так и не подвернулось стоящего дела. Правда, раза два-три он разживался кой-какой ме-

лочишкой у бакалейщика или булочника, но потом сам не знал, что с этим делать. Коротко говоря, он был просто вынужден блюсти честность, вопреки его доброй воле, которая стремилась совсем к иному.

Мы прожили в Эдинбурге что-то около месяца, когда мой Капитан внезапно исчез, вместе с конем и всем прочим, и я понятия не имел, что с ним такое стряслось. В течение восемнадцати месяцев я не видел его и ничего о нем не слыхал, поскольку он даже не оставил мне записки, куда он направился и вернется ли снова в Эдинбург.

Я счел его бегство ужасной низостью, так как, будучи чужим в этих местах, совершенно не знал, что мне делать, а к тому же и деньги мои понемногу таяли. Да еще на моих руках оставалась лошадь, которую надо было кормить, а поскольку лошади в Шотландии стоят гроши, мне не удалось сбыть ее за приличную цену. Правда, про себя я решил, что, ежели я вернусь в Англию, я возвращу коня его владельцу из Пакериджа, что возле Уэйра, и таким образом можно будет считать, что я не нанес ему никакого ущерба, разве что пользовался его конем слишком долго. И я выполнил это мое намерение, и даже очень ловко.

Как-то раз на конский двор (так в Эдинбурге называют место, где можно оставить коня на прокорм) пришел один человек и поинтересовался, не слышал ли кто про лошадей, которых надо вернуть в Англию. Господин (так мы называли нашего хозяина) тут же обратился ко мне и напрямик спросил, мой это на самом деле конь или не мой. Вопрос прозвучал странно, особенно если вспомнить, как все произошло, и поначалу озадачил меня. И я говорю: а что, собственно, случилось, почему он спрашивает? «А потому,— говорит он,— что ежели он взят напрокат в Англии, как это часто делаете вы, англичане, когда собираетесь ехать в Шотландию, то я вам помогу вернуть его на место да еще заработать кое-что на этом». И он все мне объяснил.

Я очень обрадовался такой возможности. Короче говоря, убедившись в надежности человека, который должен был доставить коня на место целым и невредимым, получив с него пятнадцать монет чистоганом за то, что он будет ехать всю дорогу верхом, и уладив таким образом это дело, я велел ему оставить коня в Пакеридже возле гостиницы под названием «Сокол». Как выяснилось несколько лет спустя, там он его честно и оставил, так что владелец получил своего коня назад, словно выиграл; правда, за то, что им пользовались, он ничего не получил.

Освободившись таким образом от необходимости кормить лошадь, не зная, чем мне заняться, я стал размышлять над своей судьбой и дальнейшим существованием. Свои денежные запасы я

не очень истощил: хотя всю нашу длинную дорогу я старательно избегал принимать участие в рискованных проделках Капитана, однако не стеснялся жить на его счет, и это было бы вполне справедливо, учитывая, что я покинул Англию, только чтобы составить ему компанию, если бы я не знал достоверно, что все расходы на меня он оплачивает из карманов честных людей и что все это время я, по сути, являлся укрывателем краденого. Однако, повторяю, не так я был воспитан, чтобы испытывать из-за этого угрызения совести.

Я не столь уж близко принимал к сердцу сокращение моих богатств, так как всегда помнил о резерве, оставленном в Лондоне, и тем не менее я всей душой рвался к настоящему делу, чтобы жить на честно заработанные деньги, ибо меня совершенно измотала бродячая жизнь, какую я вел, и я твердо решил про себя больше никогда не воровать, но мне тут же пришлось отказаться от двух-трех дел, какие подвернулись, так как я не умел ни читать, ни писать.

Меня это очень огорчило; к счастью, мне на помощь пришел тот самый хозяин конского двора, о котором я уже упоминал, и вот каким образом: он отвел меня к одному бедному юноше, который взялся научить меня и писать и читать за довольно короткий срок и за недорогую плату, если только я буду стараться. Я пообещал приложить все усилия и тут же принялся за работу, но вскоре обнаружил, что научиться писать для меня намного труднее, чем читать.

Тем не менее через полгода или около того я уже вполне сносно читал и писал, настолько, что счел себя пригодным для службы, и в результате поступил временно в помощники к одному таможенному чиновнику, но так как никаких особенных обязанностей он на меня не возложил, а только велел возить из Лита в Эдинбург и обратно счетные книги разных фермеров, которые он вел на своей таможне, он предоставил мне до получения первого заработка жить на свой счет, и я очень скоро израсходовал свои скудные сбережения на одежду и пищу. И вот незадолго до окончания года, когда мне уже причиталось получить с него двенадцать английских фунтов, моего хозяина вдруг прогнали с места и, что еще ухудшало дело, обвинили в каких-то злоупотреблениях, и он был вынужден искать прибежища в Англии, так что мы, его помощники, а нас было у него трое, оказались предоставленными сами себе.

Меня, очутившегося в чужой стране, происшедшее привело в крайнее уныние. Конечно, я мог вернуться в Англию на английском судне, которое швартовалось тогда неподалеку, к тому же мой хозяин предложил оплатить за меня дорогу (после того, как

я сообщил ему, в каком отчаянном положении нахожусь), взяв с меня слово, что по приезде я верну ему эти десять шиллингов, но тут вдруг объявился мой друг Капитан, и при таких обстоятельствах, которые не позволяли ему тут же уехать из города, а мне бросать его на произвол судьбы. Выходило, нам и впредь суждено было идти одним путем.

Я уже говорил, что он сбежал от меня и не появлялся восемнадцать месяцев. За это время где только он не побывал и чего только с ним не приключалось! Сначала он отправился в Глазго, выкинул там несколько на редкость наглых своих номеров и только чудом избежал виселицы, потом переправился в Ирландию, долго скитался, пока не превратился в настоящего разбойника с большой дороги, и, совершив ряд грязных преступлений, спасся бегством из Лондондерри прямо на север в Шотландские горы, а примерно за месяц до того, как я очутился в бедственном положении по вине моего бывшего хозяина, который бросил меня в Лите, гляжу: мой доблестный Капитан появляется там на пароме прямиком из Файфа — после всех своих приключений и побед он удостоился чести стать пехотинцем в отряде рекрутов, набранных на севере для дугласовского полка.

В результате несчастья, свалившегося на меня, я находился почти в таком же плачевном положении, как сам Капитан, и потому не видел для себя иного выхода, во всяком случае в тот момент, чем тоже стать солдатом. Таким образом, мы оказались в одном строю, каждый с мушкетом на плече, и, должен признаться, мне это, в общем-то, пришлось по душе даже больше, чем я ожидал, потому как хотя кормили и размещали нас плохо, особенно последнее — такая уж судьба у бедняги солдата,— но для меня, привыкшего когда-то спать в золе на стекольном заводе, это не имело большого значения, зато я был очень доволен, что мне не надо больше воровать и жить в вечном страхе перед тюрьмой или перед бичом палача: после того, что я увидел в Эдинбурге, мысль о подобном наказании наполняла мое сердце ужасом. Для меня было невыразимым облегчением сознавать, что отныне я буду вести жизнь честную и, можно сказать, вполне приличествующую дворянину.

Казалось бы, все устроилось хорошо, однако обстоятельства внезапно изменились, и я уже не мог считать их благоприятственными. По прошествии шести месяцев вдруг было объявлено, что все рекруты отправляются маршем в Англию и то ли из Ньюкасла, то ли из Гулля отплывут на судах, чтобы прибыть в полк, находящийся во Фландрии.

Должен вам признаться, что поначалу я был в полном восторге от солдатской жизни, я с такой легкостью овладевал учением,

что сержант, обучавший нас обращению с оружием, заметив мои успехи, осведомился, не случалось ли мне прежде иметь дело с оружием. Я ответил ему, что никогда не случалось, тогда он воскликнул: «Нет, ты шутишь! Тебя ведь все называют Полковником, и я уверен, ты им будешь, а может, ты приемыш какого-нибудь полковника? Иначе с одного-двух раз тебе ни за что бы не справиться с мушкетом так ловко».

Мне это чрезвычайно польстило и подняло мой дух, однако, когда Капитан пришел и сообщил мне новость, что нам предстоит поход в Англию, чтобы из Ньюкасла-на-Тайне отплыть затем во Фландрию, я был очень удивлен, и мысли мои потекли по новому руслу. Во-первых, я вспомнил особое положение Капитана, который не мог появляться публично на улицах Ньюкасла, а ему бы пришлось это сделать, если бы он отправился в поход с батальоном (наш отряд насчитывал уже более четырехсот человек и поэтому стал называться батальоном, хотя все мы были рекрутами, приписанными к разным ротам, действовавшим на чужбине), повторяю, ему предстояло передвигаться со всеми вместе и со всеми открыто появиться в городе, а следовательно, его могли там схватить и передать властям. Во-вторых, я вспомнил, что в Лондоне у меня имеется почти что сто фунтов, и, если бы откровенно спросить хоть кого из целого полка, согласился бы он отправиться во Фландрию рядовым, имей он в кармане сто фунтов, я уверен, ни один не ответил бы положительно.

В то время ста фунтов хватило бы, чтобы купить себе офицерское звание в любом новом полку, однако не в нашем, уже сформированном. Честолюбие во мне взыграло, и теперь я мечтал лишь об одном, как бы из честного солдата превратиться в господина офицера.

От сознания же столь рокового стечения обстоятельств я приуныл; мне, честно говоря, так не хотелось отправляться во Фландрию простым солдатом с мушкетом за плечом, чтобы сложить там свою голову за какие-нибудь жалкие три шиллинга шесть пенсов в неделю! Целыми днями я только и делал, что размышлял о нашей отправке, прикидывая так и эдак, что же предпринять, как однажды вечером подходит ко мне Капитан и говорит: «Слушай, Джек, мне надо с тобой потолковать! Пойдем-ка погуляем где-нибудь в поле, подальше от этих домов». Квартировали мы в местечке под названием Парк-Энд, что возле города Данбар, примерно в двадцати милях от Берика-на-Твиде, в шестнадцати милях, если по прямой, от самой реки Твид.

Вышли мы вдвоем и серьезно обсудили наше положение. Ка-

питан объяснил мне свои трудности, что ему никак нельзя идти с батальоном через Ньюкасл, не то его прикажут вывести из строя и приговорят к смерти, а я и без него все это знал.

— Если бы я отправился в Ньюкасл один,— сказал он,— я бы мог благополучно пройти через город, но появиться там открыто — это все равно, что самому кинуться в пропасть.

— Что верно, то верно,— согласился я.— Как же тебе теперь быть?

— Как! — воскликнул он.— Уж не думаешь ли ты, что мне до того дорога солдатская честь, что во имя ее я добровольно пойду на виселицу? Как бы не так! — говорит он.— Я твердо решил ретироваться и не прочь тебя прихватить с нами.

— Что значит «с нами»? — спросил я.

— Да есть тут один честный малый, тоже англичанин,— говорит он,— который тоже решил бежать. Он уже давно служит в полку и говорит, ему хорошо известно, зачем нас посылают во Фландрию, а потому он туда не поедет, нет уж, сказал он, пусть отправляются без него.

— Да, но вас же расстреляют за дезертирство, коли схватят,— говорю я,— за вами тут же во все концы вышлют погоню, и вам от нее не уйти.

— Ну, моему приятелю хорошо знакома эта дорога, и он берется вывести нас к берегу Твида, те даже не успеют напасть на наш след, а когда мы окажемся на другом берегу Твида, они уже не смогут схватить нас.

— Когда же вы собираетесь бежать? — спросил я.

— Прямо сейчас,— отвечал он.— Нельзя терять ни секунды, и ночь стоит ясная, лунная.

— Но у меня нет с собой вещей,— говорю я,— можно, я схожу за своим платьем и всем прочим?

— Платье это пустяки,— говорит он.— В Англии мы запросто раздобудем новое известным тебе путем.

— Нет, никаких известных мне путей,— сказал я.— Из-за них мы сейчас и попали в беду.

— Ну, ну, потише,— говорит он,— лучше следовать нашей проторенной дорожкой, чем помирать с голоду честным джентльменом!

— Так у нас ведь ни гроша в кармане,— говорю я.— Как же мы будем путешествовать?

— У меня кой-что есть,— говорит Капитан,— до Ньюкасла дотянем да по дороге еще раздобудем, а нет, так наймемся на любой угольщик и попадем тогда в Лондон по морю.

— Вот это мне нравится больше всех твоих предложений! — сказал я.

Я согласился бежать с ним, и мы тут же отправились в путь. Этот хитрый мошенник велел своему напарнику пройти вперед милю и дожидаться его у подножия холмов и меня слово за слово увлек ю той же дороге, так что, когда мы уже почти пришли к согласию, он и говорит: «Смотри, вон мой приятель!» — тот был уже недалеко, и я сразу же узнал его, так как видел его раньше среди рекрутов.

Итак, мы уже находились у подножия холмов. Добрая миля пути осталась позади, а день только-только занимался, но шагу мы не сбавляли, рассчитывая, по возможности, уйти от погони еще до того, как нас хватятся или проведают что о нашем бегстве.

Мы шли так быстро, что уже к пяти часам утра достигли какой-то деревушки, не помню, как она называлась, и там нам сказали, что до реки Твид от нее всего восемь миль, а сто́ит нам перебраться на другой берег, и мы на английской земле.

В деревушке мы перекусили и, немало не медля, отправились дальше, однако лишь в половине девятого мы вышли к Твиду, потому как, вместо обещанных восьми миль, нам пришлось пройти, по крайней мере, шестнадцать. Тут мы нагнали еще двоих из нашего батальона, которые дезертировали из Хаддингтона, где квартировала часть рекрутов.

Эти двое были шотландцами, совсем бедными, без гроша в кармане; когда они собрались бежать, на двоих у них было всего восемь шиллингов. Они как увидели нас, так сразу узнали, что мы из того же батальона, и подумали, что нас выслали за ними в погоню, чтобы схватить их, поэтому они решили защищаться, благо им, как и нам, успели выдать в отряде по шпаге: ни лошади, ни мундира — только шпагу. Мундир мы должны были получить лишь по прибытии в полк, стоявший во Фландрии.

Мы быстро дали им понять, что находимся точно в таком же положении, что и они, и тут же объединились в одну дружную компанию. Позволив себе небольшую передышку на английском берегу реки (мы чувствовали себя смертельно усталыми, да и те двое вымотались не меньше нашего), повторяю, позволив себе небольшую передышку, мы двинулись в направлении Ньюкасла, поскольку уже приняли решение добираться оттуда до Лондона морем, так как денег у нас больше не было.

Мы находились в очень стесненных обстоятельствах, хотя на крайний случай я приберег один золотой и держал его в кармане, но это было всего полгинеи; а все наши расходы взял на себя Капитан, пока деньги у него не вышли; таким образом, в Ньюкасл мы прибыли с шестью пенсами на всех, и по дороге шотландцы даже просили милостыню.

Явиться в Ньюкасл мы решили под вечер, когда сгустятся сумерки, но даже в этот час мы не рискнули показаться в людной части города, а спустились вниз к реке, в предместье, где находились стекольные заводы. Не зная, куда нам податься, мы, однако, не унывали, а предоставили себя своей судьбе, и она завела нас в трактир. Мы сели и спросили пинту пива.

Распоряжалась в трактире женщина, во всяком случае, другого хозяина мы не видели; она показалась нам сердечной, веселой и гостеприимной, и мы рискнули выложить ей все наши обстоятельства и спросили, не может ли она порекомендовать нам владельца какого-нибудь угольщика, которым мы можем добраться до Лондона. Лукавая бестия сочла нас подходящей рыбкой для своего крючка; она была с нами крайне любезна и искренне посетовала, что мы не обратились к ней на день раньше, потому что один ее хороший знакомый, как раз владелец такого угольщика, в это самое утро вышел с началом прилива в море, и судно его находится сейчас где-то возле Шилдса, хотя вряд ли успело уже миновать песчаную отмель, так что она пошлет к нему домой человека узнать, отправился он сам на борт или нет, поскольку судовладельцам случается иногда задержаться в ожидании большой воды; и она выразила уверенность, что, если он еще не уехал, она уговорит его взять нас с собой, только она опасается, что тогда нам придется поспешить на борт немедля, в эту же ночь.

Мы попросили ее скорее послать человека к нему домой, иначе мы просто не знаем, как быть, и ежели ей удастся уговорить его взять нас на судно, нам совершенно безразлично, когда выходить — ночью или днем: так и так мы без денег, а значит, и без ночлега, и ничего нам не надо, кроме как попасть поскорее на борт судна.

Мы сочли это великой услугой с ее стороны, что она согласилась послать к нему домой своего человека, и, к огромной нашей радости, примерно через час она сообщила нам, что он еще не уехал, а сидит в городе в таверне, где сынишка и застал его, он велел передать, что по дороге домой загляпет к ней.

Все складывалось для нас как нельзя более удачно, и мы были этим чрезвычайно довольны. Еще примерно через час, когда мы сидели вместе с хозяйкой в комнате, служанка принесла нам весточку, что судовладелец ждет внизу, и она к нему тут же спустилась, пообещав нам, что пойдет все расскажет и постарается убедить его взять нас на судно. Через несколько времени она поднялась вместе с ним наверх.

— Ну, где тут честные господа вояки,— спрашивает он,— которых постигла беда? — Мы все, как один, встали и засвидетель-

ствовали ему наше почтение.— Так, стало быть, господа, вы не при деньгах?

— Нет, где там,— ответил один из нас.— И мы будем крайне обязаны вам, сэр, если вы возьмете нас на ваше судно, и готовы выполнять в пути любую работу, жаль только — мы не моряки.

— Как, вы никогда раньше не бывали в море?

— Нет,— отвечали мы,— никогда.

— Тогда вы мне не помощники,— говорит он,— всех вас непременно свалит морская болезнь. Но ради милой хозяюшки я, так и быть, возьму вас. Готовы вы тотчас отправиться? Я выхожу сегодня же ночью.

— Конечно, сэр,— подтвердили мы,— можем выйти хоть сию минуту.

— Ну, зачем же,— любезно заметил он,— сначала мы с вами выпьем. А ну-ка, хозяюшка,— говорит он,— поднесите молодым людям пунша.

Мы переглянулись, ведь у нас не было денег, но он это заметил.

— Знаю, знаю, что нет денег,— сказал он,— пусть это вас не заботит, мы с вашей хозяйкой никогда не расстаемся, не выпив на дорожку. Ступайте, голубушка,— добавил он,— приготовьте нам пунш.

Мы поблагодарили его и сказали:

— Да благословит вас господь, благородный господин капитан, тысячу раз! — так мы были счастливы выпавшей на нашу долю удачей.

Пока мы пили пунш, он подзывает к себе хозяйку и говорит:

— Я наведаюсь домой, прихвачу кой-какие вещички, попрощаюсь со своими и велю, как поднимется прилив, прислать за мной шлюпку. А вы, моя голубушка,— говорит он хозяйке,— постарайтесь приготовить чего-нибудь на ужин, чтобы, уж коли я угощаю этих честных ребят путешествием, я мог бы угостить их и ужином, вряд ли они сегодня хорошо пообедали.

С этим он ушел. Вскоре мы услышали шум внизу, один из наших спустился вниз поглядеть и вернулся с известием, что на огне жарится отличная баранья нога. Не прошло и часа, как наш капитан вернулся, поднялся к нам наверх и пожурил нас, что мы не допили пунш. «Не робей, ребята,— сказал он,— допьете этот, попросим еще, когда я угощаю таких бедолаг, как вы, я не люблю скупиться».

Мы выпили, покончили с пуншем, и нам принесли еще, капитан тут же пустил его по кругу; затем появилась баранья нога; нет нужды говорить, как усердно мы с нею расправлялись, тем паче что нам не раз было сказано, что платить за нее не придет-

ся. После ужина капитан попросил хозяйку узнать, не подошла ли шлюпка. Она вернулась с ответом, что нет, еще не подошла, прилив еще недостаточно высок. «Что ж,— говорит капитан,— раз нет, подайте нам еще пунша». Принесли еще пунша; как выяснилось позднее, в него что-то подмешали или добавили больше бренди, чем полагается, потому как после этой порции мы окончательно опьянели, а что до меня, так я и вовсе заснул.

К тому времени, когда пора было отправляться, нам подали шлюпку, и мы буквально свалились в нее, один за другим, и поплыли вместе с капитаном. Большинство из нас, если не все, тут же заснули и спали, пока наконец шлюпка не стала — сколько прошло времени, долго ли мы плыли и как далеко успели отплыть, никто из нас не знал. Нас разбудили и сказали, что шлюпка уже у борта. Так оно и оказалось. С чужой помощью и поддержкой, без которых мы бы наверняка свалились за борт, нас подняли на судно. Помню только одно: как только мы оказались на борту, наш капитан — так мы стали его величать — громко позвал: «А ну-ка, боцман, позаботься об этих джентльменах, размести их по хорошим каютам, пусть лягут да проспятся, они слишком устали!» Мы и в самом деле очень устали, да еще напились, а я к тому же пил пунш впервые в жизни.

О нас действительно позаботились, как было приказано, и разместили по каютам, чтобы мы могли тотчас лечь спать. Тем временем судно, совершенно готовое к плаванию и лишь по особому указанию бросившее якорь у Шилдса, чтобы дождаться нас, наконец-то подняло якорь и, обойдя песчаную отмель, вышло в море, так что, когда на другой день мы проснулись, а это случилось что-то около полудня, и стали озираться по сторонам, мы обнаружили, что находимся в открытом море, земля была еще видна, но совсем далеко, и мы искренне радовались, что приближаемся к Лондону. Так мы тогда полагали. Обходились с нами прекрасно, и в течение примерно трех дней мы были весьма довольны нашим положением, но потом начали уже спрашивать: разве нам уже не пора прибыть? Сколько же еще нам идти до реки? «Какой реки?» — удивился один из команды. «Как какой? Темзы!» — говорит мой Капитан Джек. «Темзы? — повторил матрос.— До о чем ты говоришь? Ты что, еще не проспался, не отрезвел, что ли?» Больше Капитан Джек не стал ни о чем спрашивать, поняв, что, кажется, его одурачили; когда же немного погодя еще один из нас задал тот же вопрос, матрос, ничего не знавший об обмане, почувствовал, что что-то тут не так, и, обернувшись к третьему англичанину, ехавшему с нами, спросил:

— Куда же, по-вашему, мы идем, что вы спрашиваете все о Темзе?

— В Лондон, а куда же еще! — ответил англичанин.— Мы сговорились с капитаном, что он доставит нас в Лондон.

— Только не с капитаном,— говорит матрос,— могу ручаться. Бедняги вы, вас же обманули! Я сразу смекнул, когда увидел, как вы поднимаетесь на борт вместе с этим негодяем киднепером Джиллименом. Бедняги вы, бедняги! — вздохнул он.— Вы же плывете в Виргинию, это судно зафрахтовано в Виргинии, вас туда продали.

Наш англичанин впал в неистовую ярость и разбушевался; мы все окружили его. У кого достанет фантазии, может вообразить, каково было наше изумление, в какое негодование мы пришли, услышав такую новость! Короче говоря, мы выхватили свои шпаги и стали колоть направо и налево, словом, подняли на борту такой шум, такой переполох, что матросам пришлось звать себе подмогу. Капитан первым делом отдал приказ нас обезоружить, однако при этом не обошлось без ранений с обеих сторон, потом он велел привести нас к нему в кают-компанию.

В каюте он заговорил с нами спокойно, выразил большое сожаление по поводу приключившегося с нами несчастья и высказал предположение, что нас заманили в ловушку, что человек, доставивший нас на борт, был настоящим мошенником, которого наняли купцы, сами тоже нечистые на руку, и, наверное, когда состоялось знакомство, нам представили его как капитана этого судна, не так ли? Мы подтвердили его догадку и дали ему о себе полный отчет — как мы зашли к хозяйке трактира осведомиться насчет угольщика, капитан которого согласился бы отвезти нас в Лондон, как этот человек взялся доставить нас в Лондон на своем судне и прочее, то есть все, что вы уже знаете.

Капитан выразил нам свое сочувствие и заверил нас, что он в этом деле не принимал никакого участия, однако помочь нам не в его силах, и лучше уж нам доподлинно знать наше положение, а именно, что нас посадили на это судно как невольников, которых следует сдать в Мэриленде с рук на руки такому-то человеку, имя его капитан нам назвал. Если мы будем вести себя на борту тихо и подчинимся порядку, с нами всю дорогу будут хорошо обращаться, и он сам позаботится, чтобы все обошлось для нас хорошо и по прибытии на место,— словом, от него зависящее он обещает сделать. А вот если мы проявим непокорность и станем буйствовать, ему, как мы сами понимаем, волей-неволей придется принять меры для нашего успокоения, то есть на руки нам наденут наручники, отправят нас вниз и будут держать в трюме на замке, ибо он несет ответственность за порядок на корабле.

Капитан Джек так и взорвался и, словно помешанный, налетел на капитана с проклятьями и угрозами, крича, что перережет

ему глотку тут же, на борту судна, или на берегу, все равно где, но только он до него доберется, не удастся здесь, сейчас, так позже в Англии, если только тот посмеет когда-нибудь еще нос в Англию показать. Ничего, капитан своего дождется, пусть даже его, Джека, увезут в Виргинию, когда-нибудь он найдет дорогу назад в Англию и спустя хоть двадцать лет, а расплатится с ним сполна.

«Что ж, молодой человек,— говорит капитан с улыбкой,— сказано откровенно, так что придется мне позаботиться о вас, пока вы находитесь у меня на борту, к тому же я должен позаботиться и о себе самом».— «Делайте, что хотите,— смело заявил Капитан Джек.— Рано или поздно я все равно отомщу вам».— «И все-таки я рискну, долг прежде всего,— все так же спокойно сказал капитан,— только сначала мы должны кое-что обсудить». И он приказал боцману, который стоял рядом, взять Джека под стражу, что тот и выполнил. Я попросил Джека сохранять спокойствие, не волноваться, сказал, что ведь капитан не виноват в нашем несчастье.

— Не виноват! Да будь он проклят! — вскричал Капитан Джек.— Неужто ты думаешь, он не нагрел руки на этом подлом деле? Да разве честный человек примет к себе на корабль людей, не спросив даже, что к чему, и увезет их за тридевять земель, не перемолвившись с ними ни словечком? А теперь, когда он узнал, как варварски с нами обошлись, почему он не высадит нас на берег? Говорю тебе, он сам злодей, злодей, и все тут! Не понимаю, почему бы ему не завершить свое злодейство и не прикончить нас — он бы тем самым избежал нашей мести. Ему только и остается, что послать нас к дьяволу или самому туда отправиться, иначе он от меня не уйдет! Я не он, я действую честно. Выложил ему все прямо и откровенно и сразу успокоился, теперь я спокойнее его самого».

Я бы сказал, что капитан был слегка уязвлен его дерзостью, так как Джек еще долго продолжал в том же духе все с такой же запальчивостью и вдохновением, хотя всячески сдерживался. Меня он удивил, потому как никогда еще я не слышал от него таких пламенных и таких толковых речей. Повторяю, капитан был слегка уязвлен, однако продолжал разговаривать с ним весьма учтиво. «Послушайте, молодой человек,— сказал он ему,— я все от вас терплю, понимая всю тягостность вашего положения, тем не менее я не могу позволить вам без конца угрожать мне, а посему вынужден проявить в отношении вас бо́льшую суровость, чем намеревался, и все-таки я предприму только самое необходимое, на что толкают меня ваши постоянные угрозы лишить меня жизни». «Кнута ему! — крикнул тут боцман.— Пусть познакомится с нашей кошкой-девятихвосткой!» Только потом мы поня-

ли, что это значит, когда нам объяснили, что он предлагал Джека сперва выпороть, а потом еще соли насыпать,— словом, поблажки не давать. Но капитан остановил боцмана. «Нет, нет,— сказал он,— молодой человек и так пострадал, он имеет все основания горячиться. Однако моей вины тут нет, я его не обижал»,— добавил он и снова заявил при всех, что не причастен ко всему этому, что на борт судна Капитана Джека и нас вместе с ним доставил агент владельцев судна, которые все и оплатили, так уже и раньше случалось, им не раз приходилось иметь дело с невольниками, каждое плавание они перевозят их большими группами, хотя ему как капитану корабля никакой выгоды от этого нет, но все решают владельцы судна, они сами сажают их на борт, и не его забота наводить о них справки или доказывать свою невиновность, хотя вся эта грязная история весьма огорчает его и ему крайне неприятно быть слепым орудием в таком деле — увозить нас против нашей воли; если бы только ветер и погода позволили, он бы высадил нас на берег, но, к сожалению, сейчас дует юго-западный ветер, да к тому же сильный, баллов семь — девять, и мы почти уже достигли Оркнейских островов, а потому это невозможно.

И все равно капитан виноват, сказал Джек, пусть дует какой угодно ветер, он так и так не должен везти нас против нашей воли, а что до владельцев судна и прочего, это его не освобождает от ответственности, ведь он — капитан судна, которое увозит нас, и какой бы хитростью ни заманил нас на борт какой-то там негодяй,— теперь-то все стало ему известно,— увозить нас равносильно убийству, и если он не высадит нас на берег, как мы того требуем, значит, он вор и убийца.

Капитан своей сдержанности не изменил, и тогда я вставил слово, заметив, что хорошо бы нам повернуть назад, если, конечно, погода позволяет,— когда я стал лучше разбираться в морском деле, я убедился, что погода действительно решает дело,— но это оказалось невозможным. Я извинился перед капитаном за то, что мой брат слишком погорячился, но ведь он не станет отрицать, что с нами поступили подло, и, напустив на себя важности, что вообще-то было не в моих привычках, я сообщил ему, что таких людей, как мы, не продают в рабство, что хотя мы имели несчастье попасть в такие обстоятельства, которые вынудили нас скрываться, поскольку мы сбежали из армии, не имея желания отправляться во Фландрию, однако мы люди состоятельные и могли бы откупиться от воинской повинности, если на то пошло. Чтобы убедить его в этом, я пообещал представить ему надежные гарантии, что выплачу ему по двадцать фунтов за себя и за моего брата, как только мы прибудем на место в Лондон, куда он должен нас доставить, и тогда мы, не теряя времени, тут же вышлем

ему эти деньги. В доказательство, что я могу выплатить такую сумму, я вытащил из кармана чек таможенного чиновника на девяносто четыре фунта; к моему величайшему удовольствию, капитан как увидел чек, тут же признал его и был крайне всем изумлен. Воздев руки к небу, он воскликнул: «Какая же злая сила занесла вас сюда?»

«Мы вам уже рассказали нашу историю, прибавить нам нечего, и теперь мы настоятельно просим, чтобы вы проявили в отношении нас справедливость».— «Очень сожалею,— говорит он,— но этого я не могу, мне нельзя повернуть судно назад. Но даже если бы и можно было,— говорит он,— это практически невыполнимо».

Пока продолжался наш разговор, оба шотландца и третий англичанин хранили молчание, но когда они увидели, что я начал сдаваться, шотландцы поддержали меня; повторять их слова, я думаю, нет нужды, я бы и не упоминал об этом, если бы не последующий забавный эпизод. После того как шотландцы исчерпали свои доводы, на каждый из которых капитан лишь повторял, что ничего не поделаешь, надо покориться, один из них вдруг опять спрашивает: «Так, стало быть, вы везете нас в Виргинию?» — «Да»,— отвечает капитан. «И, стало быть, нас продадут там в рабство, как только приедем?» — «Да»,— отвечает капитан. «Ах, так, сэр! — говорит шотландец.— Черт бы вас побрал со всеми вашими потрохами за такие дела!» — «Что ж, пусть,— говорит капитан с улыбкой,— с чертом мы уж как-нибудь поладим, а вот вам советую вести себя потише и быть повежливей, тогда и с вами будут обходиться здесь по-доброму, а постараюсь, так и там тоже». На это беднягам шотландцам нечего было возразить, да и мне тоже, потому как, честно говоря, мы ясно видели, нет для нас иного выхода, пусть уж капитан с чертом все сами и улаживают.

Итак, повторяю, мы вынуждены были сдаться, только Капитан Джек уперся хуже прежнего, услышав, что у меня есть деньги, и я, как ни старался, не мог его урезонить. Еще не раз во время нашего морского путешествия капитан корабля и Джек вели подобные приятные беседы, при этом он обзывал капитана не иначе как киднеппером и негодяем и твердил только об одном, как он отомстит ему, однако я опускаю эту часть рассказа, хотя и очень занимательную, поскольку к моей истории она касательства не имеет.

Тем временем продолжал дуть сильный ветер, правда, попутный; по мнению матросов, мы уже миновали острова на севере Шотландии и взяли курс на запад; через несколько дней (я уже научился их отсчитывать) вокруг на сотни лиг от нас не было

видно ни клочка земли, а посему нам ничего больше не оставалось, как запастись терпением и по возможности сохранять спокойствие, один Капитан Джек продолжал бушевать всю дорогу.

Плавание было на редкость удачным: ни одного шторма и почти двадцать дней дул северный ветер — одним словом, через тридцать два дня, считая с того момента, как на широте 60°30′ к северу от Британских островов мы взяли курс на запад, наше судно достигло берегов Виргинии. По общему мнению, мы доплыли очень быстро.

Ничего существенного за время нашего плавания со мной не произошло, а по прибытии туда я был настолько ограничен в передвижении, что ничего существенного и не могло произойти.

Когда мы сошли на берег — было это в устье большой реки, которую все называли Потомак,— капитан спросил нас, в частности, меня: ну как, могу я что-нибудь ему предложить сейчас? Отвечал Джек: «Да, у меня есть одно предложение, капитан, то самое, которое я уже высказывал, а именно — перерезать вам глотку, и раз я обещал, постараюсь сдержать слово».— «Ладно, ладно,— сказал капитан,— само собой, сдержишь, если я не помешаю». И он снова повернулся ко мне. Я прекрасно понимал, чего он ждет, однако в данный момент мне неоткуда было ждать освобождения, а что до расписки, то здесь она была пустой бумажкой, ибо никто, кроме меня самого, не мог получить по ней деньги. Итак, я не видел для себя выхода, о чем хладнокровно ему и сообщил, словно о чем-то, к чему я совершенно равнодушен. Да и на самом деле я сделался к этому равнодушен после долгих размышлений во время плавания о том, кто я, собственно, такой — обыкновенный воришка, выросший среди бродяг, беглый солдат, оставивший свой полк; даже своего угла у меня нет, никакому ремеслу, которое прокормило бы меня, я не обучен, кроме как одному, нечестивому, которое до добра меня не доведет, а лишь до виселицы. Я вовсе не считал, что стать невольником хуже любой другой службы, к тому же меня вполне устраивало, что, как мне сказали, после пяти лет рабства я, по милостивым законам этой страны («государственная поддержка», как они это называют), получу клочок земли, который могу возделывать сам и сажать на нем, что хочу. Таким образом, получалось, что волей-неволей кое-чему здесь научусь и смогу больше не заниматься этим подлым делом, называемым воровством, к коему душа моя испытывала отвращение и которое я, как уже говорил вам, решил так и так оставить с того злосчастного случая, когда я ограбил бедную вдову из Кентиш-Тауна.

Вот что было у меня на уме, когда мы прибыли в Виргинию, а потому на вопрос капитана, как я намерен себя вести и есть ли

у меня что предложить ему, иными словами, не собираюсь ли я вручить ему мой чек, который ему страсть как хотелось иметь, я холодно ответил, что в данной ситуации от чека мне мало толку, потому как никто не сможет получить по нему деньги, и предложить ему я могу лишь одно: пусть он отвезет меня и Капитана Джека назад в Англию, доставит в Лондон, и тогда я возьму по этому чеку деньги и выплачу ему по двадцать фунтов за каждого из нас. Но он не намерен был этого делать. «Что касается вашего братца,— сказал он,— я бы не посадил его на борт моего судна даже за двойную плату! Такого отъявленного негодяя и наглеца,— добавил он,— можно только в кандалах возить».

На этом мы с нашим капитаном, или киднеппером, называйте его, как хотите, расстались. Нас передали в руки купцов, как и было условлено, которые могли распоряжаться нами, как им заблагорассудится, и через несколько дней нас разлучили.

Чтобы коротко закончить историю Капитана Джека, сообщу, что этому отъявленному мошеннику сильно повезло, он попал к очень доброму и покладистому хозяину, чьими деловыми интересами и доверием он беззастенчиво злоупотреблял, и, воспользовавшись случаем, бежал на парусном боте, который его хозяин препоручил ему и другим невольникам, чтобы отвезти запас провизии на его плантацию, вниз по реке. Они удрали вместе с ботом и провизией и плыли на север до самой излучины Залива (как они его называют), а потом по реке Саскуэханна, там лодку они бросили и пошли пешком через лес, пока не достигли Пенсильвании, откуда им удалось пробраться в Новую Англию, а оттуда уже домой. На родине он снова связался со старой компанией и занялся прежним ремеслом, в конце концов, спустя примерно двадцать лет, его схватили и повесили за месяц или около того до моего прибытия в Лондон.

Моя участь была тяжелей поначалу, зато потом, к концу, оказалась легче. На аукционе, как они называют торг, я достался богатому плантатору по имени Смит, а со мною и третий наш англичанин, с которым мы вместе бежали и к которому Джек привел меня, когда мы направлялись в Данбар.

Отныне мы стали друзьями по несчастью, нас обоих должны были отвезти вверх по речушке, или ручью, впадающему в Потомак, примерно за восемь миль от этой большой реки. Отсюда нас отправили на плантацию, где вместе еще с пятьюдесятью невольниками, в том числе неграми и прочими, нас отдали в распоряжение надсмотрщика, распорядителя, или, как еще говорят, управляющего плантацией, который постарался внушить нам, что нам предстоит грубая, тяжелая работа, поскольку именно для того плантатор и купил нас, а не ради наших прекрасных глаз. Я за-

метил ему весьма смиренно, что, уж коли по воле нашей злой судьбы мы оказались в столь плачевном положении, нам ничего другого и не остается ждать, мы только хотим, чтобы нам объяснили, в чем будет состоять наша работа, и дали бы время привыкнуть к ней, ибо к тяжелой работе мы не приучены. И еще я добавил, что, если бы ему стало известно, каким предательским путем нас заманили сюда, быть может, тогда он бы понял суть дела и, по крайней мере, не отказал бы нам в нашей скромной просьбе. Я говорил так взволнованно, что возбудил его любопытство, и он осведомился о подробностях нашей истории, которые я ему щедро изложил, несколько приукрасив в свою пользу.

История эта, как я и рассчитывал, растрогала его, однако он заявил нам, что потрудиться на хозяина нам все равно придется, что он надеется, мы будем выполнять работу, как положено, о чем он уже говорил нам, и что он не может освободить нас от нее, каковы бы ни были на то причины. Итак, нас отправили на работу и в самом деле тяжелую; нам вообще худо пришлось и с жильем, и с едой, и с работой. Последнее было для меня совершенно непривычно, а скудость пищи я переносил довольно легко.

В этот период моей жизни у меня было достаточно времени, чтобы оглянуться назад и оценить все, что я успел сделать, хотя мне и нелегко было судить беспристрастно, да и совесть моя помалкивала, все же мне не давала покоя мысль о том, что несчастье произошло со мной по велению некоей указующей силы, как наказание за грехи юных лет, причем мысль эта нашла подтверждение еще в одном. Мой хозяин, чьим невольником я стал, был человеком состоятельным и пользующимся известностью в своей стране, у него было очень много слуг как негров, так и англичан, всего, я полагаю, что-то около двухсот; среди такого большого числа людей каждый год кто-то дряхлел и терял способность работать, у других кончался срок — и они уходили, кто-то умирал, так или иначе общее количество их снижалось бы, если бы ряды их не пополнялись новичками, что и вынуждало его ежегодно покупать все новых невольников.

Как раз во время моего пребывания там из Лондона пришло судно с невольниками, среди них находилось семнадцать ссыльных преступников, некоторые с выжженным на руке клеймом, другие без клейма. Восьмерых из них мой хозяин купил на весь срок, помеченный в документе на высылку — кого, соответственно, на долгие годы, кого на несколько лет.

Хозяин наш занимал в этих краях видное положение, он был мировым судьей, однако на плантацию, где я работал, редко наведывался. Когда же новая партия невольников высадилась на берег и была доставлена на нашу плантацию, его милость тоже при-

ехал, чтобы, так сказать, торжественно принять их и составить себе о них впечатление. Их всех привели к нему, и прежних невольников тоже, среди них был и я в качестве стражника, чтобы приглядеть за ними и, после того как он осмотрит их, отвести на работу. Невольники были доставлены под присмотром матросов с судна, с ними прибыл и второй помощник капитана, он-то и передал их нашему господину вместе с бумагой на высылку, о которой уже шла речь.

Прочитав бумагу, его милость стал выкликать одну за другой их фамилии и повторять каждому приговор, давая им понять, что ему известно, за какие преступления их сослали. Он очень серьезно разговаривал с каждым в отдельности, чтобы они осознали, какую милость им оказали, избавив от виселицы, которая положена им по закону за их преступления, такие тяжкие, что сначала их приговорили не к ссылке, а к повешению, а также, что только в ответ на их прошение и смиренную просьбу о помиловании им была пожалована ссылка.

Следом за тем он объяснил им, что они должны видеть в жизни, которую им предстоит начать, как бы второе рождение, что ежели они намерены проявить усердие и рассудительность, то по конституции этой страны они могут рассчитывать (по окончании срока, к которому их приговорили) на поддержку в приобретении собственной плантации; лично он сам, коли будет жив-здоров и убедится, что они отслужили свой срок верой и правдой, поможет своим бывшим невольникам в их жизненном устройстве — таково его всегдашнее правило,— согласно их заслугам и поведению. У них будет случай познакомиться кое с кем из местных плантаторов, которые ныне благоденствуют, а когда-то были его невольниками и находились точно в таком же положении, как они сейчас, и прибыли сюда из того же места, то есть из Ньюгетской тюрьмы, некоторые с тем же клеймом на руке, а теперь они почтенные люди и пользуются всеобщим уважением.

Среди вновь прибывших невольников он выбрал юношу не более семнадцати или восемнадцати лет от роду, в бумагах которого говорилось, что, несмотря на свой юный возраст, он уже закоренелый преступник, которого не раз судили, однако он получал отсрочки и помилование и продолжал оставаться неисправимым карманником; преступление, за которое его теперь отправили в ссылку, заключалось в том, что он украл у купца из кармана бумажник, или бювар, где хранились векселя на крупную сумму, по некоторым из этих векселей ему удалось впоследствии получить деньги, однако, отправившись однажды с одним из этих векселей на Ломбард-стрит к ювелиру за деньгами, он был задержан, поскольку о пропаже векселей было заявлено, и за это тяж-

кое уголовное преступление его приговорили к смерти; так как он слыл неисправимым преступником, приговор был бы непременно приведен в исполнение, если бы сам купец, которого он просил и умолял, не добился, чтобы его сослали при условии, что он вернет все остальные векселя, что он, разумеется, и сделал.

Наш хозяин долго беседовал с этим юношей, он сказал, что просто поражен — такой молодой, а уже так долго занимается воровством, что справедливо заслужил название закоренелого преступника, ибо, несмотря на порку, которой он подвергался два, а то и три раза, и тюремное заключение, выпавшее на его долю тоже не единожды, а несколько раз, и клеймо на руке, он все равно не исправился, ничто ему не помогло. Он прочел юноше страстную проповедь, сказал, что господь бог не только уберег его от виселицы, но оказывает сейчас новое благодеяние, убрав с его пути все соблазны и давая ему возможность зажить честной жизнью, о которой, быть может, он прежде и не ведал; пусть какое-то время ему придется поработать в поте лица, однако он должен смотреть на это, только как на период ученичества — на обучение честности, которая поможет ему обрести себя и начать затем достойную жизнь.

И еще он добавил, что пока он остается невольником, ему не будет случая заниматься мошенничеством, но и потом на свободе у него даже искушения не должно возникнуть вернуться к этому. Так, после долгих еще наставлений и добрых советов ему и остальным всех невольников наконец отпустили.

Меня до глубины души растрогали речи нашего господина — и понятно почему, ведь они были адресованы молодому мошеннику, вору от рождения, подобно мне обученному лишь одному — как обчищать чужие карманы, и мне казалось, все, что мой господин говорил, было обращено ко мне, иногда у меня даже мелькала мысль, что воистину мой господин необыкновенный человек, если так точно знает про все, что я успел натворить в жизни.

Каково же было мое удивление, когда, отпустив всех остальных невольников и, указав на меня, господин сказал своему управляющему: «Приведите ко мне вон того молодого человека!»

Я работал здесь уже целый год, причем так усердно, что управляющий, он же главный надсмотрщик, хвалил мое поведение даже чрезмерно, а может, и вправду был им доволен, и все же я перепугался до смерти, услышав, что меня громко вызывают, потому что так обычно вызывали только тех, кто провинился и кого ждал кнут или другое какое наказание.

Я вошел к нему, чувствуя себя настоящим преступником и, наверное, так и выглядел, словно меня застали на месте преступ-

ления и призвали к ответу пред лицо правосудия. Итак, я вошел, то есть меня привели к нему, во внутреннюю часть дома, в его гостиную; с прочими он беседовал обычно в большой приемной, где он восседал, словно господин судья или вице-король на троне.

Так вот, повторяю, когда я вошел к нему, он приказал своему управляющему покинуть нас; я остановился в дверях, как был, совершенно голый до пояса, с непокрытой головой, в руках мотыга (то есть прямо с работы), он велел мне положить мотыгу и подойти поближе; он показался мне не таким устрашающе-суровым, как раньше, а может, мне просто иной представлялась его внешность, чем было на самом деле, ибо мы часто судим о вещах не по их истинным достоинствам, но по первому впечатлению.

— Скажи-ка, молодой человек, сколько тебе лет? — спросил мой господин, и разговор наш начался.

Джек. Право, не знаю, сэр.

Господин. А как тебя зовут?

Джек. Все называют меня здесь Полковником [1], но, с вашего позволения, зовут меня Джек, ваша милость.

Господин. Ну а как твое настоящее имя?

Джек. Джек.

Господин. Нет, как тебя окрестили, Полковник? И как твоя фамилия?

Джек. Честно говоря, сэр, если быть откровенным, я мало что знаю о себе, а то и вовсе ничего, даже своего настоящего имени. Так меня звали все, сколько я помню себя, а какое имя дали мне при крещении, и как моя фамилия, и вообще крестили ли меня, этого я сказать не могу.

Господин. Что ж, по крайней мере, честный ответ. Расскажи теперь, как ты попал сюда, за что тебя превратили в невольника?

Джек. Если бы только у вашей милости хватило терпения выслушать меня до конца! Уверен, более горестной и исполненной несправедливостей истории вам не доводилось слышать.

Господин. Рассказывай, пусть она длинная, рассказывай всю до конца, я готов слушать хоть целый час!

Его просьба придала мне смелости, и я начал с того, как стал солдатом, как меня уговорили в Данбаре бежать, словом, в подробностях рассказал ему все, о чем говорилось выше, до самого нашего появления на этом берегу, а также о моем чеке и разговоре с капитаном уже после нашего прибытия. Во время моего рассказа он не раз воздевал вверх руки, желая выразить свое возму-

[1] Здесь меня не называли Полковником Джеком, как в Лондоне, а просто Полковником и другого имени моего не знали.

щение тем, как со мной обошлись в Ньюкасле, и поинтересовался фамилией капитана судна, потому как, несмотря на все сладкие речи, тот был явным мошенником. Я сказал его имя и название судна, господин записал их в свою записную книжку, и разговор продолжался.

Господин. А теперь ответь мне, пожалуйста, так же честно еще на один вопрос. Что тебя так задело, когда я беседовал с тем юношей, с карманным воришкой?

Джек. Хотите верьте, хотите нет, ваша честь, но меня растрогало, как милостиво вы разговаривали с несчастным рабом.

Господин. И это все? Только отвечай честно!

Джек. Не совсем. У меня зародилась тайная мысль, что, коли вы так добры были к этому несчастному, может, вы и мне посочувствуете и окажете содействие, если тем или иным путем вам станет известна моя история.

Господин. Так, так, а не напомнил ли тебе этот случай твою собственную историю, и по этой причине ты так и разволновался? Ведь я заметил слезы на твоих глазах, потому и велел привести тебя сюда, чтобы поговорить.

Джек. Поистине, сэр, я и сам был испорченным, праздным мальчишкой, никому на свете не нужным. Но тот юноша — вор, его приговорили к виселице, а я ни разу в жизни не представал перед судом.

Господин. Что ж, я не собираюсь выспрашивать у тебя лишнее. Поскольку к суду тебя не привлекали и ты не ссыльный преступник, мне больше нечего выяснять о тебе. С тобой обошлись скверно, это ясно; может, именно поэтому ты так разволновался?

Джек. Да, конечно, ваша честь. (Мы называли его ваша честь или ваша милость.)

Господин. Ну, что же, теперь мне известна твоя история. Чем же я могу помочь тебе? Ты упоминал о чеке на девяносто четыре фунта, из которых собирался дать капитану сорок фунтов за ваше освобождение, он еще у тебя, этот чек?

Джек. Да, сэр, он здесь. (Я вытащил чек из-за пояса, где ухитрился прятать его, завернув в бумагу и пришпилив булавками, отчего бумага почти вся уже истрепалась; достав чек, я вручил его господину, и он стал читать.)

Господин. Этот господин, который выдал тебе чек, ныне здравствует?

Джек. Да, сэр, он был жив-здоров, когда я уезжал из Лондона, по числу на чеке вы можете судить, когда это было, а уехал я как раз на другой день.

Господин. Не удивительно, что, когда вы причалили к берегу, капитан судна захотел получить от тебя этот чек.

Джек. И я бы отдал его ему, если бы он отвез нас с братом назад в Англию, как я и предлагал.

Господин. Да-а, но он кое-что предвидел! Он прекрасно знал, что, раз у тебя есть там друзья, они могут призвать его к ответу за все его дела. Удивляюсь только, как это он не отнял у тебя чек еще там, в море, обманом или силой?

Джек. Честно говоря, он даже не пытался.

Господин. Что же, молодой человек, решено, я постараюсь тебе помочь в этом деле. Даю слово, если деньги будут выплачены и ты их все получишь, я научу тебя, как действовать, и ты преуспеешь даже больше своего господина, если будешь соблюдать честность и старание.

Джек. Надеюсь, сэр, мое поведение у вас на службе является тому зароком.

Господин. Но ты, наверное, мечтаешь о возвращении в Англию?

Джек. Нет, что вы, сэр, если бы я мог здесь зарабатывать честно свой хлеб, я бы вовсе и не помышлял об Англии, но, чем там прокормиться, я не знаю, коли знал бы, никогда бы не записался в солдаты.

Господин. Хорошо, но я должен задать тебе еще несколько вопросов, ибо, сам посуди, не странно ли записываться в солдаты, когда у тебя в кармане девяносто четыре фунта?

Джек. Я все расскажу вашей чести, если пожелаете, так же подробно, как рассказывал доселе, только это займет много времени.

Господин. Тогда в другой раз. А теперь ближе к делу: хочешь, я напишу кой-кому в Лондон, попрошу зайти к господину, который выдал тебе чек, но не за тем, чтобы взять у него деньги, а только чтобы спросить, имеется ли у него на руках такая сумма и выдаст ли он ее по твоему указанию, если ты пришлешь чек или его дубликат (то есть копию, пояснил он, и хорошо сделал, так как я понятия не имел, что такое дубликат).

Джек. Да я с удовольствием отдам вам и сам чек, сэр, вам я могу его доверить, не то что капитану.

Господин. Нет, не надо, молодой человек, я не возьму его у тебя.

Джек. Прошу вас, ваша честь, согласитесь сберечь его для меня, не то, если я его потеряю, я пропал.

Господин. Я сохраню его, Джек, раз ты просишь, но ты получишь от меня расписку, написанную моею рукой и подтверждающую, что я получил твой чек и верну его по первому твоему требованию, тогда это будет так же надежно, как сам чек, а иначе я не возьму его у тебя.

И вот я вручил моему господину чек, а он выдал мне расписку, и, как покажут дальнейшие события, он оказался надежным хранителем моих сбережений. После беседы он отпустил меня, и я вернулся к работе, однако спустя два часа на плантацию прискакал управляющий, или надсмотрщик, подъехал к тому месту, где я работал, вынул из кармана бутылку и, подозвав меня к себе, предложил глотнуть рому, я из приличия лишь пригубил его, тогда он снова мне протягивает бутылку и на редкость вежливо, совсем не так, как обычно, просит выпить еще.

Это придало мне смелости и весьма приободрило, однако мне оставалось еще неясным, что происходит и последует ли за этим некоторое облегчение моей участи.

День или два спустя, когда мы направлялись утром на плантацию, надсмотрщик опять подозвал меня к себе, дал выпить и протянул большой ломоть хлеба, при этом он сказал, чтобы около часу я кончил работать и пришел к нему в контору, так как ему надобно со мной поговорить.

Я пришел к нему в своем обычном виде — несчастный полуголый раб.

— Входите, молодой человек! — сказал он.— И давайте сюда вашу мотыгу.

— Я отдал ему мотыгу, тогда он и говорит:

— Вот так, больше вам не придется работать на плантации.

Я выказал удивление и даже испуг.

— В чем я провинился, сэр? — спросил я.— Куда же меня теперь отошлют?

— Никуда,— ответил он, страшно довольный,— не пугайтесь, все это вам на благо, никто не собирается вас обижать, просто мне приказали сделать из вас надсмотрщика, так что отныне вы больше не невольник.

— Увы! — вздохнул я.— Я — и надсмотрщик?! Да разве я подхожу для этого? У меня и платья-то нет, ни белья, ничего решительно, во что бы я мог одеться.

— Ну, ну,— сказал он,— о вас есть кому позаботиться, хотя вы этого и не подозреваете, пойдемте со мной.

И он отвел меня в огромную кладовую, вернее, это была цепь кладовых, одна за другой, и, вызвав кладовщика, сказал ему:

— Помогите этому человеку одеться, выдайте ему все необходимое, согласно пункту пятому, счет пришлете мне, так приказал наш господин, расходы запишите на Западную плантацию.

Вероятно, это была та плантация, куда меня направляли.

Кладовщик повел меня внутрь склада, где висело несколько мужских костюмов, соответствовавших выданному предписанию, простые, но для готового платья вполне приличные, из настоя-

щего тонкого черного сукна, которое у нас в Англии идет по одиннадцати шиллингов за ярд; к костюму он прибавил три хорошие сорочки, две пары обуви, чулки и перчатки, шляпу, шесть шейных платков, короче говоря — все, что мне было необходимо. Потом тщательно все проверил, размер и прочее, и, впуская меня в отдельную маленькую комнату, сказал:

— А теперь входите сюда рабом, а выходите джентльменом!

С этими словами он внес туда всю одежду и, закрывая дверь, посоветовал поскорее переодеться, что я охотно и выполнил. Признаюсь, с этого момента я поверил, что судьба моя изменится к лучшему.

Вскоре пришел надсмотрщик, он похвалил мое новое платье и предложил ехать с ним. Меня отвезли на новую плантацию, которая оказалась больше той, где я до этого работал, тут полагалось всего три надсмотрщика, или управляющих, один для дома, а два, чтобы присматривать за работниками. Одного из этих двоих перевели на другую плантацию, и меня назначили на его место, то есть управляющим плантацией; в мои обязанности входило присматривать за неграми и следить, чтобы они не лодырничали и не зря бы ели свой хлеб, другими словами, мне надлежало быть над ними старшим и руководить ими.

Такой успех вскружил мне голову, нет слов, чтобы выразить радость, какую я тогда испытал. Однако тут же следом обнаружилось обстоятельство, которое так глубоко задело меня и так возмутило все мое существо, что я чуть было не потерял свое место, а вместе с ним и расположение нашего господина, который проявил ко мне такую доброту. Дело было вот в чем: приступив к обязанностям, я получил верховую лошадь и кнут, вроде того, какой мы называем в Англии охотничьим хлыстом; на лошади надо было объезжать плантацию и наблюдать, как работают невольники и негры: плантация раскинулась так широко, что пешим ее было не обойти, во всяком случае, трудно было обходить ее так часто и так быстро, как требовалось; а кнут был выдан мне, чтобы учить уму-разуму рабов и невольников, то есть стегать их, если они проявят нерадение или строптивость, словом, совершат какой-либо проступок. Когда мне сказали про это, кровь ударила мне в голову и сердце заколотилось от бешенства: как это я, еще только вчера такой же невольник и раб, как они, живший, как они, под страхом того же кнута, подниму вдруг на них руку, чтобы покарать их с жестокостью, какая заставляла меня трепетать еще накануне. Нет, на такое я пойти не мог! Негры это почувствовали, мой авторитет сразу упал в их глазах, и все дела пришли в полное расстройство.

В ответ на мое сочувствие они проявили такую неблагодарность, что даже рассердили меня и, признаюсь, заставили невольно

ожесточиться, и я наказал двоих негров, полагая, что выполнил свою миссию со всею жестокостью, по после порки — причем каждый удар, что я наносил им, больно ранил мою собственную душу, и я чуть не лишился чувств, выполняя эту работу,— оба негодяя еще надсмеялись надо мной, а один из них даже имел наглость заявить у меня за спиной, что, если бы пороть довелось ему, он бы показал мне, как секут негров.

И все-таки я не в силах был исполнять свои обязанности столь варварски, как, оказалось, было необходимо, и этот мой недостаток стал сказываться на делах моего господина, так что я начал склоняться к мысли, что жестокость, о которой так много толкуют и какая царит в Виргинии, на Барбадосе и в других колониях, а именно — наказание кнутом негров-невольников, является вовсе не проявлением тирании или бесчеловечности англичан, как принято считать,— англичане по натуре своей не склонны к жестокости, им она не свойственна,— но вызвана скотским поведением и упрямством самих негров, с которыми добром да милостью не сладишь, им нужны железный прут и розга, как говорит Священное писание; с ними иначе и нельзя обходиться, а не то, имей они только оружие, достойное неистовой свирепости их натуры, они восстанут и перебьют всех своих хозяев, что им будет нетрудно сделать, учитывая, как их много.

И в то же время я сделал наблюдение, что бешеный темперамент негров усмиряли не так, как надо, не умея найти с ними правильную линию, чтобы они почувствовали разницу между поощрением и наказанием; для меня было очевидно, что даже самые трудные характеры можно склонить к покорности без помощи кнута или, во всяком случае, без слишком частых наказаний.

Наш господин был гуманный человек, и порою, движимый мягкосердечием, он отменял наказания излишне суровые, однако необходимость наказаний он понимал и в конце концов вынужден был предоставлять своим верным слугам право действовать по собственному разумению, хотя все-таки частенько просил их быть помилосерднее и всегда учитывать, с кем имеешь дело: не все же негры одинаково переносят пытки и, кроме того, не все одинаково упрямы.

Но нашлись-таки угодники, которые нашептали ему, что я пренебрегаю своими обязанностями, что невольники вышли у меня из повиновения, и по этой причине на плантации царит беспорядок, и дела находятся в полном расстройстве.

Это было тяжкое обвинение для молодого надсмотрщика, и его честь в сопровождении всех своих подчиненных сам приехал разобраться во всем, чтобы вникнуть в суть вопроса и выслушать обе стороны, однако он обошелся со мной справедливо и, прежде

чем выносить приговор, решил дать мне полностью оправдаться, и не только при свидетелях, но и с глазу на глаз. С последним свиданием мне на редкость повезло,— точно как в тот раз, он предложил мне говорить откровенно, и, получив эту возможность говорить откровенно, я мог все ему объяснить и защитить себя.

Я понятия не имел, что мною недовольны, пока не услышал про это из его собственных уст, не знал я и о его приезде, пока не увидел его на нашей плантации. Он посмотрел, как у него тут работают, оглядел несколько участков с новыми посадками; объехав всю плантацию и убедившись, что все в полном порядке — работы ведутся, как положено, невольники и негры исправно трудятся,— увидев все это своими глазами, он поскакал к дому.

Заметив его на тропинке, я тут же подбежал к нему, выразил свое почтение, а также поблагодарил смиренно за великодушие, проявленное ко мне, за то, что он помог мне выйти из ничтожества, в каком я пребывал ранее, доверил мне такую работу. Ему как будто было приятно это слышать, хотя поначалу говорил он немного; я сопровождал его, пока он осматривал плантацию, давал попутные объяснения, отвечал на все его вопросы и возражения, и при этом в такой манере, какой он от меня, судя по всему, не ожидал. Как он признался впоследствии, ему все тогда очень понравилось.

На этой плантации, как я уже говорил, был еще один управляющий, не то чтобы старший надо мной, но занимавшийся делом более важным: он должен был наблюдать, как упаковывают табак и отвозят его на борт судна или в какое другое место, куда укажет наш господин, а также получать английские товары с главного склада, находившегося на другой плантации, ближайшей к водным путям, да еще вести все счета. Этот управляющий был по натуре человеком честным и прямым, он не говорил, как некоторые, что я пренебрегаю интересами хозяина и прочее, однако хозяин расспросил его обо всем, и весьма пристрастно. Интересно, что, объезжая плантацию, хозяин случайно попал туда, где обычно наказывали провинившихся невольников, и увидел там двух негров со связанными, согласно вынесенному им приговору, за спиной руками. Когда господин подъехал к ним, оба упали на колени и знаками стали молить его о прощении. «Ах, зачем это,— сказал он, обращаясь ко мне,— зачем вы повели меня этой дорогой? Не люблю я этих зрелищ, ну что я теперь должен делать? Помиловать их? А что они такого натворили, скажите?» Я объяснил ему, за какие проступки их отправили сюда. Один из них стащил бутылку рома, напился и в пьяном виде творил всякие безобразия, пытался даже киркой проломить голову белому невольнику, к счастью, тот увернулся от удара, сбил пьяного негра с ног, схва-

тил его и доставил на это место, где он и провел почь, за что я назначил ему в тот же день порку, а в следующие три по две порки на день.

— Как вы могли проявить такую жестокость? — спросил его честь.— Вы же убьете беднягу. И, кроме пролития крови, за которое понесете ответ, вы еще лишите меня такого силача негра, стоившего мне не меньше тридцати, а то и сорока фунтов, да к тому же навлечете дурную славу на мои плантации. Или, того хуже, кто-нибудь из этих негров, чтобы отомстить, еще, не ровен час, пристукнет меня, когда подвернется случай.

— Ах, сэр,— сказал я,— эту братию надо держать в страхе, иначе с ними не справишься, уверяю вас! А в донесениях к вам еще говорится, что для невольников я скорее шут, чем палач, ибо никогда не воздавал им по заслугам, а потому я принял решение, хотя мне самому это претит, больше не допускать, чтобы из-за моей неуместной снисходительности, страдали ваши интересы, вот почему, если бы его засекли до смерти...

— Стойте! — воскликнул он.— В моих владениях я не потерплю подобной жестокости ни под каким видом! Вспомните, молодой человек, вы же сами были невольником, поступайте так, как сочли бы справедливым, будь вы на их месте, имейте хоть каплю сострадания, прошу вас. Пусть лучше я буду расплачиваться за вашу мягкость.

О таком обороте дела я мог только мечтать, более того, поскольку разговор наш происходил на людях, то есть при обоих неграх и белых невольниках, а также тех двоих, что предъявили мне обвинение, все слышали, что он сказал. «Ну и собака этот надсмотрщик! — шепнул один из белых невольников у меня за спиной.— Он бы насмерть запорол беднягу Буйвола (так прозвали негра, приговоренного к наказанию, за его большую круглую голову), не случись нашему хозяину заехать сегодня сюда».

Однако я настаивал на своем, твердя, что этот человек совершил явное преступление, и снисходительность в подобном случае очень опасна, учитывая упрямство и порочность негров, и указал, не очень решительно, на необходимость проучить их. Но господин сказал:

— Нет, нет, в другой раз, и не в такой форме.

Больше возражать я не стал.

Проступок второго негра по сравнению с этим был пустяковым, и господин отправился дальше, продолжая беседовать со мной, я следовал за ним, и так мы доехали до дому, где, отдохнув немного, он снова вызвал меня к себе. Моих обвинителей он даже близко к себе не подпустил, пока не выслушал мою защиту, и так начал он со мною разговор.

Господин. Послушайте, молодой человек, мне надо с вами поговорить! С тех самых пор, как я сделал вас управляющим на этой плантации, на вас жалуются. А я-то полагал, что признательность заставит вас быть усердным и преданным мне.

Джек. Очень сожалею, сэр, что на меня жалуются, ибо благодарность, которую я питаю к вашей милости (и в которой открыто признаюсь), заставляет меня блюсти ваши интересы самым неукоснительным образом. Конечно, я мог дать промашку, но, уверяю вас, никогда не пренебрегал своими обязанностями умышленно.

Господин. Посмотрим, обвинять вас, не выслушав до конца, я не буду. Для того я и позвал вас сюда, чтобы поговорить с вами.

Джек. Покорно благодарю, ваша честь. У меня к вам еще только одна просьба, а именно: я хотел бы знать, в чем меня обвиняют и, если позволите, кто мои обвинители.

Господин. Первое вы услышите, именно поэтому я и вызвал вас поговорить с глазу на глаз. А если понадобится, сообщу вам и второе, и своих обвинителей вы тоже узнаете. То, что вам ставят в вину, находится в прямом противоречии с только что мною увиденным, поэтому нам придется теперь все пересмотреть; я-то считал, что я много хитрее вас, но теперь вижу, что вы меня перехитрили.

Джек. Надеюсь, ваша честь не обидится, если я скажу, что не совсем вас понимаю.

Господин. Охотно верю. А скажите мне откровенно, вы и в самом деле собирались пороть бедного негра дважды в день в течение четырех дней? Ведь это бы значило запороть его насмерть, то есть поставить на нем крест.

Джек. Если вы позволите мне высказать предположение, сэр, думаю, я знаю, в чем меня обвиняют: вашей чести доложили, что я слишком мягок с неграми и с прочими невольниками, что, хотя они заслуживают сурового обращения, принятого в этой стране, я и вполовину недодаю им, и посему они небрежны в своей работе, что ваша плантация в плохих руках и тому подобное.

Господин. Что ж, вы угадали, продолжайте.

Джек. Первую часть обвинения я признаю, однако последнее отвергаю и убедительно прошу вашу честь провести доскональное расследование дела.

Господин. Если все так, как вы говорите, я был бы только рад узнать, что первая часть обвинения справедлива. Меня бы чрезвычайно порадовало, что мои интересы не забыты и никакой опасности не подвергаются, но что с этими несчастными в то же время обращаются более человечно, ибо жестокость противна моей

натуре, а необходимость проявлять ее всегда омрачала мне жизнь и мешала спокойно наслаждаться моим богатством.

Джек. Честно признаюсь вам, сэр, поначалу я просто не в силах был заставить себя выполнять эту ужасную работу. Волен ли я, который только-только избавился от страха и еще вчера сам был несчастным голым рабом и завтра могу снова им стать, волен ли я спокойно пустить в ход вот это? — С этими словами я показал господину кнут, который мне вручили, вводя меня в новую должность.— И сим ужасным орудием должен был я терзать плоть моих же собратьев-невольников, ближних моих? Нет, сэр, даже когда мне это было совершенно необходимо по обязанности, то и тогда я не мог прибегать к кнуту без содрогания. Прошу великодушно простить меня за такую слабость моей натуры! Я могу быть у вас управляющим, но совершенно не гожусь в экзекуторы, поскольку сам на себе испытал жестокость наказания.

Господин. Ну хорошо, а что тогда будет с моими делами? И как же справиться с чудовищным упрямством этих самых негров, которыми, как мне толкуют, управлять иным способом не представляется возможным? Как же заставить их хорошенько работать и не позволять им дерзить и бунтовать?

Джек. Вот теперь, сэр, я подхожу к главному пункту моей защиты, и, надеюсь, ваша честь соблаговолит пригласить сюда моих обвинителей или возьмет на себя труд тщательнейшим образом осмотреть плантацию, чтобы убедиться самому или позволить другим показать вам, находится ли что-нибудь в запущении, страдают ли в чем интересы вашего дела и не распустились ли ваши негры и другие невольники при новом управляющем. Если же, напротив, мне удалось счастливо разгадать секрет, как сохранять полный порядок на плантации, понуждать всех работать усердно и быстро и при этом держать негров в благоговейном страхе, подавив их врожденные инстинкты и обеспечив вашей семье мир и безопасность не грубыми методами, но мягкостью, не пытками и бесчеловечной жестокостью, но с помощью умеренных наказаний, воспитывая в них почтение к строгому порядку, а не ужас перед невыносимыми муками, надеюсь, тогда ваша честь не поставит мне это в вину?

Господин. Нет, что вы, тогда я назову вас лучшим управляющим, какого мне случалось нанимать. Однако как же это согласуется с жестоким приговором, какой вы вынесли тому несчастному, которому предстоит восемь порок за четыре дня?

Джек. Прекрасно согласуется, сэр. Во-первых, сэр, он сейчас пребывает в ожидании ужасного наказания, с которым по строгости не сравнится ни одно, знакомое прежде неграм. Этого парня, с вашего разрешения, я хотел завтра освободить, избавив

от наказания кнутом, но разъяснив ему, как я это обычно делаю, всю тяжесть его проступка, чтобы он тем выше оценил проявленное к нему милосердие. Если это скорее послужит его исправлению, чем самая жестокая порка, тогда вы, полагаю, признаете, что я выиграл?

Господин. А если нет? Ведь эти люди не знают чувства благодарности.

Джек. Только потому, сэр, что их никогда не прощали. Уж коли провинился, помилования не жди! За что же им испытывать благодарность?

Господин. Вы, конечно, правы, кто не встречал милосердия, тому неведомо и чувство долга.

Джек. А кроме того, сэр, когда их и прощают, что случается очень редко, им ведь не говорят, почему их прощают, никому не придет в голову внушить им чувство благодарности, разъяснить, какое благодеяние им оказали, и почему они должны быть за это перед кем-то в долгу, и какая им от этого польза.

Господин. А вы думаете такое обращение с ними поможет? Произведет на них должное впечатление? Вы-то, может, и убеждены, что так, но, сами знаете, это ведь противоречит взглядам, принятым в нашей стране.

Джек. Бывают же общие заблуждения и ошибки даже в государственном правлении, вот это одна из таких ошибок.

Господин. А сами вы испробовали новый метод? Вы не можете говорить, что это ошибка, пока не подвергли его испытанию и не доказали свою правоту.

Джек. Вся плантация — доказательство моей правоты. Этот малый никогда бы не натворил ничего подобного, если бы ром не ударил ему в голову и не лишил его рассудка, так что, по правде говоря, единственное преступление, за которое его следовало бы проучить, заключается в том, что он украл бутылку рома и весь его до капли выпил. Подобно Ною, он не ведал силы его, и, когда ром ударил ему в голову, он словно обезумел, впал в бешенство и ярость, за что его скорее следует пожалеть, чем наказывать.

Господин. Вы правы, безусловно, правы! И вам цены не будет, если вы сумеете на практике доказать верность ваших убеждений. Мне бы хотелось, чтобы вы испытали их на каком-нибудь одном негре, сделав из него наглядный пример. Я готов дать на этот опыт пятьсот фунтов.

Джек. Мне ничего не надо, сэр, кроме вашего одобрения, и, пользуясь вашей благосклонностью, я докажу это на примере одного из ваших негров, и вся плантация признает мои взгляды.

Господин. Если вам это удастся, вы очень порадуете мое сердце. И даю вам обещание, что не только верну вам свободу, но и помогу обеспечить ваше будущее.

В ответ я низко поклонился ему и поведал следующую историю:

— На вашей плантации, сэр, есть негр, который был невольником еще до того, как я попал сюда. Однажды он провинился, последствия сего проступка были невелики, но они могли быть много серьезней, если бы с ним поступили, как это принято. Я же приказал доставить его на обычное место наказаний и, чтобы проучить, велел привязать за большие пальцы рук, кроме того, я сказал ему, что его высекут со всей жестокостью, да еще посыплют солью.

Таким образом, устрашив его сообщением о предстоящей ужасной пытке и убедившись, что он уже достаточно чувствует свое унижение, я вошел в дом, отдав приказ, чтобы его отвязали и вывели на экзекуцию. После того как ему обнажили спину и привязали его, а потом дважды вытянули кнутом, причем очень крепко, я прервал наказание. «Стойте,— сказал я двум слугам, которые взялись уже было обрабатывать беднягу,— подождите, дайте мне с ним сначала потолковать».

Его отпустили, и я начал беседовать с ним, описал ему, сколько добра сделали ему вы, его большой господин [1], напомнил, что вы никогда его не обижали, обращались с ним мягко, что ни разу за много лет он не подвергался такому наказанию, хотя за ним и водились кое-какие грехи, что он позволил себе вопиющий проступок, украв бутылку рома и напившись пьяным [2] еще с двумя неграми, отчего всеми тремя овладело безумие и они совершили насилие над двумя негритянками, у которых были мужья, служившие у нашего же господина, только на другой плантации, и еще натворили много всяких непотребных дел, за что я и назначил ему это наказание.

Он кивал головой и знаками показывал, что «оччэн выноваты», как он произносил это, и тогда я его спросил, как он поступит и что скажет, ежели я уговорю большого господина его простить. «Я вот намерен пойти попросить за тебя»,— сказал я ему. Он ответил мне, что готов лечь на землю и пусть я убью его. «Моя всю жызн будет для тэбе бегать, туда-

[1] Так обычно называют владельца плантации, во всяком случае, наши негры называли его так, поскольку он был видным человеком в стране и владел тремя или четырьмя крупными плантациями.

[2] Напиться пьяным для негра все равно, что сойти с ума, потому что от рома они впадают в полное безумие и способны тогда учинить любое безобразие.

сюда ходыть, посыть, все доставать»,— сказал он. Это был как раз тот случай, которого я ждал, чтобы проверить, свойственны ли неграм, наряду с движениями души, какие испытывают все разумные существа, и порывы великодушия, то есть те порывы, в которых обычно выражает себя благодарность и без которых она немыслима.

— Меня очень порадовало начало вашей истории,— сказал мой господин,— надеюсь, вам удалось выполнить, что вы задумали?

— Да, сэр,— ответил я,— и, возможно, я зашел даже дальше, чем вы предполагаете или сочли бы возможным в данном случае. Однако я не был столь тщеславен, чтобы извлечь из этого пользу лишь для себя. «Нет, нет,— сказал я ему,— я вовсе не прошу, чтобы ты бегал и делал все для меня, ты должен стараться для своего большого господина, потому что от него одного зависит, простить тебя или не прощать. Ведь ты оскорбил именно его. Скажи мне теперь, будешь ты ему благодарен, станешь ты для него бегать, ходить туда-сюда, носить и доставать все до конца своей жизни, как ты обещал это мне?»

«Ну да, конэчн,— сказал он,— и многа-многа делать для тэбе (он никак не хотел отступиться от своего), толко ты просить его за мэна».

Я полностью отверг обещанную мне благодарность и, как мне диктовал мой долг, направил ее в ваш адрес, объяснив ему, что, как мне известно, вы человек «очэн добры, очэн жалостлив», и я постараюсь убедить вас. Я сказал, что поеду сейчас к вам, и до моего возвращения его пороть не будут. «Только вот что, Мухат (так звали негра),— сказал я,— мне говорили, когда я шел сюда, что с вами, неграми, нельзя обращаться по-доброму, что, когда мы жалеем вас и не бьем кнутом, вы смеетесь над нами и ведете себя еще хуже». Он очень серьезно посмотрел на меня и ответил: «О нэт, этого нэт, это надсмотрщик говорыт, что так, но этого нэт, верит мнэ». Вот весь наш разговор:

Джек. А почему же тогда они так говорят? Уж наверное, они всех вас испытали.

Негр. Нэт, нэт, они нас нэ испытал, они толко говорил так, но нэ испытал.

Джек. Они все так говорят, я сам слышал.

Негр. Моя говорил вам правда, нэт у них жалост, они бьют нас болно, очэн болно, и никогда не прощает. Зачэм тогда говорит, мы нэ будем лучше?

Джек. Неужели они никогда не прощают?

Негр. Господын, мой правда говорит, они ныкогда нэ прощает, они всегда бьют кнутом, стэгают, бьют с ног, они злой. Негр

будэт хороши чэловек, будэт много лучше работать, но они нэ знают жалост.

Джек. Неужели они никогда не жалеют вас?

Негр. Нэ, ныкогда, ныкогда, толко бьют, толко болно бьют, много болно, чем свой кон, много болно, чем собака.

Джек. Ну, а если бы негров жалели, они стали бы лучше?

Негр. Да, да, негр много лучше, если пожалет. Когда они бьют, бьют, негр силно кричит, силно ненавидит, убьет, если найдет ружо. Толко надо жалэт, негр скажет болшой спасибо и будэт любит работат, много будэт работат, пуст надсмотрщик будэт добр толко.

Джек. А вот говорят же, что вы будете лишь надсмехаться и скалить зубы, если вас пожалеть,

Негр. Вот! Пуст говорят так, когда покажут жалост. Оны ныкогда нэ показал жалост, мой ныкогда нэ видел их жалост, сколко жыву на свэт.

— Так вот, сэр,— прервал я свой рассказ,— смею доложить, что, если он говорил правду, ваши надсмотрщики действуют против вашего желания. Как я успел заметить, вы полны сострадания к этим несчастным, я убедился в этом хотя бы на примере со мной. Понимая, что для вас дороже работа, которая делается добровольно, а не из страха, и что вы предпочитаете обходиться без кровавых наказаний за любой проступок, понимая это, я и поступил с Мухатом, а как, вы сейчас услышите.

Господин. В жизни ни с чем подобным не сталкивался, с тех пор как стал плантатором, а тому уже более сорока лет. Я в восторге от вашего рассказа, продолжайте, я с нетерпением жду благоприятного конца.

Джек. Уверен, сэр, что концом вы будете так же довольны, как началом, ибо он во всем оправдал мои ожидания, надеюсь, и ваши он тоже удовлетворит и покажет вам, с какой преданностью вам могли бы служить, если бы вы только захотели, потому как в настоящее время вам так не служат, уверяю вас.

Господин. Конечно, служат из-под палки, только в страхе перед наказанием, а потому безо всякого воодушевления, что мне глубоко ненавистно. Если бы я знал, как добиться иного!

Джек. Не составляет никакого труда, сэр, доказать вам, что вам могут служить из лучших побуждений, а соответственно и работа будет лучше и принесет вам больше радости, я беру на себя смелость убедить вас в этом.

Господин. Что ж, продолжайте свою историю.

Джек. Побеседовав с ним, я заявил: «Посмотрим, Мухат, как ты будешь дальше вести себя, если я уговорю нашего большого господина простить тебя на этот раз».

Негр. Ну да, вы увидит, вы много увидит, много увидит.

Тогда я велел подать мне коня и покинул его, я сделал вид, что поскакал к вам на соседнюю плантацию, потому что мне якобы сказали, будто вы там. Пробыв там часа четыре-пять, я вернулся и опять повел с ним разговор. Я сообщил ему, что видался с вами, что вы уже осведомлены о его проступке, очень сердитесь и решили сурово проучить его в назидание остальным неграм на плантации, но что я рассказал вам, как он раскаивается и обещает исправиться, если вы его простите, и что в конце концов мне удалось уговорить вас. Но вы слышали также, будто, если оказать неграм милость, они посчитают это лишь шуткой или издевательством, однако я все передал вам, что он говорил о себе, а также о прочих неграх, и сказал, что это неправильное мнение и что белые люди берутся судить о них, толком ничего не зная, потому они ведь негров никогда не прощали, стало быть, никогда не проверяли, как те в таком случае поступят. И вот я уговорил вас оказать милость и простить его, а этим самым попытать, имеет ли доброта ту же силу, что жестокость. «Так что теперь, Мухат,— сказал я,— ты свободен, постарайся же, чтобы наш большой господин убедился, что я говорил ему правду». С этим я приказал развязать его, дал ему глотнуть рому из моей собственной карманной фляги и еще велел накормить его.

Когда негра освободили, он приблизился ко мне и, упав передо мной на колени, обхватил мои ноги, потом, биясь головой о землю, зарыдал, заплакал, как провинившееся дитя, не в силах вымолвить ни слова. Он долго не мог успокоиться, и мне самому пришлось поднимать его с земли, но он никак не хотел, и я сам заплакал так же горько, как он, потому что просто не в силах был лицезреть этого несчастного, упавшего ниц передо мной, который еще вчера был таким же невольником, как он. Наконец, спустя, наверное, четверть часа, я заставил его подняться, и тогда он сказал: «Мой хорошо знает добры болшой господын, вы тоже мой очэн добры господын. Нэ будэт негр нэблагодарэн, мой готов умэр за вас, вы очэн много добрый ко мнэ».

После этого я отпустил его и велел идти к жене — он был женат — и не работать в этот день, но, когда он собрался уходить, я снова подозвал его к себе и сказал ему:

«Вот видишь, Мухат,— сказал я,— белый человек может пожалеть негра! И теперь ты должен рассказать всем неграм, что о них говорят, будто они слушаются только кнута и, если с ними мягко обращаться, они делаются хуже, а не лучше, потому-то белые люди не жалеют и не прощают их. Ты должен убедить негров, что с ними много лучше будут обращаться и будут проявлять к ним снисходительность, если они

сами выкажут благодарность за доброе обхождение точно так же, как выказывают покорность после наказания. Посмотрим, сумеешь ты на них повлиять.

«Мой пойдет, мой пойдет,— отвечал он,— мой много говорит им, они много доволны будут, как и мой, и будут много работать, захотят, чтобы болшой господын жалел их».

Господин. Ну хорошо, а какое есть у вас свидетельство их благодарности? Вы заметили в них какие-нибудь перемены?

Джек. К этому я как раз и подхожу, сэр. Примерно месяц спустя после этого я устроил так, что по плантации прошел слух, будто бы я сильно рассердил большого господина и за это меня прогнали с плантации и приговорили повесить. Ваша честь, наверное, помнит, что некоторое время назад вы посылали меня по вашим личным делам в Патаксент-Ривер, где я пробыл двенадцать дней? Я распространил такой слух среди негров, чтобы посмотреть, как они это примут.

Господин. Вот оно что! Чтобы проверить, как поступит Мухат?

Джек. Да, сэр. И я сделал настоящее открытие. Сначала бедный малый просто не поверил этому, однако, видя, что меня долго нет, он пошел к главному управляющему и встал у его дверей, не говоря ни слова, словно какой-нибудь десятилетний дурачок. Через некоторое время вышел старший надсмотрщик; увидев негра, он сначала ничего не сказал, подумал, что того зачем-нибудь прислали, однако, пройдя мимо него раза два-три, он обратил внимание на то, что негр стоит все так же неподвижно, в той же позе и на том же самом месте, и когда он в последний раз проходил мимо него, он остановился и спросил: «Чего тебе? Почему ты так долго стоишь здесь, тебе что, делать нечего?»

«Мой хочет говорит, мой должен много сказат»,— отвечал тот.

Надсмотрщик подумал, что сейчас он узпает какой-то секрет, и согласился его выслушать. «Ну, что ты хочешь сказать мне?» — спросил он.

«Мой говорит,— сказал тот,— очэн прошу говорит, где другой господын?»

Надсмотрщик подумал, что негр спрашивает большого господина. «Про какого другого господина ты спрашиваешь? — говорит управляющий.— О чем ты хочешь говорить с большим господином? Тебе нельзя с ним говорить. Разве ты не можешь мне сказать, какое у тебя дело?»

«Нэт, нэт, мой нэ говорит болшой господын, другой господын»,— сказал Мухат.

«С кем, с Полковником?» — спрашивает управляющий.

«Да, да, с Полковнык»,— говорит тот.

«А разве ты не знаешь, что его завтра собираются повесить,— говорит управляющий,— за то, что он рассердил большого господина?» [1]

«Да, да,— сказал Мухат,— мой знал, мой знал, мой нэ говорил, мой должен сказать».

«О чем ты должен сказать?» — спросил управляющий.

«О, мой знает, он сэрдил болшой господын». И с этими словами он упал перед управляющим на колени.

«Так чего тебе надо? — спросил управляющий.— Я же сказал тебе, что его повесят».

«Нэт, нэт,— вскричал он,— нэ вешат этот господын, мой на колены просыт болшой господын».

«Ты на коленях будешь просить за него? [2] Неужели ты думаешь, большой господин послушает тебя? Раз он рассердил большого господина, повторяю тебе, его должны повесить, так что твои просьбы ни к чему».

Негр. Мой просыт, очэн просыт болшой господын за нэго.

Управляющий. А чего ты так волнуешься и просишь за него?

Негр. О-о, он просыл за мена болшой господын, тэпер мой просыл за нэго. Болшой господын очэн хорошы, очэн хорошы, он простыт мена, когда тот господын просыл его, тэпер он простыт его, когда мой просыл за нэго.

Управляющий. Нет уж, твои просьбы не помогут, ведь ты не согласишься, чтобы вместо него повесили тебя? Если согласишься, тогда другое дело.

Негр. Да, да, мой пуст повесят за добры господын, он просыл за мэна, пуст Мухат повесят, болшой господын повесят мэна, бьют кнутом мэна, что хочэт, пуст толко отпускает бедны господын, он просыл за мэна, да, да, пуст.

Управляющий. Неужели ты это серьезно, Мухат?

Негр. Конэчно, мой правда говорыл, болшой господын пуст знает, мой правда говорыл, пуст все видят, что бэлы человэк повесыл Мухат, повесыл бедны нэгр Мухат, бил кнутом, всо дэлал вместо бедны господын, что просыл за мэна.

После этого бедняга горько расплакался, так что не было нужды спрашивать, серьезно он это говорит или нет. Тут я, которого вызвали посмотреть на эту сцену, неожиданно и появился; сначала меня не было в усадьбе, но когда я вернулся, выполнив ваше поручение, я все слышал; пора было кончать эту сцену, ни

[1] Управляющий уже разгадал, в чем дело, и сказал ему так нарочно, чтобы проверить, что он сделает.

[2] Управляющий понял, что он хочет просить вашу честь за меня, чтобы меня не повесили за оскорбление вашей чести.

управляющий, ни я уже больше не могли вынести ее; и вот он выходит и говорит мне: «Идите к нему, вы дали незабываемый урок, теперь никто не скажет, что у негров нет чувства благодарности. Ступайте же к нему,— повторяет он,— я больше не в силах продолжать этот разговор». Тут я предстал перед ним, чтобы он знал, что я на свободе, и завел с ним разговор.

Джек. Надеюсь, рассказ о поведении этого бедняги доставил вам удовольствие, ваша честь?

Господин. Да, да, продолжайте, прошу вас, рассказ меня весьма радует, жизнь негров открылась для меня с новой стороны, и это не может не волновать.

Джек. Какое-то время он стоял как громом пораженный, словно оцепенел и уставился на меня, не говоря ни слова, потом забормотал что-то невнятное, засмеялся тихонько: «Ай, ай, ай, Мухат видит, Мухат нэ видит, мой спит, мой нэ спит, мой нэ повэсат, мой не повэсат, он живой, совсэм живой». И вдруг как бросится ко мне, схватил, словно малого ребенка, взвалил себе на спину и побежал, насилу я его остановил, пришлось даже прикрикнуть на него. Он опустил меня на землю, опять поглядел на меня, и как пустится в пляс, точно одержимый, вам, наверное, случалось видеть, как они пляшут вокруг своих жен и детей, когда хотят выразить радость.

Потом он, наконец, заговорил со мной и рассказал, как ему сообщили, что меня должны повесить. «Неужели, Мухат,— воскликнул я,— ты бы согласился, чтобы тебя повесили вместо меня?» — «Да, да,— сказал он,— правда, пуст повесат мэна, твой простят».— «За что же ты меня так любишь, Мухат?» — спросил я. «Развэ твой нэ просыл за мэна болшой господын? — сказал он.— Твой спасал мэна, твой сдэлал болшой господын очэн хороши, очэн добры, не бит мэна кнутом, мой нэ забудыт, пуст мой бит кнутом, мой вешат, нэ твой вешат, мой умэрэт, твой нэ умэрэт, мой нэ позволат дэлат тэбе плохо вэс мой жызн».

Джек. Теперь вы можете сами судить, ваша честь, что доброта, проявленная с умом, так же воспитывает этих людей, как жестокость, и решить, есть ли у них чувство благодарности.

Господин. Но почему же нам прежде не случалось в этом убедиться?

Джек. Боюсь, сэр, что пример с Мухатом объясняет все.

Господин. Вот как? Значит, потому, что мы были слишком жестоки?

Джек. Потому, что негры никогда не встречали снисхождения, никогда никто не пытался даже выяснить, могут ли негры чувствовать благодарность; потому, что, если они совершали какой-нибудь проступок, их никогда не прощали, напротив, наказы-

вали со всей жестокостью и они не знали иного чувства, чем страх, за которым, естественно, следует ненависть. Если бы с ними обращались сочувственно, они бы и служили с большой охотой, и это относится ко всем невольникам. Природа всех людей одинакова, и разум управляет ею весьма сходным образом. Не изведав, что такое снисхождение, как могли они совершать поступки во имя любви?

Господин. Вы убедили меня. Но скажите, пожалуйста, как же тогда согласуются ваши убеждения с жестоким приговором, который вы вынесли несчастным неграм,— неужели порка дважды в день в течение четырех дней тоже называется снисхождением?

Джек. И тут я действовал по-своему, и если вам будет угодно осведомиться у мистера ***, который тоже служит у вас, вы убедитесь в этом, ибо и в указанном случае мы договорились поступить, как и с Мухатом, то есть сначала внушить великий страх и гнетущее ожидание предстоящего наказания, причем самого сурового, зато тем дороже им будет прощение, якобы исходящее от вас, однако не без нашего заступничества. Я собирался побеседовать с ними, повлиять на них, дабы снисхождение, проявленное к ним, глубже вошло в их сознание и запечатлелось бы надолго. Я объяснил бы им, что такое благодарность, чувство долга и тому подобное, как я проделал это с Мухатом.

Господин. Ответ ваш меня удовлетворил, действительно вы прибегли к правильному методу, и я хотел бы, чтобы вы и в дальнейшем следовали ему, ибо ничего я так не желаю (на этом свете), как чтобы все мои негры служили мне из чувства благодарности за мою доброту к ним. Мне ненавистна одна мысль, что меня боятся, точно льва, точно тирана, это просто оскорбительно и для великодушного человека чрезвычайно неприятно.

Джек. Сэр, хотя я и мысли не допускаю, что вы сомневаетесь в моих истинных намерениях относительно этих двух несчастных, все же я настоятельно прошу вас послать за мистером ***, он расскажет вам все, о чем мы условились с ним еще заранее.

Господин. Но почему же я должен не верить вам?

Джек. Надеюсь, что верите, иначе я был бы очень огорчен, подумай вы, что я способен привести в исполнение приговор, какой вы слышали, и все же лучшей возможности не представится, чтобы внести ясность в это дело.

Господин. Ну, раз уж вы придаете этому такое значение, пусть позовут *** [1].

---

[1] *** вызвали, и когда господин приказал ему рассказать, как они решили поступить с теми неграми, то есть что с ними делать и как наказывать их, он подтвердил все, что говорил Джек.

Джек. Смею надеяться, сэр, теперь вы не только убедились в правоте моих слов относительно метода, какой мы избрали, но также и в том, что он как нельзя лучше отвечает вашим устремлениям.

Господин. Я полностью удовлетворен и буду рад наблюдать, как этот метод претворяется в жизнь, ибо, как я уже успел заметить вам, для меня это дороже всего: ничто так не угнетает меня, как жестокость, какую применяют в обращении с моими рабами, да еще от моего имени.

Джек. Да, сэр, это худо, и не просто худо, это настоящее варварство и бессердечие, и потому еще худо, что это самый неверный способ управления и ведения ваших дел.

Господин. Для меня жестокость просто проклятье, она вселяет в мою душу ужас, я уверен, если бы я оказался свидетелем расправы над этими несчастными, я либо потерял бы сознание, либо впал в ярость и убил бы того, кто совершал экзекуцию, хотя он и совершал ее от моего имени.

Джек. Смею заметить, сэр, что жестокость пагубна и для ваших деловых интересов, в чем я могу убедить вас. Вам бы лучше служили, на плантации царил бы больший порядок и негры охотнее бы работали на вас, если бы к ним проявляли сострадание и милосердие, а не бессердечно мучили кнутом и цепями.

Господин. Я полагаю, сама природа вещей свидетельствует вашу правоту, все так и должно быть, я часто думал, что так должно быть, и миллион раз желал, чтобы это было возможно, однако все англичане, которые находятся у меня на службе, делают вид, что это не так, что невозможно внушить негру чувство признательности, а следовательно, и покорность, с помощью любви.

Джек. Конечно, сэр, иногда случается встретить негра бесчувственного, глупого и ничтожного, совершенно не поддающегося никакому воспитанию, непокорного и невосприимчивого, неспособного проявить великодушие, о котором я говорил вам. Но вы и сами знаете, что такие люди встречаются и среди белых, не только среди негров, недаром есть у англичан пословица: спаси висельника от веревки, он тебе же глотку перережет. Если уж нам попадется такой несговорчивый, непокорный негр, все равно надо сначала добром попытаться исправить его, а только уж потом применять грубую силу, чтобы укротить его норов, как укрощают дикую лошадь, и уж коли ничего не поможет, такого негодяя надо продать, а вместо него купить нового, ибо спокойствие на плантации не должно быть нарушено одним каким-то дикарем. Вот если бы поступали именно так, не сомневаюсь, все ваши плантации

процветали бы, работа кипела,— более того, негры и прочие невольники не только работали бы на вас, но готовы были умереть за вас, если бы выпал случай, как вы сами убедились на примере бедняги Мухата.

Господин. Что ж, следуйте вашим методам, и, в случае успеха, я обещаю вознаградить вас. Я сплю и вижу, как бы искоренить жестокость на моих плантациях, что же касается других, пусть каждый поступает по своему разумению.

Когда мой господин ушел, я поспешил к узникам и первым делом велел сообщить им, что приезжал большой господин, что по моей просьбе он готов был простить их, но, когда узнал, в чем их преступление, сказал, что это ужасный грех, который заслуживает наказания. Кроме того, человек, который разговаривал с узниками, передал им слова большого господина, что, ежели их простить, они станут только хуже, что негры не чувствуют благодарности за проявленное к ним снисхождение, а потому нет иного способа заставить их подчиниться, кроме сурового наказания.

На это один из несчастных, тот, что был побойчее, заявил, что, ежели негры от доброго обхождения делаются много хуже, их следует стегать кнутом, пока они не исправятся, однако сам он такого не замечал, потому что с неграми никогда не обходились по-доброму, во всяком случае, ему об этом неизвестно.

Собственно, он говорил то же, что и Мухат, и, увы, его слова вполне соответствовали истине, ибо надсмотрщики не знали, что такое снисхождение, и представление о том, что неграми можно управлять только с помощью жестокости, было главной причиной, почему никто никогда и не пытался обращаться с ними иначе.

И опять же, если и случалось иногда смягчить наказание, то это делалось не умышленно, не с целью простить и уж вовсе не для того, чтобы преподать неграм урок, как и почему им смягчили наказание и как в ответ они должны вести себя. Нет, это случалось только по небрежению или по недосмотру, а иногда из-за недостаточного радения о делах плантации, и, само собой, негры этим пользовались.

И вот, стало быть, с этими неграми я поступил точно, как с Мухатом, а потому нет нужды повторять все в подробностях; они выразили мне бесконечную благодарность и признательность, вылившуюся в безумных приступах радости, свойственных этим людям в особых случаях жизни; благодарность этих двоих, которых я простил, была так велика, что отныне они сделались самыми преданными и усердными невольниками на всей плантации, не считая, конечно, Мухата.

Так я и дальше вел дела на плантации, к полному удовлетворению моего господина, и, по прошествии не более одного года, на плантации уже и думать забыли о такой вещи, как телесные наказания, за исключением разве нескольких случаев с теми из молодых невольников, кто был вовсе неспособен оценить доброе с ними обхождение, пока им не представили случай познакомиться с иным.

Вскоре после этого разговора наш большой господин, как мы все его называли, снова прислал за мной, чтобы я пришел к нему домой; он сообщил мне, что получил ответ от своего друга из Англии, которому писал по поводу моего чека. Я испугался было, что он собирается попросить у меня разрешения отослать чек в Лондон, но он ничего такого не сказал, а только сообщил, что его друг повидал того господина и тот признал чек, но он сказал, что хоть сумма, указанная в чеке, у него на руках имеется, однако он дал обещание молодому человеку, доверившему ему эти деньги (то есть мне), что не выплатит их никому, кроме меня самого, даже если ему предъявят чек, ибо как может он знать, каким образом мой чек попал к ним.

«Так вот, Полковник Джек,— говорит мой хозяин,— поскольку ты сообщил тому господину, где ты находишься и каким обманным путем тебя заманили сюда, а купить себе свободу можешь только с помощью этих денег, мой лондонский друг выяснил и написал мне, что тот господин выплатит их тебе при условии, что сначала ты сделаешь здесь на месте, как положено, копию чека, заверишь ее у нотариуса и отошлешь к нему вместе с обязательством, тоже заверенным нотариусом, вернуть ему оригинал чека после выплаты всех денег».

В ответ я сказал, что готов сделать все, что предложит его честь. Таким образом, нужные бумаги были составлены и оформлены точно, как требовалось.

«А теперь скажи, Джек,— спросил он, улыбаясь,— что ты собираешься делать со своими деньгами? Думаешь купить у меня себе свободу и самому стать плантатором?»

Но меня было не провести, я помнил, какое обещание он мне давал, к тому же я слишком хорошо знал его неизменную честность и доброе отношение ко мне, чтобы сомневаться в данном мне слове, поэтому я повел весь разговор в иную сторону. Я понял, что, спрашивая меня, собираюсь ли я купить себе свободу и стать плантатором, он выяснял, намерен ли я покинуть его, поэтому я ответил: «Что касается моей свободы, сэр, то купить ее значило бы покинуть вашу службу, а я бы скорее купил себе право как можно дольше служить вам, ибо одно сознание, что мне осталось всего два года службы, делает меня несчастным».

«Ну, будет, будет, Полковник,— говорит он,— не надо льстить мне, я люблю прямой разговор. Свобода драгоценна всем! Если ты надумаешь запросить сюда свои деньги, ты обретешь свободу и начнешь самостоятельную жизнь, а я позабочусь, чтобы здешние власти обошлись с тобой по справедливости и дали бы тебе хорошую землю».

Но я продолжал настаивать, что даже за лучшую плантацию в Мэриленде не оставил бы службы у человека, который сделал мне столько хорошего, к тому же я уверен, что весьма ему полезен, так что и думать не могу, чтобы оставить его, а под конец даже добавил: надеюсь, он верит, что чувство благодарности у меня не слабее, чем у негров.

Он улыбнулся и сказал, что на прежних условиях он не может принять моих услуг, что он не забыл ни о своем обещании, ни о том, что я сделал для его плантации, а поэтому принял твердое решение прежде всего дать мне свободу. С этими словами он достал какую-то бумагу и протянул ее мне. «Вот,— говорит он,— свидетельство о твоем прибытии сюда и продаже в рабство на пять лет, из которых три ты уже провел у меня, и теперь ты сам себе господин».

Я поклонился ему и сказал, что если я сам себе господин, то единственное мое желание — это оставаться его верным слугой, доколе ему понадобится моя служба. После чего, отбросив излишние церемонии, он заявил мне, что я могу остаться у него на службе, но на двух условиях: первое — он будет платить мне тридцать фунтов в год, а также кормить, если я буду по-прежнему управлять его плантацией; и второе — одновременно с этим он позаботится о новой плантации в мое личное владение. «Видишь ли, Полковник Джек,— сказал он мне,— хотя ты еще молод, однако уже пора тебе подумать и о себе».

Я отвечал, что не смогу уделять много внимания своей плантации, без ущерба его делам, а этого я не допущу ни под каким видом, потому, будь на то моя воля, я готов служить ему верой и правдой до конца его дней. «Что ж, и служи,— повторил он,— и мне, и себе самому»,— на этом мы и расстались.

А теперь я хочу в нескольких словах, не вдаваясь в подробности, рассказать о тех двух неграх, которых я освободил от наказания и которые после этого стали самыми усердными и работящими среди всех невольников на плантации, исключая, как я уже говорил, разве что Мухата,— о нем я еще скажу в свое время,— так вот, они не только отплатили благодарностью за доброе обхождение с ними, но оказали влияние и на всех остальных, кто работал на плантации. Таким образом, мягкое обращение с ними и проявленное к ним великодушие в тысячу раз больше подстрек-

пули их усердие, чем все пинки, порки, наказания кнутом и прочие страсти, какие были раньше в ходу. Это принесло славу плантации, и кое-кто из плантаторов стал подражать нам, не могу, однако, утверждать, что старания их увенчались тем же успехом — ведь успех тут зависит от самих невольников и от умелого управления их чувствами. Стало очевидно, что на негров можно воздействовать убеждением так же, как на прочих людей; именно влияя на их разум, мы добивались от них хорошей работы.

Во всяком случае, плантации в Мэриленде (как выяснилось) от такого нововведения процветали, здесь и по сию пору относятся к неграм менее варварски и не с такой жестокостью, как на Барбадосе или Ямайке; замечено также, что в этих колониях негры не столь воинственны, не так часто совершают побеги или замышляют недоброе против своих хозяев, как там.

Я задержался на этом долее, чем хотел, надеясь убедить будущее поколение в целесообразности мягкого обращения с этими несчастными, к которым следует проявлять человечность, и заверить всех, что, придерживаясь этого метода и дополняя его различной в каждом отдельном случае мерой осмотрительности, они добьются того, что негры будут выполнять свою работу охотно и добросовестно, и им не придется тогда сталкиваться с непокорством и недовольством, на которые ныне все ссылаются, напротив того, негры будут вести себя как прочие белые невольники, а то и больше их станут проявлять признательность, смирение и трудолюбие.

Такую жизнь я продолжал вести еще лет пять-шесть, и за все это время мы не подвергли порке ни единого негра, кроме нескольких случаев, о которых я уже упоминал, да и тогда эти бедняги попались на каких-то пустяках. Должен признаться, встречались у нас среди негров и злобные и необузданные, однако на первый раз, когда кто из них провинится, мы их прощали, о чем я уже рассказывал, а коли такое случалось во второй раз, тогда их по приказу выгоняли с плантации. И вот что примечательно: сознание, что их должны выгнать, мучило их много больше, чем если бы им предстояла хорошая порка, от которой у них лишь портилось настроение и тяжко становилось на душе. Словом, наконец-то мы поняли: страх, что их прогонят с плантации, помогал им исправиться, иными словами, прибавлял им усердия скорей, чем любое жестокое наказание, и причину тому долго искать не надо было, просто на нашей плантации с ними обращались, как с людьми, а на других, как с собаками.

Мой господин признался, что очень доволен этой, как он назвал ее, благословенной переменой, и, встречая чувство признательности у негров, он в ответ выражал признательность всем, кто

служил ему. Особенно это касалось меня, к чему я как раз и подошел. Первое, что он сделал для меня вслед за тем, как отпустил на волю и определил мне жалованье, это раздобыл для меня земельный надел, а попросту говоря, участок, на котором я бы мог выращивать для себя, что захочу.

Как я потом узнал, он сам все устроил, выбрал мне, то есть записал на мое имя, участок, площадью примерно в триста акров и в более удобном месте, чем мне бы самому выдали, оформив все с владельцем земли на свой кредит. Таким образом, я стал владельцем земли, находящейся не вовсе рядом, но достаточно близко от его собственных плантаций. Когда я поблагодарил его, он заметил просто, что все это не стоит благодарности, поскольку он сделал так, чтобы я не пренебрегал его делами, занимаясь своими собственными, а посему он даже не ставит мне в счет деньги, какие уплатил за эту землю; правда, зная тамошние цены, я понимал, что это деньги не великие, что-нибудь вроде сорока или пятидесяти фунтов.

Да, так он на редкость милостиво вернул мне свободу, ссудил меня деньгами, помог купить собственную землю и определил мне тридцать фунтов годового жалованья, чтобы я заботился о его землях.

— Однако же, Полковник,— сказал он мне при этом,— дать тебе эту плантацию это еще ничего не дать, если я не помогу тебе сначала поднять ее, а потом поддерживать начатое дело. Поэтому я предоставлю тебе кредит, чтобы ты мог приобрести для нее все необходимое: всякие там орудия для обработки земли, провизию для невольников, а поначалу и самих невольников. Также материалы на строительство разных служб и прочих заведений на плантации. Ты должен купить на развод свиней, коров, лошадей и всякое такое, а я вычту у тебя за все, когда придет из Лондона твой груз, приобретенный на деньги по твоему чеку.

Что и говорить, это было очень ценной услугой с его стороны и проявлением большой доброты, а как выяснилось потом, даже более того. Согласно договоренности, он прислал мне двух своих невольников, которые оказались плотниками; что же до строевого леса, всяких там бревен, досок и прочего, то в стране, где почти все сделано из дерева, недостатка в этом не было. Не прошло и трех недель, как они поставили мне небольшой деревянный дом в три комнаты, с кухней, пристройкой и два сарая под склады, вроде амбаров, позади которых были конюшни. Да, вот я наконец и обосновался на этом свете, проделав шаг за шагом долгий путь от карманного воришки, а потом несчастного раба, проданного в Виргинию (собственно, Мэриленд — это та же Виргиния,

если не вдаваться в тонкости), до управляющего, или надсмотрщика над рабами, и, наконец, до самого плантатора.

Итак, повторяю, у меня был теперь дом, конюшня, два больших склада и триста акров земли, но, как говорится, в пустых стенах только коням плясать, так и у меня не было ни топора, ни колуна, чтобы валить деревья [1], ни лошади, ни свиньи, ни коровы, чтобы пасти их на этой земле, ни мотыги иль лопаты, чтобы взрыхлить землю, не было даже лишней пары рук, кроме моих собственных, чтобы обрабатывать землю.

Однако судьба усердного слуги зависит от воли неба и от добрых господ, я к тому говорю об этом, что людей, коих сослали в те места на каторгу или заманили туда хитростью, принято жалеть и считать несчастными, тогда как, совсем напротив, на моем собственном примере я хочу, чтобы они убедились в том, что, ежели усердие в пору рабства приведет к исправлению их натуры, а это, приложи они старания, должно неизбежно случиться, не найдется среди них ни одного, пусть самого несчастного, самого презренного преступника, который не сумел бы (когда выйдет срок его невольничьей службы) начать новую жизнь и со временем возделать добрую плантацию.

Возьмем хотя бы человека в самых невыгодных обстоятельствах, невольника, отслужившего свои пять или там семь лет (какого-нибудь беднягу, сосланного на семь лет каторжных работ), по обычаям страны в то время (изменилось ли что с тех пор, мне неведомо), если его господин подтверждал, что он честно отработал свой срок, то ему выдавалось пятьдесят акров земли под плантацию, с чего он и мог начинать.

Некоторые получали лошадь, корову и трех свиней или брали их в качестве аванса, который они потом должны были выплатить в определенный срок,— им шли в этом деле навстречу.

Принято было давать таким новичкам кредит, чтобы они могли купить разный инструмент, одежду, гвозди, орудия и прочее для возделывания своей плантации: кредиторы должны были получать с них табаком, который те у себя выращивали, и таким образом должник никак уж не мог обмануть своего кредитора и не заплатить ему. А поскольку табак был и звонкой монетой, и главной их продукцией, то и все покупки производились из расчета стоимости определенной меры табака, а соответственно устанавливались и цены.

Так и выходило: получал неимущий плантатор первым делом кредит и тут же приступал к работе, начинал возделывать свой

---

[1] Вся земля, прежде чем ее превратят в плантацию, покрыта лесом из высоких деревьев, которые следует повалить и выкорчевать.

участок земли, сажать на нем табак. Можно сказать, все уважаемые плантаторы Виргинии и Мэриленда начинали вот так же без порток и башмаков, а со временем становились владельцами состояния в сорок — пятьдесят тысяч фунтов. И я бы еще добавил, что, избрав такой путь, усердный человек никогда не просчитается, был бы он только хорошим хозяином и хватило б ему здоровья работать, ибо каждый год он может понемногу расширять хозяйство, прибавляя еще земли и сажая все больше табака, а табак — это те же деньги, и таким образом он может постепенно увеличивать свое состояние до тех пор, пока, наконец, не появится возможность покупать негров и прочих невольников, а тогда можно будет самому больше никогда не работать.

Одним словом, любой несчастный, угодивший в Ньюгетскую тюрьму, отчаявшееся, богом забытое созданье, самый презренный и конченый человек получает здесь полную возможность начать жизнь сначала; мало того, с полной гарантией выиграть, и притом самым честным путем, и его прошлое, какое бы оно ни было, ни в коей мере не будет влиять на его доброе имя. Бессчетное число людей спаслось вот так, поднявшись с самого дна, то есть из камер Ньюгета.

Однако возвращусь к моей собственной истории. Итак, при поддержке моего доброго покровителя я стал плантатором, а поскольку я не мог посвятить себя целиком моей новой плантации, он без колебаний тут же передал в мое распоряжение моего верного друга — негра Мухата. Он сказал, что этим он просто отдает должное той страстной привязанности, какую это несчастное создание питает ко мне; так оно и было на самом деле, учитывая, что однажды этот малый готов был пойти на виселицу вместо меня; с тех пор и до конца дней своих он остался мне глубоко предан, и все, что он для меня делал, он, несомненно, делал с охотой. Узнав, что станет теперь моим негром, он совсем обезумел от радости, и все на плантации подумали, уж не свихнулся ли он и, в самом деле, не потерял ли рассудок.

Кроме него, господин прислал мне еще двух невольников, мужчину и женщину, их, однако, уже в счет моего долга, о котором говорилось выше. И Мухат, и эти двое тут же принялись за работу, начав примерно с двух акров земли, не так уж густо заросших лесом, да и то большую часть его повалили те два плотника, что ставили мне дом (или временную постройку, как вернее было бы считать).

Эти два акра они обработали быстро и засадили табаком почти все, за исключением небольшого участка, который нам пришлось пустить под огород, чтоб было чем прокормиться; там посадили картофель, морковь, капусту, горох, бобы и прочее.

Щедрость моего господина, который помогал мне решительно во всем, оказалась для меня великим спасением, ибо именно в этот мой первый год меня постиг ужасный удар: как я уже рассказывал, с моего чека была снята и заверена по всей форме нотариальная копия, которую я отослал в Лондон. Мой добрый друг — чиновник из таможни — выплатил по ней деньги, а один купец, находившийся в Лондоне, по указанию моего милостивого господина обратил их в разные товары, которые помогли бы мне здесь как можно быстрее встать на ноги, но, к моему неописуемому горю, судно затонуло, это случилось уже у самого мыса, то есть непосредственно при входе в бухту, и явилось для меня полной неожиданностью; кое-что из груза удалось спасти, однако в непригодном виде, так что в итоге уцелели только гвозди, разный скобяной товар да орудия для обработки земли, и, хотя по стоимости они составляли бóльшую часть груза, мои потери были велики и непоправимы, и именно последнее было для меня особенно чувствительно.

Первое известие об этой потере меня как громом поразило, учитывая, что я был в долгу у моего покровителя и господина, и выплатить долг я мог разве что в течение нескольких лет, а так как он сам принес мне это печальное известие, он заметил и мою растерянность, то есть сразу увидел, что я крайне смущен и ошарашен, к чему у меня были все основания, ибо меня очень беспокоили мои долги. Но он постарался поднять мой дух. «Ну, ну, не отчаивайся,— сказал он мне,— ты легко можешь покрыть этот убыток».— «Нет, что вы, сэр,— отвечал я,— ведь это все, что у меня было, и я теперь вовек не расплачусь с долгами».— «Насколько я знаю,— сказал он,— я у тебя единственный кредитор, так что запомни, раз я пообещал однажды, что сделаю из тебя человека, я не отступлюсь, несмотря на все твои несчастья».

На этот раз я выразил ему свою благодарность особенно торжественно и почтительно, ибо, как никогда, понимал всю бедственность моего положения. И он сдержал обещание и не отказывал мне ни в чем, даже в самой малости, а поскольку с затонувшего судна удалось спасти всякого скобяного товара больше, чем мне самому требовалось, я поделился с ним, а взамен получил от него белье, одежду и прочие необходимые вещи.

С этих пор дела мои явно пошли на поправку; в моем владении находился большой участок возделанной, то есть освобожденной от леса, земли, я рассчитывал на большой урожай табака и приобрел еще трех невольников и одного негра, таким образом, я имел уже пятерых белых невольников и двух негров, словом, дела мои процветали.

В первый год я взял свое жалованье, так сказать ежегодное вознаграждение в тридцать фунтов, поскольку остро в нем нуж-

дался, однако на второй и на третий год я принял решение ни под каким видом его не брать, а оставить у моего благодетеля, чтобы покончить с долгами.

А сейчас, дорогой читатель, я позволю себе сделать небольшое отступление, чтобы обратить твое внимание на то, что, несмотря на все убожество моего воспитания, теперь, когда я, что называется, почувствовал себя законным членом общества и был близок к обретению независимости, рассчитывая со временем достигнуть большего,— повторяю, теперь я ко многому стал иначе относиться; прежде всего у меня возникла неодолимая потребность быть справедливым и честным, и, оглядываясь на прежнюю свою жизнь, я испытывал тайный ужас. Врожденное чувство, уж не знаю, как назвать его, которое и прежде, в дни ранней юности, удерживало меня от низких поступков и неуклонно внушало мне, когда я еще был ребенком, что мне уготовано занять положение благородного дворянина,— это неуловимое чувство не покидало меня и поныне; и я постоянно вспоминал слова старого мастера со стекольного завода, обращенные к благородному господину, когда он упрекал того за сквернословие, что быть благородным — значит, быть честным, что, если человек не честен, значит, он низко пал и потерял всякий стыд, а если это дворянин, значит, он потерял свое дворянское достоинство и стал хуже обыкновенного бродяги. Эта искренняя потребность быть честным, нашедшая поддержку в обстоятельствах тогдашней моей жизни, приносила мне тайное удовлетворение, какое трудно даже описать, вселяла в меня радость несказанную,— значит, отныне я не просто человек, но честный человек; мысль, что больше я не бродяга, вор и преступник, каким был с детства, приводила меня в гораздо больший восторг, чем само освобождение из рабства и от жалкой участи запроданного виргинского невольника, хотя тяготы жизни в неволе я вкусил сполна, и в моей памяти они связывались с изнуряющим трудом, постоянными лишениями и страданиями. Нет, совсем другое возмущало мою суть, заставляло кровь стынуть в жилах, переворачивало во мне всю душу, воскрешая в сознании моем картину ада с его духами зла; при одной мысли о прошлом меня охватывал ужас, все мне казалось ненавистным, вызывало дрожь отвращения, оскорбляло меня, заставляло глубоко страдать.

Однако забегаю вперед, чтобы рассказать, как все переменилось и какое счастье я испытал, получив возможность жить собственным трудом и освободившись от необходимости быть негодяем, который добывает хлеб свой насущный с риском для жизни и разоряя честных людей; такая жизнь доставляла мне не просто удовольствие и радость, но радость особую, никогда прежде мною

не испытанную. Ведь как горько быть вынужденным совершать низкие поступки ради куска хлеба, без которого не проживешь, делать выбор между виселицей или голодом, прикидывая, в чем меньше риску, и под угрозой нужды вечно творить зло.

Не могу сказать, что я боялся божьего гнева или испытывал угрызения совести,— просто, после долгих размышлений, а также научившись шире судить о вещах, да к тому же питая отвращение к безнравственной жизни, какую я вел раньше, я почувствовал тайное облегчение и даже некую радость, узнав о несчастье, случившемся с моим судном, и, хотя это была большая потеря, я был только доволен, что имущество, приобретенное нечестным путем, пропало и что я потерял то, что в свое время отнял у других, ибо не считал это моим; мне бы ввек не знать покою, если бы оно смешалось с тем, что я приобрел теперь честным трудом, с тем, что казалось ниспосланным свыше (так оно, собственно, и было), дабы заложить основу моему благополучию, которое без этого оказалось бы недолговечным.

И в то же время разум диктовал мне, что, быть может, это и есть фундамент моей новой жизни, не само здание, а только фундамент, и что мне еще предстоит совершить нечто большее, что только честность и добродетель приносят человеку истинное богатство и величие, венчают славой и положением в свете, а посему я должен во всем рассчитывать только на них и уповать на грядущее.

Чтобы найти подтверждение этим моим мыслям, отныне я пристрастился к чтению, благо научился читать и писать еще в бытность мою в Шотландии; мне довелось познакомиться с такими полезными сочинениями, как «История Рима» Тита Ливия, история Турции, история Англии, составленная Спидом и другими, история войн с Нидерландами, история шведского короля Густава Адольфа, а также в числе других и история испанских завоеваний в Мексике; некоторые из этих книг я приобрел в доме одного плантатора, который незадолго перед тем умер и вещи которого распродавались, иные просто брал читать.

Я полагал нынешнюю мою жизнь моей настоящей юностью, хотя мне было уже за тридцать, ибо в юности я не успел ничему научиться, и, если бы не мои ежедневные обязанности, которых было множество, я бы с удовольствием пошел в школу; и все же благосклонная судьба распорядилась по-своему, подарив мне счастливый случай в лице одного смышленого юноши, который был сослан сюда из Бристоля. Ведя, как он сам теперь признавал, рассеянный образ жизни, он оказался в крайне затруднительном положении и стал грабителем на большой дороге, за что, если бы его поймали, непременно бы повесили, однако попался он вместе

с шайкой мелких воришек и, избегнув таким образом худшей участи, был приговорен к ссылке и каторжным работам, причем, по его собственным словам, он был доволен, что еще легко отделался.

Он был человеком весьма ученым, и, заметив это, я однажды обратился к нему с вопросом, не подскажет ли он мне методу, по которой я бы выучился латинскому языку. Он отвечал мне с улыбкой, что обучил бы меня ему за три месяца, если бы я достал ему книги, а можно и без книг, было б время. Я сказал, что ему больше пристала книга, чем мотыга, и что, ежели он берется научить меня латыни, хотя бы только читать, чтобы лучше понимать другие языки, я поставлю его на более легкую работу, если буду уверен, что он заслужил благосклонность доброго господина. Короче говоря, я поступил с ним точно так, как мой благодетель со мной, и получил от него запас знаний, куда более ценных, чем стоимость одного раба, однако об этом еще впереди.

От всех этих мыслей мне веселей работалось. Поскольку теперь у меня имелось пять невольников, дела на плантации медленно, но верно шли в гору, она понемногу разрасталась, и на третий год я с помощью моего благодетеля купил еще двух негров, таким образом у меня стало семеро невольников; возделанной земли хватало, чтобы прокормить их, и потому плантацию можно было еще расширить, ибо на себя лично я не тратил ничего, так как находился на содержании у моего бывшего большого господина (как мы все его называли), а сверх того еще получал от него ежегодное жалованье в тридцать фунтов,— таким образом доходы мои шли в рост.

Так продолжалось в течение двенадцати лет; плантация моя процветала при милостивой поддержке моего господина, которого ныне я стал величать моим другом, у меня завязалась переписка с одним человеком из Лондона, с которым я начал торговлю: отправлял к нему морем табак и получал взамен европейские товары, какие нужны были для моей плантации, причем табака мне хватало и на продажу.

Как раз в это время скончался мой друг и благодетель, и я долго оставался безутешен по причине сей поистине тяжкой для меня утраты,— он был мне как отец родной, а без него я почувствовал себя словно чужестранец, хотя уже хорошо знал и страну, и свое дело, так как какое-то время почти самостоятельно вел все его хозяйство; однако, потеряв своего советчика и главную свою опору, я почувствовал себя обездоленным: отныне мне некому было довериться в разных моих делах. Но что случилось, то случилось, теперь мне все же было легче выстоять одному, чем прежде: я владел огромной плантацией и примерно семьюдесятью неграми и прочими невольниками. Одним словом, я стал поистине богат,

если учесть, что начинал я, как говорится, с нуля, то есть никакого капитала у меня не было, зато с самого начала мне повезло, ибо я получил помощь и дружеское участие, а лучшей поддержки и не придумаешь. Если бы мне пришлось начинать с пятьюстами фунтов в кармане, но без помощи, совета и сочувствия такого человека, мне бы хуже пришлось. Он обещал вывести меня в люди и сдержал свое обещание, однако, как мне кажется, и я сумел частично, так сказать, отблагодарить его за это: ведь я наладил все дела на его плантации и установил такие отношения с неграми, что за это и пятьсот фунтов было бы уплатить не жалко; работы на плантации исполнялись исправно и согласно его воле, все шло как нельзя более успешно, слуги и даже негры любили его, а о суровых наказаниях и помину не было.

На моей собственной земле тоже царил порядок, я старался так влиять на разум и чувства моих негров, что они служили мне вполне охотно, результатом чего были их преданность и усердие, тогда как на соседних плантациях недели не проходило без ужасных криков, воплей и стенаний несчастных невольников под пыткой или в страхе перед оной, и тамошние негры в разговоре с *моими мечтали лишь об одном: поскорее* умереть, чтобы вернуться на свою родину (они верили, что после смерти так и будет).

Когда среди невольников попадался мрачный тупица, да к тому же с дурным характером, а это порою случалось, я спешил расстаться с ним и тут же продавал его, ибо не желал держать никого, кто не умел быть благодарным за мягкое обращение; правда, совсем безнадежные мне попадались редко, так как стоило поговорить с ними разумно и прямо, как даже самые грубые из них делались уступчивей и покладистей; я не раз замечал это, рано или поздно верх брало стремление к собственной выгоде; если же этого так и не происходило, то мои люди, отличавшиеся совсем иными свойствами характера, сами ополчались на своих же товарищей и соотечественников, и это, в числе прочего, тоже вразумляло их; и вот что еще: всякий, кто в этом кровно заинтересован, может сам легко убедиться, что достаточно одного — сговориться с тем, кто считается у них вожаком, пробудить в нем благодарность, и тогда не успеете вы оглянуться, как остальные под его влиянием станут вести себя так же, как он.

Итак, я стал плантатором и студентом; мой педагог, о котором уже шла речь, по своему рвению и усердию оказался человеком просто-таки выдающимся: он занимался со мною с истинным увлечением и проявил редкий учительский талант; уже позднее на ряде случаев мне пришлось убедиться, что не всякий хороший ученый способен быть учителем, ибо искусство преподавания не имеет ничего общего со знанием изучаемого предмета.

Этот же человек владел и тем и другим и был мне на редкость полезен, так что я имел все основания проявлять к нему самую большую сердечность, учитывая его личные достоинства и обстоятельства, в коих он находился. Однажды я даже осмелился задать ему вопрос: как могло случиться, что такой человек, как он, получивший широкое образование и имевший все преимущества, чтобы преуспеть в этом мире, оказался в столь плачевном положении и попал к нам сюда? Само собой, приступая к этим расспросам, я счел не лишним проявить некоторую осторожность, так как, вполне возможно, ему было неприятно вспоминать об этом, и тут же оговорился, что, если у него нет желания обсуждать подобную тему, я не настаиваю и не сержусь на него. Поступая так, я понимал, что с человеком, когда он в беде, надо обращаться с особой деликатностью и не принуждать его к рассказу о себе, если это ему тяжело и если он предпочел бы об этом умолчать.

Он согласился и сказал, что для него вспоминать прошлое означает renovare dolorem [1], тем не менее в настоящее время ему только полезно терпеть унижения, ибо, как он надеется, они приведут его к искреннему раскаянию; что, хотя он не может без ужаса думать о своей загубленной молодости и растраченных зря талантах, коими щедрый создатель наградил его, готовя его к лучшим свершениям, все-таки он должен до дна испить чашу позора, коли будет на то воля господня, тем паче что он по своей воле ступил на эту стезю порока и преступлений и не покидал ее, пока господь (на прощение которого он все еще уповает) не остановил его, предав на всеобщее поругание, и он не считает, что суд уже свершился над ним, ибо тогда его отправили бы на тот свет, а вместо этого он попал в Виргинию и получил возможность раскаяться в своей безнравственной жизни... Он был готов продолжать в том же духе, но я заметил, что слезы горького раскаяния, выдававшие страстную борьбу, которая шла в нем, мешали ему говорить.

Я сделал вид, что не заметил его слез, и лишь выразил сожаление, что задал свой вопрос, признавшись, что сделал это из любопытства, ибо, наблюдая людей темных, невежественных и упрямых, которые погрязли в низости и позоре, я не спрашиваю, как это случилось с ними; когда же на скользкий путь ступают люди одаренные и образованные, я делаю вывод, что в этом повинна чья-то неумолимая злая воля. «Так оно и есть,— сказал он мне,— когда я попросил судью о помиловании и произнес свою просьбу на латыни, он ответил мне: если подобные преступления совершает человек, владеющий вашими знаниями, он еще более заслу-

[1] Воскрешать пережитое горе *(лат.)*.

живает наказания, чем простой человек, ибо его знания должны подсказать ему, что он не может ждать снисхождения, и потому у него меньше соблазна совершать преступления».

— Однако, сэр,— продолжал он,— я уверен, что мой случай весьма характерен, поскольку испытывать нужду уже само по себе великое зло, и нужда не только порождает искушения, но такие искушения, перед которыми человеку не устоять. Стало быть, бог справедлив,— продолжал он,— коли он стремится уберечь человека от искушения, избавляя его от нужды!

Меня так поразила истинность его слов, которую я на собственном примере испытал, что я невольно задумался, однако он продолжал говорить.

— Я так четко все это осознаю, сэр,— сказал он,— что считаю нынешнее мое униженное положение меньшим бедствием, чем всю мою прежнюю жизнь, ибо я свободен теперь от ужасной необходимости совершать низкие поступки, которые стали моим позором и проклятием, хотя шел я на это ради куска хлеба; мне не приходится ныне отнимать хлеб у других, применяя насилие и нарушая законы, теперь я сыт, хотя и вынужден сам зарабатывать себе на пропитание тяжким трудом, но я благодарю господа за эту перемену в моей жизни.

Тут он было замолчал, но потом опять продолжал:

— Насколько лучше жизнь жалкого раба здесь, в Виргинии, чем судьба самого преуспевающего вора там! Здесь я беден, но честен, мне приходится страдать, но я не заставляю страдать других. Моя спина гнется под тяжестью наказания, зато на душе у меня легко. Раньше я не раз говорил, что мне все недосуг разобраться в себе самом, что надо дождаться передышки, вот тогда я найду для этого время, а теперь сам бог дал мне досуг, чтобы я мог раскаяться...

Он долго еще говорил в том же духе, выражая благодарность, уверен, вполне чистосердечную, за то, что избавили его от бесчестья, хотя теперь его ждет в десять раз худшая нищета.

Я был глубоко тронут его речами, так как слишком хорошо знал истинную цену перемене, произошедшей с ним, и потому не мог не расчувствоваться, хотя, признаюсь, до сего случая о боге я задумывался редко. Я сам, как и он, был преступником, правда, не таким закоренелым, однако и не помышлял о раскаянии, и не считал свою прошлую жизнь преступной, а только лишь бесславной и недостойной дворянина, что постоянно, как я уже не раз признавался, тревожило меня.

— Ну хорошо,— сказал я ему,— вы говорите о раскаянии и, надеюсь, искренне, но как бы вы расценили свое положение, если бы вдруг избавились от жалкой участи купленного за деньги раба,

на какую сейчас обречены? Вы думаете, тогда вы стали бы другим человеком?

— Видит бог,— отвечал он,— если бы мне пришлось ответить «нет», я бы искренне помолился, чтобы избавление никогда не наступало. Пусть я навсегда останусь рабом, только не грешником.

— Ну ладно,— сказал я,— а предположим, вы бы снова оказались в нужде и опять бы страдали от голода, тогда вы разве не вернулись бы на знакомый вам путь?

Он не задумываясь ответил, что о нужде уже сказано в молитве «Отче наш»: *«Не введи нас во искушение»*, а также в притчах Соломоновых словами Агура: *«...чтоб, обеднев, не стал красть...»* Я бы век молил бога об одном: избави меня от пут-сетей, коим самому не противостоять. И все же мне кажется, я бы лучше стал голодать, нежели снова заниматься воровством, однако я хотел бы избегнуть искушения, ибо не уверен в силах моих».

Признание было чистосердечным, ничего не скажешь, да и вообще вся его речь дышала самóй искренностью, так что трудно было его в чем заподозрить. Во время одного из наших разговоров, он достал маленькую потрепанную книжицу в бумажном переплете, куда он списал молитву в стихах, которая вряд ли оставила бы равнодушным хоть одного христианина, и я не могу не привести ее здесь, ибо в жизни не встречал ничего подобного. Она начиналась строками:

О Боже правый, не дай мне отдохнуть!
Какие б Муки ни терзали грудь,—
Покуда не избыто Преступленье,
Пусть длится эта Боль — во Искупленье!
Не облегчай Отчаянье мое,
Покуда Милосердие твое
Не воцарится полностью на Троне,
Свободном от Грехов и Беззаконий,
Покуда не очистится Душа,
Раскаяньем Злодейство сокруша [1].

Дальше говорилось все о том же, это были лишь начальные строки, и они так запали мне в душу, что я запомнил их слово в слово, и нередко твердил про себя.

После столь замечательного и столь растрогавшего меня ответа на продолжении разговора я не настаивал. Было ясно, что человек этот искренне раскаивается и опечален не самим наказанием, ибо нынешнее его положение не беспокоило, а скорее, как уже говорилось, радовало его,— нет, чувства и разум его тревожили воспоминания о пагубной, порочной жизни, какую он вел раньше, о гнусных преступлениях против бога и людей, какие он совер-

[1] Перевод Г. Кружкова.

шал, ему не давала покою мысль о том, до чего же неразумен он был, пока не попал сюда.

Я спросил его, не приходилось ли ему думать о раскаянии — до или после приговора? На что он ответил: «Ньюгет (ибо так называлась бристольская тюрьма, видимо, в подражание лондонской) не то место, где родится раскаяние, напротив, любой злодей ожесточится там и позабудет скоро и бога, и черта». И все-таки, оглядываясь назад, он с удовлетворением мог отметить, что даже тогда он не оставался полностью чужд раскаянию, однако не смел всецело уповать на волю всевышнего. Он часто задумывался о себе, о своей загубленной жизни еще до того, как попал в тюрьму, каждый раз, когда нечестивое его ремесло предоставляло ему время для размышлений; он даже вопрошал себя: «Куда я качусь? До чего доведут меня все эти дела? И когда им будет конец? Грех и стыд сменяют друг друга, и ждет меня виселица». И он бил себя в грудь и восклицал: «О негодяй несчастный! Когда ты наконец раскаешься?» И отвечал сам себе: «Никогда! Никогда! Никогда! Пока не попаду в тюрьму или на виселицу».

— После чего,— продолжал он,— я вздыхал и проливал слезы, вспоминая мою злосчастную жизнь, история которой могла бы повергнуть мир в изумление. Но увы! Будущее казалось темно и вселяло в меня такой ужас, что вынести это было трудно, и тогда я искал утешения в вине и в веселой компании, вино вело к невоздержанности, а дурная компания, состоявшая из мне подобных, вводила во искушение, и тогда всех моих размышлений как не бывало, и опять я становился негодяем.

Он говорил об этом с таким волнением, что, хотя лицо его озаряла улыбка, однако в глазах все время стояли слезы, так он был охвачен сладкой скорбью, если возможно употребить подобное выражение.

Странное все это производило на меня впечатление, и не пойму даже, отчего так волновало меня. Мне нравилось слушать его, и все-таки на душе у меня, не знаю почему, от этих речей оставался какой-то тяжелый осадок, и что со мной, я не ведал. Необъяснимая тоска сжимала сердце.

Итак, он продолжал свой рассказ.

— А затем,— сказал он,— я попал в руки правосудия за выходку, особенно наглую. Подумать только, меня, на счету у которого было по меньшей мере сто грабежей и прочих преступлений,— чтобы их все описать, потребовалась бы целая книга,— меня, который, попадись я только, заслуживал цепей и виселицы и против которого, если бы дело слушалось открытым судом, выступило бы не менее двадцати свидетелей,— такого человека тайно препроводили под чужим именем в местную тюрьму и судили

за мелкое преступление, в котором я, по сути, не был виновен, а поскольку еще учли неподсудность духовенства светскому суду, то снизошли до милости и отправили на каторгу.

— А что, как вы думаете,— сказал он,— сильнее всего задело мои чувства и породило во мне эту благодетельную перемену, которая позволяет мне надеяться, что господь не оставил меня? Только не тяжесть моих преступлений, нет, лишь чудо промысла божия, кое во спасение человека устилает путь его терниями, заставляя терпеть муки и страдания за малую вину его, дабы мог человек сам узреть, какого наказания избежал за главные свои прегрешения, одному ему ведомые. Неужели вы думаете, что, когда узнал я о ссылке и каторжных работах, я не расценил этот приговор как чудо, как милость божию, оказанную человеку, который сделал все, чтобы заслужить виселицу, и беспременно встретил бы давно смерть, если бы стало известно его настоящее имя и проведали бы, какой отпетый негодяй попал к ним в заточенье. Вот где началось мое раскаяние, ибо в том и милость нашего создателя, что он оберегает нас, когда мы отдадим себя на его суд, и сострадает нам, спасая от всяких бед, какие мы сами на себя накликаем, не зная, как вырваться потом от них, но лечит нас он тоже муками, делая добро через зло, тогда как сами мы часто пользуемся добротой его себе во зло. Да, повторяю, вот где главная причина покаяния; никто не станет спорить, что не виселица, но избавление вора от виселицы заставляет его раскаяться.

— Конечно,— продолжал он,— страх перед заслуженной карой имеет свою власть над человеком. Ожидание смерти наполняет его душу ужасом, который спешат назвать раскаянием, но, боюсь, ошибаются, ибо это скорее лишь душевные муки, порожденные тяжким предчувствием неминуемого возмездия, смятение в грозном предвидении грядущего. Иное дело сознание, что ты прощен, вот оно действительно может всколыхнуть все ваши чувства и страсти, и тогда перед вами невольно встанет весь ужас содеянного вами преступления — именно преступления, которое оскорбляет нашего создателя, ибо означает низкую неблагодарность по отношению к тому, кто дал нам жизнь со всеми ее радостями и утехами, кто полнит наши сердца благоговением, продолжая творить добро, когда мы заслуживаем лишь гибели.

— Вот, сэр,— сказал он,— где находился источник моего раскаяния, из которого я черпал с истинной радостью. Вот что такое сладкая скорбь,— продолжал он,— о которой я вам только что говорил, рождающая на лице улыбку, когда из глаз текут слезы, и дарующая радость, о которой я могу вам дать представление, лишь признавшись, что с самого начала моей самостоятельной жизни не было у меня счастливее дня, чем тот, когда я высадился на

этом берегу и начал работать на вашей плантации; я был раздетый, голодный, усталый и измученный, страдал в мороз от холода, в зной от жары, и вот тогда-то я и задумался о своей судьбе и узрел всю разницу между страданиями тела нашего и душевными муками. Прежде я гулял и кутил, здесь я узнал суровую борьбу за существование, там я наслаждался праздностью и свободой, здесь я тружусь, пока достанет сил. Однако какая счастливая разница в моем положении раньше и вот теперь! Что и говорить, раньше в душе моей царил ад, смятение и ужас преследовали меня, я был сам себе ненавистен и всегда ждал плохого конца, тогда как теперь я обрел сладостный душевный покой — символ и предвозвестник небесного покоя, я смирился, исполненный благодарности, и готов восхвалять счастливый случай, вырвавший меня из когтей сатаны. Теперь мои мысли парят высоко, а смертельная усталость лишь радует меня, тяжелый труд мне кажется забавой, и на сердце всегда легко. Прежде чем лечь на мое жесткое ложе, словами, исполненными любви, я восхваляю господа не только за то, что я избежал проклятой тюрьмы и смерти, которую заслужил, но и за то, что Шутерс-Хилл навсегда позади, и я больше не грабитель, не гроза всех честных и праведных людей, не обманщик простодушных бедняков, не вор, не мошенник, какого следовало бы стереть с лица земли ради безопасности других людей; я восхваляю господа за то, что я спасся от ужасного искушения в погоне за богатством творить одно за другим злые дела. Клянусь, всего этого достаточно, чтобы облегчить самые тяжкие муки и внушить благодарность за то, что попал в Виргинию, а случись иначе, и в место похуже.

Затем он откровенно признался мне, что если бы можно было предстать пред вратами рая, а затем и ада, чтобы увидеть четко и ясно, где радость, красота и высшее блаженство, а где только страх и ужас, и, в силу разумения своего, познать и рай и ад, то первое знание скорей принесло бы исцеление человечеству, чем второе. Мы еще не раз возвращались к этой теме в наших беседах.

Если бы меня спросили, неужели я мог бестрепетно слушать все это, так близко касающееся меня и моего прошлого, я бы ответил так: что бы он ни говорил, своих чувств я ему не показывал, поскольку он представлял себе меня совсем не таким, каким я был на самом деле; я не делился с ним своей историей, как делают в подобных обстоятельствах, а напротив, время от времени напоминал ему, что попал в Виргинию не в качестве преступника и не был сослан сюда на каторгу; учитывая, что именно так начинали свой путь многие из здешних состоятельных граждан, мне просто необходимо было это ему говорить. Мне было довольно того, что теперь я занимал хорошее положение, а прошлое мое ни-

кого не касалось, и, поскольку мое печальное прибытие в этот край — рабом, а не вольнонаемным — уже стерлось из памяти, не в моих интересах было рассказывать об этом, и я таил свою историю. Тем не менее себе самому я не мог не признаться, что в голове у меня от наших разговоров царит полная путаница, скрывать которую становилось невозможным — ведь до сих пор я оценивал вещи поверхностно, заботясь лишь о том, добро или зло, радость или страдание они мне несут, означают ли для меня удачу или неудачу, и не очень-то понимая, сколь полно все повороты судьбы выражают волю господа, как все направляется им.

Вы уже знаете, на чем остановилось мое образование, и, следственно, у меня не было наставника в религии, который дал бы мне понятие о ней, я не разумел даже самой сути ее, и ежели в указанное время я пребывал как бы в поисках веры, то это означало лишь, что я пристальнее вглядывался в мир, пытаясь понять, каков он на самом деле; что же до создателя его, едва ли сыскалась бы на земле хоть единая сотворенная им живая душа, столь же не ведающая господа своего, как я тогда, столь неспособная его узнать.

Однако серьезные взволнованные речи молодого человека постепенно изменили мое отношение к сему вопросу, и я уже говорил себе, что рассуждения его вполне справедливы, но что же тогда я сам за человек и чем жил раньше, коли никогда не задумывался над этим? Никогда не умел сказать: благодарю тебя, господи, за то, что ты спас меня, и за все, что сделал для меня в этом мире! И, однако же, чего только ни случалось со мной в моей жизни, сколько раз, как и он, я чудом спасался от всяких бед и напастей, и если то было освящено невидимой волей божией мне во благо, чем я заслужил его заботу о себе? Где же я обретался? Что за неразумное и неблагодарное я создание божие, таких больше, наверное, и свет не видывал!

Подобные мысли начали сильно тревожить меня, и я впал в меланхолию, однако в религии я тогда так мало смыслил, что даже если бы принял решение начать новую жизнь или захотел бы приобщиться к вере, не ведал, как это сделать.

У моего наставника — я только так теперь называл его — оказалась в руках Библия, и он углублялся в чтение ее не раз на дню, хотя я не знал зачем; увидев у него в руках Библию, я попросил ее и сам стал читать; прежде со мной это так редко случалось, что я смело мог бы сказать: за всю свою жизнь я вряд ли прочитал подряд хоть одну главу. Он заговорил тогда о Библии просто как о книге и сказал, где она у него хранится и как ему удалось привезти ее в Виргинию, а потом поднес ее в пылу экстаза к губам и поцеловал. «Благословенная книга! — воскликнул

он.— Она единственное мое сокровище, какое я вывез из Англии, единственное утешение в моих горестях. С ней,— добавил он,— я не расстался б ни за что в мире». И он долго еще продолжал в том же духе.

Совершенно не понимая, о чем он говорит, ибо имел, как я уже сообщал вам, лишь наивные представления юных лет — о промысле божием среди людей и проявленном ко мне господнем милосердии,— я взял эту книгу из его рук и стал листать ее; Библия открылась на главе 26, стих 28, где Агриппа говорит апостолу Павлу: *«Ты не много не убеждаешь меня сделаться христианином».*

— Мне кажется,— сказал я,— эти строки точь-в-точь совпадают с тем, что вы только что так обстоятельно излагали, и я хочу вслед за вами повторить это словами отца нашего,— и я прочел ему эти строки.

Он вспыхнул, услышав текст, и тут же ответил мне:

— А я бы в ответ процитировал вам слова святого апостола, обращенные Агриппе: *«...молил бы я Бога, чтобы, мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз».*

Мне было тогда, по моим расчетам, уже за тридцать, насколько я мог сам судить о своем возрасте, ибо никого не осталось, кто знал меня с рождения. Итак, повторяю, мне было за тридцать, и я уже успел пройти богатую школу жизни, но, поскольку с младенчества был всеми заброшен и ничему не учился также и в юные годы, я пребывал, что называется, в полном неведении относительно всего, что достойно в этом мире называться верой, и то был первый случай в моей жизни, когда крупица религиозного чувства запала в мое сердце. Меня поразили речи этого человека и в особенности все, что касалось его прошлого, о котором он говорил так прочувствованно и которое слишком напоминало мне собственное прошлое, а потому, каждый раз, когда он, вспоминая обстоятельства своей жизни, оценивая их с разных точек зрения, делал вывод в пользу религии, меня вдруг осеняло, а ведь и я должен за многое испытывать благодарность и во многом, как и он, раскаиваться, с той лишь разницей, что мне, в отличие от него, не была послана благодетельная вера, правда, зато я был на свободе и хорошо устроился в этом мире, довольно легко стал господином и достиг полного благополучия, поднявшись именно из того ничтожного и плачевного положения, в каком он пребывал сейчас, однако ежели он все еще остается невольником и ежели, как следует считать, его грехи тяжелее моих, значит, и печаль его должна быть горше.

Эти размышления о благодарности взволновали меня и крепко засели в моей голове. Я вспомнил, что испытывал глубочайшую

признательность к моему старому господину, который помог мне подняться из ничтожества, я любил самое имя его и даже землю, по которой он ступал, однако никогда мне в голову не приходило, что этим я обязан только ему одному, нет, нет, и я бы мог повторить вослед за фарисеями: «Боже, благодарю тебя...» — за все, что по воле божией было сделано для меня.

Вот тогда-то я и подумал: ежели, как неоднократно разъяснял мне мой новый учитель, наша судьба направляется свыше и ежели бог указует все, что должно произойти в жизни и ни один волос не упадет с головы без соизволения отца нашего, то каким же неблагодарным псом я был перед лицом провидения, столько сделавшего для меня! И тут же вслед за этими размышлениями напросился вывод, что будет только справедливо, если волею всевышнего, коей я пренебрег, я останусь без тканей, шерстяных и полотняных, которые ныне прикрывают наготу мою, и буду снова ввергнут в нищету, знакомую мне с детства.

Эта мысль немало смутила меня, и я впал в задумчивость и печаль, постоянным утешителем в коих был, однако, мой новый наставник, от которого я каждый божий день узнавал что-либо новое, и однажды утром я заявил, что, как мне кажется, ему не следует больше обучать меня латыни, а вместо этого лучше нам заняться богословием.

Но он признался мне со всею скромностью, что не настолько сведущ в нем, чтобы сообщить мне что-либо, чего я сам не знаю, и предложил мне читать каждый день Священное писание, кое одно может считаться источником и основой всех наук. На что я отвечал ему словами евнуха, обращенными к святому Филиппу, когда апостол спросил его: *«Разумеешь ли, что читаешь?» — «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?»*

Мы часто беседовали на эту тему, и я получил все основания считать его искренне новообращенным, так что говорить о нем иначе не могу и не должен. Однако о себе того же сказать не смел бы: мое сознание тогда еще не созрело для подобной перемены. Меня тревожили сомнения насчет моего прошлого. Я вел тогда, как, впрочем, и до нашего с ним знакомства, скромный, размеренный образ жизни, много трудился и не предавался излишествам, и все-таки причислить себя, подобно ему, к кающимся грешникам я не мог: мне не хватало убежденности и веры, которая поддержала бы меня, и потому, как это часто случается, когда первые впечатления не западают глубоко в душу, раскаяние мое постепенно улетучилось.

Тем временем он продолжал исповедоваться мне во всех своих жизненных невзгодах, о коих докладывал со всею серьезностью, так что беседы наши, как правило, были исполнены благо-

намеренности и глубокомыслия, никакого намека на ветреность, даже когда мы не касались в разговоре религиозных тем. Он часто читал мне что-нибудь из истории, а ежели книг не оказывалось под рукой, он сам разъяснял мне вопросы, о коих даже не упоминалось в современных исторических трудах, или, во всяком случае, в тех книгах, какие у нас были; он пробудил во мне неутолимую жажду узнать, что творится на белом свете, тем более что весь мир тогда был занят великой войной, в которую втянули французского короля, бросившего вызов всем европейским державам.

Я счел себя заживо погребенным в отдаленной части света, где никто ничего не видит и почти ничего не слышит о том, что творится на земле, да и эти-то слухи доходят с опозданием на полгода, а то и на год, если не больше. Одним словом, меня опять стали мучить былые сомнения, достоин ли тот образ жизни, какой я веду теперь, истинного дворянина?

Конечно, теперь я был ближе к цели, чем когда оставался карманным вором, а потом был продан в рабство. Но все это было слабым утешением и ничуть не успокаивало меня. Я приобрел еще одну плантацию, весьма солидную, и дела на ней шли превосходно; я держал на ней сто невольников, самых разных, и одного надсмотрщика, на которого мог полностью положиться; кроме того, имел в зачине еще и третью плантацию, только-только осваиваемую, так что ничто не мешало мне в достижении моей цели.

И тем не менее я стал подумывать о путешествии в Англию; что мне там делать, я еще не знал, но про себя я решил одно: надо как можно больше посмотреть, чтобы составить собственное мнение о вещах, о коих до сих пор имел лишь смутное представление по книгам.

Я ускорил устройство всех дел на моей третьей плантации, желая навести там такой порядок, чтобы можно было либо сдать ее в аренду, либо доверить надсмотрщику, как уж там я сочту нужным.

Если бы я принял решение оставить ее на управляющего, или надсмотрщика, не нашлось бы для этого более подходящего человека, чем мой учитель, но я даже в мыслях не имел покидать того, кто возбудил во мне это страстное желание отправиться путешествовать и коего я намерен был сделать соучастником в моих странствиях.

Прошло три года, прежде чем я привел дела мои в такое состояние, чтобы спокойно покинуть страну; за это время я освободил от всех обязательств моего учителя и с радостью вернул бы ему свободу, но, к моему великому разочарованию, не сумел уговорить его ехать со мною в Англию, пока не истечет срок, указанный в официальном документе о его ссылке сюда; поэтому я на-

значил его моим управляющим, тем самым вселив в него надежды на лучшее будущее, коего он мог достигнуть таким же путем, каким некогда шел я с помощью моего доброго покровителя, с одним лишь различием: я не оказал ему содействия, какое получил когда-то сам, в приобретении собственной плантации, в мои намерения это не входило, и тем не менее его радение и честное отношение к своим обязанностям без моей помощи сделали свое дело и принесли ему даже больше пользы,— про это уже шла речь,— чем просто назначение моим управляющим, так как последнее в тот момент означало для него лишь избавление от тяжелой работы, а также от участи невольника.

В ответ на доверие, оказанное ему, он проявил такое усердие и такую исполнительность, что заработал себе доброе имя, и когда я вернулся в эту страну, я обнаружил, что он занимает уже совсем иное положение, чем то, в каком я его оставил,— не считая того, что в течение примерно двадцати лет он был в должности моего главного управляющего, о чем в свое время вы еще услышите.

Я упоминаю об этом главным образом на случай, ежели какому несчастному выпадет на долю такая же беда и он окажется в подобном положении, пусть он примет все это к сведению и заучит небольшой урок, построенный на следующих примерах.

I. Виргиния в качестве штата для ссыльных каторжан может оказаться самым благоприятным местом, где они искренним раскаянием своим и примерным усердием в работе, на какую их поставят, добьются положения, какого никогда прежде не знали. Для этого им не придется идти путем зла и насилия, ибо здесь они попадут в столь новые условия, что у них даже не будет искушения, вспомнив прошлое, совершать старые преступления, и перед ними откроются виды на лучшее будущее.

II. В Виргинии даже самому жалкому и ничтожному человеку, когда истечет срок его невольничьей службы, если он проявил должное усердие и трудолюбие на службе этой стране (коли он останется жив-здоров), обеспечены благополучная жизнь и процветание.

И, поскольку существует такое правило, на которое может рассчитывать даже самый последний горемыка, то, на мой взгляд, сосланный сюда преступник должен считать себя счастливее самого преуспевающего вора, который гуляет еще на свободе в своей родной стране. Неверно полагать, как делают некоторые, что бедняги, которые желают добровольно уехать в далекие земли и, чтобы попасть туда и там устроиться, принимают на себя суровые обязательства, поступают глупо — вовсе нет, особенно если их будущие хозяева окажутся людьми честными, ведь поначалу они, скорей всего, просто не знали, какой путь избрать, и потерпели

неудачу. Здесь же их немедленно обеспечат всем необходимым, а по истечении срока наказания они получат возможность обеспечивать себя сами. Однако возвращаюсь к моей собственной истории, чтобы открыть новую ее страницу.

Отныне, оставив мою плантацию в надежных руках и успокоившись на этот счет, я начал готовить запасы провизии для путешествия в Англию. Главной моей задачей было запастись таким количеством товара и денег, чтобы мне хватило на жизнь и сделки за границей, но более всего, чтобы получить большие прибыли с плантаций в Мэриленде, снабдив их для этого всем, чем нужно. Однако, тщательнее обдумав предстоящее путешествие, я пришел к выводу, что было бы неразумно доверить весь мой груз одному судну, на котором собирался плыть и я сам, а посему я в разное время погрузил пятьсот кип табака на разные судна, отправлявшиеся в Англию, сообщив моему агенту в Лондоне, что сам намерен сесть на корабль тогда-то, чтобы приплыть следом, и велел ему подготовить солидную сумму денег, соответствующую стоимости моего товара.

Я покинул страну примерно два месяца спустя, сев на вполне надежное судно, вооруженное двадцатью четырьмя пушками и направлявшееся в Англию, с грузом около шестисот кип табака. 1 августа ... года мы оставили позади берега Виргинии. Первые две недели наше плавание было мучительно трудным, несмотря на то что оно пришлось, по установившемуся мнению, на благоприятный сезон.

Проведя одиннадцать дней в открытом море, в течение которых почти все время дул сильный вест, точнее, вест-норд-вест, загнавший нас на восток дальше, чем надо, когда идешь морским путем в Англию, мы попали в страшнейший ураган, жестоко трепавший нас пять дней кряду без передышки, так что нам пришлось все это время, как говорят моряки, «догонять ветер», невзирая на намеченный курс. Наше судно сильно пострадало от шторма и дало в нескольких местах течь, правда, усилиями матросов пробоины заделали. Однако наш капитан, которому пришлось долго сражаться с непогодой, в конце концов решил идти на Бермудские острова, тем более что волнение на море еще не спало.

Я не настолько разбирался в морском деле, чтобы уловить суть спора, возникшего по этому поводу, но мне показалось, что, взяв направление на остров, они ошиблись широтой, поднявшись выше, чем надо, и теперь мы уж никак не могли вернуться на Бермуды. Мнения капитана и его помощника начисто разошлись, что вообще-то редко случается. Каждый придерживался прямо противоположной точки зрения; вероятно, шторм слегка сбил их с толку. Капитан, человек довольно резкий, грубо отчитал своего по-

мощника и даже пригрозил по прибытии в Англию подвергнуть его наказанию. Помощник капитана хоть и был настоящим морским волком, однако отличался редкой скромностью; открытой ссоры он не затевал и все же стоял на своем. И вот по прошествии нескольких дней, пока они продолжали пререкаться, непогода утихла, небо очистилось, и они получили возможность определить наши координаты, чтобы понять, где мы находимся, и тогда выяснилось, что помощник капитана был прав, а капитан ошибался, так как нас занесло на 29° широты, то есть совсем в сторону от Бермудских островов.

Помощник капитана не выказал никакого злорадства, а капитан, убедившись в своей неправоте, вернул ему свое благорасположение. Таким образом, все раздоры между ними были забыты, но оставался нерешенным вопрос: что же делать дальше? Одни предлагали идти таким-то путем, другие — иным, однако все единодушно соглашались, что плыть прямо в Англию мы сейчас не в состоянии, разве что подул бы зюйд, либо зюйд-вест, который судьба не хотела нам подарить за все время нашего плавания.

В итоге все сошлись на том, что следует идти к Канарским островам, то есть к самой близкой из досягаемых для нас точек земли, не считая островов Зеленого Мыса, но они лежали слишком уж на юг от нас, если бы и удалось преодолеть само расстояние.

А посему мы взяли курс норд-вест при упорном западном, а точнее, северо-западном ветре и, проделав немалый путь, примерно через пятнадцать дней миновали пик Тенерифе — самую высокую вершину одного из Канарских островов. Здесь мы пополнили наши запасы, забрав свежей воды и кой-чего из провизии, а к тому же отличного вина, и в большом количестве, но поскольку удобной гавани там не было, то, оберегая наше судно, сильно пострадавшее от дурной погоды и прохудившееся, мы были вынуждены удовольствоваться, чем могли, и, простояв на якоре у Канарских островов всего четыре дня, снова вышли в море.

После Канарских островов погода благоприятствовала нам, и море оставалось совершенно спокойным, пока мы не вошли в зону промера, как называют устье Английского канала, а так как дул сильный норд-норд-вест, нам дольше обычного пришлось стоять (по выражению моряков) в открытом море, у самого входа в Английский канал. И вот в утренней мгле пред нами вдруг возник двадцатишестипушечный французский корсар, или капер, который на всех парусах пустился за нами в погоню. Наш капитан раз или два обменялся с ним бортовыми залпами, что оказалось для меня мучительным испытанием, так как никогда прежде мне не случалось наблюдать ничего подобного; подвергнув нас пушеч-

ному обстрелу, французы убили и ранили шестерых из лучших наших людей.

Короче говоря, после боя, достаточно продолжительного, чтобы мы успели прийти к убеждению, что, ежели французы не возьмут нас в плен, мы так или иначе пойдем ко дну прямо у них на глазах, ибо шансов на спасение нам не оставалось никаких, и после боя, достаточно продолжительного, чтобы не уронить честь нашего командира, мы сдались, и судно наше угнали в залив Сен-Мало.

Меня не очень огорчила потеря имущества, находившегося на нашем корабле, так как я знал, что у меня еще много чего разбросано тут и там по свету; однако, лишившись решительно всего, что было при мне, вплоть до одежды, сорванной с плеч моих, я не мог оставаться к этому совершенно безразличен. К счастью, кто-то сообщил капитану капера, что я являюсь пассажиром и купцом, и он пригласил меня к себе и осведомился о всех обстоятельствах; услышав из моих собственных уст, как со мною обошлись, он приказал своей команде выдать мне платье и шляпу, а также пару обуви, которую отняли у меня, и самолично предложил мне свой халат, чтобы я пользовался им, пока нахожусь на борту его корабля; следует отдать ему должное, обращался он со мною все время очень хорошо.

Но мало того, что я попал в плен, меня еще, к великому моему огорчению, задержали на борту корсара, команда которого, по моему наблюдению, вся состояла из французов; как я уже говорил, корабль их направился к заливу Сен-Мало, и, когда мы туда прибыли, я, к еще большему моему огорчению, узнал, что по дороге к Сен-Мало наше трофейное судно попало в руки английского военного корабля и его угнали в Портсмут.

После того как угнали наше судно, пират снова пустился в плавание и крейсировал какое-то время у входа в Английский канал, не встретив, однако, подходящей добычи; наконец мы увидели какой-то парусник, он оказался тоже французским и занимался тем же, что наш пират. От него мы узнали (поскольку в Англии разнесся слух, что какие-то французские корсары бороздят зону промера), что из Плимута вышли три военных английских корабля, чтобы крейсировать вдоль Канала, и что мы наверняка с ними столкнемся. Получив такое известие, французский капитан, малый отчаянно смелый, не привыкший уклоняться от опасности, берет курс норд-ост в сторону пролива Святого Георга и на широте 48° с половиной, на свою же беду, встречается с большим, хорошо оснащенным английским судном, возвращавшимся с Ямайки. Дело было на заре ясного утра, матрос закричал с грот-марса: «Виден парус!» Я очень надеялся, что это окажется англий-

ский военный корабль, и по гонке и поспешным приготовлениям к сражению, какие тут же начались, заключил, что так оно и есть, а потому, желая посмотреть на него, я покинул свой гамак — отдельной каюты у меня не было. Однако вскоре я обнаружил, что расчеты мои оказались неверными, чужой корабль находился по другую сторону, ибо, направляясь на север к берегам Ирландии, он лежал теперь от нас по борту слева; когда я перебрался туда, я увидел, что наши паруса уже подняты и наполнены ветром, то есть погоня началась и мы развиваем максимальную скорость; также я заметил, что и они увидели нас и поняли, кто мы такие, и, стремясь уйти от нас, помчались на всех парусах в сторону Ирландии, чтобы найти там укрытие.

Было очевидно, что наш капер шел много быстрее ихнего, по крайней мере, вдвое, и ближе к вечеру мы настигли его; сумей он сохранять дистанцию еще хотя бы шесть часов, он успел бы войти в устье Лимерика или в другом месте приблизиться к берегу, и тогда мы не рискнули бы напасть на него; итак, мы настигли его, и капитан их, увидя, что другого выхода нет, проявил отвагу, сам приказал остановиться и приготовиться к бою. Судно его было тридцатипушечное, однако оно имело слишком глубокую осадку, так как между деками находилось много товара, и матросы не могли привести в действие батарею нижней палубы, к тому же волны били изрядно высоко; наконец им все-таки удалось открыть порты и дать залп из трех бортовых орудий. Но хуже оказалось другое: их судно, будучи слишком перегружено, двигалось неповоротливо, и французы, подскочив сбоку, открыли по его борту прямой огонь и сразу приготовились повторить его. Однако англичане занимали не худшую позицию, да и матросы их были на редкость проворны, так что, не теряя времени, они нам тут же крепко отплатили. Я видел, что еще при первом залпе французы понесли большие потери, а при следующем им пришлось и того хуже, потому что, хотя английское судно и не было столь же маневренным, как французское, оно было крупнее и надежней, и когда мы (то есть французы) снова напали на них, англичане бесстрашно ринулись на нас и, развернувшись поперек наших клюзов, намертво принайтовались к нам. Вот тут-то английский капитан и пустил в ход батарею нижней палубы, учинив нам настоящее избиение, от которого, если б оно продлилось еще, корсарам пришлось бы совсем плохо, однако французы во главе со своим капитаном, возникавшим тут и там со шпагою в руках, с поистине замечательным проворством и отвагой быстро взялись за дело, отцепились от английского судна, баграми оттолкнулись от него и открыли сплошной оружейный огонь, так что никто из англичан не смел показаться на своей палубе. Повторяю, освободившись таким

путем, мы стали борт о борт с англичанином и продолжительным обстрелом вывели его из строя, сбив начисто его бизань-мачту и булинь-шпринтов, а кроме того, и это было самое худшее, убили английского капитана, поэтому после окончания сражения, которое длилось всю ночь (оно происходило в полной тьме) и часть следующего дня, англичане вынуждены были сдаться.

Французский капитан вежливо предложил мне спуститься на время перестрелки в трюм; как я понял, он сделал это не из одной вежливости, а не желая, чтобы я оставался на палубе, возможно, он боялся, что я воспользуюсь случаем и причиню им какую-нибудь неприятность, хотя, честно говоря, я не представлял, чего бы я мог такого сделать. Поэтому я с готовностью спустился вниз, ибо вовсе не хотел, чтобы меня убили, да еще кто — мои же соотечественники, поэтому я отправился вниз и просидел все это время рядом с хирургом. Таким образом мне представилась возможность наблюдать, как после первого бортового залпа, произведенного англичанами, вниз к хирургу принесли семь раненых матросов, а вслед за ними еще тридцать три. Следует добавить, что после того, как англичане сначала встали нам наперерез, а затем нам удалось от них отцепиться, вниз принесли еще одиннадцать раненых, так что всего французы насчитывали пятьдесят одного раненого и примерно двадцать два убитых, а англичане — восемнадцать убитых и раненых, в том числе капитана.

Однако французский капитан был в полном восторге от полученной добычи, ибо на захваченном корабле имелось несметное богатство — он вез на своем борту много серебра, и, после того как матросам разрешено было разграбить там кают-компанию, откуда они немало унесли, английский помощник капитана предложил капитану капера, при условии, что тот вернет ему свободу, показать только ему, без свидетелей, где лежат спрятанные шесть тысяч пиастров. Капитан согласился на сделку и скрепил обещание отпустить его на свободу, как только они высадятся на берег, своей подписью. И той же ночью, когда часть команды ушла, как говорится, на боковую, а другая встала на вахту, наш капитан и помощник капитана с трофейного судна отправились вдвоем и без труда нашли деньги, лежавшие в специально сделанном для них тайнике. Капитан решил, пусть они там и остаются лежать до прибытия на место, а на месте он самолично препроводил их на берег, так что ни владельцы капера, ни его команда ничего из этих денег не получили, что, со стороны капитана, между прочим, было мошенничеством. Правда, находка эта, собственно, являлась выкупом помощника капитана за свою свободу, которую капитан вернул ему точно, как обещал, дав в придачу двести пиастров, с которыми тот вернулся в Англию, возместив этим свои убытки.

Захватив такой трофей, капитан помышлял лишь об одном, как бы благополучно вернуться с ним во Францию, поскольку того, что было на захваченном судне, с лихвой хватило бы на всю команду вместе с владельцами капера. Перечень находившегося на нем груза, согласно записям капитана, копию которых мне удалось снять, сводился к следующему:

260 больших бочек сахару.
187 бочонков сахару
176 баррелей индиго
28 бочонков пимиенто
42 мешка ваты
80 центнеров слоновой кости
60 бочонков рома
18 000 пиастров, помимо спрятанных 6000
Несколько тюков с лекарственными растениями, черепашьими панцирями, разными сладостями в виде цукатов, шоколада и прочим весьма ценным товаром, в том числе лимонным соком.

Для английских купцов то была великая потеря и знатная добыча для пиратов, захвативших ее, но поскольку она была захвачена, как говорится, в открытом бою и в честном сражении, протеста не последовало, да и надо отдать должное, они храбро за нее сражались.

Прежде капитан не отваживался встречаться с английскими военными судами, он и теперь сохранял осторожность, так как, захватив ценную добычу, он не хотел, коли это от него зависело, снова потерять ее, поэтому он взял курс на юг и держался этого курса так долго, что я было подумал, не решил ли он идти прямиком на свою родину в Марсель. Однако, достигнув широты примерно 45°3′, он повел судно на восток, вошел в Бискайский залив, а оттуда доставил нас всех в устье реки Бордо, где при известии, что он прибыл с таким трофеем, владельцы судна, то есть хозяева капитана, собрались на берег, чтобы встретить его, и устроили на месте совет, что делать с захваченным кораблем. Само собой, деньги и часть товара они получили, а оба корабля спустя какое-то время уже бороздили океан возле берегов залива Сен-Мало, где, воспользовавшись тем, что там же крейсировали французские военные корабли, они вызвались конвоировать их до самого Уэссана.

Именно здесь, как я уже говорил, капитан наградил и отпустил на свободу английского помощника капитана, который направился оттуда морем до Дьеппа, а потом, получив паспорт, в котором значилось Фландрия — Остенде, прямо в Англию. Как видно, капитан спешил посадить англичанина на судно, чтобы тот не открыл и другим тайну, какую открыл самому капитану.

Итак, я очутился во Франции, в городе Бордо, и в одно пре-

красное утро капитан спросил меня, что я намерен предпринять. Сначала я его не понял, тогда он объяснил, что у меня есть выбор: или меня передадут в руки государства в качестве английского пленника, а значит, отправят в город Динан в Бретани, или я должен придумать способ, чтобы меня включили в список на обмен пленными, однако могу и просто внести за себя выкуп. Сперва он назначил мне сумму выкупа в триста крон.

Я не знал, как поступить, и попросил дать мне время, чтобы отослать письмо в Англию моим друзьям, которым отправил из Виргинии ценный груз, однако опасался, что вдруг он тоже может попасть в руки подобного пирата, а ежели так, мое будущее туманно. Он охотно согласился подождать, я отправил по почте письмо и, к моей радости, получил ответ, что судно, на котором сначала плыл я сам, было отбито англичанами и отправлено в Портсмут: я боялся, что это известие заставит моего нового господина строже обращаться со мной и, чего доброго, еще покажется ему оскорбительным, однако он ничего не сказал мне по этому поводу, хотя, как выяснилось впоследствии, уже знал об этом.

Тем не менее для меня это известие явилось поддержкой и помогло мне даже больше, чем простая возможность заплатить выкуп капитану, так как мой лондонский агент, узнав, что я остался жив и нахожусь в Бордо, тут же прислал мне аккредитив на имя одного английского негоцианта в Бордо, которым я мог в любое время воспользоваться. Получив его, я отправился сразу к этому негоцианту, чтобы он его засвидетельствовал, и он сказал мне, что я могу взять по нему денег, сколько мне будет надо. Теперь у меня имелся друг, не то что прежде, когда я был новичком в этих местах и не знал, что предпринять, и этому другу я мог рассказать о своих делах и попросить у него совета. Как только я описал ему мое положение, он воскликнул:

— Постойте, коли такое дело, я, быть может, сумею найти способ освободить вас без выкупа.

Как выяснилось, одно судно, возвращавшееся с Мартиники домой во Францию, потерпело поражение возле мыса Финистерре от английского военного корабля, и в Плимут доставлен пленником некий купец, севший на него в Ла-Рошели. Друзья этого человека забросали всех просьбами: учитывая его бедность, из-за которой он не мог заплатить за себя выкуп, обменять его на другого пленного. Мой новый друг намекнул мне об этом и посоветовал не спешить с выплатой денег капитану, а сделать вид, что из Англии все еще нет вестей. Так я и поступил, пока капитан не стал проявлять нетерпение.

Некоторое время спустя капитан заявил мне, что я веду с ним нечестную игру, что я заставил его ждать выкупа и поэтому он

хорошо со мной обращался и даже вошел в расходы, чтобы помочь мне, а я держу его в неопределенности; короче говоря, если я не вручу ему деньги, он через десять дней отошлет меня в Динан, где я стану пленником короля, пока меня на кого-нибудь не обменяют. Мой друг негоциант подсказал мне выход, и по его совету я ответил капитану, что очень тронут его учтивостью и огорчен, что ему не с кого будет получить все, что он потратил на меня, тем не менее я обнаружил, что друзья меня забыли, и я просто не знаю, как поступить, а потому, не желая больше вводить его в заблуждение, я вынужден согласиться на то, чтобы меня отправили в Динан или куда он еще сочтет нужным, однако, если мне случится когда-нибудь вырваться на свободу и вернуться в Англию, я не премину возместить ему все расходы на мое содержание; в общем, я расписал ему мое положение в самых черных красках. Он только покачал головой и ничего не сказал, а на другой день включил меня в список пленных англичан, предоставляемых по предписанию местных властей в распоряжение короля с тем, чтобы отправить их в Бретань.

Таким образом я уже вышел из-под власти капитана, и негоциант вместе с двумя другими купцами, которые были хорошо знакомы с тем купцом, что содержался пленником в Плимуте, тут же отправились к властям и добились разрешения на обмен; причем мой друг еще дал поручительство, чтобы меня непременно отпустили, на случай если того купца почему-либо задержат. Мне тотчас вернули свободу, и мы отправились к нему домой.

Вот как мы обвели капитана вокруг пальца и не заплатили выкупа, однако мой друг пошел к нему и сообщил, что по приказу местных властей меня обменяли на другого пленного, а также уплатил ему все расходы, какие тот счел нужным определить за мое содержание. Тут уж капитану не пришлось возражать или требовать хоть какого выкупа.

На борту французского судна я совершил оттуда путешествие в Дюнкерк и, вместо документа об обмене пленными, выданного мне в Бордо, получил паспорт на въезд в испанские Нидерланды, куда мне и надо было.

И вот в апреле ... года я отправился в Гент, откуда наши армии как раз готовились выступить в поход. У меня не было предубеждения против военной службы, только я полагал, что я поднялся уже выше этого и должен стремиться к иной жизни, ибо, по моему мнению, в поход может отправляться только тот, кому нельзя оставаться у себя на родине, и все же я решил хоть одним глазком взглянуть на военные действия. Для этого я свел знакомство с одним английским офицером, квартировавшим в Генте, и сообщил ему свое намерение, на что он предложил мне идти с

ним, обещав свое покровительство, как волонтеру, с тем чтобы я расположился в его ставке, жил, как мне вздумается, а буду носить оружие или нет, это как сочту нужным.

Кампания оказалась не из трудных, и мне посчастливилось близко наблюдать несение военной службы, не подвергая себя особому риску. Решающих битв мне, конечно, увидеть не пришлось, так как в эту кампанию сражений вообще было не так уж много; результатов кампании для той и другой стороны я не знал, и поскольку в спорах на эту тему не участвовал, то мысли мои и не были обременены всем этим. Королем Англии стал принц Оранский, так что все английские войска были на его стороне, и мне пришлось услышать немало ругательств и проклятий в адрес короля Вильгельма; что же до военных успехов, я сам не раз видел, как французы побеждали наших, и полк моего нового приятеля был окружен в одной деревушке, где он квартировал. Не знаю, из-за чего было сражение, но все в результате попали в плен; мне повезло, что я не считался на службе и не принадлежал к командному составу, а посему отправился в тот самый день оглядеть окрестности; это было моим любимым занятием — осматривать укрепленные города и любоваться их прекрасными фортификациями, и пока я развлекался таким образом, я счастливо избежал случая попасть в плен к французам.

Вернувшись, я обнаружил, что город захвачен врагом, но я не был солдатом, и они меня не тронули, а так как в кармане у меня лежал французский паспорт, они разрешили мне проследовать в Ньюпорт, откуда на пакетботе я отплыл в Англию, но только вместо Дувра приплыл в Диль. Погода заставила нас встать на рейде Даунс, на том и окончилась моя короткая кампания и вторая моя попытка приобщиться к военной службе.

По прибытии в Лондон я был прекрасно принят моим другом, которому я препоручил все мое состояние, и нашел, что дела мои сложились как нельзя более удачно, так как весь мой товар, о котором говорилось выше, посланный в его распоряжение на разных судах, благополучно прибыл к нему, а, кроме того, мои управляющие в разное время погрузили на суда еще четыреста кип табака, то есть весь урожай с моих плантаций, полученный за время моего пребывания за границей, и отправили его в мое отсутствие моему лондонскому агенту. Таким образом, на руках у моих агентов оказалось более тысячи фунтов, да еще оставалось непроданных двести кип табака.

Отныне у меня не было иной заботы, кроме как скрываться от друзей моего детства, однако это не составляло никакого труда, ибо они давно уже потеряли меня из виду, да и я, со своей стороны, тоже давно потерял их след. Мой Капитан, который уплыл

вместе со мной, вернее, увлек меня за собой, по сведениям, собранным мною, долго скитался по свету, вернулся в Лондон, снова занялся своим излюбленным ремеслом, которое не мог забыть, и, став знаменитым разбойником, после четырнадцати лет на редкость изощренных и удачливых грабежей, подробное описание коих (как я уже говорил) составили бы восхитительную историю, кончил свой век на виселице. Другой мой брат Джек, которого я звал Майором, избрал тот же порочный путь, однако, будучи от природы человеком более благородным и великодушным, совершал преступления менее вопиющие и действовал так умело, что каждый раз ему удавалось вовремя улизнуть, пока он все-таки не угодил в Ньюгет, где его заковали в кандалы и, без сомнения, отправили бы туда же, куда и Капитана, если бы он не был столь ловким мошенником, которого никакая тюрьма, ни кандалы не могли удержать. И вот еще с двумя узниками ему удалось сбить кандалы и буквально пройти сквозь стены тюрьмы, так что однажды ночью они оказались уже за ее пределами и, совершив побег, сумели перебраться во Францию, где он продолжал заниматься тем же делом, причем так успешно, что прославился под именем Антони и вместе еще с тремя своими коллегами, которых он обучил, что называется, воровать по-английски, то есть никого не калеча и не убивая, словом, не прибегая к насилию, удостоился чести быть колесованным на Гревской площади в Париже.

Мне удалось разузнать про них все подробности и получить полный отчет об их судьбе от их же дружков, которым посчастливилось избежать подобной участи, причем я сумел заполучить все сведения, не дав им никакой возможности догадаться, кто я такой и зачем мне это нужно знать.

Итак, ныне я достиг вершины благополучия; в самом деле, обстоятельства мои сложились наилучшим образом, ибо, проявив с самого начала бережливость, я постепенно увеличил мое состояние, хотя и жил довольно широко. Так или иначе, за мной установилась репутация весьма почтенного купца, разбогатевшего в Виргинии, а поскольку я часто оформлял разным лицам поставки, о коих они просили меня в своих письмах, то, повторяю, за мной и утвердилась слава процветающего купца.

Жил я один, снимал квартиру, и хотя я приобрел известность, тем не менее в моих частных корреспонденциях я все еще подписывался просто Джек, однако французы, среди которых я (как уже говорил ранее) прожил что-то около года, не могли понять, что такое Джек, и называли меня то мосье Жак, то Полковник Жак, а потом уж только Полковник Жак: так было записано в документе, подтверждавшем, что меня обменяли на другого пленника; под таким именем я отправился во Фландрию, по

этой же причине, а также руководствуясь документами об обмене (о котором говорилось выше), меня стал величать Полковником Жаком и мой друг из Англии, которого я назвал моим агентом. Таким образом меня приняли здесь за иностранца, за француза, и я был несказанно доволен, что все считают меня французом. По-французски я говорил свободно, ибо изучил этот язык, проведя среди французов немало времени, а потому, живя в Лондоне, я постоянно посещал французскую церковь и вообще старался по любому возможному поводу изъясняться по-французски, чтобы утвердить о себе мнение, что я француз. Я нанял слугу-француза, чтобы он вел мои дела, я имею в виду торговые, которые сводились лишь к получению и продаже табака,— мне присылали его тогда с моих плантаций примерно пятьсот — шестьсот кип в год,— а также к отправке моим помощникам всего необходимого, о чем они просили.

Такую уединенную жизнь я продолжал вести еще примерно в течение двух лет, когда сам дьявол, затаивший зло против меня за то, что я отказался остаться вором, не надумал отплатить мне, и с лихвой, расставив на моем пути сети, в коих я чуть было не запутался окончательно.

В доме напротив того, где я поселился, проживала одна дама, внешности необычайно привлекательной, одевалась она тоже превосходно — словом, была истинной красавицей; она была хорошо воспитана, прекрасно пела, порою до меня совсем явственно доносился ее восхитительный голос, так как дома наши стояли лицом к лицу в довольно тесном дворе, чем-то напоминавшем Двор Трех Королей на Ломбард-стрит.

Эта дама так часто попадалась мне на глаза, что сама вежливость требовала оказывать ей признаки внимания и приветствовать, сняв шляпу, когда я замечал ее в окне, либо в дверях ее дома, или во дворе,— словом, как говорится, у нас завелось шапочное знакомство. Случалось, она навещала кого-то в доме, где я проживал, и как-то всегда так ловко выходило, что я попадался ей на глаза; таким образом, постепенно мы познакомились ближе и часто даже вели непринужденную беседу, но почти всегда на людях.

В любовных делах я был сущим юнцом, и, должно быть, во всей Европе не нашлось бы второго мужчины, который в моем возрасте так плохо бы разбирался в женщинах. Мысль о женитьбе, тем паче о любовнице, никогда мне даже в голову не приходила,— словом, до последнего времени я имел такое же представление о прекрасном поле и проявлял столько же интереса к женщинам, как в десятилетнем возрасте, когда я проводил свои ночи в теплой золе на стекольном заводе.

Уж не знаю, чем околдовала меня эта женщина, то ли разговорами, то ли тем, что несколько раз почтила меня своим вниманием, не знаю как, но я попал в подстроенную ею ловушку, не ведая, к чему это может привести. Она внесла в мои мысли вдруг полное смятение, словно приворожила меня, и я ни о чем другом не мог думать. Конечно, не будь она одной из самых изощренных женщин на свете, ей бы никогда не удалось так околдовать меня, но чары ее были столь велики, что перед ними не устоял бы и более искушенный человек.

Она преследовала меня беспрерывно, пользуясь всевозможными хитростями и уловками, которые не оставались бесплодными; она постоянно находилась у меня на виду (так уж получалось), бывала приглашена в то же общество, что и я, однако держалась всегда очень строго и окружала себя надежной защитой; в течение нескольких месяцев после того, как она могла заметить, что я ищу случая поговорить с ней, она все еще избегала этой возможности и всегда была настороже, так что я никак не мог застать ее врасплох.

Такая чопорность поведения казалась непостижимой загадкой, ибо при этом она не уклонялась от встреч со мной и разговоров, но только на людях, однако она строго придерживалась своих правил, никогда не позволяла себе сесть рядом со мной, чтобы я мог вручить ей незаметно записку или что-то шепнуть на ухо; по ее воле всегда кто-нибудь находился между нами, и я не мог к ней приблизиться. Так она морочила меня в течение нескольких месяцев, словно твердо решила держать меня в отдалении.

Однако все это время у нее, несомненно, была одна цель: завладеть мною, поймать меня; вся ее политика, скорее всего, походила на охоту, ибо, заманивая меня, она выказывала такое явное пренебрежение, что просто невозможно было не обмануться. А с другой стороны, она не производила впечатления женщины недостойной или бедной, которой бы требовалось столько уловок, чтобы завоевать мужчину; пожалуй, обманщиком невольно оказался я сам, ибо, на беду, ей сообщил кто-то, что я преуспевающий купец, что у меня несметные богатства и что она заживет со мной, как королева, я же вовсе не хотел завлекать ее своим богатством и никак не думал, что именно на него она польстится.

Она оказалась слишком хитра, чтобы я мог заметить ее доступность, напротив, она даже шла на риск и заставляла меня тщательно избегать ее; кто бы только мог предположить, что женщина способна на это? И часто впоследствии я задавал себе вопрос, как же все-таки случилось, что я не проникся к ней отвращением, ибо, испытывая полное равнодушие к особам прекрасного пола, я до последнего времени вообще не удостаивал их

вниманием и лишь любовался ими, как любуешься картиной, висящей на стене, не более.

Поскольку мы свободно беседовали с нею на людях, она пользовалась каждым удобным случаем, чтобы посмеяться над мужчинами, над их слабостью, из-за которой они часто позволяют женщинам оскорблять их. Она считала, что не будь все мужчины глупцами, супружество обернулось бы обыкновенным мирным договором между двумя людьми или оборонительным союзом, который неизбежно поддерживался бы иногда с помощью встреч и личных переговоров, однако гораздо чаще через посланников, поверенных или агентов обеих сторон. Но женщины оказались хитрее и поставили нас на колени, они заставляют нас вздыхать и унижаться для того только, чтобы мы вовсе отказались от надежды добиться между нами равенства.

Я признался ей, что считаю простой любезностью по отношению к даме предоставить ей возможность сначала отказать, чтобы потом ее расположения искали, и что касается меня, то я бы не охладел к женщине только оттого, что она мне отказала.

— Я примирюсь с этим, мадам, когда приду к вам завтра с визитом,— сказал я, сообщив ей таким образом о своем желании.

— Придется примириться, сэр,— сказала она,— ибо я отказываю вам уже сейчас, еще не услышав вашего предложения.

Я был так сражен столь беспощадным, поистине сатанинским ответом, что не без горечи заметил:

— Не смею злоупотреблять вашим доверием, мадам, и впредь постараюсь вам не докучать.

— Что ж, это знак самого глубокого уважения ко мне с вашей стороны, сэр, мне это очень приятно во всех отношениях, за исключением одного: я не должна терять надежды, что смогу вас в скором времени вернуть.

— Я к вашим услугам, мадам, в любое время и в первую очередь во всем, что касается предмета нашего разговора,— произнес я все еще с чувством искренней обиды.

— При одном условии, сэр, если вы пообещаете дарить меня такой же искренней ненавистью, какой я надеюсь ответить вам.

— Я уже выполнил это требование, мадам, еще за семь лет до вашей просьбы,— сказал я,— ибо всем сердцем возненавидел женщин, и просто диву даюсь, откуда у меня взялось такое благорасположение к любезному разговору с вами. Однако, заверяю вас, оно столь преходяще, что ничуть не воспрепятствует удовлетворению вашей просьбы.

— Это поистине загадочно, сэр,— согласилась она,— а я-то мечтала, что мне придется прилагать особые усилия, чтобы вы-

звать у вас отвращение к женщинам, и надеялась, что под моим руководством оно уже никогда не пропадет.

После того мы обменялись еще тысячью колкостей, но она меня превзошла, так как бог наградил ее на редкость злым языком,— ни одной женщине не перещеголять ее. И тем не менее в продолжение всей нашей беседы она была сама прелесть, сама любезность и вовсе не думала того, что говорила, ни одно слово ее не было правдой. Однако, должен признаться, хитрость ее не удалась и только охладила мои чувства к ней, поскольку всю свою жизнь я оставался совершенно равнодушен к прекрасному полу, с легкостью вернулся к этому своему состоянию и отныне выказывал ей привычную холодность и невнимание.

Она вскоре заметила, что зашла слишком далеко, иными словами, что ее политика не оправдывает себя, так как на этот раз она столкнулась с человеком, которому еще не доводилось играть роль вздыхателя и который еще не знает, как можно одновременно поклоняться возлюбленной и унижать ее; я не принадлежал к числу тех влюбленных, которых холодность только подогревает, возбуждая страсть, какую дама его сердца в конце концов вознаграждает. Вышло все иначе, и она сама вынуждена была признать, что я по-прежнему держался с нею любезно, однако пылкости уже не проявлял, когда замечал ее в окне спальни, не распахивал своего окна, чтобы побеседовать с нею; мне было хорошо слышно, когда она пела в своей гостиной, но я ее не слушал; когда она приходила с визитом в наш дом, я не всегда спускался вниз, а если и спускался, то спешил придумать предлог для отлучки, и все же, находясь в ее обществе, я всегда разговаривал с ней.

Мне не составляло труда заметить, что поведение мое бесит и немало озадачивает ее, потому теперь она сама убедилась, что должна начать всю игру сначала, ибо перестаралась, вызвав столь полную сдержанность, доходящую даже до резкости и неучтивости. Однако в делах любви она была мастерицей, и ей ничего не стоило принять на себя любую личину.

Но ей хватило мудрости не выказывать влюбленности или заинтересованности, которая могла быть истолкована, как уступчивость, она знала, что женщине, если она не хочет оказаться под башмаком у мужчины, которого домогается, уступчивость надо проявлять в последнюю очередь. Влюбленность женщины еще не гарантирует мужчине победы; и все-таки она свидетельствует о многом, не скрывая ее, женщина как бы признает себя побежденной и отдается во власть мужчины, которому показала свою влюбленность. Однако она не сделала этого. Этот хамелеон в юбке принял иную окраску, она вдруг напустила на себя такой

серьезности и величественной важности, превратившись сразу в гранд-даму, словно на глазах постарела и сменила свои двадцать два года на пятьдесят; она так выгралась в свою роль, что никто бы не подумал, будто она притворяется, если же это было притворство, то весьма натуральное, и распознать его было невозможно. Она часто пела у себя в гостиной одна или с двумя молодыми дамами, навещавшими ее. Я мог догадаться, что она поет, так как видел ноты и гитару в ее руках, но окна она никогда больше не открывала, нет, обычно оно было закрыто, а если вдруг распахивалось, я видел, как она сидит за работой, не поднимая головы, разве что однажды в полчаса.

Если мы случайно встречались с ней, она по-прежнему улыбалась и весело со мной говорила, но одно-два слова, не больше, тем самым оказывая мне честь, и тут же уходила, то есть наши беседы протекали, как в самом начале, когда я только поселился там и успел прожить всего неделю.

Мне надоело все это терпеть, и хотя я первый стал проявлять к ней равнодушие, однако не намерен был заходить так далеко в нашем отчуждении; но она держалась стойко до конца, и все в том же духе. Она по-прежнему являлась в дом, где я снимал комнаты, мы часто бывали вместе, вместе ужинали и играли в карты, танцевали, ибо еще во Франции я позаботился о том, чтобы в совершенстве овладеть всеми искусствами, что, как мне казалось, отличало урожденного дворянина, коим я считал себя с детских лет. Повторяю, мы разговаривали совсем как раньше, однако тон и манеры ее так переменились, что мне даже пришло на ум, что прежнее ее поведение было напускным и притворным,— то ли внезапным приступом ветрености, то ли попыткой подражать местным кокеткам, чтобы произвести на меня впечатление, так как она принимала меня за француза и считала, что мне должно это нравиться. Теперешняя ее серьезность, казалось, отражала ее истинный характер и шла ей много больше, или, вернее, она разыгрывала ее так хорошо, что заставила меня снова обратить на нее внимание, не так чтобы очень, но все же больше, чем раньше.

И все же много времени утекло, прежде чем я открылся ей, мне все хотелось по возможности выяснить, является эта перемена естественной или притворной, так как я с трудом мог поверить, что веселость, какую она обычно выказывала, всего лишь притворство, поэтому минуло более года, пока я мысленно составил себе о ней хоть сколько-нибудь определенное мнение и когда по чистой случайности нам удалось поговорить наедине.

Как обычно, она явилась в наш дом с визитом, и так случилось, что все дамы куда-то вышли, а я оказался в коридоре или, вернее, у входной двери и направлялся к лестнице, когда она по-

стучалась; я вернулся и отворил дверь; она, не смущаясь, вошла и быстро направилась в гостиную, как будто полагая, что дамы находятся там, я вошел следом за ней — иного мне не оставалось,— однако она прекрасно знала, что вся семья отсутствует.

Когда я вошел, она осведомилась, где дамы, в ответ я выразил надежду, что в этот раз она пришла с визитом ко мне, поскольку все дамы отсутствуют.

— Ах, в самом деле? — сказала она, притворяясь удивленной (хотя, как я выяснил позднее, она знала об этом заранее точно так же, как о том, что я был дома), и поднялась, чтобы уходить.

— Не уходите, сударыня,— сказал я,— прошу вас. Если дамы приходят ко мне в гости, обычно я не так уж быстро наскучиваю им своим обществом.

— В вашей самоуверенности я не сомневалась— сказала она,— но не делайте, пожалуйста, вид, будто я пришла к вам. Я-то знаю, к кому я пришла, и уверена, вы тоже знаете.

— Конечно, сударыня,— сказал я,— но раз уж так случилось, что я один дома, значит, вы пришли ко мне.

— А вот я никогда не принимаю тех, кого ненавижу,— сказала она.

— Что ж, ваша взяла,— заметил я,— однако вы никогда не давали мне разрешения сказать, почему я вас ненавижу. А я ненавижу вас оттого, что вы не хотите предоставить мне случай сказать вам, что я вас люблю. Неужели вы считаете меня таким чудовищем, что боитесь приблизиться ко мне и тем самым лишаете меня возможности шепнуть вам, что я вас люблю?

— Мне противно слушать такие слова,— сказала она,— даже когда их произносят шепотом.

В таком духе мы обменивались колкостями, наверное, час, в течение которого она проявила неистощимое остроумие, а я полное отсутствие оного, и хотя она три или четыре раза совершенно выводила меня из себя и я готов был уже заявить ей, что сыт ее обществом по горло и, если она позволит, могу проводить ее до дверей, она была столь искусна в беседе, что каждый раз выворачивалась. Короче, наконец мы заговорили серьезно, и заговорили о браке: я сделал ей предложение, а она откровенно высказала мне, что ее останавливает. Во-первых, она спросила, не собираюсь ли я увезти ее во Францию или в Виргинию, ибо она даже думать не может о том, чтобы покинуть свою родную Англию. На это я ответил, уж не принимает ли она меня за киднеппера? Между нами, я, разумеется, ничего не сказал ей о том, как сам стал жертвой киднепперов. Она отвечала, конечно, нет, но разные дела, которые, судя по всему, связаны в основном с заграницей, могут потребовать моего отъезда, а она не собирается выхо-

дить замуж за человека, с которым ей потом придется ездить по всему свету, если ему будет в том необходимость. Что ж, это было высказано весьма изящно, но я поспешил успокоить ее на этот счет, и мы перешли к главной теме нашего разговора, в который она втянула меня с удивительным искусством и свойственной ей ловкостью, дававшими ей явное преимущество в наших переговорах о браке, ибо она заставила меня ее домогаться, тогда как на самом деле это она меня домогалась, но таково было ее умение, что до последнего момента никто не мог заглянуть ей под маску.

Одним словом, каждая наша встреча все больше сближала нас, и после еще одного визита, когда я был удостоен великой милости говорить с нею наедине, я стал навещать ее у нее в доме, или, вернее, на квартире, которую она снимала, и мы, все обсудив и подготовив, примерно через месяц бросили вызов свету и тайно обвенчались, так как не хотели ни торжественной церемонии, ни беспокойств, связанных со свадьбой.

Вскоре нашелся для нас и подходящий дом, в котором мы поселились и зажили своей семьей. Мы прожили вместе не так уж долго, когда я обнаружил, что к моей жене вернулся ее веселый нрав, она сбросила маску серьезности и благонравия, которые я так долго принимал за свойства ее натуры, и, не имея больше оснований таиться, решила, что пора стать самой собой, то есть сумасбродкой, легкомысленной, распутной особой, нимало не заботящейся о том, чтобы скрывать даже самые неблаговидные свои поступки.

В своем легкомыслии она преступала все границы, и я был весьма недоволен последствиями, ибо она водила компанию, какую я не одобрял, и жила не по средствам, я имею в виду — не по моим средствам. Иногда она проигрывала в карты больше, чем я согласен был оплачивать, и однажды я даже выбрал удобный момент, чтобы намекнуть ей на это, так, невзначай; я сказал ей как бы в шутку: «Что ж, пока можно, будем жить весело»,— но она тут же резко парировала:

— Что вы имеете в виду, уж не хотите ли вы заявить, что вас что-то тревожит?

— Нет, что вы, сударыня, нисколько,— отвечал я,— вы сами понимаете, это совсем не мое дело — интересоваться, какие расходы у моей жены и не тратит ли она больше, чем я могу оплатить, но есть один пустяк, какой мне хотелось бы знать: сделайте милость, скажите, сколько приблизительно времени вам потребуется, чтобы отправить меня на тот свет, ибо мне не хотелось бы умирать слишком медленной смертью.

— Не понимаю, о чем вы толкуете,— сказала она,— вы можете умирать как вздумаете, медленно или быстро, когда придет

ваш час, я, во всяком случае, не собираюсь вас убивать, уж поверьте.

— Да, но вы обрекаете меня на голодную смерть, сударыня,— сказал я,— а голод — это смерть такая же медленная, как при колесовании.

— Я обрекаю вас на голодную смерть? Да разве вы не процветающий виргинский купец и разве я не принесла вам в приданое полторы тысячи фунтов? Что вам еще надо? Я думаю, этого достаточно, чтобы содержать жену?

— О, конечно, сударыня, я могу содержать жену — жену, но не игрока в кости! Хотя вы мне и принесли полторы тысячи фунтов годового дохода, однако на карты и кости никакого состояния не хватит.

Услышав это, она вспыхнула и подняла крик; словом, после множества горьких упреков, она объявила мне, что не видит причины менять свое поведение, что же касается того, могу или не могу я содержать жену, то вот когда больше не смогу, тогда она сама найдет способ содержать себя.

Некоторое время спустя после нашей первой стычки она доверительно сообщила мне, что ждет ребенка. Поначалу я было обрадовался, надеясь, что это несколько укротит ее безрассудство, но ничто не изменилось, напротив, аппетиты ее лишь разыгрались, для ребенка покупалось такое приданое, что очень скоро я понял, что она недалека от полного безумия, и в один прекрасный день набрался храбрости и сказал ей, что она вот-вот пустит нас по миру; я просил ее понять, что такие траты нам не по средствам, да и не соответствуют нашему положению. Одним словом, я заявил ей, что не могу позволить ей делать такие расходы, что если так будет продолжаться, то второй, а за ним, может быть, третий ребенок меня окончательно разорят, и посоветовал ей взвешивать свои поступки.

Она отвечала мне с видом откровенного презрения, что не ее забота думать о подобных вещах, что если я не могу ей позволить такие траты, то она сама себе их позволит, и тогда пусть я пеняю во всем на себя.

Я умолял ее хорошенько подумать и не доводить меня до крайности, помнить, что я женился на ней, чтобы любить ее и заботиться о ней, и хотел бы относиться к ней как к доброй жене, но вовсе не собираюсь из-за нее разориться и погибнуть в нищете. Но ничем нельзя было ее урезонить, никакие просьбы, чтобы она стала скромней, не помогали, напротив, она приняла их в штыки — как это я, видите ли, осмелился командовать ею? — и обрушила на меня целый поток слов, заявив, что я должен разделить с ней ее тяжкое бремя, а если мне это не нравится, она сама по-

заботится о себе и часу не останется больше со мной, она никому не позволит собой командовать и так далее все в том же духе.

На это я возразил ей, что ребенок, которого она назвала тяжким бременем, для меня совсем не бремя, что же до остального, она может поступать, как ей заблагорассудится, для меня и то будет уже облегчением, если не придется больше думать о родильных приютах, стоимостью в сто тридцать шесть фунтов, без которых, как выясняется, она никак не может обойтись. В ответ она сказала, что напрасно я так в этом уверен, что не придется, но если не придется думать мне, так придется кому-нибудь еще, как она надеется. «Воля ваша, сударыня,— сказал я,— тогда тот, кому придется думать о родильных приютах, и будет содержать детей». В этом я тоже напрасно уверен, заявила она, обернув все в шутку и таким образом высмеяв меня.

Должен признаться, этот наш разговор сильно рассердил меня, мало того, дальше следовало продолжение и не раз, а слишком часто, пока, наконец, мы не пришли к решению расстаться.

Сами переговоры были отвратительны; она требовала себе содержание и называла сумму порядка трехсот фунтов в год, а я требовал от нее гарантии, что она не введет меня в долги; она настаивала, чтобы я содержал ребенка, выпрашивая на это еще сто фунтов в год, а я, в свою очередь, просил ее обещать, что мне не придется содержать еще каких-нибудь детей, которых она с кем-нибудь приживет, как она мне сама угрожала.

Меж затянувшихся споров она разрешилась от тяжкого бремени (как она называла это) и родила мне сына, прелестнейшего ребенка.

Лежа в родильном приюте, она, казалось, готова была уступить и снизить требуемую сумму, правда, на самую малость,— так, с большим трудом и после долгих уговоров она согласилась на комплект детского полотняного белья за пятнадцать фунтов, вместо комплекта за тридцать, какой хотелось ей, да и это она представила как исключительное свидетельство ее великого снисхождения и вынужденную уступку моей скупости, как она сказала.

Однако стоило ей оправиться, как все пошло по-старому, она дала себе волю и пустилась во все тяжкие: к ней стали приходить в гости определенного сорта мужчины, что мне было отнюдь не по нраву, а однажды она и вовсе пропадала всю ночь. На другой день, когда она вернулась домой, то первым делом сама подняла крик, а уж потом объяснила мне, где, по ее словам, она ночевала,— сказала, что была на крестинах, после которых для гостей был устроен пир, и все допоздна засиделись, а если я недоволен объяснением, могу сам разузнавать обо всех подробностях, где она спала и все такое. На это я сухо заметил ей:

— У вас есть полное основание предполагать мое недовольство, сударыня, другого вы и ждать не могли, что же до того, чтобы мне идти в ваш притон и расспрашивать там, нет уж, увольте. Это вы должны представить доказательства вашего добропорядочного поведения и рассказать, где и с кем вы провели ночь, а мне достаточно и того, что вы не ночевали дома, не предупредив об этом мужа и не испросив его согласия, так что прежде, чем продолжать разговор, я должен получить от вас исчерпывающее объяснение.

Она в сердцах ответила, что ей совершенно безразлично, как я к этому отношусь, но раз я злюсь, что она при таких особых обстоятельствах осталась ночевать у друзей, то она предупреждает меня, что и впредь будет поступать точно так же и что придется мне с этим примириться.

— Прекрасно, сударыня,— сказал я,— коли мне приходится мириться с тем, чего допустить я не могу, то и вы должны будете примириться, если двери дома окажутся запертыми днем для тех, кто отсутствует по ночам.

Она пообещала испытать меня в ближайшем будущем, и если я закрою перед нею дверь, она найдет способ заставить меня открыть ее.

— Ах так, сударыня,— сказал я,— вы мне еще и угрожаете, но я бы посоветовал вам сначала подумать, прежде чем решиться на подобный шаг, ибо я свое слово сдержу.

Так или иначе, долго такая жизнь продолжаться не могла, тем более что я выяснил, какую компанию она водила, и убедился, что она избрала путь, который мне никак нельзя было одобрить; по этой причине я первый решил разойтись и перестал делить с ней ложе. Мы и так уже прекратили всякие отношения, как муж и жена, еще два месяца назад, и я прямо ей заявил тогда, что не намерен считаться отцом всяких выродков, которым не я дал жизнь. Шаг за шагом дело зашло так далеко, что сохранять наш союз стало невозможным, и как-то днем она ушла, оставив мне короткую записку, в которой писала, что наши отношения слишком осложнились, что она не хочет доставить мне удовольствие выставить ее за дверь, а поэтому покидает меня и переезжает туда-то — она назвала имя своей родственницы, такой же бесстыдницы, как она сама,— и что она надеется, я не заставлю ее возбуждать судебное дело, чтобы получить от меня денежную поддержку, как это обычно водится, а когда у нее возникнет необходимость, она будет присылать мне чеки для оплаты и думает, я ей не откажу.

Я был крайне доволен таким оборотом дела и постарался дать ей об этом знать, однако на письмо прямо не ответил, и, поскольку

ку я еще раньше принял меры предосторожности, чтобы, в случае если она снова сыграет со мной такую же шутку, ей бы не удалось многим у меня поживиться, я, как только она ушла, немедленно расторг договор о найме дома, продал с аукциона всю мебель и в первую очередь вещи, принадлежавшие ей, и повесил на двери акт о распродаже, чтобы она поняла наконец, что перешла Рубикон и, поскольку совершила этот шаг по своей доброй воле, шансов на возвращение у нее никаких не осталось.

Поверьте, я бы никогда не сделал так, если бы надеялся, что она изменится к лучшему, но она сама выказала такую явную холодность к своему мужу и одновременно такую оскорбительную доступность, что восстановление наших отношений было уже невозможно. Однако у меня имелись два надежных агента из ее ближайшего окружения, так что я неукоснительно получал полный отчет о ее поступках, при этом не сообщая ей ничего о себе, кроме того, что уехал во Францию; что же до чеков, которые она обещала мне пересылать, она сдержала свое обещание и прислала один на тридцать фунтов, который я оставил неоплаченным, навсегда отбив у нее охоту впредь беспокоить меня.

По правде говоря, все это оказалось весьма печальной страницей моей жизни, так как, хотя она вела себя в высшей степени вызывающе и постоянно меня оскорбляла, я все-таки никак не мог прийти к твердому решению расстаться с нею, ибо искренне любил ее, и вынес бы через нее что угодно, но стать пищим и рогоносцем я не мог, мне это казалось совершенно нестерпимым, тем более что от меня этого требовали в такой обидной и грубой форме.

Но моя жена своим поведением сама подготовила наш разрыв, чем облегчила мне дело; через год с небольшим после того, как мы расстались, она опять спуталась с той же компанией, считая ее вполне подходящей для себя, и забеременела; правда, отдавая дань ее честности, следует сказать, что она и не пыталась свалить вину на меня. Какую жалкую жизнь она влачила потом, до какой ужасной нужды и страданий она довела себя, я расскажу позднее.

Вскоре же после нашей разлуки я обнаружил, что поступил очень разумно, проявив с самого начала твердость и не попав в зависимость от нее: мне тут же стало известно, что она понаделала долгов, и на весьма солидную сумму; предполагалось, что я должен их оплачивать, однако я находился в отсутствии, и это было очень кстати, так что ей, хочешь не хочешь, пришлось расплачиваться из своих собственных сомнительных доходов. Как бы там ни было, большую часть долгов она уплатила сама.

Как только ребенок родился, о чем я был своевременно осведомлен моими агентами, я возбудил против нее дело в церковном

суде, чтобы получить развод, и когда она убедилась, что избежать его нельзя, она отказалась от защиты, и я выиграл дело, получив в положенное время, что называется, законное свидетельство о разводе. Отныне я снова почувствовал себя свободным человеком, который сыт по горло супружеским счастьем.

Я вынужден был жить уединенно, так как знал, что она влезла в долги, которые мне бы пришлось оплачивать, и я твердо решил как можно скорее исчезнуть с ее горизонта; однако я с нетерпением ждал, когда придут суда из Виргинии, поскольку должен был получить с пими не менее трехсот кип табаку, которые, я был уверен, восполнят все мои потери, связанные с неудачным браком, ибо три года расточительной жизни с этой женщиной весьма заметно сократили мое состояние, съев много больше, чем составляло ее приданое, довольно значительное, но все же не достигавшее полутора тысяч фунтов, как она говорила.

Оказалось, что неприятности, которыми наградил меня мой брак, еще не кончились; так, примерно через три месяца после того, как мы с нею разошлись и я отказался платить по ее чеку тридцать фунтов, о чем уже упоминалось, и несмотря на то, что я уже съехал с новой моей квартиры и полагал себя в полной недосягаемости для пее, а значит, в безопасности, в один прекрасный день ко мне явился хорошо одетый господин; его впустили раньше, чем дали мне об этом знать, иначе я бы вряд ли его принял.

Его ввели в гостиную, и я спустился к нему в халате и домашних туфлях; когда я вошел в комнату, он обратился ко мне по имени, как старый друг, словно мы были знакомы лет двадцать, и, вытащив свой бумажник, показал мне чек на тридцать фунтов, который я раньше опротестовал.

— Сэр,— говорю я,— мне уже предъявляли этот чек, и я тогда же дал свой ответ.

— Ответ! — воскликнул он с презрительной усмешкой.— Не возьму в толк, о каком ответе вы говорите, сэр, никакого вопроса вам и не задавали, сэр, речь идет о чеке, по которому следует платить.

— Совершенно верно, сэр,— говорю я.— Я знаю, что это чек, и я уже давал свой ответ по этому поводу.

— Оставьте, сэр,— весьма дерзко заявил он,— какой такой ответ? На чек не отвечают, его оплачивают, чек требует оплаты, а не ответа. Говорят, будто вы купец, сэр, а купцы всегда платят по своим чекам.

Я тоже уже начинал сердиться, и хоть мне и не понравился этот человек, так как я понял, что он затевает ссору, я все же ответил:

— Как видно, сэр, вы не привыкли иметь дело с чеками. Сперва, сэр, чек должно предъявить, предъявление и есть запрос, он означает, собираюсь ли я признать, то есть акцептовать данный чек, а значит, и оплатить его. Мое «да» или «нет» и будет означать в данном случае ответ. Если я акцептую чек, никакого другого ответа не требуется, значит, я собираюсь платить в свой срок, и вам следует принять это к сведению, ибо таков обычай среди всех купцов, или негоциантов, привыкших иметь дело с чеками.

— Пусть так, сэр,— говорит он,— что же из того? Какое это имеет отношение к выплате мне тридцати фунтов?

— То самое, сэр,— ответил я,— что я уже заявил человеку, предъявлявшему мне этот чек, что я не собираюсь по нему платить.

— Не собираетесь платить! — воскликнул он.— Нет, вы должны заплатить, да, да, и заплатите.

— Та, которая подписала его, не имеет никакого права выписывать чеки на мое имя, уверяю вас, я не стану платить ни по одному чеку, подписанному ею.

— Должен вам заметить, сэр,— прервал он меня резко,— что речь идет об особе в высшей степени благородной, которая не может выписать чек, не имея на то права, и ваше заявление я расцениваю как личное оскорбление, за что еще потребую от вас сатисфакции, но сначала покончим с чеком. Да-с, с чеком, сэр, вы должны заплатить по нему, сэр!

Я ответил не менее резко:

— Сэр, смею надеяться, я никого не оскорбляю. Эту особу я знаю не хуже вас, и то, что я о ней сказал, не является оскорблением, она не имеет никакого права выписывать чеки на мое имя, так как я ничего ей не должен.

Я опускаю здесь крепкие выражения, какими он украсил свою речь, ибо они кажутся мне слишком грубыми для моих записок; он сказал мне, что еще докажет, есть ли у нее друзья, способные постоять за нее, и что я пожалею о нанесенном ей оскорблении, он еще отомстит мне, но первым делом я должен оплатить чек.

Я оборвал его, заявив, что не буду платить ни по этому чеку, ни по любому другому, подписанному ею.

Он отступил к двери, запер ее и поклялся, что заставит меня заплатить по чеку, без этого он не уйдет; тут он положил руку на эфес шпаги, однако шпаги не обнажил.

Признаюсь, я сильно перетрухнул, так как у меня шпаги не было, а если бы и была, должен честно сказать вам, хотя я и много чему научился во Франции, чтобы казаться истинным дворянином, про главную науку — как пускать в ход шпагу — я забыл, а в истории подобного рода я никогда не был замешан, поэтому, когда

он закрыл дверь, я крайне изумился и просто не знал, что делать или говорить.

Однако слуги услышали наш слишком громкий разговор и столпились в коридоре, нарочно производя при этом шум, чтобы дать мне знать, что тут рядом люди; одна из служанок попробовала открыть мою дверь и, когда обнаружила, что она заперта, крикнула мне: «Ради бога, сэр, откройте дверь! Что случилось? Может, нам позвать констебля?» Я ничего ей не ответил, но голос ее придал мне смелости, я уселся в кресло и сказал:

— Сэр, таким способом вы не заставите меня платить, лучше успокойтесь и подумайте, как иначе получить сатисфакцию.

Он понял меня так, будто речь идет о дуэли, хотя, право слово, этого я и в мыслях не держал, а имел в виду посоветовать ему обратиться за помощью к правосудию.

— Я готов, сэр,— сказал он,— говорят, вы дворянин, вас называют все Полковником, а коли вы дворянин, я принимаю ваш вызов, сэр, и если вам будет угодно последовать за мной, я буду считать, что полностью получил по чеку, ибо полагаю, только так и следует разрешать спор между истинными дворянами.

— Вы думаете, я вызываю вас на дуэль, сэр? — воскликнул я.— Ничего подобного! Я только сказал, что вы выбрали неподходящий способ, чтобы заставить меня платить по чеку, который я не акцептовал, лучше уж обратитесь к закону, сэр, если хотите получить сатисфакцию.

— К закону?! — возмутился он.— К закону? Но я не знаю иного закона, кроме закона дворянской чести. Одним словом, либо вы мне заплатите, сэр, либо будете со мной драться! — Но тут он словно спохватился и, резко повернувшись ко мне, сказал: — Нет, вы будете и драться и платить, и то и другое! Ибо я намерен защищать ее честь,— заявил он, при этом раз шесть или семь крепко выругавшись.

Заминка спасла меня, ибо только он произнес слова: «Вы будете драться... ибо я намерен защищать ее честь»,— как вернулась служанка, которая привела констебля и еще трех-четырех соседей на подмогу. Он услыхал, как они вошли, и, распаляясь все более, спросил, не собираюсь ли я, вместо того чтобы платить, натравить на него толпу. И, положив руку на эфес шпаги, предупредил меня, что, если хоть кто-нибудь позволит себе приблизиться к нему, он тут же проткнет меня насквозь, чтобы хоть одним противником стало меньше.

Я возразил, что, как ему известно, я помощи не звал, так как не верил его угрозам, а ежели кто и решится войти к нам, то только чтобы предотвратить нападение, коим он угрожал и которое я не мог отразить, ибо, он сам видит, я безоружен.

Тут нас окликнул констебль и именем короля потребовал открыть дверь. Я сидел в кресле и хотел встать, но он схватился было за шпагу, и мне пришлось снова сесть, а так как дверь оставалась закрытой, констебль высадил ее ногой и вошел.

— Прекрасно, сэр,— говорит мой противник.— Что же дальше? Что вам здесь нужно?

— Но, сэр,— отвечает констебль,— вы прекрасно знаете, что мне нужно, я ведь блюститель порядка и призван этот порядок поддерживать. Люди, испугавшись, что затевается злое дело, вызвали меня, чтобы предотвратить его.

— Какое же злое дело, по их мнению, вы должны предотвратить? — говорит он.

— Я думаю,— отвечает констебль,— они боялись, что вы будете драться.

— Да они не знают этого субъекта, сэр, потому так и подумали, а он и драться-то не умеет. Все называют его Полковником,— продолжал он,— быть может, он и родился Полковником, не знаю, знаю только, что он родился трусом. Он никогда не дерется, он вообще не смеет взглянуть в глаза настоящему мужчине, потому что если бы он мог драться, то пошел бы со мной, но нет, храбрость он презирает, и если бы эти люди знали его хорошенько, они бы никогда не подумали, что здесь готовится поединок. Поверьте мне, господин констебль, он трус, а трус всегда подлец.— С этими словами он подошел ко мне и пребольно щелкнул меня пальцем по носу, презрительно захохотав, как будто я и в самом деле был трусом.

Вообще-то, я думаю, он не так уж ошибся, но в тот момент я был, что называется, трусом взбешенным, а это самые страшные люди на свете, с которыми лучше не связываться; в ярости я ткнул его головой и, обхватив, опрокинул со всего маху на спину. Кровь во мне взыграла, и если бы не вмешался констебль и не оттащил меня, от него бы мокрого места не осталось. Теперь жители дома перепугались, как бы я не убил его, хотя у меня в руках и оружия-то не было.

Констебль, со своей стороны, пожурил меня, но я задал ему вопрос:

— Господин констебль, а вы не считаете, что я был вынужден так себя повести? Разве может мужчина стерпеть подобное обращение? Я бы хотел знать, кто этот человек и кем он сюда прислан.

— Я дворянин,— отвечал тот,— и пришел сюда получить по чеку вот с этого господина деньги, а он отказывается платить.

— Видите ли,— весьма благоразумно заметил на это констебль,— такие дела меня не касаются, я ведь не мировой судья,

чтобы выслушивать тяжбы, решите это как-нибудь уж между собой, но рукам воли не давайте, вот все, о чем я прошу. А вам, сэр,— обратился он к нему,— я бы посоветовал, раз уж вы убедились, что по чеку вам не заплатят и ваше дело будет решать закон, сейчас ни на чем не настаивать, а спокойно удалиться.

Но тот еще долго кипятился и кричал, что чек подписан моей собственной женой, на что я сердито возражал, что он подписан шлюхой; он было полез на меня с кулаками, требуя, чтобы я не смел при нем так говорить, однако я заявил ему, что в ближайшее время собираюсь публично назвать ее шлюхой и ославить; так мы препирались примерно с полчаса, я осмелел, потому что констебль был рядом, и я не сомневался, что он не допустит до драки, которую сам я затевать не собирался. Наконец я от него все-таки избавился.

Я был крайне раздосадован этой неприятной встречей особенно потому, что обнаружилось, где я живу, а я-то надеялся, что надежно укрылся; словом, назавтра я решил съехать и весь день до самого вечера оставался дома, а вечером вышел, чтобы уже никогда туда не возвращаться.

Выйдя на Грейс-Черч-стрит, я заметил, что за мной, опираясь на костыли и подпрыгивая, следует человек с обмотанной ногой. Он попросил у меня фартинг, но я не собирался ему подавать, и он шел, пока мы не поравнялись с каким-то двором, тут я ему бросил на ходу: «Нет у меня ничего, отстань, пожалуйста!» В ответ он сшиб меня на землю своими костылями.

Я был оглушен ударом и не знаю, что произошло со мной после, но когда очнулся, то обнаружил, что сильно изранен, нос оказался расплющен, одно ухо почти оторвано, и у виска глубокая рана от шпаги, а на теле еще одна, ножевая, правда, несерьезная.

Кто, кроме калеки, ударившего меня костылями, так разукрасил меня, я не знал, как не знаю и поныне, но изувечили меня основательно, и, видно, я долго лежал на земле, истекая кровью, пока не пришел в себя и, собрав последние силы, не позвал на помощь; собрались люди и на руках отнесли меня на мою квартиру, где я пролежал более двух месяцев, прежде чем поправился настолько, что опять мог выходить на улицу, но у меня были все основания ожидать, что кто-нибудь из этих мошенников подстережет меня и, улучив момент, повторит избиение, которому я уже раз подвергся.

Страх не давал мне покою, и, желая обеспечить себе безопасность, я решил переправиться во Францию или домой, как я называл Виргинию, и не встречаться больше с этими злодеями и убийцами,— ведь каждый мой выход из дому был сопряжен с опасностью для жизни. И если в тот раз, желая не попадаться ни-

кому на глаза, я вышел из дому ночью, то теперь, дабы избегнуть нападения, я выходил только днем и, как правило, в сопровождении одного-двух слуг в качестве телохранителей.

Однако я должен отдать должное и моей жене, которая, услышав о том, что со мною стряслось, написала мне письмо, в котором обращалась ко мне более любезно, чем можно было от нее ожидать, выражая свое глубочайшее сожаление по поводу того, как со мною расправились, тем более что, как она понимала, тут отчасти был виноват ее чек на мое имя; она писала, что надеется, даже при самом плохом отношении к ней, я не допущу такой ужасной мысли, будто это было сделано с ее ведома или согласия или, того хуже, по ее прямому или косвенному приказу, что она ненавидит такие вещи и заявляет, имей она хоть малейшее представление или хотя бы предположение, кто эти негодяи, она бы выдала их мне; она сообщила мне имя человека, которому дала чек, и его адрес и предоставила мне выяснить, кто же все-таки заходил ко мне с ее чеком, и передать его в руки правосудия, чтобы его наказали со всею строгостью закона.

Я был так тронут добротой моей жены, что, признаюсь честно, приди вслед за этим она сама ко мне, чтобы меня проведать, я бы непременно принял ее назад, однако она удовольствовалась еще одним вежливым письмом, в котором просила меня сообщать ей как можно чаще о моем самочувствии, добавив, что для нее будет высшей радостью узнать о моем выздоровлении и о том, что виновника всех злодеяний уже вздернули в Тайберне.

По некоторым словам в письме я понял, что она сожалеет о нашем разговоре и что ее уважение ко мне остается неизменным, однако никаких поползновений вернуться она не выказывала; кроме того, она выдвинула несколько доводов, дабы побудить меня оплачивать ее чеки, указывая, что принесла мне большое приданое и осталась ныне без средств, что весьма и весьма тяжело.

На это письмо я ответил ей, хотя на первое не отвечал, я рассказал, как со мною разделались, написал, что вполне удовлетворен ее сообщением о непричастности к этой истории, не в ее характере было бы обойтись так со мною, то есть с человеком, который не причинил ей никакого зла, никогда не оскорблял ее, не давал повода к разрыву и не выражал желания с нею расстаться; что же касается ее чеков, то ей хорошо известно, до чего довела меня ее расточительность, в какие расходы ввергла и как истощила мои денежные запасы, ведь если бы так шло и дальше, я был бы просто разорен; менее чем за три года она успела истратить больше, чем принесла мне в приданое, и никак не хотела отказаться от шикарной жизни и вести себя чуть скромней, сколько я ни просил ее об этом, ни умолял, уверяя, что мне не по карману

такие огромные расходы, и предпочла лучше разрушить семью и уйти от меня, чем соразмерять свои желания, хотя я никогда не действовал принуждением, а только просьбами и серьезными, трезвыми доводами, никогда не скрывая от нее, как обстоят мои дела, чтобы она убедилась, что нам грозит нищета, и тем не менее, если теперь она заберет назад свой чек, я пришлю ей эти тридцать фунтов, указанные в чеке, и, насколько позволят мне мои средства, не оставлю ее в нужде, если она согласится держаться в надлежащих пределах. Я также дал ей понять, что имею подробные сведения о ее дурном поведении, о том, что она водит компанию с бесчестным человеком, имя которого я ей назвал, но, несмотря на подобные слухи, мне очень не хотелось бы этому верить, а потому, чтобы пресечь все толки и восстановить ее репутацию, я готов принять ее обратно и обещаю забыть прошлое, если она откажется от чрезмерных запросов, согласится жить скромнее в соответствии с моим положением и будет относиться ко мне с такой же добротой и нежной любовью, какие я всегда ей выказывал и впредь буду выказывать; если же мое предложение не будет принято, я решил, что дольше не останусь здесь, где потерпел столько разочарований, и вернусь на родину, где спокойно проведу остаток дней моих, удалившись от шума света.

Она отвечала не совсем так, как я ожидал: хотя она и поблагодарила меня за тридцать фунтов, однако настаивала на своей полной невиновности и, прямо не отказываясь вернуться ко мне, тем не менее не дала и согласия, короче, почти или даже совсем обошла эту тему, однако выражала настоятельное требование вознаградить ее за все оскорбления, нанесенные ее доброму имени и тому подобное.

Поначалу это меня было удивило, так как я полагал, что любая женщина в ее обстоятельствах рада будет положить конец всем своим несчастьям, а заодно избавиться от заслуженных упреков путем примирения, в особенности же, учитывая, что в то время она едва сводила концы с концами. Однако существовала особая причина, препятствовавшая ее возвращению, на которую в письме она не могла сослаться, но то была весьма веская причина, не позволявшая ей согласиться на предложение, коему в ином случае она была бы только рада, а все заключалось опять-таки в том, что она попала в дурную компанию и, предавшись распутству, ждала теперь ребенка, оттого и не рискнула принять мое предложение.

Однако, как я уже упоминал, она и не отказалась прямо, рассчитывая, как я понял впоследствии, отложить наши переговоры на то время, когда она избавится от своей тяжкой ноши, как она это называла, и, получив избавление в тайном месте, сможет дать

согласие. Но я решил, что с меня хватит, я слишком хорошо был осведомлен обо всех ее делах, чтобы она могла скрыть их от меня, разве что она успела бы уехать до того, как ее фигура слишком заметно изменилась, но так как она не уехала, я подробнейшим образом знал, когда, где и кого она родила, и на этом мое желание вернуть ее кончилось, хотя она и писала мне несколько раз покаянные письма, в которых признавала свою вину и просила простить ее, но мне все это было уже не по душе, я даже думать о ней не хотел и потому продолжал дело о разводе, который, наконец, и получил, как уже упоминалось выше.

Обстоятельства сложились так, что я решил, о чем сообщал вам, уехать во Францию, после того как получу из Виргинии мое имущество; так я и сделал и в ... году отправился в Дюнкерк; здесь я очутился в обществе нескольких ирландских офицеров из диллонского полка, которые слово за слово уговорили меня вступить в армию, и с помощью генерал-лейтенанта ***, ирландца по происхождению, и некоторой суммы денег я получил в одном из его полков роту и тем самым вступил в армию.

Я был до крайности доволен новым моим положением и частенько говорил сам себе, что вот добился наконец того, для чего был рожден, так как до сего времени мне еще не доводилось вести жизнь истинного дворянина.

Мой полк вскоре после того, как я вступил в него, получил приказ двинуться в Италию; одним из самых замечательных сражений, в коих мне довелось принимать участие, была атака на Кремону в герцогстве Миланском, куда под прикрытием ночи были предательски впущены войска австрийского императора, которые, воспользовавшись общей растерянностью, захватили большую часть города, повергнув этим в изумление маршала, герцога де Вильруа; они взяли его в плен, когда он вышел из своей ставки, и разбили наголову несколько французских отрядов, оставленных охранять крепость. Однако, когда они уже считали, что победа у них в руках, на них смело и решительно напали два ирландских полка, стоявших на улице, ведущей к реке По и таким образом владевших ключами от речных ворот города — от Ворот По, через которые для императорской армии должно было прибыть подкрепление; в отчаянной схватке немцы упустили из рук свою победу и, не сумев пробиться через наши ряды к своим, были вынуждены снова оставить город, к вящей славе не только наших ирландских полков, но и всей ирландской нации, за что мы получили благодарность от самого короля Франции.

В этой битве я впервые с радостью узнал, что низкая трусость и малодушие, какие я проявил тогда дома, когда тот наглец налетел на меня, желая получить по чеку тридцать фунтов, вовсе

мне несвойственны; попробуй он сейчас напасть на меня, и я, пусть беззащитный и безоружный, бросился бы в драку, как лев, и стер бы его в порошок, да ведь люди сами не знают себя, пока не выпадет им испытание, а смелость тоже приходит со временем и с жизненным опытом.

Филипп де Комин рассказывает, что, прославившись в битве при Монтлери, граф де Шарлуа, который до того питал полнейшее отвращение к войне, просто ненавидел ее и все, что с нею связано, совершенно переменился. С тех пор армия заменила ему возлюбленную, а тяготы войны сделались его главной усладой. Сравнение это для меня слишком лестное, но и со мной все случилось точно так: после сражения меня принялись превозносить за отвагу, так и говорилось — боевая отвага, и я вообразил себя храбрецом,— был ли я им на самом деле или нет, не мне судить, но взыгравшая гордость заставила меня им стать. Мало того, кто-то отправил ко двору особое донесение, будто в спасении города и его жителей я сыграл немаловажную роль, ибо совершал чудеса, обороняя Ворота По и приняв на себя командование после того, как был убит подполковник, командовавший нашими частями; получив такой рапорт, король прислал для оглашения бумагу, в которой благодарил меня за верную службу и производил в подполковники, а следом гонец доставил и сам приказ о присуждении мне звания подполковника в *** полку.

Еще до этого я не раз попадал в перестрелки и участвовал в мелких стычках, так что успел заслужить славу хорошего офицера, однако случалось мне выполнять и особые задания, которые доставляли мне кое-что более ценное, а именно — звонкую монету, и немало.

Наш полк был отправлен из Франции в Италию морем, сели мы на корабли в Тулоне, а высадились в Савоне, что находится на территории Генуи, и отправились оттуда маршем в герцогство Миланское. В первом же городе, который нам приказали захватить — то была Алессандрия,— жители сопротивлялись с такой неистовой яростью, что выбили из города почти целый гарнизон, который насчитывал восемьсот человек: собственно французов и солдат, находящихся на службе у Франции.

Я и со мною восемь моих солдат и слуга стояли в доме одного горожанина, расположенном у самого порта; я вызвал моих людей на короткий совет, и мы решили любой ценой защищать этот дом, пока не получим от командира полка приказа об отступлении; получив приказ и убедившись, что наши солдаты под ожесточенным натиском горожан сдают свои позиции на улицах города, я выставил за дверь хозяев дома и засел в нем, как в крепости, взяв командование на себя, а поскольку дом этот примыкал к город-

ским воротам, я принял решение защищать его до последнего, тем паче что отступление нам было обеспечено, так как порт находился рядом.

Очистив дом от его обитателей, мы не постеснялись набить наши карманы всем, что ни попадало под руку, иными словами, растащить все, что было можно, причем мне достался кабинет хозяина дома, откуда я унес деньгами и в слитках примерно двести пистолей, не считая прочих ценных вещей. Принцу Водмону, тогдашнему правителю герцогства Миланского, была направлена жалоба на наше мародерство, но поскольку враждебный прием, оказанный нам горожанами, расходился не только с его приказом, но вообще с политикой принца, который в то время поддерживал интересы короля Филиппа, горожане остались ни с чем, мало того, разграбь мы весь город, ничего бы нам и за это не было, ибо правитель получил приказ впустить наш полк в город, поэтому сопротивление, оказанное нам, можно было счесть за открытое восстание, и тем не менее нам было приказано не стрелять в горожан, если только не случится в этом острая необходимость, и мы предпочли отступить, однако вслед за этим имели столкновение с отрядом отчаянных храбрецов, которые пожелали отнять у нас ни более ни менее, как два бастиона и порт. Сначала их силы втрое превышали наши, потому что к горожанам присоединилось семь рот регулярных войск, что составляло свыше тысячи шестисот солдат, помимо отряда ополчения, таким образом, их было намного больше, ибо нас всего-то оказалось около восьмисот, к тому же они еще владели крепостью и несколькими батареями, так что мы бы не справились с ними, даже если бы и атаковали их. Однако дня через три-четыре им пришлось все-таки уступить и под натиском наших солдат сдать крепость.

После этого мы сидели без дела на своих квартирах восемь месяцев, так как, отстояв для короля Филиппа герцогство Миланское и получив временную передышку, принцу ничего не оставалось, как ждать вспомогательных полков из Франции, а когда они пришли, он растянул свои войска, чтобы сдержать натиск сторонников империи, которые готовились вторгнуться в Италию с огромной армией, и занял для этого Мантую и другие города вокруг вплоть до озера Гарда и реки Адидже.

В Мантуе мы задержались, а затем наши полки были выведены оттуда по приказу графа де Тесс (впоследствии маршала Франции), чтобы слиться с французской армией к моменту прибытия на место герцога Вандомского, который был назначен главнокомандующим. Тут и началась жестокая кампания 1701 года, в которой нашим противником был принц Евгений Савойский с армией, насчитывавшей сорок тысяч немцев, все старых, опыт-

ных вояк, и хотя французская армия по численности превышала вражескую на двадцать пять тысяч, однако ей приходилось нести оборону и выставлять защиту во множестве пунктов одновременно, к тому же точно не было известно, где именно принц Савойский, командовавший императорскими войсками, нас атакует, поэтому французы были вынуждены разбиться на подразделения, причем одно подразделение от другого было расположено так далеко, что немцы успешно осуществляли свой план наступления, о чем история тех лет рассказывает много обстоятельнее.

Я принимал участие в битве при Карпи в июле 1701 года, в которой немцы разбили нас наголову, так что мы вынуждены были оставить наш лагерь и уступить принцу всю реку Адидже; наш полк понес некоторые потери, однако врагу после нас осталось немного, и мосье Катина, под чьим командованием мы в то время находились, на другой же день построил нас в боевом порядке на виду у немцев и бросил им вызов, однако те не желали двигаться с места, хотя мы два дня подряд вызывали их на сражение, и, овладев переправой через Адидже, поскольку нам пришлось покинуть Риволи, который оказался нам тогда не нужен, считали свое дело сделанным.

Убедившись, что они уклоняются от решающего сражения, наши генералы стали теснить их на местах, заставляя сражаться за каждый клочок захваченной земли, пока наконец в сентябре мы не атаковали их в укрепленном городе Кьяри; мы прорвались в самый центр их лагеря, где учинили поистине страшное побоище, однако, уж не знаю, то ли по ошибке наших генералов, то ли потому, что приказания плохо выполнялись, но только норманская и наша ирландская бригады, которые так отважно завладели вражескими укреплениями, не получили обещанной поддержки, были вынуждены поэтому отражать атаки целой немецкой армии и в конце концов оставили завоеванные позиции, понеся при этом известный урон; однако мы все-таки получили в подмогу мощный отряд кавалерии, и враг вскоре был отбит и отброшен назад в свой лагерь. Немцы хвастали, что одержали над нами великую победу, и в самом деле оказав нам отпор уже после того, как нам удалось захватить их лагерь, они получили над нами преимущество, однако если бы мосье де Тесс пришел нам на помощь с двенадцатью тысячами пехоты вовремя, как, по словам старины Катина, должен был сделать, минувшее сражение положило бы конец войне, и принцу Евгению оставалось бы только бежать назад в Германию, причем гораздо быстрее, чем он спешил сюда, в противном случае мы бы перехватили его по дороге.

И тем не менее судьба рассудила иначе, и немцы на протяже-

нии всей кампании продолжали идти вперед, продвигаясь с позиции на позицию, пока окончательно не выбили нас из герцогства Миланского.

В последний период кампании мы вели уже только местные бои; легкомысленные французы ежедневно покидали свой лагерь то в поисках продовольствия, то в надежде захватить врасплох вражеский фураж, занимаясь грабежом сами или ловко отбивая награбленное у противника, хотя частенько попадали в переделки, так как у немцев перед ними был целый ряд преимуществ; да, многие сложили головы в этих мелких стычках, а если прибавить еще и тех, кто умер от болезней, заработанных на столь тяжелой службе в дурных условиях лагеря и в окопах, где мы находились вплоть до середины декабря,— в болотистой местности, сплошь прорезанной каналами и реками, какими изобилует эта область Италии, то думаю, что мы, да и противники тоже, потеряли больше людей, чем унесло бы генеральное сражение.

Надо отдать должное герцогу Вандомскому, он настоятельно предлагал назначить день сражения с принцем Евгением, однако герцог де Вильруа, мосье Катина и граф де Тесс противились этому, основным доводом приводя усталость людей, на долю которых якобы выпало столько страданий, что они не в силах выдержать бой с немцами; поэтому, как я уже говорил, спустя три месяца мелких стычек и грабежей мы разошлись на зимние квартиры.

Еще до того, как покинуть окопы, наш полк вместе с отрядом драгунов численностью в шестьсот человек и еще примерно двести пятьдесят кавалеристов отправились, не имея никакого четкого плана, перехватить принца Коммерси, одного из видных генералов принца Евгения Савойского. Предполагалось, что в отряде будут только кавалеристы и драгуны, но, поскольку солдатам императорских войск посчастливилось перебить уже много наших отрядов,— как выяснилось, много больше, чем удалось нам перебить их,— а также зная твердо, что принц, будучи видным военачальником, не покинет ставки без многочисленного сопровождения, отдали приказ присоединить к отряду еще и наш ирландский пехотный полк, чтобы в случае чего немцам пришлось встретиться с равным противником.

За два часа до операции я получил приказ отвести двести пехотинцев и пятьдесят драгунов под укрытие редкого лесочка, где, как донесли нашему генералу, принц собирался расставить своих людей, чтобы обеспечить себе безопасный проезд, что я и выполнил. Однако граф де Тесс, полагая, что наш отряд недостаточно силен, двинулся с тысячью кавалеристов и тремястами гренадеров нам на подмогу, и это пришлось как нельзя более кстати, ибо принц Коммерси, узнав о появлении первых солдат, неожи-

данно выступил вперед и сам напал на нас; он разбил бы нас наголову, если бы граф, услышав перестрелку, тут же не бросился со своей тысячью кавалерии на подмогу в самый разгар сражения, и благодаря этому немцы были отбиты и вынуждены отступить. Принц тут же ретировался и после боя направился к лесу, в котором засели мои солдаты, а так как поражение застало его врасплох, он не выслал вперед отряда, чтобы обеспечить себе отступление через лес, как намеревался сделать раньше.

Граф де Тесс, зная, что в лесу, как я уже говорил, находимся мы, преследовал их по пятам, чтобы они не успели нас перехватить и, поелику возможно, чтобы мы задержали их там и навязали еще одну стычку. Когда они добрались до леса, смеркалось, и им было трудно определить, сколько нас; подойдя к лесу, они выслали вперед пятьдесят драгунов — разузнать дорогу и проведать ее безопасность. Мы дали им довольно далеко углубиться в лес по просеке и тогда, вклинившись между ними и лесной опушкой, отрезали им всякую возможность отступления, так что, когда они нас обнаружили и открыли огонь, их тут же окружили и буквально изрубили в куски; в плен нам сдались лишь командир да восемь драгунов.

Это заставило принца остановиться; не зная, что же случилось и каковы наши силы, он пожелал получить более точные сведения и отправил двести своих кавалеристов окружить лес, чтобы обнаружить нас, вот тут-то граф де Тесс и зашел к нему в тыл. Мы узнали его местонахождение по шуму схватки и решили немедля ввести в дело две сотни кавалеристов; таким образом небольшой отряд наших всадников перекрыл въезд на просеку и приготовился к атаке; тем временем пехотинцы, залегшие в кустарнике на опушке леса, были начеку, чтобы, как настанет момент, тоже ринуться в бой. Под нашим напором вражеская конница подалась и отступила на лесную дорогу, однако, будучи опытнее нас, немцы лишь оттеснили нас к самой опушке, не дав заманить себя в узкий проход, ибо опасались, что в кустарнике стоит наша пехота.

Тем временем принц, обнаружив в тылу у себя французов и не имея возможности снова принять сражение, решил прорваться силой, а потому приказал своим драгунам спешиться, проникнуть в лес и прочесать кустарник по обеим сторонам просеки, чтобы он мог проехать по ней со своей кавалерией. Они так ревностно выполнили его приказ, а силы их, как оказалось, настолько превосходили наши, что, хотя мы упорно отстаивали наши позиции, все же почти половина наших людей полегла на месте. И все-таки мы дали время французской кавалерии приблизиться, напасть на всадников принца и, отрезав им путь к отступлению, взять много

пленных; затем мы отошли, чтобы пропустить нашу конницу, которая тут же бросилась в бой; триста драгунов было убито, двести взято в плен.

В первом пылу сражения командир немецких драгунов со своей свитой подстрелил трех солдат, охранявших меня, и предложил мне сдаться, я вынужден был согласиться и отдал ему шпагу, ибо наши люди вот-вот готовы были покинуть поле боя, оставляя нас на произвол судьбы. Однако потом ситуация изменилась, и, когда вторглась наша кавалерия, о чем уже шла речь, драгуны были начисто смяты, а офицер, взявший меня в плен, обернувшись ко мне, сказал: «Мы погибли». Я спросил его, не могу ли я быть чем-нибудь полезен ему. «Пока ни с места»,— сказал он, так как его люди все еще бились с отчаянной отвагой. Но тут у него за спиной появилось еще двести французских всадников, и тогда он сказал мне по-французски: «Теперь я ваш пленник». И с этими словами отдал мне мою шпагу и в придачу свою. Стоявший рядом драгун хотел было последовать его примеру, но был убит наповал пулей; однако принц Коммерси с остатками своего отряда успел скрыться, и больше мы его не преследовали.

Еще шестнадцать или семнадцать человек, подобно мне, избежали плена, тем не менее они были не столь удачливы, как я, который взял офицера, под чьей охраной они все находились. Он оказался так великодушен, что не спросил, сколько при мне денег, хотя много у меня и не было, если б он и поинтересовался, но я только пострадал из-за его благородства, так как не посмел, в свою очередь, спросить с него деньги, хотя знал, что у него имеется около ста пистолей; однако вечером, когда мы вернулись в наши палатки, он предложил мне щедрый подарок в двадцать пистолей, а я за это добился для него разрешения уйти в лагерь принца Евгения под честное его слово, которое он сдержал.

Именно после этой кампании я попал на постой в Кремону, где произошло сражение, о котором уже шла речь и где наш ирландский полк отличился, не позволив немцам занять врасплох город неожиданным штурмом, выдворив их оттуда после того, как они в течение шести часов владели тремя четвертями города.

Однако спешу возвратиться к собственной истории, ибо не моя задача вести дневник различных кампаний, участником которых я был, и довольно долго.

Все лето после этого оба наших ирландских полка не покидали поле сражений, принимая участие во многих жестоких схватках с немцами, так как принц Евгений, будучи опытным военачальником, почти не давал нам передышки; никогда подолгу не задерживаясь на месте, он тут и там срывал немало побед, и потому ни его люди, ни мы не знали покоя.

Будем беспристрастны к французам; тот, кто знает ход этой кампании, должен знать, что им ни разу не удалось окончательно сломить немцев, однако били они их при каждом удобном случае с редким упорством и отвагой; при этом было пролито немало и благородной дворянской крови, и солдатской, тем не менее герцог Вандомский, который был тогда главнокомандующим, несмотря на то, что король Филипп сам принимал участие в этой кампании, сполна воздавал принцу Савойскому, выбивая его из одного города за другим, пока тому не пришлось почти полностью очистить все итальянские земли. Доблестная армия, какую принц Евгений привел в Италию и которая, несомненно, была во всех отношениях лучшей среди прочих, когда-либо побывавших там, сложила свои головы в этой стране, а за нею и еще не одна тысяча воинов, пока французам, потерпевшим в войне еще больший урон, не пришлось подчиниться судьбе, как мы знаем из истории и о чем уже говорилось выше, однако это уже к моему рассказу не относится.

Мое участие в этих событиях было недолгим, но ярким, мы выступили в поход что-то в начале июля 1702 года, когда герцог Вандомский отдал приказ поскорее стянуть все войска, чтобы освободить итальянский город Мантую, блокированную императорской армией.

Принц Евгений был человеком изворотливым и на редкость удачливым, годом раньше он не единожды бил нас, однако на сей раз счастливая судьба стала изменять ему, ибо наша армия превосходила его не только численностью, но имела во главе такого начальника, как герцог; несмотря на то что принц держал Мантую в тесном кольце блокады всю зиму, герцог решил освободить город любой ценой. Как я уже говорил, преимущество в этом деле было на стороне герцога, и, так как принц не мог помешать герцогу силой прорвать блокаду, он отвел свои войска, оставив лишь несколько мощных соединений, чтобы защищать Бершелло, которому угрожал герцог Вандомский, и Боргофорте, где находился склад его боеприпасов, а затем, объединив оставшиеся силы, приготовился выступить против нас. К этому времени в армию прибыл испанский король, и герцог Вандомский, во главе примерно тридцати пяти тысяч солдат, расположился недалеко от Луццары, которую решил атаковать, чтобы втянуть в сражение и принца Евгения. А принц Водмон, у которого было двадцать тысяч, окопался под Ривальтой, что лежала сразу за Мантуей, с тем чтобы перекрыть миланские границы; в самой Мантуе было двенадцать тысяч солдат, а мосье Праконталь с десятью тысячами находился при артиллерии одного из фортов, охранявшей насыпную дорогу, прямиком ведущую в Мантую. Если бы эти силы соединились, как и произошло через несколько дней, принц оказался бы в труд-

ном положении, ему пришлось бы приложить все усилия, чтобы сохранить за собою Италию, ибо в его власти не оставалось уже ни одного укрепленного пункта в стране, где солдаты, сидя в окопах, выдержали бы пятнадцатидневную, хорошо организованную осаду, о чем он и сам прекрасно знал. Вероятно, именно поэтому, пока герцог Вандомский намеревался, коли удастся, втянуть принца Евгения в сражение, для чего и занимался диспозицией наших войск, чтобы атаковать Луццару, мы, к величайшему нашему изумлению, 15 июня 1702 года обнаружили перед собой всю императорскую армию, уже готовую к бою и наступавшую на нас форсированным маршем.

Наша армия двигалась им навстречу тем же боевым строем, какой соблюдала последние два дня, колонна за колонной; еще три дня назад наш герцог обнаружил, что генерал Висконти с тремя полками имперской кавалерии и одним драгунским полком расположился в Сан-Виктории, что на берегу Тичино, и решил атаковать их; этот план его выполнялся в такой секретности, что, хотя наша армия проходила всего в трех лье от них по другой дороге, мосье Висконти почти уже достиг герцогства Моденского, когда он совершенно неожиданно для себя оказался атакованным французскими драгунами и кавалерией в шесть тысяч всадников. Около часу он храбро защищался, но, увидев, что враг его одолевает и что под натиском противника ряды его вот-вот будут смяты, он дал сигнал к отступлению, однако не успели его конники развернуться и проскакать в обратном направлении каких-нибудь полчаса, как их со всех сторон окружил большой отряд инфантерии, отрезавший все пути к отступлению, кроме моста через Тичино, но их собственный обоз создал там такую толчею, что было не проехать ни туда, ни сюда, и они налетали и натыкались друг на друга, так что о сохранении строя нечего было и думать; многие попáдали в реку и утонули, немало было убито, еще больше попало в плен. Одним словом, все три кавалерийских и один драгунский полк были разбиты наголову.

Принцу был нанесен тяжкий удар, потому что войска эти принадлежали к самым отборным в его армии. Мы взяли в плен около четырехсот человек со всем их имуществом и захватили восемьсот лошадей — добыча немалая. Эти войска, несомненно, очень пригодились бы противнику в битве, которая, как упоминалось, последовала пятнадцатого числа. Наша армия, о чем я писал выше, двигалась походным маршем на Луццару, когда вдруг появился немецкий кавалерийский отряд примерно в шестьсот сабель, а меньше чем через час — и вся вражеская армия в боевом порядке.

Наша армия немедленно перестроилась, и герцог размещал полки, по мере их приближения, настолько искусно, что принцу

Евгению пришлось изменить дислокацию своих войск, причем он все же оказался в крайне невыгодном положении, так как был вынужден сражаться с превосходными силами противника, расположившегося на самых удобных позициях. Если бы он повременил всего один день, мы столкнулись бы с ним на полпути, но больно уж немецкие генералы уверены в себе и в доблести своих войск. Левый фланг королевской армии разместился у великой реки По, а на противоположном берегу стояла армия принца Водмона и вела орудийный огонь из окопов, вырытых императорскими войсками у Боргофорте. Чувствуя, что предстоит генеральная баталия, принц отрядил двенадцать батальонов и около тысячи конников для подкрепления королевской армии; все они успели соединиться с нашей армией, вселив в нас бодрость и уверенность, а принц Евгений все перестраивал свои войска, готовясь к наступлению. Однако именно передвижение наших войск заставило принца Евгения решиться вступить в бой, чтобы помешать нам дойти до цели, но соображения его оказались несостоятельными, а отказаться от боя он уже не мог и совершил таким образом ошибку, исправить которую было поздно.

Ему удалось ввести в бой все свои войска только к пяти часам вечера, после чего нас в течение получаса тщетно обстреливали из орудий, а затем его правый фланг под командованием принца Коммерси яростно атаковал наш левый. Наши части отражали наступление так искусно и оказывали друг другу поддержку столь своевременно, что противник понес огромные потери, а так как принц Коммерси, к их великому горю, был убит в самом начале боя, полки противника, потрясенные гибелью великого военачальника, не получая приказов, отступили в полном беспорядке, а одна бригада была целиком уничтожена.

Однако продвижение второго эшелона их войск под водительством генерала Эрбвиля восстановило первоначальное положение: подоспевшие войска противника смело бросились во вторую атаку и, получая подкрепление от главных сил, вынудили наших солдат, в свою очередь, отступить к каналу, протекавшему по левому флангу между их позициями и рекой По, где они и сосредоточились. Обе стороны, к которым непрерывно поступали свежие пехотные и кавалерийские части, сражались с таким упорством, храбростью и умением, что трудно было предсказать, кто вышел бы победителем, если бы они смогли довести бой до конца.

На правом фланге королевской армии располагался цвет французской кавалерии — гвардейцы, королевские карабинеры, конница ее величества и еще четыреста кавалеристов, а рядом с ними стояли пехотные части, среди которых был и наш полк. Первыми в атаку бросились кавалеристы с саблями наголо; они

приняли на себя огонь двух императорских кирасирских полков и без единого выстрела прорвали их ряды, которые, когда кони стали теснить и топтать их, пришли в полное смятение. Передовая шеренга нашей пехоты вступила на поле боя, очищенное кавалерией от противника.

В первой атаке был убит маркиз де Креки — командующий правым флангом. Эта потеря была для нас не менее тяжелой, чем гибель принца де Коммерси для противника. После того как мы оттеснили описанным выше образом вражескую кавалерию, войска неприятеля, благодаря искусству и находчивости командования, сосредоточились и, получив поддержку трех императорских пехотных полков, вновь пошли в наступление с такой яростью, что невозможно было им противостоять. В результате два ирландских полка были разбиты, и погибло огромное множество солдат. В этой битве не повезло и мне — выстрелом из мушкета у меня была перебита правая рука, но мало этого, меня еще сшиб с ног огромный, как и все немцы, солдат и, решив, что я мертв, наступил на меня, но тут же пал бездыханный от выстрела одного из наших, а я со своей раненой рукой оказался в весьма бедственном положении, потому что этот парень, громадный, как лошадь, был так тяжел, что я не мог даже пошевелиться.

Вскоре наши войска были оттеснены со своих позиций, и я остался во власти противника, но не попал в плен, то есть меня не нашли до следующего утра, когда группа солдат с врачами во главе вышла, как это принято, на поиски раненых и обнаружила меня почти задохнувшимся под грудой убитых — своих и чужих. Надо отдать врагам должное — обращались они со мной по-человечески, они весьма умело подлечили мне руку, а через четыре или пять дней дали мне возможность под честное слово отправиться в Парму.

Обе армии продолжали сражаться, особенно рьяно на нашем левом фланге, до тех пор, пока из-за темноты солдаты не перестали понимать, в кого стреляют, а генералы — что происходит. Тогда стрельба стала утихать, и ночь, как говорится, разлучила их.

Обе стороны объявили себя победителями и по возможности скрывали свои потери, но нет сомнения в том, что никогда еще ни в одном бою не было проявлено столько мужества и упорства, как в этом, и что, если бы не наступила ночь, обе стороны, безусловно, потеряли бы убитыми еще много тысяч людей.

Немцы имели право считать себя победителями только потому, что они, как я уже говорил, заставили наш левый фланг отступить к каналу и к высокому берегу реки По или, вернее, к холмам, возвышающимся за ним. Однако это отступление оказа-

лось нам очень выгодным, так как оттуда можно было стрелять в самую гущу вражеских войск, а вытеснить нас с этих позиций было невозможно.

Лучшим и наиболее убедительным доказательством победы королевских войск было то, что через два дня после описанной битвы они захватили Гуасталлу, которую немецкая армия уже считала своей, заставили ее гарнизон сложить оружие и поклясться не участвовать в военных действиях в течение шести месяцев. Хотя немцы понесли значительный ущерб, так как гарнизон состоял из тысячи пятисот человек, принц Евгений не пришел ему на помощь. После этого они еще несколько раз при нашем приближении оставляли свои позиции, ибо провести еще одно сражение в том году были не в состоянии.

Мое участие в кампании на этом кончилось, и хотя я вышел из нее с увечьем, все же отделался гораздо легче, чем многие другие офицеры, ведь в этой кровавой бойне мы потеряли более четырехсот убитыми и ранеными, причем трое среди них были генералы.

Военные действия продолжались до декабря; за это время герцог Вандомский захватил Боргофорте и несколько других пунктов, занятых неприятелем, который с каждым днем терял свои позиции в Италии.

Я долго пробыл в плену, но поскольку соглашение о пленных еще не было заключено, принц Евгений приказал отправить французов в Венгрию, что было проявлением неоправданной жестокости к ним. Многим удалось, однако, по дороге удрать к туркам, которые приняли их очень любезно, а посол Франции в Константинополе позаботился о них и по распоряжению короля переправил морем обратно в Италию.

Но к этому времени герцог Вандомский взял в плен так много немцев, что принц Евгений не мог уже заниматься отправкой пленных в Венгрию и был вынужден дать приказ о возвращении тех, кто там уже находился, и начать переговоры о всеобщем обмене военнопленными.

Как я уже говорил, мне разрешили под честное слово уехать на некоторое время в Парму, где я в течение сорока дней залечивал рану и сломанную руку, а потом вынужден был явиться к военному коменданту Феррары, откуда, по прибытии туда принца Евгения, был отправлен с несколькими другими военнопленными в герцогство Миланское, где нам предстояло ждать обмена.

Почти восемь месяцев я прожил в Тренте; человек, в доме которого меня поместили, относился ко мне на редкость любезно, всячески меня опекал, так что жилось мне у него беспечно. Но тут я, сам того не чая, вступил в связь с дочерью моего хозяина,

а потом, не знаю, какой черт дернул меня, взял да женился на ней. С моей стороны это было благородным поступком, который, честно говоря, я вовсе не собирался совершать. Но девушка оказалась очень ловкой, ей удалось напоить меня вином сверх меры, и хотя я оставался в полном рассудке и сознавал, что совершаю, веселье взыграло во мне, и я дал себя оженить. Это неразумное проявление благородства причинило мне много неприятностей, так как я понятия не имел, что делать с этим новым грузом, который я на себя навьючил. Я не мог ни оставаться с женой, ни взять ее с собой и находился в совершенной растерянности.

Вскоре меня соответственно с договором об обмене пленными освободили, и я был обязан вернуться в свой полк, расквартированный тогда в герцогстве Миланском. Там я получил разрешение поехать в Париж, пообещав набрать в Англии, куда изредка писал, рекрутов для ирландских полков. Располагая, таким образом, согласием на поездку в Париж, я получил у противника пропуск для проезда в Трент, кружным путем прибыл туда, тщательно упаковал свое имущество, взял жену и все прочее, проехал через Тироль в Баварию, потом через Швабию и Шварцвальд в Эльзас, а оттуда добрался до Лотарингии и, наконец, до Парижа.

Я имел тайное намерение бросить армию, потому что был сыт войной по горло, но поступить так, пока армия находится в походе, считалось столь позорным, что я не мог на это решиться. Однако непредвиденные обстоятельства облегчили мою задачу. Дело в том, что между Францией, с одной стороны, и Англией и Голландией, с другой, вновь начались военные действия. Французский король, вознамерившись провести маневр, чтобы отвлечь внимание англичан, снарядил в Дюнкерке мощную эскадру военных судов и фрегатов, на борт которых погрузил войсковые части, насчитывавшие около шести тысяч пятисот человек, не считая добровольцев. Новый король, как мы его называли, хотя вообще-то он был известен под именем Кавалера ордена святого Георга, отправился вместе с ними в Шотландию.

Я делал вид, что отношусь к этой затее с большим рвением, и заявил, что если мне разрешат продать чин командира роты, входящей в ирландский полк, в котором я состоял, и получить от Кавалера чин полковника за то, что я наберу для него войска в Великобритании, то после его прибытия я сяду на корабль в качестве добровольца и буду нести расходы по службе сам. Такой уговор был мне весьма выгоден, так как я становился лицом *почтенным и пользующимся значительным влиянием* у себя на родине. Итак, мне дали разрешение продать мой чин, и я, получив через Голландию кругленькую сумму из Лондона, собрал прекрас-

ное снаряженпе и отправился в Дюнкерк, чтобы сесть там на корабль.

Кавалер принял меня вполне благосклонно, так как был уже осведомлен, что я офицер ирландского полка, служил в Италии и, следовательно,— бывалый солдат. Все это в сочетании с моей прежней характеристпкой питало его ко мне расположение. Между тем я вовсе не испытывал особой привязанности ни к Кавалеру лично, ни к его делу, да, по правде говоря, я не очень разбирался в причинах, столкнувших между собой воюющие стороны, иначе я бы не стал столь легкомысленно рисковать не только жизнью, но и имуществом, которое с этого момента находилось в распоряжении английского правительства и могло быть конфисковано им в любую минуту. Однако, получив из Лондона почтовый перевод на триста фунтов стерлингов и продав мой офицерский чин в ирландском полку почти за такую же сумму, я не только оказался невольно втянутым в эту нелепую затею, но даже стал добровольцем и, рискуя всем, отправился с ними в путь. История этой бесплодной экспедиции имеет весьма малое касательство к моему рассказу, поэтому считаю нужным сказать лишь, что английский флот, значительно превосходивший по силе флот французский, гнался за нами неудержимо, находясь в опасной близости от наших судов, а то, что мы от него ускользнули, спасло меня от виселицы.

К счастью для себя, французы проскочили мимо порта, к которому сначала стремились, и, направляясь к заливу Ферт-оф-Форт, или, как его называют, Эдинбургскому заливу, пристали к берегу у места под названием Монтроз, где не собирались швартоваться, а оттуда вынуждены были вернуться к заливу Ферт-оф-Форт, подошли к входу в него и стали на якорь в ожидании прилива. Однако эта задержка дала возможность англичанам под командованием сэра Джорджа Бинга подойти к Ферт-оф-Форту, стать, подобно нам, на якорь и ждать подъема воды, чтобы войти в залив.

Если бы мы не проскочили, как я уже говорил, мимо порта, вся наша эскадра могла бы быть уничтожена в течение двух дней, и единственное, что мы успели бы сделать, это войти на малых фрегатах в гавань Лита и сбросить там войска и снаряжение, но нам пришлось бы поджечь свои военные суда, так как английская эскадра находилась от нас на расстоянии, для преодоления которого требовалось не больше суток.

Эти неожиданные обстоятельства заставили французского адмирала вывести суда из северной части залива, где они стояли. Летя на всех парусах к северу, мы опередили английский флот и ускользнули от него, потеряв лишь один корабль, который не

сумел уйти, так как находился позади всех. Когда мы убедились, а это произошло лишь на третью ночь, что английские суда больше не преследуют нас, мы изменили курс и, потеряв их из виду, направились к побережью Норвегии; двигаясь этим курсом до самого Балтийского моря, мы бросили в нем якорь и выслали два разведывательных судна, чтобы изучить обстановку и убедиться в том, что в море не видно ничего подозрительного. Удостоверившись, что противник нас больше не преследует, мы поплыли назад, убавив паруса, и в целости и сохранности вернулись в Дюнкерк. Я был несказанно счастлив, когда ступил на берег, ибо во время нашего спасительного бегства я испытывал невообразимый ужас, ощущая уже как бы петлю на шее, ведь если бы меня схватили, то, несомненно, повесили бы.

Но опасность миновала, я получил увольнение из армии и, заручившись разрешением Кавалера, помчался в Париж. Неожиданность моего появления дома позволила мне, к несчастью, сделать открытие относительно моей жены, которое меня отнюдь не порадовало. Я обнаружил, что ее милость водила компанию, неподходящую, как я имел основания считать, для порядочной женщины; и так как я на собственном опыте испытал, каков ее нрав, меня охватили ревность и тревога. Должен признаться, что все это задело меня весьма глубоко, ибо во мне воскресло непреодолимое влечение к ней, а манеры ее стали весьма привлекательны, особенно после того, как я привез ее во Францию. При свойственном ей легкомыслии она не могла вести себя иначе, да еще находясь в таком средоточии любовных утех, как Париж.

Обидно было и то, что мне выпало на долю быть рогоносцем как на чужбине, так и дома, и я приходил порою из-за этого в такую ярость, что терял самообладание при одной мысли о своей судьбе. Целыми днями, а иногда и ночами я размышлял, как отомстить ей и особенно как добраться до того негодяя, который обесчестил и одурачил меня. Мысленно я сотни раз совершал убийство, а Сатана, который, несомненно, склоняет нас ко злу, а возможно, является главным возбудителем злого начала в душе человеческой, непрерывно искушал меня мыслями об убийстве моей жены.

Он довел этот страшный замысел до конца, разжигая во мне жестокие стремления,— всякий раз как слово «рогоносец» всплывало у меня в мозгу, я приходил в бешенство, так что я перестал сомневаться, убивать ее или нет, и сосредоточил свое внимание на том, как совершить убийство и затем избежать кары.

Все это время я не располагал убедительными доказательствами ее вины и потому не упрекал ее ни в чем и не давал ей почувствовать своих подозрений; правда, по изменившемуся от-

ношению к ней она могла бы понять, что меня что-то тревожит, но она ничего не заметила, встретила меня очень ласково и как будто обрадовалась моему приезду. Я обнаружил также, что за время моего отсутствия она не тратила денег зря, но ревность, как говорят умные люди, ослепляет, лишает человека разума, и мое расстроенное воображение воспринимало ее бережливость как доказательство того, что она была у кого-то на содержании и ей незачем было тратить мои деньги.

Должен признаться, что, хотя за ней не было никакой вины, она оказалась в трудном положении, потому что во мне так укоренилась мысль о ее бесчестности, что, если бы она проявила щедрость, я объяснил бы это тем, что она тратила деньги на своих поклонников, а поскольку она оказалась бережливой, я полагал, что она была у них на содержании. В общем, вынужден повторить, что воображение мое было расстроено, я считал себя опозоренным и ни на минуту не мог избавиться от этой мысли.

Хотя окончательного разрыва тогда не произошло, я был так одержим уверенностью в ее вине, что не нуждался ни в каких доказательствах и относился с подозрением ко всем, кто посещал ее или с кем она разговаривала. С нами в доме жил гвардейский офицер, человек весьма порядочный и знатный; однажды, когда я находился в маленькой гостиной, примыкавшей к комнате, где сидела в это время моя жена, туда вошел этот господин, что ни в коей мере не нарушало приличий, поскольку он был нашим соседом. Он сел и начал беседовать с моей женой, не ведая, что я нахожусь рядом. Дверь между комнатами была открыта, я слышал каждое слово и мог удостовериться, что ничего, кроме светского разговора, там не происходило. Они обменивались случайными новостями, болтали о некоей юной даме, девятнадцатилетней дочери одного горожанина, которая неделей раньше вышла замуж за адвоката парижского суда, богача шестидесяти трех лет, о богатой вдове, живущей в Париже, которая вышла замуж за камердинера своего покойного мужа, и о других мелочах, которые, как я теперь сознаю, нисколько не порочили моей жены.

Однако меня охватили ревность и гнев. То мне казалось, что он допускает вольности в обращении с моей женой, то, что она ведет себя слишком бесцеремонно, и я уже был готов ворваться к ним в комнату и осыпать их оскорблениями, но сдержался. Потом он стал со смехом рассказывать ей какую-то историю о девице, которая, как я понял, отдалась старику, но и в этом разговоре не было ничего непристойного. Я же, сгорая от бешества, не мог больше выносить этого, вскочил и бросился в соседнюю комнату. Прервав жену на полуслове, я выпалил: «Итак, сударыня, вы считаете, что он слишком стар для нее?»

И, бросив на офицера взгляд, который, как мне представляется, придал моему лицу сходство с бычьей мордой на вывеске трактира «Бык и глотка» в Олдергейте, я выскочил на улицу.

Маркиз (таков был титул этого офицера) уразумел, что я имею в виду, и, как человек благородный и храбрый, немедленно последовал за мной. Услышав на улице его покашливание, которым он старался обратить на себя мое внимание, я остановился, и он подошел ко мне. «Сударь,— сказал он,— у нас во Франции, к сожалению, существуют очень суровые законы, по которым попытка затеять дуэль влечет за собой крайне строгое наказание. Но будь что будет, а вы должны немедленно дать мне объяснение касательно вашего поступка».

Я несколько успокоился за это время, обдумал свое поведение и почувствовал, что был неправ. Поэтому я сказал ему с полной искренностью: «Сударь, вы человек благородный, я знаю вас очень хорошо и питаю к вам глубокое уважение. Я был немного обеспокоен поведением моей жены, да и вы в подобном случае разве не испытывали бы то же самое?»

«Меня огорчает, что между вами и вашей супругой возникла рознь,— сказал он,— но при чем тут я? Разве вы можете обвинить меня в том, что я допустил хоть что-либо неподобающее, разговаривая с ней о том-то и о том-то?» Здесь он напомнил содержание их беседы. «И поскольку я знал, что вы находитесь в соседней комнате, куда дверь была открыта, и слышите каждое слово, я был уверен, что столь невинную беседу нельзя истолковать превратно».

«Я бы не видел в этом разговоре ничего дурного,— сказал я,— если бы не полагал, что он может привести в дальнейшем к излишней фамильярности между вами, чего я, как человек благородный, допустить не могу. Однако, сударь,— добавил я,— я обратился к моей жене, а вас же лишь приветствовал, приподняв шляпу».

«Да,— сказал он,— и бросили при этом на меня взгляд, полный дьявольской ярости. Разве такой взгляд не говорит сам за себя?»

«Ничего не могу сказать по этому поводу,— ответил я,— так как сам себя не вижу. Но моя, как вы выразились, ярость относилась к моей жене, а не к вам».

«Но послушайте, сударь,— воскликнул он, распаляясь, по мере того, как я успокаивался,— ваш гнев был вызван беседой вашей супруги именно со мной, следовательно, это касается также и меня, и я должен выразить свое негодование».

«Не думаю, сударь,— заявил я,— что поссорился бы с вами, даже если бы застал вас у моей жены в постели. Раз она пустила

вас к себе в постель, то она и есть преступница, а к вам у меня претензий нет. Ведь не могли бы вы оказаться у нее в постели, если бы она того не пожелала. А раз она захотела стать доступной женщиной, то ее и следует наказать. С вами же мне ссориться печего, если удастся, я пересплю с вашей женой, и тогда мы будем квиты».

Все это я проговорил весьма добродушно, желая утихомирить его, однако мой тон на него не подействовал — он требовал от меня, как он выражался, сатисфакции, а я объяснял ему, что их суд ко мне, иностранцу, едва ли проявит сострадание и что мне не следует сражаться с человеком за то, что он встречался с моей женой, так как я сам виноват, что связался со скверной женщиной. Я пытался доказать ему, сколь неблагоразумно, чтобы я, потерпевший, подвергнулся такой же опасности, что и мужчина, который опозорил меня, заняв мое место в супружеской постели.

Но на этого человека ничего не действовало — я нанес ему оскорбление, смыть которое можно было, по его мнению, только кровью. Итак, мы договорились отправиться вместе в город Лилль во Фландрии. К тому времени я уже достаточно поднаторел в военном деле, чтобы смело смотреть врагу в лицо. Гнев против жены пробудил во мне бесстрашие, да еще маркиз обронил несколько слов, которые совершенно разъярили меня и довели до крайности, ибо, говоря о моем недоверии к жене, он заявил, что, не располагая твердыми доказательствами, я не должен подвергать свою жену подозрениям; я же ответил ему, что если бы я уже имел такие доказательства, то подозрения были бы излишни. Тогда он заметил, что, если бы ему выпало счастье пользоваться ее благосклонностью, он бы уж постарался, чтобы у меня подозрений не возникало. Я ответил ему с той резкостью, какой он добивался, а он на это заявил по-французски: «Nous verrons au Lisle» [1], что означает: «Продолжим этот разговор в Лилле».

Я выразил мнение, что для нас обоих нет смысла ехать так далеко, чтобы разрешить этот конфликт, и что с таким человеком, как он, мы можем сразиться тут же на месте, а тот из нас, кому выпадет счастье стать победителем, сможет бежать в Лилль после дуэли с тем же успехом, что и до нее.

Так мы шли, обмениваясь резкостями, но не нарушая при этом правил приличия, пока не добрались до предместий Парижа, откуда начинается дорога на Шарантон. Когда вся дорога открылась перед нами, я указал ему на деревья, росшие вдоль ограды сада, принадлежавшего господину ***, и сказал, что это весьма подходящее для нас место. Мы направились туда и немедленно

[1] Дословно: «Поглядим в Лилле» *(франц.)*.

принялись за дело. После нескольких финтов он сделал меткий выпад, разрезав мне наискосок руку, но в то же мгновение острие моей шпаги вонзилось ему в грудь, и он, проронив лишь несколько слов, упал. Маркиз, решив, что он умирает, признался, что виноват передо мною и не должен был драться на дуэли. Он просил меня немедленно скрыться, но я отправился обратно в город, так как считал, что нас никто не видел. К вечеру, примерно через шесть часов после дуэли, двое прибывших друг за другом посланцев сообщили, что маркиз смертельно ранен и отправлен в какой-то дом в Шарантоне. Известие о том, что он жив, конечно, немного обеспокоило меня, так как, полагая, что я скрылся, он мог сознаться и назвать меня. Однако, убедившись в том, что мне пока ничего не грозит, я пошел к себе в спальню и вынул из шкатулки все лежавшие в ней деньги, которых, как мне представлялось, было достаточно для предстоящих расходов. Так как я располагал акцептованным векселем на две тысячи ливров, я спокойно направился к знакомому негоцианту и получил в счет моего векселя пятьдесят пистолей, сообщив ему, что еду по делам в Англию и обращусь к нему за остальной суммой, когда она окажется в его распоряжении.

Устроив таким образом свои дела, я достал лошадь для моего слуги,— у меня самого был очень хороший конь,— и вновь вернулся домой, где узнал, что маркиз еще жив. Все это время моя жена так умело скрывала свою тревогу о судьбе маркиза, что у меня не было оснований выразить свое недовольство ею. Однако она вскоре, очевидно, заметила в моем поведении признаки гнева и возмущения и, увидев, что я готовлюсь к отъезду, спросила: «Вы уезжаете?» — «Да, сударыня,— ответил я,— и даю вам возможность оплакивать вашего друга, маркиза». При этих словах она вздрогнула и проявила все признаки страшного испуга. Бесконечно крестясь и взывая к деве Марии и к святым своей родины, она наконец воскликнула: «Возможно ли? Неужели маркиза убили вы? Тогда мы оба погибли!»

«Вам, сударыня, смерть маркиза, надеюсь, принесет большее горе, чем мне — разрыв с вами. С меня достаточно того, что маркиз честно признал вашу вину; между нами все кончено». Она бросилась ко мне, крича, что поедет со мной, уверяя меня в своей невиновности, но приводя такие доказательства, которые не могли убедить меня. Я в бешенстве оттолкнул ее, воскликнув: «Allez, infâme!» [1], то есть «Прочь, бесстыжая, не заставляйте меня сделать то, что мне повелевает долг, если я останусь с вами,— отправить вас к вашему милому другу, маркизу». Я отшвырнул ее

[1] «Прочь, бесстыжая!» *(франц.)*

с такой силой, что она упала навзничь, издав при этом душераздирающий вопль, и не зря, так как ушиблась она очень сильно.

Я пожалел, конечно, что так толкнул ее, но следует учесть, что я был в состоянии крайней ярости, беспредельного гнева и безумия,— как говорится, вне себя. Все же я помог ей подняться, уложил ее в постель и позвал служанку, приказав ей позаботиться о своей госпоже. Затем я вышел из дому, сел на лошадь и отправился в путь, но не в сторону Кале, Дюнкерка или Фландрии, так как можно было догадаться, что я ускользну именно туда,— и действительно в тот же вечер за мной была послана погоня как раз в том направлении,— а поехал в сторону Лотарингии, скакал всю ночь, на следующий день переехал Марну и к вечеру оказался в Шалоне, а на третий день в целости и сохранности прибыл во владения герцога Лотарингского, где остался на один день, чтобы обдумать, куда двинуться дальше, ибо для меня было одинаково опасно как оставаться в пределах владений французского короля, так и быть захваченным в качестве подданного Франции ее союзниками. К счастью, в Бар-ле-Дюке я получил добрый совет от священника, который, хотя я не раскрыл ему подробностей моего положения, понял, в чем дело, и сказал, что многие джентльмены в подобных случаях отправляются по дороге, которую он хочет мне предложить. Этот добросердечный padre [1] достал для меня документ, удостоверяющий, что я поставщик аббатства ***, и пропуск для проезда в Цвейбрюккен — город, принадлежавший шведскому королю. Располагая такими полномочиями и рекомендательным письмом священника к его тамошнему коллеге, я получил в Цвейбрюккене от имени короля Швеции пропуск в Кёльн, откуда, находясь уже в полной безопасности, отправился в Нидерланды, где без всякого труда прибыл в Гаагу. Затем весьма секретно, сменив несколько фамилий, я добрался до Англии. Так я избавился от своей итальянской жены, вернее было бы сказать шлюхи, ибо раз я сам совратил ее, то что же ей оставалось, как не распутничать?

Прибыв в Лондон, я написал моему другу в Париж, но местом отправления своего письма пометил Гаагу, куда и просил его направить ответ. Меня интересовало, получил ли он уже деньги по моему векселю, ведется ли какое-нибудь расследование моего дела, какими сведениями обо мне и моей жене он располагает и, главное, какова судьба маркиза.

Через несколько дней пришел ответ, из которого я узнал, что деньги по моему векселю он получил и готов отправить их мне,

---

[1] Отец *(итал.)*.

как только я распоряжусь. Далее сообщалось, что маркиз жив. «Но,— писал он,— жизни вы его, однако же, лишили, ибо он потерял чин офицера гвардии, приносивший ему двадцать тысяч ливров дохода, и все еще находится в заточении в Бастилии». За мной, как он сообщал, была послана погоня, и преследователи, сообразно с их подозрениями, гнались по дороге на Дюнкерк до Амьена и по дороге во Фландрию до Камбре, но, не обнаружив меня, повернули назад. Маркиз же был достаточно благоразумен, чтобы не выдать тайны нашей дуэли, и сказал, что подвергся нападению на дороге. Он рассчитывал, что, если меня не схватят, он будет оправдан из-за отсутствия улик, и хотя мой побег является обстоятельством, отягчающим подозрения против него, так как в тот день нас видели вместе и было известно, что между нами произошла ссора, все же доказать ничего нельзя, и он отделается потерей офицерского чина, что, учитывая его богатство, он сможет перенести довольно легко.

Что касается моей жены, то, как писал мой друг, она безутешна и довела себя слезами до полного изнеможения; правда, добавил он не без ехидства, он не может определить, кого она оплакивает — меня или маркиза. Он сообщил мне также, что она испытывает денежные трудности, которые ее чрезвычайно тяготят, и что, если я не позабочусь о ней, она окажется в отчаянном положении.

Конец письма меня глубоко взволновал, ибо я считал, что как бы там ни было, но я не должен допустить, чтобы она голодала. Кроме того, нищета — это испытание, которое женщине трудно перенести, и я не имею права способствовать тому, чтобы она была низвергнута в страшную пучину преступлений, если могу этому помешать.

Приняв такое решение, я вновь написал ему письмо, в котором просил его навестить ее и разузнать, насколько возможно, об ее обстоятельствах. Если же он удостоверится, что она действительно испытывает нужду и, что особенно важно, не ведет бесчестной жизни, пусть даст ей двадцать пистолей и скажет, что при условии, если она будет жить уединенно и честно, я ежегодно буду посылать ей такую же сумму, чем и обеспечу ее существование.

Она взяла двадцать пистолей, но попросила его передать мне, что я нанес ей обиду незаслуженными обвинениями и теперь должен восстановить справедливость; я погубил ее, сказала она, тем, что обошелся с ней так жестоко, не располагая ни доказательствами ее вины, ни основаниями для подозрений; что же касается двадцати пистолей в год, то это — жалкое пособие для супруги, которая, как она, следовала за мужем по всему свету и тому подобное. Она уговорила моего друга добиться от меня сорока

пистолей в год, и я дал на это свое согласие. Однако мне пришлось отсчитать их лишь однажды, потому что через год маркиз, проникшись к ней вновь глубоким чувством, взял ее к себе и, как сообщил мне мой друг, установил ей пособие в четыреста крон в год, а я больше о ней никогда ничего не слышал.

Итак, я находился в Лондоне, но был вынужден вести уединенную жизнь и скрываться под чужим именем, чтобы никто в стране не знал, кто я такой, кроме негоцианта, через которого я вел переписку с моими людьми в Виргинии и, главное, с моим наставником, который теперь стал управляющим всеми моими делами и достиг с моей помощью полного благополучия; правда, он заслуживал всего, что я сделал или мог сделать для него, так как был мне самым преданным другом и слугой из всех, во всяком случае, в тех краях.

Я переносил столь одинокую, затворническую жизнь с большим трудом. На собственном примере я убедился в справедливости слов из Писания: не хорошо быть человеку одному; меня одолевала тоска, на сердце было тяжело, я не знал, куда девать себя, особенно потому, что страх удерживал меня от отъезда за границу. Наконец я решился все бросить, отправиться опять в Виргинию и жить там совершенно уединенно.

Но когда я поразмыслил над своими намерениями более обстоятельно, то понял, что не могу ограничиться только частной жизнью. Меня одолевала жажда все испробовать, изведать и познать, что было для меня источником величайшего наслаждения. Хотя я теперь не имел отношения к армии, не принимал участия в военных действиях и не собирался к ним возвращаться, я не мог оставаться равнодушным к тому, что делается на белом свете, и жить в Виргинии, где мне предстояло получать почту лишь два раза в год и читать сообщения, относящиеся к давно минувшим временам.

Я пришел к выводу, что обретаюсь у себя на родине в неплохих денежных обстоятельствах и что, хотя за границей мне не повезло и с собой я привез мало средств, я смогу жить в достатке, если поведу дела осторожно и умело. Мне некого было содержать, кроме самого себя, а мои плантации в Виргинии давали обычно доход от четырехсот до шестисот фунтов, а один год даже больше семисот фунтов, ехать же туда — значит похоронить себя заживо. Таким образом, я отбросил все мысли об отъезде в Виргинию, решил обосноваться где-нибудь в Англии и устроиться так, чтобы знать обо всех, а обо мне чтобы не знал никто. Место жительства я выбирал недолго, ибо, поскольку я прекрасно говорил по-французски, прожив среди французов столько лет, мне было легко сойти за одного из них. Я поехал в Кентербери, где

среди англичан выдавал себя за француза, а среди французов — за англичанина; моей маскировке способствовало еще то, что для французов я был мосье Шарно, а для англичан мистер Чарнок.

Здесь я жил совершенным инкогнито. Ни с кем близко я не сошелся, но при этом со всеми водил знакомство. Я участвовал в общих беседах, говорил по-французски с валлонами и по-английски с англичанами, вел замкнутую и умеренную жизнь, ко мне относились достаточно любезно люди разного положения; поскольку я не вмешивался ни в чьи дела, никто не вмешивался в мои, и мне казалось, что я живу совсем недурно.

Но я не чувствовал полного удовлетворения, так как питал склонность к мирной семейной жизни, и хотя, как вам известно, две попытки, которые я сделал, окончились неудачно, это невезение не расхолодило меня. Напротив, я твердо решил жениться и занялся поисками как можно более подходящей жены, но каждый раз что-нибудь приходилось мне не по вкусу. Лишь однажды я встретил весьма благовоспитанную дочь одного джентльмена, но получил такое множество отказов, обоснованных самыми разными причинами, что вынужден был отступить. И хотя мои ухаживания, несомненно, принимались благосклонно и я сумел так расположить юную леди к себе, что оставалось лишь окончательно уладить все дело, с ее отцом было трудно договориться: он все время прекословил, сегодня был недоволен одним, завтра другим, отрекался от собственных слов, бесконечно менял свои решения, так что в конце концов юная леди и я вынуждены были отказаться от своего замысла, ибо она не хотела выходить замуж без согласия отца, а я не собирался похищать ее; так и закончилась вся эта история.

Разочарование заставило меня покинуть Кентербери и отправиться в Лондон дилижансом. Здесь и произошел со мной в своем роде необыкновенный случай.

В дилижансе ехала молодая женщина со служанкой. Она сидела передо мной в позе, выражающей глубокую скорбь, все время горько вздыхала, а когда к ней обращалась служанка, заливалась слезами. Хотя мы провели еще мало времени вместе, я, заметив ее печаль, решил немного утешить ее и спросил о причинах ее горя, но она не ответила ни слова, а служанка, еле сдерживая слезы, сказала, что умер ее господин. При этих словах дама вновь разрыдалась, и в течение всего утра я больше ничего не смог добиться ни от госпожи, ни от ее служанки. Когда приспело время обеда, я сказал даме, что она, понятно, не захочет обедать вместе со всеми пассажирами и что я был бы рад предложить ей отобедать со мной в отдельной комнате, тем более что все остальные пассажиры — иностранцы. Служанка поблагодари-

ла меня от имени госпожи, но сказала при этом, что госпожа ее не в состоянии есть и хочет остаться в одиночестве.

Мне удалось, однако, побеседовать немного со служанкой, узнать, что ее госпожа — жена капитана корабля, который направлялся за границу, куда-то в Проливы, я думаю, к острову Занте и в Венецию; но, доплыв только до рейда Даунс, капитан занемог и, проболев десять дней, умер в Диле. Его жена, проведав, что он болен, отправилась в Дил и застала его при смерти. Она похоронила его и теперь едет в Лондон, охваченная неутешным горем.

Я искренне сочувствовал юной вдове и попытался в нескольких словах выразить ей свое соболезнование, но она не отвечала мне, лишь изредка, в знак вежливости, кивала головой, не давая мне никакой возможности не только взглянуть ей в лицо, но даже убедиться, что оно вообще существует, не говоря уж о том, чтобы представить себе, каково оно. Стояла зима, поэтому дилижанс делал остановку в Рочестере, не успевая пройти весь путь, как летом, за один день. Незадолго до прибытия в Рочестер я сказал даме, что, как я догадываюсь, она весь день ничего не ела и может из-за этого разболеться, а ее покойному мужу легче от этого не станет. Я старался убедить ее, что, поскольку я человек посторонний и просто выполняю долг вежливости и желаю умерить ее страдания, она не нарушит приличий, если отужинает со мной как с попутчиком; что же касается остальных пассажиров, то они, видимо, не знают этого обычая, да и не стремятся ему следовать.

Она кивнула головой, но ничего не ответила, и лишь после того, как я привел ряд убедительных доводов, облеченных, чего она не могла не заметить, в самую вежливую и любезную форму, она сказала, что благодарит меня, но не может проглотить ни крошки. «Сударыня,— настаивал я,— попробуйте сесть за стол, может быть, вы найдете в себе силы подкрепиться, хоть вам и кажется, что вы есть не в состоянии. Это вам совершенно необходимо. Вы погибнете, если будете так вести себя, да еще в дороге. Вы можете серьезно заболеть»,— уговаривал я ее, а служанка добавила: «Сударыня, умоляю вас, постарайтесь немного отвлечься от своих мыслей». Я стал опять упрашивать ее, и она учтиво склонила голову, но вновь повторила, что есть не может. Служанка продолжала настойчиво убеждать ее, говоря: «Милая госпожа, послушайтесь этого любезного джентльмена, умоляю вас»,— а затем, обращаясь ко мне, сказала: «Сэр, мне кажется, что моя госпожа последует вашему совету»,— и в ее тоне послышалась радость.

Тем временем я не прекращал своих уговоров и, оставив без внимания слова служанки о том, что я любезный джентльмен,

сказал: «Сударыня, я для вас человек посторонний, и если вы полагаете для себя неприличным ужинать со мной, я могу остаться здесь внизу и послать ужин в вашу комнату». Тогда она отрицательно покачала головой, в первый раз за все время взглянула на меня и сказала, что не испытывает никаких опасений по этому поводу, что мое предложение весьма любезно и что ей так же неприятно отвергнуть его, как было бы неловко принять, находись она там, где ее знают. Далее она добавила, что не считает меня посторонним, так как видела меня раньше, и готова посидеть со мной за столом, потому что мне этого хочется, но не может дать обещания отужинать и надеется, что я этого от нее и не потребую даже в благодарность за мое доброе к ней отношение.

Меня напугали ее слова о том, что она встречала меня раньше, так как я ее совершенно не знал, и фамилия ее, которую мне удалось выведать у служанки, была мне незнакома; я почти раскаивался в своей любезности, поскольку для меня было очень важно остаться неизвестным. Однако я не мог уже ничего поделать, и, кроме того, раз меня знали, было необходимо разведать, кто же эта дама и при каких обстоятельствах она меня встречала; поэтому я не изменил своего любезного тона.

Уже темнело, когда мы подъехали к постоялому двору. Я помог вдове выйти из дилижанса, протянув ей руку, и она не отвергла моей услуги. Хотя она немного приподняла капюшон, мне не удалось в темноте разглядеть ее лица. Затем я подвел ее к двери и проводил вверх по лестнице до залы, куда хозяин гостиницы предложил всем пассажирам пройти для отдыха. Однако она отказалась войти туда, заявив, что предпочитает удалиться прямо к себе, и велела служанке сказать хозяину, чтобы он провел их в предназначенную ей комнату. Я проводил ее до двери и ушел, не преминув напомнить, что жду ее к ужину.

Для того чтобы принять ее любезно, но сдержанно и без расточительства, ибо я не заходил в своих намерениях дальше проявлений учтивости, проистекавшей из простого чувства сострадания к горю истинно и беспримерно несчастной женщины,— итак, повторяю, чтобы принять ее достойно, но скромно, я приготовил все, что можно было достать в трактире: пару куропаток и прекрасное блюдо устриц под соусом. Потом нам принесли говяжий язык и окорок, почти весь нарезанный, но мы этого уже не ели, потому что были сыты и оставили столько устриц, что их хватило на ужин служанке.

Я хочу подчеркнуть, что не собирался за ней ухаживать, ни о чем подобном я тогда и не помышлял, а просто питал жалость к несчастной женщине, пребывавшей в крайне горестных обстоятельствах.

Я уведомил служанку, что ужин готов, и она, освещая путь свечой, привела свою госпожу; наконец-то на ней не было плаща, голову не прикрывал черный шарф, а на глаза не свешивался капюшон, и я увидел ее лицо и был поражен его необычайной красотой. Я учтиво поклонился ей и провел ее сразу к камину, так как стол, хотя уже и накрытый, стоял далеко от огня, а погода была холодная.

Она несколько оживилась, но все же была еще печальной и часто вздыхала, вспоминая о своем горе. Но она так искусно владела собой и чувство грусти столь тонко проступало в ее речах, что ее благородные манеры приобретали особую прелесть. Мы долго беседовали о разных предметах, постепенно мне удалось узнать ее имя от нее самой,— раньше мне сообщила его служанка,— а также выяснить, что она живет около Рэтклифа, или, точнее, Степни; я попросил разрешения навестить ее там, когда она посчитает это уместным, и она дала мне понять, что ждать этого придется недолго.

Нелепо занимать внимание читателей описанием красоты человека, которого они никогда не увидят, достаточно сказать, что она была самой прелестной женщиной из всех, каких мне довелось видеть до или после встречи с нею. Не удивительно, что едва только я взглянул ей в лицо, как был пленен, а уж ее манеры были столь благородны, что не берусь описать их.

На следующий день она держалась гораздо непринужденнее, и мы беседовали так долго, что многое узнали друг о друге; она дала мне разрешение заехать к ней и осмотреть ее дом, что я сделал, впрочем, лишь через две недели, так как не знал, сколь долго она будет соблюдать обычаи, приличествующие началу траура.

Все же я получил возможность посетить ее под предлогом дела, связанного с кораблем, с которого сняли ее умирающего мужа, и когда я в первый раз приехал к ней, то был любезно принят и сразу же признался ей в любви. Она отнеслась к моему объяснению неодобрительно, и хоть и не позволила себе резкостей, но твердо заявила, что мое предложение привело ее в ужас и она впредь не желает слышать ничего подобного.

Я сам тогда не понимал, откуда у меня взялась смелость сделать ей предложение, хотя намерение это зародилось у меня с первой же встречи.

Тем временем я навел справки о ее денежных делах и нраве — и получил самые благоприятные сведения и о том и о другом. Но всего важней то, что она пользовалась славой самой добросердечной и благовоспитанной дамы во всей округе. Я уверовал, что нашел наконец то счастье, к которому, дважды потер-

пев неудачу, так долго стремился, и твердо решил не упускать эту женщину, если будет хоть малейшая надежда добиться ее.

Правда, иногда я вспоминал, что женат, что жива моя вторая жена, с которой, хотя она обманывала меня и оказалась потаскухой, я не разведен, и поэтому она остается моей женой. Но я быстро преодолел эти сомнения, так как, раз она продажная женщина, в чем мне признался маркиз, значит, мой брак вроде бы как расторгнут и я имею право избавиться от нее. Из-за злосчастной дуэли, заставившей меня покинуть Францию, я не мог возбудить судебного процесса, но поскольку я имел на это законное право, у меня было не меньше оснований считать свой брак расторгнутым, чем если бы развод произошел на самом деле. Так я избавился от угрызений совести по этому поводу.

Я терпеливо выждал два месяца, не напоминая вдове о себе, и лишь строго следил, не проявляет ли к ней интерес еще кто-нибудь. Когда прошло два месяца, я снова навестил ее и был принят более непринужденно — не было ни вздохов, ни рыданий по покойному мужу. И хотя она не разрешила мне повторить мое предложение так настойчиво, как я того хотел, мне было все же позволено приехать еще раз, и я понял, что самое важное для нее — соблюдение приличий, что я ей не противен и своим любезным к ней отношением в дороге снискал ее расположение.

Я продолжал видеться с ней и дал ей возможность повременить еще два месяца, но потом сказал, что правила приличий — одна лишь видимость и не идут ни в какое сравнение с чувством любви, что я не в силах долее сносить промедления и что мы, если ей так приятнее, можем пожениться тайно. Короче говоря, своими ухаживаниями я заставил ее принять решение, и примерно через пять месяцев мы тайно обвенчались, причем так искусно скрыли это, что даже служанка, которая столь многим споспешествовала нашему браку, целый месяц ничего не знала.

Теперь не только в воображении, но и в действительности я стал самым счастливым человеком на свете, так как был полностью всем удовлетворен. Моя жена на самом деле оказалась добрейшей в мире женщиной, отличалась совершенной красотой и отменной воспитанностью, словом, не имела ни единого недостатка. Это блаженство длилось, не прекращаясь ни на мгновение, почти шесть лет.

Но и на этот раз мне, которому на роду было написано изведать тяжкие страдания в семейной жизни, был в конце концов вновь нанесен тяжелый удар. Жена подарила мне троих прелестных детей, и вот, родив последнего, она схватила простуду, от которой долго не могла оправиться и очень ослабла. Во время этой длительной болезни она, к несчастью, привыкла принимать сер-

дечные лекарства и горячительные напитки, а влечение к питью, подобно дьяволу, завладевает человеком и потихоньку да помаленьку ведет его к гибели. Так случилось и с моей женой: желая избавиться от болезни и слабости, она принимала то одно лекарство, то другое и вскоре не могла уже жить без них,— так она переходила от капли к глотку, от глотка к рюмочке, от рюмочки к стакану, а то и двум, пока не пристрастилась к тому, что принято называть пьянством.

Если я уподобил дьяволу пьянство, которое постепенно завладевает человеком и превращается в привычку, то когда оно укореняется в душах людей, подчиняя себе их разум, это сходство становится еще очевидней. Так моя очаровательная, добрая, скромная, благовоспитанная жена превратилась в животное, в рабу горячительных напитков, которые она поглощала не только за общим столом, но и находясь в одиночестве в своей комнате, из-за чего эта изящная женщина растолстела как трактирщица, а на ее некогда прелестном, а ныне обрюзгшем и покрытом пятнами лице не осталось и следа былой красоты, и лишь прекрасные глаза сияли на нем до конца ее дней. Словом, она потеряла все — красоту лица и фигуры, изящество манер и, наконец, добродетель. Безраздельно отдавшись этому проклятому занятию, она довела себя до гибели за какие-нибудь полтора года. За это время она дважды была разоблачена в позорной связи с одним морским капитаном, который, как последний негодяй, воспользовался тем, что она пьяна и не ведает, что творит. А потом она повела себя еще хуже, ибо когда она опомнилась, то не испытала стыда и раскаяния, а напротив, продолжала упорствовать в грехе; так в конце концов пьянство убило в ней добродетель.

О, сколь всевластна невоздержанность! Как разрушает она самые благие намерения, как постепенно и незаметно завладевает нами, как гибельно влияет на нравственность, превращая самых добродетельных, уравновешенных, воспитанных, образованных и благожелательных людей в безжалостных и жестокосердых! Недаром рассказывают притчу, не знаю, правда это или выдумка, о том, как дьявол искушал юношу, уговаривая его убить отца. «Нет,— сказал тот,— это противно человеческому естеству».— «Тогда,— молвил сатана,— раздели ложе со своей матерью».— «Нет,— сказал юноша,— это отвратительно».— «Ну, что ж,— воскликнул дьявол,— раз ты не хочешь сделать мне ничего приятного, иди напейся допьяна».— «Вот это мне нравится,— ответил юноша,— так я и поступлю». И он пошел и напился как свинья, а опьянев, убил отца и возлег со своей матерью.

Не было на свете женщины более добродетельной, скромной, целомудренной и равнодушной к вину, чем моя жена. У нее ни-

когда не возникало желания выпить что-нибудь крепкое: лишь после настойчивых просьб она соглашалась выпить один-два стаканчика. Даже в гостях ее не тянуло к вину; не было случая, чтобы она произнесла непристойное слово, а услышав что-нибудь подобное, выражала негодование и отвращение. Но, как я уже рассказывал, из-за болезни и слабости после родов она по настоянию сиделки стала принимать от упадка сил сердечные капли и немного спиртного, пока уже не могла обходиться без них, и постепенно так к ним привыкла, что эти средства стали для нее не лекарством, а хлебом насущным; аппетит у нее сначала ослаб, а потом совсем пропал, она почти ничего не ела и дошла до такого ужасного состояния, что, как я уже говорил, к одиннадцати часам утра напивалась у себя в будуаре и в конце концов стала пить беспробудно.

Ведя, как я уже упоминал, столь невоздержанный образ жизни, она утратила все свои достоинства, и один негодяй, если можно назвать так джентльмена, который считался близким знакомым и делал вид, что просто приходит к ней в гости, так напоил мою жену и ее служанку, что улегся в постель с госпожой в присутствии служанки, а потом со служанкой в присутствии госпожи. После этого он, видимо, позволял себе подобное, когда ему заблагорассудится, пока девка, обнаружив, что она беременна, не открыла эту отвратительную тайну. Посудите сами, каково было мне, считавшему себя целых шесть лет самым счастливым человеком в мире и превратившемуся теперь в жалкое, обезумевшее от горя создание. Однако я так любил свою жену и настолько хорошо понимал, что причиной всему было ее губительное пьянство, что не ощущал к ней того отвращения, которое испытывал к ее предшественнице. Меня пронизывала глубокая жалость к ней! Я отказал всей ее прислуге и фактически запер ее на замок, запретив новым слугам пускать к ней кого бы то ни было без моего ведома.

Но неразрешенным оставался вопрос, как поступить с негодяем, который нанес такое оскорбление мне и ей. Мне казалось неприемлемым вызвать его, как равного, на дуэль, потому что он обошелся со мной так, что не заслуживал честного поединка, и я решил подстеречь его на лугу в Степни, которым он часто проходил вечерами, возвращаясь домой, и выстрелить в него в темноте, но постараться, чтобы он успел узнать от меня, за что погибает. Но, когда я стал обдумывать это намерение, то почувствовал, что оно противоречит как моему характеру, так и нравственным убеждениям и что кем-кем, но убийцей я ни за что не стану.

Но все же я решил сурово наказать его за содеянное, и вскоре к этому представился случай: узнав однажды утром, что

он отправился лугом из Степни в Шэдуэлл, как, по моим сведениям, он часто ходил, я притаился там, ожидая его возвращения домой, и столкнулся с ним лицом к лицу.

Без лишних слов я сообщил ему, что давно ищу этой встречи, что ему, конечно, известно, какую подлость совершил он по отношению ко мне, и вряд ли он может предположить, что я, зная все, окажусь трусом и рогоносцем, не посмевшим отомстить за оскорбление. Я заявил, что пришло время ответить за содеянное, и предложил ему, если у него хватит мужества, признать свою вину и обнажить шпагу, чтобы защитить честь капитана военного судна, коим, как говорят, он является.

Он прикинулся удивленным, вступил в долгие объяснения, стараясь умалить свою вину, но я сказал, что такие разговоры неуместны, потому что он ничего не может опровергнуть, а пытаясь преуменьшить свою роль в преступлении, лишь отягощает вину моей жены, которая, как я уверен, ни за что не пала бы так низко, если бы он не одурманил ее вином. Убедившись в том, что он не собирается сразиться со мной, я одним ударом палки опрокинул его на землю, и пока он валялся без сознания, но живой, я его не трогал, чтобы он немного пришел в себя. Через несколько минут он очнулся, а я крепко ухватил его за руку и принялся лупить что было мочи, стараясь, однако, не попасть по голове, чтобы он как следует все почувствовал. Наконец я сам запыхался, а он запросил пощады, но я еще долго оставался глух к голосу сострадания, пока он не завопил, как мальчишка, которому задали хорошую трепку. Тогда я выхватил из его ножен шпагу, сломал ее у него перед носом и оставил его лежащим на земле, наподдав ему два-три раза ногой пониже спины и предложив, если он сочтет нужным, подать на меня в суд.

Большего удовлетворения от подобного труса получить было невозможно и разговаривать с ним было не о чем. Но, понимая, что в городе эта история может вызвать шум, я немедленно перевез свою семью на север Англии, в городок под названием ***, недалеко от Ланкастера. Так замкнуто, ни с кем не общаясь, я прожил около двух лет. Моя жена, ведя теперь жизнь более уединенную и порвав прежние позорные связи, которые, как я уверен, будили в ней искренний стыд и отвращение, когда она бывала трезвой, все же не утеряла пристрастия к вину. Как я уже говорил, без вина она не могла существовать, поэтому здоровье ее вскоре совсем расстроилось, и примерно через полтора года после нашего переезда на север она скончалась.

Итак, я вновь стал свободным человеком и, как следовало бы ожидать, уже мог убедиться, что узы брака не приносят мне счастья.

Считаю нужным еще упомянуть, что подлый капитан, которого я, как сказано выше, отколотил, распустил слух, будто я с тремя головорезами среди бела дня совершил на него нападение, намереваясь убить его, и жители округи начали принимать это за истину. Я написал ему письмо, в котором изложил все, что до меня дошло, и выразил надежду, что эти россказни исходят не от него, в противном случае, писал я, он должен публично отречься от своих слов и собственной персоной объявить, что это ложь, иначе я буду вынужден опять прибегнуть к моему способу обучения хорошим манерам; я заверил его, что если он будет и впредь врать, что я был не один, то я опубликую всю эту историю в печати и, кроме того, всякий раз при встрече буду колошматить его палкой, пока он не ощутит потребности защищаться шпагой, как подобает джентльмену.

На это письмо он не ответил, и я удовлетворился тем, что распространил его в двадцати или тридцати экземплярах среди соседей, наших общих с ним знакомых, придав письму гласность не меньшую, чем если бы оно было напечатано. В результате к нему воспылали такой ненавистью и презрением, что он был вынужден переселиться на другой конец города, куда именно — я не разузнавал.

После смерти жены я впал в отчаяние: неутешное горе и упадок духа чуть не довели меня до душевного расстройства, так что временами мне казалось, что я действительно помешался. На самом же деле это состояние было вызвано тоской и удручающими событиями недавнего прошлого, и примерно через год все прошло.

Повторяю, что около года я метался, не находя утешения и покоя, пока не вспомнил, что у меня трое ни в чем не повинных детей, с которыми я сам не могу справиться, и что мне придется либо уехать и бросить их на произвол судьбы, либо обосноваться здесь и найти кого-нибудь для присмотра за ними, ибо они не могут вести бродячую жизнь, а иметь мачеху все-таки лучше, чем быть сиротой. Итак, я решил жениться на первой попавшейся женщине, пускай самого низкого происхождения — чем проще, тем лучше. Я хотел ввести новую жену в дом только в качестве старшей прислуги, то есть няни моих детей и домоправительницы, и будет ли она, говорил я себе, потаскухой или порядочной женщиной, мне совершенно безразлично, потому что человек, подобно мне доведенный до отчаяния, больше ничем не дорожит.

Принимая столь опрометчивое и даже безрассудное решение, я рассуждал таким образом: если я женюсь на честной женщине, то о моих детях будет кому позаботиться, если же моя жена окажется шлюхой и опозорит меня, как поступают, судя по моему опыту, все подобные особы, я сошлю ее на мои плантации в Вир-

гинию, где тяжкий труд и скудная еда заставят ее, уж это я ручаюсь, блюсти себя.

Сначала я прекрасно понимал, что мои рассуждения нелепы, и относился к ним без всякой серьезности. Сам не знаю, как это произошло, но я так долго спорил сам с собой, что совсем запутался и решил еще раз вступить в брак, не ожидая от него ничего хорошего.

Но решение, принятое мною столь стремительно, осуществилось не сразу — только через полгода я нашел, на ком остановить выбор, и со мной произошло то, что бывает со всяким, кто сам себе враг. В соседнем городе, примерно в полумиле от нашего, жила молодая, а вернее будет сказать — средних лет женщина, которая, если погода бывала сносной, часто навещала нас просто по-соседски; после смерти жены она продолжала приходить, весь день возилась с детьми, причем управлялась с ними весьма ловко.

Ее отца я часто посылал по делам в Ливерпуль, а иногда и в Уайтхейвен, потому что, обосновавшись, и, как я думал, окончательно, на севере Англии, я распорядился, чтобы часть моего имущества при первой возможности переправили морем в один из двух городов, куда плыть экипажу капера было гораздо безопаснее — ведь война все еще продолжалась,— чем через Ла-Манш в Лондон.

В конце концов я вообразил, что эта девушка вполне мне подходит, а заметив, как хороша она с детьми и как горячо они ее любят, я решил жениться на ней, льстя себя надеждой, что если две благородные дамы и простая горожанка, на которых я был женат, оказались шлюхами, то в невинной крестьянской девушке я наконец обрету свой идеал.

Я долго рассуждал сам с собой, ведь и раньше я вступал в брак только по зрелому размышлению, исключением была лишь вторая женитьба, но на сей раз я принял решение после четырех месяцев серьезных раздумий, и именно эта осмотрительность испортила все дело. Итак, приняв решение, я в один прекрасный день пригласил проходившую мимо моей двери мисс Маргарет к себе в гостиную и сказал, что хочу с ней поговорить. Она охотно вошла, но, когда я предложил ей сесть, вспыхнула, потому что я указал ей на стул рядом с собой.

Я не разводил особых церемоний, а просто сказал ей, что давно заметил, как добра и нежна она к моим детям и как все они любят ее, и что я намерен, если мы с ней придем к согласию, сделать ее их матерью, при условии, что она ни с кем не помолвлена. Девушка сидела молча, не говоря ни слова, пока я не сказал: «Если она ни с кем не помолвлена»,— а я, не обращая на это внимания, продолжал: «Послушай, Мотти (такое имя принято в де-

ревне), если ты кому-нибудь уже дала обещание, то скажи мне». Дело в том, что, как всем было известно, некий молодой человек, порочный сын одного доброго священника, два или три года увивался вокруг нее, добивался ее любви, но, по-видимому, никак не мог ее уломать.

Она знала, что для меня это не секрет, и поэтому, придя в себя от потрясения, сказала, что мистер *** не раз домогался ее благосклонности, но она в течение нескольких лет отказывала ему и никогда ничего не обещала, так как отец всегда предупреждал ее, что это очень скверный парень, который погубит ее, если она с ним свяжется.

«Ну, Могги,— говорю я ей тогда,— что же ты мне ответишь, согласна ты стать моей женой?» Она вспыхнула, потупилась и долго молчала, когда же я стал настойчиво требовать ответа, она подняла глаза и сказала, что я, наверно, просто шучу. Я же старался переубедить ее, говоря, что у меня такого и в мыслях нет, что я считаю ее благоразумной, честной и скромной девушкой, которую, как я уже говорил, крепко любят мои дети. Я заверил ее, что и не думаю шутить и, если она согласна, даю честное слово, что женюсь на ней завтра утром. Она опять взглянула на меня, слегка улыбнулась и сказала, что не может так быстро дать ответ и просит времени, чтобы подумать и посоветоваться с отцом.

Я ответил, что ей вовсе не нужно много времени для раздумий, но, впрочем, до завтрашнего утра, а это достаточно долго, пусть думает. Между тем я уже успел дважды или трижды поцеловать Могги, а она стала вести себя более непринужденно, и когда я вновь потребовал, чтобы она завтра утром вышла за меня замуж, она рассмеялась и заявила, что венчаться в старом платье — плохая примета.

Но я тотчас же заставил ее замолчать, сказав, что ей не придется венчаться в старом платье, потому что я дам ей новое. «Ну, это, наверное, потом»,— заметила Могги и опять засмеялась. «Нет, сейчас, сию минуту,— воскликнул я,— пойдем со мною, Могги». Я провел ее наверх в комнату жены и показал ей новый халат, который покойная жена успела надеть не больше двух-трех раз, и несколько других красивых туалетов.

«Глянь-ка, Могги,— проговорил я,— вот тебе наряды к свадьбе. Дай мне руку, раз ты уже решила завтра выйти за меня. Что же до твоего отца, то ты ведь знаешь, что он уехал по моему поручению в Ливерпуль, и я ручаюсь, что по возвращении домой ему будет только приятно назвать хозяина своим зятем, а приданого я от него не требую. Поэтому дай мне руку»,— повторил я весело и опять поцеловал ее, и она тоже с радостью протянула мне руку, чем, смею вас уверить, я был очень доволен.

Неподалеку от нас жил пожилой господин, который считался врачом, но на самом деле был католическим священником, коих много в этой части Англии. Вечером я послал к нему с просьбой зайти ко мне. Он знал, что я догадываюсь о его истинной профессии и что я долго жил в папистских странах; короче говоря, он считал меня католиком, каковым я и был, живя за границей. Когда он пришел, я сообщил ему, зачем его вызвал, и добавил, что хочу венчаться на следующее утро. Он с готовностью ответил, что обвенчает нас у себя дома, если мы с Могги придем к нему вечером, когда легче, чем утром, сохранить все в тайне. Я вновь позвал Могги и объяснил ей, что поскольку мы с ней все решили, то нет никакой разницы, поженимся ли мы завтра утром или сегодня вечером, при этом я сослался на слова священника. Могги вновь вспыхнула и заявила, что должна сначала побывать дома и что до вечера она не успеет подготовиться. «Послушай, Могги,— воскликнул я,— ты уже теперь моя жена, и девицей ты отсюда не уйдешь. Я ведь знаю, чего ты добиваешься — ты хочешь пойти домой, чтобы сменить белье. Ну-ка, пойдем со мной наверх еще раз». И я потащил ее к комоду, где лежали новые, ненадеванные, а также и ношеные сорочки моей покойной жены. «Вот тебе чистая рубашка, Могги,— молвил я,— а завтра получишь все остальное». Проделав все это, я сказал: «А теперь, Могги, оденься и постучи, когда будешь готова». Я запер комнату и спустился вниз.

Могги не постучала, а просто через некоторое время вошла ко мне в комнату (по-видимому, ей удалось отодвинуть засов) вся разнаряженная, потому что надела и другие вещи, которые я предложил ей взять. Все пришлось ей впору, как на нее сшито.

«Ну, Могги,— говорю я,— ты убедилась наконец, что тебе не придется выходить замуж в старом платье»,— и с этими словами я обнял и поцеловал ее, ощутив неведомую мне до той поры радость. Как только стемнело, Могги, как мы условились с доктором, первой выскользнула из дому и прибежала к домоправительнице старого джентльмена, а я пришел туда примерно через полчаса; там, в кабинете доктора, вернее, в его молельне, или часовне — маленькой комнатке, отгороженной от кабинета,— он обвенчал нас, а потом мы остались у него и вместе поужинали.

Посидев там еще немного, я сначала пошел домой один, чтобы отправить детей в постель и отпустить прислугу, а потом пришла Могги, и мы спали эту ночь вместе. На следующее утро я объявил всей семье, что Могги стала моей женой; это известие привело всех троих детей в невообразимый восторг. Так я в четвертый раз стал женатым человеком, и, честно говоря, с этой скромной деревенской женщиной я испытал больше счастья, чем с любой из моих прежних жен. Хотя и не очень молодая, ей было

около тридцати трех, она в первый же год родила мне сына. Ее нельзя было назвать красавицей, но она была очень миловидна и хорошо сложена, обладала веселым нравом и отлично вела хозяйство, любила моих детей от третьей жены и, когда появились свои, обходилась с ними по-прежнему ласково,— короче говоря, она была примерной женой, но брак наш длился всего четыре года, так как она, будучи беременной, упала, ушиблась и умерла. Ее смерть явилась для меня поистине тяжелой утратой.

Так уж мне везло с женами, что и на этот раз, несмотря на все признаки робости и застенчивости, выказанные Могги поначалу, впоследствии выяснилось, что в молодости, десять лет тому назад, она согрешила и родила ребенка от хозяина известного в этих краях большого поместья, который обещал на ней жениться, а потом бросил ее. Но так как это случилось задолго до моего приезда сюда, а ребенок умер и был забыт, жители округи отнеслись к ней и ко мне столь благожелательно, что, проведав о нашей женитьбе, не проронили об этом ни слова, так что я ничего не слыхал и не подозревал и узнал обо всем только после ее смерти, когда это уже не могло изменить моего к ней отношения, тем более что она была мне верной, добродетельной и покорной женой. Еще при ее жизни на меня обрушилось тяжелое горе — черная оспа, страшная болезнь, поразившая эту деревню, ворвалась и в мою семью и унесла троих детей и служанку, так что в живых остались только сын от покойной жены и дочь от Могги.

В разгар этих событий в Англию вторглись шотландцы, и произошла битва под Престоном. Тут мне надлежит с благодарностью вспомнить Могги, потому что я рвался в бой, был готов вскочить на коня и, взяв оружие, умчаться прочь и присоединиться к сторонникам лорда Дервентуотера, но Могги так заклинала меня остаться, так донимала меня мольбами и слезами, что я сдался и не двинулся с места, за что должен быть ей признателен.

Я был поистине несчастным отцом, ибо смерть моих детей глубоко ранила меня, но еще больше страдания причинила мне гибель жены, и слухи о ее давних прегрешениях нисколько не притупили моей скорби и не заглушили добрых воспоминаний о ней, потому что все это случилось задолго до нашего знакомства и при ее жизни оставалось мне неизвестным.

Я был безутешен и вскоре понял, что Провидение предопределило, чтобы я удалился в Виргинию — тот, можно сказать, единственный край, где я бывал счастлив и в какой-то мере преуспевал и где, благодаря тому, что мои дела находились в надежных руках, плантации так разрослись, что в иные годы я получал доход в восемьсот фунтов, а однажды даже целую тысячу. Поэтому я решил вновь покинуть родину. Сына я решил взять с собой,

а дочь от Могги поручил заботам ее деда, которого назначил моим главным доверенным лицом. Я оставил ему значительные средства на содержание ребенка и свое завещание, в соответствии с которым, если я умру раньше, чем смогу обеспечить дочь иным образом, мой сын должен будет выплатить ей две тысячи фунтов из доходов от моих владений в Виргинии, а если он умрет неженатым, к ней перейдет все мое имущество.

Мы сели на корабль в Ливерпуле в ... году и доплыли до Виргинии благополучно, если не считать столкновения с пиратами на 48° северной широты, которые ограбили нас, похитив все, что попалось им под руку, то есть провизию, снаряжение, ружья и деньги. Следует признать, однако, что пираты, хоть и были отъявленными негодяями, людей не тронули; что же касается потерь, то они оказались незначительными, так как груз, который мы везли, состоял главным образом из мануфактурных товаров и не представлял для них особого интереса, а чтобы добраться до него, им пришлось бы обыскать весь корабль, что, по их мнению, не стоило делать.

В Виргинии все мои дела оказались в полном порядке, плантации чрезвычайно разрослись, а мой управляющий, который первым пробудил во мне тягу к путешествиям и сделал меня обладателем всех сколько-нибудь значимых познаний, не мог прийти в себя от радости, увидев меня после двадцати четырех лет моих странствий.

Верным слугам в назидание хочу упомянуть здесь, что он представил, как мне кажется, совершенно точный отчет о всех делах на плантациях со сведенным за каждый год балансом, причем доходы за вычетом почтовых сборов ежегодно полностью переводились на мой счет в Лондоне.

Я имел все основания быть весьма довольным тем, как успешно он управлял моими делами, при этом он не забывал и о своих. За это время он привел в отличное состояние собственную обширную плантацию, которой он обзавелся в силу закона этой страны о владении землей и с моего одобрения. Вас не удивит, что, получив столь приятный и радостный отчет, я ощутил желание осмотреть плантации и увидеть своими глазами подвластных мне невольников, которых было в обеих моих усадьбах и на плантациях более трехсот. Мой наставник обычно покупал изгнанников, доставляемых сюда на кораблях из Англии, и как-то раз я с ужасом заметил в толпе этих людей двух или трех участников Престонской битвы, которым публичную казнь, грозившую всем военнопленным, заменили рабством, что для дворянина хуже смерти.

Я не буду здесь останавливаться на том, что я сделал или сказал, увидев их, так как впоследствии, когда речь пойдет о при-

бытии остальных их собратьев и об обстоятельствах, имеющих ко мне более близкое касательство, я расскажу об этом подробнее.

Однажды произошел случай, который ошеломил и до крайности потряс меня; как я уже говорил, часто наведываясь на плантации, я пристально вглядывался в лица невольников. Как-то раз я забрел на участок, где работали только женщины. Увидев этих несчастных, я задумался о суетности жизни человеческой; возможно, думал я, они раньше жили весело и легко, а потом вереница бедствий привела их сюда, и, несомненно, история жизни, рассказанная иной из них, была бы не менее трогательной и поучительной, чем проповедь священника.

Предаваясь таким мыслям и поглядывая на работающих, я вдруг услышал какой-то шум. Раздались громкие крики о помощи, и тут оказалось, что одна из женщин потеряла сознание; все кругом говорили, что, если ей не окажут помощи, она умрет. При мне ничего не было, кроме бутылочки рому, которую всегда носят с собой плантаторы, чтобы дать глотнуть невольнику, заслуживающему поощрения. Я повернул коня и подъехал к месту происшествия, а так как страдалица лежала на земле и ее окружили остальные женщины, мне не было ее видно, и я отдал им бутылку, а они натерли ей ромом виски, хлопоча и суетясь, привели ее в чувство, попытались дать ей глотнуть из бутылки, но она не могла пить, и ей было так худо, что ее унесли в инфермерию, как называют в итальянских монастырях лазареты, куда помещают больных монахов и монахинь. Однако здесь, в Виргинии, подобным заведениям, как мне кажется, больше подходит название камеры смертников, потому что они приспособлены не для того, чтобы лечить людей, а чтобы отправлять их на тот свет.

Так как больная не стала пить, одна из невольниц хотела вернуть мне бутылку, но я предложил им распить ее, что чуть не вызвало драки, потому что рому на всех не хватило.

Я тотчас же поехал домой; памятуя тяжкие условия, в которые попадали несчастные рабы во время болезни, я спросил у управляющего, так ли обстоят дела и сейчас. Он ответил, что у меня на плантациях положение лучше, чем где бы то ни было в стране, но заметил, что и здесь лазарет — это весьма унылая обитель, добавив, что немедленно пойдет туда и проверит все сам.

Вернулся он через час и рассказал мне, что женщине очень худо, что она, испуганная своим состоянием, хочет покаяться в каких-то прошлых грехах и спрашивает его, нет ли здесь священника, чтобы утешить несчастную умирающую невольницу. Он же напомнил ей, что священника можно найти только в ***, и пообещал послать за ним, если она доживет до утра. Он сообщил мне также, что перевел ее в комнату, где раньше жил главный

надзиратель, дал ей простыни и все, по его мнению, необходимое и приказал одной из рабынь присматривать и ухаживать за ней.

«Ну, что ж,— сказал я,— ты хорошо поступил, ибо я не могу примириться с тем, чтобы несчастные создания, больные и нуждающиеся в помощи, погибали здесь».

«Кроме того,— сказал я,— некоторые из этих страдалиц, которых ныне называют каторжными, может быть, получили благородное воспитание».— «А ведь правда, сэр,— заметил он,— я всегда утверждал, что в ней есть что-то благородное. Это видно было по ее манерам, да и другие женщины, я сам слышал, рассказывали, что она прежде жила в роскоши, имела в своем распоряжении тысячу пятьсот фунтов и в свое время была очень красива, и правда, руки у нее нежные, как у знатной дамы, хотя и огрубели от солнца и ветра. Она, видимо, совсем не приучена к такому тяжелому труду, каким ей приходится здесь заниматься, и уже говорила своим товаркам, что эта работа убьет ее».

«Да,— ответил я,— так, наверно, и обстоит дело, и в этом причина ее болезни. Скажи,— добавил я,— а нет ли у тебя для нее какой-нибудь работы полегче, которую она могла бы выполнять в помещении, не страдая от жары и холода?» Он подтвердил, что такая работа есть,— он может поставить ее экономкой, потому что женщина, исполнявшая эту работу, отбыла свой срок наказания, вышла замуж и завела свою плантацию. «Ну, что ж,— промолвил я,— пусть займется этим, если выздоровеет, а сейчас сходи к ней,— распорядился я,— и сообщи эту новость; может быть, столь радостное известие поможет ей встать на ноги».

Он так и поступил, и это утешение, хороший уход и вкусная горячая пища сделали свое дело — бедняжка поправилась и вскоре начала выходить, ибо истинной причиной болезни было то, что, при ее деликатном воспитании, она не могла сносить тяжкий труд, скверное жилье и дурную пищу.

Став экономкой, она совершенно преобразилась и привела все хозяйство в такое отличное состояние, так ловко распоряжалась запасами провизии, что мой управляющий был от нее в восторге и не уставал повторять, что она прекрасная хозяйка. «Ручаюсь,— говорил он,— что она благородного происхождения и была в свое время светской дамой». Словом, он говорил о ней столько хорошего, что у меня появилось желание увидеть ее воочию, и в один прекрасный день, под предлогом необходимости наведаться в так называемую контору и побывать в комнатах, всегда готовых к приезду хозяина плантаций, отправился туда. Ей удалось заметить меня раньше, чем я увидел ее, и она тотчас же узнала меня, я же, хоть сто раз смотри, ни за что бы ее не признал. Она, видно, пришла в крайнее смятение и замешательство, поняв, кто я такой, и

когда управляющий по моему приказанию пошел за ней, он застал ее рыдающей; сквозь слезы она молила о прощении, уверяя его, что дрожит от страха и умрет, если приблизится ко мне.

Ни о чем не догадываясь и полагая, что бедняжка просто боится меня,— ведь хозяева плантаций в Виргинии — истинные чудовища,— я велел передать ей, чтобы она не страшилась встречи со мной, ибо я вовсе не намереваюсь обижать или распекать ее, а хочу сделать некоторые распоряжения. Мой управляющий, решив, что успокоил ее, хотя ее волнение объяснялось совсем иными причинами, привел ее ко мне. Переступив порог комнаты, она стала утирать глаза платком, как бы осушая следы слез, а я произнес веселым голосом: «Сударыня, не тревожьтесь, что я послал за вами, до меня дошли отрадные вести об усердии вашем, и я пригласил вас, чтобы сообщить, что я весьма этим доволен, и если представится возможность помочь вам, я, вероятно, даже постараюсь вызволить вас из нищеты».

Она низко присела, ничего не отвечая, а потом набралась смелости и отвела руку от лица, желая, как мне думается, чтобы я, всмотревшись, узнал ее; однако во мне ничто не дрогнуло, как если бы я никогда раньше с ней не встречался, и я продолжал выказывать ей свое расположение, как имел обыкновение делать в отношении всех, кто этого, по моему мнению, заслуживал.

Тем временем мой наставник, бывший в этой же комнате, вышел по какому-то делу; как только он закрыл за собой дверь, она разразилась рыданиями и бросилась передо мной на колени. «О сэр,— вскричала она,— вы так и не узнали меня. Будьте милосердны, ведь я ваша горемычная, покинутая вами жена!»

Я был потрясен, я был испуган, я дрожал как в лихорадке, я лишился языка — словом, я был почти в обмороке, а она распростерлась ниц и окаменела. Повторяю, я потерял дар речи, но у меня хватило присутствия духа подойти к двери и запереть ее, чтобы в комнату не смог войти мой наставник. Вернувшись к женщине, я поднял и стал утешать ее, признавшись, что совершенно не узнаю ее, как будто никогда в жизни ее не видел.

«О сэр,— вымолвила она,— тяжкие невзгоды, выпавшие мне на долю, изуродовали мое лицо. Ради бога, простите мне те обиды, которые я вам нанесла. Я дорого заплатила за свою порочность, и бог по заслугам низринул меня к вашим ногам, чтобы я могла вымолить прощение за мои недостойные поступки. Простите меня, сэр,— продолжала она,— молю вас, и разрешите до конца дней моих быть вашей рабой или слугой — это все, чего я прошу». С этими словами она вновь рухнула на колени и разрыдалась так безудержно, что не могла промолвить ни слова. Я опять поднял и усадил ее, уговаривая ее успокоиться и выслушать меня,

хотя все это так глубоко меня растрогало, что я почти так же, как она, был не в состоянии произнести ни звука.

Прежде всего я признался, что от потрясения мне трудно говорить, и на самом деле я рыдал почти столь же бурно, как и она. Я объяснил ей, что, поскольку никто пока не знает о нашем прошлом, совершенно необходимо сохранить все в тайне, и добавил, что встреча со мной — доброе предзнаменование для нее, однако, если все раскроется, я ничего не смогу для нее сделать, и поэтому, будет ли она в дальнейшем счастлива или несчастна, полностью зависит от ее умения соблюсти тайну. Поскольку мой наставник мог в любую минуту вернуться, я велел ей удалиться к себе и заниматься обычными делами, пообещав, что дня через два я зайду к ней и мы поговорим обо всем более подробно. Она заверила меня, что не проронит ни одного слова, и поторопилась скрыться до прихода моего наставника, чтобы он не заметил того возбужденного состояния, в котором она пребывала.

Я был так ошеломлен этим поразительным происшествием, что весь день не соображал, что делаю и говорю, а к утру так и не решил, как поступать дальше. Но все же утром я призвал к себе моего наставника и сообщил ему, что чрезвычайно озабочен судьбой этой многострадальной женщины — нашей экономки, что знаю кое-что из ее весьма печальной истории, что некогда она жила в прекрасных условиях и получила отличное воспитание; я выразил удовлетворение тем, что он заменил ей труд на плантации домашней работой, но заметил, что при этом ей почти нечего надеть и мне хотелось бы, чтобы он пошел в кладовую и принес ей оттуда белья, особенно постельного, а также разных мелочей, таких, как капоры, перчатки, чулки, туфли, нижние юбки и так далее, и пусть она сама выберет, что захочет; и еще чтобы он принес ей утреннее платье и накидку из ситца лучшего сорта, то есть чтобы одел ее во все новое, что он и сделал. Потом он рассказал мне, что слышал, как она плакала,— она так рыдала целую ночь напролет, что ему казалось, она захлебнется в собственных слезах и погибнет; пока он вручал ей новые вещи, она обливалась слезами, время от времени стараясь унять их, но как только пыталась промолвить хоть слово, вновь разражалась рыданиями, вызывая сердечное сочувствие у всех, кто видел это.

Меня глубоко тронуло ее состояние, но я приложил все усилия, чтобы скрыть свою жалость, и завел речь о другом. Между тем, хотя я пошел к ней только на третий день, я круглые сутки раздумывал над тем, как мне быть и что делать, оказавшись в столь необычайном положении.

Когда я на третий день посетил ее, она вошла в комнату, где я находился, одетая в те вещи, которые я приказал ей дать, и

молвила, что благословляет всевышнего за то, что может вновь служить мне, поблагодарила меня за одежду, которую я ей послал, и добавила, что она этого не заслуживает.

Пользуясь тем, что, кроме нас двоих, там никого не было, я вступил с ней в беседу и прежде всего посоветовал ей забыть ее греховное прошлое, ибо она уже достаточно покаялась, я же никогда не стану ее упрекать — и без того ей на долю выпали тягчайшие страдания. Я дал ей понять, что в настоящих обстоятельствах не могу сделать ее, преступницу, привезенную сюда для наказания, своей женой; да и она не осмеливалась желать этого. Однако к сказанному я присовокупил, что могу помочь ей избавиться от всех невзгод, в том числе и от самого большого ее несчастья, которое сильнее всего угнетает ее сейчас,— неволи, если она сумеет держать язык за зубами и не проронит ни единого слова о наших делах; если же она проговорится, предупредил я, то погибнет.

Она не хуже моего понимала, сколь важно блюсти тайну, и сознавала, что лишь я один могу вызволить ее из нынешнего бедственного состояния, переносить которое она больше не в силах. А потом, сказала она, если я того пожелаю, она посвятит весь остаток своих дней покаянию и готова делать для меня самую черную работу; она была бы счастлива, если бы я простил ей прошлое, и желала бы всю жизнь быть мне слугой; при этом я могу быть уверен, заверяла она, что никогда никто даже не заподозрит, что я знал ее раньше.

Я спросил ее, не хочет ли она поведать мне, как ей жилось после того, как мы расстались, и предложил ей выбрать для рассказа лишь то, что ей самой кажется уместным. Она призналась, что, подобно тому как разлад со мной начался с безрассудного поступка, а завершился грехопадением, так и вся ее последующая жизнь была вереницей бедствий, падений и раскаяния, порока и позора и в конце концов нищеты и скорби. Ее обманом втянули в беспутную компанию и приохотили к роскошной жизни, ради которой ей пришлось совершать безнравственные поступки, а после несметного множества бед и невзгод она уже не могла себя обеспечить и впала в крайнюю нищету.

Не раз она принималась за письмо, где униженно и робко молила простить ее, искренне раскаивалась в своем первом преступлении, но обо мне ничего не было слышно, и ей не удавалось проведать, куда я скрылся. Она осталась в таком одиночестве, что не у кого было попросить кусок хлеба, тогда бедность и невзгоды заставили ее связаться с воровской шайкой, с которой водилась она довольно долго, добывая изрядное количество денег, но беспрерывно испытывая невообразимый ужас и дрожа от страха в

ожидании расплаты и позора. То, чего она так боялась, вскоре свершилось, да еще во время самого пустячного дела, к которому она имела лишь стороннее касательство, и вот — она здесь. Она отметила, что вся жизнь ее состояла из взлетов и падений — изобилие и нищета, свобода и неволя, благоденствие и муки, и потребовалось бы очень много дней, чтобы поведать мне, свидетелю самой лучшей поры ее жизни, все, что случилось потом. Мне ведь известно, продолжала она, какое деликатное и благородное воспитание она получила, теперь же она принадлежит к отверженным и готова наравне со свиньями питаться отбросами, которых тоже не всегда бывает вдосталь. Описывая все это, она так горько рыдала, что время от времени, захлебываясь слезами, умолкала и в конце концов вынуждена была прекратить рассказ. Тогда я сказал, что избавлю ее от необходимости продолжать его, ибо он лишь воскрешает в сердце былые горести, а я хотел бы помочь ей предать прошлое забвению.

Затем я объявил ей, что раз провидение вновь привело ее ко мне, я позабочусь, чтобы она не ведала ни нужды, ни житейских тягот, но большего я сейчас сделать не могу, и на сем мы расстались. Она по-прежнему оставалась экономкой, а я, чтобы облегчить ей жизнь, дал ей работницу — якобы в помощь, но на самом деле, чтобы другие не знали,— в услужение, которая должна была за ней ухаживать и все для нее делать.

Побыв в экономках, она воспряла духом и повеселела, лицо у нее округлилось, грудь и бедра налились, к ней стали возвращаться живость и обаяние, которые некогда были мне так в ней милы. Временами во мне вспыхивало к ней нежное чувство и хотелось вновь назвать ее своей женой, но до этого нам предстояло преодолеть еще много трудностей.

А тут еще приключился весьма странный случай, неожиданно поставивший меня в крайне затруднительное положение. Мой наставник, человек незаурядного ума и большой учености, а также благородного образа мыслей, с самого начала был тропут тем состраданием, которое я проявил к этой женщине; уже давно, как упоминалось выше, он уразумел, что она чем-то отличается от прочих. Теперь же, когда она, повторяю, обрела прежние черты и веселый нрав, его так пленило общение с ней, что он воспылал к ней любовью.

Рассказывая о ней, я упомянул, что она была очаровательной собеседницей, дивно пела, отличалась острым умом и прекрасным воспитанием; все эти качества по-прежнему оставались при ней и делали ее весьма приятной дамой. Короче говоря, однажды вечером он обратился ко мне с просьбой разрешить ему жениться на экономке.

Эта просьба меня совершенно ошеломила, но я и виду не показал, а лишь выразил надежду, что, прежде чем довести это до моего сведения, он все хорошо обдумал, так что моих советов и не потребуется, при этом я напомнил, что ей предстоит еще почти четыре года отбывать наказание.

Он же ответил, что почитает меня, никогда не предпринял бы такого шага без моего ведома и не сказал ей об этом ни единого слова. Я понятия не имел, как поступить, но в конце концов решил, что она сама даст ему ответ, а до тех пор мы заблаговременно все с ней обсудим. Итак, я убедил его, что он может действовать по своему усмотрению, я же не имею права вмешиваться в чужие дела и не полагаю возможным давать ему советы; что же касается срока ее наказания, то это пустяк, о котором и говорить не стоит, однако я надеюсь, что раньше, чем совершить этот шаг, он глубоко вникнет во все обстоятельства.

Он заявил, что обдумал все до основания и решил, убедившись, что я против этого не возражаю, во что бы то ни стало соединиться с ней и стать, как он считает, счастливейшим из всех живущих на земле. Затем он принялся расписывать ее достоинства — как отменно она справляется со всеми делами, какая она очаровательная собеседница, как остроумна, что за память, какими широкими познаниями обладает и т. д. и т. п. Я-то знал, что все это так и есть, но кое-что он упустил, ибо если перечисленные им черты были свойственны ей еще во времена нашего супружества, то, испив горькую чашу бедствий, она не только сохранила прежние особенности своей натуры, но и приобрела новые — самообладание, благоразумие, здравомыслие и другие, которых раньше ей недоставало.

Нетрудно догадаться, что я с нетерпением ждал встречи с моей милой экономкой, чтобы сообщить ей эту тайну и увидеть, какой оборот она придаст всему делу, но, как назло, я схватил простуду и вынужден был два дня просидеть взаперти, а за это время все и произошло, так как мой наставник в тот же вечер навестил ее и сделал ей предложение, которое поначалу было принято холодно, чем он был крайне поражен, ибо нисколько не сомневался, что она тотчас же изъявит свое согласие. Тем не менее он вновь пришел на второй, а потом и на третий день, и тогда она, убедившись в серьезности его намерений, но чувствуя, что не может даже помыслить о согласии, коротко ответила, что питает к нему глубокую признательность за оказанную ей честь и охотно приняла бы его предложение, как и всякая другая на ее месте, но не хочет вводить его в заблуждение, а должна открыть ему, что связана обязательствами, которые препятствуют их союзу, короче говоря, призналась, что она замужем и муж ее здравствует и поныне.

Ответ ее был настолько чистосердечен и недвусмыслен, что он не мог ни словом ей возразить, а лишь сказал, что безмерно огорчен ее отказом, что ему нанесен тяжелый удар и он никогда в жизни не испытывал подобного разочарования.

На следующий день после их разговора я отправился в контору, послал за экономкой и сообщил ей, что ее ждет весьма выгодное предложение, которое я бы хотел, чтобы она как следует обдумала; затем я изложил ей все, что мне сказал мой наставник.

Она тотчас разрыдалась, что меня крайне удивило. «О сэр! — воскликнула она,— как можете вы так говорить со мной?» Я ответил, что имею для этого все основания, потому что после разлуки с ней был уже женат на другой. «Но, сэр,— возразила она,— дело в том, что, раз вина лежит на мне, я не имею права вступить в брак; и пусть даже причина не в этом,— продолжала она,— я все равно не могу так поступить». Я притворился, что стою на своем (честно говоря, я был неискренен, потому что меня влекло к ней и в душе я простил ей былые прегрешения),— так повторяю, я сделал вид, что настаиваю, но она залилась слезами и взмолилась. «Нет, нет, лучше мне быть вашей рабой, чем женой самого благородного человека на свете». Я стал уговаривать ее, ссылаясь на ее денежные обстоятельства и доказывая, что такой брак вернет ей покой и довольство и никто в мире не узнает и даже не заподозрит, кем она была и чем занималась, но она не могла сносить подобные речи и, рыдая, причитала так громко, что я побоялся, что ее услышат. «Заклинаю вас,— молила она,— не говорите об этом больше; я была вашей прежде и никогда в жизни не буду принадлежать другому; пусть все останется как есть, или сделайте со мной, что вам угодно, только не заставляйте меня выходить замуж за другого».

Меня так растрогала пылкость ее речей, что поначалу я словно оцепенел, но затем все-таки вымолвил: «Жаль, что ты не была так чистосердечна в давние времена, тогда нам обоим было бы куда лучше, но как бы там ни было, никто не заставит тебя поступить против воли и не станет карать тебя за отказ. А как ты намерена от него отделаться? Он же, верно, надеется, что ты сочтешь его предложение лестным для себя, каковым оно и является, ведь особенности твоего положения ему неизвестны».— «Но, сэр,— воскликнула она,— я уже все сделала, он получил мой ответ и полностью им удовлетворен, никогда больше он не потревожит вас этим»,— после чего она пересказала мне суть своего ответа.

В тот же миг я решил во что бы то ни стало снова взять ее в жены, ибо убедился, что она искупила свою вину передо мною и заслуживает прощения: и воистину, уж кто-кто, а она-то заслужила его, особенно если припомнить, какой суровой каре она под-

верглась и сколь долго пришлось ей влачить жалкое существование, да и само провидение вроде бы опять вверило ее моим заботам и, что самое важное, вселило в нее столь нежную ко мне любовь и такую твердость духа, что она отважилась отвергнуть заманчивое предложение ради того, чтобы не расставаться со мной.

Придя к такому решению, я счел жестоким скрывать его, да и невозможно было скрывать мои чувства долее, и, заключив ее в объятья, я воскликнул: «Ты доказала свою любовь ко мне так убедительно, что я не в силах больше противиться, я прощаю тебе все былые прегрешения, и поскольку ты не желаешь принадлежать никому другому, будь, как прежде, моей».

Но это оказалось выше ее сил, ибо примирение так ее потрясло, что, не дай она выхода своим чувствам в рыданиях, она, наверно, скончалась бы в моих объятьях; мне пришлось усадить ее, а она не менее четверти часа заливалась слезами и не могла промолвить ни единого слова.

Когда она пришла в себя и обрела способность говорить, я объяснил ей, что нам нужно подумать, каким образом проделать все так, чтобы не обнаружилось, что она раньше была моей женой, ибо тогда мы оба будем разоблачены; не лучше ли неприкрыто, у всех на виду, вновь заключить брак. Она сочла этот путь весьма разумным, и согласно с нашим решением мы через два месяца поженились, причем ни один мужчина на свете не имел лучшей жены и не жил счастливее, чем мы в течение следующих нескольких лет.

Я уже склонен был полагать все свои дела в этом мире улаженными и надеялся завершить свою многотрудную жизнь безмятежным покоем, ибо мы оба, обретя мудрость через страдания и невзгоды, были теперь способны сами определить, какой образ жизни более соответствует нашим обстоятельствам и может принести нам счастье.

Но человек — создание по меньшей мере недальновидное, особенно когда сам берется утверждать, что счастлив, или полагает, что может жить своим умом. Казалось, у нас были все основания считать — и жена нередко обращала на это мое внимание,— что жизнь, которую я тогда вел, полностью соответствовала представлению о человеческом счастье. И в самом деле, богатство наше приумножалось с каждым днем, и его было более чем достаточно, чтобы при желании снискать в наших краях почет. Располагая всем, что дарует отраду и приятность, нам не приходилось подавлять свои стремления, сладость нашего благополучия не омрачалась ни каплей горечи, к добру не примешивалось ни грана зла, нам казалось, что беда уже никогда не обрушится на нас; наше слабое и ограниченное воображение не допускало, что в эту раз-

мерепную жизнь может ворваться несчастье, разве что провидение в извечных деяниях своих ниспошлет нам испытание.

И все же незримая мина разорвалась и в один миг камня на камне не оставила от этой идиллии, и, хотя сей взрыв не нарушил моих привычных дел и занятий, он мгновенно оторвал меня от них и вновь обрек на странствия по белу свету, уготовив мне существование, сопряженное с риском, полное опасностей и вынуждающее человека действовать по собственному разумению и сообразно своим несовершенным мерилам.

Теперь я должен вернуться к одному эпизоду, который произошел довольно давно и относится ко времени моего последнего пребывания в Англии.

Я уже рассказывал, как моя верная супруга Могги слезами и мольбами уговорила меня не поступать безрассудно и не принимать открытого участия в восстании ныне покойного лорда Дервентуотера и его сторонников в момент, когда они вступили в Ланкашир; послушав ее, я спас себе жизнь. Но некоторое время спустя меня одолело такое любопытство, что, когда они подошли к Престону, я улизнул от жены, решив лишь поглядеть на них и понаблюдать, как пойдут дела.

Я уже говорил, что жена моя своими неотвязными просьбами удержала-таки меня от открытого участия в этом деле и не дала мне взяться за оружие, чем, повторяю, несомненно, сохранила мне жизнь, так как, будь все иначе, меня бы там приметили и последствия были бы для меня не менее роковыми, чем если бы я действительно участвовал в сражении.

Однако, когда повстанцы продвинулись вперед и приблизились к нам, то есть к Престону, а жители округи прониклись к ним большим расположением, любезный доктор (о нем речь шла выше), тот самый, который был католическим священником и обвенчал нас, стал вселять в меня ранее неведомый мне пыл и не отстал, пока не вынудил меня, располагавшего лишь добрым конем и мушкетом, примкнуть к повстанцам в канун их вступления в Престон, причем и сам он занял место рядом со мной.

Меня здесь мало кто знал, во всяком случае, из деревни, где я жил, тут никого не было, и это, как вы скоро убедитесь, впоследствии выручило меня; однако я был знаком некоторым повстанцам, особенно шотландцам, с которыми я вместе служил за границей; с ними я был в приятельских отношениях и слыл среди них французским офицером. Я убеждал их сформировать отдельный отряд для обороны предместья у Престона и настаивал, что от этой обороны зависит исход всего дела.

Я защищал свой план с некоторой горячностью, и поскольку меня считали французским офицером и бывалым солдатом, мое

предложение вызвало споры. Однако, как всем известно, мой замысел не был осуществлен, а я, решив в то же мгновение, что они обречены на гибель, стал изыскивать способ удрать оттуда целым и невредимым, что и проделал ночью, накануне того дня, когда их окружила королевская кавалерия. Удалось это мне с большим трудом, так как, благополучно перебравшись через реку Рибл, я никак не мог найти твердого грунта, который выдержал бы моего коня. В конце концов я все же выбрался на берег и, изо всех сил погоняя коня, к исходу следующего дня примчался к месту, откуда был виден мой дом. До глубокой ночи я укрывался в лесу, а потом, убив коня и зарыв его в неглубоком песчаном карьере, сам пешком, примерно к двум часам ночи, добрался домой, где меня радостно встретила испуганная жена. Не мешкая, я принял меры, чтобы оградить себя от возможных неприятностей, но дело обернулось так, что эта предосторожность оказалась излишней, потому что повстанцы были разбиты наголову,— те, что остались живы, были взяты в плен, а в деревне никто не знал и даже не подозревал, что я побывал среди них; таким образом, я ловко выпутался из самой опасной в моей жизни затеи, в которую встрял по неслыханной глупости.

Выручило меня и то, что, убив коня, я зарыл его, потому что через два-три дня люди, которые видели в Престоне, как я ездил верхом, нашли бы его и опознали, а поскольку никто не проведал о моей отлучке из дому, я помалкивал; раз никто из соседей раньше не хватился меня, то зайди кто-нибудь из них сейчас поболтать, я тут как тут — у себя дома.

Но все же я испытал тревогу и дорого бы дал, чтобы оказаться в своих виргинских владениях, куда, правда, при совсем иных обстоятельствах, я вскоре собрался уехать со своей семьей.

Между тем разыгрались упомянутые события в Престоне, и злосчастные повстанцы сдались на милость королевских войск; как водится, некоторых из них казнили, чтобы другим неповадно было, а всех остальных помиловали и заключили на длительный срок в замок Честер или же в иные подобного рода заведения, откуда они со временем разными способами освободились, о чем нам еще доведется узнать.

Несколько сот человек, говоря простонародным языком, «загнали» по их собственной просьбе на плантации, то есть отправили в Виргинию и другие Британские колонии с тем, чтобы, как это принято делать с каторжниками, продать их в рабство на определенный срок, после чего вновь отпустить на свободу. О некоторых из них речь шла выше; и вот теперь, живя здесь, я, к немалому моему огорчению, обнаружил, что к берегу, на котором

раскинулись мои плантации, пришвартовались два корабля с новой партией осужденных на борту.

Как только это известие дошло до меня, я, не теряя ни минуты, принял решение не допустить ни одного из них к себе в усадьбы (или плантации); так я и поступил, сделав вид, что не желаю превращать в рабов несчастных, но благородных джентльменов, пострадавших лишь за верность своему делу, и ссылаясь на другие подобные соображения. На самом же деле я опасался, что некоторые из них узнают меня и при всем честном народе объявят, что я того же поля ягода, что и они, только сумел вовремя удрать, и я попаду в большую беду; но если бы мне даже удалось сохранить жизнь, меня лишили бы всего, что, по моему мнению, я вполне заслужил, и ввергли бы опять в бездну страданий и нищеты.

Моя осторожность была обоснованной, но, как вскоре обнаружилось, недостаточной, чтобы уберечь меня от напасти, ибо, хотя я сам не купил ни одного из этих бедняг, это сделали некоторые из моих соседей, так что на расположенных поблизости от меня плантациях работало множество вновь прибывших невольников. Словом, я не смел носа высунуть, все время опасаясь, что кто-нибудь меня заметит и узнает.

Должен признаться, что это мучительное существование вскоре стало совершенно невыносимым, ибо страх низвел меня с высоты знатного человека, судьи, властителя и хозяина трех плантаций до положения жалкого бунтовщика, приговорившего самого себя к наказанию и боявшегося даже показаться на люди. Уж лучше бы я остался в Ланкашире или уехал в Лондон и спрятался там, пока все не утихнет, а теперь опасность нависла прямо надо мной, стучалась ко мне в дом, и я каждый день ожидал, что меня выдадут, схватят и в кандалах отправят в Англию, а мои плантации отойдут королевской казне.

У меня оставалась лишь одна надежда на спасение — ведь я пробыл среди повстанцев очень недолго, в деле не участвовал, даже мое имя было им неведомо, и почти все называли меня то французским полковником, то французским офицером, а то просто французом; что же касается доктора, который приехал в Престон вместе со мной, то, обнаружив, что вся затея явно обречена на провал, а вокруг повстанцев, подобно тучам, собираются королевские войска, он тоже нашел, правда, иной, чем я, способ убраться восвояси.

Однако указанные обстоятельства меня не утешали, и я не имел понятия, как поступить, ибо даже в самые тяжкие мгновения моей жизни я не испытывал такой растерянности. Первым долгом я пошел домой и честно поведал всю историю жене. Стре-

мясь к полной откровенности, я раньше, чем начать рассказ, заявил, что, раскрыв мою тайну, даю ей возможность отомстить мне, если я, по ее мнению, был несправедлив к ней в прошлом, и предать меня в руки врагов, но я верю в ее великодушие и воскреснувшую любовь ко мне и полагаюсь на ее преданность, после чего без лишних слов я открыл ей все и, в частности, сообщил, какая опасность мне угрожает.

Добрый советчик может вернуть человека к жизни, он вселяет отвагу в слабодушного и пробуждает в разуме человеческом способность поступать нужным образом; для меня в ходе всей этой истории таким советчиком была моя жена, и каждый шаг, который я предпринимал, чтобы выпутаться из этого лабиринта, направлялся ею.

«Полно, полно, дружок,— утешала она меня,— если ничего другого не случилось, то незачем совершать опрометчивые поступки, внушенные одним только страхом» (а дело в том, что я готов был не мешкая распродать все имущество и плантации, сесть на корабль и отплыть на остров Мадейру или куда угодно, только бы оказаться вне владений короля).

Но жена держалась иного мнения и, стараясь перетянуть меня на свою сторону, предложила мне два способа спасения: либо загрузить шлюп провиантом и отправиться в Вест-Индию, оттуда в Лондон, либо разрешить ей уехать прямо в Англию и постараться во что бы то ни стало вымолить у короля прощение.

Я был склонен принять второе предложение, ибо, совершая, на свою беду, неправедные поступки, всегда втайне — и не без основания — уповал на милосердие и доброту его величества, и будь я в Англии, меня нетрудно было бы уговорить пасть королю в ноги.

Но в моем положении отъезд в Англию не мог бы пройти незамеченным, ибо я вынужден был бы либо открыто готовиться к путешествию, бывать на людях, дождаться уборки урожая и отбыть достойным образом и сообразно с моим званием, либо сделать вид, будто произошло нечто из ряда вон выходящее, вызвав среди окружающих множество беспочвенных подозрений.

Однако изобретательность моей жены выручила меня. Однажды утром, когда я еще лежал в постели, она неожиданно вошла ко мне в спальню и решительно заявила: «Друг мой, меня очень беспокоит ваше здоровье, и я распорядилась, чтобы Пеннико (молодая негритянка, которую я дал ей в услужение) разожгла у вас в комнате камин, а вы пока полежите спокойно». Тотчас появилась негритянка, неся дрова, ручные меха и прочие нужные для разведения огня предметы, а жена моя, не дав мне опомниться, шепнула, чтобы я молчал и дожидался ее возвращения.

Я, конечно, не на шутку перепугался и лежал, мысленно представляя себе, как меня опознают, предают властям, увозят в Англию, вешают, четвертуют и тому подобное. Сердце мое замирало от страха. Жена заметила мое смятение и, подойдя к моей постели, стала убеждать меня, что причин для волнения нет, что она скоро вернется и все мне объяснит. Я немного успокоился, но вскоре приказал Пеннико спуститься вниз, найти госпожу и передать ей, что мне очень худо и я хочу немедля поговорить с ней. Не успела служанка выйти из комнаты, как я вскочил с постели и начал быстро одеваться, дабы не оказаться застигнутым врасплох.

Моя жена, как и обещала, уже поднималась по лестнице навстречу служанке и, войдя ко мне, сказала: «Вам, видно, не по себе, но, умоляю вас, крепитесь, подойдите к окну и из-за ширмы гляньте; не знаком ли вам кто-нибудь из шотландцев, собравшихся во дворе; там семь или восемь человек пришли по какому-то делу к писарю».

Прикрывшись ширмой, я посмотрел в окно, подробно разглядел их, но никого не узнал и лишь убедился в том, что все они шотландцы. Однако то, что я сам не приметил знакомых, не успокоило меня, они-то могли меня узнать, ибо, как гласит английская пословица: не ведает дурак, что знает его всяк; поэтому я прятался у себя в комнате до тех пор, пока не удостоверился, что все они ушли.

Вскоре моя жена объявила всем домашним, что я нездоров, а через три-четыре дня мне укутали ногу большим лоскутом фланели, пристроили ее на низкой скамеечке, и я охромел от «подагры». Так продолжалось почти шесть недель, а затем жена сообщила мне, что распустила слух, будто у меня не подагра, а скорее всего ревматизм и поэтому я отправляюсь на остров Невис или Антигуа, для лечения горячими водами.

Все получилось очень ловко, и затея моей жены — сначала продержать меня полтора-два месяца в четырех стенах, а потом без лишнего шума увезти прочь — получила полное мое одобрение. Однако я так до конца и не понимал, к чему все это приведет и каковы ее дальнейшие намерения, но она хотела, чтобы я положился на нее, что я охотно сделал, и весьма ловко претворила свой план в жизнь. По прошествии почти трех месяцев, которые я просидел с забинтованными ногами, она пришла и объявила, что шлюп готов к отплытию и все необходимое для путешествия уже на борту. «А теперь, дорогой мой,— сказала она,— я поведаю вам остальную часть моего плана. Надеюсь,— добавила она,— вы не подозреваете меня в намерении вывезти вас из Виргинии тем обманным способом, каким других людей привозят сюда, или же устранить вас, дабы завладеть вашим добром; нет,

я верна вам так же, как была бы верна, оставаясь вашей рабой и не смея даже помышлять о том, чтобы стать вашей супругой; вы можете убедиться, что, желая выручить вас из беды, я и не мыслю о разлуке; напротив, я всюду должна сопровождать вас, помогать и служить вам в любых обстоятельствах и разделить вашу участь, какова бы она ни была».

В этих словах столь убедительно проявилась ее благородная преданность, они столь наглядно свидетельствовали, как здраво она оценивает наше положение, что с этого момента я с готовностью, ничуть не колеблясь, отдал себя в ее распоряжение. Примерно через десять дней мы погрузились на принадлежавший мне большой шлюп водоизмещением около шестидесяти тонн.

Здесь уместно напомнить, что всеми моими делами по-прежнему ведал мой верный наставник, как я называл его, и поскольку он знал, как и с кем наладить переписку в Англии, мы, как и раньше, поручили это его заботам; при этом я был совершенно уверен, что он будет умело и честно вести мои дела, хоть его и опечалила история с моей женой, которая, как уже упоминалось, вновь вышла за меня замуж, отвергнув его предложение.

Хотя слова ее соответствовали истине, мне пришлось,— поскольку надлежало хранить нашу тайну,— в меру сил своих измыслить другие причины ее нежеланию выйти за него замуж, что, видимо, получилось у меня не слишком убедительно и вряд ли его успокоило, и он, несомненно, считал, что кое в чем с ним поступили дурно.

Однако он уже начал понемногу успокаиваться, особенно когда убедился, что, уезжая, мы, как и прежде, доверяем ему ведение всех дел.

После того как жена познакомила меня со всеми подробностями предстоящего путешествия и мы начали к нему готовиться, она как-то утром зашла ко мне и с присущей ей бодростью объявила, что хочет осведомить меня об остальных действиях, предпринимаемых для моего избавления; состояли они в том, что, пока мы будем совершать эту, как она выразилась, морскую прогулку к горячим источникам на Невисе, она напишет письмо в Лондон одному своему другу, на которого можно положиться, и попросит его добиться прощения для человека, участвовавшего в недавнем восстании, при этом она укажет, что я пробыл среди повстанцев всего три дня и к действиям их причастен не был. Она не сомневалась, что во время нашего отсутствия ответ непременно придет, так как обеспечила столько разных способов доставки ответных писем, что первое же прибудет через столько времени, сколько требуется судну, чтобы проделать путь туда и обратно, причем вначале издержки будут незначительными, потому что она полу-

чит ответ прежде всего на самый главный вопрос — можно ли надеяться на помилование, а потом уж будет определена стоимость всего дела, и я смогу решить, расстанусь ли с необходимой суммой денег до того, как на мой счет поступят новые средства.

Я был весьма доволен этой стороной ее плана; добавить мне было нечего, разве только предложить ей не ставить своему другу столь жестких условий, а попросить, чтобы он, если у него появится твердая уверенность в возможности получить прощение, довел дело до конца, затратив две, три или даже четыре сотни фунтов; для того же, чтобы выполнить это, ему следует обратиться к господину имярек, который оплатит счета по предъявлении соответствующей бумаги за моей подписью.

Для вящей убедительности я вложил в ее конверт письмо к одному из моих знакомых, к коему питал особое доверие, а также разрешение на выплату денег на таких-то условиях. Однако жена моя столь успешно повела переписку, что избавила меня от расходов, и вместе с тем, как вы вскоре узнаете, все получилось так же удачно, как если бы деньги уже были полностью уплачены.

Уладив все эти дела сообразно нашему разумению и оставив хозяйство, как всегда, в хорошем состоянии, мы сели на корабль и пустились в плавание, а капитан английского военного судна, которое охотилось за пиратами, а сейчас стояло у берега, собираясь отплыть в направлении Флоридского пролива, пообещал эскортировать нас до острова Нью-Провиденс или до Багамских островов.

Теперь, когда установилась отличная погода и я совершаю приятное путешествие, а с ноги моей сняли фланелевую повязку, самое время сказать несколько слов о том, какой груз я взял с собой. Поскольку дела мои в Виргинии шли хорошо, у меня была возможность отправиться в столь долгий путь с изрядным запасом провизии и денег, необходимых на всякий случай.

Как я уже говорил, наш шлюп был водоизмещением в шестьдесят или семьдесят тонн. Основной продукт виргинских плантаций, табак, на Невисе не пользовался сколько-нибудь значительным спросом, поэтому мы взяли его совсем мало, а загрузили свое судно главным образом зерном, горохом, мукой и несколькими бочками свинины. Такой товар ценился очень высоко, а бóльшая часть продуктов была снята с моих плантаций или произведена у меня в усадьбах. Мы везли также значительное количество золотых монет испанской чеканки, которые имели обращение не только в торговых, но и во всех других операциях. Я распорядился, чтобы, как только от меня будет получено сообщение о благополучном прибытии на место, был бы зафрахтован еще один корабль и отправлен ко мне с такими же товарами на борту.

На восемнадцатый день после того, как мы миновали Виргинские острова, наш корабль оказался на широте острова Антигуа, расположенного очень близко от острова Невис, где мы намеревались пришвартоваться, но его пока не было видно. Капитан корабля настойчиво уверял нас, что если мы будем идти тем же курсом, что и сейчас, а ветер не спадет, то менее чем через пять часов мы пристанем к берегу; итак, он продолжал идти к острову прежним курсом. Однако его предсказание не оправдалось — мы плыли весь вечер, а земля не показывалась, потом всю ночь, и на рассвете с топа стеньги заметили, что на расстоянии примерно в шесть лиг за нами следуют шхуна и шлюп; погода стояла ясная и дул свежий зюйд-ост.

Капитан быстро сообразил, что это за корабли, и спустился ко мне в каюту, чтобы известить меня о неприятном открытии. Сообщение об угрожающей нам опасности, разумеется, ошеломило меня, но о себе пришлось забыть и позаботиться о жене, потому что бедняжка страшно перепугалась, и я боялся, что мы не довезем ее живой.

Вдруг, в самый разгар суеты и переполоха, на палубе поднялись беготня и шум,— мы выглянули и услышали крики: «Земля, земля».— Тогда капитан и я — к этому моменту я уже выскочил из своей каюты — ринулись на палубу, и вся картина предстала перед нами с совершенной ясностью: негодяи гнались за нами на полных парусах, но, как я уже сказал, находились от нас на расстоянии шести лиг, если не больше. Прямо перед нами, примерно в девяти лигах, показалась земля. Стало быть, если пиратам удастся перещеголять нас, делая три фута за то время, что мы делаем два, они, несомненно, догонят нас раньше, чем мы достигнем острова; если же у них это не получится, мы ускользнем от них и доберемся до острова; но и в этом случае нам угрожало наскочить на мель, разбить судно и погубить груз.

Когда мы вели этот разговор, вошел сияющий капитан и сообщил мне, что поставил дополнительные паруса и убедился, что судно отлично идет под ними, негодяи к нам почти не приблизились и если только шлюпу удастся нас догнать, а уж от шхуны мы сумеем уйти. Итак, мы вынудили их пуститься, как говорится, в яростную погоню, и они изо всех сил старались настигнуть нас, но примерно в полдень оба судна внезапно замедлили ход и прекратили преследование, что вызвало у нас, как нетрудно догадаться, великую радость.

По-видимому, пираты ранее нас заметили, что нам суждено избавление: когда мы на всех парусах, словно пришпоренные этими двумя разбойниками, мчались к одному из островов, на рейде

у острова Невис, откуда тоже заметили пиратов, стоял английский военный корабль, заслоненный от нашего взора полосой суши.

Обнаружив пиратов, военное судно незамедлительно вытравило канат, снялось с дрейфа и пустилось в погоню за негодяями, а те, находясь с наветренной стороны, как только приметили его, поставили паруса по ветру и бросились наутек. Так мы были спасены; а примерно через час, увидев, как военный корабль снялся с якоря и устремился вслед за пиратами, которые теперь удирали от нас столь же стремительно, сколь раньше нас преследовали, мы уразумели, кто наш избавитель. Итак, натерпевшись страху, мы благополучно пристали к острову Антигуа. На этот раз мы подверглись значительно большей опасности, чем если бы находились на борту корабля, идущего с грузом из Лондона или в Лондон, потому что в таком случае пираты обычно только грабят судно, отбирают всю ценную кладь, какую можно унести, и отпускают его на волю, но поскольку у нас был всего лишь шлюп, да еще нагруженный отличной провизией, которая, без сомнения, была нужна им для пополнения их запасов, они, конечно же, увели бы наше судно вместе с грузом и людьми, а может быть, подожгли бы его; таким образом мы неминуемо лишились бы золота, а нас самих завезли бы неизвестно куда и обошлись бы с нами так, как эти злодеи привыкли обращаться с невинными людьми, попавшими к ним в руки.

Но вот опасность миновала, а через несколько дней до нас дошло приятное известие: несмотря на то, что пираты ночью изменили курс, военный корабль так неуклонно следовал за ними, что с наступлением дня им пришлось разделиться и пойти в разных направлениях; тогда военный корабль последовал за шхуной и оттеснил ее к Ямайке, а шлюп умчался прочь.

Сойдя на берег, мы тотчас, да к тому же по довольно выгодной цене, сбыли свой груз, и передо мной стал вопрос — что делать дальше. Я полагал, что мое участие в восстании здесь неизвестно и мне нечего теперь бояться; прошло уже пять месяцев, как я уехал из дому, за это время я отправил туда судно с ромом и патокой, которые, как я знал, нужны у меня на плантациях, и оно вернулось, нагруженное, как и в первый раз, провизией.

С этим же кораблем моей жене пришел пакет из Лондона от человека, которому, как упоминалось, она поручила хлопотать о прощении. Он со всей откровенностью писал ей, что не может совершить в отношении ее друга, кто бы он ни был, неблаговидный поступок и заставить его платить зря за ходатайство по его делу, так как ему доподлинно известно, что его величество по своей прирожденной склонности ниспосылать милосердие и благо подданным своим решил даровать прощение всем провинившимся,

кроме нескольких тяжких преступников, к числу которых, он надеется, ее друг не принадлежит.

Это известие как бы вдохнуло жизнь в нас обоих, и мы решили, что жена, не теряя времени, отправится на шлюпе в Виргинию, где будет дожидаться добрых вестей из Англии, и как только получит их, сразу же оповестит меня.

Она поступила сообразно с этим решением, благополучно доехала до наших плантаций и довезла весь груз, и после четырех с лишним месяцев ожидания оттуда прибыл шлюп, но — увы! — совершенно опустошенный: пираты захватили весь груз, оставив лишь около ста мешков немолотого солода, с которым, не умея варить пиво, здесь не знали, что делать. Но, к великой моей радости, я обнаружил на корабле пачку писем от жены, а также письма к ней от ее друга из Англии и ко мне от моего знакомого, в которых они извещали нас, что король скрепил своей подписью указ о помиловании, другими словами, даровал всем прощение; к сему они присовокупили списки указа, который явно имел прямое отношение ко мне.

Мне хотелось бы теперь отметить, что милостью короля Георга я вновь обрел жизнь, да еще без всяких затрат с моей стороны, и это обратило меня в новую веру,— преисполненный чувства признательности и долга, я готов был пойти в огонь и в воду ради его величества. С тех пор это чувство не оставляет меня, и я буду свято хранить его в сердце, доколе живет во мне представление о чести и способность быть благодарным. Я пишу об этом, чтобы показать, что в таких случаях нами повелевают чувство признательности за проявленную к нам благосклонность, а также сознание долга перед теми, кто дарует нам жизнь, имея возможность отнять ее. Мы остаемся в вечном долгу перед ними и обязаны посвятить себя служению им и их делу до конца дней своих; чувство благодарности не иссякает, ибо оказанная нам милость преображает всю нашу жизнь. Мой государь даровал мне жизнь, а я никогда не смогу полностью отблагодарить его, разве только если у меня вдруг окажется возможность спасти ему жизнь; но и тогда долг не будет оплачен сполна, ибо мы не равны, и спасение жизни государя — мой естественный долг, а милость государя, властелина живота моего, есть проявление благости и великодушия.

Вероятно, не всем читателям придутся по вкусу такие рассуждения, но поскольку я решил во всех своих поступках, касающихся предметов подобного рода, руководствоваться только правилами строгой добродетели и чести, то полагаю, что для человека, преступившего законы своей страны и тем обрекшего себя на праведный суд государя, который в милосердии своем вернул ему жизнь, долг чести состоит в том, чтобы до конца дней своих верно

служить государю; в ином же случае человек этот свершит вероломство, безвозвратно преступит законы чести и долга и никогда не будет прощен ни богом, ни людьми. Я надеюсь, что это отступление, которое я написал как беглое напоминание о законах чести, от рождения вложенных в душу каждого воина и добропорядочного человека, одобрят все непредубежденные люди, понимающие, что значит честь.

Но вернемся к моим делам. Жена моя уехала, а с ней, казалось, покинули меня удача и везение в делах, и мне, мнившему, что все невзгоды остались позади, пришлось изведать еще одно несчастье.

Как я уже рассказывал, мой шлюп вернулся, но во Флоридском заливе его настигли подлые пираты; они сначала захватили его, а потом, обнаружив, что груз целиком состоит из съестных припасов, в которых они всегда испытывают нужду, перетащили все добро к себе, кроме, как я говорил, примерно ста мешков солода, с которым они и впрямь не знали, как обращаться. Но что много хуже,— они взяли в плен весь экипаж, за исключением капитана и одного юнги, оставленных на борту, чтобы довести судно до острова Антигуа, куда, как заявил капитан, оно направлялось.

Однако, к несказанной радости моей, они не тронули самой ценной части груза, а именно — пакета с письмами из Англии, благодаря которым передо мной открылась возможность вернуться к жене и навсегда, как я твердо решил, остаться на своих плантациях.

С этой целью я немедля сел в шлюп, погрузил в него все свои пожитки и решил плыть прямо к берегам Виргинии. Мой капитан при противном ветре привел судно к Флоридскому проливу менее чем за двое суток, но здесь нас настиг яростный шторм и отнес к берегу Флориды так близко, что мы дважды наскочили на мель, и если бы это повторилось в третий раз, судно неизбежно потерпело бы крушение. Через день или два, когда шторм немного утих, мы пустились в путь, но вскоре обнаружили, что встречный ветер, мешающий нам войти в залив, столь силен, а волны столь высоки, что долго нам здесь не продержаться; поэтому мы были вынуждены уйти в открытое море и искать выход на свой страх и риск. В таком бедственном состоянии мы на пятый день подошли к берегу, но обнаружили, что это мыс в северо-западной части острова Куба. Нам нужно было непременно найти убежище у берега, однако мы не бросили якорь, то есть не вошли во владения короля Испании. Все же на следующее утро нас окружило пять испанских баркасов, или шлюпов, у них они называются barcos longos [1], до отказа набитых людьми; испанцы тотчас же взяли наше судно на

[1] Длинные лодки *(исп.)*.

абордаж и вынудили нас бросить якорь в Гаване, самом крупном в этой части света порту, принадлежащем испанцам.

Они немедленно захватили наш шлюп, а следовательно, как поймет всякий, кто знает нравы испанцев, особенно здешних, разграбили его, всех наших отправили в острог, а что касается меня и капитана, то нас, как преступников, потащили к alcalde major, главному алькальду, то есть к мэру города.

Поскольку в Италии мне пришлось служить под командованием испанского короля, я прекрасно говорил по-испански, что на этот раз мне весьма пригодилось, ибо я столь искусно доказал, как несправедливо они обошлись со мной, что губернатор, или как там он называется, открыто признал, что им не следовало задерживать меня, раз они видели, что я нахожусь в открытом море и иду своим путем, никому не причиняя вреда, не пришвартовываясь и не выказывая намерения сойти на берег во владения его католического величества, пока не попал туда как пленник.

Такой поступок со стороны губернатора был проявлением великой ко мне милости, однако я быстро уловил, что значительно труднее будет заставить их удовлетворить мои законные требования, а уж на возмещение убытков нечего и надеяться. Мне объявили, что я должен буду ждать возможности доложить о происшедшем вице-королю Мексики и получить от него ответ, как со мною поступить.

Мне нетрудно было угадать, к чему все это клонится,— судно и имущество, по принятому здесь обычаю, будут конфискованы, а решение вице-короля Мексики касательно моей особы на самом деле зависит от того, как ему представит положение вещей здешний коррехидор, то есть судья.

Но я не располагал ничем, кроме испытанного, хоть и немудреного средства, называемого терпением, а его у меня было достаточно, да к тому же я вовсе не считал причиненный мне ущерб таким значительным, каким изобразил его перед ними. Больше всего я боялся, что они арестуют меня и приговорят к пожизненному заключению, а то и сошлют меня на рудники в Перу. Они уже поступили так со многими и объявили, что впредь будут ссылать туда всех, кто высадится в их владениях, пусть даже самые тяжкие бедствия будут тому причиной. Именно поэтому некоторые, кого обстоятельства вынуждали высадиться здесь, вступали в бой с испанцами, предпочитая лучше продать свою жизнь подороже, чем попасть к ним в руки.

Мне, однако, был оказан более любезный прием, главным образом потому, что, повторяю, я хорошо знал испанский и сумел расписать, как сражался в Италии за интересы его католического величества; к счастью, у меня в кармане оказалось подписанное

королем Франции назначение на должность подполковника в Ирландском полку, где было упомянуто, что указанный полк входит в состав французской армии, находящейся в Италии в распоряжении его католического величества.

Я не премипул отозваться с похвалой о доблести и личной храбрости его католического величества, присущих ему вообще, но особо проявленных в сражениях, в коих его величество, к слову сказать, никогда не принимал участия; однако я уловил, что имею дело с людьми несведущими, поэтому можно было нести любую околесицу, лишь бы в ней воздавалась хвала королю Испании и превозносилась испанская кавалерия, которая, видит бог, не была представлена в армии ни единым полком, во всяком случае, когда я там находился.

Подобный образ действий обеспечил мне свободу передвижения, правда, под честное слово, что я не буду делать попыток скрыться; в виде большой милости мне выдали двести пиастров на пропитание, пока в Мексике не закончатся переговоры о моих делах; что же до матросов, то их содержали в тюрьме на казенный счет.

Наконец, после многократных просьб и длительного, в течение нескольких месяцев, ожидания, мне выпало счастье узнать, что мое судно и груз конфискуются, а горемычных матросов надлежащим образом отправляют на рудники. Однако их мне удалось вызволить из беды и договориться, что их доставят на остров Антигуа при условии, что будет уплачен выкуп в триста пиастров; меня же оставляют заложником до выплаты двухсот пиастров, которыми меня ссудили, и еще пятисот пиастров — в качестве выкупа за мою особу, причем только в том случае, если упомянутое выше решение о конфискации будет утверждено в Мехико вице-королем.

Что говорить, условия были тяжкие, но я вынужден был им покориться. Поскольку я в действительности располагал значительно большими средствами, меня все это не очень беспокоило; трудность заключалась в том, что я понятия не имел, как вступить в переписку с моими друзьями, живущими в разных странах, и получить необходимые товары или деньги, чтобы произвести расчет в соответствии с уговором. Испанцы столь ревностно стерегли свои порты, что под страхом захвата и конфискации всего имущества, как это произошло со мной, судам всех стран было запрещено не только приставать, но даже приближаться к берегу.

С этой трудностью я обратился к коррехидору, пытаясь доказать ему, что он поставил нас в невыносимое положение, которое противоречит принятым в отношениях между странами обычаям: ведь если человека берут в плен в Алжире, то ему разрешают направить своим близким просьбу об уплате выкупа за него, а по-

сланца, доставившего выкуп, как лицо официальное, свободно пропускают туда и обратно; когда подобный порядок не соблюдается, договор о выкупе невольника заключен быть не может, если же он все-таки подписан, его нельзя осуществить.

Затем я перевел разговор на мои дела и спросил, каким образом я смогу получить известие о том, что сумма, необходимая для выкупа моих матросов и меня самого, уже собрана, если, допустим, это произойдет в срок, оговоренный соглашением. Как же доставить мне это сообщение, если лицам, которые возьмут это на себя, а затем осмелятся привезти деньги, грозит арест и конфискация имущества, как это случилось со мной, да к тому же у них могут отнять и самый выкуп.

Хотя претензия моя была столь справедлива, что оспаривать ее было невозможно, испанец все же увильнул от прямого ответа и заявил, что в подобных случаях они не располагают полномочиями действовать самостоятельно, что королевские законы, запрещающие допускать чужеземцев в американские владения его католического величества, чрезвычайно суровы и их нельзя нарушить ни на йоту без assiento, то есть особого решения Consulado, как именуется у них торговая палата в Севилье, или приказа за подписью и печатью вице-короля Мексики.

«Да неужто, сеньор коррехидор,— воскликнул я с некоторой горячностью и вроде бы в изумлении,— неужто вы не вправе подписать разрешение на въезд сюда поверенного или гонца, посланного одним из губернаторов владений короля Великобритании в этих краях и прибывающего к вам под белым или парламентерским флагом, чтобы вести переговоры с правителем здешних мест или с другим лицом, уполномоченным королем, по поводу таких дел, которые губернатор считает нужным подвергнуть обсуждению? Право,— добавил я,— если вы не располагаете такими полномочиями, значит, вы не можете действовать в согласии с правилами, принятыми в отношениях между государствами».

Он с озадаченным видом покачал головой, но все же промолвил, что нет, даже этого он сделать не может. Тут в разговор вмешался один из здешних военных комендантов и стал возражать ему, и между ними завязался горячий спор; один настаивал на том, что эта статья их закона страдает несовершенствами, а другой доказывал, что они обязаны соблюдать этот закон, в противном же случае на них падет ответственность за прискорбные последствия.

«Но послушайте,— обратился офицер к коррехидору,— вот вы задержали этого англичанина как заложника до получения выкупа за матросов, которых вы отпустили; предположим, он сообщает вам, что в том или другом месте уже приготовлены необходимые

деньги, каким образом можно их сюда доставить? Ведь любого, кто пожелает привезти их, вы возьмете в плен. Что ему делать? Как может он быть уверен, что ему вернут свободу, когда вы получите выкуп? И почему он должен так доверять вам, чтобы вручить вам деньги, все еще оставаясь у вас в плену?»

Доводы его были столь убедительны, что коррехидор совершенно потерялся и лишь повторял, что так гласит закон, от буквы которого он не смеет отступить, и остается лишь один выход — вновь послать нарочного к вице-королю Мексики.

Тогда комендант любезно уведомил меня, что своей властью даст пропуск на въезд всякому, кто доставит деньги, а также разрешит стоянку судна, на котором прибудет посланец, и обеспечит ему благополучный отъезд, если я поручусь, что он не привезет ни европейских, ни каких-либо других товаров и не сойдет на берег без его особого на то разрешения, а также если он, комендант, тем временем не получит от начальства противоположных указаний, хотя и в этом случае посланцы будут иметь возможность беспрепятственно вернуться домой, охраняемые белым флагом.

В знак признательности за его добросердечие я почтительно поклонился коменданту, а затем обратился к нему со смиренной просьбой разрешить моим матросам отправиться в путь в нашем шлюпе на том условии, что стоимость судна будет сейчас определена, а они, вернувшись в нем обратно, привезут с собой наличные деньги и либо выкупят его, либо оставят здесь.

Тогда он осведомился, в какую страну я пошлю их за столь крупной суммой денег и могу ли я поручиться, что оплата будет произведена, но, узнав, что им придется плыть всего лишь до Виргинии, он, по-видимому, совершенно успокоился, и, чтобы ублажить коррехидора, который все еще не шел на уступки, продолжая с истинно испанским упорством придерживаться буквы закона, вышеупомянутый комендант обратился ко мне с такими словами: «Сеньор,— сказал он,— я помогу вам избежать трудностей в этом деле, если вы примете мое предложение,— пусть ваши матросы берут этот шлюп с условием, что вы останетесь у меня заложником до его возвращения, и считаться он будет не вашим, хотя после уплаты денег он вновь перейдет в ваше владение, и что с матросами отправятся двое моих людей, за благополучное возвращение которых вы должны поручиться честным словом; на обратном пути шлюп пойдет под флагом его католического величества и пристанет к нашему берегу под видом судна, приписанного к порту Гавана, причем капитаном будет один из испанцев, скрывающийся под именем, которое он сам изберет».

С этим предложением коррехидор тотчас же согласился, заявив, что оно не противоречит королевскому указу, но подчеркнул

при этом, что на борту шлюпа не должно быть европейских товаров. Я выразил желание придать этому условию несколько иной вид, указав, что запрещается выгружать европейские товары на берег. Целых два дня спорили они о том, следует ли указать, что европейских товаров не должно быть на судне или что их нельзя выгружать на берег. Однако мне удалось намекнуть, что я вовсе не собираюсь торговать здесь, но нельзя же мне запретить привезти сюда для некоего лица небольшой подарок в знак благодарности за оказанную мне милость. После того как я, весьма уместно, сделал этот намек, дело пошло на лад, и вскоре они сошлись на том, что после уплаты выкупа за меня и за судно я по справедливости должен иметь право вести торговлю с любой страной вне владений короля Испании, чтобы возместить понесенные мною потери; поэтому было бы жестоко принудить моих матросов вернуться на порожнем судне и проделать такой путь понапрасну, еще больше отягчив пережитые нами невзгоды, а понеже на землю владений его католического величества никакие товары выгружены не будут, что, собственно, они и должны были обеспечить, все остальное их не касается.

Теперь я начал прикидывать, как бы умнее повести себя дальше в этой злополучной истории, и смекнул, что деньги помогут мне не только выпутаться из нее, но и придать ей совсем иной оборот. Посему я отправил в путь свой шлюп под испанским флагом, дав ему название «Нуэстра Сеньора де ля Валь-де-Грас» и назначив капитаном сеньора Хиральдо де Несма, одного из двух ранее упомянутых испанцев.

Я отослал с судном письма жене и моему главному управляющему, в которых дал указания, какой груз следует отправить сюда: я велел погрузить на шлюп двести бочек муки и пятьдесят бочек гороха, а также, чтобы претворить в жизнь другие мои намерения, я распорядился уложить сто тюков всякого рода европейских товаров, причем не только из тех, что хранятся у меня в кладовых, но и из запасов других хозяев, которые, как мне было известно, полностью нам доверяют.

Я приказал упаковать в эти тюки все самые роскошные и ценные английские ткани, которые есть в наличии или могут быть приобретены, будь то полотно, шерсть или шелк; более грубую материю, из тех, что в Виргинии идет на одежду слугам и невольникам, я велел оставить на месте. Не прошло и семи недель, как шлюп вернулся; в ожидании его я каждый день исправно выходил на отмель и первым заметил судно еще далеко в море, узнав его по парусам, а затем уже более явственно — по поднятым сигналам.

Шлюп с развевающимся на корме испанским флагом подошел ближе и, выполняя приказ, стал на рейде и бросил якорь. Я же,

заметив его еще за несколько часов до этого, сразу пошел к коменданту, сообщил ему, что судно приближается, и выразил надежду, что его превосходительство, как я его именовал, окажет мне честь лично подняться на борт судна, чтобы убедиться, как точно выполняются его приказания. Однако он отклонил мою просьбу, сославшись на то, что не имеет права покинуть остров, ибо он тогда нарушил бы долг службы и лишился бы ее, а стать вновь комендантом крепости можно лишь по особому распоряжению короля.

Тогда я попросил разрешить мне взойти на корабль, на это он согласился, и я доставил на берег золото на всю ту сумму, которую обязался уплатить как выкуп за моих матросов, меня самого и за судно; а поскольку мне было дозволено сойти на берег в другом месте, комендант направил туда своего сына с шестью солдатами, чтобы встретить и сопроводить меня с деньгами в крепость, которой он командовал и где жил. Деньги я увязал в тюки так, чтобы они походили на тяжелые узлы с серебряными монетами, и поручил нести их двум матросам с моего шлюпа, приказав согнуться под этим грузом для того, чтобы скрыть, что они легче, чем кажутся, ведь часть монет я заменил тремя свертками товаров, которые я намеревался подарить коменданту.

Когда деньги внесли в дом и положили на стол, комендант велел всем удалиться, а я дал каждому солдату по пиастру на выпивку, за что они были мне весьма благодарны, да и комендант, видимо, тоже был этим доволен. Затем я учтиво спросил его, угодно ли ему получить деньги, но он сказал, что нет, он возьмет их только в присутствии коррехидора и других чиновных лиц; тогда я попросил у его превосходительства, как я его именовал, разрешения развязать свертки с вещами, чтобы удостоиться чести отблагодарить его, в меру моих возможностей, за оказанные мне благодеяния.

Нет, сказал он, сюда нельзя привозить ничего, кроме денег, но если я привез что-нибудь для личного пользования, то он не станет любопытствовать и я могу поступать, как пожелаю.

Тогда я сам пошел в комнату, где лежали тюки, заперся там, вынул все вещи и разложил их покрасивее. В тюках было пять небольших свертков, в которых находилось следующее:

1,2. 20 ярдов отличного английского тонкого сукна, из коих 5 ярдов черного и 5 ярдов малинового были в одном свертке, а остальное — красивой пестрой расцветки — во втором.

3. 30 элей тонкого голландского полотна.

4. 18 ярдов прекрасного английского парчового шелка.

5. Штука черного колчестерского сукна.

Я положил все отрезы в ряд, и, несмотря на его притворные

возражения и отказы, мне удалось втолковать коменданту, что это привезено ему в подарок. Он много раз обежал комнату, поглядывая на вещи, и наконец согласился принять подношение, в знак чего швырнул на них свою шляпу, которую до того держал под мышкой, и чопорно мне поклонился. Когда все это кончилось, он пожелал остаться один, а я вышел в соседнюю комнату и ждал там, пока он меня не позовет. Вернувшись, я убедился, что он все подробно рассмотрел, после чего он тут же велел унести вещи.

Теперь это был совсем другой человек: он благодарил меня за подарок, заявил, что такой дар был бы впору вице-королю Мексики, а не простому коменданту крепости, что его услуги не стоят подобной награды и что он постарается до моего отъезда оказать мне содействие еще в чем-нибудь.

Когда мы обменялись любезностями, я попросил послать за коррехидором, и как только он пришел, я в его присутствии уплатил причитающийся по договору выкуп за судно и экипаж.

Но тут коррехидор заявил, что мои интересы он намерен блюсти не менее строго, чем свои, и принимает эти деньги не как выкуп за пленников, а как залог, равный той сумме, которую нам придется заплатить, если будет утверждено решение считать нас пленными.

А затем комендант и коррехидор сообща послали (во всяком случае, так нам было сказано) доклад об этом деле вице-королю Мексики, а мне потихоньку посоветовали задержаться до возвращения «Авизо» — судна, направляющегося через залив в Веракрус с нарочным к вице-королю; при этом они сообщили мне, что обычно такое плавание продолжается два месяца.

Мне это предложение пришлось по душе, так как мне дали понять, что я, вероятно, получу возможность лично отправиться на своем шлюпе в Веракрус, где смогу тайно сбыть товары, лежащие у меня в трюме. Но все получилось гораздо проще: примерно через два дня после того, как я внес залог, что описано выше, на борту моего судна появился сын коменданта, которому я неоднократно говорил, что буду рад его здесь видеть, и три знатных испанских купца, из коих двое не были тамошними жителями.

Они провели у меня время с приятностью и в веселии, и я сумел их так ублаготворить, что вечером они были не в силах добраться до берега и с удовольствием улеглись на коврах, которые я велел для них расстелить; а чтобы сын коменданта убедился, что и с ним хорошо обошлись, я принес ему для сна прекрасный халат и малиновый бархатный колпак, а утром предложил ему взять их себе, к чему он отнесся весьма благосклонно.

В разгар этой пирушки один из купцов, который не был так сильно одурманен вином, как молодые господа, и соображал, за-

чем пришел сюда, улучил удобный момент и вступил в беседу с капитаном шлюпа, чтобы разузнать, какие товары есть у нас на судне. Капитан быстро смекнул, в чем дело, и доложил мне о разговоре, а я дал ему указания, что́ говорить и как поступать дальше. Он выполнил мои распоряжения, и они, не теряя времени, сошлись на пяти тысячах пиастров и сами на свой страх и риск выгрузили кладь.

Меня это весьма порадовало, так как я уразумел, что, распродав груз, я возьму свое и полностью расквитаюсь с негодными испанцами за все обиды, нанесенные мне вначале. Задавшись такой целью, я велел капитану сбыть весь оставшийся товар и возложил все это дело на него самого, а он так ловко справился с моим поручением, что на следующий день трое испанцев скупили весь груз, выдвинув одно дополнительное условие — доставить их и купленный товар на нашем шлюпе в указанный ими пункт между Гондурасом и Веракрусом.

Мне было нелегко выполнить это требование, но, убедившись, что установленная при сделке цена с лихвой окупит такое путешествие, я дал свое согласие, но тут возникло еще одно препятствие — ведь если я, теперь уже свободный человек, уйду с испанцами на шлюпе, то я не дождусь благоприятного ответа вице-короля Мексики на ходатайство коменданта и коррехидора. Все же, решил я, будь что будет, а я поеду; с этим я отправился к коменданту и объяснил ему, что понесу большие потери, если мой шлюп будет стоять здесь, пока я дожидаюсь благоприятного ответа из Мехико, и попросил у него разрешения отбыть на шлюпе к острову Антигуа, чтобы распродать там свой товар, который, как ему известно, я не имею права выгрузить на берег здесь, в Гаване, и который может прийти в негодность от столь долгого лежания в трюме.

Разрешение я получил без труда, да еще комендант дал мне право вернуться обратно и, оставив судно на рейде, сойти — но лишь мне одному — на берег, чтобы лично ознакомиться с волеизъявлением вице-короля по моему делу, находившемуся сейчас у него на рассмотрении.

Получив таким образом разрешение на выезд, то есть пропуск для судна и себя самого, я с тремя испанскими негоциантами на борту отправился в плавание. Испанцы сказали мне, что они не из Гаваны, но один из них, по-видимому, врал; во всяком случае, они водили знакомство с богатыми купцами из Гаваны и ее окрестностей, ибо в ночь нашего отплытия притащили на борт судна изрядную сумму денег в пиастрах. И впоследствии я убедился, что они, купив у меня товар по весьма солидной цене, перепродали его

другим купцам на побережье у Веракруса с таким барышом, что он превысил полученную мной немалую прибыль более чем в два раза.

Подняв якорь, мы пошли прямо на Веракрус; сначала я сомневался, стоит ли заходить в порт, так как меня беспокоило, как бы испанцы опять не сыграли со мной какой-либо шутки, но поскольку мы плыли под испанским флагом и купцы предъявили нам подлинные документы за надлежащими подписями, оснований для страха не было.

Когда же мы оказались в виду берега, я убедился, что они весьма ловко ведут недозволенную торговлю, которая, несмотря на то что она запрещена законом, стала для них привычным занятием. А дело происходило так: ночью мы держались неподалеку от берега, примерно в шести лигах севернее порта; отсюда двое купцов отправились в шлюпке к берегу и часа через три вернулись, а вместе с ними приплыли пять челноков с семью или восемью купцами; не успели они подняться на борт, как мы легли на курс и к рассвету потеряли землю из виду.

Мне следовало бы еще раньше сказать, что с момента отплытия и в течение всего плавания по Мексиканскому заливу, которое длилось восемь суток, мы переворошили весь груз, открыли указанные испанцами тюки и сбыли им весь товар, кроме бочек с мукой и горохом.

Груз этот представлял собой значительную ценность, в чем можно убедиться, если учесть, что стоимость всего товара, указанная в накладной, или фактуре, которую написал для моей супруги мой наставник и управляющий, достигала лишь 2684 фунтов 10 шиллингов, а я продал его, вкупе с частью, приобретенной ими в тот вечер, когда, как я уже рассказывал, они впервые явились на борт нашего судна, за 38 593 пиастра, да к тому они еще добавили 1200 пиастров за фрахт и преподнесли капитану и матросам отменные подарки, что, как вы скоро узнаете, этим купцам было вовсе не трудно.

Когда земля скрылась из виду, испанцы занялись торговлей, и наши трое купцов открыли свою лавку, как они смело могли бы назвать ее. Я оставался в стороне, так как мне не было никакого дела ни до их лавки, ни до товара, а они провернули всю сделку за несколько часов, и ночью мы опять взяли курс к берегу, куда пять челноков доставили большую часть товаров, потом они вернулись к нашему судну и привезли деньги наличными как за выгруженный, так и за весь остальной товар, который они скупили на обратном пути, не оставив у меня на судне ничего, кроме бочек с мукой и горохом, которые я не желал продавать за цену, предлагаемую ими.

Стало быть, как я подсчитал, они получили более семидесяти тысяч пиастров за товар, который я им продал, почему я и загорелся желанием поближе познакомиться с покупателями, прибывшими ко мне с берега, так как мне пришло в голову, что я смогу без всякого труда ходить к ним из Виргинии на своем шлюпе, захватив с собой полученный из Англии для этой цели товар стоимостью в пять или шесть тысяч фунтов, и продавать его втридорога. Возымев такое намерение, я завязал с испанцами, прибывшими в челноках, знакомство, и мы так сдружились, что в конце концов я, с согласия трех испанцев из Гаваны, принял их приглашение сойти на берег и навестить их, а жили они в небольшом загородном доме или, вернее, усадьбе, где находится ingenio, то есть сахароварня, или сахарный завод, и где нас встретили, как принцев крови.

Я не преминул сказать, что знай я, как вновь добраться сюда, я мог бы навещать их один или два раза в году, а это принесло бы им и мне изрядную прибыль. Один из испанцев вмиг смекнул, в чем дело, и, уведя меня в другую комнату, сказал: «Сеньор, если вы и впрямь желаете вновь приехать сюда, я дам вам такие указания, которые оградят вас от просчетов, и можете не сомневаться, что, если вы сойдете на берег ночью и проберетесь сюда или поднимете на судне заранее условленные сигналы, мы не мешкая выйдем вам навстречу и доставим довольно денег, чтобы заплатить за любой груз, который вы привезете».

Я выслушал все их указания, а они дали честное слово, что обеспечат мне полную безопасность. Я решил посетить их как можно скорее, но не обмолвился об этом ни единым словом перед первыми тремя купцами. Итак, завершив в течение пяти дней наши коммерческие дела, мы вышли в море и направились к острову Куба; там я спустил на берег моих трех испанцев со всем их добром и к полному их удовольствию и не мешкая отправился на Антигуа, где со всей возможной поспешностью сбыл с рук двести бочек с мукой, которые, правда, несколько пострадали от длительного путешествия, и, загрузив шлюп ромом, патокой и сахаром, вновь взял курс на Гавану.

На этот раз я не знал покоя, страшась встречи с пиратами, так как на моем судне находилось большое богатство — не только товары, но сорок тысяч пиастров серебром. Вернувшись в Гавану, я сошел на берег, чтобы явиться к коменданту и корregидору и осведомиться, какой ответ получен от вице-короля. На этот раз счастье улыбнулось мне: как я узнал, вице-король отклонил приговор, согласно которому мы считались пленными и подлежали выкупу, полагая подобные меры допустимыми только в период военных действий; что же касается конфискации моего имущества, то этот вопрос, по его мнению, следовало передать на рас-

смотрение Торговой палате или Совету в Севилье и изложить в прошении к королю, если таковое будет подано.

Со стороны вице-короля подобное решение в известной мере было проявлением глубокого чувства справедливости. Ведь и в самом деле, поскольку мы не высадились на берег, не было законных оснований взять нас в плен; что же касается остального, то я уверен, что если бы я взял на себя труд поехать в Испанию и ходатайствовать там о возвращении мне судна и груза, мне их вернули бы.

Но как бы там ни было, я, не внося выкупа, обрел свободу, мой экипаж тоже был отпущен на волю, а деньги, которые, как уже говорилось, я оставил в виде залога, были мне возвращены. Итак, я покинул Гавану и не мешкая отправился в Виргинию, куда прибыл после полутора лет отсутствия и, несмотря на все понесенные мною потери, оказался на четыре тысячи пиастров богаче, чем был, когда уехал из дому.

Ну, а вся эта давняя история с теми, кто был взят в плен в Престоне, канула в прошлое и больше меня не тревожила, так как я совершенно успокоился, когда парламент утвердил всеобщую амнистию. Здесь было бы уместно отметить, что неизбежным спутником преступления является страх; всего несколько месяцев тому назад один лишь вид судна с несчастными пленными из Престона напугал бы меня до потери сознания. Не зря же я, чтобы избежать встречи с ними, притворился больным и забинтовал ноги, якобы страдая подагрой; а вот теперь они не вызвали бы во мне никакого волнения, и, увидев их, я испугался бы не больше, чем если бы натолкнулся на каких-нибудь невольников с плантаций.

Но особенно замечательным было то, что если раньше я воображал, что любой из них может узнать и вспомнить, а следовательно, разоблачить и выдать меня, то теперь, хотя мне приходилось часто бывать среди них и нередко встречаться если не со всеми, так с большинством, причем некоторых я узнавал в лицо, а иных помнил даже по имени, не оказалось ни одного человека, который посмотрел бы на меня особенно пристально или объявил, что раньше знавал меня.

Как покойно было бы мне, если бы все это я мог предвидеть заранее, от скольких несчастий, мучений и опасностей, кои потом посетили меня, я был бы избавлен! Но человек, создание близорукое, не может заглянуть далеко вперед и не способен ни предчувствовать грядущую радость, ни отвратить несчастье, как бы близко они к нему ни подступили.

Мысли у меня были заняты планами относительно Вест-Индии, и я начал готовиться к их осуществлению; я располагал исчерпывающими сведениями о том, какие европейские товары поль-

зуются особым спросом в Новой Испании; а спешил я так, ибо проведал, что жителям этой страны очень нужны европейские товары, потому что за последние два года отплытие галеонов из Старой Испании каждый раз задерживалось на необычайно длительное время. По этой причине, а также полагая, что у меня не хватит времени, чтобы послать в Англию за нужными товарами, я решил нагрузить мой шлюп табаком и ромом, который я привез с острова Антигуа, и отправиться в Бостон, находящийся в Новой Англии, и в Нью-Йорк, а там посмотреть, не удастся ли мне достать товары по своему вкусу.

Согласно с этим намерением, я вместе с женой сел на корабль, взяв с собой двадцать тысяч пиастров, и мы отправились в путь. В Новой Англии еще не бывало такого, чтобы купец из Виргинии закупил столь большое количество товаров, да еще, что их там особенно поразило, расплатился за основную часть наличными. Это обстоятельство так взбудоражило всех негоциантов, что посыпались вопросы, кто я такой и чем занимаюсь, на которые сразу же последовал четкий ответ, что я владелец обширных плантаций в Виргинии, и это было все, что члены моего экипажа могли сказать обо мне, но и того вполне достаточно.

Ну, а толков обо мне, как передавали, было немало: одни говорили, что я, несомненно, направляюсь на Ямайку, другие — что я собираюсь вести торговлю с испанцами, третьи — что я намерен отправиться в Южные моря и, став полукупцом, полупиратом, высадиться где-нибудь на побережье Чили и Перу; словом, одни говорили одно, другие — другое, в зависимости от того, что подсказывало этим сплетникам их воображение. Мы же продолжали заниматься своим делом, выложили двенадцать тысяч пиастров, продали ром и табак, после чего отправились в Нью-Йорк, где и истратили остальные деньги.

Самыми ценными товарами, которые мы здесь купили, были: отменное английское тонкое сукно, серж, драгет, нориджская шерсть, гарусная шерсть, саржа и всякого рода шерстяные ткани, а также изрядное количество разного полотна и на тысячу фунтов прекрасного шелка нескольких сортов.

С этим грузом я благополучно вернулся в Виргинию и, добавив к нему еще немного, начал готовиться к путешествию в Вест-Индию.

Мне следовало бы упомянуть, что я перестроил свой шлюп, несколько приподняв палубу, чтобы расположить на нем двенадцать пушек и сделать его пригодным к обороне, так как не хотел, чтобы его опять, как это случилось раньше, взяли на абордаж испанские суда; и впоследствии вы убедитесь, что принятые мною меры пошли нам на пользу.

В начале августа мы поставили паруса, а поскольку на нас дважды, при прохождении через Флоридский пролив или между Багамскими островами, нападали пираты, я решил, хоть это и удлиняло путь, держаться подальше от берега, что, как я полагал, избавит меня от столкновения с ними. Мы пересекли тропики, по-видимому, как раз там, где знаменитый сэр Уильям Фипс вытащил серебро из потонувшего испанского судна, и, лавируя меж островов, легли на курс вест-тень-зюйд, проплыли под островом Куба и ворвались на так называемых пассатных ветрах в великий Мексиканский залив, повернув сначала на север, а потом на северо-запад от острова Ямайка, и таким образом, как мне представляется, избежали встречи с испанцами с Кубы или из Гаваны.

Когда мы огибали западную оконечность Кубы, три испанских судна вознамерились взять нас на абордаж, как это было в прошлый раз по другую сторону острова, но вскоре испанцы убедились, что попали впросак и не сладят с нами, так как мы выкатили пушки, которых они раньше не заметили, и, пальнув три или четыре раза, обратили их в бегство.

На следующее утро они появились вновь,— теперь уже было пять больших лодок и один барк,— и погнались за нами; мы же подняли испанский флаг и приготовились к сражению, но тут они убрались восвояси. Итак, мы избежали опасности, потому что оснастили свой корабль.

Теперь мы с попутным ветром шли к порту назначения, и, так как я получил весьма толковые указания, мы отошли к северной части островка, где расположена крепость Сан-Хуан д'Ульва, двигаясь вдоль берега, нашли условленное место, высадились, и я послал капитана прямо на сахароварню. Там он нашел испанского купца, который жил в своем доме наподобие властителя маленького царства. Он радостно встретил моего посланца, понял, что я, согласно уговору, нахожусь на судне, стоящем в бухте, и не мешкая, примерно через четыре часа, явился ко мне, прихватив с собой из соседней усадьбы еще одного испанского купца, и все они пришли ко мне.

Они пытались уговорить меня остановиться у них до следующего вечера, а шлюп пока отвести, как обычно, на рейд, но я не согласился покинуть судно на целые сутки, и мы все вместе поднялись на него. Поскольку уже почти совсем стемнело, мы вышли в море, и к рассвету потеряли землю из виду.

Тут, как я уже рассказывал, мы начали показывать испанцам свое добро, и я приметил, что они несколько смущены количеством груза, но когда они разглядели товары поближе, то, наверное, не возражали бы, окажись последних раза в четыре больше. Быстро просмотрев те тюки, которые мы развязали, и почти не тор-

гуясь, они согласились купить все, что я им показал; но так как у них не хватило денег, они решили на следующий вечер съездить за ними.

Оставшуюся часть ночи мы посвятили осмотру всех товаров и составлению их описи, или, говоря по-другому, фактуры, чтобы наши покупатели хорошо рассмотрели покупку, выяснили ее стоимость и установили, сколько нужно привезти денег.

Вечером, как и было задумано, мы приблизились к берегу, а испанцы в нашей шлюпке увезли часть товаров и, выгрузив и спрятав их, вернулись на борт моего судна вместе с еще тремя купцами, с которыми мы уже имели дело раньше, и привезли столько денег, что на них можно было купить не только весь мой груз, но и самый корабль, если бы я пожелал продать его.

Следует отдать им должное — в переговорах со мной они вели себя как истинно благородные люди. Они отлично понимали, что я продаю им все значительно дешевле, чем те трое гаванских купцов, у которых они купили товары раньше; эти купцы были настоящими барышниками, так как сначала купили товар у меня, а затем, как я уже рассказывал, при продаже удвоили цену; правда, теперь и я изрядно повысил цену по сравнению с той, за которую ранее продал груз упомянутым испанцам, но для этого у меня были основания: путь туда и обратно был чрезвычайно долгим и опасным и все трудности, с ним сопряженные, лежали на мне одном.

Словом, я продал им весь груз и получил за него двести тысяч пиастров, да к тому же, когда они прибыли ко мне во второй раз, их шлюпки были до краев полны свежей провизией — тушами свиней и овец, битой птицей и т. п.— в количестве, достаточном для дальнейшего плавания, причем все это добро мне преподнесли в подарок; таким образом, купля-продажа завершилась к взаимному удовольствию, и при расставании мы дали друг другу обещание не прерывать наших торговых связей, а они заверили меня, что окажут мне всяческую помощь, если при перевозе товаров для них на меня обрушится беда, что, вообще говоря, вполне могло случиться, поскольку таможенные правила относительно людей, ведущих у них на побережье недозволенную торговлю, весьма суровы.

Я сразу же собрал свой небольшой экипаж на совет, чтобы решить, каким путем идти обратно; помощник капитана был того мнения, что нужно гнать корабль против ветра и подняться к Ямайке, но поскольку у нас было слишком много добра, чтобы подвергнуть себя риску, и нам следовало избрать самый безопасный путь, я и капитан корабля полагали, что лучше всего плыть по заливу вдоль побережья и, не теряя берегов Фло-

риды из виду, войти кратчайшим путем в пролив, направиться к берегам Каролины, зайти в первый порт, куда нас пустят, и дождаться там любого английского военного судна, которое совершает плавание вдоль побережья и сможет сопровождать нас до Флориды.

Курс был выбран на редкость удачно, так что путешествие наше прошло совершенно благополучно, если не считать того, что около мыса Флорида и в проливе, пока мы не поднялись до широты Сент-Огастина, к нам несколько раз приближались испанские крупные и малые барки с намерением захватить нас, но одних смущал наш испанский флаг, а других удерживал на почтительном расстоянии внушительный ряд пушек у нас на борту. Таким образом, мы прибыли целые и невредимые, и хотя раз или два штормовой ветер чуть не выбросил нас на мель, повторяю, мы благополучно вошли в Чарлсривер в Каролине.

Отсюда мне удалось послать домой письмо, в котором я рассказал жене о моих успехах, а затем, получив сообщение, что в прибрежной полосе нет пиратов, я отважился, хотя поблизости не было ни одного военного судна, пуститься в плавание. Вскоре мы без каких-либо происшествий вошли в Чесапикский залив, то есть приблизились к берегам Виргинии, а через несколько дней, пробыв в отъезде три месяца и четыре дня, я вернулся к себе домой.

Никогда еще никому не удавалось совершить в этих краях плавание столь быстро и с таким барышом: ведь, по самым скромным подсчетам, я получил наличными двадцать пять тысяч фунтов стерлингов чистой прибыли, и это с учетом всех расходов, связанных с путешествием в Новую Англию.

Казалось, для меня настало время утихомириться, но человеку не хватает мудрости успокоиться на достигнутом. Моя благоразумная жена настойчиво старалась убедить меня, что я должен угомониться и умерить свой деловой пыл. Я же воображал, что передо мной открыт путь к несметным богатствам, что я могу повернуть золотые реки Мексики в сторону моих виргинских владений и иду на неизбежный в таких случаях риск. Я смотрел на жизнь совсем по-иному, чем моя жена, и не мог думать ни о чем другом, кроме наживы. Вопреки доводам разума, я поспешно готовился к новому путешествию и старался раздобыть и запасти побольше разных товаров для продажи. В Новую Англию я на сей раз не поехал, так как за несколько месяцев до этого послал доверенного человека в Англию и теперь располагал прекрасными английскими товарами; таким образом, мой товар, согласно составленной мною накладной, стоил более десяти тысяч фунтов и был так умело подобран и выгодно куплен, что я рассчитывал выручить за него гораздо больше, чем прошлый раз.

Теша себя подобными надеждами, мы в апреле, то есть почти через пять месяцев после возвращения из первого путешествия, отправились во второе, но на этот раз удача изменила нам с самого начала, и хотя мы, чтобы не встретиться с пиратами, отошли от берега почти на шестьдесят лиг, уже на пятый день нас атаковали и обстреляли две пиратские шхуны, которые держали курс на север, то есть к берегам Ньюфаундленда; они отняли у нас всю провизию, боевые припасы, ружья и пистолеты, так что мы оказались в плачевном положении. Поскольку это произошло близко от дома, мы сочли разумным повернуть назад к Виргинии и там поправить свои дела и пополнить запасы; для этого нам потребовалось около десяти дней, после чего мы вновь пустились в плавание. Что же касается груза, который мы везли, то его пираты не тронули, потому что все товары были увязаны в громоздкие тюки, а если бы пираты их и взяли, то не знали бы, что с ними делать.

С нами не случилось ничего достойного упоминания, пока мы, держась того же курса, не вошли в Мексиканский залив, где на нас и обрушилось первое несчастье: огибая Кубу и направляясь к побережью Юкатана, мы увидели испанскую эскадру, которая обычно ходит из Картахены или Порто-Белло в Гавану, а оттуда в Европу. Она состояла из одного брига и трех фрегатов; из них два пустились за нами в погоню, но, так как уже смеркалось, мы вскоре потеряли их из виду и, взяв курс на север, пересекли Мексиканский залив, как бы направляясь к устью Миссисипи; таким образом, мы скрылись от них и через несколько дней спустились в нижнюю часть залива, где находился наш порт назначения.

Как обычно, мы ночью подошли к берегу и подали условный знак нашим друзьям, но, вместо того чтобы, как прежде, сообщить о своей готовности прибыть к нам, они оповестили нас, что наше судно замечено в заливе и известие об этом отправлено в Веракрус и другие места; несколько фрегатов уже разыскивают нас, а еще три будут крейсировать в поисках нашего шлюпа завтра утром.

Мы недоумевали, как это могло случиться, но впоследствии нам рассказали, что эти три фрегата, потеряв нас ночью из виду, подошли к берегу и забили тревогу, что, мол, появились морские разбойники.

Как бы там ни было, а нам надлежало немедленно решить, что делать дальше; совет, который подали нам испанские купцы, был весьма разумен, если бы мы ему последовали,— той же ночью перевезти на берег на нашей шлюпке и в их челноках как можно больше тюков, а утром побыстрее двинуться к северной части залива и положиться на судьбу.

Моему шкиперу, то есть капитану, совет этот очень понравился, но когда мы принялись за его выполнение, нас обуяли смяте-

ние и паника, и как только стало светать, мы, не успев переправить и шестнадцати тюков, подняли паруса. Но тут капитан предложил новый выход — чтобы я в готовой к отплытию лодке, нагруженной еще пятью тюками, поехал на берег и остался там при условии, что испанские купцы согласятся спрятать меня, а он уйдет в море и попытает там счастья.

Испанские купцы охотно взялись спрятать меня, тем более что я мог сойти за настоящего испанца; они отвезли меня на берег вместе с двадцатью одним тюком, а мой шлюп ушел в море. Мы с капитаном договорились, что если он заметит преследователей, то ночью непременно приведет шлюп к берегу. Мы без устали высматривали его, но тщетно, потому что, как оказалось, его обнаружили два фрегата и бросились за ним в погоню. Мой шлюп, отличавшийся быстроходностью, набрал такую скорость, что фрегаты отстали и наши непременно к ночи ушли бы от них; но, несмотря на все принятые меры, от моего судна никак не отрывался маленький разбойничий корвет, который два или три раза пытался ввязаться в бой, помогая, таким образом, другим судам нагнать наше. Однако шлюп не замедлял хода, и они были вынуждены преследовать его трое суток, пока на свежем юго-западном ветре он не подошел к Рио-Гранде, или Миссисипи, как называют эту реку французы, и капитан, не видя другого выхода, посадил шлюп на мель недалеко от принадлежавшей тогда французам крепости Пенсакола. Мой экипаж провел бы судно в речной порт, но поскольку не было лоцмана, а шли они против сильного течения, пришлось посадить судно на мель, а людям спасаться в шлюпках, кто как может.

Положение, в котором я теперь оказался, было двойственным — с одной стороны, мне очень повезло, ибо я попал к истинным друзьям, настолько преданным, что они пеклись обо мне не меньше, чем о самих себе; кроме того, спокойствию моему способствовало и то, что благодаря их совету и содействию все мои товары остались при мне, а стоимость этого груза была столь велика, что я мог прожить здесь безбедно, сколько потребуется; в случае же надобности, как заверил меня первый купец, которого я навестил, он даст мне в долг двадцать тысяч пиастров. С другой стороны, я был ввергнут в пучину отчаяния из-за невозможности снестись с женой и сообщить ей, что я вышел живым и невредимым из всех злоключений и нахожусь среди своих доброжелателей.

Но этому горю ничем нельзя было пособить, кроме единственного проверенного средства от всех неизлечимых страданий — терпения. К тому же, если бы я ведал, что грозило мне, попади я в руки испанцам, мне бы следовало не только исполниться терпением, но и питать глубокую благодарность к судьбе, ибо я избе-

жал ссылки на рудники, а может быть, что много страшнее,— суда инквизиции. А если бы мне и удалось ускользнуть от испанцев, меня ожидала бы участь моего экипажа, испытавшего еще более ужасные бедствия, опасности и страдания. Скитания забросили их к дикарям, а затем к французам, оказавшимся свирепее дикарей, потому что они не только не облегчили им страдания и не оказали помощи, а, напротив, ободрали их как липку. Скитания эти, которые сами по себе заслуживают отдельного рассказа, закончились, лишь когда они добрались до юго-западной части Южной Каролины. Так вот, повторяю, если бы все это было мне известно, я должен был бы в моем положении не только исполниться терпением, но и быть благодарным судьбе, считая себя счастливцем.

Как уже говорилось, здешний купец — мой покровитель — оказывал мне княжеские почести, проявлял особую заботу о моей безопасности; и в то время, когда мы со страхом ожидали, что мой шлюп захватят и приведут в Веракрус, он прятал меня глубоко в лесу в домике, при котором был прекрасный птичник со всякого рода американскими птицами, часть которых он ежегодно отправлял в Испанию в подарок своим друзьям.

Без такого убежища я не мог бы обойтись хотя бы потому, что, если бы мой шлюп захватили и привели в Веракрус, а матросов взяли в плен, их вынудили бы признаться, что я их хозяин, и указать место, где я высадился и выгрузил двадцать один тюк груза. Что касается этого груза, то мой покровитель о нем отлично позаботился: все тюки были вскрыты, товары осмотрены, а потом вместе с другими европейскими товарами, которые прибыли на галеонах, заново упакованы и отправлены различным негоциантам в Мексику; так что никто, даже прознав о существовании моего груза, не смог бы его обнаружить.

В таких обстоятельствах, обуреваемый беспокойством о судьбе моего шлюпа, я прожил в этом загородном доме, или, как его здесь называют, «домике в долине», около пяти недель. Мне дали в услужение двух негров, из коих один выполнял обязанности поставщика и повара, а второй — камердинера. Мой друг, хозяин усадьбы, навещал меня каждый вечер, мы вместе ужинали и посещали птичник, прекраснее которого я нигде не видывал.

В конце пятой недели моего уединения мой покровитель получил наконец точные известия о судьбе моего судна — два фрегата и шлюп гнались за ним до тех пор, пока оно не наскочило на мель около форта Пенсакола; преследователи видели, как оно разбилось и разлетелось на части под ударами волн, а матросы спаслись в шлюпке. По-видимому, экипаж упомянутых фрегатов доставил эту новость в Веракрус, куда и отправился мой друг с на-

мерением все разузнать и где капитан одного из фрегатов поведал ему эту историю.

Известие о том, что судно мое и весь груз погибли, но команда выбралась на берег и спаслась, было много приятнее для меня, чем если бы я узнал, что груз цел, а экипаж попал в руки испанцев, ибо только теперь я чувствовал себя в безопасности,— ведь случись все по-другому, матросов вынудили бы открыть мое местопребывание, мне пришлось бы бежать и даже с помощью моих друзей было бы чрезвычайно трудно скрыться.

Теперь же я обрел полное спокойствие, а мой друг, полагая, что больше нет надобности укрывать меня в «домике в долине», открыто привез меня к месту своего постоянного пребывания, где выдал меня за негоцианта, который недавно прибыл из Испании в Мексику, а оттуда приехал к нему погостить.

Меня нарядили в костюм знатного испанца, дали мне в услужение трех негров и стали называть доном Фердинандом де Мереса из Кастилии.

Делать мне здесь было нечего,— я лишь совершал прогулки, ездил верхом в лес и возвращался домой, где меня ожидало отрадное уединение и покой, ибо никто на всем свете не живет в такой роскоши и не располагает такими огромными богатствами, как здешние купцы.

Живут они, как я уже говорил, в усадьбах (villas), на своих ingenios, или, как называли бы их в Виргинии, плантациях, где производится индиго и сахар; кроме того, эти купцы владеют домами и складами в Веракрусе, куда ездят дважды в год, когда туда прибывают галеоны из Испании и когда эти галеоны загружают и отправляют в обратный путь. Приехав как-то с ними в Веракрус, я был поражен, когда увидел, какую громадную партию товаров получили они от своих поверенных в Испании и как ловко они с ней справились: как только ящики, узлы и тюки с европейскими товарами поступали к ним в кладовые, носильщики и упаковщики, то есть их слуги — негры и индейцы, вскрывали всю упаковку и укладывали товары по-другому, после чего новые тюки и отдельные свертки отправляли на лошадях в Мексику и распределяли там между несколькими купцами, а остаток привозили домой, то есть в усадьбы, где, повторяю, жили хозяева груза; усадьбы же находились примерно в тридцати английских милях от Веракруса, так что дней через двадцать их кладовые вновь оказывались порожними. По окончании всех дел в Веракрусе они вместе со слугами тотчас уезжали домой, не оставаясь там долее, чем требовалось, так как воздух в тех краях вредоносный.

Не меньше поражала меня и та точность, с которой мексиканские купцы расплачивались за купленные товары серебром и зо-

лотом, так что уже через несколько месяцев кладовые моих хозяев до потолка были набиты сундуками с пиастрами и серебряными слитками.

Узкие рамки настоящего повествования не дают возможности подробно рассказать, как точно и исправно, но без всякой спешки и путаницы происходило все это дело, как быстро завершались переговоры о предметах весьма трудных и касающихся больших ценностей, как стремительно вновь упаковывались товары, составлялись фактуры и все отправлялось к назначенным лицам; примерно через пять недель у моих хозяев не оставалось и следа товаров, прибывших на галеонах из Европы, причем товары эти записывали в расчетную книгу, чтобы хозяин точно знал, кому каждый из них отправлен; затем все дела поступали в ведение бухгалтеров, которые составляли фактуры и писали письма, хозяину же оставалось только прочитать и подписать их, а другие работники переписывали их в особые книги.

Мне трудно оценить стоимость товаров, которые прибывали к ним на этих торговых судах, но я помню, что когда галеоны отправились в обратный путь, они увезли с собой один миллион триста тысяч пиастров наличными, да еще сто восемьдесят тюков или мешков кошенили и около трехсот тюков индиго; при этом испанцы скромно утверждали, что все это предназначено для них самих и их друзей; на самом же деле несколько мексиканских купцов поручили им перевезти на судах и препроводить соответственно их распоряжению большие количества драгоценных слитков, и мне известно также, что при этом им был определен куртаж и они даже таким образом получили немалую прибыль.

Я побывал с ними в Веракрусе, а после возвращения оттуда они расплатились со мной за двадцать один тюк, которые я в свое время выгрузил на берег. По представленному мною счету, к которому были приложены образцы всех товаров и где была обозначена их окончательная цена, мне причиталось восемь тысяч пятьсот семьдесят пиастров; эту сумму мой друг, а иначе я не могу его теперь называть, уплатил наличными, приказав своим слугам-неграм сложить все деньги в углу моей комнаты; таким образом, несмотря на пережитые несчастья, я все еще был весьма богат.

Еще в Виргинии я велел один тюк упаковать особо; в нем лежали товары, выписанные мною из Англии — в основном тонкое английское сукно, шелк, шелковый бархат и очень тонкое голландское полотно — и предназначенные на всякий случай для подарков; как я ни торопился, переправляя двадцать один тюк товаров на берег, этот тюк я не забыл захватить, и при продаже всех остальных товаров я сказал, что в этом тюке упакована моя одеж-

да и другие вещи личного обихода и поэтому открывать его не следует; это было выполнено, и тюк принесли ко мне в комнату.

В этом тюке было упаковано несколько свертков, которые я приказал сложить так, чтобы в случае необходимости иметь возможность сделать нужный подарок. Все вещи были, однако, довольно ценными; я полагаю, что весь тюк обошелся бы мне в Англии не дешевле двухсот фунтов стерлингов. Хотя в моем положении мне следовало несколько умерить свою щедрость, я чувствовал себя настолько обязанным, особливо моему доброжелательному и великодушному испанцу, что счел необходимым, открыв два меньших свертка, соединить вместе их содержимое и преподнести подарок, достойный как моего благодетеля, так и того уважения, которое он мне выказал. Когда я сложил вместе те товары, которые находились в этих двух свертках, получилось следующее:

Две штуки отменного тонкого английского сукна, самого лучшего из того, что можно было достать в Лондоне; подобно сукну, которое я преподнес губернатору в Гаване, одно сукно было прекрасного малинового, весьма стойкого цвета, так как окрашено оно было в пряже, а второе — отличного черного цвета.

4 штуки тонкого голландского полотна, которое стоило в Лондоне от семи до восьми шиллингов за эл.

12 штук прекрасного шелкового драгета и вельвета для мужского платья.

6 штук широкого шелка, из них две — камки и две — шелка для мантилий.

Коробка лент и коробка кружев, причем последняя стоила в Англии около сорока фунтов стерлингов.

Я разложил эти чудесные вещи у себя в комнате и как-то утром привел туда испанца, якобы для того, чтобы, как это частенько бывало, выпить по чашке шоколаду. Когда мы, пребывая в веселом расположении духа, попивали шоколад, я в разговоре заметил, что, хотя я продал ему почти весь мой груз и получил с него за это деньги, мне, по сути дела, следовало бы не продавать ему товары, а сложить их у его ног, ибо только благодаря его покровительству я спас хоть что-нибудь из моего имущества.

Приветливо улыбаясь, он ответил, что взять у меня товары без денег было бы то же, что обобрать потерпевшего кораблекрушение, а это еще хуже, чем ограбить больницу.

В конце концов я объявил, что имею к нему две просьбы, в которых мне нельзя отказать. Затем я сообщил ему, что приготовил для него небольшой подарок и он не может не принять его по причине, которую я потом изложу, и что вторую просьбу я поведаю ему после того, как он выполнит первую. Он ответил, что, не потерпи я бедствия, он принял бы от меня подарок, но теперь

поступи он так — это было бы грубо и невеликодушно. Но, возражал я, необходимо, чтобы он выслушал, по какой причине он обязательно должен принять подарок. И тогда я сообщил ему, что этот сверток был собран в Виргинии моей женой и мною для него лично и что на метках, прикрепленных к свертку, обозначено его имя, после чего я показал ему эти метки,— которые в самом деле были лишь на одном из свертков, куда, как уже упоминалось, я вложил содержимое второго,— добавив, что все это принадлежит ему. Короче говоря, я так убеждал его принять эти вещи, что он поклонился в знак согласия, а я без лишних слов приказал моему негру, то есть, вернее, его негру, который прислуживал мне, унести все, кроме двух коробок, в покои хозяина, который, таким образом, был лишен возможности обстоятельно рассмотреть подарок.

Мой друг удалился, но минут через пятнадцать ворвался ко мне в страшном гневе, чуть не с бранью, однако я без труда приметил, что в самом деле он весьма доволен; он заявил мне, что если бы успел раньше подробно рассмотреть подарок, то ни за что не позволил бы себе принять его, и закончил свою речь теми же словами, что и губернатор в Гаване, сказав, что такой подарок подобало бы вручить вице-королю Мексики, а не ему.

Успокоившись, он прибавил, что помнит о моих двух просьбах и о том, что я собирался изложить ему вторую после того, как будет исполнена первая; при этом он выразил надежду, что я попрошу у него нечто такое, что даст ему возможность достойно отблагодарить меня.

Мне известно, признался я, что в Испании не принято, чтобы посторонний человек преподносил дамам подарки, и я нисколько не сомневаюсь, что он доставляет женщинам из его семьи все, что, по его мнению, им нужно. Однако в свертке оказались две коробочки, на которых моя супруга собственноручно пометила, что они предназначены для передачи его родственницам, и я убедительно прошу, чтобы он лично вручил их по назначению от имени моей жены; я же являюсь всего лишь посыльным и поступил бы бесчестно, если бы не выполнил доверенного мне поручения.

Речь шла о двух коробках с лентами и кружевом, которые я, ведая, сколь изысканным вкусом обладают испанские дамы и сколь требовательно относятся к подобным вещам сами испанцы, велел жене сложить и собственноручно, как уже упоминалось, надписать, кому они предназначены.

Он улыбнулся и подтвердил, что у испанцев не принято предоставлять женщинам такую свободу, как это водится у других народов, но все же, добавил мой друг, он надеется, я не воображаю, что испанцы считают своих женщин потаскухами или непременно ревнуют своих жен. Что же касается моего подарка, то, поскольку

он согласен принять его, было бы желательно, чтобы я указал, какую именно часть отдать его супруге и какую — дочерям, ибо у него три дочери.

Тут я вновь стал изощряться в учтивости, заверяя его, что ни в коем случае не могу давать подобные указания и молю его лишь о том, чтобы он собственными руками преподнес своей донне, то есть супруге, подарок, посланный ей моей женой, и не забыл бы сказать, что это от моей жены, обитающей ныне в Виргинии. Он был весьма доволен моей щепетильностью; и я сам видел, как он преподносил своей супруге этот подарок, исполнив все, что я просил, и в какой восторг она пришла, когда открыла коробки, что вполне естественно, ибо здесь подобные изделия стоят больших денег.

Хотя ко мне и раньше относились на редкость дружелюбно, лучше и желать нельзя было, все же признательность, которую я проявил, преподнеся им столь великолепный подарок, не осталась незамеченной; и, по-видимому, вся семья ощутила ее; из чего я заключаю, что сделанные таким образом подношения не пропадают даром, если обеими сторонами не движет корыстолюбие.

В предоставленном мне убежище, хоть и был я здесь вроде бы узником, жилось приятно и удобно; я мог вкушать любые удовольствия и получить все, что мне заблагорассудится, кроме одного — возможности вернуться домой; и, наверно, именно поэтому моим единственным желанием было уехать отсюда, ибо нередко тоска по одной утраченной радости может омрачить все прочие услады мира.

Здесь я испытал мгновения, которых ранее не знавал,— я хочу сказать, что здесь я оглянулся назад, на свою долгую жизнь, и понял, что мог бы не погрязать в грехе, а обращать себе на пользу несметные блага ее; и здесь я постиг, что честные размышления о прошлом являют собой высшую благодать, ниспосланную человеку.

Здесь написал я эти воспоминания и должен заметить, что искренности размышлений моих о минувшем немало способствовал жестокий приступ подагры, которая, как многие полагают, прочищает мозги, восстанавливает память и наделяет нас способностью оценить собственные деяния глубоко, чистосердечно и с пользой для себя.

Делая эти записи, я, конечно, не мог предвидеть, что под влиянием духа времени в Англии станет модно сочинять жизнеописания и что читать их будут с удовольствием; если кто-нибудь, прочитав мое повествование, сочтет за благо предаться тем искренним размышлениям, кои, признаюсь, должны были бы давно овладеть мною, может быть, он извлечет из моего опыта больше поль-

зы для себя, чем я сам. Превратности судьбы, которые испытывает заурядный человек на протяжении быстретекущей жизни своей, явно свидетельствуют, что жизнеописания могут во многих отношениях быть полезными и поучительными для тех, кто прочтет их, если авторы уделят должное внимание размышлениям о нравственном и религиозном совершенствовании.

Хотя повествование мое близится к концу, многие злоключения, выпавшие мне на долю, следовало бы описать более подробно, что споспешествовало бы искренним размышлениям, к завершению коих я сам еще не пришел. Особенно хотелось бы мне отметить, что, перебирая в памяти все превратности моей жизни, я постиг, что нашими поступками руководит, наши устремления ограничивает и всеми свершениями в жизни нашей повелевает непобедимая и всемогущая сила — указующая десница всевышнего.

Это откровение помогло мне уразуметь, сколь справедливо то, что именно всевышнему возносим мы хвалу за все сущее, что коль скоро он не только управляет связью причин и следствий, коей строго повинуется вся природа, но и сотворил эту связь, то его — властелина и творца всего сущего — надлежит нам возблагодарить за все свершения и за все следствия тех причин, коим он положил начало.

Я, живший до сих пор поистине без бога в сердце, научился теперь глубже проникать мысленным взором в суть подобных явлений; и это в конце концов заставило меня постичь, сколь нечестивой была моя жизнь. Правда, никто не внушил мне ни религиозных, ни нравственных убеждений; впервые я приобщился к ним, когда вел недолгую мирную жизнь в Шотландии, где отвращение к безнравственности моего названого брата — Капитана и общение с благонравными и набожными людьми, с которыми свела меня судьба, внушили мне некоторое представление о добре и зле и показали, сколь прекрасна умеренная и богобоязненная жизнь; но я уехал из этой страны и все позабыл. Во второй раз праведные мысли пробудились во мне под влиянием мягких увещаний и справедливых рассуждений моего управляющего, которого я величаю наставником, человека поистине благочестивого и искренне раскаявшегося в былых заблуждениях. Горе мне! Ведь если бы я, подобно ему, чистосердечно покаялся в совершенных мною дотоле проступках, мне не пришлось бы потом в течение двадцати четырех лет влачить беспутное и нечестивое существование.

Теперь, как говорил я выше, у меня нашлось свободное время, чтобы поразмыслить и раскаяться, вспомнить минувшее и с глубоким отвращением к самому себе изречь, подобно Иову: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле».

Вот какие мысли и чувства владели мною, когда я писал историю моей жизни. Мне хочется, чтобы всякого, кто вознамерится прочесть ее, охватил бы при чтении дух раскаянья. Покаянные мысли бывают особенно благотворны, когда предаешься им у себя дома, где царят покой, изобилие и свобода, ниспосланные провидением. Много хуже бывает тем людям, которые, как это пришлось супруге моей и наставнику, живут на чужбине в положении невольников. Тяжкие страдания выпали также и на долю капитана моего шлюпа, который, как мне рассказали, скончался, испытывая глубокое раскаяние, во время скитаний по горам и долам, где он блуждал, пытаясь добраться через Каролину домой — в Виргинию; матросы же мои добрели туда, изведав безмерные лишения и муки. Нелегко было каяться и мне, ибо, находясь в благоприятных обстоятельствах, я все же был пленником, оторванным от семьи, увидеть которую я долгое время даже не надеялся.

Итак, повторяю, человек, обретший покой, располагает возможностью предаться благотворному раскаянию. Но сколь невелико число тех, кто решается поглубже заглянуть себе в душу, раньше чем на их жизненном пути возникнут непреодолимые препятствия!

Наконец, повторяю, и для меня приспело время покаяться; не мне судить, угодно ли господу покаяние наше, когда он ниспосылает нам возможность раскаяться. Удовольствуюсь тем, что посоветую читателям моего повествования вспомнить о моей судьбе, столкнувшись на своем жизненном пути с обстоятельствами, подобными моим, и спросить себя: а не настало ли время покаяться? И да откликнется на это их душа!

Мне остается лишь поведать, что мой добрый друг — испанец, не располагая иной возможностью помочь мне вернуться в Виргинию, получил для меня разрешение отправиться под видом испанского купца на галеонах в Кадикс. Я прибыл туда в целости и сохранности и вдобавок привез с собой все деньги, потому что мой друг не дозволил мне, гостю, потратить ни одного пиастра. Вскоре я из Кадикса переправился на борту английского торгового судна в Лондон, откуда послал жене подробный отчет о моих приключениях; а через пять месяцев она приехала ко мне, спокойно оставив все наше хозяйство в тех же верных руках, что и раньше.

КОНЕЦ

РОБИНЗОН КРУЗО

История издания «Робинзона Крузо» достойна его «приключений». Поначалу ни один лондонский издатель не принимал рукописи. Затем, когда книга все-таки появилась, пришел успех немедленный и широкий. «Типографская краска на страницах «Робинзона» еще не успела просохнуть,— рассказывает библиограф,— а уже стали писать подражания ему». В общей сложности, вместе с переделками, к исходу прошлого века насчитывалось до семисот различных изданий «Робинзона». Неизменным спутником книги сделались иллюстрации, выполненные знаменитым французским графиком Гранвиллем в 30-х годах XIX столетия.

Первый перевод «Робинзона» в России был с французского, что часто у нас случалось с английскими книгами. Появился этот перевод в 60-х годах XVIII века и принадлежал Якову Трусову. В 40-х годах XIX столетия «Робинзон» был переведен на русский язык с английского.

Историкам литературы еще предстоит выяснить, насколько опыт Дефо учитывал Пушкин, когда он был занят выработкой своей повествовательной прозы. Следов интереса нашего великого поэта к «Робинзону» пока не обнаружено, однако он знал «Дневник чумного года».

У Лермонтова в «Герое нашего времени» описывается некий франт с прической «под мужика» и с тростью, «как у Робинзона Крузоэ». Эта деталь свидетельствует о том, что Робинзон сделался у нас популярен и даже моден, подобно героям Байрона.

Одним из самых усердных читателей «Робинзона» был Толстой. С книгой Дефо он фактически не расставался всю жизнь. По заданию Толстого один из учителей яснополянской школы сделал краткий пересказ «Робинзона», Толстым опубликованный. Толстой не только читал «Робинзона», он старался «робинзонить» (выражение Руссо) на деле. Простая трудовая жизнь — вот что привлекало Толстого в судьбе Робинзона, который был для Толстого примером «нормального человека».

Читать «Приключения Робинзона» обычно начинают в детстве. Наиболее долговечным изложением книги Дефо для детей оказалась обработка Корнея

Чуковского. В конце 1920-х годов А. В. Франковский отредактировал перевод «Робинзона», выполненный М. Шишмаревой еще в начале нашего века, и в таком виде этот перевод неоднократно переиздавался. Наиболее обстоятельно исследован и прокомментирован «Робинзон Крузо» академиком М. П. Алексеевым.

Подобно своим великим соотечественникам Шекспиру и Диккенсу, создатель «Робинзона» нашел у нас «вторую родину», он стал некогда как бы «русским» писателем и остается им до сих пор.

М. и *Д. Урновы*

Стр. 21 *...мой отец приехал из Бремена...*— Бремен издавна был одним из важных портовых городов северо-западной Германии. В XVII—XVIII вв. Бремен вел оживленную торговлю с Англией и ее колониями.

...обосновался в Гулле.— Гулль (или Халл) — город в Йоркшире на восточном берегу Англии. Расположенный в устье реки Хамбер, при впадении в море нескольких судоходных рек, Гулль являлся одним из портов, связывавших центральные области Англии с северными странами Европы. Упоминаемый ниже *Йорк*, древний город северной Англии, давший имя одному из самых обширных графств королевства Йоркшир, также являлся весьма важным торговым центром.

...переделали в Крузо.— Одного из товарищей Дефо по учению в диссидентской семинарии в Ньюингтон-Грине звали Тимоти Крузо; по-видимому, Дефо воспользовался его фамилией для своего героя. Обращает на себя внимание близость английской фамилии к немецкому слову «крёйц» (Kreuz) и глаголу «крейцен» — крестить (*англ.* to cross или to cruise). Очень возможно, что такое истолкование фамилии Дефо мог знать от упомянутого выше Тимоти Крузо. Один из первых биографов Дефо, Райт, отметил, что семья Крузо, проживавшая в городе Лидсе, имела латинский девиз на своем гербе, означавший «под крестом» (sub cruce); любопытно также заглавие одного из ранних немецких подражаний роману Дефо: «Немецкий Робинзон, или Бернгард Крейц» (1727). Из текста романа Дефо остается неясным, считал ли он имя Робинзон личным именем или фамильным прозванием. В дальнейшем герой именуется также Робином и Бобом; последнее является уменьшительным от имени Роберт. В конце первой части романа действует также другой Робинзон — матрос из взбунтовавшейся команды корабля, приставшего к острову незадолго до освобождения героя.

...в английском пехотном полку...— По трактату 1657 г. Англия должна была предоставить шесть тысяч солдат и часть своего флота для борьбы против Фландрии, принадлежавшей в то время Испании.

...знаменитый полковник Локхарт...— Дефо имеет в виду Уильяма Локхарта (1621—1676), английского дипломата, бывшего послом правительства Кромвеля во Франции, и военного деятеля. Локхарт руководил прославленным сражением под Дюнкерком, принудив к сдаче этот город 15 июня

1658 г. и разгромив стоявший здесь испанский флот. Кромвель назначил Локхарта губернатором Дюнкерка.

...под Дюнкерком.— Укрепленный портовый город на берегу Немецкого моря, населенный преимущественно фламандцами, Дюнкерк играл большую роль в войнах XVII—XVIII вв. Долгое время Дюнкерк был предметом спора между Англией и Францией. В 1662 г. Дюнкерк окончательно перешел к Франции.

Стр. 22. *...и даже мудрец...*— Дефо говорит о библейском царе Соломоне. В «Книге притчей Соломоновых» говорится: «...не дай мне ни бедности, ни богатства» (XXX, 8).

Стр. 23. *...не принимать участия в нидерландской войне...*— Дефо имеет в виду войну между Англией и Нидерландами в 1652—1654 гг. Уже ранние критики романа отметили допущенную здесь Дефо двойную хронологическую ошибку: покинув Англию 1 сентября 1651 г., Робинзон не должен был знать об этой войне. Кроме того, отец Робинзона не мог указывать ему на смерть его старшего брата, убитого, как говорит сам Дефо, в битве под Дюнкерком, то есть семь лет спустя.

Стр. 26. *...мы пришли на Ярмутский рейд.*— Портовый город Ярмут расположен в устье рек Яра и Бьюра, образующем удобную стоянку для морских судов. Упоминаемый ниже *Ньюкасл*, большой старинный город северо-восточной Англии, на левом берегу реки Тайн, в девятнадцати километрах от моря. Судоходная река Тайн на всем протяжении от города до моря уже во времена Дефо представляла собой огромный док; множество судов двигалось по реке и стояло на якоре у причалов.

Стр. 27. *...разыгрался жесточайший шторм.*— В ноябре 1703 г. над Ла-Маншем и южной Англией в течение двух дней свирепствовала страшная буря. Дефо был в это время в Лондоне. В следующем году он издал книгу: «Буря, или Собрание наиболее достопримечательных несчастных случаев, происшедших как на море, так и на суше во время недавней страшной бури» (1704). Это был первый опыт Дефо в создании книги описательных очерков, устанавливавший его репутацию как журналиста; в то же время «Буря» была одной из первых книг этого жанра в английской литературе. В этой книге Дефо называет Ярмут, Гулль, Ньюкасл и многие другие порты восточного побережья Англии и приводит много примеров гибели людей и опустошений, которые вызвал жестокий ураган. Описание шторма на страницах «Робинзона Крузо» соответствует многому из того, что рассказывается в «Буре». В конце книги Дефо поместил письмо, якобы написанное «с борта корабля «Джон и Мэри», стоявшего на Ярмутском рейде во время великой бури», многие подробности которого Дефо перенес и в свой роман.

Стр. 29. *...заколол бы для меня откормленного тельца...*— Робинзон имеет в виду евангельскую притчу о блудном сыне.

Стр. 30. *...как корабль фарсийский потерпел крушение из-за Ионы...*— Начитанный в Библии судохозяин имеет в виду рассказ, помещенный в «Книге пророка Ионы», известный каждому английскому моряку того времени. Ослу-

шавшись повеления господня — идти и проповедовать в Ниневии, пророк Иона сел на корабль, шедший в город Фарсис, но бог «воздвиг на море крупный ветер, и сделалась великая буря. Устрашились моряки и сказали Ионе: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать... Тогда они взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей». Иона же был проглочен китом и находился в его чреве три дня и три ночи, а затем был извергнут на сушу.

Стр. 31. *...как попросту выражаются наши моряки, «в рейс в Гвинею».*— Под Гвинеей европейцы подразумевали тогда западный берег Африки, простирающийся между Сьерра-Леоне и Бенином; однако, говоря о «гвинейском вояже» как о выражении, заимствованном из жаргона моряков, Дефо, может быть, имел в виду специфическое его значение: под «гвинейским кораблем» в XVII—XVIII вв. нередко подразумевался корабль, везший на продажу чернокожих невольников, а под «гвинейским купцом»—работорговец.

Стр. 33. *Сале* (ныне Рабат-Сале) — порт на атлантическом берегу Марокко, на правом берегу реки Бу-Регрег, впадающей в океан; в средние века — важнейшая торговая гавань северо-западной Африки, в XVII в.— независимая республика и знаменитое пиратское гнездо. Славившиеся своими смелыми действиями, пираты из Сале наносили такой заметный ущерб морской торговле, что английские власти в XVII в. предпринимали против них целые экспедиции. В это время в Англии печатались списки лиц, захваченных пиратами из Сале, воспоминания людей, спасшихся из плена, и т. д. В распоряжении Дефо могло быть большое количество печатных источников с описанием случаев, очень сходных с измышленным им двухлетним пленением в Сале Робинзона и, следовательно, придававших его повествованию полное правдоподобие. Подобные случаи имеются, например, в хорошо известных Дефо собраниях рассказов английских моряков и путешественников, составленных Р. Хаклюйтом («Важнейшие плавания, путешествия и открытия английского народа...», 1589) и продолжателем его С. Перчасом («Посмертные бумаги Хаклюйта, или Странствования Перчаса, содержащие в себе историю мира в путешествиях по суше и по морю англичан и других народов», 1625). Хаклюйт поместил рассказ о пленении Томаса Сандерса, захваченного в 1585 г. маврами из Триполи, который бежал из неволи вместе с восемнадцатью другими пленниками в простой лодке; Сандерс с товарищами провел в этой лодке двадцать один день, пока не был спасен шедшим мимо английским кораблем. С еще большей уверенностью можно утверждать, что многие подробности пребывания Робинзона в Сале были заимствованы Дефо из книги Джона Огильби «Африка» (1670); она служила Дефо одним из источников при создании романа «Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингльтона» (1720), вышедшего в свет через год после «Робинзона Крузо».

...в глубь страны ко двору султана...— В XVII в. в Марокко правила династия мусульманских султанов — Саадинов; резиденцией их был город Мекнес.

Стр. 34. *...ни одного невольника англичанина, ирландца или шотландца...*— Ошибка Дефо: на следующей странице упомянут корабельный плотник «тоже невольник — англичанин».

...с мальчиком — Мареско, как они называли его...— В нескольких изданиях «Робинзона Крузо», вышедших в 1719 г., прозвание мальчика напечатано было различно — Maresco или Moresco. Остается неясным, что именно Дефо имел в виду, называя так юного спутника Робинзона в морских прогулках. В первом случае итальянское слово Maresco могло означать корабельного ученика, юнгу; во втором — Moresco, Morisco — молодого мавра, или мориска. Морисками назывались потомки мавров-мусульман, насильно обращенных в христианство испанскими католическими королями, изгнанные или эмигрировавшие из Испании в города Северной Африки (между концом XV и началом XVII в.). Вероятно, Дефо имел в виду мавританского мальчика или юношу. В тексте романа остается также неразъясненным, не тождествен ли этот Мареско с мальчиком, в дальнейшем именуемым Ксури.

Стр. 36. *В сторожевой башне, что стоит у входа в гавань...*— При входе в гавань города Сале действительно находилась крепостная башня, окруженная хорошо укрепленными стенами. Вид этой крепости представлен на особом рисунке в книге Джона Огильби, откуда эту топографическую подробность и заимствовал Дефо.

Стр. 37. *...его звали Ксури...*— Имя это, несомненно, восходит к арабскому языку. «Ксарами» или «ксурами» («ксур» — множественное число от «ксар» или «каср») называются еще и сейчас в Марокко и Тунисе укрепленные деревни пустыни, островки обработанной земли и оседлой жизни посреди каменистых плато и песчаных дюн; слово это сохранилось и в названиях населенных местностей, например, Ксар-эс-Сук в Марокко, Ксур-Эссаф — в Тунисе и т. д. Это арабское слово также могло стать известным Дефо из какого-либо описания Северной Африки и, в его понимании, как собственное имя должно было, по-видимому, означать «выходца из деревни внутреннего Марокко».

Стр. 42. *...мы видели на берегу людей...*— Все описание африканских дикарей очень близко к тому, что рассказывается о туземцах Мозамбикского берега в романе Дефо «Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингльтона». Это подтверждает, что оба произведения имеют общие источники. Возможно, что Дефо пользовался книгой Джона Огильби «Африка», где также рассказывается об этом и сообщаются и другие сведения о негритянских племенах атлантического побережья, почти текстуально совпадающие с теми, которые приводит Дефо.

Стр. 43. *Животное оказалось леопардом...*— Весь рассказ об убитом Робинзоном леопарде повторен также в «Жизни капитана Сингльтона», в рассказе о его приключениях в Центральной Африке.

Стр. 45. *...уплатить... восемьдесят серебряных «восьмериков»...*— «Восьмериком» (a piece of eight) называлась испанская серебряная монета, находившаяся в широком обращении в международной торговле XVIII в. Название свое эта монета получила оттого, что стоимость ее равнялась восьми реалам (денежная единица, также употреблявшаяся в Бразилии).

...мы вошли в залив де Тодос-лос-Сантос...— Хотя Дефо приводит как португальское название этого залива у берегов Бразилии, так и английский перевод этого названия, но несомненно, что он имеет в виду не только залив (Bahia de Todos los santos), но и портовый город при входе в этот залив — Байю (Bahia), основанный португальцами в 1549 г. и долгое время бывший столицей Бразилии; город Байя имеет также и другое название: Сан-Сальвадор, которое Дефо упоминает ниже (стр. 49). История этой португальской колонии, несомненно, была достаточно подробно известна Дефо, так как она более тесно связана с колониальными устремлениями англичан в XVII—XVIII вв. С переходом Португалии под испанское владычество (в 1580 г.) Бразилия часто подвергалась вторжениям англичан, французов и голландцев. Голландцы прочно утвердились в Бразилии в 1630 г. и овладели Байей; они были изгнаны оттуда лишь в 1648 г. Этим объясняется разноплеменность европейских колонистов-«плантаторов» в Бразилии в XVII в., к которому отнесено действие в «Робинзоне Крузо», и, в частности, также отраженное в романе Дефо разнообразие денежных единиц, имевших в то время хождение в Бразилии.

...двадцать дукатов за шкуру леопарда...— Дукат — золотая монета, впервые появившаяся в Венеции в конце XIII в.; впоследствии дукаты чеканились во многих европейских странах; в данном случае имеются в виду нидерландские дукаты.

Стр. 46. *Это был владелец «инженьо»...*— В оригинальном тексте, где это португальско-бразильское слово встречается несколько раз, оно везде напечатано Дефо с ошибкой: ingenio, вместо — engenho (энженьо); так в Бразилии называют сахарный завод с плантацией сахарного тростника; бразильское «сеньор де энженьо» — помещик. Выше Дефо также неточно транскрибировал обращение к Робинзону капитана португальского корабля, который должен был сказать «senhor inglêse» — «сеньор инглезе», то есть «господин англичанин».

Стр. 49. *...купцами из Сан-Сальвадора...*— См. прим. к стр. 45.

...негров-невольников для работы в Бразилии.— Ввоз невольников-негров на европейских кораблях из Африки в Бразилию начался с конца XVI в., вскоре после захвата и колонизации Бразилии португальцами, и продолжался непрерывно в XVII и XVIII вв. Отметим сложное и противоречивое отношение Дефо к работорговле. Задолго до создания «Робинзона Крузо» Дефо посвятил несколько смелых стихов торговле европейцев африканскими неграми в большом сатирико-дидактическом стихотворении «Исправление нравов» (1702), в котором он клеймил пороки своего времени. Эти стихи считаются одним из первых в английской поэзии гуманистических протестов про-

тив бесчеловечного обращения с невольниками и против «торговцев человеческими душами». Дефо резко осуждает здесь тех купцов, считающихся христианами, которые торгуют африканскими неграми.

Невинные туземцы бесчестно заманиваются ими в ловушки,
И человеческие души выменяваются на безделушки,
Несчастных увозят в христианские страны,
Чтобы они трудились в еще худших пустынях,
Нежели те, в которых они когда-то жили.

Мучения, которым подвергаются обманутые невольники, неописуемы, утверждает Дефо и подчеркивает, что наихудшими из владельцев являются голландцы и в особенности испанцы:

...Испанская жестокость
Склонна мучить тело и растлевать разум.

С этим стихотворным протестом можно сравнить замечания Дефо о бесчеловечном обращении с невольниками-неграми в английской колонии Виргинии в Америке в романе «Полковник Джек» (1722). Тем не менее за четыре года до написания приведенных выше стихотворных строк (в «Исправлении нравов») Дефо в своем «Опыте о проектах» рекомендовал английскому правительству закупить в Гвинее двести негров для общественных работ, а в написанном на целое десятилетие позже «Робинзона Крузо» «Плане английской торговли» (1728) Дефо подчеркивал, что ослабевающая торговля Англии с Африкой может быть существенно подкреплена такой статьей, как работорговля. Из приведенных сопоставлений можно заключить, что в вопросе о работорговле, как и во многих других вопросах, которые поднимал роман о Робинзоне, Дефо оставался типичным представителем своего времени и своего класса.

«Асьенто» (*исп.* asiento) — контракт, договор об откупе, об обложении налогом; это слово также означало привилегию на работорговлю, выдававшуюся от имени испанского короля. В Англии это слово получило известность не ранее 1713 г., когда между испанским и английским правительствами был заключен так называемый «Договор об асьенто». «Договор об асьенто» действовал в течение всей жизни Дефо и был отменен только в 1739 г., все это время служа поводом для постоянных пререканий между испанским и английским правительствами.

Стр. 51. *Мыс Святого Августина* находится в северной части Бразилии.

Фернандо ди Норонья — остров вулканического происхождения в Атлантическом океане, близ берегов Бразилии. Как видно из дальнейшего рассказа, корабль повернул на запад, держа курс на остров Барбадос в Карибском море.

Стр. 52. *...ближе к реке Ориноко...*— На титульном листе первого издания «Робинзона Крузо» река названа «Оронукве» (Oronooque), в тексте

романа она именуется «Оруноко» (Oroonoko); общепринятое ныне название этой южноамериканской реки (в нынешней Венесуэле) — Ориноко. Область, прилегающая к Ориноко, была открыта Колумбом в 1498 г. Дефо издавна интересовался ею, тем более что в его время она была еще плохо картографирована и описана. В особенности Дефо увлечен был книгой Уолтера Роли (Raleigh) «Рассказ об обширной, богатой и прекрасной империи Гвианы» (1596), смелого авантюриста и путешественника елизаветинской поры, мечтавшего отвоевать у испанцев весь богатый край, с его неисчерпаемыми, как ему казалось, россыпями золота. У. Роли рассказывал, как он поднимался вверх по течению реки Ориноко и строил планы захвата ее британскими колонистами; заключенный в Тауэр на целое десятилетие, Роли и там продолжал мечтать о дальнейших путешествиях; в 1616 г. он получил разрешение вторично отправиться на реку Ориноко за золотом, но эта экспедиция была неудачной, и по возвращении в Англию он был казнен (1618 г.). Еще в начале своей деятельности Дефо представил Вильгельму III проект, всецело основанный на мечтаниях Роли; и позже Дефо продолжал тщательно изучать все описания Роли и других путешественников; возможно, что в руках Дефо была также карта, нарисованная Роли по возвращении из его первого путешествия (один из экземпляров этой карты, хранящийся в Британском музее, имеет пометки, сделанные, по-видимому, рукой Дефо). Через год после издания «Робинзона Крузо» Дефо выпустил в свет «Историческое известие» о путешествиях Роли (1720); известно также, что Дефо готовил особую брошюру для «Компании южных морей» с проектом отправки в устье Ориноко нескольких кораблей британского флота. Все это свидетельствует, что у Дефо были основания поселить Робинзона на одном из островов Атлантического океана, приблизительно на широте устья реки Ориноко.

Стр. 57. *...набил карманы сухарями...*— Ошибка Дефо: на предшествующей странице Робинзон утверждает, что он подплыл к кораблю «раздевшись».

Стр. 64. *...не более ста ярдов...*— Один ярд равен трем футам (91 см).

Стр. 91. «*Призови меня в день печали...*» — цитата из входящей в Библию Псалтыри.

Стр. 94. *Я искал кассавы...*— Тропическое растение с мясистыми корнями; индейцы Южной Америки растирают и прессуют эти корни для получения съедобного крахмала.

Стр. 98. *Пек* равен одной четверти бушеля (или 9,09 литра).

Стр. 101. *Лиденхоллский рынок* — старый лондонский рынок. Во времена Дефо был одним из важнейших рынков города; туда доставлялось много битой птицы и дичи.

Стр. 102. *...в числе прочих пингвины.*— Назвав пингвинов среди птиц, которых Робинзон видел на острове, Дефо допустил ошибку: пингвины живут только в южном полушарии, и самая северная граница их распространения находится значительно южнее, чем остров, где жил Робинзон.

Стр. 106. *...повесил их для острастки других.*— Во времена Дефо в Англии даже мелкое воровство наказывалось смертной казнью через повешение.

Варварский обычай оставлять на виселицах трупы казненных воров держался в Англии до 1834 г.

...вышло около двух бушелей...— Бушель — мера объема для сыпучих тел (равна 35,3 литра). Таким образом, урожай Робинзона составил сам-двенадцать.

Стр. 113. *...во время постройки иерусалимского храма.*— Рассказ о том, как по повелению царя Соломона рубились кедры в Ливане и на плотах морем доставлялись в Иерусалим, находится в Библии.

Стр. 115. *...как... Авраам богачу...*— Дефо приводит точную цитату из притчи, рассказанной в Евангелии (от Луки, XVI, 22—26).

Стр. 117. *...кормление пророка Илии вóронами!*— Имеется в виду «Третья книга Царств», где повествуется, как по повелению бога пророк Илия скрылся «у потока Хорафа, что против Иордана: и вóроны приносили ему хлеб и мясо поутру и хлеб и мясо повечеру, а из потока он пил».

Стр. 129. *Стоик.*— Дефо имеет в виду приверженца древнегреческого философского учения; стоики считали судьбу непреложной необходимостью, а истинно мудрым и добродетельным человеком — того, кто ведет жизнь, согласную с природой.

Стр. 136. *Я уподобился Саулу...*— Библейская «Первая книга Царств» рассказывает, что когда филистимляне собрали свои войска для войны с Израилем, то и Саул поднял весь народ израильский. Саул отправляется к Эндорской волшебнице, которая вызывает ему тень Самуила. Тень Самуила предрекает Саулу его смерть и гибель Израиля.

Стр. 159. *...он шел из Буэнос-Айреса или из Рио-де-ла-Платы...*— Город Буэнос-Айрес принадлежал тогда к испанским южноамериканским владениям. Ла-Плата — река и залив в Аргентине.

Стр. 160. *Золотые дублоны* — испанская денежная единица, распространенная также в испано-американских колониях.

Стр. 161. *Мойдор* — португальская золотая монета, бывшая в XVII в. в употреблении не только в вест-индских владениях, но широко применявшаяся вообще в колониальной торговле.

Стр. 162. *...как перуанским индейцам до вторжения в Перу испанцев.*— Страна Перу была захвачена и покорена отрядами испанских конкистадоров под предводительством Ф. Писарро в 1531—1534 гг., уничтоживших государство индейского племени инков, достигшее, до прихода сюда европейцев, довольно высокого уровня развития.

Стр. 173. *...подобны глине в руках горшечника...*— Робинзон вспоминает известное библейское сравнение: «Что глина в руках горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев» («Книга пророка Иеремии»).

Стр. 175. *...довольно сносно говорить по-английски...*— Пятницу, как и Ксури, Дефо заставил говорить на ломаном английском языке, чтобы усилить правдоподобие рассказа. Этот прием был сравнительно новым в повествовательной литературе той поры, однако Дефо уже и ранее пользовался им, представив, например, в книге «Семейный наставник» (1715) исковерканную

английскую речь молодого слуги-негра Тоби, имеющего некоторое сходство с Пятницей. Приведенные в «Робинзоне Крузо» многочисленные примеры неправильной английской речи, на которой изъясняются разноплеменные действующие лица, представляются единственными компонентами повествования, рассчитанными на юмористический эффект; эти комические диалоги несколько оживляют общий тон книги. Дефо рассказывает, что Пятница в течение одного года настолько усвоил английский язык, что мог выражать на нем даже довольно сложные и абстрактные понятия, как это видно, например, из довольно длинных бесед Робинзона с Пятницей на религиозные темы. Грамматические ошибки Пятницы, отмечаемые Дефо, довольно примитивны и непоследовательны; к тому же они не уменьшаются, но даже увеличиваются в ходе повествования; наконец, они довольно однообразны и не находятся в зависимости от национальности говорящего; Ксури, Пятница и другие коверкают английский язык на один лад. Особый интерес для понимания этих искажений представляет лингвистическое рассуждение во второй части «Робинзона Крузо» при описании обучения английскому языку дикаря-пленника, оказавшегося на корабле Робинзона после смерти Пятницы. Дефо утверждает, что этот дикарь, как и Пятница, не мог усвоить двух вещей: как изменяются имена существительные во множественном числе и почему в словах нельзя ставить ударение на конечной гласной. Воспроизведение в русском переводе искаженной английской речи наталкивается на значительные трудности и может быть сделано только приблизительно; тем не менее эта речь воспроизводится всюду, где это необходимо, по возможности в соответствии с указаниями автора, иногда — специфическими средствами русского языка, отсутствующими в английском (путаница в родах имен существительных, неправильности глагольных форм и т. д.).

Стр. 177. *Караибы* — группа индейских племен Южной Америки. В XVI—XVII вв. они населяли территории нынешней Венесуэлы, Гвианы, северной и центральной Бразилии и Антильских островов. По имени этой народности названо было и Караибское (Карибское, или Антильское) море Атлантического океана. Дефо именует их караибами (Caribs); так называет себя и Пятница. Караибы привлекали к себе внимание европейских путешественников со времени открытия Америки; рассказы о них у Бартоломе Лас Казаса (1539) и отчасти у Уолтера Роли содействовали возникновению популярной легенды о «благородном дикаре», добродетельном и невинном, статном и красивом, живущем в естественных условиях среди природы. Путешествия XVII столетия внесли в идеализированное представление о караибах более реальные этнографические черты. Вероятным источником сведений Дефо о соплеменниках Пятницы, помимо книг о путешествиях, считаются «История Караибских островов» Шарля де Рошфора, переведенная на английский язык Джоном Дэвисом (1666), а также «Беспристрастная история Суринама» (1667) Джорджа Уоррена. Эти авторы считали караибов «умеренно дикими», хотя они и утверждают, что караибы были людоедами. Одежду их составляла лишь набедренная повязка; среди караибов распространена была

также окраска тела и лица в яркие цвета. Из рассказов путешественников явствует, что в общественном строе караибов преобладали родовые отношения с чертами матриархата. Религия их была анимистической; они поклонялись духам природы. Рошфор указывает, в частности, что добрые духи называются ими акамбу (acamboue), а злые — мабойя (maboya). Хотя наименования эти и не совпадают с теми, о которых Робинзон узнает от Пятницы (имя доброго духа — Бенамуки, по-видимому, измышлено самим Дефо), но характерно все же, что Пятница, как это выясняется из дальнейшего рассказа, никак не мог понять, что толковал ему Робинзон о дьяволе как о «злом духе» христиан. По-видимому, Дефо воспроизвел многое из того, что он узнал из книг XVII—начала XVIII в. о примитивной культуре караибов.

Сен-Мартен.— Вероятно, Дефо имел в виду остров Сен-Мартен — один из крайних северо-восточных Малых Антильских островов в Карибском море; этот остров упомянут Дефо также в «Жизни капитана Сингльтона».

Стр. 186. *...которое мы называем фустиком, или же на «никарагуанское дерево»...*— Под названием «фустик» (заимствованным из испанского fustos) в Англии известно было дерево Maclura tinctoria, из семейства крапивных, произраставшее в Южной Америке и вест-индских колониях. Из него добывалось сильно красящее вещество ярко-желтого цвета. Под названием «никарагуанского дерева» известен был тогда один из видов «бразильского дерева».

Стр. 200. *Новая Испания* — колониальные владения испанцев в обеих частях Америки.

Стр. 201. *Вспомните сынов Израиля...*— Имеется в виду библейский рассказ (в книге «Исход»).

Стр. 202. *Аликанте* — портовый город в юго-восточной Испании, на побережье Средиземного моря, центр важнейшего в Испании района виноделия и садоводства.

Стр. 216. *...попали на заколдованный остров, на котором живут или черти, или духи...*— Весь этот эпизод не без оснований сопоставляют с сюжетом «Бури» Шекспира. Как видно из одной статьи Дефо в его журнале «Обозрение», он читал или видел на сцене эту драму Шекспира в переделке Дэвенанта; указанный эпизод романа действительно имеет некоторое сходство с ее сюжетным построением: Робинзон выступает здесь в роли шекспировского Просперо, живущего в пещере на пустынном острове, вдали от родины; роль слуги, освобожденного им из неволи (Ариэля), поручена Пятнице; матросы с приставшего корабля, которых, по совету Робинзона, ауканьем заманивают в глубь острова, играют роль шекспировских Стефана и Тринкуло («Буря», д. II, сц.2; д. III, сц. 2; д. IV, сц. 1).

Стр. 223. *...не упали в ту самую яму, которую вырыли другим.*— Цитата из Библии: «Кто копает яму, тот упадет в нее».

Стр. 229. *...на реке у Лиссабона...*— Лиссабон расположен на реке, текущей сначала по Испании и называемой по-испански — Тахо, по-португальски — Тежо. В нижнем своем течении река протекает по широкой долине и при впадении в Атлантический океан образует воронкообразное устье. Пол-

новодность реки давала возможность морским кораблям подниматься вверх по течению на довольно значительное расстояние от устья.

Стр. 229. *Крузадо* — португальская монета, названная так по знаку креста, стоявшему на ее оборотной стороне.

Стр. 230. *...для меня, как для Иова, конец был лучше начала.*— По библейскому рассказу, Иов безропотно снес все ниспосланные ему испытания.

Стр. 233. *...у Старта возле Торбея...*— Мыс Старт на восточном берегу Девоншира был местом гибели многих кораблей; впоследствии здесь был поставлен маяк, существующий и поныне; Торбей — побережье Девоншира севернее Старта.

Корунья — город, крепость и торговый порт в Испании на западном берегу бухты того же названия в Бискайском заливе.

Стр. 234. *Наварра* — историческая область и провинция северной Испании в Западных Пиренеях; в северной части Наварры поднимаются хребты Западных Пиренеев, покрытые густыми лесами.

Памплона — главный город Наварры.

Фуентеррабия — портовый город в испанской провинции Гипускоа.

Стр. 235. *Лангедок* — в то время французская провинция, расположенная между Средиземным морем, Пиренеями и реками Гаронной и Роной.

Стр. 242. *...щелкнув незаряженным пистолетом возле самого пороха...*— Пистолеты (как и мушкеты и ружья) были в то время кремневые и зажигались от искры, высекавшейся железным курком из кремня.

М. Алексеев

ИСТОРИЯ ПОЛКОВНИКА ДЖЕКА

Сообщение о предстоящем выходе в свет книги Даниеля Дефо «История достопримечательной, полной бурных приключений, жизни высокочтимого Полковника Жака, в просторечье именуемого Полковником Джеком и т. д.» появилось в английских газетах в середине 1722 года. Роман был напечатан издателями Дж. Бразертоном и другими 20 декабря 1722 года и сразу получил широкое признание, хотя издание было далеко не безукоризненным, так как содержало множество ошибок и даже нелепостей. Часть ошибок осталась и в последующих изданиях: один и тот же герой выступает под разными именами, неправильно написаны и грамматически искажены слова и предложения на французском и испанском языках, перепутаны некоторые географические названия.

В трех изданиях, осуществленных при жизни автора (2-е издание 19 января 1723 г., те же издатели, 3-е — 1724 г.), в заглавии после слов «...Кавалера ордена святого Георга» следовало заключительное предложение: «...рассчитывая умереть генералом», то есть не было ничего о Престонском восстании, о покойном короле, ибо в 1722—1724 годах Георг I был еще жив,

а также о сражениях в царицыных войсках с турками, так как Анна Иоанновна вела войну с турками в 1736—1739 годах, когда Дефо уже не было в живых.

Это дополнение появилось лишь в 4-м издании романа в 1738 году, через семь лет после смерти автора. Издание было осуществлено Дж. Эпплби по заказу и за счет книгопродавцев Уорда и Чэндлера. П. Доттен, исследователь творчества Дефо, полагает, что издатели намеревались предложить кому-нибудь написать продолжение романа и поэтому ввели в заглавие указанные дополнения. Более того, он считает, что Дефо собирался завершить роман вторичной женитьбой своего героя на первой жене и лишь под давлением издателей искусственно вернулся к Престонскому восстанию, чтобы иметь возможность продолжить приключения героя; следует отметить, что автор почти ничего не говорит о самом восстании, видимо, не желая поднимать политические вопросы, тем более что Дефо не отличался устойчивыми политическими взглядами.

Роман был издан в сокращенном виде в 1809 году, затем в 1810 году был (полностью) включен в избранные сочинения Дефо, изданные под наблюдением В. Скотта. Это издание точно воспроизводило издание 1738 года, но было неудачно разбито на главы. В течение XIX века роман входил во все собрания сочинений Дефо, но не издавался отдельно, так как викторианское общество считало его «безнравственным», а издательства, которые осмеливались печатать «безнравственную» литературу, предпочитали издавать «Моль Флендерс» — роман Дефо, увидевший свет в том же 1722 году.

«Полковник Джек» — самый «лондонский» роман Дефо. Детство и отрочество героя проходят на улицах Сити, в лондонских доках, в бедных кварталах Ист-Энда, то есть в районах, которые Дефо, родившийся на Форстрит, у северной границы Сити, прекрасно знал с самого детства. Пребывание Дефо в Ньюгетской тюрьме в 1703 году, куда его заключили за антицерковный памфлет «Простейший способ расправиться с диссентерами» и знакомство с Дж. Эпплби, издателем исповедей и предсмертных речей преступников, дали писателю возможность изучить жизнь лондонского преступного мира, услышать рассказы о каторге в Виргинии, усвоить особенности языка лондонского дна. Путь удирающего от преследования воришки, точное перечисление названий улиц, по которым он бежит, напоминают газетные отчеты о судебных процессах, в ходе которых подсудимые подробно описывали обстоятельства своих преступлений.

Хотя «Полковник Джек» первый неанонимный роман Дефо (предисловие подписано автором), он все же был в 1734 году, благодаря характерному для Дефо умению делать вымысел подобным реальной жизни, включен в сборник жизнеописаний настоящих преступников (Капитан Чарльз Джонсон, Жизнь и приключения разбойников).

Роман «Полковник Джек» ранее на русский язык не переводился. Настоящий перевод сделан с 5-го издания (1739), осуществленного Дж. Эпплби по заказу Уорда и Чэндлера и перепечатанного издательством «Оксфорд: Бэзил Блэкуелл» в 1927 году.

Стр. 247. *Кавалер ордена святого Георга.*— Так называли Якова Стюарта (1688—1766), сына короля Англии Якова II, низвергнутого в 1688 г. в ходе так называемой «славной революции», совершенной правящими классами, с престола и изгнанного из Англии. Яков Стюарт, прозванный Претендентом, несколько раз пытался завладеть английским престолом.

Престонское восстание.— 9 ноября 1715 г. повстанцы — сторонники Якова Стюарта, вошли в Престон и объявили претендента королем Англии, но 14 ноября они были вынуждены сдаться правительственным войскам.

...покойным королем...— Георг I, король Англии с 1714 до 1727 г., основатель Ганноверской династии, занимавшей английский престол до 1901 г. (см. преамбулу к роману).

...сражающегося в царицыных войсках...— См. преамбулу к роману.

Стр. 249. *...в пользу разумного воспитания...*— Вопрос воспитания детей, особенно из бедных слоев населения, всегда тревожил Дефо — просветителя. В работе «Милосердие остается христианской добродетелью», изданной в 1719 г., он утверждал, что образование — лучший путь борьбы с преступностью, и доказывал необходимость создания школ для бедных детей. В 1723 г. он вступил в резкую полемику с Тренчардом, выступавшим со статьями в «Бритиш джорнал», и Мандевиллем, которые высказывались против введения образования среди неимущих слоев населения.

Стр. 252. *Гудменс-Филдз* — поле в районе Олдгейта. Олдгейт, что в переводе означает Старые ворота,— место, где до 1760 г. стояли самые восточные ворота Сити.

Стр. 253. *Он был врожденным негодяем...*— Вопреки своему убеждению, что от рождения все люди равны и личность человека формируется воспитанием, Дефо здесь несколько раз подчеркивает, что Полковник Джек совершает преступления, не понимая, что это безнравственно, а Капитан Джек, человек низкого происхождения, грешит «по склонности натуры своей».

Стр. 255. *Карл II* — король Англии, правивший с 1660 по 1685 г. Сын Карла I Стюарта, обезглавленного в 1649 г. Восшествие Карла II на престол знаменовало собой эпоху реставрации Стюартов.

...герцог Йоркский.— С XVI в. титул герцога Йоркского обычно носил второй сын короля Англии.

Рэтклиф-Хайуэй — улица в районе доков, пользовавшаяся дурной славой из-за множества увеселительных заведений для моряков. Впоследствии была переименована в Сент-Джордж-стрит.

Стр. 257. *Битва во Фландрии.*— См. прим. к стр. 340.

Взятие Маастрихта.— Маастрихт — главный город нидерландской провинции Лимбург на р. Маас, который шесть раз тщетно осаждали войска Людовика XIV. В 1673 г. город все же был вынужден сдаться.

Смерть Карла I.— Карл I (1600—1649) вступил на престол в 1625 г. В 1645 г. бежал в связи с революционным восстанием в Шотландию, но был выдан парламентским войскам и в 1649 г. решением парламента был предан суду и обезглавлен.

Стр. 258. *Ньюгетская тюрьма* — знаменитая лондонская тюрьма, получившая свое название от старинных ворот (Ньюгейт означает в переводе Новые ворота), у которых она находилась. В нее заключали обвиняемых на время разбирательства их дел в Центральном уголовном суде Олд Бейли (см. прим. к стр. 306). О пребывании Дефо в этой тюрьме см. преамбулу к роману.

Брайдуэлл — замок в Лондоне, погреба которого с XVI в. были превращены в исправительную тюрьму. Это название стало нарицательным для обозначения тюрьмы вообще. В Брайдуэлле перед публикой секли молодых воришек.

Стр. 259. *Варфоломеевская ярмарка* до 1855 г. устраивалась на территории Смитфилдского мясного рынка. В районе Смитфилд, у северо-восточной границы Сити, происходило в XVI в. сжигание еретиков. Фор-стрит, на которой родился Дефо, кончается в Смитфилде.

Стр. 265. *Ломбард-стрит* — улица в Сити, где были сосредоточены конторы менял, ростовщиков и ювелиров. Название ее восходит к XIV—XV вв., когда на ней жили выходцы из Ломбардии (северная Италия).

Стр. 266. *Собор Сент-Мэри-Овери* — одна из древнейших церквей Лондона. Толкование названия Овери двоякое: по имени девушки Мэри Овери, жившей на месте собора до его постройки, или от слов over ríe, что означает «на воде». Первоначальное здание было построено в 1106 г., в 1212 г. оно сильно пострадало от пожара, но затем было восстановлено, и собор был объединен с соседним приходом. В настоящее время он входит в состав Саутуоркского собора — крупнейшего на южном берегу Темзы, невдалеке от Лондонского моста.

Стр. 284. *Биржа.*— Здание Биржи, существовавшее при Дефо, сгорело в 1838 г. Современное здание находится на том же месте — в самом центре Сити.

Биллингсгейт — рыбный рынок в Сити на берегу Темзы у Лондонского моста.

Стр. 285. *Лондонская Стена* —улица, составляющая северную границу Сити и проходящая примерно вдоль древней стены, возведенной римлянами.

Бишопсгейт — длинная улица, состоящая из двух частей — Бишопсгейт-Уизин (т. е. «внутренней» — в границах Лондонской Стены) и ее продолжения — Бишопсгейт-Уизаут (т. е. «внешней» — за Лондонской Стеной). В конце первой и начале второй улицы стояли ворота, давшие название улицам.

Таким образом, вор бежал из центра Сити к северной его границе за Лондонскую Стену.

Старый Бедлам был основан в 1247 г., а в XIV в. стал лечебницей для душевнобольных; находился на Бишопсгейт-стрит. В 1675 г. больница была переведена в новое здание на Мурфилдс. «Бедлам» стал понятием нарицательным, означающим сумасшедший дом.

Стр. 288. *Темпл-Бар* — каменные ворота, сооруженные в 1672 г. в конце Стрэнда и начале Флит-стрит, то есть между Вестминстером и Сити. На них выставлялись головы казненных. Снесены в 1878 г.

Стр. 296. *Уэст-Смитфилд* — часть Смитфилда, находившаяся несколько южнее Смитфилдского рынка.

Сассекс — графство на юге Англии.

...по Монастырской — то есть мимо аркад, расположенных у церкви св. Варфоломея Великого, которая находится в восточной части Смитфилда.

Стр. 301. *Панкрас-Черч.*— Церковь св. Панкратия находилась в северной части Лондона.

Стр. 303. *Тотенхэм-Корт* — улица, которая в XVIII в. была самой западной в Лондоне.

Сент-Джайлз.— Приход св. Джайлза находился на севере Сити. Здесь, на улице Фор-стрит, родился Д. Дефо.

Челси — во времена Дефо пригород Лондона на северном берегу Темзы.

Стр. 304. *Боферт-Хаус* — дом, стоявший на Боферт-стрит (в Челси), снесен в 1740 г.

Кенсингтон — во времена Дефо лондонское предместье с большим парком, где до середины XVIII в. находился королевский дворец. Впоследствии этот район вошел в черту города.

Стр. 306. *Олд Бейли* — центральный уголовный суд. Находился неподалеку от Ньюгетской тюрьмы. Название получил от улицы Олд Бейли, на которой был расположен.

Стр. 307. *Хапслоу* — в XVIII в. городок западнее Лондона, в настоящее время входит в состав Большого Лондона.

Чертси, *Кингстон*, *Мортлэк* — городки в графстве Саррей, к югу от Лондона.

Стр. 310. *Суконный ряд* — район севернее собора св. Варфоломея, где жили суконщики.

Стр. 323. *Уэйр* — город к северу от Лондона, в графстве Хертфордшир.

Стр. 324. *Ройстон* — город в том же графстве.

Бишоп-Стортфорд — город, находящийся примерно на полпути между Лондоном и Кембриджем.

Стр. 328. *Фены* — обширная болотистая местность в графствах Кембридж и Линкольншир. Она тянется на 70 миль с севера на юг и на 35 миль с востока на запад.

Стр. 329. *Сполдинг* — город на реке Нин в центре Фенов, графство Линкольншир.

Дипинг — город недалеко от Сполдинга.

Эл — старинная мера длины, равная примерно 114 см, употреблялась главным образом для измерения тканей.

Стр. 330. *Грантам* — город в графстве Линкольншир.

Ньюарк — город в центрально-восточной части Англии на реке Трент, графство Ноттингемшир.

Мансфилд — город в графстве Ноттингемшир.

Скарсдейл — город в графстве Дерби, расположенном западнее Ноттингемшира.

Йоркшир — самое большое графство Англии, расположенное на северо-восточном побережье.

Уэйкфилд — город в графстве Йоркшир, несколько южнее Лидса.

Стр. 331. *Твид* — река, текущая из северной Англии в южную Шотландию и впадающая в Северное море.

Келсо — город в Шотландии.

Стр. 333. *Эдинбург* — с XV в. столица Шотландии, расположен у залива Ферт-оф-Форт.

Стр. 336. *Лит* — во времена Дефо город в Шотландии, ныне часть Эдинбурга.

Стр. 337. *Файф* — город в восточной Шотландии.

Дугласовский полк — полк, носивший имя Джеймса Дугласа (умер в 1711 г.), который принимал активное участие в присоединении Шотландии к Англии.

Стр. 338. *...купить себе офицерское звание...*— До 1871 г. офицерское звание в английской армии являлось собственностью офицера, которую он имел право продать или передать другому лицу.

Данбар — город на восточном побережье Шотландии, у залива Ферт-оф-Форт.

Берик-на-Твиде — город в юго-восточной Шотландии.

Стр. 339. *... зачем нас посылают во Фландрию...*— Их посылали во Фландрию, чтобы помешать Людовику XIV сделать ее аванпостом Франции. Территория Фландрии, которая теперь входит частями в состав Бельгии, Франции и Нидерландов, в течение нескольких веков была объектом англо-французской борьбы. В середине XVI в. она попала под власть испанской ветви Габсбургов. В результате войны за Испанское наследство (1701—1714 гг.), то есть за наследование испанского престола после смерти бездетного короля Испании Карла II, Фландрия, за исключением некоторых районов, отошедших к Франции и Нидерландам, перешла под власть австрийских Габсбургов.

Стр. 340. *Хаддингтон* — город в Шотландии на левом берегу реки Тайн.

Стр. 341. *Шилдс* — порт в графстве Нортумберленд на Северном море.

Стр. 344. *Виргиния* — в 1607 г. была колонизована английской Виргинской компанией, в 1624 г. стала первой колонией английского короля на территории Северной Америки. В 1781 г. завоевала независимость, в настоящее время на ее территории расположены два штата — Виргиния и Западная Виргиния.

Мэриленд — с 1634 г. колония Англии. В 1788 г. стала седьмым штатом США.

Стр. 346. *Оркнейские острова* — группа островов, отделенная от северной оконечности Шотландии проливом Пентленд-Ферт.

Стр. 348. *Потомак* — река в Северной Америке.

Стр. 349. *Пенсильвания* — территория в северо-восточной части Северной Америки. Получила название по имени Уильяма Пенна (1644—1718), которому в 1681 г. ее пожаловал Карл II, так как Англия была должна его отцу крупную сумму. У. Пенн значительно расширил территорию, скупая землю у индейцев. В 1712 г. он весьма выгодно продал Пенсильванию английской короне. Пенсильвания одной из первых приняла участие в Войне за независимость (1775—1783) и затем вошла в состав США.

Новая Англия — территория на северо-востоке Северной Америки, на которой после создания США находилось шесть штатов.

Стр. 363. *Подобно Ною...*— Здесь имеется в виду библейский эпизод опьянения Ноя (Бытие, X, 21).

Стр. 368. *Патаксент-Ривер* — город в Северной Америке на берегу Чесапикского залива.

Стр. 371. *Природа всех людей одинакова...*— Дефо выступает с просветительской идеей, согласно которой все люди одинаковы, а пороки их — результат жестокого обращения с ними.

Стр. 382. «*История Рима*» *Тита Ливия.*— Тит Ливий — знаменитый римский историк (59 г. до н. э.— 17 г. н. э.). Его «Римская история от основания города» доведена до 9 г. до н. э. Из 142 книг «Истории» сохранилось 35.

...история... короля Густава Адольфа...— Густав II Адольф (1594—1632) с 1611 г. король Швеции. С 1630 г. участвовал в Тридцатилетней войне (1618—1648) и одержал ряд побед над войсками германского императора; убит в битве при Лусене.

...история испанских завоеваний в Мексике...— Мексика была завоевана Испанией в 1519—1521 гг.

Стр. 387. «*...чтоб, обеднев, не стал красть...*» — Притчи Соломоновы, XXX, 9.

Стр. 392. «*Ты не много не убеждаешь меня сделаться христианином*».— Деяния апостолов, XXVI, 28.

«*...молил бы я Бога, чтобы, мало ли, много ли...*» — Деяния апостолов, XXVI, 29.

Стр. 393. «*Боже, благодарю тебя...*» — Евангелие от Луки, XVIII, 11.

...ни один волос не упадет с головы...— «...но и волос с головы вашей не пропадет».— Евангелие от Луки, XXI, 18.

«*Разумеешь ли, что читаешь?*» «*Как могу разуметь, если кто не наставит меня?*» — Деяния апостолов, VIII, 30—31.

Стр. 394. *...великой войной...*— Имеется в виду война за Испанское наследство (1701—1714 гг.) между Францией и Испанией, с одной стороны, и Австрией, Голландией, Англией, германскими княжествами, с другой. Джек участвовал в этой войне на стороне Франции.

Стр. 397. *Зона промера* — место в водном пространстве, обычно глубиной не более 600 футов, где можно производить измерение глубины лотом.

Английский канал — принятое в Англии название Ла-Манша.

Стр. 398. *Залив Сен-Мало* — находится в Ла-Манше у северного побережья Бретани.

Пролив Святого Георга — находится между Ирландией и Уэльсом, соединяет Ирландское море с Атлантическим океаном.

Стр. 399. *Лимерик* — город не реке Шаннон (Ирландия).

Клюзы — отверстия в борту корабля для пропускания кабелей, канатов и якорных цепей.

...намертво принайтовались к ним.— Принайтоваться — привязаться специальной морской веревкой — найтовом.

Стр. 400. *Бизань-мачта* — задняя мачта трехмачтового судна.

Булинь-шпринтов — мачта на носу судна, наклоненная вперед.

Пиастр — старинная испанская серебряная монета.

Стр. 401. *Индиго* — синяя краска, получаемая из сока растения индиго.

Пимиенто — испанский красный перец.

Остенде — гавань в западной Фландрии (ныне в северо-западной части Бельгии), в Па-де-Кале.

Стр. 403. *Испанские Нидерланды* — часть Фландрии, принадлежавшая в XVI—XVII вв. Испании.

Гент — город на реке Шельде в восточной Фландрии (ныне Бельгии).

Стр. 404. *Принц Оранский* — английский король Вильгельм III Оранский, сын наместника Нидерландов Вильгельма II Оранского и внук английского короля Карла I, правил с 1689 до 1702 г.

Ньюпорт — город на острове Уайт в Па-де-Кале.

Диль — порт на юго-востоке Англии на Па-де-Кале.

Даунс — рейд у порта Диля.

Стр. 405. *Гревская площадь* — старинное название площади в Париже, на которой происходили казни преступников. С 1806 г. называется площадью Ратуши.

Стр. 416. *...перешла Рубикон...*— Рубикон — небольшая река между Галлией и Италией, через которую в 49 г. до н. э., вопреки приказу сената, перешел со своими легионерами Цезарь и овладел Римом. В переносном смысле «перейти Рубикон» значит принять бесповоротное решение и осуществить его.

Стр. 422. *Тайберн* — место публичных казней в старом Лондоне.

Стр. 424. *Дюнкерк.*— См. прим. к стр. 21.

Диллонский полк — полк, носивший имя графа Артура Диллона (1670—1733), ирландского офицера, служившего во Французской армии. В 1690 г. Яков II отдал этот полк в распоряжение Людовика XIV. Диллон и его полк отличились во многих сражениях.

Атака на Кремону. — В 1702 г. итальянский город Кремона, где стоял французский гарнизон под командованием маршала Вильруа, подвергся осаде со стороны императорских войск (см. ниже) под командованием Евгения Савойского (см. прим. к стр. 426), в ходе которой войска по-

следнего проникли в Кремону и взяли в плен маршала, но потом вынуждены были оставить город.

Герцог де Вильруа Франсуа (1644—1730) — маршал Франции, проявивший себя ловким придворным и бездарным полководцем.

Императорская армия — в войне за Испанское наследство состояла из войск Англии, Голландии, Австрии, Дании, германских княжеств, Португалии, Савойи.

Стр. 425. *Филипп де Комин* (1445—1509) — французский государственный деятель и историк, автор мемуаров, содержащих интересный материал об эпохе французских королей — Людовика XI и Карла VIII.

Битва при Монтлери — произошла в 1465 г. между войсками Людовика XI и союзом крупных феодалов. Битва не принесла решительной победы ни одной из сторон.

Савона — итальянский порт на Генуэзском заливе.

Алессандрия — город и крепость в Пьемонте (Италия) на реке Танаро.

Стр. 426. *Пистоли* — старинные испанские, мексиканские, португальские и бразильские золотые монеты различного достоинства.

Принц Водмон — один из представителей знатной семьи, которой до XVIII в. принадлежала Лотарингия.

Король Филипп — король Испании Филипп V (1683—1746), внук Людовика XIV, занимал испанский престол (1700—1746 гг.) благодаря победе своего деда над австрийским домом Габсбургов в войне за Испанское наследство.

Мантуя — город и крепость в северной Италии, центр герцогства Мантуанского, которое в 1708 г., в ходе войны за Испанское наследство, стало австрийским владением.

Граф де Тесс Рене (1650—1725) — маршал Франции, как полководец играл важную роль в войне за Испанское наследство.

Герцог Вандомский — герцог Луи-Жозеф Вандом (1654—1712), выдающийся французский полководец; активно способствовал утверждению Филиппа V на испанском престоле.

Кампания 1701 года — серия сражений между французскими и австрийскими войсками летом и осенью 1701 г.

Принц Евгений Савойский (1663—1736) — выдающийся полководец. Француз по происхождению, сначала служил Франции, но потом, оскорбленный Людовиком XIV, перешел на сторону Австрии. Одержал ряд блестящих побед над французами в ходе войны за Испанское наследство.

Стр. 427. *Битва при Карпи.*— Карпи — город в северной Италии, до 1806 г. входил в герцогство Моденское. В битве при Карпи французы отступили перед войсками германского императора.

Катина Никола (1637—1712) — маршал Франции. В начале войны за Испанское наследство командовал крепостью Мантуя.

Риволи — город в северной Италии на реке Адидже.

Кьяри — город в Ломбардии (северная Италия).

Стр. 428. *Принц Коммерси* — один из представителей знатной семьи, владевшей крупными угодьями в герцогстве Лотарингском.

Стр. 431. *Бершелло* и *Боргофорте* — города в северной Италии, немного южнее Мантуи.

Луццара — небольшой город в северной Италии на правом берегу реки По.

Ривальта — местечко на реке Скривия (княжество Пьемонт, провинция Алессандрия). Впоследствии стало составной частью города Тортона (северная Италия).

Генерал Висконти — граф, представитель знатной миланской семьи.

Стр. 432. *Тичино* — река, текущая из Швейцарии в северную Италию и впадающая в По.

Стр. 433. *Генерал Эрбвиль* — представитель старинной семьи потомственных военных из Нормандии.

Карабинеры — пешие и конные войска, вооруженные карабинами — короткими ружьями, заряжаемыми с дула.

Стр. 434. *Кирасирские полки* — кавалерийские части, состоящие из солдат, носящих кирасы — грудные и спинные металлические латы.

Маркиз де Креки (1662—1702) — французский полководец. Убит в битве при Луццаре.

Стр. 436. *Французский король.*— Здесь имеется в виду Людовик XIV.

Новый король, Кавалер ордена святого Георга, Кавалер.— См. прим. к стр. 247.

Стр. 440. «*Бык и глотка*» — название таверны, находившейся в северо-западной части Сити, на месте теперешнего главного почтамта.

Стр. 442. *Ливр* — старинная французская серебряная монета достоинством в 20 су, в 1795 г. была заменена франком.

Стр. 443. *...владения герцога Лотарингского...*— С 945 г. Лотарингия была разделена на Верхнюю и Нижнюю. Верхняя Лотарингия до 1736 г. управлялась герцогом, затем была передана бывшему королю Польши Станиславу I, а в 1766 г. перешла к Франции.

Стр. 445. *...не хорошо быть человеку одному...* — Библия, Бытие, II, 18.

Стр. 446. *Валлоны* — народность, населяющая южную и юго-восточную части Бельгии и прилежащие районы Франции.

Стр. 447. *Проливы.*— Имеется в виду пролив Отранто, соединяющий Адриатическое море с Ионическим.

Остров Занте — находится в Ионическом море.

Стр. 457. *Папистские страны* — страны, население которых принадлежит к католической церкви, подчиненной папе римскому.

Стр. 458. *Престон* — порт на реке Рибл в центральной Англии, в Ланкашире (см. прим. к стр. 247).

Лорд Дервентуотер Джеймс (1689—1716) — сторонник династии Стюартов, казнен после капитуляции в Престоне, перед казнью подтвердил свою верность католицизму и делу Стюартов.

Стр. 470. *Замок Честер* — находится в графстве Чешир на западном побережье Англии.

Стр. 472. *...вне владений короля.*— Имеется в виду король Англии.

Стр. 473. *Острова Невис* и *Антигуа* — входят в группу Малых Антильских островов, принадлежащих Британии.

Стр. 476. *Топ стеньги* — верхний конец вертикального бруса, наращиваемого на мачту и составляющего продолжение ее в высоту.

Стр. 478. *Король Георг I* — правил с 1714 по 1727 г.

Стр. 479. *...во владения короля Испании.*— Куба до 1898 г. была испанской колонией.

Стр. 480. *Его католическое величество* — титул испанских королей, дарованный впервые папой Александром VI королю Фердинанду Католику в 1491 г.

Вице-король Мексики.— С 20-х гг. XVI в. до 1824 г. Мексика была испанской колонией, верховным правителем которой был вице-король.

Стр. 486. *Веракрус* — порт на Мексиканском заливе.

Стр. 488. *Лига* — в английской системе мер обычно равна трем морским милям; морская миля равна 1852 м.

Стр. 491. *Новая Испания* — испанские колонии в Америке.

Галеоны — парусные суда, которые в XVII—XVIII вв. курсировали между Испанией и ее американскими колониями для перевозки золота и товаров.

Южные моря — южная часть Тихого океана или моря, расположенные южнее экватора.

Стр. 492. *Сэр Уильям Фипс* (1651—1695) — родился в Новой Англии; был пастухом, стал коммерсантом; заручившись финансовой помощью английского Адмиралтейства, дважды предпринимал попытку поднять со дна затонувшее у Багамских островов испанское судно; вторая попытка увенчалась успехом — судно, на котором было 300 000 фунтов стерлингов, было поднято, деньги были разделены между Фипсом и Адмиралтейством.

Курс вест-тень-зюйд — курс судна по морскому компасу, проходящий посередине между направлением точно на запад и направлением запад-юго-запад (вест-зюйд-вест).

Сан-Хуан д'Ульва — старинная мексиканская крепость на островке около Веракруса.

Стр. 495. *Картахена* — порт в Колумбии (Южная Америка), до 1819 г. принадлежавший Испании. Расположен в Карибском море.

Стр. 499. *Кошениль* — красная краска кармин, вырабатываемая из высушенных насекомых кошениль, которые водятся в Мексике.

Стр. 500. *Драгет* — полушерстяная, полульняная ткань.

Камка — ткань типа дамаста: на гладком фоне вытканы узоры.

Стр. 503. *...изречь, подобно Иову*: «*Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле*».— Библия, Книга Иова, XLII, 6.

Л. Орел

СОДЕРЖАНИЕ

М. и *Д. Урновы.* Современный писатель 5

Робинзон Крузо. *Перевод М. Шишмаревой* 19

История Полковника Джека. *Перевод Н. Шерешевской* и *Л. Орел* 247

Примечания *М. Алексеева*, *М.* и *Д. Урновых*, *Л. Орел* 505

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 52

Даниель Дефо
РОБИНЗОН КРУЗО
ИСТОРИЯ ПОЛКОВНИКА ДЖЕКА

*

Редакторы Е. Осенева и
Т. Блантер

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
В. Кулагина

Корректор А. Юрьева

*

Сдано в набор 4/IX 1973 г. Подписано к печати 7/I 1974 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 33 печ. л. 30,789 усл. печ. л. 34,766+1 вкл.+7 нак.= =36,186 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ № 663. Цена 2 р. 12 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

Затем отец настойчиво и очень
благожелательно стал упрашивать
меня не ребячиться,
не бросаться очертя
голову в омут
нужды и
страданий...

Вдруг огромный вал
набежал с кормы на нашу
...И собрав остаток сил, снова
отчаянно пустился вплавь к берегу.
Моё радостное настроение
разом упало: я понял, что
хотя я и спасен, но не избавлен
от дальнейших ужасов и бед.

Когда мне дали кусок доска, я должен был срубить дерево, очистить ствол от ветвей, и, поставив его перед собой, обтесывать с обеих сторон до тех пор, пока он не приобретал необходимую форму.

Много было хлопот с этой работой и [illegible]
чем удалось сделать
что-то похожее на
зонтик

обтянул его
козьими шкурами
мехом
Каждую шкурку
[illegible] я просушил
на солнце,
растянув их на шестах.

Первым делом
я сшил из них
большую шапку.
Я сделал её
мехом наружу, чтобы
лучше предохранить
себя от дождей
[illegible]

Шкурку [illegible]
я сделал
совершенно
свободными
а последние
короткими
до колен
Покрой и
работа надо
сказать не
куда не годились.

Чулок и башмаков у меня совсем не было и вместо них я
соорудил себе нечто вроде полусапов, засбегивающихся сбоку,
как гетры, по самого варварского фасона.

Я решил огородить кусок луга ярдов в полтораста длинной и сто шириной и на первый раз ограничился этим.
Я так боялся чтобы козы не проломали изгородь, что вечно укреплял её новыми кольями и успокоился только тогда когда в ней не осталось ни одной щелки.
Природа, питающая всякую тварь сама учит нас как пользоваться её дарами.

Сколько часов терял
я из-за отсутствия инструментов,
помощников и недостатка сноровки!

Это была палатка,
разбитая на склоне горы
и обнесенная частоколом.
Но теперь мою ограду
можно было назвать
скорее стеной, потому
что вплотную к ней
я сделал земляную
насыпь фута в два
толщиной.
(Наконец, через полтора года я
поставил на насыпь жерди, прислонив
к откосу, а сверху сделал настилку из
веток и больших листьев.
Прежде чем ставить
палатку, я описал
перед углублением полукруг
радиусом ярдов десять,
следовательно ярдов
двадцать в диаметре.
Затем по всему полукругу я
забил в два ряда крепкие
колья, глубоко заколотив
в землю...

... я заметил, что он держит в руках лук
и стрелу и целится в меня, мне
оставалось только
предупредить его...

это был красивый малый высокого роста,
безукоризненного сложения,
с прямыми и длинными
руками и ногами ...

Прежде всего я объявил ему, что его имя будет Пятницей, т.к. в этот день недели я спас ему жизнь. Затем я научил его произносить слово „господин" и дал понять что это мое имя.

Беседы с Пятницей до такой степени наполняли все мои свободные часы и так тесна была наша дружба, что я не заметил, как пролетели последние три года моего испытания...

Моя жизнь теперь
гораздо лучше, чем
раньше, и в
физическом и в нравст-
венном отношении.
Садясь за еду, я часто
исполняюсь глубокой
~~признательности~~ признательности
к щедротам провидения,
уготовившего мне
трапезу в пустыне.
Я научился смотреть
больше на светлые,
чем на темные ~~стороны~~
стороны моего
положения, и
помнить больше
о том, что у меня
есть, чем о том,
чего я лишен.

Одним словом, природа опыт и
размышления научили
меня понимать, ~~что~~
что мирские блага
ценны для нас лишь
в той степени,
в какой они
способны
удовлетворить
наши
потребности.

Так покинул я остров 19 декабря 1686 года по корабельному календарю, пробыв на нем двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать дней...